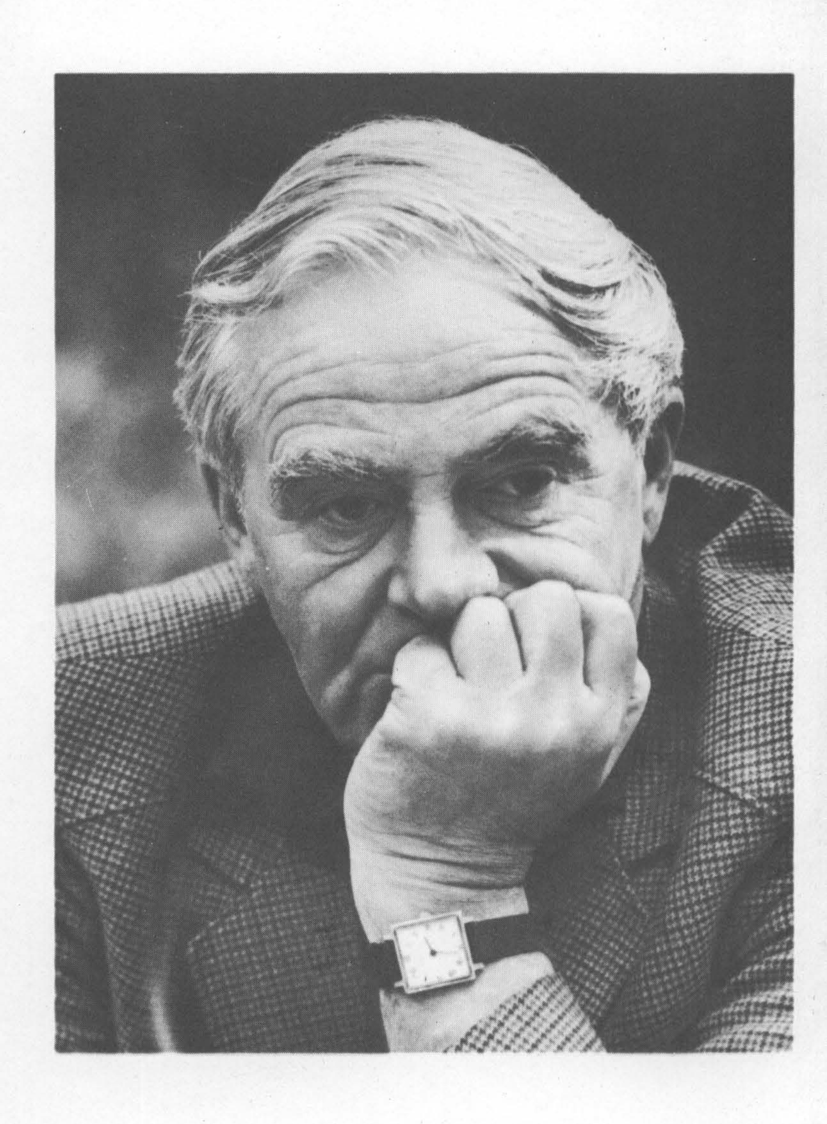
Даниил Гранин

1

1

Даниил Гранин





Даниил Гранин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

Даниил Гранин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Иду на грозу
РОМАН
Повести



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

ББК 84.Р7
Г 77

Оформление художника
Б. ОСЕНЧАКОВА

Г $\frac{4702010201-057}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5—280—00861—3 (Т. 1)
ISBN 5—280—00860—5

АВТОБИОГРАФИЯ

«На этот раз я родился в двадцатом веке...»

Так бы мне хотелось начать биографию героя новой книги. В этом есть что-то из личных ощущений. Когда-то ты уже жил, поэтому удивляешься тому, как ныне все сложилось. Сколько надо было случайностей в судьбах родителей, а потом и в моей собственной, чтобы добраться до нынешнего дня.

Тогда они очень любили друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой, она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее песни. Много было романсов, городских романсов двадцатых годов, иногда у меня выплывают какие-то строки-куплеты: «И разошлись, как в море корабли...», «Мы только знакомы, как странно...». Не было у нас инструмента; учить ее тоже никто не учил, она просто пела, до последних лет. Стрекот швейной машинки и ее пение. Отец был старше ее на двадцать с лишним лет.

...1919 год, год моего рождения — в тех местах еще догорала гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи. Они жили вдвоем в лесничествах где-то под Кингисеппом. Были снежные зимы, стрельба, пожары, разливы рек — первые воспоминания мешаются со слышанными от матери рассказами о тех годах. Детство — оно было лесное, позже — городское; обе эти струи, не смешиваясь, долго текли и так и остались в душе раздельными существованиями. Лесное — это баня со снежным сугробом, куда прыгал распаренный отец с мужиками, зимние лесные дороги, широкие самодельные лыжи (а лыжи городские — узкие, на которых мы ходили по Неве до самого залива. Нева тогда замерзала ровно, и на ней далеко блестели великолепные лыжни).

Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых дорогах...

Родина писателя — детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны.

Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне. Это я понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все принималось как благо: и переезд в Ленинград, и городская школа, наезды отца с корзинами брусники, с лепешками, с деревенским топленым маслом. А все лето — у него в лесу, в леспромхозе. Как старшего ребенка, первого, сильно тянули меня каждый к себе. Это не была размолвка, а было разное понимание счастья. Потом все разрешилось другими обстоятельствами — отца сослали в Сибирь, куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами. Мать работала портнихой. И дома прирабатывала тем же. Появлялись дамы — приходили выбирать фасон, примеривать. Мать любила и не любила эту работу — любила потому, что могла проявить свой вкус, художественную свою натуру, не любила оттого, что жили мы бедно, сама одеться она не могла, молодость ее уходила на чужие наряды.

Школа моя пошла всерьез примерно с шестого класса. В школе на Моховой оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского училища — одной из лучших русских гимназий. В кабинете физики мы пользовались приборами времен Сименса-Гальске на толстых эбонитовых панелях с массивными латунными контактами. Каждый урок был как представление. Преподавал профессор Знаменский, потом его ученица — Ксения Николаевна. Длинный преподавательский стол был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, разложенного призмами, электростатических машин, разрядов, вакуумных насосов.

У учительницы литературы не было никаких аппаратов, ничего, кроме стихов и убежденности, что литература — главный для нас предмет. Ее звали Аида Львовна. Она организовала литературный кружок, и большая часть класса стала сочинять стихи. Один из лучших наших школьных поэтов стал известным геологом, другой — математиком, третий — специалистом по русскому языку. Никто не остался поэтом. Мне же стихи не давались. С тех пор у меня появилось благоговейное отношение к поэзии как к высшему искусству. В порядке самоутверждения я тоже написал в школьный журнал, написал о том, что поразило меня тогда,— о смерти С. М. Кирова: Таврический дворец, где стоял гроб, прощание, траурная процессия...

Несмотря на интерес мой к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность более надежная. Я подчинился, поступил на электротехнический факультет и кончил Политехнический институт перед войной. Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники. Были своенравны, чудаковаты, отдельны, каждый позволял себе быть личностью, иметь свой язык, сообщать свои взгляды, они спорили друг с другом, спорили с принятыми теориями, с пятилетним планом. Мы ездили на практику на станции Свири, Кавказа, на Днепрогэс. Работали на монтаже, на ремонте, дежурили на пультах.

До нас стало доходить, что у равнинных гидростанций есть противники. Тогда я возмущался косными взглядами этих ученых. Понадобились годы и годы, чтобы убедиться, какой урон приносят искусственные моря, сооружения, губительные для рыбы, климата, как нерасчетливо строят гидростанции. Было нелегко пойти против своей специальности, своих наставников.

На пятом курсе, в разгар дипломной работы, я вдруг стал писать историческую повесть о Ярославе Домбровском. Ни с того ни с сего. Писал не о том, что знал, чем занимался, а о том, чего не знал, не видел. Тут было и польское восстание 1863 года, и Парижская коммуна. Вместо технических своих книг я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами Парижа. О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог.

После окончания института меня направили на Кировский завод, там я начал конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях. С Кировского завода в июле 1941 года я ушел в народное ополчение, на войну. Не пускали. Надо было добиваться, хлопотать, чтобы сняли броню. Война прошла для меня, не отпуская ни на день, до конца 1944 года. В 1942 году на фронте я вступил в партию.

Воевал я на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, воевал в пехоте, в танковых войсках и кончил войну командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Рассказывать о своей войне я не умею, да и писать о ней долго не решался. Тяжелая она была, слишком много смерти было вокруг. Если пометить, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой за-

колдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему.

Когда пишешь автобиографию, пишешь на самом деле не о себе, а о нескольких разных людях, среди них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может, и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете — такой он разный, несовместимый.

Мне повезло: первыми моими товарищами в Союзе писателей стали поэты-фронтовики — Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин,— они приняли меня в свое громкое, веселое содружество. А кроме того, был Дмитрий Остров, интересный прозаик, с которым я познакомился на фронте, в августе 1941 года, когда по дороге из штаба полка мы с ним заночевали на сеновале, а проснулись — кругом немцы... Диме Острову я принес, уже где-то в сорок восьмом году, свою первую законченную повесть, ту самую — о Ярославе Домбровском. Подозреваю, что он так и не прочел ее, жалея меня, но тем не менее убедительно доказал мне, что если уж я хочу писать, то надо писать про инженерную свою работу, про то, что я знаю, чем живу. Я и сам это ныне советую молодым, позабыв, какими унылыми мне показались подобные нравоучения.

То были прекрасные годы. Я не думал стать только писателем, литература была для меня всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью, как прогулка в горы или поля. Кроме нее была работа, главная работа — в Ленэнерго, в кабельной сети, где надо было восстанавливать разрушенное в блокаду энергохозяйство города. Ремонтировать кабели, прокладывать новые, приводить в порядок подстанции, трансформаторное хозяйство. То и дело происходили аварии, не хватало энергии, не хватало мощностей. Меня поднимали с постели ночью — авария! Надо было откуда-то перекидывать свет, добывать энергию погасшим больницам, водопроводу, школам. Переключать, ремонтировать. Днем и ночью мы ремонтировали кабели, поврежденные в блокаду. Где-то треснула свинцовая оболочка, пробралась сырость — кабели тянули в местах бывших воронок. Обстрелы и бомбежки для нас как бы продол-

жались. В те годы — 1945—1948-й — мы, кабельщики, энергетики, чувствовали себя самыми нужными и влиятельными людьми в городе. По мере того как энергохозяйство восстанавливалось, налаживалось, входило, как говорится, в русло, у меня таял интерес к эксплуатационной работе. Нормальный, безаварийный режим, которого мы добивались, вызывал удовлетворение и скуку. В это время в кабельной сети начались опыты по так называемым замкнутым сетям — проверялись расчеты новых типов электросетей. Я принял участие в эксперименте, и ожил давний мой интерес к электротехнике.

И вдруг я написал рассказ. Про аспирантов. Было это в конце 1948 года. Назывался он «Вариант второй». Я принес его в журнал «Звезда». Меня встретил там Юрий Павлович Герман, который ведал в журнале прозой. Его приветливость, простота и какая-то пленительная легкость отношения к литературе помогли мне тогда чрезвычайно. Рассказ был напечатан сразу, почти без поправок. Легкость Ю. П. Германа была свойством особым, редким в нашей литературной жизни. Заключалось оно в том, что литература понималась им как дело веселое, счастливое, при самом чистом, даже святом отношении к нему. Мне повезло, потом уже ни у кого я не встречал такого празднично-озорного отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы.

Рассказ «Вариант второй» был опубликован в 1949 году, замечен критикой, расхвален, и я решил, что отныне так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня сразу будут печатать, хвалить, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть «Спор через океан», напечатанная в той же «Звезде», была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за «преклонение перед Западом», которого в ней как раз и не было. Несправедливость эта удивила, возмутила меня, но не обескуражила. Надо заметить, что инженерная моя работа создавала прекрасное чувство независимости. Кроме того, меня поддерживала честная взыскательность старших писателей — Веры Казимировны Кетлинской, Михаила Леонидовича Слонимского, Леонида Николаевича Рахманова. В Ленинграде в те годы я еще застал замечательную литературную среду — были живы Евгений Львович Шварц, Борис Михайлович Эйхенбаум, Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна Ахматова, Вера Федоровна Панова, Сергей Львович Цимбал, Александр Ильич Гитович,— то разнообразие талантов и личностей, которое так необходимо в молодости. Но, может, более всего помогал мне участливый интерес ко всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной, ее басовитая беспощадность и абсолютный вкус...

Она работала в Бюро пропаганды Союза писателей. Многие писатели обязаны ей. У нее в комнатке постоянно читались новые стихи, обсуждались рассказы, книги, журналы...

Вскоре я поступил в аспирантуру Политехнического института и одновременно засел за роман «Искатели». Вышла к тому времени многострадальная моя книга «Ярослав Домбровский». Заодно и в электротехнике тоже что-то завязалось и стало получаться. Напечатал несколько статей, от замкнутой сетки я перешел к проблемам электрической дуги, тут много было таинственного, интересного, это требовало времени и полной погруженности. По молодости, когда сил много, а времени еще больше, казалось, что можно совместить науку и литературу. И хотелось их совместить. Но не тут-то было. Каждая из них тянула к себе все с большей силой и ревностью. Каждая была прекрасна. Пришел день, когда я обнаружил в своей душе опасную трещину. Но в том-то и штука, что душа — это не сердце, и разрыва души быть не может. Просто надо было выбирать. Либо — либо. Вышел роман «Искатели», он имел успех. Появились деньги, можно было перестать держаться за свою аспирантскую стипендию. Но я долго еще тянул, чего-то ждал, читал лекции, работал на полставки, никак не хотел отрываться от науки. Боялся, не верил в себя... В конце концов это, конечно, произошло. Нет, не уход в литературу, а уход из института. Впоследствии я иногда жалел, что сделал это слишком поздно, поздно стал писать всерьез, профессионально, но, бывало, жалел, что бросил науку. Я знаю, что «величайшая роскошь, которую только может себе позволить человек,— всегда поступать так, как ему хочется». Это слова Александра Бенуа, но лишь теперь я постигаю непростой их смысл.

Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение. Мне не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы.

Решающим рубежом был для меня двадцатый съезд партии. Подействовал он разительно на меня, на все мое поколение фронтовиков, заставил по-иному увидеть и войну, и себя, и прошлое. По-иному — это значило увидеть ошибки войны, оценить мужество народа, солдат, себя самих. Изба-

виться от иллюзий, что всем мы обязаны лучшему Другу и Учителю...

В шестидесятые годы мне казалось, что успехи науки, и прежде всего физики, преобразят мир, судьбы человечества. Ученые-физики казались мне главными героями нашего времени. К семидесятым тот период кончился, и в знак прощания я написал повесть «Однофамилец», где как-то попробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям. Это не разочарование. Это избавление от излишних надежд.

Пережил я и другое увлечение — путешествиями. Впервые мы поехали в 1956 году в круиз вокруг Европы на теплоходе «Россия». Мы — это группа писателей, в том числе К. Г. Паустовский, Л. Н. Рахманов, Расул Гамзатов, Сергей Орлов и я. Для каждого то был первый выезд за границу. Да не в одну страну, а в шесть стран — Болгария, Греция, Турция, Франция, Италия, Швеция,— это было открытие Европы. С тех пор я стал много ездить, ездил далеко, через океаны — в Австралию, Кубу, Японию, США. Это была жажда увидеть, понять, сравнить. Конечно, современные путешествия, во всяком случае мои путешествия, обходились без плена, стрельбы и тому подобных приключений. Но все же я спускался на барже по Миссисипи, я бродил по австралийскому бушу, жил у сельского врача в Луизиане, я сидел в английских кабачках, жил на острове Кюрасао... Я посетил множество музеев, галерей, храмов, бывал в разных семьях — испанских, шведских, итальянских. Кое о чем мне удалось написать. Путевые записки — жанр привычный и опасно легкий. Надо было потратить много сил, чтобы уйти от известных мне шаблонов. Лучшим способом был юмор. И собственные впечатления. И в том, и в другом нет опасности кого-то повторить. С юмором было, конечно, не просто, поскольку вещь это дефицитная, а научиться шутить невозможно. Чему угодно научиться можно, научиться юмору — нельзя. Пришлось заниматься этим, как умею. Собственные же впечатления хороши тем, что в них все достоверно. Но надо их иметь, эти впечатления, получать, вынашивать. Именно собственные, не услышанные, не навязанные.

Автобиография — что может быть проще — она начинается... она кончается... она содержит... состоит... Но как ее ни раскрашивай, она напялена на манекен бесчисленных своих предшественников, написанных в приложение к еще более бесчисленным анкетам.

Как бы ее ни писать, свою биографию, в ней неистребим пыльный запах канцелярских папок, тяжелых шкафов и печатей...

Что это за автобиография, где нет места любви, увлечениям, где нет жены, нет дочери, нет того, что составляло счастье и беду, когда ловишь каждое слово, когда от ссоры и размолвки теряешь себя на месяцы, когда от улыбки ребенка можешь больше, становишься лучше и ничего не страшно. Именно там решалось — и замыслы, и стойкость, и слабости, и поступки. Там, в этих наплывах любви и горечи, они созревали.

Мы поженились в дни войны: только зарегистрировались, как объявили тревогу, и мы просидели, уже мужем и женой, несколько часов в бомбоубежище. Так началась наша семейная жизнь. Этим и кончилась надолго, потому что я тут же уехал обратно, на фронт.

Кто знает, из чего образуется «я». Думаю, что многое зависит от того, где человек живет. Если бы я жил не в Ленинграде, если бы в детстве жил не у Спасской церкви с пушками, если бы потом не на Петроградской стороне, если бы перед глазами моими не была набережная, в гранит одетая Нева, проспекты, то «я», о котором тут идет речь, было бы несколько иное.

Биографии знакомых людей читать интересно — видишь, как автор представляет себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим, этой разницей можно мерить нравственность человека.

Постепенно жизнь моя сосредоточивалась на литературной работе. Романы, повести, сценарии, рецензии, очерки. Писатель, наверное, должен уметь делать все. В этом состоит профессионализм. Я пытался освоить разные жанры, вплоть до фантастики. Единственное, что никак у меня не получалось,— это драматургия. И, конечно, стихи. Но стихи — это вообще искусство особое, ни на что не похожее, как музыка. А вот драматургия — это моя мечта. Мне перед всякой повестью кажется, что надо писать пьесу, но когда сажусь писать, почему-то получается проза...

Боль и любовь все чаще заставляют меня писать. Роман «Картина» возник оттого, что я люблю маленькие города. В детстве моем мы много жили в Старой Руссе. И потом я часто ездил туда, я написал об этом повесть «Обратный билет». Маленькие города Боровичи, Демьянск, Измаил — самые разные, все они отличаются близостью к природе, в них много истории, своя интеллигенция, своя поэтичность, свои невзгоды и бедность.

Маленький город — главный город России. Мне хотелось защитить его красоту. Мы знаем, кто создает красоту, и не знаем о тех, кто ее спасает. «Картина» — это роман и о том, что же может искусство, по крайней мере я пытался это показать.

Вместе с Алесем Адамовичем мы написали «Блокадную книгу», посвященную блокадникам Ленинграда. Мы долго пытались определить ее жанр. Нам представлялся огромный хор, где в согласном звучании соединяются рассказы каждого ленинградца, у него своя партия, свои слова, а всё вместе — оратория, фуга, хорал... Мы так и не определили этот жанр. Во всяком случае, это документальная проза; в ней мы, авторы, стараемся появляться как можно меньше, нам важно, чтобы сказали о себе ленинградцы, блокадники, народная память. Слишком поздно мы взялись за эту работу, но все же успели застать еще многих участников блокады. Они хранили непомеркшую боль, ту ярость воспоминаний, что могла выразить запредельные муки, поразительные духовные силы участников этой великой эпопеи войны.

Самое увлекательное в писательской работе — это общение с интересными людьми; характеры, судьбы — вот что невольно собираешь как бы впрок, без умысла. В этом смысле мне везло. Люди встречались мне удивительные.

Таков был ученый-биолог Александр Александрович Любищев, о котором я написал повесть «Эта странная жизнь». Таков был и замечательный советский генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский. Много лет я знал этого человека и был влюблен в него. Ушел он, и, как это бывает, значимость его стала расти, выявляться перед его учениками, друзьями во всей своей уникальности. Я счел себя в долгу перед памятью о нем, более же всего захотелось восстановить справедливость, защитить его имя от клевет лысенковцев, которые преследовали его при жизни и после смерти.

Перестройку, годы 1986—1988-й я принял как долгожданную счастливейшую пору своей литературной и гражданской жизни. Можно писать без трусливых поправок, предупреждений, запретов редакторов-блюстителей, цензоров, без внутреннего унылого смотрителя. Публицистика властно ворвалась в литературу, раздвинула привычные рамки повести, рассказа. Стало необходимостью участвовать в перестройке личной помощью, прямой речью. Выступления в газете, на телевидении, очерки, статьи... Отвлечение? Да. Но столько накопилось за годы застоя тяжких проблем и экономических, и нравственных, и правовых, что отмалчиваться, не участвовать в их решении было бы стыдно.

Говорят, что биография писателя — его книги. Но почему-то, когда сидишь за столом, работаешь, то мучает чувство утраты — мне кажется, что биография прерывается, что настоящая жизнь, с солнцем, морем, природой, встречами, эта жизнь проходит мимо, она слышна за окнами смехом детей и шумом машин. А когда я не пишу, а гуляю с друзьями, куда-то еду, я корю себя за то, что не работаю, трачу время впустую и т. п. Наверное, такое противоречие неизбежно, но оно доставляет немало горя, оно портит жизнь. Не хочется работать за счет жизни, лучше все же жить за счет работы, потому что жизнь — она выше, она дороже. «Ну еще одна книга,— говорю я себе,— что от этого изменится?» Доказываю себе, что ничего,— и тем не менее сажусь писать.

Иду на грозу

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Волшебник прилетел в Москву шестого мая в восемь часов утра. Он первым сбежал по качающемуся трапу на бетонные плиты аэродрома. Взгляды встречающих устремлялись к нему и соскальзывали: никто не находил ничего особенного в этом стройном загорелом парне в модном ворсистом пиджаке.

Он прошел сквозь толпу, оставляя позади поцелуи, смех, цветы, неестественно громкие голоса, какие бывают в первые минуты после приземления, когда еще длится легкая глухота.

Весь его багаж составляла кожаная папка, где между бумаг бренчали мыльница и зубная щетка.

Через тридцать минут такси подвезло его к центру. Утренний людской поток втянул его, понес, крутя у дверей метро, у подземных переходов, у газетных ларьков. Москва спешила на работу, заставляя ускорить шаг.

Над сверкающей стремниной машин плыли высокие, обтянутые голубым стеклом троллейбусы, похожие на аквариумы. На перекрестках бойко торговали цветами. В зеленых бачках вскипала черемуха. Сквозь нарастающий шум остро, по-детски процокал ослик с рекламой цирка. Было без десяти девять, кругом уже не шли, а бежали.

За зеркальным стеклом витрины стояла девушка, держа рулон пестрого ситца.

Казалось, что это манекен, но вдруг девушка наклонилась, и волшебник, улыбаясь, задержался перед витриной и приказал, чтобы она посмотрела на него. Девушка послушно обернулась и, оглядев его, что-то сказала. Губы ее беззвучно зашевелились, а потом она рассмеялась, рот открылся широко, как будто она хотела

показать все свои зубы — и не могла: так много их было, маленьких, розоватых, похожих на бусы.

Он пошел дальше, двигаясь странными зигзагами, то замедляя, то убыстряя шаг, сворачивая в солнечные тихие переулки и вновь возвращаясь на центральные бульвары.

У Пушкинской площади он задержался перед газетным щитом.

Москва торжественно встречала победителей олимпиады.

В Кремле состоялся прием участников астрономического конгресса.

Открылась выставка строителей.

Наградили орденом академика Лихова.

Он читал газету с особым аппетитом приезжего, которому все происходящее в Москве вдруг стало доступно: можно было побывать и на выставке, и на конгрессе.

В этот раз его прибытие в Москву пройдет незамеченным. На завтрашние газеты вряд ли стоило рассчитывать. Никто из репортеров не справлялся о нем, а ведь не так уж много волшебников приезжает в Москву. И все же где-то в будущем существовал номер газеты с его фотографией: среди букетов цветов он, улыбающийся, или нет — лучше усталый, чуть смущенный. А внизу интервью: сегодня Москва встречала Олега Тулина; «в беседе с нашим корреспондентом Олег Николаевич рассказал...».

Человеку никогда не будет дано прочесть послезавтрашний номер газеты. Но на то и существуют волшебники — совершенно явственно он видел этот влажный от непросохшего клея газетный лист со своей фотографией на последней странице.

С Каменного моста открывались золоченые купола соборов Кремля. А справа в солнечном дыму стоял высотный дом, чванливый и плоский, красный прибой крыш бился о его подножие. Повсюду, как мачты огромного флота, двигались башенные краны.

Подобно полководцу, он изучающе разглядывал город, который ему предстояло завоевать, который должен будет признать его и который еще не подозревал этого.

Грандиозность желания вызвала у него ироническую улыбку, за ней скрывалось уважение к самому себе.

Он задержался на перекрестке, выбирая направление. Нерешительность не была ему свойственна, скорее

то было состояние неустойчивого равновесия, когда достаточно малейшего повода, чтобы сделать выбор.

Ветер толкнул его в бок, и он охотно последовал за ветром. Улица упиралась в парк. По аллеям шествовали процессии детских колясок. В парке еще хранилась утренняя тишина. Кое-где на скамейках сидели студенты. Они зачарованно покачивались над конспектами. У них были отрешенные лица сомнамбул. Неужели и он когда-то всерьез переживал экзамены?

Под полосатым тентом официантка расставляла стулья. Он выбрал столик у перил, над прудом. Официантка протянула ему меню.

— Несите все подряд,— сказал он.— Начинайте с первой строчки. Я скажу, когда хватит.

Официантка улыбнулась. У нее были милые ямочки на щеках.

Ветер трепал ему волосы. Светлые, чуть вьющиеся, они разлохматились, и он не стал приглаживать их. По глазам официантки он видел, что ей так тоже нравится. Среди бледных москвичей его темный, южный загар бросался в глаза. Тулин снял пиджак, повесил на спинку стула, засучил рукава модной грубошерстной рубашки и принялся за салат, кефир, яичницу, сосиски, выпил стакан кофе, съел бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой и почувствовал себя снова волшебником.

— А хвастались,— сказала официантка.— Я думала, вы только начинаете.

Он смотрел ей в глаза.

— Мужчина всегда обещает больше, чем может.

— Это верно.— Она засмеялась, не отводя взгляда.

— Я не хочу показаться обжорой, а то вы измените мнение обо мне.

— Будто вы знаете, какого я мнения о вас?

— Я все знаю. Я знаю: вам противны жующие мужчины. Целый день вы видите жующих мужчин. Вам может понравиться только мужчина, который ничего не ест.

Неутолимое желание очаровывать всех, первого встречного, словно и эту официантку необходимо было завоевать.

Взглянув поверх ее головы, он сказал:

— Уберите салфетки, будет дождь.

— Прямо-таки! С чего вы взяли?

— Я же вам сказал, что знаю все.

Он шел вдоль пруда, наблюдая, как в вышине быстро вспухает сизое облако. Официантка смотрела ему вслед. Это была милая девушка, с ней приятно было бы погулять вечером в парке, но завтра он уедет, и поэтому он ничего не мог обещать ей. Он почувствовал ее огорчение и подумал о том, как трудно доставлять окружающим одну только радость, чистую радость, без привкуса сожаления.

У лодочной станции он поднялся на ступеньки беседки, обвитой плющом. Облако растекалось по голубому небу густым чернильным пятном.

В этом еще солнечном беззаботном парке он был единственным, кого всерьез занимало то, что творится в вышине. Он знал, что небо испорчено.

Темная середина облака провисала все ниже. Серебристые края его зловеще дымились. Наползали тени, ветер укрылся в деревьях, по-кошачьи перебирая мягкие листья.

Потемнело. Вместе с душной темнотой опускалась тишина, ясно слышная сквозь шум города.

Несколько тяжелых капель звучно ударили о землю. Первая пристрелка, сигнал тревоги. Лебеди на пруду быстро плыли к дощатой будке.

Тулин поднял руку.

— Давай!— негромко скомандовал он, взмахнул, и тотчас, включая грозу, вспыхнула молния. Еще. Еще — и крупный, сильный дождь наполнил парк плещущим шумом.

В беседку отовсюду сбегались люди. Отряхивались, смеялись, любуясь первой грозой. С карниза полилась, набухая, толстая, чуть поблескивающая струя. Ветвистый лиловый зигзаг молнии прорезал небо наискосок, упал где-то рядом, и холодный металлический свет проблеснул на тысячах мокрых листьев.

— Хорошо!— одобрил Тулин.

Гром взорвался над головами, сотрясая воздух. В беседке ахнули. Тулин поднял мокрое лицо навстречу грохочущим обвалам. Стихи пришли сами собой, старинный торжественный ямб свободно ложился на могучий аккомпанемент грозы. Он читал громко, не слыша себя среди нарастающей канонады:

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучу облака
И на краю небес ненастье зародила?

Внезапно сверху из беседки насмешливо спросили:

— Ну и как, удалось вам узнать?

— Представьте, удалось,— резко ответил он, не оборачиваясь.

Больше всего он боялся показаться смешным.

— Что значит поэты! Вы поэт?

Голос был женский, низкий, шершавый от сдержанного смеха.

— А почему бы нет! — сказал он.

— Как интересно! Прочтите, пожалуйста. Что у вас там дальше про грозу выясняется?

— Перестань,— остановил второй женский голос и что-то еще добавил тихо. Обе прыснули, а потом та, первая, смешливая, сказала:

— Никогда не видала живого поэта. Да еще мокрого. А как вы пишете стихи?

— При помощи всяких катушечек, конденсаторов.

— Скажите, пожалуйста, и что же это за приборы?— Его расспрашивали поощрительно, как мальчика, который заврался, и тогда он ответил тем же тоном, пытаясь взять верх в этой игре:

— Как бы вам объяснить доступнее? Ну, нечто среднее между пылесосом и велосипедом.

— Ай-я-яй, как сложно!

— Нет, он пользуется пишущей машинкой!

— Холодильником!

— Или штопором. С конденсатором!

Смеясь, оба голоса перебивали друг друга.

— К вашему сведению...— запальчиво начал Тулин, но орудийный залп грома заставил его вздрогнуть. Потом он долго не мог простить себе этого.

Наверху расхохотались.

— Не бойтесь, поэт. Молния ударяет только в выдающиеся предметы.

Тогда он обернулся. В пятнистой тени беседки неразличимо белели два лица. Он поднялся на верхнюю ступеньку, перегнулся через перила.

— Какие славные эрудиточки,— сказал он.— Вы верите в чудеса?

— А вы кто — маг-волшебник?

— Смеетесь? — сказал Тулин. — Смеяться — самое немудреное занятие. Ведь эту грозу я вызвал. И все молнии мне подчиняются.

— А вы можете прекратить грозу?

— Сейчас еще трудновато, — внушительно сказал он. — Через годик — пожалуйста. Приходите сюда, и я вам сделаю...

Он услыхал, как та, что посерьезней, сказала: «Они все немного психи».

— Как же вы это сделаете?

— Подлечу к грозе и уничтожу. Не верите? Давайте сюда вашу руку.

К нему смело протянулась рука. Маленькая ладонь, сложенная лодочкой, была холодной и мокрой.

— Вы собираетесь гадать?

— Смотрите наверх, — приказал он.

Под сизой тяжестью низких облаков расплывались еще более тяжелые, почти черные клочья, они сталкивались, крутились, куда-то неслись.

— Пройдет год или около того, — медленно и торжественно говорил он, — и вот такая рука, как ваша, свободно станет управлять всей этой грозной стихией. Я не прошу вас верить мне, я лишь хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю грозу и наш разговор.

Дождь редел. Гроза, громыхая, удалялась на запад вместе с лиловой тьмой, прохлестнутой белесыми молниями.

Раздвинув плющ, на него смотрели две девушки — одна высокая, черноволосая, с лицом строгим, диковатым, вторая — в прозрачном капюшоне, ярко-коричневые глаза ее глядели удивленно и запоминающе.

— А кто из нас давал вам руку? — внезапно спросила она.

— Вы, — сказал Тулин. — Вы, Женечка, Женя.

— Так нечестно, вы подслушали!

— Четвертый курс. Скорей бы на практику. Евтушенко — сила. Замуж и не думаю...

Под деревьями продолжало дождить, парк еще был ошеломлен, но уже остро запахло травой, и на песке робко проступали солнце и тени.

Тулин ступил в желтую пенистую лужу. Девушки засмеялись и ускорили шаг. Они торопились на лекцию.

— Я знаю, о чем вы думаете,— сказал Тулин.— Я знаю ваше желание и готов выполнить его.

— Попробуйте.

— Вы не хотите идти на лекцию, вы хотите познакомиться со мной, хотите остаться гулять в этом парке.

— Глупости,— строго сказала высокая девушка. Ее звали Катя.— Вы слишком самоуверенны.

Тулин посмотрел на Женю и быстро сказал:

— В таких случаях самое оригинальное — быть честным. Будьте оригинальны. Уступите себе, ведь потом будете жалеть, что не решились.

Женя засмеялась. Ярко-белые зубы осветили ее лицо.

Но он не улыбался, и весь этот треп обретал странную многозначительность. Большие коричневые глаза Жени смотрели серьезно.

— Ничего, мы же договорились встретиться здесь через год.

Тулин сжал ее пальцы.

— Мне почему-то кажется, что это произойдет раньше.

— Мы опаздываем,— сказала Катя.

До остановки было далеко. Тулин вышел на мостовую навстречу несущемуся троллейбусу, поднял руку. Он слегка прищурился, наслаждаясь своей щедростью чародея. Троллейбус, скрипнув тормозами, остановился перед его грудью. Водитель погрозил кулаком, но вдруг усмехнулся и открыл двери. Девушки вскочили. Тулин помахал им.

Он взглянул на часы. Оставшиеся полтора часа показались ему обременительно ненужными. Следует что-то придумать, чтобы люди могли сдавать на сохранение лишнее время, размышлял он, сдавать, как в сберкассу, а потом брать по мере надобности.

Он отряхнул пиджак и направился в институт, зная почти наверняка, что именно там ему сейчас не следовало бы появляться.

ГЛАВА 2

Утро этого дня в лаборатории № 3 ничем не отличалось от обычного. Было душно, мужчины работали в рубашках. Бочкарев принес букетик ландышей и поставил в колбочку старшей лаборантке Зиночке.

Пеленгаторы атмосфериков отметили грозу, идущую с северо-востока со скоростью двадцать километров в час. Матвеев включил регистраторы.

Утро двигалось деловито и размеренно, не готовое ни к каким происшествиям.

В половине одиннадцатого в лаборатории неожиданно появился Голицын. Опережая его, из комнаты в комнату понеслась суматоха приготовлений. Мужчины надевали пиджаки. Зиночка сунула ландыши в шкаф. Ричард запихивал под стол мотки проводов, панели, старые схемы — весь хлам, который с непостижимой быстротой скапливался вокруг него.

Голицын надвигался, размахивая огромным портфелем, полы распахнутого плаща разлетались крыльями. Не отвечая на приветствия, он отрывисто выпаливал:

— Болтология!.. Дичь!.. Совещания!.. Заседания!

Швырнув на стол Крылову портфель, он принялся яростно обмахиваться шляпой. Крылов встал, освобождая стул, но Голицын крикнул ему:

— Кто-нибудь подсчитал, сколько я просидел часов на заседаниях? Всего за последние десять лет? Хотя бы примерно?

Крылов опустил длинные руки, неловко и угрюмо задумавшись.

— ...Представляете, на этой идиотской летучке я подсчитал. Три тысячи триста часов. Из них три тысячи бесполезных. Вам-то что, вам никто не мешает.

Агатов издали осторожно улыбнулся.

— ...А кто вам мешает? Строите себе кривые, а вот мне осталось работать каких-нибудь шесть тысяч часов. С моим здоровьем? Не больше. Не спорьте.

Редкие седые волосы Голицына растрепались, обнажив беззащитно розовую лысину. Он свирепо оглядел стоящих вокруг него сотрудников, остановился на Крылове.

— Вас это, конечно, мало заботит,— ядовито обрадовался Голицын.— Вообще непонятно, что вас занимает. Где вы витаете?

Сонные глаза Крылова смотрели отсутствующе, безразлично.

Голицын неожиданно обернулся к Матвееву.

— Плохо! Переделать! Разве это результаты?

В такие минуты с Голицыным старались не спорить. Он мог обрушиться любой несправедливостью, капризом. Матвеев, что-то беззвучно шепча, отступил.

— А чем плохо,— вдруг медленно сказал Крылов с тем же отрешенным видом.— На таких флюксметрах большей точности не выжать.

Маленькое скомканное лицо Матвеева расправилось, он благодарно кивнул Крылову.

Голицын запыхтел.

— Кто говорит, что плохо? Вы слова не даете сказать. Вы бы лучше свои работы форсировали.

— Флюксметры я устрою,— сказал Агатов.

Таблицы, рулоны лент, фотографии, наваленные на столе, замелькали под руками Голицына. Нырнув в эту бумажную груду, он, клюнув своим острым, с породистой горбинкой носом, безошибочно извлек тот самый график, который Крылов прятал от себя. Прищурясь, повертел его в вытянутой руке.

— Сколько вы еще намерены мыкаться?..

Агатов откашлялся за спиной.

— Аркадий Борисович, я торопил Крылова, предупреждал: мы план сорвем.— Вся его костистая фигура, белое лицо с крепкой челюстью выражали сдержанное огорчение.— А насчет летучки, Аркадий Борисович, послали бы меня, я бы отсидел. Вы сами не цените своего времени.

Голицын раздраженно отмахнулся от него графиком. Крылов смотрел на галстук Голицына...

«Конечно, она отлично понимала, что чем быстрее мы оба работаем, тем скорее расстанемся,— думал Крылов.— Просто мы старались об этом не говорить. Два идиота. Два исступленно честных идиота. У нее было сколько угодно предлогов, чтобы задержать работы. Интересно, думала ли она об этом? Какого числа сняли последний график? Лед на озере трещал и гнулся под ногами. Что она сказала про лед? Приборы уже стояли в воде. И она здорово выдала про лед...»

— Разрешите,— сказал Крылов и, перегнувшись через стол, потянул к себе график. Получилось неловко, почти грубо.

— Однако...— Голицын величественно выпрямился, и всем стала видна невоспитанность Крылова. Дав это почувствовать, Голицын сгорбился и превратился во вздорного, ехидного старика.— Полюбуйтесь на него. Анахорет. Одичали вы. Так и свихнуться недолго... Нет, нет, вас силой надо оторвать от вашей фантастики.

Бочкарев и Ричард переглянулись.

— Старик хочет на нем выспаться,— шепнул Ричард.

Бочкарев покачал своим огромным черепом гнома.

— Тут что-то... подожди...

Но Ричард уже выскочил перед Голицыным.

— Почему у вас осталось шесть тысяч часов работы, Аркадий Борисович, из чего вы исходите?— Храбрая улыбка заплясала на его бледном подвижном лице.— Тогда есть смысл работать не больше часа в сутки.

— Что вы суетесь?— сказал Голицын.— Что вы знаете о старости? Стареть — это скучное занятие.

— Но пока это единственное средство долго жить,— сказал Ричард.

Бочкарев протянул Голицыну письмо какого-то изобретателя, предлагающего использовать свойства ревматических суставов для прогноза погоды. Раздался преувеличенно громкий смех. Заслоняя Крылова, Бочкарев ласково взял Голицына под руку, повел показывать новую аппаратуру.

— Чего хлопочете?— сердито буркнул Голицын.— Вызволители.

Почтительная процессия проследовала за Голицыным в соседнюю комнату, к стендам.

Крылов расправил измятый график. Там стояла дата: «12 марта». Две цифры и несколько слов, написанных легким косым почерком. Он попытался вспомнить, что это был за день. Снимали счетчики на озере? Или заканчивали обходы в лесу?

Иногда Наташа задерживалась, и они работали до поздней ночи. На этот раз она тоже задержалась. Наступили сумерки, но почему-то никто из них не поднялся включить свет. Наконец совсем стемнело, так что уже нельзя было писать. Они перестали писать. Наташа сидела в кресле не шевелясь. Антоновы куда-то уехали, и они были одни в доме. Он подумал об этом, да, он совершенно ясно помнит, что подумал об этом. Он встал, подошел, и она вдруг прижалась к нему. Он даже не

ожидал, что все получится так просто и хорошо. На рассвете он проснулся с тем же чувством удивления. Наташа еще спала. Она улыбалась во сне. Совершенно доверчиво. Так, как будто она уже ни в чем не сомневалась. У нее были пухлые губы и брови длинные, наведенные... Вдруг, не открывая глаз, она сказала:

— Не смотри на меня.

Когда они вышли на крыльцо, снег, румяный от восхода, казался теплым, а дом оброс длинными ледяными сосульками. Дом весь сверкал, звенел и таял, Крылов провожал ее к автобусу. Она по-прежнему смотрела на него с доверчивым восхищением, и он встревожился. Ему хотелось, чтобы все оставалось приятным случаем, и ничего серьезного. Он не был готов к серьезному, и не нужно, чтобы она придавала этому такое значение, ни ей, ни ему это не нужно.

Стоило подвернуться таблице, заполненной Наташиной рукой, как мысли его сбивались. Иногда подолгу сидел, уставясь в одну точку, вспоминая и вспоминая. Никто не подозревал, какими усилиями он заставлял себя вернуться к работе. Бывали часы, когда люди двигались вокруг него плоские, бесшумные, как в немом кино.

Голицын возвращался, сопровождаемый Ричардом и Агатовым, сзади теснились остальные.

— ...И все же философы утверждали, что теория сера, а вечно зелено дерево жизни,— говорил Ричард. Он был, пожалуй, единственным в институте, кто осмеливался спорить с Голицыным.

— Знаток,— сказал Голицын.— Между прочим, какой это философ утверждал?

— Из древних.

— Из древних! Ну да, все, что до революции, у него из древних. К вашему сведению, это Гете. Был такой древний поэт. Была у него такая пьеса — «Фауст», и произносит эти слова Мефистофель, желая вызвать сомнения у Фауста.— Голицын оглядел Ричарда.— А Фауст был ученый, а не аспирант. Можно сказать, академик. А у вас, Ричард, еще конь не валялся. Всё рассуждаете. Так вы и останетесь вечнозеленым деревом.

Агатов засмеялся, хлопнул Ричарда по плечу.

— Точно сказано...

Он смеялся четко и внушительно, так же, как говорил. Наклоняясь к Голицыну, он начал докладывать о сдаче отчетов. Озабоченная морщинка прорезала его гладкий лоб с белесыми бровями над стальными шариками глаз. Как-то само собой получилось, что после ухода начальника лаборатории все организационные дела повел Агатов, и считалось, что ему и предстоит занять это место.

Голицын досадливо закряхтел. Он не любил заниматься канцелярщиной — отчетами, планами, заявками. У Агатова, разумеется, было положение нелегкое: Бочкарев требовал включить тему, которую не утверждали. Крылов тянул с отчетом, из-за него откладывался семинар.

— Анархия! — крикнул Голицын. — Так дальше нельзя.

Крылов улыбнулся.

«Лед сам недавно был волной,— сказала Наташа,— а теперь он душит ее».

А может, она сказала не «душит», а «гасит», нет, она сказала как-то иначе, точнее. Как быстро все забывается! Желтое плюшевое кресло, в котором она любила работать, поджав ноги. Прикосновение ее плеча, всякий раз ошеломляющее, как будто ничего не было и все только начинается. А на перроне она стояла в красном пальто и красных рукавичках, и мы говорили про крокодилов, а потом про лыжную мазь — ни о чем другом, только про лыжную мазь.

— Что тут смешного! — сказал Голицын. — Ошибаетесь, на этот раз не удастся, я вас заставлю заниматься делом.

«Хорошо бы сейчас превратиться в крокодила, — думал Крылов, — огромным крокодилом выползти из-под стола. Представляю их физиономии! Зиночка бы закричала, а старик возмутился бы: «Прекратите свои выходки, как вам не стыдно!»

Голицын взял портфель, шляпу и без всякого перехода, тем же ворчливым голосом сказал:

— Сергей Ильич, подавайте заявление на конкурс.

Крылов тупо застыл, раскрыв рот.

— Ну что вы уставились? — рассердился Голицын. — Подавайте заявление на должность начальника лаборатории.

Воцарилась оглушительная тишина. Все посмотрели на Агатова. Губы его сжались, почти исчезли. Какое-то мгновение казалось, что и сам Агатов исчез, остался только строгий темно-серый костюм.

Только Голицын делал вид, что ничего не замечает. Старчески семеня ногами, он подошел к Ричарду.

— Чтобы к понедельнику прочитали «Фауста». Небось всякими Хемингуэями упиваетесь.

— Я этого «Фауста»... я его наизусть выучу!— восторженно сказал Ричард.

— Чего радуетесь, чего радуетесь!— фыркнул Голицын. Не оборачиваясь, ткнул пальцем в сторону Крылова.— У него тоже сумбур в голове, но хоть какие-то идеи копошатся.— Он закрыл один глаз, покосился на Агатова.— Хоть и завиральные... Планы составлять научится. Бумажки, промокашки, кнопки, скрепки... А нам идеи нужны. Дефицит. Профессор Оболенский покойный на папиросных коробках всю бухгалтерию вел...

Так всегда в трудные минуты — напускал на себя стариковскую чудаковатость. Подслеповато щурился, кричал отрывисто, громко, как глухой. Поди подступись! Шестьдесят девять лет, склероз.

Самое удобное было считать, что Крылов ошалел от счастья и поэтому не в силах ничего ответить. Глаза его оставались дремотно-далекими. Все видели это, и всем было стыдно перед Голицыным.

Бочкарев пихнул Крылова локтем, прошипел, как маленькому:

— Скажи спасибо.

— Ну да,— сказал Крылов,— спасибо.

Теперь, когда он вспомнил слова Наташи про лед, он понял, что ему хотелось вспомнить что-то другое, но что — он не знал. Он смотрел, как шевелились морщинистые губы Голицына, и блестела во рту золотая коронка, и шевелились толстые, сочные губы Ричарда, и накрашенные губы Зиночки, и прикрытые усиками губы Матвеева. Все шевелили губами и стояли на месте. Им можно было, как в дублированном фильме, подгонять совсем другие слова.

Голицын повел плечом, и все отошли, оставили их вдвоем.

— Что с вами, Сергей Ильич?— спросил Голицын.

«Зачем мы расстаемся?— сказала Наташа.— Я все понимаю, но что мы делаем?»

— Да, да, вы не волнуйтесь,— сказал Голицын,— все будет хорошо, все образуется.

Наивысшее удовольствие, какое мог бы Крылов себе доставить,— это собрать из всех бумаг здоровенный кляп и засунуть в рот старику.

ГЛАВА 3

Клубом служила верхняя площадка запасной лестницы. Здесь пахло табаком, стояли ведра уборщиц, щетка, старые урны — всего этого было достаточно для уюта. Ни одна лаборатория не имела такого милого местечка. В главном здании коридоры были слишком чистые и светлые, там приходилось маяться в просторной гостиной, обставленной новенькими креслами.

Они сидели на перилах, курили, и Бочкарев пытался выяснить, какая муха укусила старика, откуда это неожиданное предложение. В последнее время Голицын наконец решился выступить против академика Денисова, и тут Крылов и Бочкарев были целиком на стороне своего шефа, и, может быть, зная это, он хотел укрепить тылы. А может, он просто задумался о наследнике.

— Ты вполне подходишь для наследного принца,— говорил Бочкарев.— Кандидат, физик, подаешь надежды, молод. Чего мы будем гадать, бери и властвуй.

— А зачем мне это нужно?— спрашивал Крылов.

— Вот тебе и на. Приехали! Лабораторией должен руководить ученый. А нашей — физик. Старик чувствует.

— Ох этот старик!

Несмотря на все слабости Голицына, они почитали его. Что бы там ни говорилось, шеф по праву слыл одним из основоположников науки об атмосферном электричестве. Последний зубр, старая школа, он, как никто, знал проблему в целом — правда, скорее как метеоролог, а не как физик. Он обладал широтой, но ему не хватало глубины, которая требует узости.

— Кое-чем тебе придется пожертвовать, не без этого,— говорил Бочкарев,— но важен общий выигрыш.

Крылов сплюнул в пролет.

— Иначе что же, иначе Агатов,— сказал Бочкарев.— Ты откроешь дорогу Агатову.

— А что страшного? Он хороший организатор.

— Да-да, многие так считают. Но ты! Он же не творческий человек. Он бесталанен. Это опасно, как гангрена. Недаром он рвется к этой должности. Еще до Пархоменки был у нас такой завлаб Сирота, дурак дураком. Агатов спихнул его, все были рады, но я тогда уже почувствовал, что Агатов для себя старался. А прислали Пархоменко. Ну, Пархоменко — доктор, талантище, Агатову не по зубам. Вы небось полагали, что Агатов в восторге от Пархоменки. Как бы не так! Он его тоже выпихивал, только на сей раз наверх выдвигал. Бог ты мой, какие вы все слепцы!

— Любим мы преувеличивать,— сказал Крылов.— Ну, хочет быть начальником — значит, будет хорошо работать. А я не хочу. Мне со своей темой не разобраться. Чего ради я буду еще с вами возиться. Да я и не умею.

— Учись. Еще Офелия говорила: все мы знаем, кто мы такие, но мы не знаем, кем мы можем быть.

— Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Мне надо добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий.

— А всякая шушера в лаборатории тебе нужна?— рассердился Бочкарев.— Вот увидишь, что получится.

Склонный к анализу, он неумолимо выводил печальные последствия отказа Крылова.

— А почему бы тебе не пойти на эту должность?— спросил Крылов.— Ты так хорошо понимаешь необходимость самопожертвования.

Бочкарев считался лучшим специалистом по измерительной технике. Ему несколько раз предлагали защищать докторскую — он только пожимал плечами: зачем, разве он станет больше знать оттого, что получит степень доктора? Он нисколько не рисовался, этот маленький горбун с большой яйцевидной лысой головой. Временами, наблюдая, как он, бормоча и пришептывая, колдует над схемой, Крылов понимал, что ничего более приятного для Бочкарева не существует.

«Его величество эксперимент,— поддразнивал Голицын,— нет, отклонение стрелки — это еще не наука». Бочкарев мягко соглашался, но иначе он работать не

мог. Конечно, из муки можно изготовить разное, оправдывался он, но в любом случае для этого надо смолоть зерно.

Бочкарев заходил по площадке, отшвыривая ногами ведра.

— Где уж мне с такой рожей. Может, это глупо... Я однажды замещал Голицына... Пришлось заседание вести, так мне все время казалось, что все смотрят на меня и смеются. Мне на людях всегда мучительно. Я себе Квазимодой кажусь.

Большие грустные глаза его влажно блестели. Крылов давно свыкся с внешностью Бочкарева, не замечал ее, но сейчас вдруг вспомнил, что на собраниях Бочкарев забивался в дальний угол, никогда его не заставишь выступить, и на институтских вечерах он не показывался. Он воображал себя уродом, и спорить с ним было бесполезно.

— Наплюй,— сказал Крылов.— И не замыкайся. Чуть что, бей по морде интеллектом. Талант — это ж самая редкая красота. Она у тебя на физиономии написана.

Бочкарев вяло покачал головой.

— Когда-то в детстве мне сказали, что все горбуны злые. С тех пор я на всю жизнь боюсь стать злым. Мне очень легко озлиться.

В дверях показался Ричард.

— Я-то вас ищу!— обрадовался он.— Сергей Ильич, поздравляю. Каков фитиль Агатову! Ну и спектакль выдал старик! Теперь держись!

Он оглушил их проектами реконструкции лаборатории, новыми темами. Фантазия его разыгралась: он запускал спутники с телевизионными установками, управлял погодой. Он не желал и думать, что Крылова может не устраивать должность начальника лаборатории. Не умолкая ни на минуту, он приседал, разминался, подтягивался на стремянке, корчил рожи, изображая то Агатова, то Голицына. Жажда деятельности переполняла его.

— Ну вот, эгоист, слыхал глас народа?— сказал Бочкарев.

— Сами вы эгоисты,— ответил Крылов.— Только вас много, поэтому вы называете себя коллективом.

Ричард поразился:

— Вы не хотите? Сергей Ильич!— Глаза, руки, брови, все тело его выражало удивление, даже выцветшая клетчатая ковбойка удивленно уставилась беленькими пуговичками.

— Я работать хочу,— сказал Крылов.— Идите вы все!.. У меня только-только проклевывается.

— Сами требуем дорогу молодым, обновить руководство.

— А когда предлагают, то в кусты!

Наперебой они наседали на него...

А на озере прозрачный лед прогибался под ногами, и видно было, как белые пузыри воздуха сплющивались там, над водой. Ветер сбивал с ног. Несколько раз они проваливались — хорошо, что было мелко и счетчики не упали в воду. Мокрые, застуженные, они еле добрались до рыбачьего поселка и долго грелись в буфете. Они ели винегрет, пили водку. Из-за стойки вышел тяжелый, старый кот. Он лизнул мокрые Наташины брюки и закричал басом.

— Кот заколдован,— сказала Наташа.— Не верите? Хотите, он съест соленый огурец?

— Чепуха,— сказал Крылов,— коты не едят огурцов.

Наташа бросила на пол желтый кружок огурца. Кот понюхал и захрустел...

— ...Начальник, он всегда умнее,— сказал Ричард.— Стать начальником — верный способ поумнеть.

— Агатов собирался расширять лабораторию. А мне кажется, надо ее уменьшать. Сократить договорные темы,— сказал Бочкарев.

Поставив руки на бедра, Ричард наклонялся вправо, влево, приговаривая:

— К — вопросу — о — некоторых — данных — наблюдения — гроз — Тульской — области — во — второй — половине — девятнадцатого — века...

— Агатова надо как-то нейтрализовать, он опасен.

— Заарканим,— сказал Ричард.— Неужели вы его боитесь, Сергей Ильич?

— Никого я не боюсь. Братцы,— Крылов виновато положил им руки на плечи,— отступитесь вы от меня.— И ушел.

— Что с ним творится?— спросил Ричард.

— Это с тех пор, как он вернулся с Озерной,— сказал Бочкарев.

Ушел и Ричард, стало тихо. Бочкарев походил, посмотрелся в блестящий наконечник пожарного шланга. Кривое зеркало делало его лицо почти нормальным.

Крылов шагал из комнаты в комнату, разглядывая привычные стенды, аппаратуру, своих товарищей. Внезапно он услышал тикающие, щелкающие, жужжащие звуки включенных приборов. Перья самописцев неутомимо рисовали невидимые бури, происходящие где-то в черной дали вселенной, взрывы на Солнце, ливни космических частиц. На тонких дрожащих линиях отражалась жизнь мельчайших частиц, дыхание земного шара, его дожди, грозы — все, что творилось в этом чистом голубом небе и в этом весеннем воздухе. По мерцающему экрану атмосферика проносились зеленые разряды гроз, идущих над Африкой.

Его подозвал Матвеев показать монтаж следящей системы. Судя по всему, получалось надежно и просто. Матвеев всегда показывал свои работы Крылову, хотя Крылов разбирался в этих вещах хуже него. У Матвеева не было диплома, и он робел перед каждым инженером.

Матвеев поворачивал диск. Обшлага его сатиновой спецовки лохматились. Крылов вспомнил, что никогда не видел на Матвееве приличного костюма. Из-за проклятого диплома Матвеев до сих пор числился старшим лаборантом. А между тем он был отличным, самостоятельным ученым, и следовало давно уже выхлопотать ему персональный оклад, доказать начальству, что о таком человеке надо судить не по диплому, а по тому, что он есть и что он может дать.

Крылов собрался было сказать ему об этом, но вдруг сообразил, что теперь сочувствовать и возмущаться он уже не может. Наверное, надо что-то обещать. Или он должен вообще промолчать. И это непривычное чувство связанности удивило и не понравилось. Подбежала Зина, разложила осциллограмму, попросила отметить нужные пики. Она прижалась к нему грудью, шепнула:

— Смотаемся позагорать на вышку? Мы все идем в обеденный.

Крылов почесал затылок.

— Ну вот, уже заважничали,— сказала Зина.

Он не нашелся что ответить. И это было глупо — еще вчера вместе со всеми он валялся на вышке, и играл в дурака, и посматривал, не идет ли пожарник, потому что на старую вышку было строго-настрого запрещено забираться.

Миновав аккумуляторную, Крылов свернул к вычислителям, но, не дойдя до них, остановился и пошел назад. В коридоре он встретил Песецкого.

— Сережа,— сказал Песецкий,— эн равно минус два.

Из кармана его пиджака торчала «Юманите».

— Чего пишут?— спросил Крылов.

— Ужасы капитализма. Девушка отравила одиннадцать родственников,— сказал Песецкий.— Эн равно минус два,— убежденно повторил он и помахал перед Крыловым исписанными листками.

— Неохота мне браться за лабораторию,— сказал Крылов.— Загремит наша тема.

— Наверное,— сказал Песецкий.— А знаешь, как я вычислил?

— Не гожусь я для этого дела. Не справлюсь.

— Ничего, массы поддержат. Так вот, я вычислил подкорковыми центрами. Включил подсознание!

— Я как представил себе,— сказал Крылов,— так сразу почувствовал, что не могу быть самим собою. Боюсь не то сделать, не так сказать.

— Тогда откажись, делов палата.

Они зашли в комнату, где работали студенты. Песецкий упоенно расписывал свой метод: если какая-нибудь задача не получается, надо заняться другим и включить моторы подсознания. Так поступал великий математик Пуанкаре. Моторы срабатывают, и в один прекрасный миг решение придет само, выскочит на поверхность из темных подкорковых глубин.

— Важно дать задание своему подсознанию,— ораторствовал он,— и дальше можно не беспокоиться.

— А спинной мозг годится?— совершенно серьезно спросил Алеша Микулин.

Крылов стоял у окна, полузакрыв глаза. Потом он сердито сказал:

— Эн должно быть больше нуля. Иначе молнии будут бить с земли в облака.

— Это их дело,— сказал Песецкий,— мое дело — составить уравнение.

— Но оно лишено физического смысла.

— А какой смысл в молнии?— спросил Песецкий.— Ты можешь объяснить? Я полгода бьюсь над расчетом атмосферных помех. Какой в них смысл? Никакого смысла.

Он обнял Крылова и сказал на ухо:

— Брось ты мучиться. Все решится само собой. Всегда все решается независимо от нас.

Утешив таким образом Крылова, он с еще большим воодушевлением принялся излагать всем встречным способы эксплуатации подсознательного мира.

ГЛАВА 4

Он поднялся по витой железной лестнице на радиолокационную башню. Радисты уехали в поле, и в аппаратной было темно. Сквозь щель жалюзи пробивался солнечный луч, круглый, золотистый, как бамбук. Крылов протянул руку, луч уткнулся в ладонь, и ладонь прозрачно засветилась.

Казалось, этот луч пронзил его насквозь легким теплом, и от этой непривычной ласки Крылову стало жаль себя.

Все эти месяцы после возвращения из командировки он жил в оцепенении, поглощенный тупой, возрастающей тоской. И вот сейчас, когда что-то должно было круто измениться в его жизни, его охватило беспокойство. Он чувствовал, что дело здесь не в предложении Голицына, скорее всего тут была досада на то, что ему самому предстоит как-то определить себя, видеть себя, действовать. Но и это было не главное, главное же заключалось в тревожном предчувствии и ожидании — чего? Странно, что именно об этом он и не желал думать.

Он осторожно трогал кончиками пальцев осязаемую пыльную поверхность луча. Отломать кусочек и послать вместо письма. Обломок луча в длинной коробочке. Почему она не отвечает? Он знал почему, но придумывал другие объяснения.

Он подставил лицо под луч и зажмурился.

— Эх, Натаха ты, Натаха!— сказал он.

В дальнем конце аппаратной послышался смешок. Крылов вздрогнул, пошарил на стене, повернул выключатель.

— Эй!— раздался предостерегающий крик. На ящике сидел Агатов. Руки его шевелились в черном мешке для зарядки кассет.— Чуть не засветили мне пленку. Ну, да теперь можно не гасить.

— Простите,— пробормотал Крылов.

Агатов довольно разглядывал его пылающую физиономию. Крылов понимал, что Агатов давно из темноты наблюдал за ним. Лучше всего было немедленно извиниться и уйти, но Крылов продолжал стоять, все более смущаясь, и чем дольше он стоял, тем невозможнее становилось уйти.

— Забыл вас поздравить.— Агатов помолчал, наслаждаясь его беспомощностью.— Как это вам удалось обработать старика?

— Понятия не имею... уверяю вас...— пробормотал Крылов, еще сильнее смущаясь.

— Ну, ну, будете утверждать, что вы ни при чем,— снисходительно сказал Агатов.— Я тут наблюдал, какие вы манипуляции от восторга выделывали.

Крылов тоскливо переступил с ноги на ногу.

— Вот так тихоня!— Агатов покачал головой.— Ловко вы всех здесь обвели. Отдаю должное. А я-то документы приготовил, копии у нотариуса снял. Смешно, верно?

— Ну что вы, что вы,— утешающе повторял Крылов. И вдруг сказал:— Я еще не решил.

Но Агатов не слушал его. Задумчиво и размеренно он продолжал:

— Заметили, как Аркадий Борисович оценил меня? Аккуратен. Исполнителен. Бумажки составляет. А своих, мол, идей Агатов не выдвигает. Вот в чем беда, оказывается. А то, что я его идеи проводил, так это ничто? Если я их полностью разделяю?

Застылая усмешка прочно держалась на его лице, сбивая Крылова с толку. Он не знал, как держать себя.

Ему страсть как хотелось выпалить: «Чего вы ко мне прицепились, ступайте к старику и выясняйте свои отношения», но стыд еще не прошел и, кроме того, было совестно бить лежачего. Он чувствовал, что Агатов обижен, убит.

— В науке никому нельзя верить,— сказал Крылов.— Старик нас пытается лепить по своему подобию. Это у него непроизвольно. Нам нельзя поддаваться. Ра-

ди него же. Тут такая антимония получается. Каждый должен отстаивать свои взгляды...

Агатов прервал его:

— Свою тактику принципами заслоняете? Я вас понял. Думаете, я не знаю, как вы все меня расцениваете?

Его непримиримый смешок сделал излияния Крылова нелепыми. «Какого черта я чувствую себя виноватым?» — возмутился Крылов. Из всех возможных положений он всегда умудрялся выбрать самое невыгодное. Безошибочно. Никто не умел так ловко и быстро попадать впросак, как он. Привыкнуть к этому было невозможно. Но смеяться над этим он научился.

— Голицын обманул меня. Я знаю, ему наговорили,— сказал Агатов.— Но я это так не оставлю.

Крылов посмотрел на него с любопытством.

— Неужели вы всерьез огорчены? Ведь это всего лишь должность.

— Должность... Нет, Сергей Ильич, для меня это больше должности,— с внезапной резкостью сказал Агатов. Рука его в черном мешке перестала двигаться.— Мне важно признание. Зачем притворяться? Мы же без свидетелей. Конфиденциально. Аркадий Борисович, тот сегодня при всех проговорился. И вы это прекрасно знаете. Хотите, я могу раскрыть скобки? Хотите?— Он наклонился вперед, серые шарики его глаз твердо нацелились на Крылова.— Кое-кто считает, что я не обладаю научными способностями. Вы, например, талант, а я нет. Что, не так? Да вы не бойтесь. Я лично к вам ничего не имею.— Выдернув руки из мешка, он помахал растопыренными пальцами.— Представьте, что я согласился бы с такой характеристикой.— Он поднялся. Губы его задергались, точно сбрасывая эту любезную усмешку.— Что ж мне тогда? Чем я виноват? Не досталось соответствующих генов от родителей, так куда ж мне прикажете? А?

Слегка прерывающийся голос его звучал просто и деловито, глаза смотрели с горечью, но ясно, как будто что-то обнажилось в этом человеке. Крылов никогда не видел такого Агатова, сейчас ему казалось, что этот Агатов и есть настоящий.

— Нет, Сергей Ильич, слишком легко вы разложили... А что, как у меня другой талант? Каждому свое...— Агатов вдруг остановился, пристально глядя на Крыло-

ва.— Послушайте, вы действительно еще не решили? Зачем вам эта должность? Все равно ничего не выйдет у вас с Голицыным. Он по-своему станет гнуть, вы же сами признаете. А у вас характер, вы маневрировать не умеете. Что ж получится! И дело будет страдать, и себе голову сломаете, и никакой славы. Да, отговариваю ради вас же. Откажитесь, пока не поздно.— Он пытался сдержать свой голос и не мог.— Какой вам интерес? Научное руководство — так тут и без нас обходятся, мы-то с вами знаем. Голицын еще не понимает, ему куда легче со мной будет. И вам легче, всем легче. Он сам скоро жалеть станет.

Крылов доверчиво улыбнулся.

— Там и мне во как неохота!— Он провел рукой по горлу.

Агатов заходил вокруг него большими шагами.

— Нет, я все понимаю. Начальник лаборатории — сам себе хозяин. Уходит когда хочет. Не надо ни у кого проситься. Свобода — это существенно. Но я вам гарантирую. За моей спиной вам еще свободней будет. Как мне Голицын стал поручения давать, так меня талантов лишили. Всех начальников всегда бездарными считают. Вас тоже сразу в бесталанные определят.

Крылов устал стоять посреди комнаты и неловко, боком отошел к зашторенному окну.

— Мне кажется, тут другие интересы, Яков Иванович,— деликатно сказал он.— Согласитесь, что необходимо менять тематику.— Агатов энергично закивал.— Нас заедают ненужные мелочи. Старик напирает главным образом на статистику. Вот посадит он вас замерять заряды капель. Пожалуйста, не обижайтесь, Яков Иванович, но боюсь, в наших лабораторных условиях ничего нового тут не выяснить. А с другой стороны, такой проблемы, как активные воздействия, мы сторонимся.

— Точно!— воскликнул Агатов.— Даже...— на мгновение он запнулся, настороженно взглянул на Крылова,— даже отмахиваемся!

— Старик избегает современной физики. Ну, как вы сладите с ним?

— Постепенно, постепенно. Думаете, на него узды не найдется?— К Агатову быстро возвращалась внушительность.— Вам тут нечего беспокоиться. Можно спо-

койно работать. У вас будет полная самостоятельность, я обеспечу. Насчет тематики — не спорю, но все зависит, как преподнести. Подать мы себя не умеем, вот в чем беда, Сергей Ильич. Те же самые работы так можно обставить, что нас завалят средствами, оборудованием, чем хотите. Поверьте мне, коллективу куда выгоднее, если у начальника никаких своих интересов научных нет.— Он предостерегающе поднял руку.— Знаю, знаю. Знаю, что вам советуют и Бочкарев, и вся его компания. А вы не слушайте. Все они эгоисты. И, между прочим, я не осуждаю. Настоящий ученый должен быть эгоистом, иначе он ничего не успеет.

Плоское лицо его влажно блестело. Он работал. Он разворачивал перед Крыловым свои планы, один заманчивей другого. У него все было давно продумано.

Он знал все, что можно было знать о дирекции, о работниках главка, хитрости их взаимоотношений, списки трудов академиков, кто чем увлекается, знал, что с Лиховым проще всего встретиться на концерте в консерватории, что дочь секретарши Денисова работает в пятой лаборатории.

Крылов стеснялся прервать его. Незаметно отодвинув штору, он смотрел вниз на залитую солнцем метеостанцию.

Студенты работали у белых будочек с приборами. Матвеев и Зиночка готовили радиозонд.

«Как бы все могло славно устроиться,— с тоской подумал Крылов.— И можно пойти с ними загорать».

Он вздохнул, откашлялся раз-другой, прежде чем Агатов обратил на него внимание.

— Простите, Яков Иванович, но как-то это все не то,— сказал он.

— То есть как?— оторопел Агатов.— Пожалуйста... У вас условия? Предлагайте...

Крылов поежился, в таких случаях он ничего не мог поделать с собой.

— Не нравится мне, что вы тут наговорили.

— Но ведь всегда можно поладить. Выкладывайте ваши наметки. Я с удовольствием...

Он стал ниже ростом, смотрел на Крылова с робкой готовностью откуда-то снизу.

— Ничего у меня нет, никаких наметок,— признался Крылов.

Агатов вопросительно смотрел на него.

— Матвееву надо бы оклад выхлопотать,— добавил Крылов.

— Я это могу в два счета...— заторопился Агатов.— Нет, вы объясните, что вас держит? Вы против меня имеете что? Я вам никогда ничего плохого не сделал. Чем я не подхожу, чем?

Крылов виновато развел руками.

— Небось сами хотите,— вдруг сказал Агатов, убежденный смущенной улыбкой Крылова и все более уверяясь от его неловкого молчания.— Понятно, зачем же власть упускать! А я-то душу вам открывал...

Крылов опомнился.

— Поверьте, Яков Иванович, вы это с обиды. Я вам благодарен, что вы так откровенно... Мне подумать надо...

Сгорбившись, Агатов вернулся к ящику, взял мешок с кассетами и долго там возился к стене лицом, потом пошел к двери. Обойдя Крылова, он остановился. Лицо его обрело обычную бесстрастную любезность. Опять он был собранный, подтянутый, и отглаженный костюмчик сидел без малейшей морщинки.

— Я хочу как лучше,— сказал Агатов.— Сконтактироваться.— Он сделал все, чтобы любезно улыбнуться.

Железная лестница отзвенела под его шагами.

— Вот и разберись,— озадаченно сказал Крылов, как будто кто-то мог услышать его. Он печально посмотрел на свои недавно отпаренные брюки — на коленях уже вздулись пузыри... Погасив свет, он уселся на приступку и стал ждать. Но солнечный луч исчез, и прежнее настроение не возвращалось. Необходимость что-то решать злила его. Он не желал ничего решать. В любом случае, соглашаясь или отказываясь, он что-то терял. Но в том-то и дело, что, решая, всегда что-то теряешь.

Не хотелось спускаться вниз и сидеть сейчас рядом с Агатовым. Он словно обжегся, прикоснувшись к обнаженной душе этого человека. На какой-то миг приоткрылось самое сокровенное, в глубине расселины Крылов увидел трепещущее, еще расплавленное, готовое отлиться в любую форму... Кто знает, где и когда совершается поворот человеческой души? Что-то бурлит, со-

единяется у вас на глазах, достаточно одного слова, и оно вдруг застывает судьбой; Крылов думал о том, что мы сами делаем людей плохими и хорошими.

Разумеется, Бочкарев, и Ричард, и Голицын — они руководствуются самыми высокими принципами, а вот Агатову все это предстает, наоборот, величайшей несправедливостью. Природа обделила его талантом, отсюда обиды, ущемленность, зависть — все, что уродует человека. И как помочь ему? Неужели неизбежна такая несправедливость? Но и ребята правы: к руководству нельзя подпускать бездарных. Но и бездарные никогда не чувствуют себя бездарными. Они не мучаются, они завидуют и злятся. А ведь каждый в чем-то бездарен...

ГЛАВА 5

Стеллажи сверху донизу были плотно заставлены пыльными томами — научные отчеты со дня основания лаборатории.

Под самым потолком стояли тома в старинных переплетах, обклеенных мраморной бумагой с красноватыми прожилками, с тисненными золотом корешками. Затем шли переплеты из дешевого синего картона, из рыжеватых канцелярских папок — переплеты военных лет с выцветшими чернильными надписями, и последних лет — в толстом коричневом дерматине.

Вид этих стеллажей настроил Тулина иронически:

«Урны с прахом обманутых надежд давно ушедших поколений... Кладбище несбывшихся мечтаний... Сколько никчемной добросовестности!»

И все эти бумаги на столе Крылова будут так же погребены в очередном томе.

Тулин придвинул к себе график суммарной напряженности поля. Через месяц-другой этот лист отпечатают, подклеят в отчет, который перелистает кто-нибудь из начальников, и папка навечно займет свое место на стеллаже.

Он ждал Крылова уже минут пятнадцать. Прищурясь, размашисто нарисовал на кривой танцующие скелеты и подписал:

Карфаген будет разрушен!

Ричард остановился за его спиной.

— Лихо! Несколько в духе Гойи. Вы художник?

Тулин осмотрел свою работу.

— Тот, кто рисует, уже художник. Искусство — это не профессия, а талант.

— Ну, знаете, талант — понятие расплывчатое,— возразил Ричард. Он обожал споры на подобные темы.— Необходимо еще образование.

— А что такое образование?— спросил Тулин и, не дожидаясь ответа, провозгласил меланхолично:— Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто.

— Неплохо. Но вы испортили Крылову график.

— Не беда. Если он даже подклеит в таком виде, это обнаружат не раньше, чем в следующем столетии.

Ричард попробовал было вступиться за работу Крылова — Тулин пренебрежительно отмахнулся. Покачиваясь на стуле, он рассуждал, не интересуясь возражениями:

— Поставщики архива, работаете на это кладбище во имя грызущей критики мышей.

— Сила!— восхитился Ричард.

— Это не я, это Маркс.

К ним прислушивались. Тулин повысил голос. Сохраняя мину беспечного шалопая, он с удовольствием ворошил этот муравейник. Забавно было наблюдать, как оторопели, а потом заволновались они от неслыханной в этих стенах дерзости.

Первым не выдержал Матвеев. Избегая обращаться к Тулину, он попробовал пристыдить восхищенного Ричарда: неужели ему не дорога честь коллектива?

— Фраза...— заявил Ричард.— Терпеть не могу фраз. Что такое коллектив? Что такое его честь?

— Ну, знаешь,— сказал Матвеев,— у нас большинство честных, добросовестных людей, они работают, не щадя себя. Этим нельзя бросаться.

— Науку двигают не честностью!— запальчиво сказал Ричард, но Тулин неожиданно осадил его:

— Честность тоже на земле не валяется. Я уверен, что здесь большинство честных, беда в том, что вы честно хотите одного, но так же честно делаете совсем другое, а получается третье. Везде кипение, перемены, а у вас как в зачарованном королевстве.

Теперь Матвеев уже решился возразить самому Тулину:

— К вашему сведению, лаборатория на хорошем счету: в прошлом году мы перевыполнили показатели.

Всепонимающая улыбка, и Тулин стал усталым циником.

— О да, благодаря вашему энтузиазму отчет поставили на эту полку недели на две раньше срока. Освоены отпущенные средства.

Матвеев ужаснулся:

— Вам известно, что наш отдел возглавляет член-корреспондент Голицын?

— Как же, как же!— сказал Тулин.— Любимый ученик Ломоносова. А вы все еще верите в авторитеты? Увы, люди не могут без авторитетов... Нет, я о вас лучшего мнения, вы просто боитесь говорить то, что думаете. А я не боюсь.— Он подмигнул им всем разом.— Я из другого министерства.

— Вы что, академик,— сказала Зиночка,— или новатор?

Тулин оценивающе скользнул глазами по ее фигуре и сказал загадочно:

— Иных можно понять, рассматривая вблизи, другие понятны лишь издали.— Он взглянул на часы.— Время, пространство, движение... Свидание не состоялось. Я оставляю вас, мученики науки.

Ричард отправился его провожать.

— Вам нравится Гойя? А неореализм? А как вы расцениваете астроботанику?— Он забрасывал незнакомца вопросами, восхищался его пренебрежительными афоризмами.— А кто вы по профессии? Давайте познакомимся,— предложил он.

— Почему у вас такое имя?— спросил Тулин.

Ричард с готовностью рассказал про отца-моряка, который побратался с английским боцманом, коммунистом Ричардом Клебом.

На повороте коридора они столкнулись с Крыловым.

— Сережа!— крикнул Тулин, расставляя руки.

Рассеянно кивнув, Крылов прошел мимо. Загорелое лицо Тулина вспыхнуло, Ричард опустил глаза.

Пройдя несколько шагов, Крылов обернулся, ахнул, подбежал к Тулину, схватил за плечи:

— Олежка!

Ахали, колотили друг друга по плечам, выяснили, что Аллочка Кривцова вторично вышла замуж, что до

сих пор неизвестно, кто на последней вечеринке прибил галоши к полу, что Аникеева переводят в Москву...

Тулин отметил у Крылова модные туфли, интересную бледность, совершенно несвойственную его примитивной курносой физиономии. Крылов нашел, что Тулин похож на преуспевающего футболиста из класса «Б». Неужели сотрудники могут принимать всерьез такого руководителя — стилягу и тунеядца?

Он очнулся, засиял, глаза его прояснились, он был растроган тем, что Тулин специально заехал проведать его, он не ожидал такого внимания к себе. Со студенческих лет он поклонялся Тулину, хотел быть таким, как Тулин,— веселым, общительным, талантливым. Куда б Тулин ни шел, ветер всегда дул ему в спину, такси светили зелеными огнями, девушки улыбались ему, а мужчины завидовали. Но Крылов не завидовал — он любовался и гордился им и сейчас, восхищаясь, слушал рассказ Тулина о новых работах и о том, зачем Тулин приехал в Москву.

Разумеется, Крылов читал в апрельском номере его статью. Шик! Последние исследования Тулина открывают черт те знает какие возможности. Правда, строгих доказательств еще не хватает, и Крылов заикнулся было об этом, но Тулин высмеял его:

— Академический сухарь. Разве в этом суть?

И несколькими фразами разбил все его опасения. Замысел был, конечно, грандиозен, и Крылову казалось, что сам он давно уже думал о том же и так же.

— А я, пожалуй, побоялся бы выступить вот так,— простодушно признался он, и глаза его погрустнели.— Страшно представить! Но постой, полеты в грозу — ведь это опасно?

— А ты как думал!— Тулин рассмеялся.— Но я изобрел средство избежать опасности: не бояться ее.

— Ты уверен, что тебе разрешат?

Тулин выразительно присвистнул:

— Добьюсь! Другого-то выхода у меня нет.

Он было нахмурился, но тут же подмигнул Крылову:

— Образуется. Ну, как дела?

Хорошо, что Тулин напомнил, и вообще ему просто повезло с приездом Тулина. Тулин посоветует, как быть насчет предложения Голицына, взвесит все «за» и «против», и все станет ясно.

— Значит, заведовать этим саркофагом? — сказал Тулин.

Он разочарованно оглядел Крылова: «Доволен, сияет, выбрался на поверхность! Еще немного — и его сделают благоразумным и благополучным деятелем в стиле этого заведения, где ничто не меняется».

— Старик все так же воюет за каждую цифирь и думает, что двигает науку?

— Ты зря, — сказал Крылов. — Он все же прогрессивное начало.

— Это по нынешним-то временам? Разве что он тебя выдвинул, но это еще не прогресс. Его идеи на уровне... Он за отмену крепостного права, вот он где находится, болтается где-то между Аристотелем и Ломоносовым. — Тулин был в курсе всех публикаций лаборатории. Кроме некоторых работ Бочкарева и Песецкого, все остальное — схоластика, ковыряние в мелочах. — Бродят сонные кастраты и подсчитывают... — Он не стеснялся в выражениях.

Они шли по лаборатории, и Тулин высмеивал их порядки, и продукцию, и глубокомысленный вид всех этих ихтиозавров. Когда Крылов попробовал возражать, Тулин вздохнул:

— Вот мы уже и становимся противниками!

Агатов работал у своего аппарата.

— Все капаете, — приветствовал его Тулин. — Помнишь, Сережа, мы еще студентами капали на этом же приборе. Господи, сколько уже диссертаций тут накапано! — Не переставая говорить, он легонько отстранил Агатова, наклонился к объективу, повертел регулировочный винт. — Пластины-то выгоднее поставить круглые. Легче скомпенсировать. А еще лучше эллиптические, тогда наверняка можно присобачить регистратор.

Он и понятия не имел, что мимоходом выдал Агатову идею, над которой тот бился больше месяца.

Агатов любезно улыбался.

— Не благодарите, не стоит, — сказал Тулин. — Авось еще на десятитысячную уточните! — И бесцеремонно расхохотался и уже оказался в другом месте, он даже не шел, он словно вертел перед собою лабораторию, как крутят детский диафильм. В дверях Крылов обернулся и увидел нацеленные им в спину глаза Агатова. Хорошо, что Тулин не видал их.

На лестнице рабочие перетаскивали ящики с приборами. Один из ящиков стоял в проходе. Тулин перепрыгнул без разбега, легко, Крылов подумал, что если бы Тулин был начальником лаборатории, то все равно бы он прыгал через ящики, носил стиляжный пиджак, бегал бы с Зиночкой и ребятами загорать на вышку, и всем бы это казалось нормальным, и лаборатория бы работала весело, по-новому.

Потоптавшись, он сдвинул ящик, догнал Тулина.

— Как же мне быть, Олежка?— спросил он.

Тулин помахал папкой.

— Не управлюсь, переночую у тебя.— Тулин смотрел на Крылова.— Ах ты бедолага... Значит, хотят тебя сделать свежей струей. Молодые силы. К руководству приходит ученый, еще сам способный работать... Невиданно... Не злись. Для меня это... Ты — и вдруг начальник!

И Крылов тоже невесело ухмыльнулся.

— А впрочем,— сказал Тулин,— чем ты хуже других? Кому-то надо руководить, лучше ты, чем какой-нибудь бурбон. Попробуй рвануть по лестнице славы, может, понравится.— Подмигнул, и все стало озорно и просто. Подумаешь, страсти!

Тулин погрозил пальцем.

— Учти: человек, который не хочет быть начальством, против начальства.

Откуда-то вынырнул Ричард.

— Так вы, оказывается, Тулин! Вот здорово. Я читал вас и полностью согласен. Вы уже уходите? А с Агатовым у вас здорово получилось. Капает, капает...— Он засмеялся от удовольствия.— Слезы, а не работа!

Крылов нахмурился.

— Что ты знаешь... Так нельзя.

— Ничего подобного. Так ему и надо. Принципиально!— закипятился Ричард.— Никакой пощады бездарям!

— Ага, у меня тут не только противники,— сказал Тулин.— Ричард, двигайте к нам. Будете бороться с настоящей грозой, а не с Агатовым.

Стоя в вестибюле, они смотрели сквозь распахнутые двери, как Тулин пересекал сквер, полный солнца и яростного гомона воробьев.

— Да-а!..— протянул Ричард, и в этом возгласе Крылов почувствовал восторг и грусть, обращенную к тому, что осталось здесь, в институте, поблекшем и скучном после ухода Тулина.

— Хорошо, если б ему удалось добиться...— сказал Крылов.

Ричард пожал плечами, хмыкнул, показывая, как глупо сомневаться в том, что Тулину может что-либо не удаться.

ГЛАВА 6

Фамилия генерала была Южин, знал о нем Тулин мало, поэтому плана разговора не составлял, целиком положившись на свою фортуну.

В большой приемной быстро сменялись летчики, инженеры, и Тулин, присматриваясь к ним, решил, что держать себя надо как-то по-особому, непохоже на обычных просителей, которые одолевали Южина с утра до вечера.

Кабинет оказался огромный, казенно-безликий. Пустой стол, коммутатор, микрофоны, по стенам завешенные черными шторами карты.

Генерал достал из ящика докладную Тулина и начал перечитывать, шевеля губами.

Тулин вглядывался в его лицо, убеждаясь в полной беспомощности физиономистики. Мясистый нос, грубые, навсегда обветренные щеки могли принадлежать и добряку, и черствому служаке. Что означали ежик седых волос, татуировка на руке? Приветливые манеры, может, они от интеллигентности, от уважения к Тулину, а может быть, это привычка, выработанная для всех просителей.

Вспыхнул глазок коммутатора. Генерал взял трубку.

— Я занят... Минут через десять.

Он положил бумагу и придавил сверху куском оплавленного металла.

Тулин заговорил первым, опередив генерала на какую-нибудь секунду. Он вовремя почувствовал, что необходимо перехватить инициативу, всегда легче убеждать, чем разубеждать. Стоит человеку произнести «нет», все его самолюбие будет направлено к тому, чтобы держаться за это «нет».

— Вы летали и знаете, что такое гроза.

Южин кивнул.

— Там, наверху, не станешь сочинять «Люблю грозу в начале мая».

Он улыбнулся, и Южин тоже улыбнулся и сказал «да»: пусть привыкает говорить «да».

Всякую аппаратуру и научную суть проблемы Тулин не стал описывать. По своему опыту он знал, какое тягостное впечатление на неспециалиста производят цифры, схемы, в которых невозможно разобраться на ходу. Автор шпарит, уверенный, что все ясно, радуясь, что ему кивают, кивают, хотя слушатель тем временем редактирует уже приготовленную формулу отказа. Тулину тоже приходилось принимать разных изобретателей, они, как глухари на току, увлекаясь, ничего не слышали, кроме себя, им казалось, что достаточно поводить пальцем в воздухе, и схема станет понятной.

Южин был человек новый в управлении, и Тулину пришлось затронуть историю вопроса. Исследования над грозой велись уже несколько лет, бывший шеф Тулина профессор Чистяков пользовался поддержкой бывшего начальника управления. Группе давали исследовательские самолеты в составе какой-нибудь экспедиции. Пристраивались, подлаживались под общую программу. Но сейчас работа подошла к такому этапу, когда группе нужны свои самолеты, специальные режимы, полная самостоятельность. Теперь изучается наиболее важное — условия управления грозой, условия разрушения грозы. Тулин произнес это без всякого нажима, словно бы между прочим, и тут же рассказал, как пришлось красть ночью баллоны со склада промартели, и еще несколько забавных эпизодов. Пока генерал смеялся, Тулин снова вернулся к проблеме: необходимо научиться находить центры грозы, с тем чтобы воздействовать на них. Рано или поздно от мышей или собак переходят к человеку.

Он заговорил медленней, давая время Южину привыкнуть к мысли о неизбежности полетов в грозу.

С честностью победителя он упомянул и горькие неудачи некоторых опытов, конфуз с первым указателем грозы. Он сам удивился, как много сделано за эти полтора года: приборы готовы, методика разработана, программа составлена, обоснована.

Ни разу он не сбился на тон просителя. Развалясь в кожаном кресле, он с милой беззаботностью перекладывал на Южина тяжесть предстоящего решения. Вот вам, товарищ начальник, наши результаты, наши приборы, вот будущий успех, перспектива, остальное зависит от вас, наше дело теперь сторона.

— Молодцы, молодцы, но...— Южин озадаченно погладил ежик,— вы же знаете, в грозу летать нельзя. Чертовски опасная штука. Вы когда-нибудь залезали в желудок этой самой грозе? А я так вляпался. Бр-р-р!— Его передернуло от воспоминания, какого страху он натерпелся. Не знал, где небо, где земля, швыряло, как щепку, еле-еле дотянул до посадки.

Получилось, что он пытается отговорить Тулина, напугать его всевозможными страхами. В сущности, Южин оборонялся. Это был первый выигрыш. Инициатива была в руках Тулина, и важно было ее умело использовать.

— Честное слово, зенитки приятней,— говорил Южин.— Хоть рассчитать можно, что к чему.

Тулин сочувственно улыбнулся.

— Но зенитки вас не останавливали. Вы выполняли свои задания, несмотря ни на что.

— Вы мне базу не подводите. Война — это несчастье.

— Гроза тоже,— сказал Тулин.— Для авиации гроза — несчастье. Верно?

Южин спокойно согласился, вспомнив несколько аварий, и сделал неожиданный вывод: видите, перед грозой пасуют даже опытные летчики; как же можно разрешить идти на такое, да еще в самый центр грозы, да еще с группой научных работников, на транспортном самолете?

Он оказывался не так прост, этот генерал: одну за другой он раскритиковал схемы полета, предложенные в записке. Теперь он наступал, и Тулин понимал: стоит начать защищаться, как все пойдет прахом.

— Как же, по-вашему, бороться с грозой, если убегать от нее?— И подождал ровно столько, чтобы показать, что ответ на такой вопрос получить невозможно.— Есть только один способ узнать вкус арбуза.— Тулин сделал паузу.— Съесть его.

Южин хохотнул.

— А у нас в Сибири говорят, что если надо узнать, не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком. Это так, поговорка. Окорока у нас мировые, год-два висят — не портятся.— Он обрадовался передышке, со вкусом принялся описывать, как коптят окорок.

«Тянет время,— сообразил Тулин,— через несколько минут посмотрит на часы, разведет руками...»

— Что ж вы предлагаете?— резко спросил Тулин.— Заняться хранением окороков?

Южин размашисто очертил на схемах зоны возможных полетов. Голос его звучал сухо. Другие экспедиции довольствуются меньшим, работают в мощных кучевых облаках при их формировании.

На это Тулин, сдерживая раздражение, заметил, что никто не ставит себе задач по управлению грозой.

— Так уж и никто?— И Южин с удовольствием сослался на опыты Денисова с зенитками и на работы других институтов, не связанные ни с каким риском, спокойные наземные работы.

«Начинается,— подумал Тулин,— лишь бы спихнуть с себя, гони зайца дальше. Зенитные снаряды — это отлично, это устраивает, неважно, что результаты сомнительные, что принципы, методы иные, зато все спокойно и никаких осложнений». С каким удовольствием он выложил бы все это Южину, но он тоже не хотел рисковать. Самое лучшее — разъяснить преимущества своего направления. Прежние методы пока что не дают никаких гарантий.

— Во всех этих методах действуют вслепую: неясно, то ли мы разрушаем грозу, то ли ускоряем ее, спускаем с цепи. Неустойчивый процесс может развиться в любую сторону...

Здесь преимущества были на стороне Тулина, и он мог обрушить на Южина все сложности непрестанно меняющегося механизма грозы.

Однако Южин уклонился от спора. Он простодушно посмеивался.

— Видите, все вам известно, неужто с такой головой нельзя придумать что-нибудь такое, чтобы не переться в самое пекло?— И он неопределенно покрутил пальцами, расплываясь ничего не значащей улыбкой, но сквозь прищуренные веки глаза его смотрели внимательно.

Чего он добивался? Почему не сворачивал разговор к категорическому отказу? Может, ему хотелось, чтобы Тулин сам пошел на уступки, изменил характер работ, сам отказался... Значит, что-то мешает ему просто запретить...

— Вот, полюбуйтесь,— Южин подкинул на ладони оплавленный кусок металла,— что осталось от самолета, попавшего в грозу.— Он вытащил пачку фотографий, разложил их перед Тулиным.

Искореженные останки самолетов. Сломанные, поваленные деревья. Обезображенные трупы. Из глянцевитой глубины снимков тянуло гарью еще дымящихся обломков.

Тулин почувствовал на своем лице взгляд Южина.

— Вас это останавливает, а меня воодушевляет,— сказал Тулин, принимая вызов.— Я не хочу, чтобы самолеты разбивались. Я не хочу, чтобы летчики боялись грозы. Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба. Ради такого стоит рискнуть, не считаясь с опасностью.

— Ага, рискнуть,— воскликнул Южин,— значит, вы не уверены! Вы не гарантируете!

— Новое — это всегда риск. Кто отвергает риск, тот отвергает новое.

— Слыхали. Сейчас вы мне припишете перестраховку и всякое такое. А почему я должен вам верить? Три года вы возитесь. А где результаты? Точного прогноза грозы не можете составить! Разрушать ее беретесь, а хоть бы предсказывать научились. Сколько экспедиций. Миллионы рублей государство бухает вам. Понавертели дырок в самолетах...

Прогнозы были его больным местом, и Тулин никак не мо̀г втолковать, что их работа никакого отношения к прогнозам не имеет. Южин не хотел ничего слушать. Ему осточертели какие-то там деятели: взялись за одну работу для авиации, охмуряли его всякими мудреными терминами, получили большие деньги и в результате разродились еще одной монографией.

Он вытащил из ящика и потряс перед Тулиным затрепанной книжкой правил эксплуатации.

— Читайте! Я не имею права нарушать. Вы же сами не можете поручиться.

— При чем тут прогнозы?— твердил Тулин.

— Вы хотите взвалить на меня ответственность.

— Ага, боитесь ответственности!..

— За ваши жизни? Да, не желаю отвечать. Чем я могу ответить за них? Чем? Выговором?

— Потому что вы не желаете разобраться в существе!

Южин, не глядя на Тулина, вытер платком лоб. Оба разом замолчали. Южин аккуратно сложил платок.

— Хорошо покричали,— миролюбиво сказал он.— Редко у нас, чтобы двое кричали. Обычно кричит один, другой слушает. А вдвоем это хорошо. Голос проверяешь. Так вот, не за что меня упрекать. Я не специалист по вашей науке. А принимать на веру — извините.

Тулин промолчал.

— Что же остается?— сказал Южин.— Запросить мнение специалистов. Согласны?

— Кого? Того, кто вас поддержит?

— Ну зачем вы так?— добродушно сказал Южин.— Кого вы считаете авторитетом? Допустим, академик Денисов?

— Денисов носится со своими генераторами и зенитками,— сказал Тулин.— Ничего другого он не признает. Он нетерпим, он монополист.

— Так. А Жильцов?

Тулин пожал плечами.

— Жильцов — скептик. Он противник всего нового. Он специалист по выступлениям против.

— Другие предложения есть?— терпеливо спросил Южин.— Подскажите. Может, Лагунов?

— Вы же знаете... Лагунов — ставленник Денисова. Какой он ученый?

— Всюду противники. Кто же сторонники?

«Странно, почему он не предлагает Голицына?— подумал Тулин.— Может, не надеется, что старик поддержит его?»

— Поймите меня, товарищ генерал,— сказал он,— каждая новая теория союзников завоевывает. Вначале перед ней только противники. Бороться с ними — значит убеждать их фактами. А факты там, в грозе. Я могу достать их только оттуда.

— Сложное ваше положение. Что ж вы от меня требуете? Я должен нарушить инструкции, пойти против специалистов ради дела, в котором не шибко разбираюсь, да и не очень-то верю в него. Слишком многого вы от меня хотите. Небось думаете: вот сидит солдафон,

и от такого зависит прогресс. Но солдафону легче всего сослаться на параграф и отказать. Я этого не делал, хотя вы меня толкаете на это.

Логика его была безупречна, молчать дальше не имело смысла, и все же Тулин медлил.

— Кто же остается?— спросил Южин.— Может, рассчитываете на Голицына?

Тулин обрадовался: получалось, что Южин его выручил, сам назвал Голицына, что Тулина ни к чему не обязывало, да и, в конце концов, выхода нет, он ничем не выдал себя. Тулин иронически улыбнулся. Страховка прежде всего.

— Ну, что ж, Голицын — специалист, от него это не отнимешь. Стародум, конечно.

— Как хотите,— сказал Южин.

— А сколько времени надо ждать его заключения?— капризно спросил Тулин. «Крылов,— подумал он,— пожалуй, вывернемся!»

Южин посмотрел на часы.

— Минут сорок придется подождать.

— Как?

— Я неделю назад, как получил ваши бумаги, заказал Голицыну отзыв.— Южин заговорщицки улыбнулся, и Тулин понял, что его провели, как мальчишку. Этот генерал знает свое дело.

Теперь остается одно — не сорваться. Вспылить — значит окончательно расписаться в своей глупости. Нет, такого удовольствия он не доставит. Совершенно спокойно, как бы любопытствуя, он спросил, почему Южин обратился именно к Голицыну, а не к кому другому.

— Я давно знаю Аркадия Борисовича, уважаю его. В какой-то мере наши мнения совпали?— не без лукавства осведомился Южин.

Не имело никакого смысла томиться в приемной, куда как красивей будет зайти за ответом завтра, а пока что отправиться в Госплан, в редакцию. Но он знал, что не сможет ничем заниматься, пока не получит ответа. До сих пор ему ни разу не приходило в голову: а что будет, если им откажут? И никому в группе он не позволял заикаться об этом. Улетая в Москву, он знал, что добьется своего. Как это произойдет, он понятия не имел, но иначе быть не могло. И сейчас, сидя в приемной, он не желал думать о поражении. Голицын должен

поддержать его хоть частично. Нужно совсем немного: чтобы заключение было уклончиво,— остальное можно будет выжать из Южина; беседа даром не прошла, в чем-то удалось Южина поколебать.

Вдруг он сообразил, что в институт он заезжал недаром. Все время он чувствовал, подозревал, что Голицына не миновать. Стоило предупредить Крылова, и тот помог бы. Вместо этого он гусарил, выламывался, издевался над их порядками.

А что, если сейчас позвонить Крылову? Поздно. Да и все равно он не сделает этого. Кого угодно просить, только не Серегу. Самолюбие? Пусть самолюбие, гордость, глупая гордость. Он не мог признаться, что нуждается в его помощи. Ни за что! Это не суеверие, но все же это значило бы, что их роли переменились.

ГЛАВА 7

Он увидел привычные комнаты лаборатории глазами Тулина. Действительно, зрелище унылое. А что, если попробовать? И он представил себя начальником лаборатории.

Стены податливо раздвинулись. Он поднял потолки, снес перегородки, сменил освещение, убрал надоевшую рухлядь. В светлых залах стало просторно и безлюдно. Остались наиболее способные сотрудники. Конечно, увольнять непросто: начнется морока — на каком основании, местком и всякие комиссии. Найти способных ребят трудно, но еще труднее избавиться от слабых работников. Но ведь стоит того. А чего ему бояться? Что он теряет? И вовсе это не саркофаг. Тут можно так развернуться — будь здоров! Общими усилиями с разных сторон взяться за механизм грозы, составить единый план работ вместе с институтом высоких напряжений и с лабораториями активных воздействий, с академическими институтами. Распределить силы. Придется быть в курсе каждой работы, начальнику надо уметь вникать с ходу, находить ошибки, раздавать идеи, предвидеть трудности. Важно найти свой стиль. Не обязательно быть таким, как Тулин. Каждому свое. Ему больше подойдет неторопливая вескость, ни одного лишнего слова, но уж если сказано, то намертво. При этом оставаться веселым и доступным. Мужественное и доброе лицо типа Хемингуэя и Фиделя Кастро.

И потом, как все крупные ученые, не стесняться говорить: «Не знаю».

Хотелось немедленно действовать, совершить что-то решительное. Он велел перенести контрольные счетчики на площадку — второй месяц, как он собирался это сделать, и все было недосуг. Потом он подошел к Агатову.

— Пора бы нам наладить генератор,— сказал он.— Разве это мощность?

— У нас есть запасной, можно запараллелить,— сказал Агатов.

— Оба они барахло. Нечего с ними возиться.

Агатов быстро взглянул ему в глаза.

— Да, пожалуй что так.

— И ртутник — тоже барахло,— сказал Крылов.

— Да, вы правы,— сказал Агатов.

— Вот что, Яков Иванович, сейчас научная сторона важнее: тематику придется пересмотреть. И вообще... Так что я думаю согласиться на предложение старика.

Кто-то невидимый словно резинкой стирал черты с плоского лица Агатова. И постепенно оставалась гладкая белая поверхность. Может быть, это делал сам Крылов своими словами.

— Понятно,— сказал Агатов без всякого выражения.— Это что же, Тулин вас воодушевил?

— И он, он тоже,— обрадовался Крылов.— Я надеюсь, мы вместе с вами... В деловых вопросах у вас опыт, вы, конечно, можете оказать...

Он пытался как-то смягчить, чем-то утешить Агатова. «На кой я поторопился?— подумал он.— Как будто нельзя было выбрать более удобный момент!»

— Мне жаль, что так получилось.

«Чего ради я оправдываюсь? А бог с ним! Может быть, так ему будет легче».

Агатов выключил схему, встал.

— Я всегда делал то, что мог,— сказал он.— Тулину, конечно, легко критиковать со стороны.

— Нет, нет, он во многом прав,— горячо заговорил Крылов, радуясь, что с этим покончено и можно начать о другом.

Агатов слушал внимательно, согласно кивал, но Крылов понимал, что Агатову сейчас не до него и не до его откровенных излияний. Новая должность начина-

лась тяжело. «Неужто и дальше придется вот так же ломать чужие надежды,— думал Крылов,— перешагивать через кого-то, решать чьи-то судьбы? Неужели без этого не обойтись? И всякий раз стараться не замечать, не думать об этом, поскольку, мол, иначе поступить нельзя».

Перед кабинетом Голицына Крылов посмотрелся в оконное стекло, почесал подбородок. Придется бриться ежедневно.

— Чего вызывает? Что за срочность?— спросил он у Ксюши.

— Вас можно поздравить?— сказала она.— Ваша жизнь вступила в новую фазу.

У нее все было крашеное: волосы, ногти, губы, ресницы, брови. На лимонно-желтой кофточке блестели большие бусы.

— А вам идет желтый цвет.— Крылов улыбнулся, довольный своей развязностью.

Ксюша подняла трубку.

— Позвоните позже, он занят.— И глазами показала Крылову на дверь кабинета.

Читая бумагу, которую ему протянул Голицын, Крылов подумал, что он был свиньей и надо как следует поблагодарить старика.

«Осуществление гипотезы, высказываемой неоднократно в последние годы, нуждается в огромном экспериментальном материале. Такой материал требует широкой, многолетней программы лабораторных исследований...»

Как бы там ни было, старик помог ему в самое трудное время, старик заставил его защитить диссертацию. Ну и времечко было!..

— Ясно?— спросил Голицын.

Крылов заставил себя сосредоточиться:

«Идея остается очередным прожектом». Какая идея? «...Безответственная, ничем не обоснованная программа Тулина...»

При чем тут Тулин?

Голицын нетерпеливо постукивал ногтем по стеклу, на пальце у него блестело серебряное кольцо с печаткой.

Крылов вернулся к началу, перечел заново всю бумагу.

— Ознакомились? Прошу вас, поезжайте с нашим заключением в управление к генералу Южину, он ждет,— сказал Голицын.— Может, у него возникнут вопросы, ну, вы растолкуете.

— Подождите, как же так?— сказал Крылов.

— Привыкайте, дорогой! Ничего страшного, вам полезно повращаться.

— Да нет, не в этом же дело,— сказал Крылов.— Я про заключение. Вы ж фактически закрываете работу Тулина.

— Вот и хорошо, делом займется. Как вернетесь, заходите, мы планы обговорим.

Голицын надел очки и развернул английский журнал. Крылов вышел к секретарше.

— Все в порядке?— спросила она.— Я всегда верила в вашу звезду.

Крылов постоял перед ее столом.

— Ксюша, это невозможно,— сказал он и вернулся в кабинет Голицына.

— Я не могу,— сказал он с порога.— Это ж бездоказательно.

Голицын удивленно вскинулся.

— Вы еще здесь?— Он отшвырнул журнал.— Как вы сказали?

— Бездоказательно,— повторил Крылов.— Простите меня, Аркадий Борисович, но я не вижу, в чем Тулин ошибается...

— Заключение и не требует подробного разбора. Вы, дорогой мой, читали статьи Тулина?

— Читал.

— Как, по-вашему, у него достаточно обоснованы выводы? А? То-то!

— У него есть вещи спорные, но...

— Послушайте.— Голицын нахмурился.— Вы никак собрались меня поучать. Вы что же, хотите, чтобы я благословил Тулина на его авантюру? Не ожидал от вас.

— Это не авантюра. Пусть местами его выводы не вполне корректны, но тем более он имеет право удостовериться...

— Не имеет!— закричал Голицын.— Настоящий ученый не имеет права на такую торопливость. Накопит

материал, тогда посмотрим. Пока у него одна самоуверенность.

— Сколько можно копить факты, когда-нибудь надо...

— Сто лет, тысячу лет — сколько потребуется!.. Зеленые яблоки рвать ума не надо.— Он успокоился.— Вы же знаете, Сергей Ильич, я не против любого метода активных воздействий. И его метод тоже во своевремении. Рано еще, миленький вы мой. Слишком мало мы знаем. В данном случае нужна обстоятельная подготовка, чтобы не скомпрометировать...— Собственная терпеливость настраивала его на отеческий лад. Ведь все это когда-то было и с ним самим. Упрямо сведенные брови, опущенная голова, старый осторожничающий профессор — как смешно повторяется жизнь!

— Я тоже начинал с этого,— сказал он.— И мы требовали действий, мы твердо были уверены, что именно нам удастся покорить небеса. Мы надеялись стать громовержцами.— Он прикрыл глаза, вглядываясь в прошлое.— Строптивая юность... милая, строптивая, мечтательная юность. Им все кажется просто, легко, они парят над землей, не желая задумываться над мелочами. Но это пройдет, они поймут.

«Посыпалось! Сейчас заведет про Гриднева»,— подумал Крылов.

— Тем более,— начал он,— вы можете меня...

— Старики вроде Гриднева или Оболенского казались нам... Любопытно, кем я кажусь вам сейчас? Окурок? Старая песочница?

— Почему ж окурок?— Крылов покраснел, и Голицын вдруг проницательно усмехнулся.

— Понимаю и ни в чем не виню. И даже Тулина готов понять. А знаете: понять — значит наполовину оправдать. Терпеть не могу ученых, которые никогда не ошибаются. Завиральные идеи полезны, но...— он наставительно поднял палец,— до той поры, пока они не мешают главному направлению.

Дверь приоткрылась, показалась голова Агатова. Голицын кивнул, и Агатов осторожно протиснулся, скользнул вдоль стены, прислонился к шкафу, стараясь не мешать Голицыну, который, заложив руки за спину, ходил, как на кафедре во время лекции.

— В одна тысяча сотом году Альхазен открыл рефракцию, вычислил высоту атмосферы. Увы, науке это понадобилось лишь пять столетий спустя, и тогда Торричелли пришлось открыть все заново. Научные идеи должны идти в ногу со своим временем.— История науки была его коньком, тут он мог говорить часами.

Крылов протянул заключение Агатову.

— Вы читали?

— А что ж Альхазен,— громко спросил Агатов,— так и пропали его труды?

— Вот именно,— сказал Голицын.— Их обнаружили совсем недавно.

Крылов посмотрел на Агатова, потом на Голицына.

— Аркадий Борисович, неужели вы сами составляли это заключение?— внезапно спросил он.

Голицын остановился обеспокоенный.

— А что?

— Не похоже. Тут не ваши выражения: «авантюризм» или вот «псевдонаучная аргументация».

— А-а, как бы ни браниться, лишь бы добиться,— несколько смущенно запетушился Голицын.

— В научной полемике ни к чему дипломатничать,— сказал Агатов.

Голицын обернулся к нему.

— Но, Яков Иванович, мы тут посылаем это в несколько иные сферы.

Агатов твердо сказал:

— Как раз военным нужны четкие определения.

— Возможно, возможно. Нам тут соперничать с Яковом Ивановичем не резон, да и я не вижу нужды, была бы суть... Так на чем я остановился? Ах да, вот, представьте, лет через сто отыщут идею Тулина, и какой-нибудь историк напишет про смелый, не понятый современниками проект. Жил-де некий Голицын, называл Тулина фантазером, не понял, не оценил. Заклеймит этот историк всех нас. Пригвоздит к столбу,— проговорил он с восторгом.— Видите, насколько я беспристрастен.

— Да, вы беспристрастны,— медленно сказал Крылов,— но к кому вы беспристрастны?

— Однако!

Голицын умел отвечать на дерзости уничижительным достоинством. В такие минуты он становился недо-

сягаемым, под стать портретам Франклина и Ломоносова, старинному кабинету черного резного дуба, где все стояло незыблемо с тех пор, как Голицын пришел сюда.

— К вашему сведению, Сергей Ильич, у меня с Тулиным никаких личных взаимоотношений нет. И он мне не конкурент.— Крылья его носа высокомерно дернулись.— Надеюсь, это ясно? Делить мне с ним нечего. Мне пора, как говорится, о боге думать.

— Скорее вы, Сергей Ильич, не беспристрастны,— сказал Агатов, отделяясь от шкафа.

— Я?

— Вы ж друзья с Тулиным. Он ведь вас просил похлопотать.

— Что за чепуха?— изумился Крылов.

Агатов укоризненно покачал головой.

— Ну зачем же вы так, Сергей Ильич? Тулин специально за этим приезжал к вам сегодня.

— Как?— поразился Голицын.— Тулин сегодня был здесь?— И, не слушая Крылова, покрасневшего, желающего что-то объяснить, сказал:— Так, так, за моей спиной... После этого вы еще требуете беспристрастности. А я-то, старый дурак, считал вас...

— Но Тулин про это не говорил ни слова!— в отчаянии воскликнул Крылов, понимая, что сейчас не удастся ничего объяснить старику.

— Вы чего, собственно, добиваетесь, Сергей Ильич?— спросил Агатов многозначительно и уличающе.

— То есть как?..

— Сознаете ли вы, на что вы толкаете Аркадия Борисовича? Вы требуете другого заключения. Но заключение-то будет его, не ваше. В случае чего Аркадий Борисович понесет всю ответственность. Вы этого добиваетесь?

— Не говорите глупостей,— сказал Крылов. Вдруг он вспомнил и поразился:— Погодите, Яков Иванович, но вы же сами были за подобные исследования. Только сегодня мы с вами говорили.

Агатов нисколько не смешался, он словно ждал этого.

— Лучше не стоит касаться нашего разговора, Сергей Ильич,— сказал он.

— Почему же, я не вижу тут...

— Значит, сами настаиваете? Ну что ж, Аркадий Борисович, я бы никогда не стал огорчать вас,— тор-

жественно начал Агатов,— но мои слова искажаются, я должен...

Голицын замахал рукой.

— Пожалуйста, избавьте меня.

— Нет, разрешите. Сегодня мы с Крыловым обсуждали планы лаборатории. Сергей Ильич заявил, что мы занимаемся никому не нужной тематикой. Не буду приводить неподобающих выражений. Руководство плохое, подавляет инициативу. Правильно я излагаю, Сергей Ильич? А ваши слова были, что Аркадий Борисович избегает современной физики? Отстал, неспособен и прочее. Ну, а что касается этой записки, то как я могу утверждать обратное, если я сам ее готовил по просьбе Аркадия Борисовича?

— Да, да,— упавшим голосом подтвердил Голицын.

— Не мое дело судить вас, Сергей Ильич, но некрасиво все это, некрасиво.

Крылов ошеломленно молчал. С тупым любопытством отметил, что голос Агатова срывается от совершенно искреннего волнения и на бледном лице проступили большие печальные глаза.

— Лучше горькая правда, Аркадий Борисович, чем сладкая ложь. Мне противны интриги. Если бы Сергей Ильич прямо, по-честному... Я знаю, конечно, он ваш протеже и я пострадаю на этом, зато совесть моя будет чиста.

Агатов повернулся к Голицыну.

— Разрешите, Аркадий Борисович, я сам отвезу Южину наше заключение.

— Да, пожалуйста, спасибо,— сказал Голицын.— Поезжайте.

Когда дверь за Агатовым прикрылась, Крылов опомнился.

— Аркадий Борисович, все это не так...

Голицын молчал, брезгливо оттопырив губу.

— Черт с ним, с Агатовым...— сказал Крылов.— Тут в другом дело.

— После всего того, что я для вас...

— Вы, по сути, прикрыли целое перспективное направление. Разве так решают научные споры?..

— Поделом мне, поделом. Боже мой, так ошибиться!

Они говорили, не слушая друг друга; Крылов раздраженно повысил голос:

— Пусть даже Тулин в чем-то спешит, но запрещать... Я не могу с этим смириться, я не понимаю.

— Кроме Тулина, я вижу, мы еще во многом не сходимся,— сказал Голицын.— У нас, очевидно, разные понятия порядочности.

— Ах-р-р...— Крылов задохнулся.

— Ну-с, продолжайте.

Крылов сцепил руки за спиной.

— Мне будет трудно при такой нетерпимости,— медленно подбирая слова, сказал он, стараясь говорить сдержанно и четко.— Если я предположу, что вы всегда правы, мне не остается ничего другого, как превратиться в Агатова и постоянно поддакивать вам. Пропадет всякое удовольствие от работы.

— Научная работа не всегда удовольствие,— язвительно сказал Голицын.

— Возможно, я неудачно выразился,— согласился Крылов.— Пропадет моя ценность как научного работника.

— Она пропадет, если вы будете разделять бредовые идеи Тулина. Впрочем, где уж мне указывать вам! Когда-то вы считали меня своим учителем, теперь я отсталый, торможу, избегаю, даю неверное направление...

— Я всегда уважал вас за то, что вы разрешали спорить с вами.

— Спорят, чтобы выяснить истину. А вы, Сергей Ильич, вы не спорили, а интриговали. Да! Это вы, вы показали свою нетерпимость. За моей спиной наговаривали Агатову, только он честнее оказался... Как не стыдно!

— Вы не имеете права...

— Молчать! Мальчишка! А я еще тащил вас. Уходите! Невозможно!— Голицын кричал, руки его тряслись, и Крылов тоже заорал в бешенстве, стараясь перекричать его:

— Не нужен мне ваш конкурс! Не рассчитывайте! Я отказываюсь от лаборатории, имейте в виду!

— Угрожаете? Мне? Вы что ж думали, после этого...— Вдруг Голицын вцепился в ручки кресла и, погрузнев, опустился на сиденье. Крылов испуганно рванулся к нему, но Голицын с отвращением отстранил его, открыл ящик, достал патрон валидола, бросил в рот таблетку, закрыл глаза и, передохнув, засмеялся тоненько, победно.

— Ай-яй-яй, за что же вы лишили нас своей милости? На кого же вы нас покидаете, горемычных?— Потом он перестал смеяться и сказал сладко-издева-

тельски: — На вашем месте я бы не стал иметь дело с такими тиранами, как я. Принципы надо доводить до конца.

— И чудесно, и чудесно, — подхватил Крылов. — Я уйду.

— Ради бога. Не задерживаю. Хоть сегодня же.

В несколько шагов Крылов очутился у двери, с силой распахнул ее.

— Одну минуту! — крикнул Голицын так, что в приемной было слышно и секретарша встревоженно привстала. — Не **вы** уходите, а я вас увольняю. И запомните: вы уходите не от меня, а от науки.

У Песецкого был свой уголок, огороженный книжным шкафом, набитым справочниками и детективными романами.

— Я не помешаю? — спросил Крылов.

Песецкий не шевельнулся, проговорил осторожно, стараясь не слушать себя:

— Прошу, в смысле умоляю, катись отсюда.

Крылов уселся на табурет. Песецкий механически черкал бумагу. У него было злое и умное лицо человека, недовольного собою. Наконец он отбросил карандаш, потянулся.

— Ты еще здесь? Как, по-твоему, может ли паралитик убить шестнадцать человек? Если да, то каким образом? Почему ты не читаешь детективов? Великолепный тренаж! Хочешь, дам? «Смерть в клетке». Блеск! Ты чего куксишься? Слава угнетает?

— Точно, — сказал Крылов.

— Кстати, как мне ни противно, но я вынужден сообщить: эн равно плюс три и три десятых.

— Вот видишь!

— Не можешь удержаться? Пошляк!

Они обсудили данные, полученные в свое время Федоровым и станцией на Эльбрусе. Уравнение получалось длинное, на полстраницы, но Песецкий восхищался им, называл его «цыпочкой» и утверждал, что теперь его может решить вахтер.

Уравнение действительно было изящным, и Крылов чувствовал, что оно абсолютно верное. Они любовались им, как красиво сработанной вещью.

— Математика! Царица наук! — хвастливо сказал Песецкий. Он презирал экспериментаторов: они, как

кроты, рылись в своих схемах, считая показания стрелки высшим судьей всех споров.— Если бы у меня был такой зад, как у Агатова, сколько бы я сделал! Моя беда, что я не умею ничего доводить до конца. Вернее, не хочу. И с женщинами у меня такая же петрушка. Слишком быстро их разгадываю, становится скучно. Сила логики заедает. Но тут, боюсь, ты меня доведешь до финиша. Тяжелый ты человек.

— Я ухожу из института,— сказал Крылов.

Песецкий присвистнул.

— Шутишь?

Выслушав рассказ Крылова, он погрустнел:

— Ты единственный в отделе, кто смыслит в математике. А может, передумаешь? Пренебреги, а? Все это суета сует и томление духа.

— Не могу,— сказал Крылов.

— Принцип?

— Нет, просто надоело.

— Жаль... Хорошо, что мы составили с тобой уравнение.

— Да,— сказал Крылов.— Уравнение красивое.

Они снова просмотрели записи на исчерканной вкривь и вкось бумаге.

— Придется тебе самому кончать статью,— сказал Крылов.

— И не подумаю.

Они помолчали.

— Что ты думаешь обо всей этой истории?— спросил Крылов.

— Ничего,— сердито сказал Песецкий.— Ничего не думаю. Не желаю вмешиваться. Старик бежит от правды, ты — от старика. Все это не имеет никакого отношения к физике.

У Песецкого все были виноваты, и вместе с тем для каждого он находил оправдание, даже для Агатова. Может быть, в этом тоже была логика, но Крылова она не устраивала. Спорить с Песецким у него не хватало сил.

— Главное, загружай подкорку,— посоветовал на прощание Песецкий.— Вот ты сейчас ходишь с незагруженной подкоркой, только зря время теряешь.

Бочкарев, конечно, пришел в ужас, хотел бежать к Голицыну, объясняться, но Крылов запретил. Примирение возможно, если Голицын извинится и переделает заключение о Тулине. Бочкарев назвал его зарвавшимся

сопляком, не думающим об интересах своих товарищей. Они поссорились, и Крылов вволю мог наслаждаться жалостью к себе и презрением к этому пошлому миру, где не ценят благородства.

Солнце подобралось к стеклянному кубу чернильницы, вспыхнуло радужным блеском. Голицын зажмурился. В чернильнице давно хранились скрепки. Несколько раз завхоз предлагал убрать и эту чернильницу, и весь громоздкий бронзовый прибор с подсвечниками, и заодно сменить мебель, но Голицын не разрешал. В кабинете все должно было оставаться таким же, как двадцать пять лет назад, когда он сел за этот стол после смерти своего учителя.

Не часто за двадцать пять лет он сидел за этим столом без дела, нарушая привычный распорядок. Прошло полтора часа, как он надписал на заявлении Крылова «уволить».

Он ждал, что Крылов вернется. Крылов не мог не вернуться. Что бы там ни было, этот малый больше всего любил науку, и деваться ему было некуда. На место начальника лаборатории пусть теперь не рассчитывает, во всяком случае в ближайшие месяцы. Придется его проучить.

В первое время после прихода Крылова в лабораторию Голицын испытывал разочарование: было непонятно, что находили в этом медлительном тугодуме Данкевич и Аникеев, люди, с которыми Голицын привык считаться. Постепенно Голицын начал замечать в действиях Крылова какую-то подспудную систему. А чем дальше, тем сильнее ощущался пусть часто беспомощный, зато совершенно своеобразный ход его мысли, стремление нащупать связь в хаосе фактов, сомкнуть воедино, казалось бы, противоречивые явления атмосферного электричества.

Когда-то Голицын пробовал то же самое. Сейчас созданная им теория грозы устарела, не в силах объяснить многих несоответствий. Ее еще приводили в учебниках, на нее ссылались, потому что не было ничего другого. Не Крылов, так другой свергнул бы ее, сделал частным случаем; вечных теорий нет, и надо иметь мужество уступить при жизни, чтобы хотя бы увидеть, что там такое садится на трон. Все же была тайная надежда: пока Крылов основывался на идеях Данкевича, каза-

лось, что голицынская теория грозы впадет, как приток, в общую концепцию Данкевича. Очевидно, так же предполагал и сам Данкевич. Но Крылов действовал как птенец кукушки: он выталкивал из гнезда все, что ему мешало, он ни с кем не стал уживаться, он поглотил одну за другой старые гипотезы, и ни о каком притоке не могло быть и речи.

Можно было работать вместе с Крыловым. Сперва Голицын так и предполагал. Но время шло, а он все откладывал, избегал вмешиваться, придумывал себе новые отговорки и ревниво следил, какими неожиданными ходами движется поиск Крылова. Уклоняясь от, казалось бы, очевидных приемов, Крылов безрассудно сталкивал несовместимые понятия, нахально залезая в какую-нибудь теорию вероятностей, отшвыривал истины, на которые Голицын никогда бы не осмелился посягнуть.

В последние годы Голицын все болезненнее ощущал робость собственной мысли. Дело тут было не в старости. Перемены, происходившие в стране, коснулись и института: можно было расширить тематику, привлечь новые силы, свободно обсуждать смежные работы. А Голицын все еще не мог распрямиться. Странно, что теперь, когда ничто ему не мешало, он начал ощущать в себе какую-то скованность. Молодежь вроде Крылова, Песецкого, Ричарда не могла понять этого чувства: им неведомы были его страхи, никто из них не работал в те времена, когда приходилось помалкивать, когда часто невозможно было сказать то, что думаешь, когда исход научных дискуссий был предрешен неким указанием, когда он, Голицын, опасался отвечать на письма своих зарубежных коллег, когда могли усмотреть идеализм в какой-нибудь формуле. Сейчас Крылову все это кажется смешным, а Голицын испытывал все это на своей шкуре. Такое не проходит бесследно. Страх въелся в него, пропитал его мозг. Появилась некоторая робость мысли, опасливость перед обобщениями, неожиданными ассоциациями. Такие, как Крылов, были свободны от всего этого. Они размышляли широко, без оглядки, и он завидовал им — нет, не их молодости, а тому, что нынешнее время пришло слишком поздно для него.

Крылов не возвращался. Голицын чувствовал тайное облегчение, и было совестно за это чувство. Оправдывая себя, он вспоминал, как два года назад разыскал в Ленинграде Крылова, затюканного, отчаявшегося,

взял к себе, выхлопотал ему комнату, дал полную свободу в работе, вспоминал все сделанное для Крылова. Трудно привыкнуть к человеческой неблагодарности, но и жаловаться на нее глупо, это все равно что хвастать своими благодеяниями. Обидно другое — как он обманулся. Ему всегда казалось, что стиль ученого и человеческие его качества связаны между собой, и если Крылов не подгоняет точки на кривых, докапывается до первопричин, не робеет перед авторитетами, то, значит, и человек он честный, прямой, целеустремленный, неспособный лицемерить. На старости лет непростительно так ошибаться в людях.

ГЛАВА 8

Появление Агатова уничтожило последнюю надежду. Надо же, чтоб именно Агатов приехал к Южину! В этом было что-то роковое.

Южин читал заключение Голицына вслух. Круглое белое лицо Агатова набухало еле сдерживаемым торжеством. Каждая фраза вдавливала Тулина в кресло.

«...Полеты непосредственно в грозовых облаках,— Южин сделал паузу,— не обеспечены, преждевременны и бесплодны».

Руки Агатова сложены почти молитвенно. Кончики ногтей выскоблены добела.

— Ваши обоснования, Олег Николаевич, недостаточны,— произнес Агатов.— Вековые проблемы науки так не решают.

И Агатов, и Южин со своим столом, телефонами быстро отдалялись от Тулина, куда-то уплывали.

— А как их решают?— точно издалека спросил он.

— По капельке,— ласково сказал Агатов.— В лаборатории измеряют капельку за капелькой, годами. Не гнушаются черновой работой. Скромненько.

Южин задумчиво разглядывал подпись Голицына.

— Значит, несвоевременно.— Теперь он не скрывал сожаления.— Годы и годы. Этак при жизни мне, пожалуй, не успеть рассчитаться, а у меня с ней старые счеты, с грозой-голубушкой.

— Что поделаешь, товарищ генерал!— Агатов сочувственно развел руками.— При такой диссипации энергии нет процесса регенерирующего...

Тулин скривился.

— Что вы несете? За этой абракадаброй никакой мысли. Товарищ генерал, им нужно только, чтобы их не беспокоили и чтобы они не рисковали. Есть деятели, которым невыгодно вылезать из лаборатории.

Чем яростней он нападал, тем благодушнее улыбался Агатов. Потом он отдельно улыбнулся Южину улыбкой единомышленника.

— Слыхали? Чего только не приходится выслушивать, когда защищаешь государственный интерес! Другой на месте Аркадия Борисовича отделался бы уклончивым ответом, но мы люди прямые...

На задубелой огненной физиономии Южина невозможно было ничего прочесть. Глаза его уставились на Агатова.

— Игра на новаторстве — модный прием.— Агатов предостерегающе поднял палец.— Товарищ генерал, вы учтите, Тулину-то что? Они разобьются, а отвечать будете вы.

Цинизм этой фразы не мог серьезно задеть Южина — он давно привык подшучивать над смертью и делал это еще грубее и хлестче,— его покоробило другое, неискоренимое в каждом фронтовике: наземная служба, тыловик судит тех, кто сражается в воздухе.

Он поднялся, одернул мундир.

— Все ясно, вы свободны. И вы тоже,— сказал он Тулину чуть мягче.

— Так я передам Аркадию Борисовичу, что все в порядке,— сказал Агатов.

Дверь плавно закрылась. Тулин продолжал сидеть.

— М-да,— промычал Южин.— Все в порядке...— Он выразительно посмотрел на часы.— В институт мы сообщим. Больше помочь ничем не могу.

Тулин заторопился, привстал, держась за подлокотник.

— Мне нельзя так вернуться... ни с чем... Выходит, опять делать то, что мы уже знаем. Поймите, мы знаем, что надо...

— Больше ничем помочь не могу.

Тулин встал, но вдруг сел уже совершенно иначе, откинув голову на спинку кресла, устраиваясь поудобнее.

— Я отсюда не уйду.

— То есть как?

— Буду сидеть, пока не получу разрешения.

— Вы ж слыхали. Чего еще толковать!

Тулин закинул голову и стал смотреть на лепной карниз. Южин вышел из-за стола, оглядел Тулина со всех сторон, словно примериваясь.

— Не валяйте ваньку, со мной эти фокусы не пройдут.— Он подождал, потом нажал кнопку звонка. В кабинет влетел молоденький адъютант, вытянулся, щелкнув каблуками с удовольствием мальчишки, играющего в солдатики.

— Проводите товарища Тулина вниз, посадите в машину, пусть его доставят домой.

— Слушаюсь!— Адъютант выжидательно посмотрел на Тулина.

— Отменяется,— сказал Тулин,— я останусь.

Адъютант перевел глаза на генерала.

— Выполняйте!— скомандовал Южин.— Чего стоите? Помогите ему встать. Он себя плохо чувствует, видите, какой бледный.

Адъютант неуверенно шагнул к Тулину.

— Я себя чувствую прекрасно.— Тулин закинул ногу на ногу.— Так хорошо, что придется вам вызывать трех человек, не меньше. Плюс носилки. А презабавная картина получится, товарищ генерал: научного работника связывают и выносят из кабинета — новый метод окончания дискуссии.

Адъютант неудержимо улыбнулся. Искоса бросив взгляд на генерала, спохватился, преувеличенно нахмурился, но было уже поздно.

— Что смешного? Чего скалитесь? Вы где, на посиделках?

Развалился, нога на ногу — и хоть бы хны. Среди военных такое нахальство невозможно. Военному скомандовал — и конец. Субординация, дисциплина. А с этими деятелями никакого порядка, для них нет ни генералов, ни старших, ни младших. Пользуется тем, что его не разжалуешь. Ишь, как носком болтает! Уверен, что настоит на своем. Пожалуй, это с отчаяния. Можно представить, как ему обидно: ведь не для себя же старается, он не просит ни денег, ни должности...

Две стены пересекались с потолком. Пространственный угол. Когда-то на экзаменах ему досталась такая задача. Что бы ни было, он должен остаться. Стоит уйти отсюда — все будет кончено. Лучше об этом не думать. Пока он здесь, кажется, что еще где-то что-то решается

или может решиться. То, что спрашивали на экзаменах, почему-то запоминается лучше всего. «Хулиганство!» — это сказал генерал. Тулин смотрел в угол на потолок. Он уткнулся лицом в этот пространственный угол. Вцепиться в кресло — и никуда. Изогнуть губы, вот так, понаглее, прищуриться, хорошо бы закурить, нахально попыхивать папиросой, только чтобы лицо не двигалось. Держаться, держаться... Единственное, что оставалось у него,— это упрямство, безрассудное упрямство, лишенное надежды, сидеть, сидеть в этом кресле.

Наступившая тишина заставила его взглянуть на Южина. Что-то переменилось. Адъютанта уже не было. В глазах Южина светилось нечто вроде сочувствия.

Он положил руку на плечо Тулину.

— Вам сколько лет?

Тулин попробовал криво усмехнуться, но побоялся разжать губы: они могли задрожать, они могли выкинуть черт знает что, и голос мог вырваться оттуда всхлипывающий. От этой большой, тяжелой руки, лежащей на плече, что-то надломилось в нем, и он со страхом почувствовал, как душно перехватывает горло.

Южин налил стакан воды.

— Выпейте.

Вода была теплая. Тулин пил маленькими глотками, не поднимая глаз. По голосу Южина он понимал, как жалко выглядел сейчас, и это было самое невыносимое.

Он поставил стакан и пошел к дверям.

— Погодите,— сказал Южин.

Тулин остановился, не оборачиваясь. Южин зашел сбоку.

— Попробуйте сами с Голицыным...— буркнул он.

Внезапно Тулин успокоился, все было кончено, и он вдруг почувствовал ту последнюю свободу, когда уже все равно и остается лишь одно наслаждение — выложить правду.

— Поздравляю вас, товарищ генерал. Отпихнулись. Теперь можно стать добрым и чутким. Советовать можно. Вам ведь уже ничего не грозит. Все параграфы соблюдены. А к Голицыну я не пойду. Не нужно мне их милости. Да и с какой стати им в дураках оказываться? Когда-нибудь вы убедитесь, что я был прав. Когда американцы обгонят нас. Они нащупают наш метод. Вот тогда вы сами разыщете меня: пожалуйста, товарищ

Тулин, вот вам, товарищ Тулин, берите самолеты сколько хотите, торопитесь, наверстывайте, опережайте. Вы станете смелым, ужасно смелым, щедрым... Нет, я вас не пугаю — за то, что вы задержите наши работы на несколько лет, вы не получите никаких взысканий, за перестраховку вас не накажут...

Эти безрассудные упреки Южин готов был простить: нервы, запал. Кто-кто, а Южин знал, какие огромные средства стало давать государство на изучение физики атмосферы, группа Тулина составляла лишь крохотный участок большого фронта исследований, ведущихся институтами страны. Южина занимало другое: среди запальчивых выкриков Тулина он различал страстную уверенность в своей правоте. На чем она покоилась? Почему она для Тулина сильнее всяких формул, и расчетов, и заключений? А что, если это не только убежденность?

Он вглядывался в глаза Тулину, пытаясь через них проникнуть в его душу,— мучительное извечное усилие одного человека постичь до конца то затаенное, что скрывается в душе другого. А вдруг то, что защищает Тулин, и есть истина? Как будто в глазах Тулина он мог увидеть не убежденность, а саму истину.

— Цирк... Колизей...— И вдруг отчаянно махнул кулаком:— Э, была не была, вали на мою голову! Разрешаю. Но не все, конечно. В радиолокационное ядро заходить и не думай...

Тулин глубоко вздохнул, прикрыл глаза. Почему-то не было ничего, кроме усыпляющей усталости. Наконец Южин кончил говорить, и тогда Тулин опомнился, схватил Южина за руку, потом за плечи, поцеловал в одну, в другую щеку. Южин сконфузился, но Тулин чувствовал, что получилось мило и непосредственно, и к нему сразу вернулась уверенность в неизбежности случившегося. С самого начала он знал, что добьется своего, что иначе и быть не могло.

Они сели за схемы полетов. Южин жестко отчеркивал зоны.

— Голицына теперь обойти нельзя,— предупредил он.— Придется идти на компромисс. Он будет курировать ваши полеты. Не сам — через своих, я с ним договорюсь.

Тулин беспечно отмахнулся. Он был слишком рад, чтобы задумываться о таких пустяках, тем более что там Крылов. Серега постарается.

— А если мы встретим грозу? Забредем туда случайно и заблудимся, а? — И он подмигнул Южину.

— Я тебе встречу, я тебе встречу!

— Ну, а если?

— Если грозу встречают, ее обходят. Если в грозу попадают, то... — Южин усмехнулся, — то отремонтировать самолет не всегда удается.

Тулин от души смеялся. Шутка казалась ему очаровательной. Он спешил успокоить Южина, он готов был обещать все, что угодно, любые гарантии. Если что-нибудь случится, он клянется больше не летать, не просить самолетов. Он снова был победителем, а победителю можно быть щедрым и обещать, обещать.

Он покинул Управление вечером. Вместе с начальниками отделов он отработал схемы полетов; запретные зоны были велики, слишком велики, но все же летать разрешалось в таких близостях от грозы, о которых раньше и помыслить нельзя было.

Это первая ступень, первый прорыв, дальше пойдет, в конце концов тут важнее всего принципиальное согласие, а там все зависит от локатора, можно будет отрегулировать усиление, формально требование Южина будет выполнено, лишь бы все обошлось благополучно, победителей не судят, победители сами судят.

На улицах горели фонари, от яркого света витрин и реклам в небе исчезли звезды.

В гастрономе он купил бутылку коньяка «Двин», своего любимого сыру, ветчины.

Нагруженный свертками, он не торопясь шел по улице, разглядывая встречных женщин.

Полные и стройные, в узеньких брюках, — это было красиво, в легких плащах и коротких пальто — и это тоже было красиво, девчонки в курточках, с медными волосами и с волосами пышно взбитыми, девочки с модными раскосыми глазами, большеротые, хохочущие, курносые, надменные, милые скромницы и развязные пигалицы в пышных шуршащих юбках, а руки голые, кожа в пупырышках — прохладно, но держи фасон, — откуда их столько, хорошеньких, даже красивых, появляется вместе с весной?

Ему захотелось заговорить с одной из них. Хотя бы с этой длинноногой в сером, туго облегающем свитере, что стояла у театральных афиш. Он спросил ее, куда она хочет пойти. На «Голого короля»? Вот так так, и он

тоже собирался. Пошли вместе. Ничего тут страшного нет, у него сегодня счастливый вечер, пользуйтесь, берите, раздаю счастье... Он знал, что в таких случаях нельзя спрашивать, мяться, надо говорить самому, смешить и смешить и рассказывать о себе. Ему не надо было притворяться, он просто делился радостью своей удачи. Недоумение и настороженность девушки сменились снисходительной насмешкой: оказывается, перед нею безобидный чудак, даже забавный чудак, нет, не чудак, а симпатичный, общительный парень. Она согласилась пройтись с ним до театра, только это все зря: билетов давно нет, не достать ни за какие коврижки.

— Пустяки,— сказал он и взял ее под руку.

Театр был рядом. Они прошли сквозь толпы спрашивающих лишние билетики, пробились к окошечку администратора. Тулин всунул голову, увидел замороченного, потного толстячка и сказал:

— У вас астма, вам нужно лечиться, вам нужна тихая работа, а не этот бедлам, но что поделаешь, если вы любите театр и никто, кроме вас, не смыслит в организационных делах, они тут пропадут без вас, только кретины считают, что администратор — это тот, кто сидит в этом курятнике и распределяет пропуска.

Пустые, нетерпеливые глаза очнулись, уставились на него сперва как на идиота, потом, что-то поняв, засмеялись с дружеской завистью.

Два желтеньких билета в третий ряд сделали его кудесником.

У нее была отличная фигурка и приятный низкий голос, и она сияла от удовольствия, а на него опять навалилась усталость.

— Вот вам билеты, и простите меня,— сказал он.— Этого «Голого короля» я уже видел и, кроме того, совсем забыл: я обещал зайти к приятелю.

И это не было отговоркой, он вдруг вспомнил о Крылове, и ему захотелось растянуться на кушетке и рассказать Сереге все, что произошло, потому что только Крылов мог оценить это.

ГЛАВА 9

Ключ лежал, как и прежде, справа за наличником.

Большая пустоватая комната показалась неуютной, хотя все стояло на прежних местах. Тулин упал на ку-

шетку, вытянул ноги. Секрет быстрого отдыха состоял в том, чтобы расслабить все мышцы и ни о чем не думать.

Тикали часы. Включался холодильник, бормотал взахлеб, словно торопясь выговориться.

Томный женский голос пел по радио итальянскую песенку: «...В благородном сердце всегда появляется любовь». Точно. Он вскочил, взял бутылку коньяка, скрутил сургуч, ладонью вышиб пробку. Достал из шкафчика стакан. Выпил, морщась, без удовольствия, как пьют лекарство. Чтобы отогнать сон. Бездарно было бы проспать первый вечер в Москве, да еще после пережитого. Транслировали какой-то концерт, слышно было, как в глубине зала вздыхали, покашливали.

Он вынул записную книжку, выбирая, кому бы позвонить. Отсутствие Крылова путало все карты.

Телефон стоял между книгами, на столе. Тулин подошел и увидел под стеклом фотографию: девушка в лыжной шапочке с помпоном на фоне заснеженного леса. Снег лежал на шапке, на кудряшках. У нее были твердые круглые щеки и робкая улыбка.

Тулин подозрительно осмотрел комнату. В углу гантели. Книг прибавилось. На шкафу лыжи, одна пара. Открыл шкаф — ничто не говорило о присутствии женщины. Комната хранила хорошо знакомую Тулину безразличную чистоту, когда убирают чужие руки.

Он успокоился. Было бы грустно, если б Крылов женился. Что-то нарушилось бы.

Перелистывал имена, прежние привязанности и случайные знакомства,— те, что не следует ворошить, полузабытые лица, и те, с кем приятно было бы сходить в ресторан, но и они обязательно начнут с упреков: почему не писал, не звонил и прошлый раз не зашел,— надо будет оправдываться и что-то выдумывать. Не могут женщины просто обрадоваться, как радуются, встречаясь, мужчины. Есть, конечно, Зоечка, но Тулин представил всю запутанную историю их отношений — нет, пожалуй, сейчас не стоит осложнять себе жизнь. Софа — слова не даст сказать. Галочка — это для домашнего потребления. Ему вдруг вспомнилась Женя, эта утренняя глазастая девочка из парка, почему-то он был уверен, что ей было бы интересно узнать про его удачу, она снова бы слушала его, блестя своими коричневыми глазами, где отражались молнии и мокрые листья. Он уже забыл про свое намерение дождаться Кры-

лова и посидеть с ним вдвоем. Быстро побрился; вылил на себя остатки крыловского одеколона. Записная книжка лежала раскрытая на букве «Г». Он хотел было захлопнуть ее и сунуть в карман, но тут взгляд его упал на фамилию Голицына. Тулин усмехнулся...

— Попросите к телефону Аркадия Борисовича.— Пока в трубке шипела тишина, он свободной рукой налил себе коньяку.— Здравствуйте, Аркадий Борисович! Вас беспокоит Тулин. Читал сегодня ваше заключение. Благодарю за вашу заботу о моем здоровье. Вы сделали все, что могли. Однако, как говорят, и бог подчиняется правилам грамматики. А грамматика наша такова, что все новое находит себе дорогу. Я не ради того, чтобы вас посердить.— Он не давал Голицыну вставить слова.— Мне надо, чтобы вы были здоровы, очень здоровы, потому что через год надеюсь увидеть вас на докладе об итогах наших работ. Может быть, вы согласитесь присутствовать и на испытаниях? А чего доброго, решитесь подняться в грозу? Столько лет вы посвятили ей, и ни разу не забраться в нее — обидно! Постараюсь кончить за год, это с запасом, учитывая вашу непримиримость, авторитет и заботу о нас. Ваше здоровье, Аркадий Борисович!

Он чокнулся с трубкой, где яростно пиликали короткие гудки.

Вошел Крылов.

— Ты где шатаешься? Одевайся, поехали в ресторан.

— Как твои дела?

— Кутим! Переодень рубаху. Нас ждут. Все доложу.

Крылов вяло помотал головой.

— У меня нет настроения. Ты двигай сам.

— Не дури,— рассердился Тулин.— Знать ничего не желаю. Сегодня существует мое настроение. А раз у тебя нет настроения, значит, оно тебе не может мешать.

Спорить с ним было бесполезно. Он выругал Крылова за рубашки — модные, но безвкусные, перевернул весь шкаф, пока не остановился на коричневой, с отложным воротником.

— Погоди, а девушка у тебя есть? — спохватился он.

— Не хочу я никаких девиц.

— Стой! А эта? — Он кивнул на фотографию.

— Она не здесь.

— А где?

— Далеко.

Тулин еще раз наклонился над портретом.

— Миленькая. Ну ладно, не пыхти, у тебя это, как всегда, серьезно.

— Как же тебе удалось с Агатовым?

Тулин аппетитно улыбнулся.

— Погоди, все по порядочку. Что ж, вы переписываетесь?

— Нет.

— Скрытный ты человек.

В Доме ученых был вечер отдыха. Тулин долго, со вкусом выбирал в ресторане столик, согласовывал меню, распоряжался насчет шашлыков и салатов. Крылов подумал: сколько живу в столице, а бирюк бирюком, официанта подозвать не умею.

Откуда-то появился Возницын, заместитель директора тулинского института, маленький, умилительно громко хохочущий по любому поводу. Он был с женой, приятной, пухлой брюнеткой, которую Тулин через несколько минут стал звать Симочкой, хотя она была много старше его.

У Тулина было много знакомых, он здоровался, куда-то уходил, узнал, что здесь Ада — она вчера приехала в Москву, в командировку,— и, несмотря на протесты Крылова, отправился за ней и привел, вырвав из компании старых профессоров, рассуждавших о преимуществах постоянного тока.

Последний раз Крылов видел Аду год назад. Она почти не изменилась: была так же ослепляюще красива, надменна, только зачем-то стала носить яркие бусы, а на руке широкий металлический браслет. Выпили за женщин, потом за Южина; когда подняли за Крылова, Ада ровным голосом спросила, что ему пожелать, как бы предлагая заключить мир на сегодняшний вечер. Тулин хлопнул себя по лбу.

— Перед нами же именинник! Новенький начальник лаборатории! Я-то расхвастался, а вот он, подлинный герой, как водится, незаметный... В его лице мы приветствуем...

Крылов торопливо выпил до дна и долго смеялся: он ни за что не хотел испортить Тулину сегодняшний вечер.

Стоило ему представить, как они начнут его расспрашивать, утешать, и его охватывал стыд. Ада сразу же торжествующе скажет: «Вот видишь!» А так она сказала: «Ты добился своего, правда, я остаюсь при прежнем мнении: твое место на заводе».

Крылов начал было возражать, но его уже никто не слушал.

Тулин рассказывал с подробностями историю своих переговоров с Южиным.

— Молодец! Ах какой психолог!— вскрикивал Возницын и всплескивал маленькими руками. Тулин разошелся и приглашал всех через год на банкет.

Заиграли липси. Тулин пошел танцевать с Адой, а Симочка пригласила Крылова. Со всех столиков смотрели на Тулина и Аду: они были самой красивой парой.

— Они составляют полный гарнитур,— сказала Симочка.— Я бы все отдала, чтобы иметь такую фотогеничность.

Крылов промолчал. Он не знал, что надо говорить в таких случаях. Тулин терпеть не мог Ады, называл ее мороженой щукой и пригласил, наверное, потому что на Аду все оглядывались — такая она была красивая.

После танца Тулин подошел к соседнему столику.

— Здравствуй, Петруша,— громко сказал он.— Поздравь меня. А тебе, слыхать, подраскрыли скобки.

В нежно-розовом толстячке, похожем на облупленную сардельку, Крылов с трудом узнал Петрушу Фоминых, с которым они когда-то учились в институте. Петруша восседал во главе шумной компании пестрых пижонов.

Тулин бесцеремонно налил себе в чью-то рюмку, поставил ее на вытянутую ладонь.

— На одной ложной информации нынче не выедешь. Выпьем за нашу передовую эпоху!

Не успел он кончить, как Петруша с неожиданной для его комплекции ловкостью подхватил с ладони Тулина рюмку, выпил и победно поиграл ею между пальцев. Пижоны засмеялись. Тулин побледнел. Он бледнел сразу всем лицом, и глаза его тоже становились белыми.

Ада стиснула Крылову руку.

— Не вмешивайся, без тебя разберутся.

— Они давно ссорятся,— сказал Крылов.— Сперва из-за одной... Потом Петруша прижал его у Денисова. Но Олегу сейчас нельзя влипать ни в какую историю.

— А тебе?

— Я теперь люмпен,— сказал он, вставая.— Мне что...

Он подошел к Тулину и взял его за локоть.

— Ах, и ты тут,— сказал Петруша.— Забирай своего дружка, пока я его не отправил в другое место.

— До чего ты стал жирный!— сказал Крылов.— Так и хочется тебя помазать горчицей.

Он увел Тулина и заставил его пойти танцевать с женой Возницына.

Ада рассказывала Возницыну про трудности с выключателями постоянного тока, но едва только Крылов вернулся, она спросила, почему люмпен.

— Ничего, чепуха,— сказал Крылов.— А как с этой аппаратурой за границей?

— В том-то и дело,— сказала Ада.

Возницын захохотал.

— Пусть, пусть Америка торопится, мы все равно их обгоним.

В это время к ним подошел Петруша. Осторожно подтянув брюки, он опустился на стул.

— Я на Олега не обижаюсь,— сообщил он.— Нет смысла обижаться, он все еще мыслит в коротких штанишках. Жизни не знает. Сейчас все перестраиваются.— Он поправил очки, у него были великолепные очки с золотыми дужками.— Эх, Сережа, быт — проклятая штука. Вот я и считаю, что его надо устраивать, поскольку он определяет...— И он улыбнулся Аде.

— Где ты теперь?— поинтересовался Крылов.

— Внедряю автоматику.

Крылов удивился.

— Но это ж не по твоей специальности?

— Моя специальность...— Петруша снял очки, глаза у него стали светлые, грустные.

Возницын всплеснул руками.

— Что может быть лучше автоматики! Автоматизация облегчает труд. Возьмите, к примеру, метеослужбу, передачу и обработку сведений...

Вернулся Олег и, к удивлению Крылова, спокойно подсел к Петруше, налил ему вина.

— Но откуда ты знаешь автоматику?— спросил Крылов.

Петруша отпил вина, по-кошачьи зажмурился.

— Чудак, зачем мне ее знать, я ее внедряю. А известно, что внедрять можно годами.— Он смотрел на Крылова, но Крылов чувствовал, что говорится это не для него.— Специальность — средство существования материи.

— Существуешь на косности,— сказал Тулин.— Новый тип паразита. Ну и как, увлекательная работа?

Петруша обрадовался.

— А я увлекаюсь другими вещами. Муки научного творчества — это для избранных, вроде тебя. Куда уж нам!.. У меня теперь интерес материальный. Принцип материальной заинтересованности. Слыхал? Сокращенно «примазин». Отличное средство, действует на любой организм. Ты принимаешь?

— Вроде бы рановато,— сказал Тулин.— А ты без этого неспособен?

Петруша хихикнул. Насмешки Тулина соскальзывали с него, но он не прощал ни одной, подзуживая Тулина своим цинизмом.

— И не боишься ты влипнуть?— полюбопытствовал Тулин.

Петруша посмотрел на него как на ребенка.

— Ошибается тот, кто экспериментирует. А я никогда себе этого не позволю. Невыгодно.

— Бизнесмен,— сказал Тулин.

Петруша взял двумя пальцами ломтик лимона.

— Вы оторвались от жизни. Нехорошо. Деньги есть деньги, они определяют заслуги человека в нашем обществе.— Он разговаривал тоном, не требующим ответа, так говорят с кошками или собаками.— Каждому по труду, от каждого как?

— По способностям,— обрадованно подсказала Симочка.

— Именно.

— Ты все переворачиваешь. Деньги, деньги... У тебя как на Западе,— сказал Крылов.

Петруша посмотрел на него серьезно, и Крылову опять показалось, что за толстыми стеклами очков мелькнуло что-то грустное и тотчас растаяло в поддразнивающей ухмылке.

— Зачем Запад? С деньгами и у нас можно не хуже, чем на Западе. Производство товаров возрастает.

— Да, да, жить становится все лучше,— обрадовался Возницын,— не сравнить...

— Счастье — это не деньги, это трудности борьбы за светлое будущее,— сказал Петруша.— Берите мои трудности, дайте мне вашу зарплату.

— Перестань пылить,— сказал Крылов.— Неужели ты стал таким?

— Он всегда был таким,— сказал Тулин.— Он всегда был пижоном. У него ничего не остается в жизни, как жрать, покупать и халтурить.

Петруша пососал лимон.

— Фу, как грубо! За что вы на меня злитесь? За откровенность? Подводите идеологическую базу? Ты, Олег, всегда был бдителен. Это ведь ты прорабатывал меня за джаз, за то, что мы не занимались наукой.

— Да, ведь ты играл на трубе!— вспомнил Крылов.

— ...Ты, Олег, конечно, личность исключительная, тебе не нужны деньги, тебе нужна слава. А к славе приложится и остальное. Тебе не нужна своя машина, тебе достаточно казенной. А я больше не играю на трубе. Ты перевоспитал меня. Я стал как все, рядовой работяга. Между прочим, у тебя какая зарплата? В три раза больше моей? Поэтому твоя действительность в три раза прекрасней, чем моя.— Он подмигнул Аде:— И соответственно раза в четыре приятней, чем ваша. Поэтому идеалы Олег может иметь более высокие, его муки творчества — это не для нас, нам бы десятку-другую наишачить.

— Ах ты поросеночек,— сказал Тулин.— Как ты вырос! Ты стал философом.

Давно уже с какой-то мыслью Крылов следил за Петрушей. И вдруг сказал:

— Жаль, что ты бросил играть на трубе. Может, это и было твое призвание.

Петруша живо повернулся к нему, хотел что-то ответить, но махнул рукой и зло рассмеялся:

— Ужас, какие вы все положительные! Особенно ты, Серега. Как был карась-идеалист, так и остался. Никакого прогресса. Удивляюсь, как это тебя еще терпят в институте! Когда тебя выставят, двигай ко мне, так и быть, устрою.

Ада неумело закурила сигарету и сразу же притушила.

— Ну, а теперь катись,— сказал Тулин.

Петруша положил обсосанный лимон.

— Диспута не получилось. Извините за компанию.— Он встал.— Принимайте «примазин» — поможет, особенно в семейном положении.— Сунул руки в карманы и, позвякивая мелочью, удалился к своему столику.

Первой прыснула Симочка, за ней остальные. Крылов тоже смеялся, не зная чему. Они почувствовали себя вдруг очень молодыми, очень голодными и накинулись на остывшие шашлыки. «Экземпляр! Ну и экземпляр!» — повторял Возницын. Его все приводило в восторг. На него было приятно смотреть. Шашлык, который он ел, был самый лучший, тулинская тема — самая перспективная, Петруша — диковинное явление, нетипичное, отныне разоблаченное и обреченное...

— Сережа,— сказала Ада,— что у тебя все же случилось?

— У меня? Ничего!

Тулин внимательно посмотрел на него.

— Вытри нос, у тебя нос потеет, когда врешь.

— Отцепитесь вы,— сказал Крылов.— Ну, поругался с Голицыным, что особенного?

— Ага, поругался!— сказал Тулин.— Твой Голицын — скелет, хватающий за горло молодые таланты, старый колпак, наследие прошлого.

— Хуже всего, он несправедливый человек,— свирепо добавил Крылов, и все рассмеялись, как будто он сказал глупость.

— Давай, давай! Мне, брат, мало, чтобы меня хвалили друзья, мне надо, чтобы ругали моих врагов. Но...— Тулин поднял шампур.— Но ты, Сереженька, должен быть с Голицыным кроток и ласков, ибо он будет курировать наши полеты, и надо, чтобы он перепоручил это тебе.

По мере того как Тулин разворачивал свои хитрые планы, Крылов мрачнел. Наконец он решился:

— Это невозможно. Дело в том...— Во рту у него вдруг пересохло, он жадно хлебнул вина.— В общем, я ушел из института.

— Я чувствовала,— сказала Ада.

Они заставили его рассказать все. Поощренный их вниманием, он приободрился. Почему бы ему не рассказать? Чего ему стесняться? Ничего страшного. По отношению к Тулину его поведение было подвигом. Он заслуживал похвалы, утешения, благодарности. Он пал

жертвой, защищая правое дело, и мог требовать почестей.

Тулин молча ел шашлык. Крылов кончил рассказывать, а Тулин продолжал есть шашлык, густо мазал горчицей каждый кусочек, жевал его так, как будто истреблял что-то живое. На него было страшно смотреть. Ада и Симочка притихли. Наконец Тулин вытер губы, скомкал салфетку и принялся обозревать физиономию Крылова.

Он приглашал всех полюбоваться на этого цветущего, упоенного жалостью к себе идиота. Он водил их, как экскурсовод, обращая внимание на достопримечательности этого редчайшего образца человеческой тупости.

— Заметьте, он ждет, что мы кинемся ему на шею, женщины будут всхлипывать, а мужчины прочувствованно трясти руку. Так вот почему приехал Агатов! Кто тебя просил соваться со своими принципами! — зарычал он.— Надо было ехать, а не корчить из себя... Ох и нагадил же ты! — Тулин схватился за голову.— Мы бы Южина повернули совсем по-другому. Я-то надеялся, что из вашего курятника ты сумеешь страховать меня... Все испортил... Услужливый дурак, юродивый.— Лишь присутствие женщин как-то сдерживало его.

Ада попробовала вступиться — раз Крылов не разделяет взглядов Голицына, то, естественно, он обязан... Как же иначе... Каждый человек...

Может, она и добралась бы до самого важного для Крылова, но Тулин не дал договорить, он высмеял ее, под его ударами все превращалось в труху.

— Что за лепет, какие у него принципы! Принципы оцениваются по результатам, а не по намерениям. Нагадить может и кошка, а человек должен уметь больше! Этот лунатик всегда так. Вечно ему надо быть правильней всех. Вы-то, Ада, знаете это получше нас. Ах, какой рыцарь, он шел на все ради меня! А мне не нужно. Не нужна мне твоя жертва, твои услуги.

— Я это сделал не ради тебя,— сказал Крылов.

«Не ради тебя»,— сказал он, и Тулин ударился о что-то неподатливо твердое, как кость. Это случалось не впервые, но всякий раз приводило его в ярость.

— Значит, для себя? Все для себя. Жизнь ничему не научила тебя. От Дана ты тоже уходил, задрав нос.— Он выбирал самые больные места.— Кому помогает твое донкихотство? Ты всем только мешаешь и портишь.

Он лупил его без пощады, издевался, высмеивал.

— Не расстраивайтесь, не надо,— услыхал Крылов голос Симочки. Он вздрогнул от этой нежданной нежности, поднял глаза и увидел, что она гладит руку Тулина.

— Вот видишь?— сказала Ада.— Ты меня не слушался. Куда ж ты теперь?

Белая матовая кожа делала ее лицо мраморно-холодным, как у статуи в Эрмитаже. Куда ж он теперь? Не все ли равно, какое это имеет значение, почему ее интересуют такие пустяки? Он подумал, что завтра можно не ехать в институт. И удивился. И послезавтра тоже, и флюксметры так и будут стоять демонтированные.

— Вот что, ты должен помириться с Голицыным,— сказал Тулин тоном, не допускающим возражений.

— Ради интересов дела,— подхватил Возницын.— Зачем осложнять себе жизнь?

— Нет,— сказал Крылов.— Не могу.

— Отрекись от меня, обругай перед Голицыным, разрешаю,— сказал Тулин.— Агатов — подлец, и нечего нам строить из себя...

— Голицын вас обожает,— сказал Возницын.— Какие в наше время конфликты? Мы все делаем одно дело.— На него было приятно смотреть, так легко у него все разрешалось.

Крылов тоже попробовал улыбнуться.

— Нет, не могу.

— Ну и скотина ты!— сказал Тулин.— Какой же ты друг после этого?

Крылов виновато улыбался. Он и не пробовал защищаться, он покорно принимал удары Тулина, но всякий раз, как ванька-встанька, поднимался — с виноватой улыбкой, словно извиняясь за то, что Тулину приходится снова бить его, и это еще более ожесточало Тулина, хотя в глубине души он отдавал должное стойкости Крылова. Тут никто не мог оценить это мужество, которое всячески прятало себя. И прежде в глубине крыловского характера был налит свинец, но теперь Тулин чувствовал, что свинца этого прибавилось.

— Чего ты достигнешь своим уходом?— сказал Тулин.— Эгоист. Ты открываешь дорогу подонкам вроде Агатова. Господи, как ты подвел меня!

«А если и в самом деле это свинство,— подумал Крылов,— и по отношению к Тулину, и к Бочкареву, и ко всем ребятам? Чего проще, вернуться к Голицыну, старик обрадуется, ну, оба погорячились, и всем будет хорошо, и оказывается, Тулину тоже будет хорошо».

— Нет,— сказал он,— нет, я не упрямлюсь. Как же мне идти к Голицыну, если я не согласен с ним и ты, Олег, с ним не согласен? От тебя отказаться? Но тут не только ты, тут мне и от самого себя надо отказаться. Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их, а если я не сумел, то уж тогда лучше уйти, чем в сделку вступать. Мне ведь уйти тоже нелегко, у меня своя работа, там самый разгар...— Он вспомнил о Песецком, об уравнении, о заказанном радиоспектрометре, о том, ради чего он перешел к Голицыну и к чему приступил, потому что наконец-то приблизилась наиболее важная часть его работы, над которой он бился два года.— Но я уйду, иначе нельзя, ведь только через себя мы можем для всех...— Он запутался; впрочем, теперь ему уже было безразлично.

Наступило молчание, длинное, тягостное. Он сконфуженно улыбнулся, никто не ответил на его улыбку.

Принесли мороженое.

Возницын рассказывал о тайфуне на Каспии. Ада возмущалась, почему о таких вещах не пишут в газетах. Возницын объяснял, что не стоит волновать народ.

Крылов послушно ел мороженое. Он терпеть не мог мороженого. Зачем он здесь? Зачем ему это мороженое и эта болтовня? Он чувствовал, как тяготит всех своей мрачностью, у него всегда получалось излишне серьезно и слишком надолго. Он думал о том, что никогда ни в чем не мог отказать Тулину, а тут отказал, хотя виноват перед ним, и неизвестно, чем это кончится. И никак не мог понять, почему ж нет в нем раскаяния, а есть лишь стыд оттого, что портит настроение людям, которых любит.

Над улицами пылали неоны реклам с просьбой есть мороженое Главхладпрома, и хранить свои деньги в сберкассе, и вызывать пожарных.

— Почему бы тебе не вернуться в Ленинград, на наш завод?— спросила Ада.

«Действительно, почему бы?— подумал он.— Или определиться к Петруше, или вернуться к Аникееву».

— Сережа,— сказала Ада, и он приготовился выслушать проект его будущей упорядоченной жизни. Но вместо этого она сказала:— Ты поступил в высшей степени прилично. Не обращай на них внимания.

Он так ждал этих слов, и вот теперь, когда они были произнесены, оказалось, что это совсем не то, что ему было надо.

— Спасибо,— сказал он.

— Когда-нибудь ты поймешь, что никто к тебе не относился так, как я.

«Я это уже понял, ну и что ж из того?»— подумал он.

— Я много раз рисковала собой потому, что всегда говорила тебе правду. А для неправды есть другие. Или будут. Я не собираюсь сидеть и ждать тебя, как Сольвейг, хотя бы потому, что тебе это будет неприятно... Ты еще сам не знаешь, что тебе надо.

Она всегда умела сделать его более благородным, чем он был. Все же сейчас она, наверное, довольна, что с ним приключилось такое, по крайней мере она могла жалеть его. Почему бы ему не жениться на ней? Она очень красивая, она любит его и никогда не позволит ему совершать необдуманные поступки. Вернуться на завод. Вернуться к Голицыну. Вернуться к ней... До чего ж много, оказывается, существует путей к благоразумию.

— Спасибо,— сказал он по возможности признательней.

Глупее, чем это спасибо, ничего нельзя было придумать. Ему стало жаль Аду. Почему ему приходится огорчать тех, кто его любит? Их так немного, и всегда он причиняет им одни неприятности.

Он осторожно поцеловал ее в щеку, стараясь не испортить прически и не помять белоснежный воротничок.

— Хочешь, я женюсь на тебе?

Как сразу все станет просто и хорошо! По утрам она заставит его делать зарядку. Сколько раз он начинал делать зарядку и бросал. Ада заставит его обтираться холодной водой и регулярно учить немецкий язык. С ней он в совершенстве выучит немецкий.

— Хочешь?

— За что ты меня так не любишь?— сказала она.— Тебе сейчас очень плохо, но все равно так нельзя. Это нехорошо.

Сейчас ему казалось: согласись она, и он не раздумывая бы женился на ней. Ему было жаль ее, и он женился бы и жил с ней. Хоть одному человеку была бы от него радость.

Тулин и Возницын ждали их на углу.

— Идея!— издали закричал Тулин.— Есть идея! Падай мне в ноги, так и быть, помилую! Я! Беру! Тебя! Зачисляю! К! Себе! В! Группу! Вот! Поехали, ты, карасик. Раз уж навязался на мою голову, черт с тобой, присоединяю. О женщины, мы таких дел с ним натворим!

Вдохновенными мазками набрасывал он картину будущих работ и тех работ, которые откроются после будущих работ, когда его группа превратится в Институт атмосферного электричества, а затем в Академию активных воздействий.

Он выжимал облака, как выжимают мокрое белье. Дожди лились туда, куда он приказывал, обильные, плодоносные дожди орошали пустыни, он обращался с облаками как с водопроводным краном. Неурожаи, засухи исчезали из памяти человечества. Он размахивал пучками молний. О молнии, о грозы! Таинственный сгусток энергии, перед которой отступает мощь атомных двигателей. Да, к вашему сведению, одна гроза расходует энергию водородной бомбы. А сколько их, гроз, громыхает ежедневно над земным шаром, ежечасно, каждую минуту миллионы лет! О люди, зачем вы пробиваетесь с таким трудом в глубины ядра, когда вот она проблескивает над вашими головами, громыхает на расстоянии каких-нибудь двух километров, эта необузданная сила! А мы ухватим ее, мы будем пробивать молниями горы, варить камни... Мы... мы...

Ах, почему у них не было магнитофона! Эту речь следовало передать через все радиостанции мира, отпечатать, высечь на гранитных плитах, разучивать в школах. Она была произнесена в полночь у булочной на углу Волхонки.

Крылов тоже восторгался, но, вместо того чтобы облобызать Тулина и ответить, промычал что-то невнятное, все убедились, что он свинья.

— Ты хвастун, Олег,— сказала Ада.— Хвастун и фантазер. Мы на заводе вентиляции наладить не мо-

жем. А ты морочишь Сергея своими сказками: ему надо на завод вернуться, там он конкретно может. У тебя все нереально...

Они заспорили. Симочка защищала Тулина — он все может, если он захочет, он сможет сделать все, что говорил.

Перед Манежем, у пустой эстрады, несколько парочек танцевало под музыку карманного приемничка.

Крылов, узнав Ричарда и с ним дипломантку Женю Кузьменко, свернул к ним. Приемник лежал в пиджаке у Ричарда, и когда они кружились, музыка то нарастала, то слабела.

— А вот там Тулин,— сказал Крылов.

Ричард закивал, сбился. Женя спросила:

— Кто такой Тулин?

— Величайший человек нашего времени,— сказал Ричард.— Пойдем, я тебя познакомлю.

— Еще один гений? Надоело,— сказала Женя, не поворачивая головы.— Ты будешь танцевать?

И они закружились снова.

От улицы Горького свернули в проулки, где между светло-желтыми громадами новых домов уцелели деревянные особнячки, огороженные палисадником, за которым на грядках торчал салат, висели гамаки, а днем летали бабочки и шмели.

— Да, я все могу,— говорил Тулин.— Хотите, Адочка, я вам открою секрет, как стать человеком, который все может, то есть всемогущим? Это совершенно просто. Для этого надо стать сильнее себя. Пересилить свои слабости. Тот, кто сильнее себя, тот сильнее остальных людей и, значит, обстоятельств. Вы хотите сделать Сергея слабым, а я наоборот...

— Ну конечно, своим оруженосцем...

Каждый из них заботился о Крылове, хотел помочь ему, они простили ему то, что он натворил, и они недоумевали и досадовали, почему это его почти не трогает.

Крылов полагал, что Тулин вернется утром, но тот приехал почти следом за ним.

— Добродетель заела,— пояснил он.— Меня никто не встречал и провожать некому. Таков удел идущих впереди. Они всегда одиноки и непонятны. Ими можно восхищаться, но их трудно любить.— И уже без наигрыша задумчиво спросил:— Мораль? А что это такое?

Инстинкт самосохранения? Воспитание? Смелость? Что мешает тебе вернуться к Голицыну? Наверное, эта лыжная девица. Почему ты выбрал ее? Мы дурачье, выбирать себе жену бессмысленно, так же как родителей. Наука превратила нас в рационалистов. Почему я не дал в морду Петруше? Почему я цацкаюсь с тобой? Если бы я мог обрести полную власть над собой, я получил бы власть над всеми.

— Зачем тебе она?— спросил Крылов.

— О! Будь уверен, я бы устроил мир разумно. Во-первых, заставил бы тебя поехать со мной. Нет, надо быть сильнее и беспощадней. Начнем с того, что на полу будешь спать ты.

Через два дня Тулин уехал, так и не добившись от него определенного ответа.

Существовало нечто, что Крылов должен был выяснить раз навсегда. Оформив расчет, он отправился в Театральный проезд, остановился у витрины железнодорожной кассы. По расписанию нужный ему поезд уходил в девятнадцать часов. Крылов посмотрел на часы: в его распоряжении оставалось сорок минут. Он сел в такси и, не заезжая домой, как был, поехал на вокзал.

ГЛАВА 10

Тут все дома были одинаковыми, квартал за кварталом одинаково красивых новеньких домов с цветными балконами. Он провожал Наташу до самого дома всего однажды, и то зимой, вечером. Они постояли у парадного, и неожиданно Наташа пригласила зайти к ним выпить чаю. Она так и сказала — зайдемте к нам, она познакомит с мужем, покажет сына. Будто не замечая его недоумения, она настойчиво тянула за рукав.

— Вы что это, серьезно?— спросил он.

Она наивно округлила глаза — что тут особенного, муж очень любит гостей.

— А что еще любит ваш муж?

Ее притворство разозлило Крылова: неужели она считает, что он способен сидеть за столом с ее мужем, болтать, смотреть ему в глаза, и она будет тут же. Если бы даже такое произошло, то ведь после этого между ним и Наташей все кончится. Зачем это ей, для чего? Но скажи он такое, она немедленно бы спросила — что именно кончится? И ему нечего было бы ответить.

Возвращаясь домой, он вдруг понял, зачем ей это было нужно. Чтобы он зашел и чтобы все превратилось в обыкновенное знакомство. Это была последняя ее возможность устоять, последнее усилие.

А сейчас, летом, улица выглядела неузнаваемо. Газоны лежали, полные до краев жирной травы. На липком асфальте лениво бродили сытые голуби. И только в витринах громоздились те же пыльные коробки кофе.

Непонятно, как он почувствовал, что именно этот дом — ее дом, что заставило его с такой уверенностью свернуть под высокую арку? В списке жильцов прочел: «Романов А. В.— кв. 11». Память старалась изо всех сил, единственный спутник в этом путешествии в прошлое.

Он присел на скамейку дворового садика, лицом к парадному. Плавились стекла, слепые от солнца. В распахнутых окнах бились занавески. Одно из окон принадлежало ей, каждую минуту она могла выглянуть и увидеть его. А может случиться и так, что откроется парадное и она выйдет оттуда, жмурясь от солнца, держа за руку сына. Она не заметит Крылова, и он пойдет за ней по улице, и так они будут идти долго, и перед ним на расстоянии трех шагов будут покачиваться ее волосы, шея, плечи.

Малыши играли со щенком. Они нахлобучили на него бумажную шляпу. Щенок вырвался, подбежал к ногам Крылова, тявкнул и помчался дальше. Женщины на соседних скамейках посмотрели на Крылова и зашептались. Он вынул записную книжку. Там были разные записи, перечитывать их было неловко: благие намерения, которые так и не выполнены, глубокомысленные замечания, которые никогда не могут пригодиться.

«Плазма — шаровая молния El. World № 14».

«Интересно проверить, как проходит гипноз, если гипнотизера оградить сильным полем».

«Прочесть о тающем льде у Санина».

До чего ж быстро человек обрастает невыполненными замыслами и тащит, тащит их за собой всю жизнь.

«У человека нет электрического органа, а есть мышцы, поэтому он старается все сводить к механике. Электрический скат, вероятно, поступал бы иначе».

Любопытно, как поступил бы скат на его месте? Вряд ли он стал бы сейчас сидеть здесь и читать записную книжку.

Солнце припекало затылок. Он откинулся на спинку скамейки и принялся разглядывать окна. Вдруг он сообразил, что сегодня воскресенье; он помнил об этом и раньше, но только сейчас ему пришло в голову, что раз сегодня воскресенье, то она могла уехать за город. А может быть, у нее отпуск и она на даче? Он вскочил и вошел в парадное. Одиннадцатая квартира оказалась на последнем этаже. Крылов нажал кнопку. В глубине квартиры прозвенело. Ему захотелось убежать или подняться на чердачную площадку и посмотреть оттуда: кто откроет дверь? Он оглянулся: по лестнице неторопливо поднимались две старушки.

— Внучку не разрешают нянчить,— сказала одна из них.— Деньги, а на что мне их деньги.

За дверью послышались шлепающие чужие шаги. Надо спросить, не живет ли здесь... Какую-нибудь фамилию. Он лихорадочно пытался придумать какую-нибудь фамилию, любую фамилию, и не мог.

Дверь открылась. Перед ним стоял высокий мужчина, растрепанный, в пижаме, босой. Припухшие глаза его ничего не отражали, там было мутно, как в запотевшем стекле.

— Раньше времени явились. Ну да ладно,— сказал он.

— Простите, мне нужно...— начал было Крылов, но мужчина перебил его:

— Я, я самый и есть Алексей Романов, да проходите же вы.— Он сердито втащил Крылова, захлопнул дверь.— И ради бога, помолчите, голова трещит, все одно ничего не слышу. Сперва посмотрите, потом будете высказываться.

По коридору, мимо прикрытых дверей, он привел Крылова в большую комнату с застекленным фонарем, на полу стояли подрамники, множество холстов лицом к стене, валялись окурки, воздух был спертый, на кушетке лежала грязная подушка, измазанный красками столик уставлен бутылками, и на тарелке коричневые пирожки.

— Садитесь спиной к свету,— сказал Романов.— Алкоголю хотите? Ну и шут с вами.

Он взял ближайшую картину и поставил ее на мольберт.

Крылов прислушался: в квартире было тихо. Ситуация, подумал он. А, будь что будет!

— Отсвечивает? — спросил Романов.— Подвиньтесь. Еще. Вот сюда.

Он подождал, снял картину и поставил следующую.

— Отдерните занавеску! Мало. Да шевелитесь же вы.— Он покрикивал, почти не глядя на Крылова, и взгляд его оставался тусклым и безразличным, и движения, которыми он снимал и ставил картины, были машинальны.

Крылов послушно отодвигался, наклонял голову и все время думал: а что, если Наташа в соседней комнате, за стеной?

— Ну как?— спросил Романов.

— Очень интересно,— громко сказал Крылов.— А что это за станок?

— Да не орите вы. При чем тут станок. Ну, строгальный. Устраивает? Важно было показать глыбу металла, покорную человеку. Контраст холодной стали с человеческой рукой.

Пока он, снисходительно морщась, объяснял картину, Крылов искал следы Наташи, хотя бы малейший признак ее присутствия, что-нибудь связанное с ней.

— Подходит?— нетерпеливо спросил Романов.— Эту я отложу. Вы вообще смыслите что-нибудь в живописи?

Крылов заставил себя вглядеться, он задавал какие-то вопросы, кивал, поддакивал.

Закопченный белозубый машинист стоял у паровоза. Паровоз был нарисован здорово, совсем как настоящий. Машинист тоже был красивым и могучим.

«Гидростроители». По плотине шли строители, все молодые и белозубые, и нечеловечески железобетонные.

Двери в коридор полуотворены, и ни звука не слышно.

Красиво освещенные сталевары — опять могучие, улыбчивые, и опять не люди, а тупые роботы,— сколько таких бездушных картин видел он — в гостиницах и домах отдыха, в фойе кино.

— Невероятно,— говорил Крылов.— Неужели вы сами все это придумали?

— Ну и послал мне бог...— говорил Романов.— Это ж с натуры. И плотина с натуры.

— ...Важно установить равновесие между формой и цветом,— зевая, говорил Романов.— Вот как здесь, оптимистическое соотношение...

— Совершенно правильно,— говорил Крылов,— каждая форма имеет свой цвет, каждый цвет имеет форму.

Какое-то подобие усмешки оживило лицо Романова.

— Бесподобно. Если бы чужие глупости могли бы делать нас умнее, я беседовал бы с вами каждый день.

Его картины нельзя было назвать раскрашенной фотографией. Это были картины-«верняк», холодные, скучные и в то же время неуязвимо отработанные.

Крылов ждал. Чего терять, когда нечего терять. А вообще-то ситуация — не придумаешь. Важно протянуть время. Не может быть, чтобы она не слыхала его голоса.

Романов прислонил к мольберту большое полотно, изображающее часть огромного цеха. Над разметочной плитой склонилось несколько человек, рассматривая чертежи. В центре группы стоял осанистый патриарх, солнце красиво серебрило его длинные седые волосы, прикрытые черной ермолкой. Серые массы металла, фермы мостового крана, косые снопы солнца, театрально пронизывающие дымный воздух. Каждая фигура исполняла свою роль: один улыбался, другой спорил, третий напряженно думал. Все было правильно, но было непонятно, для кого это все нарисовано, зачем потрачено столько времени и красок. Это была одна из тех картин, которые хвалят за тему, но никто не испытывает ни волнения, ни удовольствия, ни открытия. Лучше уж плакат, там хоть ясно, к чему он призывает. Крылов вспомнил, как однажды на завод к ним приехал фотограф из «Смены». Он долго расставлял вокруг станка членов бригады, придумывал каждому позу, поправлял воротнички, а потом попросил: «Пожалуйста, разговаривайте, держитесь свободно, но только ни в коем случае не двигайтесь».

И здесь этим ребятам приказано не двигаться, думал Крылов. Хорошо бы разобрать эту картину по косточкам, высмеять Романова, но ему было некогда, внутри у него все было обращено в слух и ожидание. Ка́ждую минуту могла отвориться дверь и войти Наташа. Хоть бы где-нибудь хлопнула дверь.

— Плохо, что я не специалист,— сказал Крылов.

— Оно заметно. Впрочем, профан — это тоже любопытно. Не мешает послушать. Понятно вам, например, кто такие эти люди?

— О да! — сказал Крылов. — Вот, очевидно, мастер. У него из кармана торчит штангенциркуль.

— Правильно, — чуть насмешливо поощрил Романов.

Крылов внимательно посмотрел на него.

— Чудная деталь, находка, — продолжал он, наблюдая за Романовым. — А посредине, наверное, академик. Все академики носят ермолки. Может быть, конечно, он член-корреспондент, но слишком много седины у него для члена-корреспондента.

— Разобрались. Картина выражена в жизнеутверждающей серебристой гамме. Запомнили? — Романов усмехнулся мрачно и лениво, и Крылов вдруг подумал, что Романов считает его за идиота.

— Мне кажется, что все это уже было.

— То есть?

— Такое впечатление, будто вы все время подлаживаетесь под нужную тему.

— Ваши впечатления оставьте при себе. Тема! Сюжет! Так нельзя подходить к живописи. Кстати, подобный сюжет — бригада содружества в цеху — никто еще не воплощал на большое полотно. Мало ли что было, сколько было снятий с креста, все равно классики продолжали писать. Божья матерь с младенцем... Есть сотни шедевров. Ну и что из этого?.. — Романов не защищался, а поучал лениво и небрежно. — Все дело, мой дорогой, в том, как написано.

— Вот именно! Тут спекулировать... нехорошо.

Романов, словно просыпаясь, медленно поднял брови, синеватые обводы под его глазами походили на грим.

— Что вы хотите сказать?

— Неужели не понимаете? — слегка краснея, спросил Крылов.

Вместо торжества он испытывал обиду. Ничто не вызывало у него такой злости, как работа, сделанная зря.

Ему стало стыдно за Романова, за эти никому не нужные, халтурные картины, которые могут еще долго лежать здесь без всякого ущерба для людей. Вот он, Крылов, ушел из института, но его исследование продолжает Песецкий; не будет Песецкого — все равно кто-то третий кончит их работу, потому что она необходима людям. Он мысленно благодарил свою специальность.

Ставя опыт, он никогда не думал, понравятся ли результаты опыта Голицыну или нет, его интересовала истина, а не мнение. Мнение подчинялось истине.

— А все же?— спросил Романов.

— У вас раскрашенная схема,— неохотно сказал Крылов,— безликие автоматы.

— Ух ты, какая прыть! Значит, у вас есть свое мнение? Ай да герой!

— Оставьте ваш тон. Я не знаю, за кого вы меня принимаете...

— За невежду!— спокойно прервал его Романов.— За кого ж еще? Ну как вы можете судить о живописи? Что вы понимаете в светотени, в фактуре мазка, в ритме цветов...— Он почесал ногу. Если он и защищал свои картины, то не потому, что считал их хорошими, а потому, что никто, кроме него самого, не мог судить их.

— Умников развелось. Но меня достаточно знают. Полюбуйтесь в «Красном знамени», как написано про это «Содружество». А как Голощекин расценил «Гидростроителей».— Он швырнул Крылову пачки газет, журналов, альбомы с подклеенными рецензиями, каталоги выставок.— Вот репродукции, вот еще. Значит, хорош я был! Всех устраивал! А что изменилось? Что я, хуже стал писать? Чего вам всем от меня надо?— Какое-то накопленное раздражение прорвалось в нем.— То не так, это не так. Никто толком ничего указать не может.

«Ишь ты, привык,— удивился про себя Крылов,— это можно, это нельзя».

Он хотел сказать об этом Романову, но позабыл, вдруг увидев среди вороха бумаг несколько старых рисунков и акварелей. Как будто они были сделаны другим художником — ни на кого не похожим, дерзко беззаботным,— костры у реки, беспризорники слушают чекиста, буденновцы с шашками, красногвардейцы на ночных улицах, длинноногие мальчишки, бегущие к самолету.

— Это баловство, молодость.— Романов отобрал рисунки сердито, но голос его дрогнул.

Ага, значит, что-то было, подумал Крылов. На что-то он был способен. А затем торопливость — еще слава, деньги... Нет, раз слаб — значит, не талант. Талант — это всегда сила. Бьют, расшибешься, а все равно идешь, и ползешь, и делаешь свое дело.

В черной щели приоткрытой двери что-то блеснуло.

— Послушайте,— сказал Крылов,— там кто-то ходит.

Романов вздрогнул. Они прислушались.

— Глупости,— сказал Романов.— Там никого нет. Это кошка.

— Кошка? Да, конечно, мне показалось.— Крылов поднялся.— Простите, я пойду.

— Э-э, нет, как же так, мы не договорили. Вы что ж, отказываетесь приобретать?.. На это, допустим, я чихать хотел, но вы объяснитесь. Мне любопытно,— деланная усмешка дергала его запекшиеся губы,— по-вашему, я кто — халтурщик? Модернист? Раскрашенный чертеж — как понимать? Ругань? Ругань не доказательство. Нагадили — и бежать. Ай-яй-яй, не интеллигентно.

— Вы пишете портреты людей, которых вы не любите,— сказал Крылов.— У вас нет к ним чувства, поэтому и у меня не возникает к ним чувства. Вы маскируетесь под искренность. Но сейчас труднее спрятаться. Сейчас любая фальшь проступает как никогда раньше. Для вас эти рабочие — не люди. Модная тема. Расчет, арифметика...

Романов слушал его, полузакрыв глаза, чуть отвернув голову.

— Да, расчет! Я пишу для народа. Вот именно — для народа,— оживленно повторил Романов.— Народу попроще нужно.

Эта фраза взбесила Крылова.

— Что такое народ? Я кто, по-вашему? Я что, не народ? Снисходите до народа?

— Ну ладно, не орите,— нетерпеливо оборвал его Романов.— Вы продолжайте. Чего вы требуете от картины?

— Картина — это...— Крылов запнулся.— Это как открытие, изобретение, там же нельзя повторять! Черт с ней, с гаммой. Было у вас, чтобы вы как для себя... Вы можете сейчас вот так?— И он показал на отложенные рисунки.

Романов словно очнулся. Лицо его болезненно исказилось.

— Но это же глупость!— закричал он.— Для себя. Смешно слушать.— Он театрально воздел руки.— Кому

нужны мои переживания? Сколько они стоят? Вы как живете, жалованье получаете? Вот вы и чирикаете. А у меня семья. То есть... Черт с ней. Не в этом дело. На кой шут мне рисковать? Писать для себя? Нет, мне некогда дурака валять. Я работаю для потребителя.

Его словно прорвало. Он схватил Крылова за плечи и говорил, говорил, дыша в лицо винным перегаром. Мутные, словно запотевшие глаза смотрели невидящим взглядом. Вдруг он отошел, помолчав, неуверенно спросил:

— Значит, считаете, что я больше неспособен? Пожалуйста, можете начистоту. Надо хоть раз... Поскольку уж мне попался такой правдолюбец. Не бойтесь, не пожалуюсь. Черт с ним, с вашим Дворцом культуры.

— При чем тут Дворец культуры,— с досадой сказал Крылов. Пора было кончать эту затянувшуюся дурацкую историю.— Я не из Дворца культуры.

— Да, действительно, ни при чем. Нет, погодите. Сперва выпьем.

Романов подбежал к столику, ловко разлил коньяк по стаканам.

— Коньяк отличный. А закуски нет. Разве пирожки вчерашние. Впал в полное ничтожество по случаю семейных конфликтов. Небось слыхали?

Он стоял спиной к Крылову. Под голубой пижамой в синюю блестящую полоску ходили округлые лопатки. И вся спина была большой, круглой, блестящей.

— Как? Нет, не слыхал.

В нем все замерло в ожидании. Романов обернулся, протянул стакан. Крылов выпил, быстро, жадно, как воду. Он мог сейчас пить сколько угодно.

— Нет, ничего не слыхал,— повторил он. Если бы он умел быть хитрым и осторожным!

Романов, прищурясь, рассматривал коньяк на свет.

— Алкоголь — по-арабски порошок. По-нашему — от слова «алкать». Все сходится.— Он выпил, вытер рот, заходил по комнате.

— Вы про меня хлестко... Такое редко. Но, к вашему сведению, я сам куда крепче могу, я ведь все понимаю. Вот в чем ужас.— Он говорил невнятно, занятый какой-то своей мыслью.— Когда-нибудь, когда-нибудь... И так всю жизнь. Вроде не с кем бороться. Иногда только... Вы как меня представляете? Способен я или нет?— Он

спросил вдруг ясно, в упор. Правда, тут же попробовал иронически хмыкнуть, но сорвался и замер.

— Вы сами виноваты,— с неожиданным для себя сочувствием сказал Крылов.— Бывает, что человек боится, ничего не сделав, чувствует себя побежденным не потому, что рисковал, а потому, что отказался от риска. Вы попробуйте.

Романов, шлепая босыми ногами, забегал по комнате.

— Откуда вы знаете? Может, я уже пробовал. Никто ничего не знает. Самые близкие люди живут на космических расстояниях. Хотите, я вам покажу?

— Что?

— Так, ерунда, для себя.— От его равнодушия, ленивой неуязвимости не осталось и следа. Боком он пробрался в угол к мольберту, завешенному серой тряпкой.

— Вот она, тут,— пробормотал он и, умоляюще посмотрев на Крылова, снял тряпку.

Крылов шагнул вперед. Потом он отступил и, пятясь назад, поискал стул. Не найдя его, остановился.

Из грубо отмалеванной синью глубины на него смотрела Наташа. Огромные глаза ее с недоумением глядели на Крылова, не понимая, зачем он здесь. Он ясно видел, что она думает о нем. Знакомый серый свитер был голубым, но все равно он был серым, и темные губы... Одной рукой она крепко сжимала плечи мальчика, приткнувшегося к ее коленям. Рука была́ неестественно длинной и глаза невероятно велики,— он не сразу заметил нарушенные пропорции.

И тотчас раздался настороженный голос Романова:

— Как вы сказали?

Крылов с трудом повернулся к нему. И вдруг впервые Наташа совместилась с этим рослым, красивым мужчиной, хозяином этой квартиры. Они живут здесь вместе. Она моет эти тарелки. Блестящая в полоску пижама. Мягкие курчавые волосы. И волосы на груди. И рыжеватая щетина вокруг слабых губ. Но если он мог написать ее так, значит, он любит ее.

Крылов отвернулся, но Романов, как нарочно, заглядывал в лицо.

— Неужели так действует? Ну, что вы теперь... Могу я? А я сам знаю, что могу. Но ведь могу, верно?— Он забегал по мастерской, то он принимался хвастаться, то

путался и заискивающе, почти любовно трогал Крылова за руку.

Было противно и стыдно. Надо было уйти. Но он не в силах был двинуться. Он понятия не имел, хорошая это картина или плохая. Наверное, хорошая, хотя низ недописан и рисунок внизу беспомощный, какая-то каша... Он почувствовал, как Романов нетерпеливо теребит его.

Ему хотелось выгнать его, остаться одному, что-то обдумать. Свиделись! Не надо было ехать сюда. Вся затея от начала до конца была бессмысленной.

— Да, это она,— глухо и твердо сказал Крылов.— Теперь я понимаю...

Романов благодарно стиснул его руку.

— Я вам первому показал. А как фон? Хорош? Неумолимый цвет,— он бормотал, как одержимый.— А лоб? Одним махом. Весь смак в этом сочетании. Рука, какая у нее рука. В глаза я еще дам красным. А рука не смущает? Только бы кончить. Я еще задумал. Я много задумал...

Тонкие грязные пальцы его бегали по холсту, трогали живот, ноги Наташи. Объясняя, что и как будет дописано, он схватил кисть, тюбик с краской.

— Не трогайте,— сказал Крылов.

Романов посмотрел на него, как глухой, кисть выпала, он растопырил пальцы и уставился на них.

— Дрожат,— тихо сказал он.— Уже неделю не могу работать. Дрожат. И не в состоянии...

— Вам не надо пить.

Романов покачал головой.

— Не из-за этого. Боюсь. А вдруг обругают? Обвинят. Я сам хуже всякой критики. Привык. Все заранее прикидывал — кто что может сказать. Вероятно, и не скажут, а я все равно страхуюсь. Страхуюсь — это от слова «страх». Главное — уравновесить, привести в ажур. И сейчас хочу уравновесить — нет, не получается, знаю. Думаете, я не вижу, что уже порчу? Когда она ушла от меня, я с горя как начал этот портрет по памяти, без оглядки, словно прорвало, а потом опомнился, и вот сколько...

— Она ушла? Как ушла?

— Ушла. Сына взяла. И вот сколько я...— Романов остановился, подозрительно вглядываясь в Крылова,

как будто кто-то стер мутную пленку с его глаз. Щеки его медленно втягивались, из стиснутого в руке тюбика выдавливалась краска. Веселый ярко-желтый червячок выползал, удлинялся и, покачавшись, смачно шлепнулся на пол.

— Так это вы?

Крылов кивнул.

Словно защищаясь, Романов швырнул в Крылова тюбик, не попал, схватил табурет, Крылов не шевельнулся. Романов повертел табурет, зажмурился и бросил. Табурет больно ударил Крылова в коленку.

Затем Романов сел на кушетку, стиснул виски, закачался взад-вперед. Все это напомнило дурную пьесу. «Интересно, как они выкарабкаются из этой пошлятины, подумал Крылов. Ситуация! А черт с ним, лишь бы узнать, где Наташа».

— Вот и познакомились,— сказал Крылов.

Романов поднял голову.

— Простите. Нервы и прочее.— Он повертел пустую бутылку.— Я думал, вы из Дворца культуры. Очень смешно.

— Я вам говорил,— сказал Крылов,— вы не слушали.

Романов передернулся.

— Аа-а, так даже интереснее. Значит, вот вы какой.— Ухмыляясь, он оглядел Крылова.— И что это она в вас нашла? Физиономия у вас примитивная. Ситчик в горошек. Неудивительно, что я вас за администратора... Ситуация.

Так неожиданно было, что Романов произнес то же самое слово, что Крылов чуть не рассмеялся. Это слово чем-то объединило их.

— Вы чего приехали? Раздел имущества?— Романов изо всех сил иронизировал.

— Куда она уехала?

— Вы не знаете? Великолепно!— Романов развалился на кушетке, забросил ногу на ногу.— Я вас приветствую. Значит, у нее кто-то третий. Брошенный муж — жалкое зрелище, не правда ли? Я из-за нее работать не могу. От вас никогда не уходила женщина? Отвратительная штука.— Он старался изобразить циника и не мог.— Но я работать не могу, а без работы я пропал. Стерва. Вышибла подпору,— застонал, раска-

чиваясь из стороны в сторону.— Что мне делать, Крылов, посоветуйте. Видите, мне нисколько не стыдно. Вы ведь умненький. Семья разрушена. С вас все началось. Вы ей наговорили, натрясли свою труху ученую. Знали, что она замужем, что у нее сын, неужто не стыдно? Подлость — так это называется. Подлец вы!

«Чего ж стыдного — любить стыдно?» — подумал Крылов. От ругательств становилось тоскливо. Почему они должны ненавидеть друг друга?— спрашивал себя Крылов. Два человека разговаривали, спорили о картинах, потом узнали, что любят одну и ту же женщину, и с этой минуты должны стать врагами! Обязаны. Сами себя заставляют. Как будто вражда поможет кому-нибудь из них.

— ...Она вернется, вернется,— исступленно твердил Романов.— Не останется она с вами. Разве мы плохо жили? Квартира новая. Помогите мне, для вас это что — эпизод...

Эпизод... Боже ты мой, как точно он попал, ведь тогда казалось, что это всего лишь эпизод. Почему бы не поухаживать. Все было так красиво, сплошная лирика. Но в глубине души он не верил своим чувствам, не верил ни себе, ни ей.

— ...Ну согласен, вы любите,— испуганно поправился Романов,— но для меня тут вся жизнь. Работать не могу без нее. На улицу не хочу выходить. На солнце смотреть противно. Все противно.— Он закрыл лицо руками и заплакал.

Крылов отошел к окну.

«И я не могу без нее, и он не может без нее. Хороший художник или плохой — при чем тут это? Ему, пожалуй, хуже, у меня хоть есть работа».

Нога болела, Крылов незаметно ощупал колено, присел на стул. Романов торопливо утерся рукавом, подбежал к нему:

— Поезжайте к ней, уговорите ее вернуться. А? Она вас послушает. Любые ее условия приму. Помогите, миленький, вы один можете помочь.

Крылов отвернулся.

— Глупо, что я вас прошу? Я сам знаю, глупо и мерзко. Но мне все равно. Я сейчас на все согласен.

— Хорошо,— сказал Крылов,— давайте ее адрес.

— Сейчас, сейчас,— заторопился Романов.— Вы обещаете? Честное слово? Хотите, я вам подарю любую

картину. Просто так, на память. Вы не обижайтесь, не в уплату...

Он поспешно натягивал носки, искал туфли, предлагал поехать куда-то обедать, посмотреть город.

— Ах да, я забыл,— вдруг воскликнул он,— вам же мои картины не нравятся. Значит, это перед вами я откровенничал? Боже мой, срам-то какой, в одном исподнем. Ну, теперь-то я могу вас спросить. Уловил я в ней характер?— Не глядя, он засовывал ногу в туфлю и все никак не мог попасть.— А может, и хорошо, что вы пришли. Я убедился. Важно, что я могу...

— Мне некогда,— сказал Крылов.— Дайте ее адрес, я пойду.

— Как хотите, как скажете,— послушно согласился Романов.— Раз она не у вас... Странно, странно.— Он послюнявил кончик шнурка и задумался.— Женщина не уходит в пустоту, женщина уходит от одного к другому. Наташа — та, конечно... Вероятно, она поехала...— Он снова остановился, уставился на Крылова.— Как вы смотрите на нее! Ведь вы приехали сюда...— Он отшвырнул ботинок.— Ох какой я болван! Вы приехали увезти ее! И я, дурак, хотел довериться вам! Нет, дудки!— торжествуя, он потер руки.

Крылов вышел в коридор. Блеснули плоские зеленые огни кошки. Он попробовал открыть дверь, никак не мог нащупать крючок. Романов стоял сзади, и Крылов чувствовал его дыхание.

На площадке Романов вдруг крепко ухватил его за пиджак, губы его прыгали, весь он кривлялся.

— Продать портрет? Уступлю по дешевке. За поллитра, без запроса. Как отдать! Свадебный подарок.

Никогда позже Крылов не мог понять, откуда взялись у него силы, он был куда слабее Романова, но в эту минуту он так сдавил кисти его рук, что пальцы Романова побелели и разжались.

Ноги у Крылова дрожали, он спускался по лестнице, держась за перила. Он заставил себя пройти двор и улицу и только на площади остановился, прислонясь к газетному киоску.

ГЛАВА 11

Автобусы шли на Озерную переполненные.

Крылов сошел на кольце и долго стоял неподвижно. В руке он держал коробку с тортом, который купил для Антоновых. Коробка помялась, и на картонной стенке расплылось жирное кофейное пятно.

Пышные купы акаций заслонили антоновский домик. Сперва показался железный петух на коньке крыши. Когда-то, приехав сюда еще молодым парнем, Антонов смастерил этого петуха, и с тех пор петух вертелся, храбро выпятив ржавую грудь, словно командуя всеми ветрами.

Затем показался сарай. Зимой на розовом шифере крыши лежал блин снега. Мартовское солнце съедало его, и Крылов из окна наблюдал, как снег на сарае съеживается. Шутки ради он исследовал зависимость скорости таяния от загрязнения снега. Недавно, к его удивлению, этой работой заинтересовались агрофизики.

В стороне, на зеленой поляне, чисто и радостно светились белые будки метеостанции. Антонов улыбнется, прикрыв ладошкой щербатые зубы, жена его заахает, примется накрывать на стол.

Он тихо отворил калитку. Во дворе незнакомая девушка снимала с веревки белье.

— Антоновы? — переспросила она. — Они давно здесь не живут.

— Давно?..

— Месяца четыре, наверное. — Для нее это было давно.

— Где они?

— Где-то возле Бийска. Там, кажется, родные его жены. Адрес они оставили. Вы им родственник?

— Я тут работал зимой. Моя фамилия Крылов. — Он смотрел на нее с неясной надеждой.

— Меня звать Валерия. — Она кокетливо блеснула металлическими зубами. — Меня сюда из Москвы направили. Конечно, после Москвы здесь провинция.

Окно было раскрыто. На месте кушетки стоял канцелярский письменный стол с машинкой, накрытой футляром. Стены голубели новенькими обоями. Не было плюшевого желтого кресла. Наташа любила сидеть в нем, поджав ноги. Не было круглого зеркала в дубовой раме. Из кухни доносился детский смех. Никто не знал о тех, чья жизнь прошла здесь. Никто о них не вспоми-

нал, никому не было до них дела. Дом не хранил воспоминаний. С предательским радушием он служил новым жильцам.

— А кроме адреса, Антоновы ничего не оставляли? — спросил он.

Валерия недоуменно уставилась на него.

Он дошел до калитки, потом вернулся, протянул девушке коробку с тортом.

— Возьмите, пожалуйста. Вы любите сладкое?

Голые руки ее растерянно прижали к груди охапку белья. Большеносое лицо в клубке черных жестких волос стало мучительно некрасивым, она быстро коснулась его руки.

— Но ведь вы... Хотите чаю?

— Что вы,— сказал Крылов.— Не беспокойтесь. Это трюфельный торт. Вам понравится.

Между березовой рощей и лесом когда-то была поляна. Там они лепили снежную бабу и по лыжне спускались в низину к санной дороге.

Он с трудом разыскал эту поляну. Высокий шиповник горел алыми цветами. Тени птиц неслись по траве.

Ветер плескал отблесками листвы. В новом зелено-солнечном мире казалась невероятной снежная тишина и узкая лыжня между белыми сугробами.

Чудак, он думал, что время существует только для него, а оно существовало и для Антоновых, и для этого леса, и для Наташи. Ему казалось, что он найдет неизменным все, что оставил, как в сказке о спящем королевстве.

Пересвистывались птицы. Шурша, осыпалась сухая хвоя. Крылов вслушивался, и было страшновато, как будто он различал воровские убегающие шаги Времени.

Никакие теории относительности, и системы координат, и понятия дискретного времени, и новейшие физические гипотезы не могли помочь ему, все оказывалось бессильным перед этим простейшим временем, отсчитываемым ходиками, листками календаря, закатами,— неумолимым, первобытным временем.

Он вышел к озеру. Песчаные отмели шумели, ворочались сотнями человеческих тел. Со стуком взлетали мячи. Там, где у дымной полыньи когда-то чернела фигура Наташи, скользили лакированные байдарки и мокрые весла вспыхивали на солнце. Из воды в крутых

масках высовывались марсианские морды ныряльщиков.

Холодное и ясное отчаяние охватило Крылова. Наконец-то он понял, что никогда, никогда не удастся вернуться в ту зиму. Никакая машина времени не властна над прошлым. Перенестись в будущее — пожалуйста, но ему не нужно было будущего, он искал прошлое.

— Товарищ Крылов!— Из воды, рассыпая брызги, бежала Валерия.— Товарищ Крылов!— Она остановилась перед ним. Ее плечи блестели от воды. Крылов молчал. Валерия подошла к нему вплотную.— Хорошо, что я вас увидела.— Она пристально, без улыбки смотрела ему в глаза.— Вы тут один? Пойдемте, я вас познакомлю с нашими.

Она потянула его за рукав. Под жидкой тенью полосатого тента Крылов уселся на песок рядом с толстым мужчиной и загорелой блондинкой, игравшими в карты.

Крылов снял пиджак, лег на горячий песок. Блондинка повернулась к нему, заслонив озеро.

— Будете в дурака?— спросил толстый.

— Идиоту в дурака нет смысла,— сказал Крылов.

— Это что, намек? Намек-наскок?

— Нет,— усмехнулся Крылов.— Признание.

— Перестаньте хвастаться,— сказала блондинка.— Знаете анекдот про еврея на пляже?

Валерия беспокойно посмотрела на Крылова и стала одеваться.

— Вы еще застали здесь Антоновых?— спросил Крылов.

— Они уже собирались уезжать,— сказала Валерия.

— А вы не знаете, приходила к ним такая Романова?— Он с трудом произнес ее фамилию.

— Наташа?— оживилась блондинка.

— Да.

— Так она тоже уехала.

— С ними?

— Что вы, ее увез один научный работник, он тут жил зимой. У них такой роман был!

— Роман-шарман, наверное сама к нему уехала,— сказал толстяк.

— Ничего подобного,— горячо сказала блондинка,— мне рассказывали, как все было. Он приехал за ней на машине, подстерег возле ее дома, когда она с ребенком шла, посадил и увез, она домой даже не зашла.

— Так не бывает,— сказал толстяк.— Небось расчет она оформила. В наше время без отдела кадров не похитишь. Всякие бумажки-шмажки.

— Он приехал на черной «Волге»,— сказала Валерия.

— У них был сумасшедший роман,— сказала блондинка.— Он хоть и ученый, а поступил как настоящий мужчина.

— Чего ж он зимой сразу не увез ее?— недоверчиво спросил толстяк.

«Почему я сразу не увез ее?— подумал Крылов.— Как же это так? Сел в поезд и уехал. О чем же ты тогда думал? Да ни о чем. Совсем ни о чем. Про свои паршивые графики ты думал. Про то, что потом когда-нибудь ты приедешь. И этого ничего ты не думал. Как же это могло быть? Сел в поезд, а она осталась...»

— Они проверяли свои чувства,— сказала блондинка.

Но ведь он же писал ей. Почему она не отвечала, ни разу не ответила? А последнее письмо вернулось невостребованным.

— Вы ее знали?— спросила Валерия.

— Я понятия не имел... То есть, конечно, я знал.

— Что ж она, такая красивая?

— Да, очень.

Они с интересом посмотрели на него.

— А может и не очень,— поправился он.— Я ничего не знаю.

— Господи, какое у вас лицо,— сказала блондинка. Она шлепнула Валерию по спине.— А твой тебя не собирался увезти? У нее тоже принц объявился. Торт преподнес.

— Угощай,— сказал толстяк.— При такой жаре скиснут твои тортики-шмортики.

Валерия засмеялась и виновато посмотрела на Крылова.

— Мне пора,— сказал он. Поднялся. Отряхнул брюки. Попрощался.

Валерия догнала его.

— Простите меня,— сказала она.

Мокрые волосы облепили ее маленькую голову. Толстяк и блондинка издали смотрели на них.

Крылов взял руку Валерии и неловко поцеловал.

Пляж кончился. Потянулись пустынные берега рыбачьего поселка. На полях сушились сети. Лежали перевернутые баркасы. Пахло смолой и рыбьей гнилью. Крылов по привычке свернул на тропку вверх, мимо коптильни, мимо амбаров, к синему домику буфета.

Он знал, что ему не следует заходить в буфет, он даже обогнул его, но потом вернулся и, постояв минуту, толкнул синюю фанерную дверь.

Столик у окна был свободен. Он сел на свое место, так, чтобы видеть озеро. «Подзаправимся?» — спросил он. Наташа не ответила. Он смотрел на стул, пытаясь представить, как она сидит перед ним, потирая холодные щеки. Стул был пуст. Она обманула его. Он ехал к ней, а она обманула его.

...Они вернулись с обхода. Наташа стащила мокрые ботинки, достала из чемоданчика тапочки, выложила на стол несколько мандаринов.

— Это еще зачем? — строго спросил он.

Она вспыхнула, придвинула мандарины к себе, и ему стало стыдно.

Они сверяли записи, сводили в таблицы, это было на третий день их работы, и Крылова удивило, как быстро она уловила смысл измерений и действовала, уже ни о чем не спрашивая.

— У вас отличные способности,— сказал он.

Она посмотрела на него недоверчиво, почти испуганно. Но назавтра, закончив вычисления, она вдруг рассмеялась.

— Выходит, я сама могу,— сказала она изумленно.

По утрам, приехав из города, она бывала какой-то сжатой, замкнутой и только к середине дня словно оттаивала. Особенно в лесу, когда они шли на лыжах, она оживлялась. Она ходила на лыжах девчонкой и с тех пор ни разу.

— А с мужем почему не ходите? — как-то спросил Крылов.

Она смутилась и сказала, что муж слишком занят.

Она вообще избегала говорить о муже и о себе, только однажды, когда на озере она провалилась в прорубь и он притащил ее к Антоновым, и растирал, и напоил водкой, она, лежа под одеялом, словно сквозь сон, спросила:

— Какой я вам кажусь?

Потом он понял, что значит этот вопрос. В семье она была старшей и с детства нянчилась с маленькими, и хотелось поскорее освободиться, стать самостоятельной. Вышла замуж, появился ребенок, и опять было не до себя. А в техникуме ее считали способной. Муж ее был довольно известный художник, и рядом с ним ее надежды выглядели мелкими, смешными. Она старалась помогать и не мешать. Она научилась быть незаметной. Это она умела в совершенстве. Иногда она даже не могла представить, а какой же она видится со стороны окружающим. Ей казалось, что она куда-то пропала, ее нет, кто-то вместо нее ходит, говорит, а ее самой не существует.

Она была высокая, с движениями медленными, почти ленивыми, и волосы у нее были тоже ленивые, гладкие, но Крылову она казалась маленькой, и он чувствовал себя с ней старшим, это было непривычно и нравилось. И, как с детьми, с ней надо было быть осторожным, чуть что — испуганно пряталась, застывала в молчании. Она была как эти мартовские хрупкие дни с пугливым солнцем.

Ровно в шесть она сложила таблицы, надела ботинки, собираясь на автобус.

— Можно, я оставлю тапочки, чтобы не таскать?

— Пожалуйста,— сказал Крылов.

Поздно вечером, укладываясь спать, он увидел в углу эти тапочки — маленькие спортивки хранили форму ее ноги. И кажется, тогда впервые ему захотелось, чтобы скорее наступило утро и он снова увидел бы ее.

Крылов заказал винегрет, сосиски и пиво, покосился на буфетчицу. Вероятно, она не узнала его. Волосы ее были уже не желтые, а темно-рыжие.

Все придумано. Легенда о том, как ее увезли, и то, что он сам навоображал себе. В сущности, если разобраться, то, наверное, вообще ничего не было, а если и было, то давно кончилось. Никогда не следует возвращаться туда, где был счастливым.

Имея даже четверку по диамату, следовало бы усвоить, что нельзя дважды войти в один и тот же поток.

Он смотрел на песчаный берег, где лежали смоляные туши перевернутых лодок, и ничто не трогало его, все оставалось безразлично чужим. Винегрет был невкусным, сосиски холодные, удивительно, почему он так боялся зайти в буфет.

Старый дымно-серый кот с черной метинкой на лбу вежливо потерся о ногу. Крылов взял с тарелки соленый огурец.

— Когда-то ты ел огурцы,— сказал он.— Но, может быть, и этого не было.

Кот понюхал и деликатно куснул огурец.

Буфетчица засмеялась.

— Вы к нам опять работать?— спросила она.

— Нет, проездом.

— Пашка, стервец, ведь узнал вас. Ишь как ластится.

Она открыла бутылку, поставила на стол. Кот поднял хвост, мяукнул.

— Это его Наташа приспособила огурцы жрать,— сказала буфетчица.

«А вдруг все это было?— подумал Крылов.— Почему она ушла от мужа?»

— Ну как вы живете-можете?— спросила буфетчица.

— Замечательно, — сказал Крылов. — Чудесно живу.

— А она не приехала? Чего ж вы ее с собой не взяли? Ну, я понимаю, ей сюда сейчас неохота. Она небось от счастья все позабыла. Шутка ли, как она тут маялась без вас. Она вам рассказывала?

— Нет,— сказал Крылов.— Ничего не говорила.

— И мне тоже. Придет, посидит, Пашку погладит.

За соседним столиком потребовали колбасы.

— Сейчас,— сказала буфетчица,— мне не разорваться.

Он сидел, слушал, как лопаются пузырьки в стакане с пивом.

Буфетчица вернулась.

— Вы еще зайдете?

— Нет,— сказал он,— сегодня уеду.

— Привет ей передавайте.

— Я далеко уезжаю,— вдруг сказал он и удивился, услышав от себя решение.— В экспедицию.

— Что это вроде вы невеселый какой?

— Да нет. Пиво у вас отличное. Я был рад вас повидать.— Он нагнулся, потрепал кота.— Ну, будь здоров, Пашка.

Он допил пиво и рассчитался.

— Спасибо вам, до свидания.

— Приезжайте вместе зимой,— нерешительно сказала буфетчица.

— Может быть. Может быть.

Ему еще хотелось выпить пива. Всю дорогу он ощущал сухость во рту.

Через все небо размахнулся белый пушистый след реактивного самолета. Крылов шел и смотрел на тающий росчерк.

Обратно он ехал на электричке. Стоял в тамбуре, белый бурун в синем небе давно растаял, но Крылову казалось, что он все еще видит его.

Если она спустя несколько месяцев решилась на такое, значит, она действительно любила, с самого начала она любила его. Он вспомнил свои письма, и сейчас они показались ему отвратительными. Пустые, холодные, обо всем, о чем угодно, и ни о чем, потому что там не было единственного — он не звал ее. Ну конечно, он считал, что в любую минуту может приехать. А когда последнее письмо вернулось невостребованным, тогда вот началось. Тогда он стал наконец думать. Тогда целыми днями сквозь все он думал и вспоминал. Видел автобус и думал о ней. Пил воду и думал о ней. И не то чтобы думал, а просто представлял ее губы и твердил ее имя.

Московский поезд уходил вечером, тот же поезд, с той же платформы. Крылов зашел в вагон и стал у окна. Провожающие. Отъезжающие. Чемоданы. У каждого вагона прощаются.

Поезд тронулся легким толчком, без гудка. Давно уже нет гудков, поезда трогаются незаметно, только легкий толчок. И вдруг к нему отчетливо вернулся тот миг — соскочить, подбежать к ней, остаться, плюнув на все и на всех; ему казалось, что тогда он хотел это сделать. Он знал, что надо соскочить, и продолжал стоять.

Редели прореженные сумерками огни. Их становилось все меньше и меньше. Почему-то вспомнилось детство, лагерь, как вечером строились на линейку. Спуск флага. И горн. Он вспомнил кисловатый металлический вкус мундштука...

Он прошел в свое купе, достал из кармана «Огонек» и стал читать рассказ. Прочитав, он начал сначала, шепча каждое слово, как читают полуграмотные.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Под конец третьего курса Сергея Крылова исключили из института. Приказ гласил: «За систематический пропуск лекций».

Дирекция вначале сформулировала жестче: «За недостойное поведение», позже благодаря Олегу Тулину формулировку смягчили.

На лекции по оптике Крылов разглядывал потолок. Он ничего не записывал, он смотрел на потолок, где отражалась солнечная зыбь листвы. Преподаватель прервал лекцию и спросил, не мешает ли он Крылову. Крылов встал и сказал, что не мешает. Аудитория смеялась. Лекция была скучная, и пятьдесят человек охотно смеялись. Будь доцент постарше, он смеялся бы со всеми, но доцент, стукнув ладонью по кафедре, покраснел и сказал, что если Крылову известен материал, то вряд ли ему стоит сидеть на лекции.

Крылов отнесся к его словам с полной серьезностью, он подумал и сказал, что лекция его действительно не интересует, поскольку весь материал точно так же изложен в учебнике, проще прочесть учебник и сдать по нему экзамен.

Доцент сказал: «Ну что ж, попробуйте».

Крылов перестал посещать лекции и начал ходить к математикам, слушать курс теории вероятностей. Его несколько раз предупреждали, но он недоуменно округлял свои голубые глаза — почему так нельзя? Его наивность походила на насмешку и могла взбесить кого угодно. Через месяц его исключили.

Олег Тулин, в то время секретарь комсомольской организации факультета, уговорил Крылова пойти к декану просить, обещать, он готов был пойти вместе с ним. Крылов отказался. К факту исключения он отнесся равнодушно. Ему было лишь неудобно перед Тулиным.

Трудно теперь, после стольких лет, разобраться, как возникла их дружба. Со стороны Крылова это началось с поклонения таланту Тулина, а у Тулина — как потребность опекать, помогать и, может быть, служить объектом поклонения. А кроме того, ни у одного из них не было братьев.

На втором курсе они вместе делали лабораторные работы по электрическому разряду.

— Давай поставим электроды под углом,— предложил Тулин.

Им было скучно выполнять то же самое, что делали на соседних столах, и то, что делали здесь из года в год поколения второкурсников. Они поставили электроды под углом, кроме того, они обмакнули их в чернила. Результаты получились странные, не сходящиеся с формулой. Преподаватель сказал, что, очевидно, для таких условий формула неверна. Он не видел в этом ничего особенного, но Крылов и Тулин были потрясены. Впервые они столкнулись с тем, что формула, напечатанная в книге, может быть неточной.

По вечерам они оставались в лаборатории, и Тулин придумывал самые фантастические условия разряда. Они погружали разрядники в снег, в молоко, в водяные пары, пока наконец это не кончилось взрывом, от которого Крылову рассадило подбородок.

Из лаборатории их выгнали, и они решили посвятить свою жизнь науке. Им нравилось сокрушать авторитеты. Кроме того, они убедились, что наука находится в зачаточном состоянии. Такая элементарная вещь, как кибернетика, лишь зарождалась, электроэнергию еще получали, сжигая уголь, и даже энцефалограммы мозга не умели расшифровывать.

Профессор Чистяков отобрал несколько студентов для научной работы на кафедре. Тулин попал в число счастливчиков, а Крылов не попал. Он потребовал, чтобы ему объяснили почему, и напросился... Ему так и сказали: малоспособный, не тянешь, и все тут. Его «почему» раздражало самых терпеливых преподавателей. В конце концов он сам начал придумывать ответы на свои «почему», и постепенно он вошел во вкус, было приятно создавать собственные теории, критиковать авторитеты, подвергать сомнению все, что попадалось на глаза, разрушать и строить заново по-своему. Тут сказывалось и природное упрямство, и недоверчивость к мнению старших; в быту он оставался доверчивым простачком, но учиться становилось все труднее, потому что нужно было проверять самые очевидные истины.

Никто из великих людей в юности не подозревал о своем будущем, но тем не менее великие люди, а также их окружающие умудрялись сохранять множество документов для биографов.

Никаких документов об институтской жизни Крылова не сохранилось, поскольку всем было ясно, что великого человека из него никогда не получится. Даже для биографов Тулина от этого периода мало что осталось.

Крылов и Тулин не переписывались, если не считать записок на лекции вроде: «Посмотри налево — потеха» или «Займи мне место в столовке». Не вели дневников. Не имели дел с издателями, кредиторами, журналистами. Из зачетных ведомостей можно установить, что на первом курсе Крылов получал весьма посредственные отметки по всем предметам. Ничто его не интересовало. В протоколе комсомольского собрания записано: отличник Тулин прикрепляется к Крылову для индивидуальной помощи. Очевидно, Тулину долго пришлось раскачивать подшефного, потому что только в третьем семестре Крылов получил первые четверки.

Вспоминая впоследствии свои студенческие годы, Тулин и Крылов сошлись на том, что историкам действительно придется туго. Современный быт с телефонами и телеграммами не оставляет письменных следов внутренней жизни человека. Поэтому вместо объективных данных придется пользоваться пристрастными оценками. Так, например, известно, что Тулин назвал Крылова экстра-идиотом и свиньей, когда тот отказался попросить извинения у доцента. «Человек, который не может пожертвовать личным во имя большой идеи, ничего не добьется в жизни»,— сказал Тулин. В общей сложности он затратил на Крылова больше тридцати вечеров и имел право обижаться.

Больше всего его раздражало неожиданное упрямство Крылова, всегда покладистого, уступчивого.

Из-под Новгорода приехал отец Крылова и рассудил быстро и жестоко: не хочешь учиться — ступай работать и обеспечь сестренок, они поедут учиться в Новгород. На том и порешили.

Старшая сестра Тулина работала инженером на заводе, и она устроила Крылова контролером ОТК. Крылов хотел поблагодарить Тулина, но тот повернулся к нему спиной.

— Я с тобой даже разговаривать не желаю,— сказал он срывающимся голосом.

Крылов переселился в заводское общежитие. Первые дни его сосед по койке Витя Долинин, маленький, похо-

жий на краба, стаскивал с Крылова одеяло и кричал: «Интеллихенция, подъем!» Потом Крылов сам привык вставать ровно в шесть тридцать. Он не стремился ни с кем сойтись, ни к кому не подлаживался, и, наверное, поэтому ребята с ним легко сдружились.

Физическая работа его утомляла. За восемь часов редко удавалось присесть: надо было бегать из конца в конец цеха, обмерять станины, поверхности, носить приборы, ворочать шестерни. К вечеру он уставал, ноги гудели. Зато голова была свободна. Наконец он мог заниматься чем хотел. Он обдумывал сразу несколько проблем: какова природа сил тяготения, что такое бесконечность, верен ли закон сохранения энергии. Кроме того, он собирался создать общую теорию единого поля, которую не удалось создать Эйнштейну, и вскрыть противоречия квантовой механики. Это был период, когда его занимали исключительно коренные вопросы мироздания.

Читая про биотоки, он пришел к выводу, что возможности человеческого мозга безграничны. Раз так, то следовало добиться автономного мышления — работать, а в это время думать о другом. Он получил два выговора, начет, один раз его чуть не придавило краном: он учился производить нужные замеры механически, обдумывая очередную мировую проблему.

Времени не хватало. Жаль было трех лет, потраченных в институте на такие предметы, как сопромат, химия и прочие бесполезности. Однако благодаря институту он убедился в необходимости какой-то системы и в слабости своего математического аппарата. Большинство проблем, над которыми человечество билось десятки лет, он довольно легко разрешил; правда, оставалось их оформить математически и привести в научно убедительный вид.

Он купил четырехтомный курс высшей математики и шеститомный курс физики. Примерно через полгода он обнаружил, что в его решениях есть некоторые неувязки, а еще через несколько месяцев безобразные, жалкие факты полностью уничтожили прекрасные гипотезы.

Шли последние дни квартала, сборщики гнали аппаратуру на сдачу, и вдруг Крылов забраковал всю серию штанг. Ни на какие уговоры он не поддавался.

Пришлось на ночь вызывать слесарей, и Крылову предложили тоже остаться на ночь принимать штанги по мере их доводки. Он отказался. Мастер устроил ему разнос перед лицом бригады слесарей, пришел начальник ОТК и тоже принялся стыдить его — борьба за план, героические усилия коллектива, честь завода, подвиги комсомольцев.

Крылов внимательно слушал их, потом попросил объяснить, почему обязательно надо сдать контакторы к тридцатому числу, а с первого числа слоняться, точить байки, в чем смысл этой формальности и какой зарез государству получить контакторы на двадцать часов раньше, чтобы при этом измучить людей и платить сверхурочные, а потом оплачивать простои.

Витя Долинин поддержал его, начался скандал, Крылова вызвали в комитет комсомола, но и там он упрямо требовал, чтобы ему доказали, какую прибыль получит государство от такой штурмовщины.

Решено было привлечь Крылова к общественной работе и навести порядок в мозгах этого мыслителя. Ему поручили провести беседу о почетном заказе новостроек — электроаппаратуры для экскаваторов.

Беседа получилась увлекательная. Крылов, добросовестно изучив описание экскаваторов, доказал слушателям, что коэффициент полезного действия этих экскаваторов ничтожен: перенося каких-нибудь десять тонн породы, экскаватор переносит при этом двадцать тонн своего веса, ничего почетного в таком заказе нет, экскаваторы устарели, их надо снимать с производства и делать машины непрерывного действия.

На заседании бюро он, простодушно округлив глаза, говорил:

— По-моему, совершенно правильные расчеты.

Двое из членов бюро стали на его сторону, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, не случись тут другой истории.

Завод переживал неприятности с приводами новой серии специальных контакторов. При испытании чугунные каретки разбивались. Каретка скользила по дуговым направляющим, и поломка происходила, когда скорость достигала рабочей.

Проходя по цеху, Крылов наскочил на главного конструктора Гатеняна, чуть не проткнув его большим раз-

меточным циркулем. Главный конструктор отвел душу: в течение двух минут он дал исчерпывающую характеристику Крылову, и его родителям, и мастеру цеха, который ссылался на то, что Крылов лунатик и вообще малость тронутый.

Затем Гатенян отобрал у Крылова циркуль и вместе со своими конструкторами начал что-то измерять на приводе. Крылов очнулся. Он увидел расстроенные лица вокруг привода с разбитой кареткой, новые контакторы, что выстраивались на сборочном участке, ожидая своей участи.

Некоторое время он слушал догадки конструкторов и вдруг вмешался и попросил запустить следующий образец. Мастер зашипел на него, приказал убираться. Крылов повернулся и пошел, возвращаясь в неэвклидово пространство.

Однако Гатенян остановил его и спросил, какие такие соображения имеются у этого лунатика. Ничего толком Крылов не мог объяснить, ему хотелось посмотреть, на каком участке дуги бьется каретка.

Главный конструктор прослушал этот довод, произнесенный задумчивым тоном, совершенно серьезно. Ни годы, ни должность не научили его тому, что диплом может заменить голову. К удивлению инженеров, он приказал установить новую каретку, приготовить пресс к запуску, не забыв, правда, упомянуть, что каждая каретка стоит две тысячи.

Тогда Крылов отказался от нового испытания. «Так даже интереснее»,— сказал он и, отобрав циркуль, ушел проверять штанги.

Смена кончилась — он появился в конструкторском бюро, заглянул в кабинет, там шло совещание. Главный пригласил его зайти, он пробрался к столу и спросил, что представляет дуга, по которой движется каретка. Круг? Он обрадовался: тогда все логично, каретка должна ломаться, поскольку имеется разрыв производной. Гатенян навел тишину, заставил Крылова повторить сызнова. В сопряжении дуги с направляющей происходил удар, и, следовательно...

Мастера, проектировщики недоверчиво поглядывали на клочок бумаги с нацарапанными значками без цифр и рисунков. Здесь привыкли иметь дело с коэффициентами, чертежами, номограммами — отвлеченные уравнения их не убеждали.

Его спросили: каков вывод? Что делать? Крылов пожал плечами: до сих пор его занимала лишь причина поломки — как, почему, а не что надо делать. Он присел к столу и задумался. Щелкнул тот внутренний разъединитель, которым он научился отключаться от происходящего вокруг. Затем он снова соединил контакты, увидел напряженно ожидающий взгляд Гатеняна и сообщил, что следует заменить окружность параболой.

Гатенян взял его в бюро. Первую половину дня приходилось делать всякие проектные расчеты, решать задачки, после обеда он читал физику. Подобно лакомке, он отбирал самое вкусное, не задумываясь — зачем, нужно ли это. Он читал книги по физике как романы, наслаждаясь неожиданным поворотом мысли. Сидящий рядом с ним пожилой конструктор вздрагивал от раскатов внезапного смеха. «Послушайте,— оправдываясь, говорил Крылов и читал ему, сияя от восторга: — Экстремальное значение импульса не зависит от места образования ионов, хотя форма кривой импульса от этого и зависит».

То были прекраснейшие дни его жизни. Случай с каретками воодушевил его. Оказывается, все эти отвлеченные формулы, соприкасаясь со станками, с железом, высекали искру, способную взорвать все вверх тормашками. Его физика, его математика фактически хозяйствовали на заводе. Полтора года бездействовал ультразвуковой дефектоскоп по проверке отливок. Крылов занялся ультразвуком и наладил установку. Гатенян дал ему полную свободу. «Выбирай, что тебе интересно. Броди и думай,— говорил он.— Будь думающей штатной единицей».

Однажды директор завода, проходя с какой-то комиссией, застал Крылова в конторке ОТК сидящим на столе. Окунув стеклянную трубку в чашку, Крылов старательно выдувал мыльный пузырь. Был разгар рабочего дня. Переливаясь радужным блеском, пузыри плыли по цеху, поднимались к застекленной крыше. Директор возмутился. Но еще больше его взбесило, что Крылов вытаращил на него глаза — ведь это крайне важно разобраться, каким образом пузырь отрывается от трубки. И вообще, известно ли директору, почему лопаются мыльные пузыри? Надо отдать должное директору, он был куда умнее того институтского доцента: он

знал, что выигрывает не тот, кто отвечает на вопросы, а тот, кто задает их. Он спросил: известно ли Крылову, как погиб Архимед?

Ситуация и впрямь напоминала встречу Архимеда с римским воином. Члены комиссии многозначительно улыбнулись, а Крылов попросил у директора денег для киносъемок лопающегося пузыря.

На следующий день директор учинил главному конструктору разнос: почему лопаются мыльные пузыри — трудно придумать удачнее тему для министерских зубоскалов. Отныне на всех совещаниях нам будут поминать эти пузыри.

Гатенян пробовал доказывать, что ничего особенного не произошло. Пусть парень ходит, думает, возится, никогда не известно, что из этого может получиться. Пока что он уже окупил себя на несколько лет вперед. Грех сажать его за доску. На такой большой коллектив не мешает иметь одного думающего. Это тот тип людей, которых незачем заставлять работать, они не работают, только когда спят, нужно лишь не мешать им.

Ответная речь директора была значительно короче.

Гатенян вернулся мрачный, вызвал Крылова, предложил ему получать с утра задания, отправляться в библиотеку и не сметь болтаться по заводу. Все свободное время сидеть и готовиться к экзаменам за университетский курс экстерном.

Экзамены казались Крылову докучной помехой, он уступил главному только потому, что хотел сделать ему что-либо приятное. Работу с мыльными пузырями он все же закончил и послал ее в журнал технической физики. Через полгода ее напечатали, и выяснилось, что она представляет некоторый интерес для теории пограничных явлений.

Гатенян принес оттиск статьи директору и сказал: «Большую реку нельзя мерить палкой». Директор повез оттиск в главк, положил на стол начальнику — «и короли ошибаются».

Перелистав оттиск, начальник главка пожал плечами и сказал: «Подумаешь»,— но на ближайшем совещании рекомендовал поощрять научные интересы производственников. Пример с мыльным пузырем выглядел у него красиво, даже несколько самокритично, и, главное, удобно, поскольку никаких практических выводов не требовал.

На заводе пошли разговоры о Крылове, начальники цехов здоровались с ним за руку. Нравилось, что живет он по-прежнему в общежитии, получает в месяц восемьсот рублей, из них триста посылает сестрам в Новгород. Он отвечал на общее внимание рассеянно, без интереса, и это возбуждало любопытство. То, что раньше проходило незамеченным, сейчас бросалось в глаза, и поскольку Крылов вызвал благожелательность, то сочувственно отметили и его вельветовые брюки, и свитер, и плащ, в которых он ходил по морозу, обходясь без зимнего пальто. Было в этом некоторое неосознанное щегольство — вот, мол, я какой, потому что меня интересуют совсем другие вещи.

И это тоже нравилось. В общежитии его уже не считали «лунатиком» или «блажным», его с гордостью окрестили «главным теоретиком».

Завод имел много главных — главный технолог, главный механик, главный энергетик,— но то были должности официальные, утвержденные. Главные технологи были на всех заводах, главный же теоретик только на Октябрьском. Он становился достопримечательностью завода, такой же, как Порошин — участник штурма Зимнего дворца, Глухов — мастер спорта, альпинист. На каком еще заводе рабочий парень печатает статьи в журнале Академии наук!

Его полюбили, как любят расточительных, не приспособленных к жизни добряков. Любили, заботились и без пощады эксплуатировали: бегали со всего завода с просьбой подсчитать, решить задачку, проконсультировать.

Долинин водил его на танцевальные вечера, таскал за город; он послушно, под необидный смех плюхался с вышки в воду, плыл по-собачьи и смеялся сам, и все понимали, что он может позволить себе не уметь плавать, неуклюже танцевать, ибо не этим определяются его способности.

Так продолжалось до тех пор, пока за Крылова не взялась Ада.

За два с половиной года ему осточертели бесконечные экзамены и зачеты, и занятия по ночам, и лабораторные работы, половину из которых он считал абсолютно ненужными. На кой шут ему сдался диплом, у него уже не хватало ни сил, ни терпения, и перед са-

мым финалом он, наверное, бросил бы все, если б не Ада. Она неопровержимо доказала, что без диплома его ожидает жалкое будущее и вообще он будет безвольной тряпкой, если отступит. На что он тратит свой талант — решать контрольные всяким лентяям! А им не совестно эксплуатировать его простодушие? Без особых разговоров, вежливо и холодно она сумела отвадить слишком частых клиентов Крылова.

Ада считалась в КБ энергичным, серьезным инженером. Кроме того, бесспорно, была первой красавицей завода. Она была настолько красива, что никто не пытался за ней ухаживать. Рядом с ней любой мужчина чувствовал себя недостойным. В КБ были уверены, что у Ады полно блестящих поклонников, соперничать с которыми безнадежно. Из самолюбия она делала вид, что так оно и есть, и держалась еще надменней.

Крылову и в голову не могло прийти, что он может понравиться ей. Он относился к Аде как к старшей сестре или тетке, хотя она была одних лет с ним. Властная, обладающая непререкаемой логикой, она умела подчинять себе людей. Крылов сам не заметил, как стал виновато докладывать ей о каждом шаге.

Прежде всего она убедила его, что он талантлив, не знает себе цены и преступно разбазаривает свои способности. Чего ради он занимается электрическим пробоем? Бесперспективно.

С того дня, как он нацепил университетский значок, жизнь его на ближайшие пять лет — а ему казалось, на сотню лет — была Адой точно распланирована, и ему оставалось лишь двигаться согласно расписанию от одной станции к другой.

К тому времени Крылов и Тулин помирились, и Олег неожиданно поддержал Аду.

— При чем тут пробой,— говорил он Крылову.— Какая фигура! А волосы! Даная! Ты просто счастливчик.

Позже Тулин изменил свое мнение, но тогда его восторги льстили Крылову, было приятно идти под руку с такой красавицей, и чувствовать завистливые взгляды мужчин, и видеть, что она ни на кого не обращает внимания. Втайне он тяготился опекой Ады. В ее присутствии ему приходилось ходить на цыпочках, тянуться изо всех сил. Она не спускала ему ни малейшей оплош-

ности. Она неустанно «приобщала» его, водила на выставки, в музеи, на концерты. Аккуратнее всего, захваченные общим тогда интересом, они посещали политкружки, где азартно обсуждали роль личности, последствия культа. А потом, в коридоре, еще долго спорили, как же это все могло произойти. На завод один за другим возвращались реабилитированные, то, что они рассказывали, было страшно и непонятно. Все чаще без опаски, с уважением произносились имена людей, которых Крылов с детства привык считать врагами народа. Тулин вдруг рассказал, как его отца в тридцать седьмом году исключили из партии и выслали, у Гатеняна брата осудили как шпиона четырех государств; выяснились затаенные обиды, трагедии, хранимые во многих семьях. Каждое такое открытие было болезненным, но вместе с тем росло чувство общего очищения. Пытались угадать, а что будет дальше, убеждали друг друга, что со старым покончено навсегда, строили планы, выдвигали проекты всевозможных реформ. Каждое новое постановление они встречали с энтузиазмом. «Я так и знал, я как раз об этом думал»,— заявлял Тулин; Крылов недоумевал: «Сколького мы не замечали». Коекто из пожилых осторожничал. Но над ними смеялись — дудки, этот процесс необратим; спорили с Адой — она не видела особого смысла в разоблачении прошлого. Зачем? Зачем столько разочарований? Кому это помогает, только растравляет людям души. Крылов в одном был уверен твердо: правда никогда не может повредить. Правда всегда за нас. И ничто не заменяет правду.

Обсуждался семилетний план завода, дискутировали, сравнивали выгоды гидростанций и тепловых станций. Гатенян припомнил дискуссию о языкознании — миллионы людей на всех предприятиях вынуждены были месяцами изучать проблемы лингвистики, в то время когда в колхозах творилось черт знает что, за хлебом стояли очереди. Крылов со стыдом вспоминал, как он сам, тогда уже вроде бы сознательный парень, находил какую-то высшую мудрость в этой статье Сталина.

Началась модернизация оборудования.

Ада заставила Крылова заняться прибором для определения чистоты обработки.

Прибор будет называться прибором Крылова. О приборе должны появиться статьи. Ученый на производстве — вот в чем ценность и смысл его работы.

В соответствии с этим должно строиться и поведение Крылова, и внешний облик.

Заготовка, разогретая честолюбивыми проектами, послушно носилась через валки прокатного стана, постепенно принимая нужную форму.

Ада заботливо соскребла остатки окалины, придирчиво осмотрела свое произведение, осталась довольна, и Крылов отправился в завком с заявлением насчет комнаты.

На нем ловко сидел темно-серый костюм, узкий галстук, вывязанный крохотным узлом. Все свои разработки Крылов оформил, направил в бюро изобретений, получил премию и записался в плавательный бассейн.

Его словно прорвало. Пелена упала, он увидел жизнь в заманчивом разнообразии. Каждый вечер в двадцати театрах раздвигался бархат занавесов. На экранах появились новые картины, заграничные и наши. Шли литературные диспуты. Молодые художники устроили выставку. Девчата из соседнего общежития приглашали послушать кубинские пластинки. Оказывается, воскресенье было выходным днем, существовал яхт-клуб на островах и сами острова с белыми ночами, стрелкой, карнавалами, и ситцевый в черно-желтых квадратах сарафан очень шел Аде.

— Если ты захочешь, ты сможешь стать начальником техотдела,— говорила она,— начальником центральной лаборатории, заместителем главного конструктора. Не ради карьеры — ради интересов дела производство надо ставить на научную основу.

«Прекрасна, как античная статуя,— думал Крылов,— но разве можно обнимать статую?»

Они поехали в Петергоф. Когда пароходик вышел в залив, погода переменилась, заморосило. Крылов накинул на Аду пиджак. Скользкая палуба накренилась, Крылов крепко обхватил Аду за талию.

— Пойдем вниз,— предложил он.

Она помотала головой.

Горизонт поднимался и падал, и море вставало серой лохматой стеной. Они были на палубе одни. Ада посмотрела на Крылова. Он виновато убрал руку, Ада слегка покраснела, и он окончательно смутился. Брызги достигали их.

Крылов не понимал, почему Ада молчит, и чувствовал себя все более виноватым.

— Тебе надо сесть за теорию регулирования.— Голос ее дрогнул.— Это основа автоматизации производства. Я тебя очень прошу. Ладно?

Она накрыла мокрой ладонью его руку.

— Обязательно, конечно,— обрадованно сказал он.

— Ты, ты...— она запнулась,— ты читал Винера? Это поразительно. Правда, он несколько преувеличивает значение кибернетики, но это поразительно.

«О господи, все-то она знает!— подумал Крылов.— А я просто темный идиот».

— А Экзюпери ты тоже не читал? На что ты тратишь время?— Она принялась ожесточенно высмеивать его невежество.

Прибор, которым она заставила заниматься, мало интересовал его. Впрочем, он понимал, что для завода это нужно. Неделю он наблюдал, как мастера, следуя своим секретам и законам, определяют точность обработки. Они не подозревали, что все их секреты подчиняются закону Никольса. Ночью, когда цех опустел, Крылов установил интерферометр и с помощью своего Никольса вскрыл все секреты, как вскрывают ножом консервную банку. Прибор получился элементарный. В сущности, Крылов приспособил известные в лабораториях приборы для цеховых условий, однако на заводе поднялся шум, Крылова фотографировали, о нем писали: «Инициатива новатора... с энтузиазмом откликнулся...» Он чувствовал себя неловко, пока Ада не доказала, что талант никогда не знает истинной ценности собственных работ, лишняя скромность так же неприятна, как и тщеславие. Как всегда, он уступил, согласился и написал под ее диктовку заявление.

Гатенян молча выслушал его условия.

— Значит, имени Крылова, и перевод в старшие конструкторы?— подытожил он и как-то печально посмотрел на Крылова.— У нас в Нахичевани говорят: если бы от яйца становился хороший голос, то куриный зад заливался бы соловьем.

Больше он ничего не сказал, написал приказ и только спустя несколько дней мимоходом спросил, как идут дела с пробоем. Казалось бы, он должен был радоваться, что Крылов занят исключительно заводскими делами, но в этом вопросе Крылову почудились тревога и укор.

Потихоньку от Ады Крылов вернулся к изучению электрического пробоя. Он сам не понимал, зачем он занимается им.

В глубине души он относил это стремление к своим порокам: бывают у людей страстишки — преферанс или водка, а у него — электрический пробой.

То была первая, не замутненная никакими опасениями радость открытия. Он создал свою собственную теорию поляризации и пробоя в некоторых средах. Все выстраивалось красиво, легко, и он первый узнал, понял весь этот сложный механизм. Никто в целом мире не знал истинной картины. Он один обладал сейчас этой истиной, один из всех людей на земле.

Он возвращался из Публичной библиотеки. Ноги его почти не касались земли. Он мог взлететь и парить над Александровским садом.

А что, если он сейчас умрет? И эта тайна уйдет вместе с ним? И никогда никто не узнает? Мысль о смерти была нелепой, но она ему нравилась. Он немедленно помчался к главному конструктору домой.

Когда тот вышел к нему, в пижаме, встревоженный, Крылов сообразил, что Публичная библиотека закрывалась в одиннадцать и сейчас, вероятно, уже за полночь. Но тут же он забыл об этом, ему необходимо было с кем-нибудь поделиться...

Главный ничего не понимал в электростатике, зато он твердо верил в своего подопечного.

На следующий день через каких-то друзей Гатенян договорился с самим Данкевичем, и Крылову разрешили доложить о своей работе на семинаре в Институте физики Академии наук.

К докладу готовились всем конструкторским бюро. Девушки вычертили Крылову роскошные схемы и диаграммы цветной тушью. Главный дал Крылову свою роскошную папку для тезисов. Одна лишь Ада относилась к предстоящему выступлению холодно. Она не понимала, зачем это ему нужно. Впрочем, она заставила его отрепетировать несколько раз свою речь и назвать ее по-другому: не новая теория, а как-то скромнее — «К вопросу о...». Уж кто-кто, а она, дочь профессора, знала, как настораживают ученую аудиторию безвестные открыватели новых теорий.

Она проводила Крылова до дверей института, поправила ему галстук, осмотрела с ног до головы и кивнула строго, но разрешающе.

Вечером он в общежитие не вернулся. Назавтра на завод не пришел. Никто не знал, куда он пропал. Ада позвонила в институт. Там сообщили, что Крылов выступил, его сообщение обсудили, покритиковали, он ушел, и больше они ничего не знают.

Появился он через два дня, небритый, исхудалый, новый костюм был измят, в пятнах. Молча пройдя к главному, он вернул ему папку и протянул заявление об уходе. На расспросы он почти не отвечал, морщась, как от боли. На заводе решили, что к их Крылову отнеслись несправедливо. Разве способны эти затрушенные академики, оторванные от жизни, оценить заводского человека! Уж кто-кто, а их Крылов за пояс заткнет всех очкариков. Стоит ли из-за них расстраиваться, подумаешь, критиканы, наверняка завидуют...

Почему-то все считали, что его разобидели академики и это из-за них он хочет покинуть завод. С ним обращались как с больным, осторожно, стараясь не тронуть раны, говорили о футболе, он отвечал принужденной улыбкой, но глаза его оставались глухими.

Директор подписал приказ о назначении его старшим конструктором; через месяц заканчивается заводской дом, ему обещали дать комнату; Ада выхлопотала ему путевку в дом отдыха,— но он стоял на своем: он уходит с завода. Куда? В институт к Данкевичу. Кем? Кем угодно. Ада была уверена, что это просто каприз, блажь. Идти к Данкевичу, который так хамски отнесся к нему! Это же бред. И зачем он нужен Данкевичу? Лично она презирала эти академические институты с их вельможами, схоластами, вокруг самой простой вещи набормочут заумных терминов. Слава богу, она достаточно насмотрелась дома, у своего отца, на эту писанину, лишенную радости живого дела. На заводе Крылов через год может стать заместителем главного. А потом, пожалуйста, если его так тянет наука, защитит диссертацию. В науку надо въезжать на белом коне, а не стучаться нищим, не имея ничего за душой.

Слова Ады отскакивали от него: до сих пор он был послушной глиной в ее руках, и вдруг глина оказалась цементом.

— Может быть, из меня ничего не выйдет, но я хочу попробовать...— твердил он.

Здание, которое она с таким трудом выстраивала, его карьера, которая начала налаживаться, вся его репута-

ция на заводе, работы, которые она задумала для него,— все-все затрещало, зашаталось.

Даже беспечный Долинин и тот осуждал его: «Чего ты вытрющиваешься? Лучше быть первым парнем в деревне, чем последним в городе». С той же горячностью, с какой его защищали, все возмутились его решением. Его называли неблагодарным, обвиняли в честолюбии. По-своему они были правы: он был обязан заводу слишком многим. Гатенян не захотел с ним попрощаться.

Если бы можно было объяснить им всем!

Ада поставила ему ультиматум — или он останется, или между ними все кончено. Что значит «все»?— недоумевал он. Почему они не могут остаться друзьями как были?

— Друзьями?— Она с ненавистью посмотрела на него и вдруг заплакала. Это было так не похоже на нее, так ужасно было видеть, как по ее белому, неподвижно-мраморному, строгому лицу скатываются слезы, что он почувствовал себя свиньей.

— Ну хорошо, я останусь,— в отчаянии сказал он.— Только не плачь. Пожалуйста.

Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за него. Он не понимал, что происходит. Ада вытерла слезы. «Не нужно жертв. Уходи. Катись. Теперь это уже не имеет значения».

— Боюсь, что из тебя никогда не получится настоящего ученого,— сказала она.— Ты слишком ненаблюдателен.

Внезапное подозрение охватило его, он пытался всмотреться — Даная — и успокоился: это было бы слишком невероятно.

Из него ничего не получится — вот что угнетало его больше всего. То же самое говорил ему Тулин. Два самых близких ему человека пришли к одному и тому же.

В сущности, никому он толком не мог объяснить, как же произошло, что талант, «главный теоретик» лопнул, подобно мыльному пузырю.

Отчего лопаются мыльные пузыри? Теперь он представлял себе, как это происходит. Чьи-то губы раздувают каплю, она растет, блестящая пленка играет всеми цветами радуги. На ее поверхности отражаются небо,

искривленные дома, люди. Пузырь считает себя целой планетой. Все, что он отражает,— это и есть настоящее. Это его дома, его люди. Он несет их на себе, и как доказать ему, что это все — лишь отражение! Он считает наоборот: земля и люди — сами всего лишь уродское отражение его красоты. Он отрывается и летит, понятия не имея о ветре или какой-то конвекции воздуха.

Пузырь летит. Он уже не принадлежит никому, он сам себе хозяин. Он — Вселенная. У него свои законы. Он не подчиняется вашим Ньютонам, тяготениям, вашей механике. У него все свое, даже своя электростатика. Ах, какой он прекрасный, этот пузырь! Зря он не раздулся еще больше. Попробовать, что ли?

И вдруг — кр-рак! Лопнул. Не осталось ничего... Мутные брызги. Куда исчез этот сверкающий всеми красками мир с его законами, небом, землей?

Но прежде чем он лопнул, им вволю наигрались.

С отвращением он вспоминал, как, выпятив грудь, он взошел на кафедру, пижонски раскрыл кожаную папку, вытащил оттуда свои бумажки. Первые минут пять его слушали с любопытством. Потом перебили вопросом. Он только готовился приступить к выводу, а его уже спрашивали о конечной формуле, еще не написанной на доске. Откуда они узнали о ней? Пока он недоумевал и собирался с мыслями, кто-то ответил за него, тогда они спросили еще что-то у того, кто ответил, и уже тот снова отвечал, а Крылов еще переваривал его первый ответ и не мог уследить, о чем они говорят. Они спрашивали и сами отвечали, и он отставал от них все дальше и дальше. Словно вспомнив о нем, а скорее ради потехи, они попросили его объяснить механизм переноса зарядов. Он несколько опомнился, принялся рассказывать, но тут же кто-то вежливо указал неточность и доказал необходимость введения поправки. Крылов вынужден был согласиться, попробовал идти дальше, но из поправки следовала другая, его уже не отпускали, перекидывали от одного к другому, не позволяя вернуться к своему выводу. Он чувствовал, что куда-то летит в сторону, и ничего не мог поделать; там, где заряды отталкивались, там они стали притягиваться, плюс превращался в минус, и он не заметил, как пришел к полному абсурду, доказал совсем обратное тому, что у него

должно было получиться. Он был игрушкой в их руках. За какие-то полчаса они распотрошили теорию, которую он вынашивал полгода, увидели там то, чего он до сих пор не мог понять, обогнали его, вволю натешились, а он стоял и моргал глазами, даже не в силах участвовать в их споре. Невежество было бы еще с полбеды, самое унизительное заключалось в том, как медленно, тупо он соображал. Ржавые колеса, скрипя, еле поворачивались в его мозгу.

Впервые он понял, что такое настоящие таланты. Они казались ему великанами, сонмом богов. С виду они ничем не отличались от обычных людей: помятые рубашки, засученные рукава, студенческие выражения — «потрепаться», «влипнуть», «мура»; там были ребята его возраста — растрепанные, насмешливые; они курили те же болгарские сигареты, сидели верхом на стульях, но при этом перекидывались фразами, расстояние между смыслом которых Крылову потребовалось бы преодолеть часами напряженных раздумий.

Он попал на Олимп. Бессмертные боги смеялись над ним, и он не мог обижаться — разве можно обижаться на богов? Перед ними можно лишь чувствовать собственное ничтожество.

Юпитером среди них был Данкевич, боги звали его просто Дан, и он разрешал им: вероятно, среди богов все возможно.

Отныне Крылов принадлежал им.

— Нонсенс,— сказал Данкевич.— Разве мы вам ничего не доказали?

— Доказали,— сказал Крылов.

— Что именно?

Требовалось усилие, чтобы смотреть прямо в неправдоподобно черные, блестящие глаза Данкевича.

— Что я тупица, невежда, ничего не знаю.

— Незнание и невежество — вещи разные. Незнание начинается после науки, невежество — до нее. У вас болезнь серьезней: ваш мозг заражен невежественными идеями.

— Совершенно верно,— сказал Крылов.

— Наука — это не самодеятельность.

— Да,— сказал Крылов.

— Нам некуда деваться от молодых гениев, считающих себя Эйнштейнами и Резерфордами. Все они создают новую картину Вселенной. Физика стала слиш-

ком модной наукой. В данный момент у меня нет свободного места научного сотрудника.

— Я согласен лаборантом.

— И на лаборанта нет вакансии.

— Я уже взял расчет,— сказал Крылов.

Тонкий гибкий Данкевич выпрямился, как лезвие.

— На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Там ваши идеи не опасны, а дело вы делаете.

— Я не вернусь.

На узком нервном лице Данкевича мелькнула и мгновенно пропала насмешливая улыбка.

— Однако... Самое решительное начало ничего не значит без конца. Разумеется, вы не сомневались, что я жду не дождусь вашего прихода. Что ж вы будете делать?

— Я буду у вас работать.

Данкевич посмотрел на него с любопытством:

— Интересно, каким образом?

Однажды, приехав к Данкевичу со своим шефом профессором Чистяковым, Тулин увидел из окна кабинета Крылова. Вместе с рабочими он сгружал во дворе ящики с грузовика. Тулин попросил разрешения выйти и побежал вниз. Крылов улыбался как ни в чем не бывало — он устроился слесарем в институтскую мастерскую. Дальше будет видно. Он взвалил на спину ящик и, пригибаясь, понес к складу. Тулин шел рядом с ним.

— Хочешь, я поговорю с Чистяковым и устрою тебя к нам?

— Нет, я буду работать здесь,— сказал Крылов.

— Упорство непризнанного самородка. Ах, как красиво! Давай, давай, вкалывай, получишь пятый разряд. Данкевич будет рыдать от умиления.

Крылов сбросил ящик.

— Не трави. Я тебя ни о чем не прошу. Оставь меня в покое. Чего ты меня равняешь к себе? Единственное, что у меня есть, это желание работать здесь, и если я уйду, тогда мне хана.

— Думаешь растрогать этих прохиндеев? На меньшее, чем Данкевич, ты не согласен? Думаешь, у него ты станешь гением?

Крылов взял его за руку и повел в комнату, где по средам происходили семинары физиков, ничем не при-

мечательную комнату, пропахшую куревом, с двумя рыжими досками и маленькой кафедрой, на которой он когда-то осрамился.

— Я должен здесь выступить,— сказал Крылов.

— А конференц-зал Академии наук тебя не устраивает?

— Нет,— совершенно серьезно сказал Крылов.— Я выступлю здесь, а они будут слушать меня.

— Мечта идиота,— сказал Тулин.— Разве так становятся ученым!

На следующий день Крылов столкнулся с Данкевичем в коридоре.

— Послушайте, как вас там,— сердито окликнул его Данкевич.— На что вы надеетесь? Переупрямить меня? Напрасная затея.

Крылов почувствовал, как щеки становятся холодными.

— Ладно, я ухожу. Мне больше нечем было доказать вам... Можете радоваться. Подумать только, кого вы одолели!— Он вдруг услышал злость и грубость своих слов и понял, что погиб. Он стоял перед Юпитером, перед самим Данкевичем, но именно потому, что он боготворил этого человека, он обязан был сказать ему все. С каждым словом ему становилось холоднее. Когда он вернулся в мастерскую, его бил озноб.

Он подал заявление о расчете. В тот же день ему вернули заявление с резолюцией Данкевича: «Назначить старшим лаборантом в лабораторию Аникеева».

Требования Аникеева были просты и невероятны.

Экспериментатор должен:

1. Быть достаточно ленивым. Чтобы не делать лишнего, не ковыряться в мелочах.

2. Поменьше читать. Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.

3. Быть непоследовательным, чтобы, не упуская цели, интересоваться и замечать побочные эффекты.

И вообще поменьше фантазии и «великих идей».

Лаборатория — две комнаты, двое научных работников, третий сам Аникеев. Крылов работает у него. Лаборатория исследует процессы электризации.

За целый день произносится несколько фраз. Замеры, подсчеты, снова замеры... Так изо дня в день, недели, месяцы. Хорошо! Никто не мешает думать. Шкалы,

стрелки, мерцающие экраны осциллографов, мерное постукивание вакуумного насоса. Чуть поглубже вакуум, теперь добавим газа. Разряд. Замерим. Введем в схему детектор. Не подходит. Надо его приспособить. Замеры, подсчеты. Сережа, выясните погрешности. Замеры, подсчеты. Готово, начинаем снова. Замеры, подсчеты. Откуда скачок? Повторите. Замеры. Снова скачок. Странно. Вероятно, где-то наводка. Все проверить, заэкранировать, компенсировать. Опять скачок. Откуда он берется? Почему такой скачок именно при этой концентрации?

Все останавливается. Больше нечего мерить, нечего подсчитывать. Слава богу, кончены проклятые измерения. Что мне делать? Отстаньте, не суйтесь, идите к черту, в столовую, в библиотеку, к дьяволу.

Откуда же этот скачок? Аникеев молчит. Неужели и боги могут чего-то не понимать? Экран не светится, стрелки лежат на нуле. Тишина. Дни, заполненные тягостным молчанием. Рядом измеряют, подсчитывают. Как хорошо, когда можно замерять и подсчитывать. А что, если тут паразитные токи? Чушь, откуда им тут... А если от поля Земли? Попробуем? Мама родная, конечно, это паразитные токи. Аникеев — гений. Он самый настоящий гений, он маг, чародей, обыкновенный маг! Вот они, паразитные токи. Ну что за прелесть эти паразитики! Но как их устранить?

— Сережа, давайте повесим вот такой виток. Подсчитайте.

Ура, опять считаем, опять можно щелкнуть выключателем, и мертвая груда приборов оживает.

— Хотел бы я знать, какого черта вы загнули эту кривую вниз?

— Я экстраполировал ее по расчетам Брекли...

— Кто такой Брекли?

— Но вы же сами... Еще в прошлом году его статья была...

— Ну и что из того?

— Так ведь там написано...

— Мало ли что печатают! До каких пор вы будете верить всему, что печатают! Что у вас, голова или этажерка?

— Но Брекли — теоретик, классик!

— А вы, Крылов, классический идиот. Ваш Брекли не может отличить вольтметр от патефона. Мне нужны измерения, а не труха этой старой задницы. Классиков надо было учить в институте. Здесь у меня нет классиков. Здесь опыт, и только опыт. И собственные мозги. Ешьте больше рыбы.

— Если кривая не загибается вниз — значит, расчеты Брекли неверны?

— Ну и пусть неверны. Пусть вся теория неверна. Испугались? Придется идти к теоретикам, пусть разбираются. А пока давайте отладим электронику.

Приборы показывают черт знает что, кто во что горазд. Мистика. Ничего, электроника — всегда мистика. Почему не работает, никто не знает. И никто не горюет. Так и должно быть. Через неделю схема вдруг начинает работать, и тоже никто не удивляется. Электроника! Теперь даже непонятно, как она могла не работать. Теперь можно выделывать с ней самые рискованные штуки, она все равно будет работать, ее уже не заставишь не работать...

— Отшлифуйте пластинку германия. Не умеете? Поучитесь...

— Труха. Так шлифовали в палеозойскую эру...

— Лучше, но недостаточно...

— Крылов, если вы экспериментатор, вы должны уметь делать все то, что нужно, и лучше всех. Иначе вам не сделать ничего нового.

— Но тогда не успеешь стать настоящим специалистом. Где тут думать о больших проблемах! Хочется устанавливать взаимосвязь явлений...

— Это оставьте для философов. Специалист! Я не знаю, что такое специалист. Я знаю, что такое физик. Специалист старается знать все больше о все меньшем,

пока не будет знать все ни о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем.

Наконец через две недели он отделал пластинку не хуже любого шлифовальщика.

— Нормально,— пробурчал Аникеев.

Они установили пластинку перед излучателем. Опыт продолжался двадцать минут. В итоге — табличка из пяти цифр. А через два дня оказалось, что гипотеза не оправдалась, и таблица вместе с пластинкой отправилась в нижний ящик стола. Аникеев подмигнул Крылову:

— Такова жизнь экспериментатора.

Этот человек презирал трудности. Всякие мелкие неудачи, неприятности, ошибки, зря потраченное время — всего этого не стоило даже замечать. Достойны уважения и, следовательно, огорчения были настоящие неудачи, тупики, куда загонял их ход исследований.

Аникеев был настоящим, прирожденным экспериментатором. Достаточно было посмотреть, как движутся его руки с мягкими, гибкими, как у ребенка, пальцами, регулируя прибор или натягивая кварцевую нить.

Рассказывали, что еще до войны, как-то будучи во Франции, он шутки ради поспорил с представителем фирмы сейфов, что вскроет за полчаса любой из сейфов. И вскрыл. Полиция задержала его и попросила немедленно покинуть страну. Когда у Аникеева спрашивали, правда ли это, он только посмеивался: «Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным».

Он действительно никогда не распространялся о себе, но имя Аникеева, одного из крупнейших физиков, было окружено легендами, тем более многочисленными, чем менее знали о нем.

После войны Аникеева назначили одним из руководителей Проблемы — так называлась тогда работа над атомной бомбой. Ему подчинялась группа институтов и заводов.

Он связывался непосредственно с министрами. Великолепно зная себе цену, он держался независимо и делал так, как считал нужным, не считаясь ни с чьими распоряжениями, даже с указаниями Берия. Безграмотные, порой губительные вмешательства Берия выво-

дили Аникеева из себя. Согласно одной из легенд, выслушав очередное крикливое поучение, Аникеев не выдержал и сказал: «Я ваших трудов по физике не читал. И вы моих тоже. Однако по разным причинам».— «Я тебе покажу физику, ты у меня увидишь физику»,— сказал Берия.

Аникеев тут же написал письмо в ЦК, требуя оградить Проблему от невежественного хозяйничанья Берия. В те времена подобный вызов был равносилен самоубийству.

От немедленной расправы Аникеева спасло то, что он был слишком известен и нужен. Все же по приказу Берия его отстранили от Проблемы и перевели на Север, в педагогический институт. Атомники доказывали, что без Аникеева нельзя, особенно сейчас, в период пуска объектов. Все было напрасно.

Его друг Лихов, который должен был принять дела, сказал ему с горечью:

— Я же тебя предупреждал, вот тебе и вся награда за твое правдолюбие. Чего ты добился? Только делу повредил.

— Дело не пострадает,— сказал Аникеев.— Я не уеду, пока не пустим объекты.

Со своим шальным характером он остался, живя чуть ли не на нелегальном положении, продолжал руководить пусковыми работами. На этот раз он действительно рисковал головой. Начальство делало вид, что не замечает его присутствия. После того как объекты были успешно пущены, он уехал на Север.

Научной работы в те годы там не велось, оборудования не было. На свои деньги Аникеев смастерил себе кое-какую аппаратуру и занялся исследованием природы запахов. Он засовывал себе в нос специальные ампулы, иногда доводя себя этими жестокими опытами до обмороков.

Он принадлежал к редкому, счастливому типу ученых, для которых все, за что бы они ни брались, становится объектом науки.

Ему предлагали писать учебники, монографии. Он отказывался. Вместо этого время от времени в журналах появлялись маленькие статьи, вернее заметки, на две-три странички.

— Чем тщательней выполнена работа, тем меньше о ней приходится писать,— утверждал Аникеев.

Сразу после разоблачения Берия Аникеева вызвали в Москву. К тому времени Лихов уже стал академиком, получил множество наград и ведал целым управлением. Он предложил Аникееву возглавить один из институтов. Аникеев отказался. Лихов пробовал его уговорить — хотя бы на должность начальника отдела.

— Не интересуюсь,— сказал Аникеев,— давай лабораторию, и то маленькую, не больше четырех сотрудников.

Лихов задумался.

— Не слишком ли ты самоуверен?— сказал он.

Аникеев пожал плечами.

— Посмотрим.

— Я бы не решился сейчас взять лабораторию,— сказал Лихов.

Аникеев оглядел роскошный, огромный кабинет.

— Жалко?

— Страшно. В лаборатории нет ни академика, ни лаборанта. Там только хороший экспериментатор — или плохой.

— Да, здесь иной масштаб.

— Да, здесь я академик.

Прощаясь, Лихов сказал:

— Наверное, ты прав... Иногда мне самому снится зайчик гальванометра. Никак не установить его на ноль. Сны административного физика. А потом я просыпаюсь и долго убеждаю себя, что на этом месте тоже должен сидеть ученый. Что мне нужны масштабы. И еду в эту контору.

Лаборатория Аникеева была на особом положении — так он поставил дело.

Он организовал себе отдельную мастерскую, раздобыл два станка, нанял механика и раз навсегда избавился от мелкой зависимости. Тертые, все перевидавшие снабженцы выполняли его заявки вне очереди. Иначе он обрушивался на них на первом же совещании, обращался в партком, дирекцию, главк, стенгазету. Для него не существовало препятствий. Он шел, как танк, все подминая, беспощадный и неумолимый, грохоча и ругаясь. От своих помощников он требовал безусловной исполнительности. «Идей у меня самого девать некуда,— предупреждал он,— хватит на вас всех. Мне нужны люди, которые делают то, что мне надо».

Крылов прощал ему все, переполненный счастьем оттого, что наконец мечта исполнилась. Ослепительных открытий в ближайшие месяцы не предвиделось, угодить Аникееву было нелегко, каждый день выяснялось, что Крылов не умеет паять, печатать на машинке, ладить со стеклодувом или что-либо в этом роде. Но спустя пять минут после очередного разноса Аникеева в глазах Крылова опять проступала блаженная ухмылка. Счастье так и сочилось из него. Оттого, что на него кричит сам Аникеев. Оттого, что в таблицах растут столбцы чисел, добытых им, Крыловым. Оттого, что винегрет в институтском буфете самый вкусный из всех винегретов...

Он купил себе шляпу со шнурком. Серый костюм с широкими плечами и широкими брюками вышел из моды, но теперь это не имело никакого значения. То, что он работал у Аникеева, подняло его даже в глазах Тулина. Они снова встречались. Тулин познакомил его со своими друзьями.

Почти все они стали уже кандидатами наук или аспирантами. Крылов — единственный среди них был лаборантом. Это были веселые, смешливые парни.

По субботам приглашали девушек в кафе «Север» или Дом ученых, щеголяли узкими брюками, пестрыми рубашками: нравилось, когда их принимали за стиляг,— ворчите, негодуйте. Девицы дразнили чинных дам из Дома ученых своими туго обтянутыми юбками со скандальными разрезами. Под мотив узаконенных фоксов сороковых годов выдавали такую «трясучку», что старички только моргали.

Из Дома ученых отправлялись к кому-нибудь, чаще всего к Тулину, который жил с матерью и тетками в большой петербургской квартире на Фонтанке, тянули вино, распевали блатные песенки, яростно обсуждали музыку будущего, живопись Пикассо. Слушали записанный на магнитофоне американский джаз, но неизбежно к полуночи оказывалось, что они спорят о взаимоотношении микро- и макромира, радиоастрономии, кибернетике, о вещах, которые занимали тогда всех — и дилетантов, и специалистов.

Для них были открытием только что переизданные рассказы Бабеля, очерки Кольцова; появились стихи Цветаевой, публиковали архивные документы. Больше

всего увлекала возможность научно осмыслить происходящие перемены, и они горячо и самоуверенно перестраивали этот несовершенный мир. Вместе с Лангмюром, Нильсом Бором, Курчатовым и Капицей они владели важнейшей специальностью эпохи, от них, полагали они, зависит будущее человечества, они были его пророками, благодетелями, освободителями.

У всех у них были блестящие перспективы, незаурядные способности (двое были талантливыми, трое одаренными, остальные гениями), они подавали надежды, составляли «цвет» научной молодежи, служили примером и грозили «перевернуть». Они были возмутительно молоды (на каждого приходилось в среднем 0,25 жены и 0,16 детей), зато средний теннисный разряд доходил до трех с половиной, зимой они ходили на лыжах, летом говорили, что презирают футбол. Они могли стерпеть любое обвинение в невежестве, но смертельно обиделись бы, если кто-нибудь усомнился бы в их умении плавать с аквалангом. Все они печатали статьи в физических журналах, подрабатывали в реферативном журнале. Тех академиков, которых они обожали, они звали Борода, Кентавр, Шкилет, остальных считали склеротиками. Они всячески старались показать, что им нравится то, что бранят или осуждают. Яростно защищали экспрессионистов, но никто из них толком не знал, что это такое. Они нахваливали конкретную музыку и в то же время аккуратно ходили в Филармонию, стояли в очереди на концерты приезжих знаменитостей и восторгались Бахом. А когда под Новосибирском начали создавать филиал Академии наук, они первые подали заявления. Тулин был в отчаянии от того, что его не пустили, и долго еще завидовал друзьям, которые писали оттуда письма о бараке в лесу с экспериментальной трубой, о новом их кумире Лаврентьеве, который мерз вместе с ними в дощатом коттедже, пока строился будущий город науки.

Крылов возвращался домой по ночным улицам, и голова его кружилась, она задевала облака, и он слышал скрежет миров, которые сталкивались и гибли в безднах космоса.

Галактика неслась сквозь бесконечность, имеющую кривизну, сжималась и вновь расширялась пульсирующая Вселенная. А на крохотной планете Земля, зачем-

то разгороженной границами, обыватели копошились в сотах своих жилищ, ничего не слыша, не видя.

Он чувствовал себя Гулливером.

Когда кончался рабочий день, он, выходя из лаборатории, как будто спускался в прошлое, к странным людям, которые еще ездили в трамваях и топили печки дровами.

Он возвращался к ним из будущего, посланец далеких миров.

Эй вы, люди! Знаете ли вы, что вас ждет?

А я знаю! Я только что оттуда! Я помогал делать будущее для вас!

Мог ли его всерьез огорчать кухонный чад, проникающий в комнатку, которую он снимал у старого чудака библиофила!

Временное пристанище бренного тела. Дух его витал в лаборатории. Что значили по сравнению с этим все житейские мелочи!

Однако стоило ему вступить в облицованный мрамором вестибюль института, он сам превращался в лилипута.

На втором этаже в большой, классного вида комнате собирались теоретики. Рядом помещалась каморка — хранилище каталогов. Крылов забирался туда и, приоткрыв низенькую дверцу, слушал, как теоретики «трепались». Свои семинары они так и называли «трёп». Официальное наименование «семинар» совсем не подходило к этому шумному сборищу, где все серьезное перемежалось шутками и, пока писали формулы, рассказывали анекдоты.

Проблемы, которые здесь обсуждались, требовали такого напряжения ума, что постоянная разрядка была необходима.

Со стороны эти сборища теоретиков выглядели беспечной, веселой болтовней отдыхающих. Впрочем, и весь их рабочий день любому постороннему показался бы более чем странным. Молодой, здоровый парень появляется в институте в десять, а то и в одиннадцать утра, слоняется по лабораториям, зайдет в библиотеку, перелистает журналы, побалагурит в коридоре с девушками. Изредка его можно увидеть за столом — что-то он пишет либо сидит, бессмысленно закатив глаза в потолок. Остальное время — болтовня с себе подобными шалопаями. И это считалось работой!

Но Крылова, который знавал всякую работу, ничто так не изматывало, как часы, проведенные в хранилище, когда он подслушивал «треп» теоретиков. Голова лопалась, и мозги трещали.

— ...Если частицы имеют структуру, значит, у них может быть квадрупольный момент...

— Томас и Швангер показали...

— К черту Швангера!

— Рассмотрим лучше случай частиц с квадрупольным моментом, равным нулю...

Стучал мел по доске. Синие лохмы дыма вылезали из дверей.

— Но Томас и Швангер дают для магнитного момента...

— К черту, десять в одиннадцатой не бывает! Это же натяжка, обман.

— Цыпочка, вернейший способ быть обманутым — считать себя хитрее других. Поэтому возьмем десять в одиннадцатой...

Он слышал, как в этой кухне из гущи фактов образуется Истина. Отсюда она начинала долгий путь, облекаясь в формулы сперва громоздкие и неуверенные, которые следовало уточнять, проверять во всевозможных камерах, и ловушках, и умножителях, а для этого надо было придумывать аппаратуру, и разрабатывать методику, и строить эту дорогую аппаратуру; и тут вступали в действие фонды, снабженцы, друзья-приятели, телеграммы, звонки, банк, смежники, и все это ворчало, придиралось, подписывало и не подписывало, а тем временем механики что-то вытачивали, посреди лаборатории что-то монтировалось, отлаживалось, определяли поправки приборов — и наконец ставились опыты, для того чтобы получить десятки, а то и сотни метров пленки и тысячи записей и фотографий. Потом все это надо было обработать, подсчитать, свести в таблицы, построить кривые, проанализировать, передать в институт электрикам, которые, конечно, не желали иметь дела с новой формулой и новыми идеями и которых приходилось уговаривать, и наконец они брались и начинали загрублять и упрощать, перекидывать от изоляционщиков к вакуумщикам, от них — конструкторам, постепенно воплощая все это в медь, стекло, электроды. И в результате получалась какая-нибудь крохотная

лампа или усилитель. А через несколько лет уже тысячи таких ламп шли по конвейеру, отданные во власть цеховых технологов, мастеров, в быстрые руки девушек-монтажниц, из которых никто понятия не имел об этой скучного вида тесной комнате, откуда все началось, где зарождались истоки будущих рек, новые идеи и физические законы.

Когда теоретики уходили, Крылов осторожно вступал в опустевшую комнату, подходил к рыжей доске, испещренной уравнениями, вздыхал.

Кто он — экспериментатор или теоретик?

Он доказывал себе, что экспериментальная работа — самое главное. Приборы — это орудия, которыми человек впервые прикасается к тайнам природы. Важно добыть факты. Идеи сменяются, факты остаются. Факты — вечная ценность.

Он медленно спускался к себе в лабораторию, покидая этот недоступный, чистый мир холодной мысли, свободный от рубильников, проводов, погрешностей гальванометра.

Постепенно он начинал испытывать угнетение от властной нетерпимости Аникеева. Сила ума Аникеева подавляла, связывала. Рядом с ним думать было невозможно. Все равно, думай не думай, он заставит всех мыслить по-своему. Он насильно вколачивал свои соображения, их убедительность исключала всякие другие поиски.

На Октябрьском прослышали, что у Аникеева получаются обещающие результаты по исследованию разряда. Гатенян приехал в институт, и Крылов свел его с Аникеевым. Гатенян хотел заложить аникеевскую разработку в проект новой аппаратуры для линий передач. Крылов был счастлив, что хоть чем-то может помочь своим, но Аникеев встретил главного конструктора холодно.

— Чудеса,— сказал он,— разве на вас нажимают? Делайте, как делали. У нас еще все в тумане, кто вам наболтал?— Он подозрительно взглянул на Крылова.

— Мы весь риск берем на себя,— сказал Гатенян.— Мы верим, что у вас все получится.

Аникеев раскланялся.

— Спасибо. Но вам-то что за выгода? Вы же производственники, вы должны противиться внедрению но-

вого, а вы хватаете из рук недопеченное. Так не бывает. Это ж беспорядок.

Главный натянуто улыбнулся.

— Конечно, если у вас сорвется, получится беда, но еще бо́льшая беда, если мы будем выпускать аппаратуру образца сороковых годов.— Он развернул перед Аникеевым схемы аппаратов, применявшихся на опытной линии.

Аникеев поморщился.

— Да, это, конечно, тухлятина. Но подождите, пока мы отработаем.

— Невозможно.

— Пообещай вам, так вы в полной надежде начнете перестраивать производство.

— Факт,— сказал главный.— Будем готовить участки для малых выключателей: отливку трубок наладим.

Аникеев поехал с ним на завод, вернулся оттуда расстроенным, набросился на Крылова.

— Это вы меня втянули, ну как им отказать? Как, я вас спрашиваю?

Было, конечно, страшновато. Результат, технически осуществимый, конструктивный, должен был получиться во что бы то ни стало, вопреки всем случайностям и к намеченному сроку.

— Все равно что обещать вернуть долг из кошелька, который я найду в подъезде через неделю,— бурчал Аникеев.

Крылов только посмеивался: он понимал, Аникеев в душе восхищается и главным, и ребятами из КБ.

И вот тут-то Крылов имел глупость указать Аникееву на масштабную поправку. Крылов предлагал определить ее не опытным путем, а расчетом — так будет быстрее и проще.

Аникеев с непроницаемым лицом выслушал его доводы, и когда наконец Крылов замолчал, Аникеев тихонько запел. Не отрываясь от окуляра прибора, он пропел «Тореадор», «Во поле березонька», «Синие ночи». Потом спросил:

— Вам известно, Крылов, кто опаснее дурака? Не знаете? Дурак с инициативой.

Сотрудник лаборатории Юрий Юрьевич, которого звали Ю-квадрат, сказал, когда Аникеев вышел:

— Сережа, никак ты разозлился? Бессмыслица. Аникеев хамит, как птица летает.

— Он хочет превратить меня в робота!

— Милый мой, еще Маяковский заметил: все мы немножко роботы.

— Посмотрим, кто кого!

Он ненавидел Аникеева. Зажимщик! Аракчеев! Солдафон! Слово «дурак» жгло его. Посмотрим, кто дурак! Втайне он вызвал Аникеева на поединок, но тут же струсил. Слишком безошибочной всегда оказывалась интуиция Аникеева. Но, раз стронувшись, лавина разрасталась. Послушно выполняя все указания, он молча спорил, выискивал слабые места, он превращался в беспощадного врага собственной работы.

Он оставался в лаборатории на вечер, приходил в шесть утра и садился за счетную машину. Но что-то ему не нравилось. Вероятно, где-то в спешке он слишком упростил условия. В решении не хватало стройности. Ему хотелось сразить Аникеева, покорить его...

Крылов свернул на набережную. Голова одурела от папирос и бесконечных цифр. Пропади все пропадом, в конце концов он кое-как доказал то, что хотел. Красота, стройность — это уже от лукавого.

У Петровского сквера перед мотоциклом сидела на корточках девушка.

— Эй! — крикнула она. — Помогите мне, пожалуйста.

Крылов подошел, помог снять покрышку.

— Не уходите, — сказала девушка, — а то мне без вас не надеть.

Крылов прислонился к парапету. Набережная была пустынна. Маленькая желтая луна затерялась среди фонарей. Девушка клеила порванную камеру. Кожаные штаны и шлем придавали мужскую размашистость ее крепкой фигуре.

— Чего бродите по ночам? — спросила она. — Вы что, лунатик или беспризорный?

— Лунатик.

— Модная специальность. Особенно в марте.

Крылов недоверчиво огляделся. Отовсюду сочилась вода. Город был мокрый. Капало с крыш, трубили водосточные трубы, сипели люки, на выщербленных пара-

петах блестели лунные лужицы. Лед на Неве истоньшал.

Был действительно конец марта. Женщины всегда в курсе подобных вещей.

Девушка поднялась, вытерла руки.

— Могу закинуть вас домой.

Они мчались по спящим улицам, разбрызгивая лужи. Мотоцикл стрелял оглушающе. Крылов крепко держался за скобу. Девушка пригибала голову, и тогда в лицо Крылову с размаху ударял влажный воздух. Во всю длину проспекта горели, меняясь, высокие огни светофоров. Машин не было, а огни вспыхивали — желтые, зеленые, красные. Жиденькой черноты небо поднималось все выше и выше над землей, поднимая с собою звезды и луну.

Она резко затормозила у его дома, и Крылов ткнулся лицом в ее плечо.

— Лихо? Напугались?

Он что-то промычал.

— О чем вы думаете?

Рассвело. На крепком, скуластом лице Крылов увидел блестящие, как будто тоже мокрые, развеселые глаза.

— Вычислял, сколько человек мы разбудили в городе.

— Сколько?

— Примерно семьдесят тысяч.

— Здорово! А кто вы такой?

— Физик.

Она с сомнением осмотрела его драный плащ и посинелый нос.

— Допустим. Значит, семьдесят тысяч.— Она, улыбаясь, уселась на мотоцикл.— Физик, вы мне понравились, потому что не лапали. Я не выношу, когда меня на мотоцикле начинают лапать.

Он невольно уставился на ее острые груди под курткой и покраснел.

— Спасибо за помощь!

Глаза ее беспрестанно улыбались, но как бы поверх этой неудержимой улыбки она улыбнулась ему еще одной улыбкой — для него.

Воодушевясь, Крылов сдвинул шляпу на ухо, взял девушку за плечо в соответствии с лучшими традициями тулинской компании: мадемуазель, вы прелестны.

Как насчет субботы? Молодой ученый на весь вечср в вашем распоряжении. Давайте телефончик...

Словом, что-то в этом роде.

Сперва она выпучила глаза, потом прыснула, и он немедленно почувствовал себя идиотом.

— Нет, серьезно, может быть, мы встретимся?— жалким голосом повторил он.

— Ну вот, начинается, всегда одно и то же. Послушайте, милый физик, это уже неинтересно.

Она стрельнула мотоциклом и укатила в туманную тишину улиц. Единственное, что осталось от нее,— черные цифры на желтой жестянке «52-67»,— уныло повторял он, снимая забрызганные до колен брюки и укладываясь на свою узкую кушетку.

Учинив тщательную проверку своим расчетам, он показал, что поправка, которой пренебрегал Аникеев, меняет на сорок процентов результаты измерений. Он обвел эти сорок процентов роскошной рамкой, под которой нарисовал герб в виде кукиша на фоне приборов, пронзенных вечным пером. До начала работы оставался час. Подложив под голову справочник, он заснул на столе Аникеева безмятежным сном победителя.

Неизвестно почему, в это утро Аникеев явился раньше сотрудников. Как бы там ни было, Крылова разбудил его рыкающий смешок. Аникеев стоял над ним, и в руках его была тетрадь с расчетами. Крылов не вскочил, не смутился, не стал извиняться. Протерев глаза, он скромно потупился в ожидании похвал, общего ликования и сконфуженных признаний Аникеева. Следовало быть великодушным. Кто из нас не ошибался, скажет он Аникееву, не будем вспоминать прошлое... Ошибки великих людей должны быть достойны их деяний...

Дочитав тетрадь, Аникеев громко высморкался и сказал:

— Доказали.

— Кто из нас...

— Помолчите. Мне такие прыткие лаборанты не нужны. Можете отправляться.

— Куда отправляться?

— А куда угодно.

Он швырнул тетрадь и ушел, не взглянув на Крылова.

— Все равно вы учтете мою поправку!— крикнул ему вдогонку Крылов.

Подобно остальным мученикам науки, он готов был взойти на костер. Собирая свои бумаги, очищая ящик, он придумывал последнюю фразу, которую следовало бы записать в лабораторный дневник. Если бы не Гоголь, его устроило бы «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!».

Через час вернулся Аникеев. Не глядя на Крылова, пробурчал, что по распоряжению директора старшего лаборанта Крылова назначают научным сотрудником и дают самостоятельную тему.

Ошеломленный Крылов, ни слова не говоря, пошел оформляться, но с полдороги вернулся к Аникееву.

— Наверно, это вы меня рекомендовали.

— Как бы не так!— сказал Аникеев.— Нашли благодетеля.

— Конечно, вы. Спасибо, знаете, я...

— Послушайте, Крылов, подберите ваши слюни и заткнитесь.

— Я боюсь брать самостоятельную тему.

— Боитесь, тогда двигайте в счетоводы. Но, может быть, из вас что-то получится. Почему? Хотя бы потому, что мне вас ничему не удалось научить. Для меня главное — ничему не научить. Если это выходит, значит, из человека может что-то получиться.

В связи с этим событием Крылов явился к Тулину с бутылкой коньяка. Ее хватило на пять тостов. Для шестого они, обшарив шкафчики, вылакали остатки из липких бутылок ликера и тогда со спокойной совестью отправились в ближайшую шашлычную.

Тулин заказал шашлык по-карски и соответствующим образом подмигнул обоими глазами Остапычу, после чего Остапыч принес к шашлыку две раскупоренные бутылки крюшона и тоже подмигнул. Крюшон был прекрасен, они крякали и закусывали крюшон грибами, луком, и Крылов постепенно перестал сомневаться в своей способности вести самостоятельную тему.

— Ты становишься человекоподобным,— сказал Тулин.— Я тебя давно учил: начинай высшую нервную деятельность. Теперь ты вышел на орбиту и дуй. Нельзя терять ни минуты. Давай выпьем. И чтобы поставить себе цель. У тебя есть цель? Ты чего хочешь?

— Я хочу... я хочу того, чего я хочу!

— Точно. Это формула!

— Я сам себе хозяин. Я взрослый. Кончена молодость. Но ты мне скажи, Олег, а почему меня тянет на теорию? Все-таки теоретики — они рулевые.

— Болтуны они, твои теоретики! Что они могут перед экспериментом? Может, ты Нильс Бор? Или Ландау? То-то! Или быть всем, или идти на административную работу. А в эксперименте, знаешь, можно такую птицу за хвост ухватить! Теоретиков много, а шаровую молнию не могут... Эх, Серега, мы, брат, со своим шефом накануне такого... Тьфу, тьфу, тьфу! Открыть можно такое явление! Мы люди дела. Нам подавай живое дело. Чтобы видеть глазами, руками щупать. Вот оно тут. Пусть там схоласты рассуждают.

— Ну и пусть они рассуждают. А мы чернорабочие. Мы базис.

— Мы измерим градиент. И будь здоров и не кашляй — вся теория вверх тормашками.

— Аникеев — гений. И Дан — гений.

— А Капица нет, по-твоему? Капица, брат, еще больше гений.

— А ты, Олежка, наверное, тоже будешь гением.

— Гении устарели. Гении в науке — все равно что парусники во флоте. Романтика прошлого! Сейчас навалятся скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество, вот тебе и есть гений! Мой шеф — почти гений, а что он без нас — единица. Пусть я ноль. Я согласен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой.

— И я ноль!

— Я убеждаюсь, что квантовая механика зашла в тупик. Почему? Допустим, шаровая молния; вот красноносый спекулянт, пусть он нам объяснит. Де Бройль не ребенок. Если он герцог, то что же, значит, нечего с ним считаться? Нет, Серега, пусть он герцог, но квантовая механика, она неспособна...

Крылов был согласен, и они вдвоем без особого труда разгромили квантовую механику, затем навели порядок среди элементарных частиц, но, чтобы окончательно оконфузить всю школу Нильса Бора, им пришлось заказать еще бутылку, которую Остапыч доставил им уже внутрь атомного ядра. Они распили ее строго кванто-

ванными порциями, и тогда им наконец удалось раздробить электрон. К тому времени Тулин уже стал академиком и лауреатом, а Крылов защитил докторскую. Тулин выступил оппонентом. Крылов устроил банкет, они позвали всех своих знакомых девушек. Они обсуждали музыку Шостаковича, утерянные секреты фейерверков, радиоактивность крабов, женские достоинства Екатерины Второй и способы лечения рака.

Выслушав рассказ Крылова о девушке на мотоцикле, Тулин решил, что они обязаны во что бы то ни стало разыскать ее, и потащил Крылова в отделение милиции. Когда их оттуда выставили, они отправились в ГАИ, и Тулин вдохновенно описал потрясенным инспекторам, как его друга у него на глазах переехала девушка на мотоцикле 52-67. Она не просто переехала, она ездила по распластанному Крылову взад-вперед и при этом кричала, что никакая инспекция ей не страшна. Он клялся и божился, что все это святая правда, готов был подписать любые протоколы, показывал на Крылова, кроткого и беспомощного, и вконец поразил инспекторов, сообщив им о том, что они с Крыловым находятся накануне величайшего открытия в физике.

Выпили? Да, они вынуждены были выпить, чтобы как-то прийти в себя после катастрофы. Со слезами на глазах он снова начинал описывать нападение мотоцикла 52-67, приводя ужасающие подробности.

Их провели в отделение, сняли показания, но когда дело дошло до адреса, то Тулин никак не мог вспомнить улицу, на которой он живет, он позвонил профессору Чистякову, чтобы узнать свой адрес. Потом Чистяков о чем-то говорил с дежурным инспектором, но это уже было неинтересно, так как Тулин и Крылов выяснили, что Аникеев — более великий ученый, чем Чистяков, ибо Аникеев носит подтяжки.

Следующие три часа они провели в обществе трех пьяных шоферов и одного лихого карманника, который никогда не читал Фрейда. Они отлично поговорили с ним о гипнозе и снах, но некоторые положения доказать не удалось, потому что их повели к дежурному знакомить с владелицей мотоцикла 52-67. Ее звали Лена — Елена Николаевна Бельская. Дальнейшие события заняли не больше пяти минут. Гражданин Крылов, глядя в желтые от бешенства глаза гражданки Бель-

ской, со вздохом признался, что никаких телесных повреждений он не получил и все его показания были вызваны желанием увидеть гражданку Бельскую, к каковой никаких претензий он не имеет. Гражданка Бельская сперва потребовала передать дело на гражданина Крылова в суд, считая достаточным три года исправительно-трудовых работ, но вскоре уменьшила срок до пятнадцати суток. Гражданин Тулин и вышеуказанный Крылов были оштрафованы на пятьдесят рублей каждый. Кроме того, учитывая состояние опьянения и отсутствие денег и документов, гражданин Крылов был задержан в дежурной камере для выяснения личности.

Утром Крылов вышел на улицу, содрогаясь от головной боли. У подъезда на мотоцикле сидела гражданка Бельская и улыбалась.

— Эй вы, задрипанный донжуан,— сказала она,— давайте я вас подвезу.

Она привезла его домой, напоила крепким чаем и при этом так улыбалась, что он полетел в институт, задевая прохожих белоснежными крыльями.

Ему дали проверить распределение объемных зарядов. Ему передали целую установку. Ему дали собственный стол, собственный шкаф. Он сидел на высоком табурете, окруженный приборами, включал, выключал, настраивал, сам себе хозяин, кум королю. Что еще нужно для счастья? Говорят, времена ученых-одиночек прошли. Ничего подобного, он работал один, не чувствуя никакого одиночества. Он обсуждал свои проблемы с Лангмюром, Нильсом Бором, Штарком и еще двумя десятками причастных к его работе стариков. Подобралась отличная компания спорщиков и советчиков, правда, чем дальше, тем чаще они разводили руками и отмалчивались.

После первых измерений ему показалось, что картина распределения получится слишком грубой. Он решил уточнить методику. Перебрал несколько сортов нитей подвески. Поставил сверхчувствительный гальванометр. Затем ему пришло в голову автоматически стабилизировать температуру прибора. Учесть искажающее влияние трансформатора...

— Почему вы не учитываете полярных сияний? Заряды кота у сторожихи?— спросил его Аникеев.— Вы больны. Болезнь называется «немогуостановиться».

Научитесь себя ограничивать. Получили примерную величину и двигайте дальше. Искать истину в последней инстанции — зряшный труд. И существует ли она, эта последняя инстанция?

Не будь Аникеева, он бы совсем запутался. Чего стоила ему одна лишь битва с компенсатором! Они не поладили с первой минуты — Крылов и компенсатор. Издеваясь над всеми законами, компенсатор показывал, что ему вздумается. Крылов наклонял его, менял лампы, свирепея, тыкал карандашом в подвеску, пока компенсатор не взбесился. Они возненавидели друг друга. Теперь компенсатор назло показывал все наоборот. Крылов разобрал его до винтика, снова собрал; тогда компенсатор пустился на подлость, он прикидывался исправным, но в разгар измерений показывал невесть что, путая все данные.

Пришел Аникеев, ни слова не говоря, примерился и хрястнул панель своим кулачищем так, что компенсатор сразу присмирел и заработал, как будто ничего не было.

Аникеев одолжил импульсный генератор. Аникеев помог найти одну из сорока возможных причин погрешностей. Словно вынюхивая, Аникеев водил по шкалам висячим носом, и его лицо с большой обезьяньей челюстью казалось Крылову воплощением доброты и братства.

Крылов завидовал ему мучительно, стыдно. Чтобы стать мало-мальски приличным экспериментатором, ему не хватало терпения возиться с приборами, характера для войны с механизмом, умения хитрить с начальством, ладить со стеклодувом, недоверия к справочникам, юмора, фантазии, мягкости, твердости, смелости, осторожности... Постепенно выяснилось, что он не умеет работать с вакуумом, ругаться, переводить с итальянского, составлять библиографию. Хуже всего было то, что в институте все от него чего-то ждали.

Его стычки с Аникеевым, назначение были приняты как свидетельство необычного характера. Его робость считали скромностью, замкнутость — сосредоточенностью и даже неумелость оценивали как свежесть ума.

Он чувствовал себя авантюристом, шарлатаном, обманщиком, которого в любую минуту могут разоблачить. Особенно страшен был для него Данкевич. Он

старался не попадаться ему на глаза и семинары, на которых выступал Данкевич, подслушивал из хранилища.

Те, кто хотел работать у Данкевича, должны были сдать минимум. Так называемый Дан-минимум, или дань-минимум: комплекс задач и вопросов, придуманных самим Данкевичем. Никаких официальных званий или дипломов за сдачу минимума не полагалось, не выставлялось отметок, ничего нигде не отмечалось, и тем не менее каждый электрофизик считал честью выдержать этот добровольный экзамен.

Данкевичу было все равно, кто перед ним — доктор наук или молодой инженер,— никому никаких льгот. Такое отношение многим маститым не нравилось, но Данкевич не обращал на это внимания.

Молодежь обожала его. Вечно за ним таскался хвост поклонников, подхватывая на лету его замечания, изречения. На семинарах ему принадлежало решающее слово. Не по старшинству, а в силу его редчайшей способности предельно упрощать любую запутанную проблему. И так как эта простейшая модель или идея возникала перед ним раньше, чем перед другими, то если посреди доклада он говорил: «Мура!» — все знали, что ничего не получится.

В чем секрет таланта Данкевича? Были математики способнее его, были физики, которые знали больше, чем он... Аникеев отвечал на это с улыбочкой:

— Очень просто. Дан видит все немножко иначе, чем мы, вот и вся хитрость.

Город, как все большие города, не был оборудован для любви. Повсюду ходили люди, повсюду дул холодный ветер. Сады стояли закрытыми. На мягких от сырости бульварных скамейках сидели старики и няньки. В комнату Крылова сквозь фанерную перегородку доносились каждое слово, каждый шорох.

Из века в век *он* и *она* искали уединения и приюта и не находили. Им приходилось удаляться на луну, на самые дальние созвездия или — когда удавалось купить билеты — в кино. Там темнота укрывала их от всего мира. Там не было ни лиц, ни глаз, только сплетенные пальцы.

Потертая беличья шубка почти не грела. Лена выглядела грустной, усталой, совсем непохожей на ту,

с которой он познакомился. Она была ниже его на полголовы, ему хотелось согреть ее, взять на руки.

Они садились в последний ряд, грызли вафли и болтали всякую ерунду. Не будь между ними глупого подлокотника, они чувствовали бы себя совершенно отлично. Не надо было стараться умничать, он говорил что вздумается и мог вести себя свободно, и все же он не решался взять ее маленькую шершавую руку, прижать к щеке, и эта робость была особенно приятна. На экране страдали, произносили какие-то красивые слова, вздыхали. Лена тихонько посмеивалась: дребедень,— и сразу картина превращалась в пародию. Но бывало и так, что Лена усаживала его на место героя в автомобиль, и они неслись по горным дорогам к морю, не обращая внимания на злодея помещика, оставались вдвоем в охотничьем домике, уписывая огромные окорока перед камином...

— Хочу есть,— заявляла Лена.

Крылов предлагал пойти в ресторан.

— Послушайте, физик,— говорила она.— Не пижоньте. Вам это не идет.

Они покупали горячие пирожки и съедали их тут же, в гастрономе, запивая томатным соком.

Крылов провожал ее домой. Небо было полно звезд. Ему пришла в голову странная мысль. Он преподнес ее Лене, как преподносят цветок. Никогда раньше он не раздумывал о подобных вещах.

— Не правда ли, интересно, что мы видим Вселенную не такой, какая она есть, а молодой, какой она была много лет назад? Может быть, и этих звезд уже давно нет. Нас окружает прошлое, настоящее — это только мы... А если с дальних планет смотрят на нас, то и они нас не видят. Они могут видеть Октябрьскую революцию. Или как Пушкин едет на дуэль. Какое-нибудь утро стрелецкой казни.

Лена остановилась, поднялась на цыпочки, притянула его голову и поцеловала. Он невольно оглянулся на прохожих, но тотчас устыдился этого движения и сам поцеловал ее в солоноватые, пахнущие томатным соком губы.

— Я бы пригласила тебя к себе,— сказала она, спокойно перейдя на «ты».— Но, понимаешь, мамаша, сестренки — не та обстановочка.

Быстрая теплая весна помогала им изо всех сил. Когда темнело, они перелезали через решетку Летнего сада и, прячась от сторожа, носились по хрустким, исчерканным тенями аллеям.

Зеленый свет стекал с мраморных плеч богинь. Их белые обнаженные руки слегка просвечивали. Богини были прекрасны, Лена замирала, в восторге задрав голову, зубы ее блестели, а Крылов думал, что самое великое искусство бессильно перед теплом ее жесткой руки, что эта курносая скуластая девушка куда большее чудо, чем все мраморные красавицы.

Лена работала на кинофабрике помощником оператора. Она знала художников, композиторов, запросто командовала знаменитыми артистами — таинственный, незнакомый мир, перед которым Крылов чувствовал себя вахлаком, бесцветным и скучным.

Как ни странно, она словно не замечала своего превосходства, тяготилась его расспросами, но и его дела нисколько ее не занимали, ей доставляло удовольствие болтаться по городу, носиться на мотоцикле, встревать в уличные происшествия, грустить, озорничать. Она словно вырывалась на волю и затевала шумную, неутомимую игру, умея извлекать отовсюду удовольствие.

— Сегодня самый счастливый день в моей жизни,— заявляла она.

— Позавчера ты говорила то же самое.

— Позавчера уже нету. И завтра нету. Есть сегодня. И надо прожить его так, чтобы оно было самым счастливым.

Она никак не покушалась на его время. Когда он однажды задумался и начал заносить в блокнот какую-то схему, Лена незаметно исчезла. Без всякой обиды. С тех пор она только предупреждала: «Если тебе надо заниматься, ты не стесняйся. Хуже нет, когда парень таскается по обязанности». Его это устраивало и тревожило. С такой же легкостью она вообще могла вдруг исчезнуть.

Чем-то она напоминала ему Тулина. Легкостью? Жизнелюбием? Непонятно, почему она относилась к Тулину равнодушно.

— Наверно, мы слишком одинаковы. Это всегда скучно,— ответила она и, прищурясь, оглядела его новый галстук, разрисованный пальмами.— Чего ты стиляешь? Лучше бы купил себе ботинки.

Он было огорчился, но Лена обняла его за шею.

— Чудик! Ты мне понравился таким, и нечего пыжиться. Все равно Тулина тебе не переплюнуть. Ты из породы лопухов.

Она твердо установила товарищеский порядок — когда у него не было денег, платила она, и никаких церемоний. Откровенная наотмашь, она презирала условности. Вначале это коробило его.

— ...Таскался за мной один парень. Ужасный интеллигент. Однажды гуляли мы долго, я смотрю, чего-то он жмется, потеет. «Может, тебе в уборную надо?» — спрашиваю его. Так он на меня обиделся. Стыдить начал и все жует какую-то резину насчет сюрреалистов. Наконец вижу — заговаривается. Отпустила я его. А он как дунет в первую подворотню! Вот тебе и сюрреалисты! У меня, значит, грубость, низменное восприятие, а то, что он три часа ходит со мной и только думает про подворотню,— это поэзия, рыцарство.

В ее веселом вызове условностям было и нечто серьезное. Как-то она призналась:

— От красивых слов у меня оскомина. Представляешь, целый день репетируем всякие фразы. Сперва режиссер, за ним помощник, затем звукооператор, потом артисты — все повторяют, добиваются естественности. Слышать не могу! Выругаешься — и вроде горло прочистила. Такие правильные слова, как уже кем-то обсосанные карамельки в рот кладут. А ведь когда-то они были чистые и хорошие, эти слова, и, наверное, волновали.

В тот год весна двигалась с юга со скоростью семидесяти километров в сутки. Ее стремительный шаг подгонял Крылова. Работа вдруг покатилась быстро и легко, как со склона. На столе появились пачки фотографий для отчета. В журнале «Техническая физика» опубликовали его статью. Крылов подарил оттиск Лене.

Запинаясь на каждом слове, она попробовала читать: «Релаксация... флуктуация... Конфигурационное пространство». Кошмар какой-то, неужто он все это знает? Она посмотрела на него с восхищением, словно впервые увидев. Так, значит, он настоящий физик? Признаться, она подозревала, что он заливает ей, в лучшем случае лаборант или механик.

Она потащила его на вечер в Дом кино и гордо представляла своим знакомым: физик! Бойкие, языкастые красавцы разговаривали с Леной о каких-то павильонах, сценариях, вырезанных кадрах, весело ругали какого-то режиссера, называя его «подлецом запаса», и Крылов глухо ревновал Лену, уверенный, что каждый из этих пижонов должен казаться Лене куда интереснее его, и не понимал, зачем же она возится с ним, зачем он ей.

Внезапно издали, поверх толпы, гуляющей по фойе, он увидел взлохмаченную, тронутую сединой шевелюру.

— Смотрите, смотрите, Данкевич!— восторженно зашептал он.

Кто-то обернулся, кто-то протянул:

— А-а-а!

Молодой режиссер спросил:

— Это что за птица?

— Как, вы не знаете Данкевича?— изумился Крылов.

Выяснилось, что никто понятия не имел о Данкевиче. Молодой режиссер, блистая эрудицией, составил дикую окрошку из Эйнштейна, Ферми, Денисова, атомной бомбы, античастиц и Тунгусского метеорита.

Крылов был потрясен. При чем тут античастицы? При чем тут Денисов? Знать Денисова и не знать Данкевича! Почему никто не видит сияющего нимба вокруг головы Дана? Люди должны расступаться и кланяться. Среди нас идет гений, человечество получило от него куда больше, чем от всех этих кинодеятелей, вместе взятых.

— По-твоему, мы должны носить его портреты на демонстрациях?— сказала Лена.

— Может быть. Это справедливей, чем продавать фотографии киноартистов у каждого газетчика.

— Что он сделал, ваш Дан?— спросил режиссер.

— О, Дан!— восторженно воскликнул Крылов.— О! Дан!— Он перечислил несколько работ. Маленькие статьи по пять-десять страниц.

— И только! Но это же вроде твоей,— сказала Лена.

Крылов рассвирепел:

— У меня тоже два уха, ну и что ж с того? Он гений, а я ничто.— И он закатил им такую речь про Дана, что все притихли.

По дороге в зал Лена шепнула:

— Ты был великолепен! Но все же у твоего Дана шея как у ощипанного гуся.

Они чуть не разругались. Вышучивать великих людей легко, но от этого сам не становишься выше. Зато некоторые восхваляют великих людей, чтобы просиять в их свете. Зато другие... Вообще непонятно, зачем этим другим другие. Разумеется, другие не пишут научных статей... Через десять минут они договорились до полного разрыва и потом никак не могли вспомнить, с чего это началось.

В конце вечера Лена сказала:

— А знаешь, в твоем гусе есть что-то такое...

Крылов был счастлив. Однако «ощипанная шея»... Как это он не замечал, что у Дана действительно длиннющая ше́я в пупырышках?

Последний год Дан занимался исследованием электрической плазмы. Задача вызывала противоречивые толки. Связь с электрическим полем Земли? А кому это нужно? Слишком абстрактно, вероятность успеха мала, практический эффект неясен.

Самого Дана соображения о риске или удаче нисколько не волновали. Как-то на семинаре он сказал фразу, которая поразила Крылова:

— Надо делать то, что необходимо тебе самому, тогда не страшны никакие ошибки или неудачи.

Этот человек жил где-то на сияющей вечным снегом вершине, куда не доходили обычные людские страсти и тревоги. Вероятно, тогда на Крылова действовало идущее от Лены хмельное ощущение легкости и возможности самого невероятного. Конечно, то была самая идиотская, нелепейшая просьба, но таков был Крылов. Обдумывать свои поступки?.. Для этого он соображал слишком медленно. Он сказал Дану:

— Я бы хотел работать с вами.

Неизвестно почему, но Дан согласился.

— Ну что ж, давайте.

Он сказал это спокойно, как будто речь шла о прогулке, и Крылов поднялся в воздух, не успев уловить мгновения, когда отделился от земли. Собственная дерзость удивила его много позже, в разговоре с Тулиным. Выслушав скептические доводы Тулина (пропала твоя молодость, первые результаты получите через много лет, и то в лучшем случае), он спросил всего лишь:

— Почему ж ты не поспоришь с Даном?

Тулин засмеялся:

— Когда я не прав, я могу любому доказать, что я прав, но будь я трижды прав, Дан убедит меня, что я не прав.

Аникеева огорчила измена физике радиоактивных частиц. При всем уважении к Дану, то, чем занимался Аникеев, было, как всегда, единственно стоящей, самой обещающей, самой увлекательной из возможных тем, и только чудак мог уходить из его лаборатории, да еще накануне пуска новой аппаратуры. Крылов беспечно помахал ему рукой. Самолет набирал высоту. Оставайтесь на земле с вашим здравым смыслом, заботами о результатах и прочими благоразумиями.

Он улетал в страну своего будущего, пронизанную электрическими бурями и вихрями, навстречу полярным сияниям, грозам, шаровым молниям, в непознанный хаос, окружающий Землю. Все эти годы он просто путешествовал среди созвездий, и вдруг он обрел свой собственный Млечный Путь. Выбор казался ему почти необъяснимым, как любовь; из тысяч возможностей его пленила единственная и надолго, может быть навсегда.

Он умел разгонять поток ионов, собирать объемные заряды, сводить электроны в тончайший пучок, заставлять их двигаться по любой кривой. Частицы, из которых состоял он сам, Дан, любой человек, Вселенная,— эти частицы подчинялись ему, он измерял их заряды, массы, скорость, он делал с ними все, что хотел.

Но эта власть никак не помогала ему в отношениях с Леной. Лена могла исчезнуть в любую минуту, и он понимал, что ему нечем ее удержать. Она жила в другом измерении, на другой планете, там не действовали обычные скрепы. Он мог работать с Даном, он мог сделать любое открытие, стать почетным членом Французской академии наук. «Потрясающе,— сказала бы Лена,— поехали на концерт Рихтера». Мир его увлечений был каменистой пустыней, в которой она не могла пустить корней.

Тайком от Лены он пробовал читать журнал «Искусство кино»; овладев звучными терминами, он пустился в рассуждения. Вроде получалось, однако Лена прищурилась:

— Прошу тебя, не нужно. Дай мне хоть здесь отдохнуть от этой болтовни. Лучше рассказывай про свои заряды. Послушай, я выучила песенку — закачаешься.

— Ты не любишь свою специальность?

— И да и нет.— Она задумалась.— Вернее, люблю, только от меня одной мало что зависит. Мы ведь связаны веревочкой. Как бы я ни тянула, хорошей съемкой картину не спасешь. Вот наш художник, талантливый парень, лихие макеты сделал. Ну и что? Картина все равно дрянь. Дрянь сценарий, слабый режиссер. И пропали все старания художника. Все в распыл, в песок, впустую... Ты мне как-то толковал про всеобщий закон сохранения энергии. Почему у нас этот закон не действует? Какой же он всеобщий? Куда девается наша работа, когда картина паршивая? Может, в пробирках твой закон действует, а для жизни он не подходит.

Никогда он не видел ее такой серьезной и грустной.

— Зато когда у вас картина хорошая, то все затраты окупаются. Люди смеются и плачут, вы заставляете миллионы думать над жизнью...

— И что меняется? В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон Кихота», Чехова, Толстого, то никто больше не может делать гадости...

Провал своей картины она воспринимала всем сердцем, так что и прошлое, и будущее, все человечество обрекались на безысходную печаль. Он обнял ее и сказал решительно и быстро:

— Я тебя люблю. Ты слышишь?

Она серьезно кивнула.

— Лена, давай будем вместе. Почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?

Еще не кончив, он почувствовал, как что-то произошло, словно она выскользнула из-под его руки и очутилась далеко-далеко. С разгона он еще мечтал что-то насчет комнаты, как они поселятся, купят... а она уже ласково смотрела на него с другой планеты.

— Зачем торопиться? Не связывай себя. Все это тебе только помешает. У тебя сейчас самая трудная пора, ты сам говорил, как тебе нелегко тянуться за Даном. Подожди. Разве нам плохо сейчас?

— Плохо. Мне плохо. Я не могу без тебя.

— Так я с тобой. Считай, что я твоя жена. Сережечка, ты любишь компот? Твоя Леночка, твоя кошечка, сварит своему пупсику компотик.— Она прыснула, вскочила, побежала на кухню, и опять все стало игрой.

Вскоре ему дали комнату. Лена приходила, нацепляла передник, мыла, чистила, без конца переставляла кушетку и книжный шкаф, иногда оставалась на несколько дней, но переезжать отказывалась.

Зыбкость их отношений все сильнее мучила Крылова. С ней было весело, неожиданно и пугающе непрочно. Никогда нельзя было быть уверенным, вернется она назавтра, через месяц или через много лет. Реальностью оставался только ее уход. Казалось, она была уверена, что и для него это, в конце концов, только веселая игра, с поцелуями, объятиями, сумасшедшей ездой на мотоцикле. Игра, которая могла зайти как угодно далеко и все равно осталась бы лишь игрой.

Однажды, выведенная из себя его настойчивостью, она вскочила с постели и ушла. Было два часа ночи. Крылов оделся, схватил ее подарок — керамиковую вазу с цветами, швырнул в мусоропровод и отправился гулять.

К рассвету он твердо установил для себя, что любовь — слабость, недостойная мужчины, радость работы выше и чище любых сердечных страданий. Земля электризуется от внеземных источников, у Лены толстые ноги, отношения полов сводятся к физиологии, он ничтожество, никому не интересен, она абсолютно права, он уедет, и она поймет, кого потеряла, женщин надо презирать.

Все, что было до сих пор, было цветочками. Только теперь он начал постигать, что значит настоящая работа, какие изнуряющие поиски скрыты за вроде бы беспечным трепом теоретиков. Группа работала с Даном уже несколько месяцев, Крылову пришлось догонять. Поспеть за ходом мысли Дана было невозможно. Крылов то и дело застревал, спотыкаясь о сжатые до предела формулировки, Дан двигался огромными прыжками, и Крылов изнемогал, пытаясь восстановить связь в его рассуждениях, и со стыдом чувствовал, как Дан терпеливо поджидает отстающих.

Время от времени они собирались в кабинете Дана обсудить состояние работ. Полтавский, молодой расчет-

чик, страшный формалист и при этом любящий щегольнуть цинизмом, неистовствовал: Крылов заставил его трижды пересчитывать результаты, оказалось, что расхождение получается из-за слабого экранирования.

— А откуда я знал?— огрызался Крылов.— От твоих уравнений можно ждать чего угодно.

Полтавский горестно обратился к Дану:

— Посмотрите на этого параноика. Он не признает математики. Она для него не существует. Если на то пошло, то я докажу, что он сам не существует.

— Когда вы с этим справитесь, подсчитайте тепловой баланс нового режима,— спокойно сказал Дан.

Нового режима! Это значит, придется перемонтировать всю установку. С высоты его Олимпа все старания Крылова над тем, чтобы впаять какую-нибудь медную трубку, не охлаждая стекла,— жалкая возня.

— Сколько можно возиться с этой мурой?— искренне недоумевал Дан.— Неужели с самого начала нельзя было как следует заэкранировать приборы?

Новые экраны не помогли. Пришлось поставить безыскровые моторы. Но затем стало неясно, допустимо ли моделировать явления в таких масштабах. Дан подсчитал условия, при которых модель правомерна. Модель потребовала исследования на устойчивость процесса. Усилитель не справлялся с малыми сигналами. Заказали специальный усилитель радиоинституту, там попросили подробных технических условий, разрешения министра и права в любую минуту вызывать Дана на консультацию в течение ближайших десяти лет.

И вот наконец, когда все было переделано, отлажено, измерено, то обработка результатов показала, что для переноса одного иона требуется усилие примерно семидесяти пяти паровозов, что электрон занимает объем не меньше двухэтажного особняка и все живое на земле должно чувствовать себя как человек, сунувший пальцы в электрический штепсель.

И снова они сидят в кабинете у Дана, устало издеваясь над итогами двухмесячной горячки. Исходные предпосылки неверны. Формулы нелепы. Теория абсурдна. Налаженная аппаратура — хлам. Все выбросить. Все сначала. Где начало? Нет ничего, голое место. Закон сохранения энергии. Тупик... Боги... А где гарантия?..

Дан невозмутимо рылся в таблицах, расспрашивал, как будто ничего особенного не произошло. Удрученные, они побрели обедать, оставив его одного, обсуждая дорогой, почему Маяковский застрелился.

Крылова вызвали из столовой к Дану.

— Вас к телефону,— сказал Дан.

Крылов взял трубку.

— Сережа, ты что, болен?— услыхал он голос Лены.

— Н-нет.

— Почему ж ты вторую неделю не звонишь? Не стыдно?

Невинность ее возмущения не вызывала сомнений. Крылов вспомнил, как она уходила, треск яростно натягиваемых чулок, голое плечо, блеснувшее у окна, и вздохнул.

— Я думал...

— Ты слишком много думаешь. И все о себе. Все твои слова — вранье.

— Понимаешь, сейчас...

— Я хочу тебя видеть.

— Я тоже.

— Пошли сегодня в Филармонию?

— Хорошо.

— Где встретимся?

Он беспомощно посмотрел на Дана.

— У входа.

Дан рассеянно сморщил переносицу, поднялся и пошел из кабинета.

— Ты что, с ума сошла!— закричал Крылов.— Ты знаешь, куда ты позвонила?

— Мне сказали, что ты у Дана. Я ему все объяснила, по-моему, он понял.

Дан стоял в коридоре и грыз карандаш. Крылов, опустив голову, хотел проскочить мимо, но Дан остановил его:

— Поздравляю!

— Простите меня...

— Нет, нет, это же прелестно! Абсурд — вот чего нам не хватало! Самое ценное в исследованиях — это найти абсурд. И мы нашли! Абсурд таит всегда принципиально новые вещи.

Приставив к груди Крылова мокрый конец карандаша, он принялся развивать способ «ущучивания» исти-

ны. В хаосе полученных нелепостей из тысяч, миллионов возможностей он учил искать тот единственный, решающий вопрос, который следовало поставить природе. Следить за его мыслью было удовольствие, но изнурительное.

Ничто не могло отвлечь его, заставить считаться с усталостью, неудачами, людские слабости проходили словно насквозь, не затрагивая его сущности. Он скорее удивлялся им, чем сочувствовал.

Чего бы не дал Крылов, чтобы стать таким же.

И все же тайное разочарование, крохотное пятнышко ржавчины появилось в его душе.

Бесспорно, Данкевич — гений, и гению разрешено многое, даже заблуждения, но в итоге-то у него все должно получаться красиво, эффектно и быстрее, чем это можно было бы ожидать.

Савушкин грозился бросить все к чертовой бабушке. Он не может позволить себе роскошь мучиться два-три года, чтобы получить отрицательные результаты. Ему нужно защитить диссертацию. У него семья, дети. Ему нужна тема-верняк. Крылов не возражал ему.

Требовательность Дана не знала предела. Поставить более тонкий эксперимент. Еще тоньше. Отделить влияние магнитного поля, влияние фотоэффекта, рентгеновского излучения...

По прошествии двух недель стало ясно, что подготовка методики займет не месяц, а полгода, затем Дан подбросит дополнительные условия, и тогда срок отодвинется лет на полтораста. После чего, окончательно установив ошибку, Дан преподнесет следующий гениальный вариант.

Полтавский меланхолично смотрел в окно; на улице бушевало пыльное городское лето, с мороженым, газированной водой, стуком женских каблуков. Люди уезжали на дачи, лежали на пляже, покупали цветы, целовались, женились, рожали, и никому не было дела до того, что пять человек пропадали в лаборатории, не видя света белого.

— Неблагодарные скоты,— взывал к прохожим Полтавский с высоты третьего этажа.— Неужто вас не волнует природа электрического поля Земли? Мы же стараемся для вас, а вы, вместо того чтобы стоять тол-

пами у подъезда и ждать результатов, отправляетесь ловить рыбу!

В конце июля газеты напечатали сообщения о работах академика Денисова по уничтожению грозы. Приводилось описание, как с помощью радиоактивных излучений управляли грозой.

Крылов с восторгом прочел заметку вслух.

— Денисов?— переспросил Полтавский.— Ну-ну.

— Что значит «ну-ну»?

— Междометие.

Крылов обеспокоенно подумал о Тулине, который занимается вопросами активного воздействия на грозу. Но тут же подумал, что тревожиться о Тулине нечего. Дела Тулина шли блестяще, и иначе они идти не могли. Тулин защитил диссертацию. Профессор Чистяков болел, и Тулин в своем НИИ фактически руководил работами отдела. Тулин публиковал научные работы (слишком часто, по мнению Дана); Тулин состоял членом какой-то комиссии. Тулина любили, хвалили, упоминали, сам Дан считал его одним из интереснейших молодых.

Посреди июля Дан объявил вместо отпуска неделю благородной праздности, и всем скопом они махнули на Рижское взморье. Крылов уговорил поехать с ними Лену. Они валялись на песке, купались и говорили о чем угодно, кроме физики. Дан оказался великолепным резчиком по дереву; из старых корней, валявшихся на пляже, он вырезал фантастических животных. Лене он подарил взлетающую по ветке лисицу. Вообще они с удивлением обнаружили, что Дан уважает гуманитарные науки и никак не разделяет их пренебрежения ко всяким эстетикам, этикам и прочим бесполезностям. Наоборот, он даже считал, им оставлено слишком малое место в жизни. Происходит то же, что с лесами: человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодные камни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих нарушителей, страдают потомки.

— Но я могу быть ученым и порядочным человеком, не слушая музыки,— возражал Полтавский.

— Вы — да, а общество — нет,— говорил Дан.— Что, по-вашему, отличает людей от животных? Атомная

энергия? Телефон? А по-моему, нравственность, фантазия, идеалы. Оттого, что мы с вами изучим электрическое поле Земли, души людей не улучшатся. Подумаешь, циклотрон! Ах, открыли еще элементарную частицу. Еще десять. Мир не может состоять из чисел. Не путайте бесполезное и ненужное. Бесполезные вещи часто самые нужные. Слышите, как заливаются эти птахи?

С ним не боялись спорить, он побивал умом, логикой, а не властью и авторитетом.

На третий день в центральной газете они прочли интервью Денисова. Академик заявлял, что вопросы управления грозой теоретически решены, первые же испытания прошли успешно, остается довести технические детали.

— Еще один блеф,— сказал Дан. Он заметно расстроился и в тот же день собрался в Ленинград, за ним уехали остальные.

— Я свое догуляю,— сказал Крылов.— Шут с ним, с Денисовым, нас-то это не касается. Чего вы заполошились?

— Ну-ну,— сказал Полтавский.— Жил-был у бабушки серенький козлик.

Проводив ребят, они с Леной махнули автобусом в Эстонию. Утром на какой-то остановке Лена вдруг сказала: «Сойдем, а?» Они выпрыгнули из автобуса и очутились в спящем чистеньком игрушечном городке с башнями, крепостными стенами, поросшими акацией. На древней ратуше лениво били часы, по сырой, выложенной красными плитками мостовой ехали к рынку женщины на велосипедах.

Навсегда запомнилось нежное тепло этого утра, базар, полный цветов, скользкие голубоватые пласты холодной простокваши, которую они пили прямо из горшка, зеленый холм, откуда открылись островерхие, красной черепицы крыши городка, и дальние мызы, сложенные из дикого камня, и озеро с вышкой, где на упругой доске высоко подпрыгивала загорелая девушка.

Для Лены незнакомый город был начинен неожиданностями. Волнуясь, загадывала она, что сейчас откроется за углом. Вдруг они выходили на площадь, и перед ними взметались в небо сталагмиты огромного костела из багрового кирпича. Внутри костела было хо-

лодно, светили цветные витражи высоких окон, гремел орган так, что выбрировало в груди.

Поздно вечером они, спохватясь, помчались в гостиницу. Там, конечно, все было занято. Тогда, не раздумывая, они забрались в городской парк и подле памятника какому-то местному ботанику составили скамейки. Они лежали, подложив друг другу руки под головы, и Лена, глядя на звезды, говорила о том, что лучше, чем сейчас, не будет, а если будет, то тоже не страшно, что вот это и есть счастье, и не к чему отодвигать его в будущее.

Имя Денисова Крылов слыхал давно, в связи со многими проблемами, но на все расспросы о том, что же сделано Денисовым, никто не мог ответить ничего внятного.

Шум нарастал, одна за другой появлялись статьи, восторженные, деловые, сенсационные: «Власть над молнией», «Укрощенная стихия», «Подвиг ученого».

В университете Денисов читал лекцию. Крылов поехал послушать. На кафедру поднялся маленький широкоплечий крепыш, составленный из частей, принадлежащих разным людям. У него был голый желтоватый череп, рыбий рот и нежно-розовый толстый подбородок. Несмотря на излишне крикливый голос, театральные жесты, он быстро завоевал аудиторию веселой уверенностью. Крылов слушал его с удовольствием. У Денисова все получалось заманчиво просто, дешево, быстро, и Крылов с тоской подумал о мучительно нудной, бесконечной требовательности Дана, лишенной скорых и ясных обещаний.

Несомненно, Денисов умел убеждать окружающих, можно было понять появление очерка известного писателя «Товарищ небо». Писатель взволнованно делился своим восхищением перед всепроникающим могуществом человеческого разума, дарующим людям власть над грозой. Существо научных работ его не занимало, зато он мастерски нарисовал картины бедствий — ревущие смерчи огня на нефтяных озерах, зажженных молниями, гибнущие в грозе самолеты. Он приводил древние гимны Риг Веды, где Индра своей громовой стрелой рассекает тучи, низводит на землю живительные потоки дождя и людям открывается солнечный свет.

«Извечный источник религиозного дурмана, унизительных страхов, крепость суеверий, символ человеческой беспомощности — все рухнуло, от былого могущества останутся развалины — безобидное учебное пособие школьников десятых классов. Гроза демонстрируется по заявкам районо».

Работу Денисова он образно связывал с мечтой народов о мире, о чистом и добром небе над нашей планетой.

Очерк возмутил Дана:

— Это особенно вредно, потому что талантливо.

Он решил выступить на совещании, созываемом Главным управлением совместно с министерствами специально по работам Денисова.

Накануне совещания в институт приехал Тулин. Впервые Крылов видел его таким мрачным и встревоженным. На все расспросы о Денисове Тулин цедил сквозь зубы:

— Подонок!

Тулин провел в кабинете Дана час и выскочил оттуда красный. Молча он сбежал вниз, Крылов еле поспевал за ним. Они неслись по улице, расталкивая прохожих, словно куда-то опаздывая. Вдруг Тулин остановился между трамвайными путями.

— Я ведь о нем же заботился, и он меня еще упрекает! Лезет на ветряную мельницу! Да какое там, лезет на пушку со своим копьем!

— Чего ты боишься?— осторожно сказал Крылов.— Пусть они поспорят. Истина рождается в споре.

— Еще ты меня будешь учить!— со злостью выкрикнул Тулин.— Форменный детский сад! Неужто вы не понимаете, что Денисову сейчас нужен именно такой противник, как Дан? Чтобы утвердиться.

Они очутились в красном грохочущем железном коридоре встречных трамваев. Тулин что-то говорил. По бледному злому лицу его мелькали тени.

— ...так их распротак. Истина! Истина в споре чаще всего погибает!

— Ты уверен, что Денисов не прав?

— Твой Денисов — авантюрист! Ну и что из этого?

Они вышли на тротуар.

— Почему ты сам тогда не выступишь?— спросил Крылов.

— Поссорилось яйцо с камнем... Кто я такой? Денисов — академик, а я кто?

— Раз Денисов заблуждается, надо ему разъяснить.

— Кроме того, я занимаюсь той же темой. Подумают, что я из-за конкуренции.

— Выяснится, что кто-то из вас не прав, вот и все.

— Даже Голицын, членкор, патриарх и прочая, прочая, не лезет на рожон. Он тоже говорил Дану, что спор ненаучный и тратить силы на эту галиматью просто неприлично. Все равно что опровергать деревенскую знахарку.

Они остановились у витрины охотничьего магазина и молча разглядывали ружья, блестящие ремни ягдташей, ножи, высокие сапоги.

— Конечно, будь я на месте Дана, я бы вмешался,— сказал Тулин.

— Хм!

— А Дану нельзя. За пределами науки он не боец. Вы должны отговорить его. Денисову известно, что мы связаны с Даном. И все это отзовется на нашей работе.

— Поедем на охоту. Меня Аникеев звал.

— Я Дану высказал все. Пусть он считает меня перестраховщиком, пусть, потом сам поблагодарит. А впрочем, не нужно мне его благодарности.

— Не понимаю. Ты считаешь Денисова прожектером и хочешь, чтобы никто с ним не спорил. Где ж тут принципиальность? И вообще, что же получается? Что ты помогаешь Денисову?

— Да, помогаю. Никто не разоблачит Денисова быстрее, чем он сам. Чем хуже, тем лучше.

Тулин фактами доказывал, как Денисов выдавал желаемое за действительное. На один-единственный удачный опыт уничтожения грозы приходилось четыре неудачных. О них не упоминалось. Многое делалось вслепую, эффект мог получиться любой — и уничтожение грозы, и ускорение ее, беда была в том, что никакой научной основы у Денисова не существовало. Удачные работы по борьбе с градобитием, которые шли на Кавказе, он беззастенчиво заимствовал, перенося на грозу. Процессы в грозовых облаках, механизм развития грозы, то, над чем бился Тулин, нисколько не интересовали Денисова.

— Почему же твой Чистяков не выступит и другие?

— Ты понятия не имеешь о нашей публике,— сказал Тулин.— Кому охота ссориться с Денисовым! Все равно он одолеет.

— Это еще почему?

— Беби! Культа нет, но служители еще остались.

Трудно было, конечно, разобраться в хитро сплетенных интересах множества людей, хорошо известных Тулину, связанных между собой давними отношениями, построенными на соревновании, заботе об учениках, заботе о собственном здоровье, интересами совместной работы, служебной зависимости и т. п. Но и Крылов понимал, что ребятам, сидящим где-то на высокогорных станциях, нет ни возможности, ни времени бороться с Денисовым. Было ясно, что денисовская затея помешает многолетним серьезным работам разрозненных лабораторий и станций.

В конце дня Дан вызвал Крылова и попросил срочно подобрать материалы об активных воздействиях для своего выступления.

Крылов замялся, он поверил Тулину, и понимал Дана, и разрывался между ними.

У Дана сидел Голицын, седой, величественный; Крылов видел его впервые. Голицын вертел между ног палку с костяным набалдашником и заинтересованно разглядывал Крылова.

— Что вас смущает?— нервно допытывался Дан.

Крылов сослался на завтрашние испытания в камере. Кроме того, он не понимал, как это в ущерб собственной работе можно заниматься денисовскими делами; конечно, работы Дана связаны с атмосферным электричеством, с теорией грозы и затея Денисова нереальна, но все же это, так сказать, смежная область.

Под пронзительным взглядом Дана он начал путаться, однако Голицын выручил его.

— Слыхали?— обратился он к Дану, видимо продолжая старый спор.— Молодые и те норовят не связываться с Денисовым. Каверзнейшая личность. А вы, с вашим сердцем... Что он вам, конкурент? Будьте выше этого, разве в такой ситуации можно вести научный спор, тут не наука...

Дан сцепил тонкие пальцы.

— Бог ты мой, поймите, это ж не случай, это как инфекция: если не противиться, она расползется по

всему организму, доберется и до нас, и тогда будет поздно. Денисов вводит в заблуждение, мы обязаны сказать правду. Чего бояться? Всё еще живем памятью прежних страхов...— Он вдруг замолчал и затем сказал:— Эх вы...— с печальным гневом и сопровождая это взглядом, который Крылов впоследствии часто вспоминал, как будто Дан смотрел сквозь них, куда-то далеко, в их будущее.

Предсказания Тулина сбывались со зловещей точностью.

Дан выступил и, не снисходя к уровню слушателей, на том строго научном языке, каким он дискутировал на своих семинарах, произвел беспристрастный анализ и сообщил свой приговор. Кроме двух-трех специалистов, никто толком его не понял. Но что Дану до этого, разве Истина меняется оттого, что люди не различают ее?

Слушателей раздражало высокомерие этого аристократа науки, пытающегося опорочить Денисова, убедить своими формулами, что все они невежды и болваны.

Ни до кого не доходила его ирония: «Наконец-то мы услышали доклад, где ясно сформулированы научные основы, опубликованные за последние двадцать лет в разных учебниках», его разоблачения: «Раз пси равно шестнадцати, то любой найдет, что реалаксация гаммы на два порядка выше», его выводы: «Следовательно, тяжелые ионы будут вести себя как диполи!»

В ответ Денисов благодушно улыбался.

— Жаль, дорогой коллега,— сказал он.— Оторвались вы от жизни. Вот рядовые инженеры всё оценили, а вы не смогли. А почему? Да потому, что они люди дела, с практическим складом ума. С диполями успеем разобраться, а вот сельскому хозяйству надо помогать немедленно. Какие убытки приносит градобитие! А гроза? Вы про нефтяников подумали? Нужды народные нельзя забывать. Немедленная эффективность — вот что решает.

Председатель вежливо спросил Данкевича, что реально он предлагает народному хозяйству.

— Пока ничего,— вызывающе сказал Данкевич.— Во-первых, необходимо закончить исследование по методике нахождения центров грозы, вероятно, тут могут встретиться...

Его «если», «возможно», «надо проверить» произвели тягостное впечатление.

— Вот видите,— с облегчением подытожил председатель,— конца и края не видно. А академик Денисов предлагает немедленные результаты. Как же мы можем отказаться от такой возможности?

Совещание приняло четкий план обширных работ по исследованиям академика Денисова, одобрило его начинание, рекомендовало сосредоточить в его распоряжении отпущенные средства.

Механика дальнейших событий была Тулину ясна, как падение камня.

С мстительным удовлетворением он показал Крылову статью про своего шефа Чистякова, появившуюся в журнале, куда Денисова назначили главным редактором. Статья брала под сомнение правомерность направления, избранного Чистяковым. Денисов энергично очищал решающие участки от людей, мешающих ему; ученики его и приверженцы получали назначения на кафедры, в НИИ, в ученые советы. Доцент Лагунов был прислан к Данкевичу заместителем директора.

Тулин кружил по комнате, раздражительно высмеивал старенькую, облупленную этажерку, репродукцию Ренуара, он придирался ко всему, что попадало ему на глаза, его злило то, как Крылов сидит, как он встает, то, что нет водки, и то, что есть колбаса, злило молчание Крылова и его вопросы.

Встречаясь со взглядом Тулина, Крылов поспешно отводил глаза, как будто прикасаясь к высокому напряжению.

Тулин остановился перед зеркалом, поправил волосы и, глядя себе в глаза, сказал:

— Летел гусь в голове, а стал в хвосте. Не сегодня-завтра мою тему прикроют.

— Кто прикроет?

Тулин с силой провел по щекам.

— Денисов?— спросил Крылов.

— Найдутся и без него.

— Что же делать?

Тулин обернулся, сунул руки в карманы.

— Что делать? Кто виноват? Любимые вопросы русской интеллигенции.— Он пружинисто прошелся, отшвырнул ногой стул.— Как идет работа у Дана?

Крылов рассказал. Неудача следовала за неудачей. Открылись новые сложности. Начальные предпосылки не оправдались. Кое-что удалось смоделировать, но в общем пока одни развалины. Правда, получены важные данные для понимания природы атмосферного электричества и разрядов в облаках, и если бы не Дан... Он не позволяет отвлекаться в сторону, гонит и гонит вперед.

Тулин сел на кушетку.

— Итак, в ближайшее время вы результатов не получите?

Крылов пожал плечами.

— Где там! Обследователи навалились. Дана треплют, не дают покоя. И, как назло, у меня тоже ни черта не клеится. Меня все сносит на атмосферное электричество, я хотел с тобой посоветоваться: понимаешь, есть возможность и к механизму грозы подойти совсем с иного боку, чем вы, увязать в общую теорию, энергетически...

— Погоди. Значит, обследуют? Ну что ж, логично. Еще не то будет. Денисов его не оставит. Не оставит, пока не подомнет.

— Ты преувеличиваешь,— сказал Крылов.— Ведь Дан прав. А если и не прав... Нет, нет. В наше время так не бывает. Может быть, надо пойти куда-то, рассказать, я пойду.

— Уже ходили и говорили. Не такие, как ты, ходили. А им — пожалуйте, вот решение совещания. Так сказать, в открытом бою побит ваш Данкевич. А то, что критикуют его, ну что ж, нормально, науке нужна критика. И будь здоров. Приветик. Такая чертовщина, обалдеть можно.

Лицо его зябко съежилось, и Крылову стало не по себе не от слов Тулина, а оттого, что Тулин, его Тулин, может перед чем-то отступить.

— Твой Дан во всем виноват,— со злобой сказал Тулин.— Он все испортил. Зачем было их дразнить? Им только это и надо было. Они провоцируют, а он донкихотствует, губит нас, мостит им дорогу.

— Как ты можешь про Дана...

— Он глуп, глуп,— с каким-то исступленным злорадством повторял Тулин.— Краеугольный камень. Олимпиец. Кристаллическая решетка, а не человек.

Крылов страдальчески сморщился.

— Ну, это зря... Разве можно требовать от Дана какой-то дипломатии? Он мыслит другими категориями. А ты знаешь, как он мыслит. Это молния. Ему все можно простить.

— Кому нужна сейчас эта молния? Молнией задницы не согреешь. Все горит, пожар, а Дан наблюдает в телескоп...

— Не смей говорить о нем плохо!— закричал Крылов. Впервые он осмеливался кричать на Тулина, впервые он взбунтовался.— Как ты смеешь? Дан — святой человек, гений.

Тулин закинул ногу на ногу, успокоенно-холодно улыбнулся.

— Да?

Крылов оторопел.

— Что «да»?

— Барашек ты мой. Гении нынче получаются после смерти, а мы его при жизни сделали гением. Он возомнил и решил, что все может.

— Ничего подобного. Все это вздор. Вздор!— бормотал Крылов.

— Мой совет — оставь его, пока не поздно. Ты сам говорил, что успех и не брезжит. Дан занесся и взялся за непосильную задачу, из-за него ухлопаешь лучшие годы впустую. И, кроме того, помяни мое слово: вам нормально работать не дадут.

Крылов мучительно потирал лоб.

— Нет, ты нарочно пугаешь меня. Только это все вздор.

— Зачем же мне пугать тебя? Ты уже убедился, что я прав.

— Если бы Дан позволил,— сказал Крылов,— я бы... Понимаешь, пользуясь дановской теорией поля, можно рассмотреть природу грозы...

Тулин скучливо отмахнулся — непрактично, уязвимо с точки зрения результатов.

— Такой темой можно заняться и лет через пять,— сказал он.— Держись-ка ты лучше за землю, парень.

И он так выразительно оглядел круглую, курносую физиономию Крылова, что тот покраснел.

— Я и не рассчитываю... Ну, не получится, зато как интересно! Кто-то ведь должен начать.— Крылов помолчал.— Тебе-то хорошо рассуждать.

— Мне хорошо,— сказал Тулин.— Между прочим, мой шеф решил сдаться Денисову на милость.

Крылов поднял голову. Глаза Тулина были стеклянны.

— И я с ним,— сказал Тулин.— Бухнемся в ноженьки. Владейте нами. Мы перебежчики. Ему сейчас перебежчики нужны. Самый момент.

— Не юродствуй.

— Денисов, конечно, облобызает нас.

— Зачем вам это?

— Работу спасать надо. Работу, понятно? Мой шеф здраво рассуждает: хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать. По-твоему, лучше слезы точить, жалобы писать? Нет, голубок, перед такими, как Денисов, нечего стесняться. С ними надо бороться их же методами. Нечего брезговать. Притвориться? Пожалуйста! Врать? Готов! На все готов. Потом успею руки помыть.

— Что ж это тебе даст?

— Поставлю условия. Дорогой владыка, я ничем вам мешать не буду, перекую мечи на орала, только не трогайте мою тему. Дайте мне доковыряться. Он, конечно, тоже поставит свои условия. Приму. От всего отрекусь. Чего кривишься?— Он вскочил, стиснул кулаки, глаза его словно разбились, сверкая острыми осколками.— Медуза ты интеллигентская! Всех бы вас, чистоплюев... Невинность! Благородство! А внутри-то — трусливый импотент!

— Ну-ну,— ошеломленный его гневом, пробормотал Крылов.

Тулин схватил с вешалки свой темно-серый плащ.

— А ты, вместо того чтобы поддержать меня... Думаешь, очень приятно залезать в это дерьмо? А я лезу... Разумеется, куда как красиво взойти на плаху! Но от этого, милый, работа над грозой не продвинется ни у тебя, ни у меня. Ведь Денисов-то сам ничего не сделает. У него все это афера. Пшик! Дан прав.

— Ага! Вот видишь. И я знаю, Дан — настоящий ученый. Он никогда не пойдет против своих убеждений. Он, как Галилей, будет твердить: а все-таки она вертится! Настоящий ученый иначе не может. Что бы ни было!

Они стояли друг против друга, взъерошенно-непреклонные, пряча сомнения и растерянность.

Первым заговорил Тулин. Нервная усмешка дергала его губы.

— Эх ты, грамотей грамотеевич! Известно тебе, что, несмотря на эту фразу, Галилей все-таки отрекся? Ради того, чтобы иметь возможность работать дальше. Он был деловой товарищ. И, как известно, история его оправдала. История! А ты кто такой? Может, она, история, мне тоже памятник поставит. И тебе. Не волнуйся. Если уйдешь от Дана, обязательно памятник схлопочешь. Только мне на коне. А тебе,— он подмигнул,— тебе на мотоцикле.

Он снова был старшим. Как бы они ни ссорились, что бы Олег ни делал, в их дружбе, наверное уж навсегда, он останется старшим.

С внезапной детской нежностью Крылов взял Тулина за руку.

— Не ходи к Денисову. Я не верю, что ты к нему пойдешь.

Тулин милостиво поинтересовался:

— Это почему?

— Если бы ты решил пойти, то зачем бы ты мне рассказывал. Ты бы сперва к нему отправился. А тебя совесть мучает.— Приободренный молчанием Тулина, он сказал убежденно:— Есть все же вещи сильнее всякой науки и логики.

Тулин молчал, улыбался, и Крылов сконфузился.

— Передо мной тоже проблема, все же мне охота...

Тулин посмотрел на часы.

— Мне бы твои проблемы, я был бы счастливым человеком.

Крылов вернулся в комнату, включил чайник, открыл окно, нарезал хлеб, намазал бутерброды, выпил чаю. Из всех людей на земле ему нужна была сейчас Лена, одна она. Чтобы она пришла, села на подоконник, и он, не торопясь, поговорил бы с ней, рассказал бы ей все.

Всегда ему доставалась роль слушателя. Даже тогда, когда ему необходимо было посоветоваться, все равно как-то получалось так, что его перебивали и заставляли слушать. То, что говорили другие, всякий раз оказывалось важнее его личных забот. Никому почему-то не приходило в голову расспрашивать его. И ни у кого не находилось времени выслушать его.

Он сидел за столом и мысленно звал Лену. Он внушал ей: ты должна прийти. В конце концов, существует же какое-то действие на расстоянии, какие-то биотоки, или телепатия, или еще какая-нибудь чертовщина. Нужно сильно захотеть — и Лена почувствует. Должен быть хоть один человек на свете, которому ты нужен.

В раскрытое окно вливался шум улицы. На фоне пунцово-закатного неба возникла фигура Лены. Она быстро скользнула по острым железным волнам крыш. Рама окна была рамой картины. Лена, запыхавшись, уселась на подоконник, отодвинула горшочек с кактусом и разгладила юбку.

— У меня масса времени,— сказала она.— Мы никуда не пойдем. Не удивляйся, можешь сидеть, рассказывать сколько влезет. Мне страшно хотелось узнать, что у тебя происходит.

— Нужно, чтобы был хоть один человек в мире, кто хочет тебя слушать,— сказал он.— Ты знаешь, раньше люди исповедовались, и им становилось легче. Иногда нужно просто, чтобы тебя кто-то слушал. Просто слушал бы и кивал головой. Человеку надо иногда открывать свою душу.

— Давай ближе к делу.

— Вот видишь...

— Ну не буду, не буду.

— Я бы построил специальные дворцы, посадил туда мудрых людей, чтобы к ним можно было прийти и поговорить. Никакой власти им не надо. Только бы они умели слушать.

— Районные исповедальни.

— Не смейся, это очень нужно. Бывает, ни с родным, ни с товарищем не хочется делиться. Олегу сейчас не до меня. Ему трудно. Но и мне тоже трудно. Я все больше чувствую себя тупицей, а Дан выходит из себя. Не знаю, как помочь ему. Боюсь, что не под силу нам... Забежали лет на десять вперед. Но разве его переспоришь?

— Это тебя Олег убедил?

— А что, Олег прав. Олег всегда оказывается прав. Если он вынужден отступить, то где уж мне!

— Не прибедняйся. Тебе не по душе все его доводы.

— Криво, косо, но он идет к своей цели. Во всяком случае, не мне судить его.

— Короче, ты разочаровался в Дане?

— Нет, как ты не понимаешь! Уж на что Эйнштейн двадцать с лишним лет бился над единой теорией поля, и все напрасно. Так и умер, ничего не добившись. Теперь-то ясно, что это была безнадежная, несвоевременная затея. Даже Эйнштейн мог так ошибаться.

— Что ж ты мучаешься? Уходи. Савушкин-то ушел.

— Не ушел, а сбежал. Запахло жареным, он и сбежал. Ты хочешь, чтоб меня считали трусом?

— Савушкин — трус потому, что он думал только о себе. А у тебя совсем другое. Поговори начистоту с Даном, он поймет.

— Я говорил ему, что хочу заняться атмосферным электричеством. Куда там! И слушать не стал. «После, после, сейчас рано». А чего ждать? Полтора года чикаемся, и даже не светит.

— Ему виднее.

— Что я такое для него? Козявка. Какие у меня могут быть страсти? Не имею права. Я должен жить лишь его идеей. Он и знать не желает, что у меня появилось свое. День и ночь меня грызет это, надо сесть, продумать, просчитать, посоветоваться с ним, а я ничего не в состоянии: он захватил мой мозг, выжимает все, до последней клетки, ни опомниться, ни передохнуть, тащит и тащит. Ведь мы выяснили потрясающую вещь: чтобы восстановить электричество в грозовом облаке, нужно в тысячу раз больше зарядов, чем уходит в молнию. Скудный паек прежних теорий оказался недостаточным. В чем там дело? Что же там происходит? У меня десятки всяких соображений. Мелькнут — и пропали. Разобраться бы... Мимо, мимо! А я не хочу мимо! Я уже не могу без этого, как без тебя. Мне нужно заняться ими, иначе я засохну. Да я понимаю, что я всем обязан Дану, даже своими мыслями, замыслами... Я люблю его, он был для меня всем, а ему никакой любви не нужно, ему ничего не нужно, кроме своей работы. Что мы для него?

— Гении жестоки.

— Может, ему так легче? Быть еще и человеком — значит что-то прощать, признавать чьи-то слабости. Он не может себе этого позволить. Вероятно, он вполне искренне не понимает, что какой-то там Крылов смеет чем-то увлекаться. С его высоты все мои проблемы — ерундистика.

— А как же остальные?

— Ребята — те просто пожертвовали собой. Они отказались от всего ради Дана, вернее — ради работы. Но у меня-то есть своя идея, свой детеныш; какой бы он ни был, я не могу отречься от него. У Дана нет ни снисхождения, ни жалости. Он фанатик. Возможно, иначе ничего великого в науке не создашь, но ведь это ужасно... Подожди, не уходи, мне еще нужно столько рассказать. Относительно процесса образования зарядов еще Френкель выдвинул любопытную гипотезу...

Небо быстро темнело, фигура Лены таяла в темноте, оставалось ее лицо со вспыхивающими глазами.

— Я тебе завидую,— сказала она.— Как бы тебе ни было плохо, это все же счастье.

— Счастье?.. Может, оно у каждого свое. Помнишь, я тебе передавал мой разговор с Савушкиным?

— Нет, не помню.

— Он сказал: «Творчество? Счастье? Мура! Какое может быть счастье и творчество на двенадцати квадратных метрах жилплощади с женой и ребенком? Счастье — это квартира из трех комнат. Даже двухкомнатная — уже счастье».

— Да, да, ты тогда расстроился, тебе казалось, что, может быть, он в чем-то прав.

— Значит, ты запомнила?

— Нет, нет, я была ужасно невнимательна. Прости меня.

— Хорошо, что ты здесь.

— Я буду всегда с тобой, как только ты захочешь.

Голос ее доносился все глуше.

— Ты все-таки уходишь,— сказал Крылов.— Это безобразие. Я не желаю иметь дело с призраками.

— Толковый призрак — это тоже вещь. Пожалуйста, не швыряйся призраками. Чем я тебя не устраиваю?

— Тебя нельзя обнять.

Он услышал ее смех.

— И только?

— Я хочу, чтобы ты живая была такой же.

— Живая,— повторила она задумчиво.— Может быть, это тоже призрак.

Она поставила кактус на место, фигура ее слилась с дымной синевой вечера, растворилась среди бледных фонарей.

На следующий день он поехал после работы на кинофабрику и долго ждал у проходной.

Из ворот с грохотом выкатила пулеметная тачанка, где, обнявшись, сидели махновцы и красноармейцы в буденновских шлемах.

Лена спрыгнула с тачанки и, подбежав к Крылову, расцеловала его в обе щеки.

Не спуская глаз с ее лица, он стиснул ее маленькую жесткую руку.

— Что с тобой?— удивилась Лена.

На ее круглом крепком лице не было никаких следов тоски ожидания, ни вчерашней готовности слушать.

— Что ты делала вечером вчера?

Она перечисляла: стирка, разучивала гимнастику йогов — хочешь, покажу?

— Ты думала обо мне?

— Сереженька, ты совсем как девушка.

— Скажи, зачем я тебе нужен?

— Начинается. Что у тебя за страсть — выяснять отношения?

— Хоть иногда ты скучаешь по мне?

— Так мы же часто видимся. Вот если бы мы надолго расстались. Ох и зануда! Ты сам не понимаешь: ты меня любишь потому, что тебе не хватает меня. Давай лучше поедем к итальянцам — чудные ребята.

Они поехали в гостиницу к итальянским артистам. Лена расспрашивала их про неореализм и маслины, и агитировала за колхозы, и читала стихи Заболоцкого. Потом они пошли гулять. Лена шепнула Крылову:

— Тихо-тихо умотаем, они мне надоели.

Они юркнули в магазинчик.

Конфузясь под взглядами продавщиц, Крылов купил стеклянные бусы. Лена тут же нацепила их и очень обрадовалась.

— Честное слово, индейцы были гораздо умнее белых, когда меняли золото на такие бусы!— заявила она.

Он с тоской подумал, как, в сущности, мало ей нужно. Ей ничего не было нужно. Ни от него, ни от кого другого. Ее устраивало вот это ситцевое платьице, бусы, вечерние прогулки, смешливая милая игра без прошлого и будущего.

Он с трудом удерживал накопленные упреки. Всякий раз он давал себе слово объясниться, предъявить

ультиматум, и всякий раз откладывал, чувствуя, что это ни к чему не приведет. Существовала какая-то невидимая граница, которую он не мог переступить. Может быть, следовало выждать, запастись терпением, но у него уже не хватало сил.

На ученом совете при обсуждении хода работ группы Данкевича присутствовали члены комиссии, молоденький журналист, какие-то представители и прочие любопытные. Заседание было обставлено весьма демократично, несмотря на то что Дан возмущался и требовал удалить посторонних: «У нас здесь не цирк». Это прозвучало оскорбительно. Своей излишней резкостью он восстанавливал против себя даже нейтральных.

Он не скрывал неутешительных результатов, принимая все удары на себя. На вопрос о хотя бы примерных сроках работ Дан сперва отказался отвечать, потом стал язвительно высмеивать спрашивающих: через десятки лет или завтра, а может быть, он вообще при жизни не успеет, что не вызывает у него никакого беспокойства, ибо он уверен, что к тому времени и члены комиссии уразумеют, что работать только на сегодняшний день, избегать рискованных работ, рассчитанных, может быть, на десятки лет,— типичное браконьерство. При таком подходе Циолковских не получится. Мы достаточно сильны, чтобы думать о будущем.

На вопросы о практическом значении исследований он заявил, что никаких полезных применений тема не имеет. Это была неправда. Можно было связать их исследования с радиотехникой, навигацией; сохраняя максимальную щепетильность, можно было раскрыть ценность теории, допустим, для того же атмосферного электричества. Но Данкевич шел напролом, не замечая расставленных ловушек, а может, он и замечал, но не желал снисходить до участия в этой схватке.

— Какой же смысл имеет ваше исследование?— спросил журналист и занес над блокнотом шикарное белое вечное перо.

— Мы добиваемся научных результатов.

— Что это даст нашей технике?

— Ничего не даст, ничего,— сказал Данкевич.— Вам нужно, чтобы мы увеличили выплавку чугуна, так мы этого не делаем. Просто интересная проблема. Интересная, и больше ничего.

За последнее время он еще больше исхудал, остался только профиль. «Не телосложение, а теловычитание»,— как говорил Полтавский. Часто схватывало сердце, он злился не из-за неудач, а оттого, что его отрывают от дела. Вскинув огромную голову с седеющей шевелюрой, он нетерпеливо и презрительно пофыркивал, напоминая загнанного оленя, сильный и в то же время беспомощный, как рыцарь в латах перед пулеметом.

Журналист весело строчил в огромном блокноте.

— Вы отрицаете необходимость тесного переплетения науки с техникой? Вы за отвлеченную, чистую науку? Что же вы хотите получить?

— Не знаю,— сказал Данкевич.— Если бы всякий раз исследователь точно знал, что он хочет получить, мы бы никогда не открыли ничего нового.

Тут Крылов не выдержал и крикнул: «Правильно!» — и зааплодировал, за что его чуть не удалили с совета.

Председательствовал Лагунов. Он спросил:

— До сих пор вы получали одни отрицательные результаты?

— Они тоже имеют ценность.

— На одних отрицательных результатах наука не может двигаться.

К сожалению, даже друзей Данкевича ход работ не устраивал. Подсчитать можно что угодно, но опыты, опыты не подтверждают. Да и сама установка без мощных конденсаторов, вызывающе простенькая, не внушала доверия. Выступали теоретики из смежного института, чувствовалось, что им неприятно обличать неудачу Дана, не хочется играть на руку Денисову и прочим, но добросовестность брала свое: осторожно и мягко они склоняли Дана переключиться на какие-либо побочные результаты исследования, заняться частной задачей. «Если бы атмосферным электричеством, если бы они вразумили его...» — молитвенно шептал про себя Крылов.

Пользуясь ситуацией — наконец-то! — Дана наперебой принялись поучать те, кого он называл посредственностями, импотентами, кто всегда чувствовал себя под угрозой, чьи работы он высмеивал,— начальники отделов и лабораторий, которые годами занимались

пустяками, но зато никогда не рисковали и не ошибались. В свое время Дан пытался избавить от них институт и не смог. «При нашей заботе о человеке,— говорил он,— легче не принять хорошего работника, чем уволить плохого».

Мазин, пятый год ходивший в аспирантах, «дедушка русской аспирантуры», намекнул на наличие культа: плохо, когда окружают себя ослепленными почитателями, вот, например, Крылов, вспомните, как он рвался к Данкевичу, дошло до того, что Крылов чуть ли не обожествлял Данкевича.

Не возлагая особых надежд на успех дановских работ, Аникеев тем не менее защищал его, яростно нападая на проклятую привычку жить в науке сегодняшними заботами. Он свирепел оттого, что приходится доказывать элементарную истину — никогда нельзя предугадать результатов поиска. Выразительно оглядев Лагунова, он сказал:

— Сам господь бог не предвидел последствий, сотворив человека.

Дан отрешенно взирал на спорящих со своей снежной вершины. Казалось, его нисколько не огорчает ход обсуждения.

— Голосованием в науке нельзя решать,— сказал он.— При чем тут большинство? Бездарей всегда больше, так уж устроена природа.

— Вы что же, считаете, что в институте большинство бездарей, или как?— багровея, спросил Лагунов.

— Да, да, поясните, пожалуйста,— сказал журналист.

— А мне все равно, что вы там напишете,— сказал Дан.

Крылов наклонился к Аникееву.

— Надо что-то делать. Он идет вразнос. Они съедят его.

— Подавятся,— сказал Аникеев.— Не те времена.

Казалось, что Данкевича вскоре снимут, и с треском, но ничего не происходило.

Аникеев знал, что говорит: несмотря на все старания Денисова, работы Дана зажать не удалось. За него вступились отраслевые институты и президиум Академии. То ли они еще надеялись на успех, то ли вообще считали неправильной политику запретов; приезжал

вице-президент и полностью поддержал принцип свободного поиска в подобных темах.

Но, с другой стороны, и Денисов по-прежнему продолжал раздувать свои проекты воздействия на грозу зенитными снарядами, и видно было, что выступления Дана ни к чему не привели.

Создалось странное равновесие. «Д минус Д равно нулю,— провозгласил Полтавский.— Может быть, сие и есть благо — каждый должен иметь возможность доказать свою правоту». Но Крылов предпочел бы, чтобы их работу закрыли. Обсуждение на совете подкрепило его сомнения. Он не желал видеть Дана, зашедшего в тупик, когда придется признаваться в полном провале.

Вскоре Дан отказался от руководства институтом, ссылаясь на здоровье. Его действительно одолевали сердечные приступы.

— Он хочет сосредоточиться на нашей работе,— утверждал Полтавский.— Если бы он не был уверен в ней, он не решился бы на такое.

Крылов недоверчиво хмыкал. Савушкин заикнулся было, что Дана вынудили уйти, но его подняли на смех, и неожиданно для всех стало ясно, что у Денисова-то силенок не хватает! Пророки осрамились, оказалось, что Денисова можно критиковать, и он уже не в состоянии преследовать за это так, как прежде. И нечего его бояться, Д минус Д равно не нулю, а прогрессу!

Тулин пробовал охладить их восторги:

— Так то Данкевич, то, что разрешено Юпитеру, не дозволено младшим научным сотрудникам.

Но и он был смущен. В общем-то, его страхи не оправдались.

В конце зимы Дан слег. Немедленно последовали неприятности: урезали деньги, сократили часы работы на вычислительных машинах; заказы в мастерских — будьте любезны, в порядке очереди.

Прикованный к постели, Дан нервничал, болезненно переживая малейшие помехи. Он был уязвим, как слон, громадный, неповоротливый. Тулин видел в нем нечто старомодное, но для Крылова он был скорее откуда-то из будущего. Теперь масштабы замыслов Дана пришли прямо-таки в трагическое несоответствие с возможностями и средствами лаборатории, и самое ужасное, что Дан по-прежнему не желал ни с чем считаться.

Внезапно решившись, Крылов отправился к Лагунову, исполняющему обязанности директора.

— Как вам не стыдно! — сказал Крылов. — Вы-то понимаете, что так нельзя.

Бо́льшую часть розового лица Лагунова занимали огромные очки в роговой оправе. Некоторое время он с любопытством разглядывал Крылова откуда-то из-за линз, словно какую-то букашку в микроскоп.

Лагунова в институте побаивались, и для Крылова подобная дерзость могла кончиться плохо. Но Лагунов вдруг сказал:

— А что? Мне импонирует, когда так, по-простому, по-русски... Вы мне давно нравитесь, Крылов.

Выяснилось, что он знает работы Крылова, ценит его талант, считает достойным научной самостоятельности. Крылов покраснел: впервые в жизни его хвалили так откровенно, категорично, что называется, в лоб. Больше того — оказалось, что и Данкевича Лагунов весьма уважает и ценит.

— Войдите в мое положение, войдите, — сказал Лагунов и сделал волнистое движение рукой. — Масса факторов. Невероятная сложность. Спасать Дана от него же самого. Попробуйте. Плюс окаянный характер Дана. — Он понизил голос: — А тут еще Денисов. Давление. Я вам доверяю. Скажите, Сергей Ильич, вас устраивает то, что делает Данкевич? Откровенно.

Вероятно, следовало уклониться, смолчать, но он ничего не мог поделать с собой.

— В ближайшее время на результаты рассчитывать не приходится.

Глаза Лагунова понимающе прикрылись.

Польщенный вниманием, Крылов принялся развивать свои взгляды:

— Он имеет право на ошибку... Я часто думал. У нас слишком много людей, которые хотят успеть все при жизни. Но, с другой стороны, даже ему не всегда видно... Еще не было гения, который не хотел бы сделать больше того, что в состоянии. Он принимает ход напряженности по высоте...

— Эх вы... не любите вы своего учителя! — сказал Лагунов.

Крылов остался с открытым ртом.

— Не верите вы в него, — сказал Лагунов. — А я верю. Вы, молодежь, вообще не верите. Ни во что. На-

до ему, бедняге, отдохнуть. Годик. К тому времени страсти утихнут. Он соберется с мыслями, и все будет хорошо.

— Пожалуй, это идея,— неожиданно для себя согласился Крылов.

— Уж вы положитесь на меня.— Лагунов мягко провел по своим вьющимся желтым волосам. Говорили, что он завивается и подкрашивает волосы хной. Чистенький, блестящий, словно отлакированный, он производил приятное впечатление, пока не улыбался. Стальные зубы делали его улыбку жесткой.

— Так будет лучше,— сказал Лагунов со значением.— А лично вам не стоит этот год терять. Мыкаться. В науке создают до тридцати лет. Потом обрабатывают полученное. Развивают.

Заботы и доверие Лагунова покоряли. Крылов удивлялся и радовался тому, как совпадают их мнения, и тому, что Лагунов никакой не злодей, а простяга, попавший в сложный переплет, но готовый все сделать, что можно, для Дана. По-деловому и заботливо он предложил Крылову провести этот год в кругосветной экспедиции на геофизическом корабле.

— Вы мне дороже, чем Данкевич,— грубовато признался Лагунов.— За вами будущее. О Данкевиче позаботятся без вас. Многие хлопочут. Вам надо больше думать о себе. Советую. Не мешает.

Лена — та запрыгала от восторга. Шутка ли, объехать мир! Ямайка, ямайский ром. Азорские острова. Какие могут быть разговоры! Счастливчик. Соглашаться не раздумывая. Ради чего еще жить на этом шарике? Так и жизнь пройдет, как Азорские острова. Хоть бы Азорские, а то Васильевский остров — вот и вся романтика. Поехали покупать значки и сувениры. Она радовалась за него так, что стыдно было ее в чем-то упрекнуть или подозревать.

Несмотря на все старания, поле между пластинами искажалось. Не должно было искажаться, а искажалось. Струя распыляемой воды должна была создавать нужные заряды, а не создавала. Крылов в отчаянии отшвырнул пробник. После разговора с Лагуновым он перестал понимать затеи Дана, и все пошло кувырком. Никакого сочувствия у Полтавского он не находил. Полтавский принял роль бессловесного исполнителя.

«Мне поздно отступать,— доказывал он,— я пойду до конца». Он разыгрывал из себя солдата-служаку и не желал обсуждать действия Дана. Верить так верить. Дан — антенна, принимающая сигналы из будущего. Дан мыслит категориями, недоступными обыкновенным смертным. Правда, тут же он высмеивал и самого себя, и Крылова, цинично восхищаясь денисовцами. Эти дельцы многого достигнут. Переметнуться бы к ним, да совесть мешает. А хочется, ох как хочется. Крылову тоже небось хочется.

— Мне надоело верить!— негодовал Крылов.— Почему я должен верить? Во что я должен верить?

— В светлое будущее. И вообще старшим надо верить.

— Слыхали. Не желаю. Хватит.

И в ярости выпрямил руками сердечник, который накануне тщетно выпрямляли всей лабораторией.

В коридоре он столкнулся с Лагуновым. Тот осведомился насчет поездки. Крылов мысленно перебрал самых дальних предков Лагунова по женской линии и закончил вслух, что, к сожалению, Данкевича покинуть он не может и от поездки отказывается.

Лагунов попросил подумать, не торопиться, желающих ехать много, но он все же придержит место для Крылова.

Болезнь повлияла на Дана. В нем появилось какое-то лихорадочное нетерпение. Он спешил, ни с чем не желая считаться, ничего не объяснял, гнал и гнал, нарушая прописанный врачами режим, словно боясь не успеть. Из-за горячки пороли глупости, участились неудачи. Крылов перестал понимать ход работ, никто не поспевал за мыслью Дана. Крылов с тоской убеждался в тщетности их усилий. Кому нужно то, что они делают? Да и что они делают? Все это впустую, впустую.

Началось, как всегда бывает, с пустяка. Обнаружили, что трансформатор не годится, придется мотать новый на повышенное напряжение.

— Неужели нельзя было раньше догадаться? Тут семилетки достаточно!..— поразился Дан.

Уничижительный тон его звучал непереносимо: снизойти и доказать, что только круглый идиот вроде Крылова мог довольствоваться этим напряжением,— на это Дан не желал тратить время.

— По-вашему, я ничего не соображаю. Но вы сами еще недавно принимали напряжение стандартным.

— Надо было вам подсчитать. Для нового режима оно не годится.

— Я не поспеваю за вашими вариантами. У вас что ни день, то новая идея.

— Мне некогда с вами спорить.

— Но так нельзя работать. Сколько можно!

— Столько, сколько нужно.

Тут он решился выложить Дану все начистоту, образумить его, уговорить переждать, отказаться от этой безумной гонки, но вместо этого он выпалил:

— Я не могу делать то, чего не понимаю! Я для вас тугодум. К вашему сведению, у меня тоже есть свое мнение... я не могу так... впустую...

Если бы Дан хоть одним словом утешил его, пожалел, но огромные черные глаза по-прежнему бесстрастно, неумолимо взирали откуда-то сверху, с той ледяной вершины, куда не доносились никакие крики о снисхождении.

— Не знал, что вас интересует быстрый успех,— сказал Дан.— Что ж, раз так, то вы станете доктором. Вы будете писать толстые учебники. Вы будете читать лекции. Возможно, вы станете директором института.

— Да, я предпочитаю реальное дело. Я предлагал заняться атмосферным электричеством. То, что мы делаем, никому не нужно. Есть люди, для которых я не тупица. Вот увидите!.. Вы не считаетесь с нами... Все равно у нас ничего не выйдет.

Небожитель спустился на землю, и Крылова ослепил лик разъяренного божества.

— Значит, вы не верите?

— Но ведь вы не можете поручиться, вы сами видите...— заглушая свой страх, воскликнул Крылов.

— Раз вы не верите в нашу работу, тогда все понятно,— сказал Данкевич.

— Что понятно, что понятно?..— Крылов лихорадочно отключал один рубильник за другим.— Очень рад, что понятно...

Через два дня Дан сказал ему, что подписал характеристику на поездку в экспедицию. Крылов начал было извиняться, но огромные черные глаза Дана смотрели куда-то вдаль, и Крылов мог поклясться, что Дан уже не слыхал его.

Снаряжение, инструктаж, тарировка приборов, сувениры, выпрашивание всяких справочников, предотъездная горячка... Он опомнился уже на борту парохода. Приехал Тулин из Москвы, и они стояли у причальной стенки — Лена и Тулин — и махали ему руками. Лена плакала. Она улыбалась, махала рукой, и твердые загорелые щеки ее блестели от слез. И хотя у Крылова сжималось сердце, ему радостно было видеть эти слезы. Накануне в последний раз они поехали на мотоцикле, Лена неслась как сумасшедшая по мокрому, в желтом крапе осенних листьев шоссе, обгоняя машины. Деревья вдоль обочины сливались в оранжевый ветер. Крылов наклонялся вперед и спрашивал: «Ты будешь скучать?» Плечи ее вздрагивали, и он был счастлив.

Правда, порой становилось тревожно и хотелось бросить все, отказаться, остаться здесь.

Но он знал, что через несколько дней все началось бы сначала, опять он сидел бы долгими вечерами и ждал ее.

Да и не мог он теперь отказаться от поездки.

Сейчас он ни о чем уже не вспоминал и ни о чем не жалел. Он держался за поручни, охваченный горделивым чувством уезжающего, снисходительным сочувствием к тем, кто остается на этой безопасной, благоустроенной земле.

В лязге якорных цепей, в гудках буксиров, в последних словах команды ему слышался шум знойного сирокко, холодная свежесть океана и далекие чужие порты на зеленых берегах Африки.

Тулин жестикулировал, изображая охоту на тигров или еще каких-то хищников, пляски с туземцами. Тулин был весел. У него вдруг в последнюю минуту как-то все благополучно обошлось. Денисов никаких условий не поставил, принял милостиво, но в общем-то безразлично. Гроза его больше не занимала.

Крылов ничего не понимал: после всех шумных обещаний Денисов, казалось бы, должен торопиться изо всех сил, срок-то обещаний надвигается. Наслаждаясь его недоумением, Тулин сообщил, что Денисов скоро выступит с новым предложением долгосрочных грозовых прогнозов. Опять готовится шум, статьи, заседания. А после прогнозов будет еще что-нибудь, например промышленное использование атмосферного электричества. И всякий раз обещание скорых выгод, связь науки с практикой, избиение противников, новые долж-

ности и новая слава. Крылов не верил, настолько это казалось нелепым, бессмысленным. Как же Денисова слушают, ведь раз он не выполнил одного обещания, так и новым не должны были доверять? Но Тулин приводил факты, одни факты, без особых комментариев, и Крылов убеждался, что почти вся история возвышения Денисова построена на подобных посулах, почти никогда не оправдываемых. Так, Денисов, в свое время спекулируя на Мичурине, выдвинул идею искусственного климата, затем электризации почвы для повышения урожайности, искусственных испарителей. В итоге — миллионы, угробленные впустую, книжки, статьи, новые подхалимы и одураченные молодые энтузиасты.

— На чем же он держится? Что же он сделал? Почему все слепые?

— О! Денисов — великий ученый!— торжествующе ответил Тулин.— Он открыл закон, который стоит всех наших работ. Закон гласит следующее: люди любят, чтобы их обманывали надеждами. Люди хотят верить тому ученому, кто обещает скорые блага, а не тому, кто обещает долгие трудности. При этом люди стараются забыть прошлые неудачи, у них короткая память на плохое, они предпочитают будущее прошлому. Новые обещания куда важнее старых разочарований. Пока суд да дело, пока разберутся, пока там кто-то вспомнит прежние сроки, Денисов уже далеко, он уже манит новой синей птичкой.

Тулин говорил и говорил без конца, в восторге оттого, что ему не пришлось совершить ничего некрасивого, и был рад тому, что Крылов послушался его, развязался с Даном и едет,— он даже не скрывал своей зависти, что было совсем удивительно.

Покидая лабораторию, Крылов передал установку, свои расчеты Полтавскому, отдал ему и недописанную статью, выложил всевозможные идеи. Ему ничего не было жаль, он старался загладить чувство вины перед Даном.

Вина состояла в том, что он не сумел убедить их отказаться от этой безнадежной работы. Вот и вся его вина. Бедняга Полтавский затыкал уши, спасаясь от его доводов. Цеплялся как одержимый за свою веру в Дана, ничем другим защититься он не мог. Он, как фанатик, твердил, что если сам Дан не может увидеть ошибку, то как же мы можем... В конце концов Полтавский признался, что тоже не понимает Дана, и не может понять,

и не надеется понять, потому что Дан мыслит на другом уровне, может быть, тут интуиция; идеи Фридмана тоже начинают только сейчас осмыслять и всякое такое... Крылов высмеял его. Слепая вера — это для религии. А оправдывать то, чего не понимаешь, да еще служить этому,— дудки! Известно, к чему это приводит! Полтавский спросил: что же, недоверие дает право на неверность? На что Крылов удачно ответил, что, конечно, фанатику всякая свобода кажется неверностью, но фанатики — это рабы, а не хозяева мысли.

Дан стоял у стенда, посасывая кончик карандаша. Крылов хотел попрощаться, но Дан смотрел насквозь, не отличая его от мебели, и Крылов убедился, что он уже начисто не существует для Дана, и если сейчас попрощаться, то Дан удивится и будет соображать, откуда взялся этот парень. Было непостижимо и обидно, как мог Дан так легко вычеркнуть его из памяти, забыть все, что сделано, и после этого они еще смеют упрекать Крылова... Но он никак не мог вспомнить, кто были эти они.

Отъезд должен был удобно, просто и мужественно разрешить эту канитель, и Крылов испытывал сейчас сладостное ощущение свободы от Дана, от его беспокойной требовательности, от необходимости делать то, во что не веришь.

В синем пушистом свитере, с непокрытой головой, Крылов стоял, широко расставив ноги, сжимая холодные поручни; дул осенний ветер, пахнущий пароходным дымом и свежестью черной воды. Все было прекрасно, и было непонятно, чего же не хватает.

Неотрывно глядя в глаза Лене, он кричал о каких-то пустяках, и все это было не то, как будто он забыл что-то крайне нужное и никак не мог вспомнить.

Пароход медленно, толчками отваливал, и вскоре город с его трубами, шпилями отдалился, развертываясь по горизонту, а Крылов все еще видел ту точку на берегу, откуда смотрели на него блестящие глаза Лены.

Вернулся он через восемь месяцев.

В чемодане его лежала толстая папка с таблицами измерений. Ему удалось установить некоторые любопытные аномалии напряженности электрического поля. Замеры производились круглые сутки. В Бискайском заливе во время шторма он работал, привязавшись ка-

натом к мачте. Вблизи Мадагаскара он заболел малярией, и его так колотило, что он не мог записывать. Он лежал на палубе и умолял океанологов оторваться от своих камер и помочь ему переставить приборы. Два дня провели они на островах. В саду у храма прыгали обезьяны. Ночью бил бубен, бешено крутилась неоновая реклама бара, и голый индус-писец сидел на улице и стучал на пишущей машинке прошения.

В светящейся воде залива покачивались разноцветные фелюги с фонариками на тоненьких реях. Крылов сидел на веранде портового кабачка под шумным и холодным ветром эр-кондишн и думал о том, как запомнить все это и привезти Лене.

На Азорских островах диковинные кактусы росли на обочинах дорог так же, как в Боровичах лопух и репейник. Бетонная полоса аэродрома сбегала прямо в море. В магазинчике продавали дутые браслеты с эмалированными каравеллами. Пахло китовым жиром, и белые, выжженные солнцем скелеты китов лежали на берегу, подобно каркасам диковинных построек.

Собирались у рации, ловили последние известия. Кубанцы хорошо провели сев. Заканчивается новая очередь ленинградского метро. Пустили Иркутскую ГЭС.

На обратном пути, в Гавре, была встреча с французскими геофизиками. Узнав, что Крылов работал у Данкевича, французы прокричали «виват». Профессор Дюра с пафосом провозгласил тост за страну, которая имеет такого ученого, как Данкевич.

От них Крылов услышал, что месяц назад на международном конгрессе Полтавский зачитал доклад Дана о новой теории электрического поля. Последние полеты советских спутников дали богатый материал, гипотезы Дана полностью оправдались, теория поля блестяще выстраивалась. Пользуясь ею, можно было конструировать новую аппаратуру для космической навигации. Неожиданно открылись новые возможности для борьбы с радиопомехами, новые методы расчетов в радиоастрономии.

Ночью Крылов стоял на корме. Масляно-гладкая волна неотступно лепилась к борту.

Не поверил. Не поверил, а они добились своего. Тот, кто не верит, ничего не добьется. Надо уметь верить. Надо... сметь верить.

Что из него получится? Доктор наук? Предисловие? Но ведь кто знал? А разве надо делать, что знаешь? Надо делать то, чего не знаешь.

На свете слишком много «надо» и «должен».

Ошибка не предостерегает от новых глупостей.

Можно ли было предположить? Он вспоминал, и теперь ему казалось, что даже ошибки Дана были мудрыми, и неизбежными, и наиболее экономными из возможных. Очевидно, в науке только ошибка индивидуальна, истина безлично-одинакова для всех.

Надвинулся влажный, душный туман. Пароход шел, подавая короткие, тоскливые гудки. Невнятно-тяжелое чувство душило Крылова. Он чувствовал себя обманутым, и винить в этом обмане было некого. Не различить было ни моря, ни палубы. Со всех сторон облепило серое, плотное. Он все хотел глубоко вздохнуть — и не мог.

Серенькое ленинградское небо стряхивало последний мокрый снежок. Буксир хлопотливо, долго подтаскивал корабль к пирсу. И все время, пока пришвартовывались, Крылов искал в толпе встречающих Лену и не находил.

Сойдя на берег, он несколько раз прочел вслух надпись на пакгаузе: «Курить воспрещается», засмеялся. Было удивительно и радостно, что все кругом говорят по-русски и надписи русские.

Тут же из порта он позвонил Лене на работу. Пока за ней ходили, Крылов стоял, закрыв глаза, и все гадал, какое первое слово она скажет, услышав его голос.

— Ты откуда?— спросила Лена.

— Из порта.

— А-а-а!

Она замолчала, и он оцепенел, не в силах нарушить этого быстро растущего молчания. Они словно настороженно прислушивались друг к другу, ухо к уху.

— Сереженька, у тебя все в порядке?— наконец спросила Лена и, не дожидаясь, быстро заговорила:— Я очень рада. Я тебе написала, у тебя дома лежит письмо. Я выхожу замуж. Ты его не знаешь. Это так внезапно все получилось. Я даже не могу ничего объяснить.— Ее неловкость уже исчезла. Доверчиво и восторженно она шепнула:— Сереженька, я его ужасно люблю!

Крылов повесил трубку, взял чемодан и зашагал к автобусу. Ему полагался двухнедельный отпуск. Он никуда не поехал. Утром он спускался, покупал кефир, батон и затем целый день валялся на кушетке.

Таким его и застал Тулин.

Он прилетел из Москвы на похороны Дана. Крылов ничего не знал о смерти Дана.

Три дня назад Дан умер от инфаркта.

Тулин вдруг заплакал. Он стоял в своем щеголеватом, стального блеска реглане и плакал, яростно вытирая кулаками слезы.

— Такого, как Дан, не будет. Справедливость! Где она, так ее перетак,— сказал он.— Кретины живут. Мразь всякая живет, таскает свое брюхо с места на место. Неужели нельзя было его мозг спасти?! Пересадить, что ли, сохранить? Любой ценой. Я стоял и смотрел, как закапывают в землю такой мозг. Из-за какого-то сердца! Сразу пусто стало на земле.

Крылов прислушался к своему сердцу, оно билось ровно, как будто ничего не произошло. Открывались клапаны, и закрывались клапаны, из правого желудочка в левое предсердие, без всяких пороков и аритмии, никому не нужное здоровенное сердце еще одного здорового туловища. Тулин что-то говорил, потом Крылов поехал его провожать, пил с ним на вокзале и все время потирал лицо, пытаясь размять одеревеневшие мускулы.

Тулин спросил мимоходом — как, что. И так же мимоходом Крылов сказал о Лене.

— От женщин одно лекарство — женщина,— вяло бросил Тулин и принялся рассказывать, как последние месяцы Дан работал по шестнадцать часов в сутки, не щадя себя, привел в порядок все материалы, как будто точно знал дату своей смерти. Он ни на что не отвлекался, не обращал внимания на наскоки Лагунова, на фельетон. Он был выше этого.

— Какой фельетон?— спросил Крылов.

— Ах да, ты не знаешь...— Тулин покачал головой.

Фельетон «Вдали от науки» появился сразу после отъезда Крылова. С восторгом разоблачителя журналист — тот самый, спокойно сообразил Крылов, который сидел на ученом совете,— описывал, как лаборатория Данкевича переливает из пустого в порожнее, растрачивая государственные средства. При этом проповедуются старомодные взгляды о чистой науке, да еще

выступают против Денисова, работающего на наше народное хозяйство. Неудивительно, что даже ученики Данкевича, разочарованные в его работе, уходят. Так, например, Савушкин. Молодой ученый Крылов вынужден был уехать в экспедицию на корабле «Богатырь», после того как выступил с критикой Данкевича...

— Но ты же знаешь, что все было не так,— в страхе сказал Крылов.

Тулин рассеянно отмахнулся.

— Я уверен, что Дан и не читал этого фельетона.

— Да что из того!— закричал Крылов.— При чем тут — читал он или не читал...

Назавтра Крылов пошел в библиотеку, взял подшивку и внимательно перечел фельетон. Из библиотеки он отправился в редакцию газеты, дождался журналиста и попросил поместить в газете опровержение.

Журналист не сразу сообразил, о чем идет речь.

— Позвольте, но ведь прошло полгода,— поразился он. И, улыбаясь, похлопал Крылова по плечу.— Выспались, да и профессор-то ваш помер.

— Это не имеет значения,— сказал Крылов.— Я-то жив. Разве я отказывался от него? У меня были совсем другие мотивы.

Журналист посмотрел на часы.

— Не морочьте мне голову. Говорили вы Данкевичу, что не согласны? Поругались? После этого умотали? И вообще о вас-то ничего плохого я не написал. Наоборот. Чего ж вы шумите?

— При чем тут я! Ваш фельетон оболгал Данкевича. Вам известно, что его работа полностью оправдалась?

Он, словно очнувшись, рассказал про французов, про аппаратуру для спутников. Журналист играл роговыми очками, и светлые, плоские глаза его смотрели нагло и весело.

— Все?— спросил он.— А вы — штучка! Ежели такое значение, такая работа, так чего вы-то уехали? Вы ж уехали? Нет, товарищ Крылов, требуя принципиальности от других, будь принципиален сам. Если вы не знали, что так все повернется, откуда я мог знать? Да и кому поможет теперь то опровержение?..— Он завистливо посмотрел на галстук Крылова.— Парижский?

«В том-то и дело,— подумал Крылов.— В том-то и дело, что этот сукин сын прав, мне уже ничего не поможет. Вот она, расплата, даже перед такими подонками не оправдаться...»

В институте никто не припоминал ему случившегося. Полтавский не торжествовал, ни о чем не расспрашивал, словно потеряв всякий интерес к нему. Что это было? Великодушие? Снисходительность? Безразличие? А может, они презирали его? Все, все могло быть, потому что он падло, ничтожество, шлепнулся в дерьмо мордой. Он казнил себя и сторонился друзей, не желая ни с кем разговаривать. Иногда за целый день он перекидывался только двумя-тремя фразами с официанткой или с кем-то из планового отдела. Он сидел в пустынном читальном зале и оформлял отчет по экспедиции. Ровно в шесть складывал бумаги и вместе со служащими спускался в гардероб. До позднего вечера бродил по улицам, ужинал в молодежном кафе, стараясь прийти домой позднее, чтобы сразу завалиться спать. Он избегал оставаться наедине с собой. Впервые он постигал ужас настоящего одиночества.

После смерти Данкевича институт лихорадило. Аникеев и Полтавский резко выступали против Лагунова, но Лагунов и его сторонники всячески превозносили Данкевича, и получалось так, что они защищали Данкевича от Аникеева.

И те, и другие словно забыли о существовании Крылова.

Однажды, встретив Лагунова в коридоре, Крылов попробовал с ним объясниться; это ни к чему не привело. Лагунов ничего не помнил, никакого разговора, никаких советов. Он сказал громко и укоризненно:

— Предупреждал я вас. Недооценили.

Одиночество окружило его безвыходным кольцом. Он сразу лишился всего: не было ни друзей, ни Лены, ни настоящей работы, ни будущего.

О Лене он думать себе запретил. Категорически. Не сметь касаться. Ничего не было. Ни ее рук, ни ее смеха. Ее вообще не существовало. Она не приходила в эту комнату, не лежала на этой кушетке... Надо прочитать посмертную статью Дана. Лена нравилась Дану. Она всем нравилась... Защитить диссертацию, тогда посмотрим, она еще пожалеет. Но в том-то и дело — стань ты хоть академиком, ей наплевать. Ее надо забыть. Вычеркнуть. Уехать из этой комнаты. Спать...

...А сон был веселый, шумный. Снилось КБ, общежитие, Вася Долинин и Ада, они куда-то ехали, и Крылов был с ними, в коротком пиджачке с цветком, и тут же был цех и красные бачки выключателей. Все смея-

лись и за что-то качали Крылова, он летал все выше и выше...

Проснувшись, он долго лежал, вспоминая, как хорошо было ему, когда он работал в КБ, наверное, там-то и было его настоящее место.

В тот же день он поехал на завод к главному конструктору и попросил принять его на работу.

— У тебя скверный вид,— сказал Гатенян.

По его глазам Крылов вдруг понял, насколько плохи его, Крылова, дела.

— Мальчик, мальчик,— сказал Гатенян.— Желудь не может вернуться обратно на ветку. Надо быть самим собой, человек должен быть самим собой, чего бы это ни стоило. Хочешь, я поеду в институт. Скажи, что тебе надо, мы поможем. Но на завод я тебя не пущу.

В приемной сидела Ада.

— Что случилось?— спросила она.— Зачем ты приехал?

— Дела, дела...

— Как у тебя?

— Чудесно.

Она проводила его до проходной, и он рассказывал ей про свою поездку.

Полтавский верил в Данкевича, а ты не верил, ты верил только себе — и провалился. Значит, нельзя доверять только себе? Но если не верить себе, то как же можно оставаться самим собой? Нет, погоди, а почему ты не поверил? Вспомни, как все было, с самого начала. Это произошло тогда, когда возникла идея об атмосферном электричестве. И Дан не разрешил тебе заняться ею. С тех пор тебе стало нетерпеться, тебе казалось, что вы делаете не то, что все затягивается на годы. Ты заболел своей идеей, и все остальное тебе только мешало.

Полтавский — солдат, которому нужен генерал; пока у меня не было *своего,* я тоже был солдатом. Я могу верить только в свою собственную идею. Может быть, это плохо, но иначе я не могу.

Ах, какой же ты красавчик, какой ты пай-мальчик! Ловко ты вывернулся. Получается, что ты ни в чем не виноват? Сука ты, вот ты кто, а может быть, хуже. Что стоит твоя идея по сравнению с работой Дана? Она выросла из работ Дана. Он прокладывал тебе дорогу, а ты бросил его. Кто же тебе теперь поверит? Дана нет, и все погибло. Ты сам погубил все.

Взяв себя в руки, он построил логическую схему, которая привела его к тому, что жизнь потеряла всякий смысл, и он принялся писать предсмертное письмо. На десятой странице он обнаружил, что рассматривает природу шаровой молнии и составляет примерные расчеты. Глупо было появляться на этот свет, и еще глупее умирать, ничего не сделав.

На институтском активе Полтавский обрушился на Крылова, приводя его как печальный пример морального банкротства в науке.

Неожиданно для всех Лагунов в своей речи заступился за Крылова. Совсем затравили парня, так нельзя, товарищу в беде надо помогать. Крылов из рабочих. Данкевич никогда бы такое не позволил, Полтавский находится в плену групповых интересов. И пошел, и пошел!

Его выступление понравилось. После актива Савушкин нагнал Крылова на улице и сказал:

— Лагунов — это сила! Держись за него. Он тебя сделает теперь проходной пешкой. Это редчайший случай, когда ему выгодно быть хорошим. Ты небось сейчас презираешь меня. Конъюнктурщик? Точно. Видишь, если бы у меня в отделе был такой порядок, чтобы выгодно было быть хорошим, я был бы самым принципиальным, распрекрасным. Но поскольку обстоятельства иные, приходится быть прохвостом. Тяжело. Хорошим быть куда приятней, но что поделаешь. Поехали ко мне, а?

Савушкин недавно получил квартиру, он уже защитил диссертацию и стал завлабом.

Они смастерили отличный коктейль, пили через соломинку, Крылов улыбался: было забавно, как уютно уживались в характере Савушкина беспечность, веселый цинизм и доброта.

Сейчас он получал вдвое больше, но по-прежнему сидел без денег, жена его ругала. «Что поделаешь, подкаблучник»,— признался он.

Крылов спросил:

— Ну, а теперь ты счастлив?

Савушкин неожиданно помрачнел.

— Не лезь... Счастлив... А что мне еще остается?

Его ответ поразил Крылова. Что ж еще остается!

— Мы с тобой прошляпили успех Дана,— сказал Савушкин.— Слишком у нас прямые извилины. Будем мужественны. Пороха нам не выдумать, и зря его выду-

мали. Нечего пыжиться. Лагунов хорош тем, что мы его устраиваем такими, какие мы есть.

На заседании совета Лагунов посадил Крылова рядом с собой.

При обсуждении плана он предложил Крылову защитить диссертацию по материалам экспедиции.

Приехав из Москвы, он сообщил, что выдвигает Крылова представителем в какой-то международный комитет.

Он дал Крылову отпуск и посоветовал проветриться на лоне природы.

Крылов поехал к сестре в Старую Руссу.

С утра он брал лодку и греб далеко вверх по реке, пока руки не сводило от усталости. Навстречу неторопливо спускались плоты. По скользким бревнам перебегали гонщики с длинными баграми. На плотах белели фанерные шалашики, приносило дымок, обрывки слов. Измучившись, Крылов ложился на корму. Над водой плясали мошки, рой поднимался, опадал и снова, звеня, взлетал.

Он колол дрова, починил забор, вечерами ремонтировал школьные реостаты и вольтметры. Сестра не понимала, что это за отдых, ей было неловко перед соседями — он, столичный ученый, в переднике красил забор.

Приходил молоденький ветеринар, ее ухажер, пили чай с клюквой, сестра расспрашивала про Азорские острова. «Какой ты счастливый»,— вздыхала она. Он был ее гордостью, его ожидало великолепное будущее, он поедет на всякие международные конгрессы, у него будет квартира в Москве, и она будет приезжать в гости. Непонятно, почему он хандрит, ведь нет ничего прекраснее призвания ученого, занятого вдохновенным трудом.

Подумать только, что он сам когда-то пробавлялся подобной чушью. Поди докажи им, что он, оказывается, никогда и не был настоящим ученым, а теперь и вовсе для него наука — служба, лямка.

Булыжные улицы выводили к белому собору. Городок рано засыпал. Крылов бродил в теплых сумерках и думал, что хорошо бы остаться здесь учительствовать. Он спускался к ночной реке, там все так же плыли плоты с горящими кострами, клубился туман, перекликались гонщики. И вся его жизнь и жизнь окружающих

представлялась ему рекой, по которой, хочешь не хочешь, они должны плыть все вместе, связанные своим временем, из которого никуда не выпрыгнуть, хорошее оно или плохое, плыть до конца со своим поколением. А откуда-то сверху надвигаются новые плоты, следующие звенья в бесконечной цепи времени.

Он слыхал, как соседский мальчик спросил мать: «А кто такой Сталин?» — и поразился, как быстро все уходит. Неужели когда-нибудь люди будут с трудом вспоминать, в каком веке все это было, так же как он сейчас путается насчет какой-нибудь Пунической войны или Фемистокла: до нашей эры или после?

Стоит ли всерьез чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет, пройдет и это.

Дудки, сказал он себе, твой номер не пройдет, эти штучки тебе не помогут. Это не для тебя... А в чем я виноват? — в десятый раз спросил он. Значит, виноват, человек всегда достоин того, что с ним случается. И все же это слишком много: Лена, и Дан, и работа — у меня ничего не осталось... Лагунов у тебя остался, разлюбезный Лагунов с металлической пастью. А чем ты лучше его? Какое право ты имеешь осуждать его? Ты заслужил еще не такое. Выкинь из головы всякие надежды, никакой ты не ученый.

Ночь скрыла собор и город, деревья ушли с бульвара, из садов, деревья уходили куда-то. Оставалась река, костры, плывущие сквозь туман.

На заседаниях обсуждали всевозможные планы, составляли отличные решения, бились за формулировки, произносили речи резкие, смелые и речи осторожные, в перерывах поздравляли друг друга с удачными выступлениями, и Крылов обнаруживал, что важно не то, что делается в лабораториях, а то, как выглядит институт на этих заседаниях, упомянут ли институт и на каком месте.

Лагунов возил его с одного совещания на другое, и все совещания были важные, и всюду были солидные люди, которым его представляли как ученика Данкевича. Крылов пожимал руки, с ним советовались, спрашивали его мнение о перспективах науки, он научился мило объяснять, существует ли антимир, исподтишка курить на совещаниях и складывать из бумаги пепельницу. В институте он бывал редко. Лагунов посоветовал

ему посадить кого-нибудь из лаборантов обрабатывать отчет.

— Неудобно, это же мой отчет, для моей диссертации.

— Вы заняты более ответственными делами,— сказал Лагунов, и Крылов согласился.

Лагунов терпеть не мог встреч с иностранцами; по его убеждению, ни к чему хорошему эта мода не могла привести, поэтому он сваливал все приемы на Крылова, тот ходил с ними по лабораториям, показывал Ленинград.

К концу дня он чувствовал себя вымотанным, хотя не мог бы толком объяснить, что же он делал. В лаборатории, сидя за приборами, он никогда так не уставал.

Он жил в какой-то дремоте, ни о чем не думал, со странным ощущением нереальности происходящего. Действовал кто-то другой, а он наблюдал и ждал, чем все это кончится.

Перед Новым годом из Москвы приехал Голицын, позвонил и пригласил к себе в «Асторию». Голицын ничего не объяснял, и Крылов дорогой почему-то волновался.

Встретились в ресторане. Голицын был, как всегда, величествен: узкое, породистое лицо аристократа, большие белые руки на старинной палке, зажатой между колен. Говорил бесстрастным голосом, но во взгляде сквозила какая-то подозрительность.

— Незадолго до кончины мне звонил Данкевич. Он сказал, что вы интересовались атмосферным электричеством.

— Да,— сказал Крылов.

— Он просил, чтобы я пригласил вас к себе, в Москву.

Голицын рассказал о работах, которые проводятся в его лаборатории.

Вот тебе и роскошный рождественский Дед Мороз. С подарками бедному мальчику. А Лену вы тоже можете мне вернуть?

— К сожалению, поздно,— сказал Крылов.— У меня диссертация на другую тему.

Голицын вынул из кармана пухлый пакет. Крылов издали узнал каракули Дана, и сердце его сжалось. Письмо Дана — наброски плана работ, заметки о механизме грозы, о природе шаровой молнии, о центре гро-

зы. Голицын читал, не обращая внимания на Крылова, словно выполняя свой долг.

— Почему он вам послал это?— спросил Крылов.

Голицын посмотрел на него, немного смягчился.

— Мне кажется, он предчувствовал. У него было два инфаркта подряд.

— Что он говорил обо мне?

— Теперь это неважно,— сказал Голицын.— К сожалению, он ошибся.

— Пожалуйста, прошу вас. Мы с ним расстались...

— Я знаю. Прочел я вам, поскольку он просил меня. Он был уверен, что вы ничем другим, кроме этой темы, заниматься на станете.— Голицын пожевал губами.— Иллюзии, иллюзии...— сердито забормотал он.— Однако не смею задерживать,— и постучал палкой, подзывая официанта.

Высокая елка сверкала дутыми стекляшками. С потолка свисали бумажные фонарики. Крылов смотрел в невыпитую чашку кофе.

— Простите, ежели я вас расстроил,— сказал Голицын.— Может, раньше следовало, да не выходило в Ленинград вырваться, закрутился. По спутникам были работы. Признаться, и не шибко надеялся, нынче редко кому охота обрекать себя на многолетнюю... Правда, он меня уверял, что вы обрадуетесь.

Крылов молча кивнул и выбежал.

Морозный воздух празднично пахнул хвоей. Над воротами монтеры крепили большие цифры «1959». Крылов сунул кепку в карман. Голова его горела. Он шел и улыбался, улыбался... Он вдруг почувствовал себя самим собой, он ощущал свои глаза, свою улыбку, красные уши, скрипучую мерзлую крепость земли; люди шли с работы, спешили в магазины, парни топтались у остановки, и он был вместе со всеми ними, как патрон, вскочивший в свою обойму. Иногда у него перехватывало горло, хотелось плакать, и это тоже было счастье.

Значит, Дан помнил о нем, помнил все время, несмотря ни на что, Дан был выше обид, он думал прежде всего про дело, нет, он думал про тебя, он был прежде всего человеком, настоящим человеком. И Гатенян настоящий человек. Они все настоящие люди. Ты понимаешь теперь, что значит быть настоящим человеком, прежде всего человеком...

В комнате теоретиков давно не собирались. Еще держался застарелый запах курева. Блестели рыжие грифельные доски. Он уселся верхом на стул, лицом к маленькой кафедре и председательскому столику, за которым обычно, запустив руки в свою шевелюру, сидел Дан.

При виде этой кафедры Крылов всегда вспоминал свой первый провал.

А что, если у Голицына ты ничего не сумеешь?— спросил он себя. Способен ли ты поднять такую тему? Господи, наконец-то ты можешь заняться ею! И нечего больше рассуждать, ты слишком много рассуждаешь. А как же быть с диссертацией? Такая легкая, удобненькая диссертация. А как быть с твоей карьерой, и с обещанным тебе комитетом, и с этими бесподобными заседаниями? Порассуждай, тебе полезно, вспомни, как ты просился к Дану хотя бы лаборантом, каким ты был шибко храбрым. Какого черта ты боишься, разве ты все знаешь о себе? Разве ты дошел до предела? Да и есть ли предел, человек сам себе ставит предел, предел в самом человеке, предел — это мужество. К чертовой матери Лагунова, и его расположение к тебе, и твои страхи! Что такое центр грозы — вот что важно. И что такое гроза, и как это все происходит.

Лагунов и Савушкин решили, что он спятил. Зачем к Голицыну? Там же полная неизвестность. Там придется начинать с нуля. «Лагунов тебе этого не простит»,— предупреждал Савушкин. Но Крылов блаженно улыбался: «А что представляет собой центр грозы?»

Жаль, что вот так и не пришлось выступить с этой кафедры. Он встал и ласково похлопал ее фанерную стенку.

Молодость кончилась. Только и осталось от нее давнее, немного поостывшее желание выступить с этой кафедры. Когда-то ему уже казалось, что молодость кончилась, но теперь-то он знал наверняка, что прощается с ней.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

Окна самолета были залеплены густым серым месивом. Мелкие капли косо ползли по стеклу. Иногда серое тоньшало, процеженное тусклым светом, и тотчас снова

подступало сгущенной мглой. Тени клубились, проносились стремительно, тревожно, моторы начинали реветь, и Женя всем телом ощущала напряженную дрожь самолета.

Она вспомнила, как на аэродроме синоптик, крючконосый, зловещего вида старик, сказал ей:

— Не советую, Женечка. Помяните меня, нечего вам там... Оставайтесь.

Синоптик питал к ней нежные чувства. Она хотела расспросить подробнее, но к синоптику подошел Агатов, и они зашептались. И это показалось ей неприятным.

Самолет тряхнуло. Женя оглянулась на Агатова. Он сидел сзади, сбоку. За полторы недели он единственный нисколько не загорел, сохранял московскую белизну, которая здесь казалась неестественной. Агатов исподлобья следил за Тулиным.

Розоватые отсветы облегали кабину. Женя прильнула к стеклу. Клубы светлели, наливались бегучей прозрачностью. Тонкие клочья неслись все быстрее, легкими дымными хлопьями. И вдруг в какой-то неуловимый миг истончавшая пелена прорвалась, и вся кабина самолета озарилась солнцем.

Женя вскрикнула от восторга. Перед ней открылась слепяще-белая долина, с фантастическими замками, башнями, зубчатыми стенами, головами диковинных животных. Тень самолета бежала по холмам и уступам, сделанным из того же белоснежного, чуть подвижного материала. Хотелось выпрыгнуть из кабины и шагать по блистающей, упругой поверхности этой волнистой страны.

На земле дождила пасмурная хмарь, и не верилось, что где-то может быть солнце. А тут оно сияло неизвестно для кого, в тишине этой снежной равнины, и было непонятно, как может быть на земле пасмурно и дождливо.

На колени упала скомканная бумажка. Женя обернулась. Катя, сидящая через проход, показывала на мигающую сигнальную лампочку. Женя схватила карандаш, записала показания. Приближалась зона повышенной напряженности.

Замечает ли кто-нибудь, что творится за окнами? Нет, все работали, уткнувшись в свои пульты. Катя рассеянно улыбнулась ей и снова наклонилась к счетчику, прыгающему на резиновых оттяжках.

Сквозь открытую дверь в летную кабину было видно, как Тулин что-то показывал пилоту. Солнце высветило резкий профиль Тулина, угол глаза с длинными ресницами.

На второй день после приезда Женя столкнулась с ним. Он не допускал ее и Катю к полетам. В разгар перепалки Тулин вдруг улыбнулся и сказал:

— А ведь мы с вами знакомы. Помните — Москва, парк, гроза, беседка.

— Что ж из этого?— произнесла она ледяным тоном.

Здорово она осадила его, и он не нашелся что ответить. С тех пор он изо всех сил выказывал ей свое безразличие.

Светлые волосы упали Тулину на лоб, и солнце вызолотило их. Вдруг он обернулся, сразу поймал взгляд Жени и сердито захлопнул дверь. Женя довольно усмехнулась. Она с силой уставилась на взъерошенный затылок Крылова. Прошла по меньшей мере минута, пока Крылов забеспокоился, начал оглядываться. Они встретились глазами, Крылов недоуменно пожал плечами и снова обратился к приборам.

Щеголеватый штурман Поздышев, раскачиваясь, шел по проходу. Латунные застежки его франтоватого комбинезона сияли от солнца. Он посмотрел на Женю и подмигнул ей, она тотчас приняла строгий вид. Забавно, что мужчины чувствуют ее присутствие. Последнее время это случалось все чаще — в метро, на лекциях, в автобусах она замечала устремленные на нее взгляды, и даже если на нее не смотрели, она считала, что это нарочно.

Пристально, повелительно посмотрела она на Ричарда. Он оторвался от прибора, завертелся, поймал ее взгляд и покраснел. Ей нравилось, когда Ричард краснел. У него разом жарко вспыхивали шея, лицо, и Жене в такую минуту хотелось погладить его по горячим щекам.

Единственный, кто сейчас не поддавался ее гипнозу, был Агатов,— сколько она ни смотрела на него, он не реагировал. Его белое лицо, склоненное над приборами, оставалось недоступно деловитым. Он водил головой от приборов к тетради, от тетради к приборам, как мерно работающая машина.

Жене стало скучно. Выключив счетчик, она подошла к Ричарду.

— Я загадал, подойдешь ты или нет,— сказал он.

Ее охватила внезапная досада.

— Подумаешь, гипнотизер! Дай мне бланк.

Он послушно протянул бланк, задержал ее руку и принялся рассказывать про какие-то заряды.

— Голову даю на отсечение, что Тулин абсолютно прав...

— Мне надоел твой Тулин,— сказала она.— По-моему, он самоуверенный пижон. Тулин, Тулин... Неужели тебе больше не о чем со мной...

Он смущенно стиснул ее руку.

— Есть вещи совершенно ненужные и невозможные для роботов, например, юмор. Им юмор ни к чему. И стихи, и сны, и любовь. Они возьмут от человека такие вещи, как память, точность, логика. А всякие штучки, придуманные людьми ради украшения их тусклой жизни, для роботов — хлам! Здорово? Могу о птицах...

— Болтун!

— Я, когда смотрю на тебя, несу всякую чушь. А на самом деле...

— Что на самом деле?

— Ты же знаешь!

— Ничего я не знаю!

Она потянула руку.

— Пусти!

— Подожди!

— Пусти!— сердито повторила она, и он опечаленно сник. Его послушность, которая всегда нравилась ей, сейчас злила.

— Хочешь, я тебя поцелую при всех?— пробуя улыбнуться, сказал он тихо, и в глазах у него стояла такая обожающая робость, что ей самой захотелось поцеловать его. Она расхохоталась.

— Об этом не спрашивают. Герой!

Фыркнув, она отправилась в хвост, на свободное кресло.

Однажды она не удержалась, погладила его по щеке, он чуть не задохнулся и расцеловал ее. Это было еще зимой. С тех пор, когда она разрешала ему поцеловать себя, он шалел от счастья. Собственная власть удивляла ее, стоило нахмуриться — и он уже ходил встревоженный, а когда у нее было плохое настроение, то он вообще становился несчастным.

Весной они пошли на выставку польской живописи. Возле картин абстракционистов шумели спорщики. Ра-

зумеется, Ричард немедленно вмешался, доказывая, что реализм устарел, передвижники устарели. Конечно, «правоверные» накинулись на него, потребовали объяснить, что изображают эти круги и кляксы, и он, конечно, отвечал, что ничего не означают, надо дорасти до понимания современного искусства, невозможно передать словами музыку, попробуйте объясните слепому, что такое цвет. Эта живопись отражает новую физику — для атома нет разницы между стулом и табуреткой, мир стал богаче, сложнее. Ему кричали: «А Репин?» И он кричал: «Ваш Репин — это примус!»

Когда вышли из музея, Женя робко призналась, что она ничего не поняла в абстрактной сумятице кругов и размытых линий.

— Я тоже,— сказал Ричард.— Бред!

— Чего ж ты защищал их?

— Бунт! А зачем их зажимают? Дайте мне самому разобраться.

Она с облегчением расхохоталась и сказала:

— Ты мне нравишься.

Лучше бы она этого не говорила, он взбежал на лестницу библиотеки Ленина, обнял колонну и стал тихо смеяться, как псих. Больше от него слова нельзя было добиться, он ничего не слышал, он лишь смотрел на Женю, и идиотски улыбался, и держал ее руку, как будто она была хрустальная.

В глубине души Женя испугалась и обрадовалась — все сразу. До сих пор такое проходило легко и весело. Она влюблялась в учителей, в артистов, на первом курсе влюбилась в молодого профессора и уговорила Катю тоже влюбиться в него, потому что одной было скучно. Целовалась со старшекурсниками, на целине чуть не выскочила замуж за комбайнера, но сама знала, что все это несерьезно. С удовольствием рассуждала с подругами: «Настоящей любви нет, мы дети атомного века, мы свободны от иллюзий». Однако подруги одна за другой влюблялись на всю катушку, плакали, страдали, несмотря на атомный век, и она втайне им завидовала. И вот Ричард. Она почувствовала, что у него это очень серьезно. Обрадовалась — наконец-то по-настоящему, может даже интереснее, чем у других. Он был трогательно нежный, страшно умный, он был аспирант; Голицын считал его талантливым. Он держался дерзко, вечно спорил и только перед ней терялся. Такая покорность льстила и в то же время немножко пугала. Иногда

хотелось, чтобы он не был таким послушным и не обращал внимания на ее рассуждения о том, что она терпеть не может нахалов.

В самолете по-прежнему работали, Агатов и Лисицкий совали в трубу промокашку, меряли заряды капель по своей программе; Крылов что-то обдумывал; все были заняты, у всех были какие-то цели, задачи, планы. Все знали, чего хотят. Ричард жаждет стать великим ученым, Катя — скорее столкнуть диплом и выйти замуж, Поздышев — покорять девиц. Одна она не знает, чего ей добиваться. Она тоже защитит диплом и станет чьей-нибудь женой, может, того же Ричарда, будет работать, растить детей, и будет считаться, что у нее порядок. Быть не хуже других — это мама называет счастьем. Может, сама она тоже покажется себе счастливой. Но когда-нибудь она тоже вспомнит этот день, солнце в самолете, зачарованную страну из облаков, куда она хотела сойти, зашагать, взбираясь на белые горы.

Прижав нос к стеклу, она увидела вдали ярко-белую, точно раскаленную, вершину с утолщением, похожим на гриб. «Типичное Кабе»,— подумала она, вспоминая лекции Голицына: «Облака, очевидно типа Кабе, в старину уподобляли мозгу. О, фантазия древнего человека, необыкновенно смелая и образная! Теперь никто не разглядывает облака, теперь слушают сводку погоды...»

Быстро потемнело. Самолет нырнул в облако. В проходе, гремя, покатилась жестяная коробка. Пол накренился. Женя схватилась за ручки кресла. Из кабины летчиков вышел Тулин. Держась за раму дверей, он обежал глазами работающих. Женя поднялась, торопясь вернуться на свое место. В это время самолет швырнуло вниз, потом вбок, Женя упала, и тотчас же ее потащило между креслами, бросило вверх почти до плафонов, она снова упала и вцепилась обеими руками в лежащие на полу шланги. Громыхающая кассета подкатилась к голове и полетела обратно. Раздался испуганный вскрик Кати.

«А что, если смерть? — подумала Женя.— Что скажут обо мне? Двадцать лет. Ничего не успела. Только бы не больно. Никогда не думала, как я умру. Если кричать, будет легче!»

Она закусила губу, чтобы не закричать. Самолет снова бросило вниз, моторы взвыли. Женя лежала, судорожно схватившись за шланги. Ноги ее болтались где-то в воздухе.

Кто-то обхватил ее за пояс, оторвал от пола, кинул в кресло. Она увидела над собой Тулина. Одной рукой он держался за подлокотник, другой шарил по ее груди. «Затягивайте ремень!» — крикнул он. Но в эту минуту она заметила, что юбка ее задралась, и, вместо того чтобы схватить ремень, принялась одергивать юбку. Ладонь Тулина легла на ее оголенную ногу, прижимая к креслу. Женя возмущенно посмотрела на него, вдруг ощутила его пальцы и увидела: он тоже ощутил ее голую ногу, и в глазах его засмешилось что-то дерзко-любопытное. Женя ударила его по руке. Он что-то сказал. Слов не было слышно, только движение губ снисходительно-обидное. Ловко затянув ремень, он быстро наклонился и, нагло следя за ее глазами, чмокнул в щеку и тотчас отошел, цепко хватаясь на ходу за кресла, балансируя, потому что самолет по-прежнему швыряло из стороны в сторону.

Первым ее движением было оглядеться — все оставались на своих местах, никто ничего не заметил, один Ричард смотрел на нее. Она натянула юбку, он пристыженно отвернулся, и она мысленно изругала его.

Рядом охала Катя. Глаза ее были закрыты, голова моталась.

Женя стиснула ладонями щеки. «Дуреха,— вдруг сообразила она,— дура — вот что сказал Тулин, дуреха!»

Сразу пропала тошнота, исчез страх, она забыла про ушибленные колени и ссадины, рванулась, готовая бежать к Тулину и сказать ему такое... такое... И еще больше возмущалась оттого, что продолжала вспоминать прикосновение его руки, словно отпечатанное на бедре.

Четвертое облако было как раз то, что нужно. Оно начинало бурно развиваться, из «цветной капусты» вырастала массивная наковальня. Оно было начинено молниями, ливнями, громами. Не так-то просто было разыскать такое облако. Чтобы оно было молодым, и перспективным, и активным, и изолированным, и мощным. Притом его еще надо застигнуть вовремя, поскольку оно живет минут тридцать — сорок, не больше, и затем превращается в совершенно бесполезное, ненужное, безнадежное облако, которыми полным-полно небо и которые только мешают работать. Особенно противны слоистые облака, мертвые, неподвижные, от них ничего интересного не дождешься.

Синоптик был прав: над Морозовской был отличный выбор грозовых облаков. Но если бы не Хоботнев, то все же этого четвертого облака Тулин бы не нашел. Хоботнев высмотрел его справа от курса, показал Тулину, они перемигнулись, и Хоботнев пошел на разворот. Затем они вышли на прямую и стали приближаться к облаку номер четыре.

Да, это был великолепный экземпляр. Ярко-серебряная вершина его, вся в клубах, опиралась на темнеющий книзу могучий массив. Издали, как всегда, это выглядело легкой, красивой постройкой,— что-то вроде взбитых сливок. Но по мере приближения облако росло, и нависало, и угрожающе чернело, и самолет становился все меньше — крохотный мотылек, несущийся на скалу. Руки Хоботнева, сжимавшие штурвал, напряглись. Тулин стал за его спиной, дал команду: «Приготовься. Режим»,— расставил ноги, ухватился за стойку, зажал локтем журнал, подался вперед, напрягся, и весь самолет напрягся, готовясь к встрече. К этому нельзя было привыкнуть. Всякий раз возникало безотчетное чувство напряженного ожидания, как будто самолет ударится об эту мрачно-сизую твердь.

Хоботнев вел машину так, чтобы срезать самую верхушку, войти чуть-чуть под кромку. По правилам это строго запрещалось. Они могли проходить над облаком, сбоку, но ни в коем случае не лезть в него. Никто не знал, скольких трудов стоило Тулину уговорить Хоботнева. И так и этак он обхаживал Хоботнева, поил коньяком, помогал изучать английский — все было напрасно, пока однажды, после разбора полета, Хоботнев не спросил его:

— Значит, ни-ни, Олег Николаевич, выходит, никаких результатов не получается, зря летаем?

И Тулин почувствовал, что вот это ощущение малых результатов работы больше всего задевало Хоботнева. Назавтра Хоботнев, подлетев к облаку, не скользнул над ним, не свернул, а пошел прямо на край. Тулин видел, как радист и второй пилот посмотрели на Хоботнева, но ничего не сказали, и Хоботнев тоже молчал, как будто произошла случайность. Но затем он развернул самолет, и они снова прошли край облака в другом направлении; так они обследовали его края со всех сторон, пока оно не распалось, а потом перешли к другому облаку, и все это время второй пилот молчал и хмурился. Тулин пони-

мал, что он не желает участвовать в этих нарушениях и нести ответственность, потому что за такие штучки могли снять с работы. Они ворчали на Хоботнева и спрашивали, на кой ляд ему соваться куда не следует, им за это не платят лишнего, и машину мучают, и вообще, чем черт не шутит, гроза есть гроза. Но хорошо хоть, что они пока никому не жаловались: они любили Хоботнева и не хотели подводить его.

Сегодня обследовали уже три облака, малость потрясло, но то были просто мощные кучевые, а это, четвертое, обещало быть самым интересным, и Хоботнев вошел в него, чуть глубже, всего на несколько метров поглубже, и это сразу почувствовалось, как будто по самолету застучало огромным молотом. Тулин взглянул на секундомер: 13 ч 49 мин 05 с. Начали! Режим! Найти зоны наибольшей заряженности. Все подготовились? Как там Лисицкий, ему лишь бы налетать часы. Дурацкая система оплаты. «Кузьменко Женя!— это в ларингофон.— Переключите чувствительность!» Невозможно даже обернуться. Ага, молния! Чудно! Километрах в двух. Как струится по стеклам вода! Откуда на такой высоте вода, если за бортом минус тридцать? Температурные зависимости... Черт подери, сколько тут путаницы! При такой вибрации скажется микрофонный эффект. Только бы предусилители не забарахлили. Он всегда был готов к тому, что где-то что-то забарахлит. Было чудом, когда эти десятки приборов работали. В каждом из них были сотни деталей, каждая могла в любую минуту отказать, тысячи паек, которые могли отойти, контакты, которые могли окислиться, изоляция, которая могла пробиться,— и когда вся эта махина все же действовала вопреки всем законам вероятностей, Тулин испытывал тайное, детское изумление. Он не уставал восхищаться этим чудом. Капли касались колец, установленных над фюзеляжем, и заряды проходили через предусилители и усилители, через лампы, пока наконец не всплескивались пиком на пленке осциллограммы. И это тоже было чудом. Самолет прыгал, как будто катился по пикам этой наибольшей напряженности. Ох, не забыть на обратном заходе выяснить, как изменяется картина во времени. Посадка будет в Ростове. Поздышев обещал достать в универмаге чешские сандалеты. За неделю обработаем замеры, и сразу писать статью. Надо скорее публиковать, застолбить...

Хорошо, что Тулин предупредил, сам бы Крылов не подготовился и проворонил молнию. Доля секунды, лиловый вспых, разряд — и хаос разрозненных капель обретает единство. Не обращая внимания на приборы, он задумался, каким образом молния успевает собрать с миллиардов капель накопленные заряды. Молния пронизывает облако, как мысль, думал Крылов, она как озарение, итог, казалось бы, нелепейших страстей, оправдание, и все выстраивается в ее слепящем свете, обретает смысл прошлое и будущее, но если бы понять, как это все происходит... Мысль, мысль, а вот когда мысль еще не выражена словами, когда она формируется, в самом истоке, где клубятся смутные ощущения...

Самолет выскочил в синеву. 13 ч 49 мин 45 с. Тулин помахал затекшей рукой. Как много можно успеть, обдумать, сделать за сорок секунд! Жить бы всегда так полно, всеми чувствами сразу, как эти сорок секунд, до чего огромной стала бы жизнь! Он крикнул в ларингофон: «Конец режима!» — и засмеялся. Хоботнев откинулся на спинку и тоже скупо улыбнулся. Тулин кивнул ему, благодарно показал глазами, что это было здорово и что Хоботнев великолепно провел машину, строго по горизонту, теперь надо было разворачиваться и заходить снова в это облако, с другой стороны, пока оно не развалилось.

Скинув наушники, Тулин вошел в салон; навстречу ему от щитов, от стендов поднимались разгоряченные лица с той же неостывшей улыбкой азарта, какую он чувствовал на своем лице. Мигали цветные лампочки, стрелки неохотно опадали, возвращались к нолям, жужжали моторчики.

— Ну как, здорово? Хороша кучевочка? — счастливо спрашивал Тулин, как будто он сам сделал это облако и преподнес им.

Разумеется, что-то сорвалось. Заело бумагу на самописце, куда-то пропал ноль, Алеша поносил флюксметр на чем свет стоит и не понимал, почему Тулин так спокоен. Тулину было обидно: те, кто не нянчился с этими приборами, не видели никакого чуда, они считали само собой разумеющейся нормальную работу приборов, никто не знал, чего это стоило и как это все делалось.

Он помог Вере Матвеевне заправить катушку и заодно подтянул фиксатор, иначе бы Вера Матвеевна возилась еще полчаса. Удивительно, как люди не замечают самых простых вещей! Сказал Кате, чтобы она поль-

зовалась карандашом, а не ручкой, которая, разумеется, потекла и замазала журнал, и посмотрел записи Крылова — эх ты, мечтатель, прозевал, это же было чудесное облако, приборы отметили три молнии, ну ничего, увидим, что получится на втором заходе.

Машину несколько раз крепко тряхнуло — очевидно, Хоботнев разворачивался вблизи облака. Тулин заспешил в кабину, но, как назло, пришлось помочь Жене Кузьменко привязаться, наверное, эта дуреха вообразила, что он не без умысла прижал ее. Улыбаясь, он вошел в штурманскую кабину и тут, встретив Агатова, сам не зная почему, смутился.

Крепко держась обеими руками за скобу, Агатов всматривался в трубу локатора, потом отстранился, вытер бледный лоб, закрыл глаза.

Облако заметно разбухло, заслоняя солнце, оно быстро нависало сизыми закраинами над самолетом. Тулин взял ларингофоны, в это время Агатов тронул его за плечо, бескровные губы зашевелились; не разбирая слов, Тулин тем не менее сразу понял: Агатов запрещал входить в облако.

— Что с вами, Яков Иванович?— крикнул Тулин.— Никак вас укачало?— Он постарался изобразить заботливость и сочувствие.— Примите таблетки. Ничего опасного нет, уверяю вас.

Он почувствовал, что Хоботнев обернулся к ним обеспокоенно-выжидающе. Заслонив Агатова спиной, Тулин теснил его назад, в штурманскую.

Надо было выиграть всего одну-две минуты, чтобы Агатов ничего не заметил. Если бы Хоботнев догадался швырнуть машину так, чтобы Агатова отбросило или чтобы он начал травить. Он и так еле стоял — бледный, потный.

— Яков Иванович, если мы сейчас не замерим, то прошлые замеры пропадут.

Агатов с трудом повел головой.

— Нельзя. Запрещено.

Тулин почувствовал тяжесть своих кулаков.

— Яков Иванович, прошу вас, я отвечаю за все...

— Нет, не могу,— сказал Агатов. Крупные капли выступили на его висках.— В ваших же интересах!

О, эта иезуитская формула —«в ваших интересах»! Кто лучше его знает «наши интересы»? Он полон забо-

ты и внимания. Он настучит на Хоботнева, он закроет полеты, но поверьте, Олег Николаевич, все лишь ради вас, в ваших интересах...

Где-то за плечами Агатова нетерпеливо ожидающие глаза Хоботнева. Ничего не стоило отодвинуть Агатова, крикнуть, дать команду. Но вместо этого Тулин, униженно улыбаясь, начал снова просить Агатова.

— Нельзя,— обессиленно, еле слышно повторил Агатов.

Потный, страдающий от болтанки, он поднял глаза на Тулина, и в них слабо колыхнулось торжество. Придется выполнять, потому что он *ответственный,* власть у него, а вы, сильные, рослые, такие свеженькие, лихие, не замечающие болтанки, такие талантливые, с вашей выдающейся программой измерений, вы должны подчиниться.

Перед самым облаком самолет круто пошел вверх.

Тулин вышел в салон, щуря глаза в упругой улыбке.

— В чем дело? Почему уходим?— К нему обращались нетерпеливо, обеспокоенно, разочарованно, а он вынужден делать вид, что ничего не случилось и что он по-прежнему руководитель группы, тот, кто все знает и все может.

После посадки он задержался в машине. Из окна было видно, как по полю ровно шагает Агатов. Рядом с ним шли Катя, Алеша Микулин и Вера Матвеевна, и все они мирно разговаривали. Агатов любезно взял у Веры Матвеевны ее чемоданчик.

Внизу, у самолета, Тулин столкнулся с Женей.

— Что ж вы испугались подойти к грозе?— мстительно сказала она.

Он посмотрел на нее устало, словно не слыша.

ГЛАВА 2

Бесконечное разнообразие жизни восхищало Ричарда и приводило в отчаяние.

Повсюду возникали проблемы, одна заманчивее другой.

Винер утверждал, что будущее принадлежит кибернетике. Иоффе утверждал, что будущее принадлежит полупроводникам; затем выяснилось, что будущее принадлежит биотокам, термоядерной энергетике, теории наследственности.

Полгода он по вечерам помогал приятелю налаживать прибор для фотосинтеза.

— Почему я не занялся фотосинтезом?— жаловался он Жене.— Вот где фантастика: все трудности сельского хозяйства будут решены фотосинтезом.

Друзьям из архитектурного он выкладывал свои идеи о городах, вписанных в пейзаж.

Он был уверен, что если займется перелетными птицами, то откроет тайну их навигационного устройства, и тогда можно будет снабдить авиацию поразительными приборами.

Он завидовал журналистам, разъезжающим по стране (эти парни видят жизнь, а мы что?), историкам, которые копаются в архивах (нужно наново переосмыслить всю историю!), медикам (нет ничего важнее средства против рака!). Он считал себя способным стать выдающимся шахматистом, авиаконструктором, может быть, даже писателем.

А радиоастрономия? Разве это не ужасно, что он не стал радиоастрономом? Он доказывал Жене:

— Они сейчас готовят передачу сигналов другим мирам! Через десять, пятнадцать лет мы получим ответ из космоса! Мы свяжемся с мыслящими существами. Человечество перестанет быть одиноким. Пойми, это же самое главное!

— А рак?

Он досадливо отмахивался.

— Подумаешь, рак! Наладить связи с другими планетами — и откроются такие возможности, такие законы!

Будь у него время, он изучал бы биофизику: клетка, хромосомы — бесспорно, это главная проблема жизни.

В детстве он был убежден, что от него ничего не уйдет. Жизнь не имела предела. Прошлого еще не было, а емкость будущего была безгранична.

Сначала он поступил на геологический факультет, но вскоре решил, что геология — наука описательная, и перевелся в электротехнический, а потом на инженерно-физический. Друзья упрекали его за непостоянство, но его тянуло к основам основ. Лишь в аспирантуре он наконец понял, что уже не успеет стать ни классным баскетболистом, ни музыкантом, что не удастся доказать теорему Ферма и вообще сила и время — величины конечные.

Слово *никогда* звучало трагически. Никогда? Но ведь другой жизни у него не будет. Что же делать с этим миром, полным манящих вещей, достойных страстной любви? Неужели, выбрав одно, приходится навсегда отказаться от всего остального?

Голицын утешил его всеобщностью подобной драмы. Всем хочется больше, чем они могут. Каждый год открываются новые и новые мучительные загадки, надо все больше времени, чтобы разобраться в накопленном материале, исследования требуют все более сложной аппаратуры и огромного времени, а жизнь остается такой же короткой.

На него напало смирение — «буду как все», «науке нужны солдаты не меньше, чем генералы».

— Конечно, я тебя не устраиваю,— коротко говорил он Жене.— Я скромный труженик, звезд с неба хватать не буду.

— И очень хорошо,— говорила Женя.— Если каждый — звезды, представляешь, что получится? Достань мне лучше темные очки; впрочем, ты, вероятно, и вправду ограничен.

— Это почему?

— Потому что талантливые люди знают себе цену. Вот такие очки, как у этой фифы, можешь достать? Не можешь, ну и сиди тихо.

Она обращалась с ним бесцеремонно, ни капельки не считаясь с тем, что он аспирант, а она всего-навсего дипломантка.

Ничего особенного она собою вроде не представляла: капризная, избалованная вниманием, училась посредственно, без увлечения. Но он чувствовал: это не вся Женя. Было в ней что-то нераскрытое, как обещание, что-то виделось в ее слегка раскосых, без блеска глазах, куда можно было входить, как в ущелье, и путешествовать, забираясь все дальше в их коричневую мглу.

Временами Ричард сомневался: имеет ли право настоящий ученый тратить себя на любовь, особенно на несчастную,— в том, что у него несчастная любовь, он не сомневался, хотя все обстояло прекрасно, а когда ему удалось устроить так, чтобы он вместе с Женей поехал на практику к Тулину, то он был и вовсе счастлив.

Он надеялся, что здесь, в полетах, рядом с Тулиным и Крыловым, у Жени пробудится настоящий интерес к ее специальности. Во всем другом не смея ей противо-

речить, боясь поссориться, в этом он не поддавался. Она не имеет права жить без призвания, без страсти. Он стойко переносил ее гнев и несколько раз бесстрашно нарушал запрет говорить на эту тему.

Тулина она терпеть не могла, поэтому Ричард боялся рассказать ей про свою диссертацию. Дело в том, что, посмотрев у Крылова материалы, он решил связать диссертацию с возможностями воздействия на грозу по методу Тулина. Сделать это надо было втайне от Голицына, придется многое перекроить, наверное, в срок не уложиться, но он шел на все. С Крыловым договорились пока что Тулину ничего не сообщать, чтобы не взваливать на него лишнюю ответственность.

В воскресенье с утра Женя уговорила отправиться в горы. Карабкались по заброшенной, усеянной камнями дороге. Раскаленный щебень жег подошвы. Внизу, в зарослях ивняка, шумела Аянка, а дальше, на плоскогорье, открылись желтенькие коттеджи поселка, бетонные полосы аэродрома, блестящие крестики самолетов и за коробочкой аэровокзала продолговатый кирпичный сарай тулинской лаборатории.

Ричард сказал:

— Студенты, запомните: изображение этой скромной постройки войдет во все хрестоматии.

Катя фыркнула:

— Тоже мне лаборатория — конюшня!

— Слушай сюда,— сказал Ричард,— все великие открытия происходят в подобных сараях. Когда лаборатория получает хорошее помещение, она начинает плохо работать. Чем велик Тулин? Первое...

— Сколько можно!— сказала Женя.— У нас отрыжка от твоего Тулина.

Он никак не мог понять ее раздражения; словно назло, она принялась нахваливать Бочкарева, как будто каждый настоящий ученый должен быть горбатым.

— Не помогаем мы ему,— сказала она.

— А чего ему помогать?— спросил Алеша Микулин.

— Так он же прикреплен к нашей группе. С него спрашивают за воспитательную работу.

Ричард поддержал ее.

— Он жаловался, что понятия не имеет, чем вы живете. Хоть бы обращались к нему, раскрыли разок-другой свои души.

— Почему преподавателям так хочется знать, чем мы живем?— сказала Катя.

— Чтобы искоренять ваши пережитки и взгляды.

— Старики хотят знать, чем мы отличаемся от них,— сказала Женя.

— Ничего подобного,— сказал Алеша,— они хотят, чтобы мы без конца занимались. Все сводится к этому.

— Все равно будут говорить, что их поколение было в нашем возрасте идейнее,— сказала Женя.

— А какие у меня взгляды?— спросил Алеша.— Понятия не имею.

— День прошел — и ладно, вот твои взгляды,— сказала Катя.

— Симпомпончик ты мой!

— Убери лапы.

— А ты не упрощай,— сказал Алеша.— Я стиляга. Я не хочу на периферию. Я люблю бары. Я циник, и ты должна меня терпеливо воспитывать.

И, схватив Женю за руки, принялся победно отплясывать рок. По приезде сюда он первым делом раздобыл летнюю фуражку, надел самодельные шорты и стал разыгрывать небесного бродягу. Ему нравилось, что его считали способным, но ленивым, нравилось изображать циника, скептика, и обижало, когда в группе к нему переставали относиться всерьез.

Разделись. Со стоном опускались в ледяную воду, выскакивали, прижимались к горячим валунам.

Женя закидывала руки, вода скатывалась по смуглой спине, блестели капли, был виден темный треугольник под мышкой. Ричард отворачивался. Он мучительно завидовал Алеше, который мог шлепать Женю по спине, подмигивать — чинная деваха!— и Ричард глупо смеялся и никак не мог решиться обнять ее голые плечи. Вместо этого он сердился, доказывая, что надо как-то помочь Тулину, ругал Агатова, ему хотелось сказать что-то умное, едкое, необычное, и все время получалось не то.

Никто из студентов не видел в Агатове ничего плохого. Агатов их вполне устраивал. Дает списывать материалы чужих замеров, не мешает, выхлопотал деньги за полеты.

— А насчет грозы он правильно запрещает,— сказала Катя.— Кому охота грохнуться? Страшно вспомнить, как нас мотало.

Женя повела глазами на Ричарда.

— Тебе-то и вовсе нечего выступать против Агатова.

Ричард заметно смутился и замолчал.

— Кто их разберет,— примирительно сказал Алеша.— Голицын больше нашего знает.

— Почему ты не желаешь вникнуть? Ты же способный парень!— сказал Ричард.

Алеша повернулся лицом к солнцу, похлопал себя по животу.

— Плевал я на свои способности. С ними одно мучение. Ты вот талантливый, вникаешь, и что? Приходится бороться. Кому-то помогать. Расстраиваешься. Нет, это не для меня.

Он включил карманный приемник Ричарда, поймал музыку.

— Станцуем?

Женя покачала головой.

— Жарко.

Она пошла к реке, забралась на косо торчащую корягу, легла лицом к воде, свесив руки в бурливый поток.

Судорожная музыка джаза странно звучала среди отрогов, заросших алыми кустами шиповника. Шумела каменисто река, задумчиво смотрели черно-сизые горы с белыми обливами ледников.

Незнакомая красота этого края вызывала у Жени тревогу. Горы непрестанно менялись, синие, голубые, лиловые, иногда они куда-то исчезали, становились плоскими, как нарисованные, или старыми, морщинистыми, как складки слоновьей кожи, молочные туманы стекали по их расщелинам, там, наверху, шла какая-то жизнь, полная значения, мудрая и справедливая.

Фигуры Алеши и Кати дергались и сплетались, подхлестываемые ритмом джаза. Что-то нелепое, стыдное показалось Жене в этих движениях перед бесстрастным лицом гор.

— Бросьте вы,— крикнула она,— нашли место где разлагаться!

Ричард выключил приемник. Он всегда слушался, когда она говорила таким тоном.

— Я тебя понимаю,— сказал Алеша.— Первобытные условия. Сюда бы горный бар, коктейль «Блед-Мэри».

Женя смотрелась в воду. Зеленые космы реки разрывали, уносили отражение, из глубины на нее смотрело, то исчезая, то появляясь, зыбкое, смутно похожее,

а еще ниже между обросшими камнями, чуть вздрагивая плавниками, застыли рыбы.

— Послушайте, согласился бы кто из вас увидеть свою смерть?— не поднимая головы, неожиданно спросила она.

— Фу, я бы ни за что!— сказала Катя.— После этого нет смысла жить.

— Жизнь и так не имеет смысла,— небрежно изрек Алеша.

— А смерть тем более,— сказал Ричард.— Не знаю ничего глупее смерти.

— Я думаю, что если бы люди могли видеть свою смерть,— сказала Женя,— они бы ничего не боялись. Они стали бы лучше. Они говорили бы правду.

Алеша растянулся на камнях, шумно зевнул.

— Кому нужна твоя правда? От нее одни неприятности.

— Надо и без этого сметь говорить правду,— сказал Ричард.

Катя засмеялась.

— Попробуй.

И Алеша тоже засмеялся.

— В самом деле, почему б тебе не попробовать?

— Начни с Тулина,— сказала Женя.— Скажи ему, что он трус. Струсил перед Агатовым, когда мы попали в грозу.

— Оставь Тулина в покое,— сказал Ричард.

— Ага, видишь, ты даже слушать правду не хочешь!— сказала Женя.— Ты влюблен в Тулина. Ребята, посмотрите, он стал причесываться под Тулина.

— Давай клади его, Жека, на лопатки.

Несмотря на дружбу, они относились друг к другу безжалостно, презирая сантименты, нежности и прочие пережитки далекого детства. Таков был стиль. Так было принято. Лучше злиться, чем страдать, лучше высмеивать, чем злиться.

В лаборатории Ричард сам был таким, но с ними он невольно становился в позу старшего. Его раздражал их дешевый цинизм, дешевый потому, что зубоскалить было легче легкого, он умел это получше их, однако жизнь, он убедился, гораздо более сложный процесс: сначала ее воспринимаешь по законам арифметики, а потом...

Они быстро усвоили, что от правды одни неприятности. Но есть другой счет, другая система измерения, и там правда — высшее удовольствие. И необходимость.

И так уже накопилось слишком много брехни. Придет время, когда правда станет для человека необходимостью, а не огорчением. Который раз он клялся себе, что отныне и во веки веков он будет врезать правду всем и каждому. Не уклоняться, не молчать, а пользоваться каждым случаем, чтобы выложить всю правду. Пусть обижаются. Пусть неприятности — он готов на все.

— Ну, чего ты изгиляешься?— сказал он Алеше.— Старо. Хотя бы свое что-нибудь придумал.

— Лень. Жира! *Жи-ир-ра!*— блаженно пропел Алеша.

— А вообще чего ты добиваешься?

— Понятия не имею.

— Эх ты, пищеварительный тракт! Какая твоя позитивная программа? По субботам, выпросив у отца трешку, стоять в очереди в кафе-мороженое? Девочки. Стиль. Шпаргалки. Волейбол. Кино. Анекдоты. Липси... Ничего не забыл?

Алеша сплюнул.

— Напиши статью в «Юность»: «Прав ли Алеша Микулин? А как думаете вы, дорогие друзья?» И двадцать тысяч пенсионеров меня осудят.

— Он тебя разоблачил, Алеша,— сказала Катя.— А вот Женю — слабо́.

Алеша сделал мостик, демонстрируя свою тренированную мускулатуру спортсмена.

— Разоблачил! А что он может предложить? Да, кафе-мороженое. Чихать мне на твою грозу, и на твою молнию, и прочие загадки природы. Посмотри на своего Тулина и Крылова. Что они имеют с этих великих проблем? Ишачат в этой дыре. Докажут сотне стариков, что заряды распределяются не так, а этак! И вся хохма!

Теперь мог бы улыбнуться Ричард. Он добился своего. Самое трудное — вызвать их на спор. Но его занимала только Женя. Он говорил, в сущности, для нее, а она молчала. Все, что происходило здесь, происходило прежде всего между ними двумя. Не глядя на нее, он чувствовал, как она лежит на коряге, охватив голыми ногами скользкий ствол.

— У нас редчайшая возможность,— сказал он.— Это же раз в столетие. Вы можете участвовать в крупнейшем открытии. А вы? Курортники! Агатов вас устраивает. Избавил от опасных полетов. Какого же хрена вы тут кокетничаете: ах, жизнь не имеет смысла! Тоже мне циники-битники. Еще смеете Тулина называть тру-

сом. Кто же трус? — Он уже разошелся, освобождаясь от своего жалкого чувства связанности.

— А вот про Женю — слабо́, — снова сказала Катя.

Они засмеялись. «Осторожнее», — сказал он себе.

— Что ж ты замолчал? — сказала Женя.

Он понимал, что сейчас решается что-то важное для них обоих, особенно для него, и все зависит от того, осмелится ли он довести до конца этот разговор, начатый, по сути, ради нее.

— А ты тоже прикидываешься, что тебя ничто не трогает. — Он повернулся к ней. — Тулина высмеиваешь! Какое ты имеешь право? Что ты перед ним такое? — «К черту всякую осторожность», — подумал он. — Зачем ты учишься? Рассуждаешь про смерть, а боишься заглянуть в свое будущее. Ты же не любишь свою специальность. Служащая. За полчаса до звонка будешь собираться...

Она вся сжалась, и ему стало жаль ее, но он знал, что лучше ничего не смягчать. Вместо этих дурацких разговоров взять ее на руки и понести, ей бы это понравилось. Если бы он мог решиться на такое.

Вдруг она соскользнула с коряги, схватила свое платье, туфли и, прыгая с камня на камень, стала перебираться на другой берег.

На середине реки она поскользнулась и чуть не свалилась в кипящую воду. Катя вскрикнула.

— Что ты наделал? — накинулась она на Ричарда.

— Получил? Правда, правда... — передразнил Алеша. — Это только в спорте объективная правда. Секунды и метры — и будь здоров.

На другом берегу Женя оделась и пошла вниз вдоль реки.

По зеленым отрогам высоко поднимались красноватые колонны лиственниц. Леса здесь стояли чистые, просторные, как парки. Река торопилась, перекатывая на ходу камни, неслась без смысла и цели. Жене показалось, что когда-то с ней уже было это — река, солнце, горячие камни, — давным-давно, наверное в детстве, и она ужаснулась, поняв, что детство — это давным-давно. Ей вдруг захотелось в Москву, к маме, скорее назад, в то время, когда мама называла ее Жужей, когда ничего не надо было решать и всегда можно было спросить: почему? Уже не впервые Ричард приставал к ней со своими противными вопросами, после которых портится настроение. Все они — и Ричард, и Крылов, и этот

Тулин — разумеется, находят удовольствие в своей работе, о чем-то спорят, волнуются, как будто в этом вся жизнь. Какая все же разница между ней и Ричардом! Она чувствовала себя старше его, могла заставить его делать глупости, и вот есть ведь у него то, в чем он выше, интереснее ее, и для него это дороже их отношений. Брось она его сейчас, все равно у него останется работа. Взять Крылова. Катя пробовала с ним закрутить — ничего не вышло; молодой, интересный, а живет в своих формулах и вовсе не чувствует себя обиженным. Говорят, у него какая-то романтическая история, но дело не в этом, у него жизнь содержательная. Им-то хорошо. А что будет с ней? Скоро диплом, а дальше?

Самостоятельность, взрослость — она так нетерпеливо ждала этого, а сейчас хотела отдалить их приближение. И самое страшное — что они надвигались неотвратимо и ничего нельзя было остановить. Почему-то вспомнился огромный, во всю стену, старый буфет, похожий на за́мок. Когда никого не было дома, она принималась шарить по ящикам, открывать дверцы, и все полки пахли по-разному: там стояли банки с вареньем, книги, красные чашки. «Дура,— сказала она себе,— дура»,— и вспомнила презрительный взгляд Тулина, его голос, и ей стало еще горше.

Она обернулась на стук камней. Ричард бежал за ней.

— Я тебя обидел?— спросил он.

— Вот еще! Мне просто наскучило.

Он так быстро заглянул ей в глаза, что она не успела спрятать то, что там было. Но, кажется, он ничего не заметил, он был полон раскаяния. Робко и виновато он обнял ее, поцеловал, и она почувствовала, что снова обретает власть над ним, стоит ей улыбнуться — и он просияет, она чувствовала, как дрожат его губы, и задумчиво смотрела в голубое слепящее небо. Откуда эта власть и зачем, что делать с ней?

Большая серебряная рыбина высоко подскочила над водой. Женя вскрикнула от испуга и рассмеялась. Горы стали голубыми, запели птицы, одуряюще запахло чабрецом.

Они собирали шишки, искали малахитовые камушки, пели песни, и Ричард весело и покорно восхищался горами и цветами, хотя он презирал старомодное восхищение пейзажами. Назад по камням Женя побоялась переходить, и они пошли в обход до висячего моста.

— Я тебе нужна? — спросила Женя.

— Очень.

Мост качался под ними, и от высоты у нее кружилась голова.

— Ты хороший.

Он посмотрел на ее задумчивое лицо и чуть слышно вздохнул. Она взяла его руку.

— Я не могу так сразу, но я... Только не торопи меня.

— Я не буду торопить.

— Вот и чу́дно.

В поселке они столкнулись лицом к лицу с Тулиным. Женя отстранилась от Ричарда, непроизвольное это движение изумило ее, и она тут же взяла Ричарда под руку, прижалась к нему так, что Ричард покраснел. Тулин ничего не заметил, он тащил ящик с приборами, устал, был озабочен неприятностями из-за Агатова, начальник отряда ужесточил контроль, нет конца всяким формальностям и придиркам. Чтобы привернуть кронштейн, надо согласовать с Москвой, — он помахал текстом телеграммы.

— Давай я сбегаю отправлю, — сказал Ричард.

Они остались вдвоем на бульваре. Тулин поставил ящик на землю, вытер лицо.

— Лучше бы вы Агатова очаровали, — сказал он. — Захороводили бы его, чтобы не мешал нам. — Говорил, а сам смотрел не на нее, а в сторону почты.

— И не собираюсь, хватит, что Ричард перед вами на задних лапках! — выпалила она, похолодев от своей дерзости, и восхитилась ею же.

Тулин окинул ее с ног до головы откровенно, по-мужски.

— Да, пожалуй, Агатова вам не одолеть.

— Я если захочу, то и вас одолею.

— Да ну?

Она ответила ему презрительным смешком и удалилась походкой многоопытной женщины.

ГЛАВА 3

Будь у Крылова возможность, он поселился бы в облаках. Расставил бы там свои приборы, измерял, наблюдал и сбрасывал вниз пленки для обработки. Увы, полеты заканчивались слишком быстро, и приходилось

спускаться на землю, где находились столовые, койки аэродромных гостиниц, зарядные станции.

Непогода забрасывала их на маленькие полевые аэродромы, там стояли зеленые аэропланы — «кукурузники», лесные «уточки». Крылову нравилась эта неустроенная кочевая жизнь: сегодня в Одессе, завтра Горький, ночевка в каких-то Устриках. Дымные, шумные комнаты диспетчеров, где запахи мокрых унт мешались с запахами свежих яблок. Кто-то передавал тюльпаны кассирше Наде в Магадан, встречались на несколько минут старые друзья-летчики, чтобы снова разлететься по своим маршрутам, пока расписание не сведет их опять через месяц, через год то ли в Арктике, то ли во Внукове.

После полета занавешивали окна в одном из гостиничных номеров, проявляли пленки, в духоте, потные, в одних трусах возились до полуночи. А утром, чуть свет,— готовить приборы, менять батареи, просматривать рулоны высохших пленок, яростные споры о программе полета, у каждого были свои разделы, каждому были нужны свои высоты и условия — и снова в небо, в погоню за облаками.

Тулин загружал его подсобными расчетами, всякими побочными замерами. Своей темой Крылов занимался урывками, но не жаловался, он видел, что себя Тулин также не щадил. С поразительной уверенностью Тулин вел свое огромное умственное хозяйство: там не сходятся данные, тому отрегулировать прибор, определить, почему снижается чувствительность, в Краснодаре сесть пораньше, иначе в столовой останется только каша. Стоило Тулину присмотреться, и всегда оказывалось, что делают не так, можно что-то подправить, без него провозились бы еще день, и он подправлял, замечал, и все это весело, с шутками.

Иногда выпадали свободные вечера, и в каком-нибудь городишке они являлись всей бандой на танцы, поражая местных красавиц своим видом небесных асов. Под водительством Тулина шествовали вразвалочку, ястребино выглядывали стоящих вдоль стен девушек, томно-усталые, в кожаных куртках, нездешние и заманчивые. И Крылов чувствовал себя тоже гусаром.

Но чаще всего он оставался дома, обдумывая полученные материалы измерений. И в полетах он вдруг начинал мерить совсем не то, что было предусмотрено... Со своей обычной дотошностью он докапывался до перво-

основ и убеждался, что у Тулина слишком многое строится на интуиции и догадках. Тулину важен был результат, вся трудность была лишь, *как* этого добиться. Он пренебрегал возможностями исследовать сам процесс, природу грозы. «Чтобы переварить пищу, не обязательно изучать устройство желудка»,— отговаривался он, однако Крылова успокоить такими штучками было невозможно. Постройка не имела каркаса. Не хватало балок, Тулин хотел настилать крышу, а Крылов еще укреплял фундамент.

Ему нужно было выяснить, как в облаке восстанавливаются заряды на всех стадиях развития, какова скорость этого восстановления, каков механизм и т. д. Он принялся создавать теоретическую модель облака. Собирал все данные измерений, накладывал их друг на друга, десятки, сотни, пытаясь установить что-то среднее, извлечь типичное. Работа эта требовала сосредоточенности, а поручения Тулина отвлекали. Хуже всего, что Тулин злился, считая, что Крылов не помогает, а проверяет — этакий внутренний контроль.

Под Ростовом они провели серию воздействий на мощные кучевые облака. Несколько раз портился проклятый «Бурун» — установка для измельчения сухого льда. С трудом найдут нужное облако, включат «Бурун» — грохот, треск, а лед не сыплется. Посадка. Включают «Бурун» на аэродроме — исправно работает, выбрасывает мелкий лед. Поднимутся в воздух — опять та же история. Наконец Тулин сообразил, что на высоте что-то в машине смерзается, и приказал долбить лед вручную. Колотили лед чем попало, обдирая пальцы, но пока возились и сбрасывали — оказалось, сбросили не туда. На следующем заходе сбросили слишком рано. Лед кончился, пришлось возвращаться. Раздобыли лед — выяснилось, что нет подходящей облачности. Просидели два дня, нервничая, ругаясь. И вот наконец-то внизу отличные облака, с высокой напряженностью электрического поля, с мощными куполами, и лед был сброшен точно вовремя, и все прильнули к окнам, наблюдая и фотографируя. Да, это было красиво! Огромный растущий серебристый купол начал вдруг оседать, съеживаться, массив облака стал каким-то волокнистым, редел, буквально на глазах появились провалы, стала видна зеленая земля, только что мощное облако таяло, распадаясь на части, превращаясь в мглистые полосы. То же самое удалось и со вторым облаком. Ту-

лин пришел в восторг, его предположения оправдались, все в самолете кричали «ура», обнимались, и никто не обратил внимания на Крылова. Он внимательно смотрел в окно с другого борта.

На аэродроме Тулина качали. Крылов задумчиво возился в стороне с фотокамерой, потом подошел и, конфузясь, так, как будто он преподносит нечто ценное, сказал, что результат, к сожалению, нельзя считать достоверным. Он наблюдал за облаками, которые не подвергались воздействию, и среди них три облака разрушились точно таким же образом и в то же время. Никто не хотел ему верить, его слушали с досадой. Тулин пытался его высмеять: «Где твои доказательства?», но Крылов стоял на своем: это у вас нет доказательств, что на облака повлиял сухой лед, они могли развалиться и сами.

— Поймите, облако — это не вещь, а процесс, и надо изучить его законы, чтобы уверенно воздействовать. Представим себе...— Он принялся тут же на песке чертить свои кривые.

Когда он поднял голову, возле него остался только Агатов.

— Слава богу, вы, кажется, приходите к тому же, что и Голицын,— сказал Агатов.

— Наоборот,— сказал Крылов,— просто, чтобы разбить Голицына, нужны более строгие доказательства.

Настроение у всех испортилось. Вера Матвеевна и Алтынов утешали Тулина, как будто Крылов обидел его.

Вечером они сидели вдвоем в жарком номере, завешенном толстыми малиновыми гардинами, и Тулин кричал, что ставить подножки — дешевка, он выбросит Крылова к чертовой бабушке. Группе нужен успех, нельзя долго работать без удачи. Люди падают духом. Агатов ждет малейшей оплошности, из института нажимают, тему могут прихлопнуть, нужен успех как можно быстрее, побыл бы кто-нибудь в его шкуре. Крылову нечем было возразить, он сочувствовал, он страдал за Тулина, готов был сделать для него что угодно, но стоял на своем, и Тулин понял, что, если результаты будут вынесены на обсуждение, Крылов выступит против.

Больше всего его возмущало, что Крылов осрамил его в присутствии Агатова и студентов.

— Ты играешь на руку Агатову. Подкидываешь ему материальчик. Я не потерплю этого. Пойми ты простую вещь: да, я тороплюсь, да, я перепрыгиваю через этапы, я рискую, но только так можно чего-то добиться, победителей не судят. Потом мы наверстаем. В науке иногда правильная тактика важнее фактов. Кстати, ты лично ничем не рискуешь,— Тулин едко улыбнулся,— рискую я, руководитель. Ты в любом случае выйдешь сухим. Все шишки достанутся мне. Я ставлю на кон свою репутацию. Надеюсь, ты согласен, что у нас будут не равные потери?

Прибежал Алеша, распаренный, в трусиках, принес мокрые фотографии облаков, которые снимал Крылов. Там ясно было видно, как оседал и разрушался купол.

— Вот что,— сказал Тулин, когда они остались одни.— Ты хочешь сорвать работы? Ты можешь это сделать. Бери эти фотографии, бери все свои бумаги, езжай к Голицыну, расскажи ему, как я тут подтасовываю данные, и ты добьешься своего. Работы прикроют.

— Я этого не хочу,— сказал Крылов.

— Но ты это делаешь!

— Мне хотелось бы провести контрольные замеры, я хочу исключить всякие сомнения. Для этого надо...— Он принялся развивать свои планы.

Пришел Алтынов, принес зеленый чай, они пили, утираясь полотенцем.

Крылов доказывал, что надо уточнить влияние заряженности самолета. Примерные коэффициенты, которыми пользовалась группа, его не устраивали.

— Послушайте, Алтынов, этого носорога,— сказал Тулин.— Он хочет уличить нас. По-моему, он резидент Агатова. Связался я с ним на свою беду.

И вдруг, посмотрев на огорченную физиономию Крылова, расхохотался, подмигнул Алтынову и с тем размахом и щедростью, которыми он умел очаровывать, разрешил построить установку, взять деньги, людей и приказал Алтынову раздобыть высоковольтный ртутник — в общем, сделать все честь честью.

Крылов был растроган. Снова, в который раз, Тулин давал ему урок благородства и истинной дружбы. В сущности, кому, как не Тулину, он обязан этой работой, о которой он давно мечтал и которая здесь впервые предстала перед ним во всей своей сложности?

...Метеорология, она раскрывалась перед Крыловым как трогательная история всевозможных попыток уста-

новить какую-то закономерность там, где ее быть не может, там, где все основано на хаосе. Ветры, облака, дожди, колебания температуры — все то, чем занимается метеорология, все возникало из сцепления бесчисленных случайностей, они зависели друг от друга, и невозможно было в этом клубке разыскать начала и концы.

Где-то в горах под ногой альпиниста срывался камень, и оказывалось, что это приводило к снежной буре и граду.

Нужно было высокое мужество, великое трудолюбие многих поколений метеорологов, чтобы построить из, казалось бы, бессвязной груды фактов науку.

Но в этой сложнейшей науке издавна существовал наиболее трудный раздел — облака. Крылов понял, что стремление исследовать облака было уже само по себе героизмом.

В самом развитии облака крылась великая тайна. По каким неведомым законам оно вдруг начинает пухнуть, наливаться, темнеть? Оно капризно, как фея, оно может выкинуть любое. Оказывается, эта фея, которая весит миллионы тонн, способна вывалить на землю десятки миллионов тонн воды. Облако может превратиться в грозовое и начнет швырять, как песчинку, тяжелый самолет, из радиостанции полетят искры, а радиокомпас начнет вращаться в плавном вальсе. Оно может сверкнуть молниями, двумя, тремя, а захочет, и обстреляет землю сотнями. А может, ничего этого не будет. Возьмет и станет спокойным, тучным, ливневым облаком, будет долго стоять тихо, не шелохнувшись, и внезапно прольется теплым грибным дождем. Или исчезнет, растает за несколько минут так же необъяснимо, как появилось.

Все сравнивали грозовое облако с генератором. Обычным генератором, электромашиной, которую Крылов проходил на втором курсе. Получалось весьма просто, но

в этой машине не было зажимов, и неизвестно, куда к ней подключить провода,

и неясно, кто ее вертит,

и как она включается, эта машина,

и почему останавливается,

и отчего ни с того ни с сего идет вразнос

и создает напряжение, на которое не рассчитывали.

Нет и, наверное, не было двух более или менее одинаковых облаков. Даже наиболее по типу сходные, они

отличаются всем — толщиной, и формой, и возрастом, и поведением. У каждого своя судьба. Тут все меняется причудливо, неповторимо, иногда за мгновение, иногда долгими часами.

И все же должны быть у них какие-то общие черты. Что-то объединяет их. Но что, как, где?

Где те неоднородности, которые ведут к развитию?

Ему не раз приходила мысль, что, собственно, и в человеческом обществе развитие зависит от неоднородности. Там, где все одинаково, там нет развития. Если бы в обществе не происходила борьба мнений, научных идей, оно было бы обречено. Оно стало бы неподвижно, как слоистые облака, где месяцами ничего не происходит: сколько ушло капель, столько и пришло. Всякое открытие, новая мысль — это ведь тоже неоднородность, которая неизбежно становится явью, плотью, переворачивает сознание людей, воюет, растет, вспухает, как облако, и наконец требует воплощения.

Ну, хорошо, но как же быть с облаками?

Работу, начатую Крыловым, Алтынов сравнивал с попыткой чудака фотографа, вздумавшего создать портрет «среднего» гражданина своего города. Он фотографирует несколько десятков людей, приводит каждое лицо к единому размеру, складывает негативы и перепечатывает их насквозь на одну пленку. И так десятки раз. Потом совмещает эти осередненные портреты и снова пропечатывает их. Получится портрет, некий общий портрет, это лицо человека, не похожего ни на кого в отдельности, и вместе с тем в нем запечатлены черты всех людей. Отпали случайные черты, усилились общие. Это портреты всех вместе и никого конкретно. Он похож на всех, никто не узнает в нем себя.

Примерно таким способом Крылов взялся за облака.

Поначалу было неясно все — как складывать, по какому принципу. Он замучил лаборантов, пробовал так и этак. Обработали восемьдесят пять облаков, нарисовали свыше трехсот графиков, и наконец удалось установить, что ничего не получается. Несколько дней Крылов ходил сконфуженный, притихший, безропотно выполнял все указания Тулина. Тот был доволен:

— Классики правы — труд облагораживает человека!

И вдруг он понял, что модель облака — это не портрет, а скорее живой организм, внутренний процесс. Только так можно искать закономерность...

Ричард регулировал осциллограф. Отличный новенький осциллограф. Обидно, что для программы агатовских измерений «К вопросу о новом уточнении...». Такие измерения годятся в диссертацию, и только. Когда речь заходила о программе Агатова, Тулин начинал напевать: «Кап-кап-кап-кап, каплет дождик...» Или пел: «По капельке, по капельке, чем поят доктора».

Наклоняясь над шкалой ваттметра, Ричард видел в зеркальной дужке прежде всего свои очки, затем глаза, переносицу, черные широченные брови. Подетально вроде все в порядке, а вместе — уродство. В последнее время он стал заботиться о своей внешности. Ему хотелось быть красивым. Подумать только, на всю жизнь приговорен носить эту дурацкую физиономию! Он бы сделал себе лицо смуглым, жестким, глаза голубые и непроницаемые, прибавил бы росту сантиметров на шесть, так, чтобы Женя, глядя на него, чуть запрокидывала голову. Пора дать возможность людям выбирать свою внешность самим.

В мастерскую вошел Агатов, поговорил с Алешей и Катей, остановился за его спиной.

— Двигается?

— Кончаю,— сказал Ричард.

Присутствие Агатова всегда можно было узнать по запаху одеколона «Ландыш». Он был весь пропитан этим одеколоном.

— Пора, пора. Вас опять Тулин отвлекал?— сказал Агатов.— Боюсь, вы слишком увлекаетесь Тулиным.— Было слышно, как Агатов вынул из коробка спичку. Он не курил, но всегда носил с собой спички и ковырял ими в зубах.

Ричард закрыл крышку ваттметра. Тусклый зайчик скользнул по большому лицу Агатова. Оно было тоже некрасивое, это лицо.

— Человек странно устроен,— грустно сказал Агатов,— он готов скорее простить плохое, чем то хорошее, что ему сделали.

И Ричард подумал, что в глазах Агатова он выглядит неблагодарным. Всего полтора месяца назад Ричард кротко упрашивал Агатова взять его с собой сюда, вместе со студентами. Для своей темы Ричарду достаточно было поехать на аэрологическую станцию, и Агатов не понимал, почему Ричард настаивает, и Ричард вынужден был намекнуть на личные мотивы. Агатов откровенно предупредил, что обязанности, возложенные

на него Голицыным, и без того сложные и что если он возьмет Ричарда, то как помощника, а не как противника. Ричард обещал, он готов был обещать тогда что угодно. Надо отдать должное: Агатову пришлось-таки похлопотать, доказывая, что Ричард ему необходим.

Ричард подумал, что Агатов сейчас тоже вспоминает: «Личные мотивы... Я вам помогу во всем, что за вопрос». Он почувствовал себя обязанным Агатову, и это мешало, связывало.

Агатов понимающе покачал головой.

— Ничего мне от вас не нужно. Как-нибудь, я справлюсь. Миссия у меня тяжелая, что и говорить. Один против всех. Я зажимщик, я консерватор. А ведь знаете, Ричард, в каждом явлении существует две стороны. Единство противоположностей. Так, кажется, нас учили? Я отвечаю за разумность и безопасность исследований. В сущности, я забочусь о жизни Тулина, о вашей жизни. И вот за это меня выставляют злодеем, будто я против самой темы. Ведь выставляют?

Ричард неловко кивнул.

— Видите. Да что там далеко ходить! Вы то же самое считаете. Хотя я делаю для вас больше, чем ваш Тулин. Думаете, я не знаю про вашу диссертацию? Вы самовольно изменили утвержденную тему. Я должен немедленно сообщить Аркадию Борисовичу и отослать вас. Пусть он там разбирается с вами. А я покрываю вас, рискую. Зачем, спрашивается?

От неожиданной искренности его слов Ричард растерялся.

— Яков Иванович, но что мне делать, я убедился... Крылов дал мне почитать свои работы. Пусть у Тулина еще не все доказано. Я чувствую, тут зарыта истина. Когда-то я верил в метод Голицына, но сейчас — это уже догма. У нас и так слишком много догм в науке.

— Где же?

— Да всюду. Тот же Денисов. Вы зря на Тулина нападаете, он взялся за грандиозную проблему. Шутите ли, активные воздействия! Его надо поддержать.

— Вот и поддерживайте после диссертации, ежели вы так убеждены. Тогда у вас руки будут развязаны. И то присмотритесь получше. Вы за Тулина горой, а он?

— Что он?

— А то, что не стоит он этого. Он эксплуатирует вас. Нисколько он не заботится о вашем будущем. А от меня

вы отворачиваетесь, хотя я забочусь о вас. Не понимаю...

Мимо прошел Алеша, с любопытством оглядел их. «Отныне и во веки веков клянусь врезать правду всем и каждому».

— Ей-богу, Ричард, не знаю, чего я с вами цацкаюсь. Но мы можем быть друзьями. Вам это выгоднее, чем мне. Лезете вы очертя голову бог знает куда. Они же вас обманывают.

Агатов выплюнул спичку, левую руку он положил Ричарду на плечо. Ричард резко отступил.

— Яков Иванович, вы сказали: займитесь тулинским методом после защиты. Так? Что ж это значит? Справедливость метода вас не интересует. Научная истина вам не важна. А Тулин готов рисковать жизнью ради науки! Пусть он ошибается, такая ошибка в сто раз прекрасней трусливой осторожности посредственностей.

Да, он виновен, пообещал — не выполнил, обманывает Голицына, поносите его как угодно, но все же против Тулина он не пойдет. От него он не отступится.

— Вы пожалеете об этом. Вам это может дорого обойтись,— сочувственно сказал Агатов, и Ричард ощутил страх, гнусный, маленький страх, который заставил его вымученно улыбнуться. «Диссертация — это не шутка,— думал он.— Что будет, что будет?»

Он вспомнил, с каким трудом поступил в аспирантуру, все свои мечты и планы.

— Но я изменил диссертацию потому, что это — мое убеждение. Крылов ведь ушел от Голицына тоже по убеждениям.

— И чего он добился? Он давно кается, бедняга. Присмотритесь, какую жалкую роль ему тут приходится выполнять. Тулин с ним не считается.

— Нет, нет, если человек поступает принципиально, он не жалеет.

— Декламация. Вам надо избавляться от декламации,— заботливо сказал Агатов. Он облизнул губы.— Что вы мне тычете своего Тулина! Хотите знать, кто он? Хищник он! Плевать ему на всех вас с вашими идеалами. Он вас выжмет и выбросит. Он разве посчитается? Он и сейчас с вами не считается. Да я не про работу. Я, так сказать, из области лирики. Нет у него нравственности. Эх вы, рыцарь в очках! Вы же слепец. Правильно говорят, что влюбленные слепы на оба глаза.

Какое-то мгновение они смотрели друг на друга в самую черную скважину зрачков. Ричард еще не понимал, что произошло, но все изменилось. Откуда пришло это предчувствие беды?

— Неправда, нет, вы выдумываете,— быстро проговорил Ричард.

— Как же неправда, когда вы сами об этом подумали! Мы-то с вами говорили о том, как вы в Тулина влюблены.— Агатов весело рассмеялся.— Попались? А вы меня клеветником...

— Не хочу слушать. Я знаю, вы говорите из зависти.

Но это был лепет, беспомощный лепет. Он сам не слышал себя. Он был испуган: в самом деле, почему он подумал про них? Что толкнуло его на это?

— ...И вы поймете, что вы для Тулина ничто: если ему будет надо, он перешагнет через вас, не задумываясь.

— Вы завидуете ему.

— В чем же?

«Неужели я боюсь? Поверить — значит предать Тулина».

— В том, что он талантлив.

Глаза Агатова угасли, все живое из них словно уходило, уходило внутрь, ставни захлопнулись.

— Я к вам по-хорошему, а вы как повернули. Обидно. Напрасно вы отталкиваете. Ну, да насильно мил не будешь. Придется вам поехать в Москву, пусть Голицын решает. Я отвечать за ваши упражнения с диссертацией не желаю.— Он передохнул, покачал головой.— Значит, Денисов — вредная догма? Не нравится вам русский ученый, товарищ Гольдин?

Ричард побледнел, задохнулся.

— При чем тут... Да вы...

Агатов медленно улыбнулся.

— Сдайте мне отчет о проделанных замерах.

Четким шагом он направился к выходу. Бледные губы его нервно кривились. Он был оскорблен человеческой неблагодарностью.

Пунцовые табуны облаков неслись по небу. Солнце садилось за горы. Густой теплый воздух гудел от вечерней мошки. Ричард лежал на остывающей гальке. Никогда раньше он не представлял себе, что может вот так лежать, без единой мысли, без желания, чувствуя лишь время и не жалея его.

Обычно к вечеру осаждалось недовольство прошедшим днем — много времени потрачено зря, на болтовню. И всякий раз Ричард давал себе слово завтра наверстать.

Теперь все побоку. Пропади оно пропадом, время, с его часами, пузатыми будильниками, звонками, светящимися циферблатами. С его календарями, расписаниями, восходами, планами и прочей трухой. Может быть, когда-то было так, что не существовало ничего, даже времени не было.

Скрипнул, закачался легкий висячий мостик над Аянкой, Ричард вскочил, полез вверх по откосу. На скале перед собою он видел изогнутую тень моста и две тени посреди пролета. Мужчина наклонился и взял женщину за руку. Она отняла руку. Потом они слегка раскачали мостик, стальные тросы скрипели, вытянутые тени взлетели по скале. Мужчина снова взял женщину за руку, высоко, у самого плеча. Так он держал ее долго, и она не противилась. Ричард медленно взбирался на откос и медленно шел к мосту. Солнце садилось. Тени изгибались на каменистых отрогах.

Женя помахала рукой, нисколько не удивляясь его появлению. Тулин сказал:

— Будьте осторожны, Ричард, она взрывается от малейшей детонации.

Ричард поспешно рассмеялся, страдая оттого, что Тулин держался свободно и что так же, без всякой неловкости, распрощался и ушел.

— Я тебя искал с полудня,— сказал Ричард.

— Мы с Тулиным запускали зонд.

— Недавно ты слышать не могла о Тулине.

— Сам перевоспитал. На тебя не угодишь.

По вырубленным ступенькам они поднялись к шоссе. Над головами с ревом проносились самолеты, их крылья слепяще вспыхивали.

— Что с тобой?— спросила Женя.

Он попробовал передать ей свой разговор с Агатовым и убедился, что, собственно, рассказывать не о чем, все утекло, как вода меж пальцев.

— Надо было бы об этом сказать Тулину.— Глаза ее смотрели чисто, открыто, и Ричарду стало легче.

— У него и без меня... Я сам справлюсь. И ты не смей морочить его.

Он выговаривал ей, а она хохотала, закидывая голову, пока он не промолвил еще неуверенно:

— Кажется, я кретин.

— Не сомневайся. Я иногда думаю: ну что ты во мне нашел?

— Женя, когда ты так говоришь, я могу... Хочешь, я выдам такую диссертацию, что все закачаются!

— А на Агатова наплюй. Он тебя ревнует к Тулину.

— Черт с ним!

— Не надо мне было ходить с Тулиным. Он тут ни при чем. Я сама вела себя глупо.

Они подошли к коттеджу, где жили девушки. Ричард нерешительно замедлил шаг.

— Давай еще погуляем,— сказала Женя.

Миновав поселок, они направились к аэродрому.

Ричард обнял ее.

Проехал служебный автобус, летчики высовывались из окон и что-то кричали Жене.

— А если бы Тулин приставал ко мне, ты бы мог его ударить?— неожиданно спросила она.

— Легонько, чтобы ты его потом не утешала.

— Ты когда последний раз дрался? Впрочем, неважно. А знаешь, есть, наверное, мужчины, которые никогда не дрались. Агатов ругал Тулина? Послушай, а может, Тулин плохой? Какие ты видишь у него недостатки?

— При чем тут он? Я думаю про твои недостатки.

— Скучища. Терпеть не могу, когда обо мне думают! Я сама не думаю о себе. Однажды попробовала — ничего не вышло. У меня, наверное, потребительское отношение к науке. Вроде Алеши. Или Поздышева. Я не выношу таких красавчиков. Он привык, что все его обожают, как Вера Матвеевна, кудахчут вокруг него.

— Ты про кого?

— Про Тулина, конечно.

— Считается, что талантам многое следует прощать.

— Прибедняешься? У тебя тоже способности.

— Неужели Агатов отошлет меня?

— Тогда я тоже уеду.

— Не дури. В крайнем случае Тулин уладит. Он не допустит. Я ему нужен.

Темнота хлынула из-за гор, как наводнение, затопила долину, поселок выкарабкивался из тьмы, включая огни в домах, огни на дороге, цветные огни аэродрома.

Кати не было дома. Женя скинула туфли. Охая, потирая ноги, легла на кровать.

— Иди сюда.

Ричард осторожно прошел темную комнату.

— Садись.

Он сел, нашел в темноте ее руки. Она почувствовала, как все в ней сжалось. Хорошо, что он не видел ее лица.

— Я бы тоже хотела выдавать всем правду, как ты. Но мне жалко людей.

— Какие у тебя холодные руки,— сказал он.

Он наклонился и поцеловал ее, царапая очками.

«...И тогда уже ничего нельзя будет изменить»,— подумала она. Может быть, они поженятся. После всего этого они поженятся. Только бы скорей это произошло, и тогда все другое кончится и станет ясно. Она не шевелилась. Он мог делать сейчас с ней что угодно.

Рука его легла к ней на грудь.

— Не надо,— сказала Женя.

Он с усилием отстранился.

— Я пойду,— сказал он.

После его ухода осталась темнота. Женя чувствовала себя измученной. Она лежала, и улыбалась, и ругала его, и благодарила его, и жалела, и презирала его.

Посреди ночи она разбудила Катю:

— Это все неправда, неправда.

— Что случилось?— спросила Катя.

— Не может быть, что на свете существует один-единственный человек, с которым можешь быть счастлив. И как раз его-то и встречаешь.

— Господи, что ее заботит! Мало за тобой бегают?

— Но пойми, это ж абсолютная чушь. Вот тебе нравится Алеша. Из миллионов ты нашла именно того, кто предназначен тебе судьбой. И в целом мире нет другого! Так, что ли? И эта твоя мечта оказалась в твоем институте и в твоей группе. Какое совпадение! Да на земле существует не меньше тысячи парней, которые могут стать единственными навеки. Ах-ах! И нечего устраивать трагедии.

— Да кто устраивает,— возмутилась Катя.— Ты что, поссорилась с Ричардом?

Опять Ричард! Будто никого, кроме Ричарда, представить невозможно.

— Ну чего ты, успокойся, сколько раз вы уже ссорились. Он ведь без ума от тебя. Чего тебе еще надо?

Действительно, чего ей еще надо? Она и Ричард. Все уверены, что это — самое лучшее. Что это неизбежно. Ничего другого не может быть.

Она лежала, крепко закрыв глаза, но слезы все равно текли. Ей хотелось думать, что она поссорилась с Ричардом. Что все из-за этого, и ничего другого нет.

ГЛАВА 4

Несколько недель Крылов потратил на сооружение специальной установки по измерению заряженности самолета.

Тулин был рад: хоть на время Крылов отцепится. Было утомительно воевать на два фронта: с одной стороны Агатов, с другой — Крылов.

Нужен был высоковольтный выпрямитель. Алтынову, как водится, повсюду отвечали: «Не предусмотрено, почему не оформили заявку в прошлом году?» Крылов поехал с ним в Москву. В главке они долго бродили от стола к столу, пока Алтынов не выяснил, что все зависит от некой Машеньки. Она была какой-то помзамнач, но Алтынов давно убедился, что самые сложные аппараты добываются за самыми невзрачными столами. Машенька была смешливой, конопатой, чем-то похожей на мокрого воробья.

— Рассудите сами,— сказал ей Крылов,— мы только сейчас додумались до новых режимов, как же можно было дать заявку год назад?

— У нас плановое хозяйство,— сообщила она Крылову.— Промышленность не может ждать, пока вас осенит.

Машенька была неуязвима и недосягаема. Алтынов шепнул: «Пригласите ее в ресторан». К удивлению Крылова, она охотно согласилась, и они провели вдвоем прекрасный вечер. Крылов был в ударе, рассказывал про полеты и про свое путешествие на корабле.

Назавтра Машенька организовала сверхсрочный заказ, и оказалось, что ртутник прибудет через месяц. Алтынов был доволен; он дал Крылову заполнять бланк-заказ и ушел с Машенькой заверять какие-то подписи. Когда они вернулись, Крылов весело рисовал схему на оборотной стороне бланка. Обняв при всех Машеньку, он сообщил, что нашел способ моделирования, при котором можно обойтись любым выпрямителем. Установка получается простой, правда, придется кое над чем помудрить, но так даже интересней.

Напрасно Алтынов дергал его за рукав, Крылов твердил свое, пришлось идти отказываться к заму, случай был редкостный, и на разбирательство явился сам начальник. Крылов недоумевал: если уж на то пошло, то вообще по заявкам отпускают слишком щедро. Конечно, легче заказать более мощную установку, чем думать, как выходить из положения. Машенька со своими начальниками слушала его с восторгом, но представители институтов чуть не устроили ему «темную».

Установка получилась кустарнейшей, над Крыловым посмеивались, он не обращал внимания. Ему вспоминался Дан с его умением работать на элементарных схемах; только теперь, на собственном опыте, он начинал понимать, почему Дан избегал заказывать большие, сложные установки. Дан считал, что избыток материальных средств не поощряет мысль. Простенькая установка обнажает сущность явления, заставляет думать над главным. Он часто вспоминал Дана, впервые ему пришлось действовать без всякого научного руководства. Ему не хватало критики, ему не хватало даже Голицына, который так умел выискивать ошибки и требовать новых доказательств.

Между большими пластинами, обклеенными станиолем, висел на шелковых нитях дюралевый самолетик. Шариком на длинной бамбуковой палке нужно было коснуться самолетика в определенной точке, снять заряд, пронести определенным путем до электрометра, коснуться элетрометра, снять показания, записать. И так надо измерить полсотни точек. Потом изменить напряжение между пластинами и все начать сначала. Потом изменить положение самолета и начать новый цикл. Алешу поражало, как хватает у Крылова терпения. А Крылов занимался этим вторую неделю. Движения его были отработаны с машинной точностью.

Алеша пробовал ему помогать, и через полчаса у него начинали болеть руки. Неужели это и есть наука, увлекательная, захватывающая?

Под вечер Алешу сменил Ричард. Уселся за электрометр. Разумеется, он-то понимал, что в экспериментальной работе приходится заниматься скучными вещами, но все же это робинзонство, в наш век, при наших возможностях.

— Я бы тоже не стал чикаться,— потягиваясь, сказал Алеша.— Обеспечьте меня, тогда пожалуйста. Ма́ло напряжение — ставьте большой трансформатор.

Крылов слушал их улыбаясь. Он снял рубашку, остался в зеленой майке, плечи у него были широкие, грудь волосатая, и вообще он оказался куда крепче, чем выглядел в своем мешковатом костюме.

— А что, не так?— спросил Алеша.

— Во времена Фарадея,— сказал Крылов,— талантливых идей было мало, но и денег на науку почти не давалось, теперь же деньги отпускают щедро, а талантливые идеи все еще редки. И, конечно, легче потратить лишние деньги, чем придумывать, изобретать, изощрять ум.

— По-вашему, надо меньше тратить денег на науку? Так можно договориться вообще до мракобесия!— воскликнул Ричард.

— А что ты думаешь,— Крылов нисколько не смутился,— может быть, и поскупее надо. Когда у науки вдоволь средств и денег, она становится слишком жирной. Есть, конечно, и крайности. Двухрублевую лампу достать — целая история. Но это уже организация.

Ричард озадаченно молчал.

С этим Крыловым никогда не угадаешь: перевернет все вверх ногами, расставит по-своему, раздразнит, и пошла схватка,— тут уж никакой субординации, ни студентов, ни кандидатов наук, и можно не бояться ляпнуть глупость, и самое главное — есть человек, который внимательно слушает.

Они яростно занимались реформами — отменяли диссертации, снова вводили диссертации, но решили не платить за степени, ибо идущий в науку не должен прельщаться доходами. Открывали институт телепатии, лаборатории хиромантии — будем дерзать, авось получим что-либо новенькое, иначе неинтересно. И вообще ученый, доказывал Крылов, воплощает в себе черты человека коммунизма, поскольку работа для него — потребность, удовольствие.

Алеша кивнул на Крылова:

— Ничего себе удовольствие — махать палкой каждый вечер!

И все рассмеялись, потому что действительно трудно было представить себе более занудную работу.

Когда они остались вдвоем с Крыловым, Ричард вздохнул:

— Наука — это лес дремучий. Не видно ничего вблизи.

Крылов прислушался.

— Все же прочел «Фауста»?

— Прочел. Надо бы еще перечесть, да разве успеешь. Сколько книг написано хороших, кошмар! Человечеству хватит на сотню лет. Да еще сколько фильмов, пьес, музыки! Это если только одни шедевры брать. Хватит. Я бы прикрыл искусство лет на двадцать.

— Вот кто мракобес.

— Все равно на таких, как Агатов, никакие стихи не подействуют.

— Чего это ты так на него?

— Ненавижу бездарности. От них все зло; их надо давить. Их нельзя подпускать к науке. Их надо травить, высмеивать.

— А тебе никогда не приходило в голову, что упрекать человека в бездарности — все равно что смеяться над калекой?

— Хорош калека! Агатов вам шею скрутит, дайте ему только власть.

— Я его иногда жалею. Он несчастный человек. Он пошел не по призванию, он, конечно, не физик, может, у него способности архитектора или председателя колхоза. Кто знает? Когда человек чувствует себя на месте, он становится лучше.

— Оправдываете его? Человек на любом месте должен оставаться человеком.

Крылов выключил напряжение, присел на стол.

— Я давно думаю, что самое важное сейчас — это помочь людям находить их призвание. Вот наша Зоечка, официантка в столовой. Что, она родилась для того, чтобы быть официанткой? Рассмотрим формулу — «от каждого по способностям...». По способностям! А сколько людей не знает своих способностей! Тут, брат, мало того, что вот вам, пожалуйста, учитесь, выбирайте — все права и возможности. Нужно помочь каждому определить его максимум...

— К Агатову это не относится! — И не вытерпев, Ричард передал свой разговор с Агатовым.

Крылов вернулся к электрометру, потер красные веки.

— Ничего, обойдется, я поговорю с Тулиным.

— Да, да, Тулин не позволит отослать меня.

Крылов кивнул, и они продолжали работать.

Он нашел Тулина в номере у Алтынова. Там сидел и Агатов.

— Присаживайтесь,— сказал Алтынов.

Они пили чай с медом. Алтынов любил мед, он любил все, что полезно, и устраивал чай с витаминами и прочими необходимыми для организма веществами.

Судя по репликам Тулина, Крылов понял, что речь шла как раз о Ричарде и что Агатов уже изложил причины, по которым отправлял его в Москву. Алтынов не вмешивался, его доброе рыхлое лицо было непроницаемым, лишь иногда он предостерегающе взглядывал на Крылова. Тулин с трудом скрывал раздражение, но все же держался осторожно, говорил про мед, улыбался, и все они выглядели друзьями, по крайней мере приятелями.

— Не удивлюсь, если его отчислят из аспирантуры. С такими взглядами на жизнь полезно поработать годик-другой на заводе, верно? — Агатов посмотрел на Тулина.

— Так считается,— сказал Тулин,— но я не могу знать, не работал на заводе.

— А я работал,— сказал Крылов,— и думаю, что для Ричарда это не обязательно.

— По-вашему, Сергей Ильич, выходит, что повариться в рабочем котле вредно?

— У Ричарда вся семья рабочая.

Тулин громко побренчал ложкой.

— Сережа, я боюсь, что из тебя адвокат никакой.

— Он не считается с Голицыным,— сказал Агатов.— Посудите сами, как может Аркадий Борисович руководить аспирантом, который выступает против него! Нет, нет, пусть ищет себе другого руководителя. Если найдет.

— А что тут особенного? — сказал Крылов.— Можно и против руководителя...

Тулин выразительно посмотрел на него, повернулся к Агатову.

— Яков Иванович, накладывайте, угощайтесь! — Алтынов придвинул банку с медом.

— Денисова хочет критиковать. Стоит ли ему этим заниматься, Олег Николаевич, как по-вашему?

— Я понимаю вас, Яков Иванович,— мягко сказал Тулин.— Конечно, это все осложнит. И без того сложно.

— Вот именно.

Агатов засмеялся, и Тулин тоже изобразил улыбку, но взгляд его оставался жестким, немигающим.

— В липовом меде содержится сорок пять процентов виноградного сахара,— сообщил Алтынов.

— Чудесный мед. А вы любите мед в сотах?— спросил Агатов.

Интеллигенция, думал Крылов, законы цивилизованного общества. Попробуй я сейчас ударь Агатова чайником по голове, меня под суд за хулиганство. А то, что Агатов испакостит жизнь Ричарду,— это не хулиганство. Это законное разрешение конфликта, вполне культурно.

— Что же будет с Ричардом?— спросил Крылов.

— Это решит Аркадий Борисович,— сказал Агатов.

— А вы ему подскажете?

Агатов даже не посмотрел на него, он отхлебнул чай и обратился к Тулину:

— В Москве могут подумать, что вся история с диссертацией Ричарда — ваших рук дело. Вы подбили аспиранта, чтобы он тайком от руководителя...

— Но вы уже знаете, Яков Иванович, я тут ни при чем. Такова уж сила идеи...— И Тулин засмеялся так, что Крылову стало жаль его.

После ухода Агатова Тулин с отвращением сплюнул.

— Гнида...

— Что же будет с Ричардом?— спросил Крылов.

— Агатов как вирус,— сказал Алтынов,— он ждет подходящих условий, тогда он развернется. Чуть только среда будет благоприятствовать, он нам всем покажет кузькину мать. Вы молодые, а я навидался этих типов до войны.

— Уж не думаете ли вы, что я боюсь его?— сказал Тулин.— Мне сейчас просто не с руки с ним возиться. Придет время, я ему припомню.

— Ну, а что же будет с Ричардом?— опять спросил Крылов.

Тулин вскочил, опрокинув стул.

— Ричард, Ричард! Балаболка твой Ричард! Какое он право имел, ничего мне не сказав... У нас и так все трещит, а он тут разжигает страсти. Нашел время ссориться. Так ему и надо. И ты не лезь. Ты не политик, ты ни черта не понимаешь.— И оттого, что Крылов молчал и смотрел ему в глаза, молчал и смотрел, Тулин закричал:— У меня и без того не хватает сил! Со всех сторон... Поймите вы. Или с ветряными мельницами бо-

роться, или работать. Тебе-то что? Праведник! Тебе можно без компромиссов обходиться! За моей спиной... Вся муть достается мне. Ну а что делать, если время, темп сейчас дороже справедливости?— Он успокоился, накинул на плечи пиджак, пригладил волосы.— Попробуем еще как-нибудь уладить. Но для меня прежде всего условия работы и результаты. Я никого не пожалею ради них. Хоть бы кем угодно пришлось пожертвовать.

Он вышел, Крылов — за ним. В коридоре Тулин обернулся, прошел мимо дверей своего номера, спустился по лестнице. Крылов следовал за ним.

— Отцепись!— сказал Тулин.— Оставь меня!

Возвращаясь назад мимо подстанций, Крылов увидел Агатова внизу, у реки, на метровом уступе. Агатов вынимал из чехла спиннинг, рядом стояло брезентовое ведро, сачок, в пожухлой траве сверкала блесна. Крылов спустился к нему.

— Здесь попадается довольно крупная форель,— сказал Агатов.

— Хороший у вас спиннинг.

— Обратите внимание на катушку — моя конструкция.— Он отвел собачку и щелкнул никелированным тормозом.— Попробуйте!

Крылов взял спиннинг, покрутил катушку. Скрестив на груди руки, Агатов с гордостью слушал щелк тормоза.

— Прошу вас, Яков Иванович, оставьте Ричарда в покое.

— Там, где хариус стоит, в струе слышно: бульк, бульк,— с нежностью сказал Агатов.— Туда и закидывай. Сумеешь точно попасть — он сразу хвать, и тяни.

— Так как же?

— Вас что, Тулин прислал?

— Я сам.

— Лучше вам не вмешиваться.

Он взялся за спиннинг, но Крылов продолжал держать удилище, и бамбук выгнулся.

— Пожалуйста,— попросил Агатов. Он осторожно потянул спиннинг к себе, и бамбук еще больше выгнулся. Крылов подумал, что Агатов сильнее, и вдруг удивился, заметив испуг в его глазах. Крылов шагнул вперед, Агатов отступил, попятился к обрыву.

— Вы что ж это... Подождите,— забормотал Агатов.

— Яков Иванович, а вы мой должник. Помните, тогда, у Голицына, вы наговорили на меня!

Теперь они стояли почти вплотную друг к другу, оба по-прежнему держась за удилище, за спиной Агатова был обрыв, и Агатов почти не слушал Крылова.

— Вы мне окажете эту услугу — и тогда будем квиты,— сказал Крылов.

Агатов огляделся, и Крылов тоже оглянулся — кругом не было ни души, и Крылов усмехнулся.

— Лично вам я пойду навстречу,— тотчас сказал Агатов,— с удовольствием.

— Вот и хорошо.— Крылов отпустил удилище.

Агатов как-то обессиленно сел на землю, не выпуская из рук спиннинга.

— Вам — да. Именно вам,— повторил он уже несколько тверже.— Как мне обидно за вас! Как к вам здесь относятся!— Он посмотрел снизу вверх на хмурое лицо Крылова.— Для вас я готов. Вы не верите? Думаете, обману? Пожалуйста, при вас напишу Голицыну. Можете сами отправить. Вот только бумаги нет.

Крылов вынул записную книжку. Агатов писал, а Крылов с удивлением думал о том, что, оказывается, сила, простая физическая сила, еще кое-что значит для таких людей — древний и, пожалуй, иногда самый чистый способ убеждения.

В гостинице возле дежурной сидел подвыпивший лысый мужчина лет сорока. У него были мокрые губы и выдвинутая вперед челюсть. Он был похож на обезьяну. Дежурная, толстая красивая женщина, улыбаясь, говорила:

— А я люблю так, чтобы выйти замуж и сразу родить.

Крылов подсел, закурил.

— Я не тороплюсь,— сказала дежурная.— Мне нужен мужчина ведущий. К примеру, научный работник. Вот Лисицкий у нас живет. А то Тулин. Я в семейной жизни кого хочешь устрою. Мне пожалуйста, директором гостиницы предлагали.

Непонятно было, всерьез она или нарочно поддразнивала. Мужчина сопел, наливался лиловой краской.

— Слишком располагает к себе ваш Тулин,— сказал он.— Все эти ученые сидят на шее государства и сосут и сосут. Когда хочет, тогда и приходит на работу. В шахту бы его... Два года ковыряются, а где продук-

ция? Дали бы мне власть, я бы всех их... Сперва, конечно, по партийной линии.

— А что у них?— спросил Крылов, подмигивая дежурной.

— Материальчик собрать всегда можно. Тулин, говорят, своего дружка Крылова пристроил. Факт. Оба Академию наук критикуют. Сам слыхал. А бытовое разложение — это ж наглядно: со студенткой гуляет. Алтынов покрывает его. У них одна шайка-лейка. По вечерам собираются и шу-шу-шу. И на работе разговорчики. Прогуливается такой прощелыга взад-вперед, руки в брюки,— видите ли, думает! За такую ставку и я могу думать. Эх, мне бы власть, я бы их повернул на сто шестьдесят градусов! Они бы у меня завращались. Всех бы разогнал. Все эти ихние НИИ. Копайте землю со своими профессорами. Спутники, спутники, а что толку от спутников? Летают, а рыбы нет. Студентов развели — это ж форменный разврат. На завод их, чтобы по семь часов вкалывали! А Тулин бы у меня побегал. Ах, ты против, рыпаешься, а ну-ка, голубчик, охладись... Нет, распустили мы, страху нет...

— Тулин и так бегает,— сказал Крылов.

— Э, руководить всякий может. Думаете, я не могу? Чем я хуже? Все на случае построено. Мне случай не выпал, а они проныры. Пиджак у него какой, у Тулина, видели — в клетку, разрезик сзади. По-вашему как, я такого пиджака недостоин? Вы тоже, видать, из ихних, в одну дуду дуете.

— Иди бай-бай. Жених,— сказала дежурная.— Небось когда почки схватило, к профессору поехал. Все вы такие.

Крылов долго еще сидел с ней и рассказывал про лесные пожары от гроз, про виноградники, побитые градом, про ребят, которые зимуют на Эльбрусе, изучая облака. За этот год он увидел страну так, как никогда. Строители на плотинах, хлопкоробы, трактористы, колхозники смотрели в небо — это они смотрели на него, потому что он жил там, в этом небе, воюя для них с облаками.

Дежурная всплескивала полными белыми руками, ахала, потом сказала:

— Вы на него не обращайте. Ревнует. Он экспедитор. Сватается.

Крылову стало весело. После истории с Агатовым он чувствовал себя сильным и добрым Гулливером. Чего

ему злиться, ему жаль этого экспедитора, обворовавшего свою жизнь. Открыть его лысую голову и посмотреть, на что годен, не был же он рожден для того, чтобы стать экспедитором. И человек станет счастлив.

Поднявшись наверх, он отыскал Ричарда в фотокомнате. Там работали Женя, Лисицкий, еще кто-то, при свете красного фонаря мелькали обнаженные руки. Улучив минуту, Крылов шепнул Ричарду:

— Все в порядке.

— Видите, я так и знал: Тулин — железный парень.

Ричард нашел в темноте руку Крылова, пожал ее и уже через несколько минут вместе с Лисицким доказывал Крылову бессмысленность повторных замеров, называл требования Крылова академическими и повторял слова Тулина о решающей роли интуиции.

— Если так работать, как вы предлагаете, то мы результаты получим через год, а то и через два, верно?

— Результаты?— Крылов пожал плечами.— Не знаю, да разве в этом дело?

Укладываясь спать, ребята обсуждали эту смешную фразу Крылова. Чем-то она, конечно, смущала. Но следовать примеру Крылова было слишком трудно, да и не очень надежно.

ГЛАВА 5

За час до вылета Тулина позвали к междугородному телефону. Вернувшись к самолету, он сказал Крылову, что срочно выезжает в город к Богдановскому. Свидания с Богдановским Тулин добивался давно. Богдановский заинтересовался работами группы и, очевидно, согласен как-то помочь. Богдановский был из тех начальников, которых труднее всего застать в Москве. И вот теперь, когда он под боком, глупо не использовать случай. В его распоряжении огромные средства и широкие полномочия. Знакомые археологи с восторгом рассказывали Тулину, как Богдановский щедро давал им машины, людей через свои геологические экспедиции. Стоит заручиться его поддержкой, и никакие Агатовы не страшны. Очевидно, у Богдановского какой-то практический интерес. Ну, словом, Богдановский — это козырный туз!

— Придется руководить этим полетом тебе,— сказал Тулин. Он расстегнул пуговицы комбинезона, усел-

ся на траву и стал стаскивать с себя робу.— Заодно получу материалы на базе. Да, кого-то мне надо прихватить с собой...

Крылов уныло вертел отвертку. Необходимость руководить полетом пугала его. Он обязательно что-нибудь упустит или напутает. Кроме того, это значит, что некогда будет заняться собственными измерениями.

— Эх ты, эгоцентрик!— сказал Тулин.— Ничего, приучайся, попробуй тяжесть и сладость власти.— Он поднялся, сложил комбинезон. Стройный, в яркой клетчатой рубашке навыпуск, в легких сандалетах, спортивных брюках в обтяжку, он выглядел совсем юношей.— А что, если я возьму с собой Женю,— рассеянно сказал он.— Ей тут особенно делать нечего. Пока я буду у Богдановского, она все оформит на базе.

Несвойственные ему объяснения были похожи на оправдания.

Крылов хотел поймать его взгляд и не мог. Глаза Тулина скользили по полю, по самолету, облепленному людьми,— маленькие, суженные от солнца черные зрачки.

У самолета шла обычная предотлетная суматоха. Грузили приборы, закрепляли приборы. Утренний туман поднимался и таял под солнцем.

— Может быть, лучше взять Катю?— сказал Крылов.

Он почувствовал взгляд Тулина, но опять не успел поймать его.

— Можно и Катю,— равнодушно согласился Тулин.— Вот тебе программа сегодняшних испытаний. Старик, не тушуйся, и будет порядок. Впрочем, каждый знает, что ему делать. Пожалуй, Катя не управится. Там надо порасторопней.

Он направился к самолету, Крылов пошел за ним.

— Олег,— вдруг сказал он,— оставь Женю в покое.

Тулин резко повернулся к нему.

— Слушай, не лезь, не в свое дело!— Теперь он смотрел прямо в глаза Крылову.— Ты слишком много берешь на себя.

По трапу поднималась Женя. Ветер раздувал ее платье. Женя опустила руку, придерживая юбку, другой рукой она прижимала к груди ярко блестевший полированный футляр прибора. Волосы падали ей на лицо, она стряхивала их коротким движением головы, но они снова падали, закрывая глаза. Последнее время

Женя почти не говорила с ним, но Тулин чувствовал, что между ними установилась связь, невидимая, неслышная, как радиоволны. Пульсировал глазок передатчика: «Ты тут?» — «Я тут». А снаружи все неподвижно и холодно, как штырь антенны.

— Серега, я еще не могу тебе ничего объяснить,— сказал Тулин, провожая ее взглядом.— А вдруг это куда серьезней, чем ты думаешь.— Он было подмигнул, но, посмотрев на Крылова, сказал проникновенно: — Неужто я, по-твоему, неспособен на большое чувство? Когда тебе надо было, я помогал. Помнишь, с Леной? А ты по крайней мере не мешай мне. Запомни, в таких делах жалость бессмысленна.

Он отошел, и Крылов смотрел, как он взбежал по трапу, догнал Женю в дверях самолета, заговорил с равнодушно-деловитым видом.

Еще издали Агатов заметил Тулина и Женю, стоящих на верхней площадке. Потом Женя ушла в самолет, и Тулин спустился навстречу Агатову. Они обменялись преувеличенно любезными улыбками. В кабине, стоя на коленях у приборной доски, Ричард разговаривал с Верой Матвеевной и Алешей. Агатов подошел к ним, делая вид, что осматривает свои счетчики. Ричард доказывал, что схему стоит несколько изменить, одновременно он решал Вере Матвеевне уравнение. Ему доставляло удовольствие щеголять своими способностями. Решать в уме, на ходу, задачки, как бы между делом.

— Давай я переключу,— предложил Алеша.

Они осторожно, не отключая напряжения, быстро переменили концы.

— Готово,— сказал Ричард.— А первый корень уравнения будет логарифм К минус логарифм Н,— выпалил он.

— Спасибо,— сказала Вера Матвеевна, записывая.— Ты гений. Тебя надо в цирк отдать.

Ричард отряхнул колени. Увидев в конце кабины Женю, окликнул ее. Женя махнула ему рукой:

— Я сейчас!

Ричард пошел к выходу. Заметив Агатова, он отвернулся.

— Минуточку,— сказал Агатов.

Ричард остановился. Агатов, улыбаясь, молчал. Он любил такие паузы.

— Знаете, Ричард, я человек отходчивый, я решил не отсылать вас в Москву. Оставайтесь и спокойно работайте.— Он говорил негромко, но, несмотря на то что в самолете работало много людей, стучали, передвигали ящики, несмотря на весь шум, он знал, что его слышат, для этого у Агатова существовал специальный голос.

— Да, я человек незлопамятный,— продолжал он.— Хотя вы были не правы, но... бывает. По молодости всякое бывает, когда-нибудь вы убедитесь... А пока будем считать инцидент исчерпанным.

— Спасибо,— сказал Ричард, понимая, что тем самым он как бы признавал свою вину.— Хотя, собственно, не знаю, за что благодарить...

Агатов понимающе кивнул.

— ...скорее мне надо благодарить Тулина.

— Тулина?— переспросил Агатов.— Ловко! Вы никак полагаете, что он вас защитил?— Агатов медленно рассмеялся.— Как бы не так! Это я не пошел у него на поводу, у Тулина. Видите ли, я с ним решил посоветоваться. Тогда еще, сгоряча. Ну и он в два счета...— Агатов сморщился, махнул рукой.— А впрочем, не стоит.— Заглянув в окно, он покачал головой.— Что ж они осциллограф не несут?— И, не обращая больше внимания на Ричарда, спустился с самолета. Он был возмущен: какая низость, какая несправедливость — в любом случае все заслуги приписывают Тулину!

Вскоре он услышал сзади прерывистое дыхание и затем срывающийся голос Ричарда:

— Яков Иванович, я вас не понял, что вы про Тулина...

Агатов, не торопясь, растолковал лаборанту, куда поставить осциллограф, потом взглянул на Ричарда.

— Стоит ли? Не хочется вас расстраивать.— Он сочувственно похлопал его по плечу: «Бедняга, как тебя околпачили!»

— Яков Иванович, прошу вас, мне это очень важно.

— Лучше будет, если вы спросите у него сами. Или у Алтынова, он тоже присутствовал.— Агатов помолчал, крякнул.— А-а-а, чего ради скрывать? К вашему сведению: Тулин согласился, что вас надо услать в Москву. Он не возразил ни единым словом. Лично у меня такое впечатление, что ему было наплевать. Скорей всего, он даже рад был воспользоваться моей вспыльчи́востью.— Агатов предупреждающе поднял палец.— Но последнее мое утверждение — сугубо субъективное. Прошу взять

его в скобки, поскольку я строго придерживаюсь фактов. Таков мой принцип. Не верите? Выясните подробности у тех, кто был при этом.

К ним быстрым шагом приближался Крылов, за ним — Алтынов.

Агатов ждал, исполненный достоинства, торжествующей правоты. Была еще какая-то надежда, тень надежды, с какой Ричард смотрел на Крылова, или нет, скорее на Алтынова, потому что ему трудно было заставить себя обратиться к Крылову. Но во взгляде, каким скользнул по его лицу Алтынов, мелькнуло похожее на жалость, как будто Алтынов вспомнил что-то относящееся к Ричарду и это вызывало жалость. Подойдя к Агатову, Крылов попросил отложить какие-то измерения.

— И не подумаю. И вообще, с каких это пор вы тут распоряжаетесь?— сказал Агатов.

Крылов пояснил, что Тулин уезжает и программой будет руководить он, Крылов. Ричард незаметно отошел, им было не до него. Он прислонился к шасси. Катя, пробегая мимо, остановилась.

— Что с тобой?

— Ты не видала Женю?

— Она у диспетчера.

Ричард пошел к вокзалу. Через несколько шагов он бросился бежать. В диспетчерской было полно народу. Женя, облокотясь на барьер, что-то писала. Ричард вытер вспотевший лоб.

— Вернемся к шести вечера,— сказала Женя.

— Ладно, так и пишите,— сказал диспетчер.

Ричард взял Женю за руку. Она обернулась, кивнула ему, передала бумагу диспетчеру. Они вышли в коридорчик.

— Я должен рассказать тебе одну вещь...— начал Ричард.

Женя посмотрела на часы.

— Срочно? У меня ни секунды. Мне еще переодеться.

— Ты разве не летишь?

— Нет, я в город еду.

— С ним?

— Но это ж по делу. Не могу же я!— Она сердито посмотрела на Ричарда и сделала над собой усилие.— Мы ж с тобой договорились.

— Не надо! Не смей с ним ехать!— Он сжал кулаки.— Не смей!

Женя мгновенно закаменела. Подняв брови, произнесла, четко разделяя каждое слово:

— Пожалуйста, не кричи. Я не желаю слушать тебя.

— Не смей, не смей!— исступленно повторил он.

— Ты с ума сошел! Что за тон?

— Женя, прошу тебя.

— До свидания. Надеюсь, к вечеру ты успокоишься.

Каблуки ее гулко стучали по белым плиткам и по коричневым плиткам, каждый стук бил по голове Ричарда, он думал, что череп его расколется. Он побежал за ней.

— Я должен был тебе сказать... Я хотел поговорить...— Голос его падал все ниже, до шепота.

— Приеду — поговорим,— бросила она, не оглядываясь.

Ричард зашел в туалет, намочил под краном платок, обтер лицо. Было без двадцати десять. На аэродроме он увидел Тулина, быстро идущего к шоссе. Ричард отвернулся, боясь, что Тулин заметит его, и так и шел, неестественно отвернув голову.

У самолета на него обрушилась крикливая бестолковщина последних предотлетных минут. Поздышев затейливо проклинал всех ученых, Академию наук и метеорологию. На правой плоскости он только что обнаружил новый датчик; это значило, что просверлены две новые дырки.

— Вы превратили машину в дуршлаг!

Он привел Хоботнева и начал жаловаться ему: по инструкции полет надо отменить и «дырки согласовать» с главным конструктором самолета. И Хоботнев, и Поздышев знали, что никто не будет «согласовывать» эти дырки и все равно полет состоится, но Поздышева слушали, делая вид, что положение критическое, и он был доволен. Запасливый Алтынов, исчерпав свои увещевания, достал огромный китайский термос и предложил Поздышеву и Хоботневу горячего кофе.

Неполадки обрушивались на Крылова со всех сторон. Он мужественно, с медлительной улыбкой улаживал одно недоразумение за другим, но им не было конца, и он страдал от своей неспособности руководить. Выяснилось, что забыли проверить сигнализацию. Лисицкий ссылался на Веру Матвеевну, та на Катю, Катя на Алешу, и отчаявшийся найти виновного Крылов сам полез проверять контрольные цепи. Но в эту минуту Вера Матвеевна потребовала вообще изменить план полета,

заявив, что Тулин уже неделю обещал ей полет на четырех высотах для взятия проб и она взяла с собой аппаратуру и приготовила таблицы. Катя поддержала ее, смотря на Крылова огромными молящими глазами, и начала объяснять тему своего диплома, а Лисицкий вспомнил, что ему необходим стрептомицин, которого нет в здешней аптеке, и поэтому он просит приземлиться в Адлере: там у него знакомый врач.

В кабине самолета между креслами ползал лаборант, ища свою вечную ручку. Он отказывался выйти из машины, пока не найдет ее.

Алеша сообщил, что отклеилась какая-то трубка держателя, и требовал клей БФ.

Крылов убеждался, что не только в назначенный час, но и ни завтра, ни через месяц им не удастся вылететь. Раньше, когда Тулин был на месте, тоже возникали всякие случайности, но, разумеется, они были куда проще, судя по тому, как быстро Тулин разрешал их. Крылов каждое требование принимал всерьез. Его поражало, что Алтынов относится ко всему совершенно благодушно. Вместо того чтобы действовать, он рассказывал анекдоты, и экипаж и вся группа беззаботно смеялись.

За десять минут до вылета Крылов окончательно отчаялся и решил отложить полет, Алтынов удивленно уставился на него:

— Что случилось? Почему?

Выслушав Крылова, Алтынов преспокойно сказал:

— Образуется, вы всё принимаете в масштабе один к одному.

И действительно, к моменту вылета каким-то чудом все образовалось. Крылов понял, что разобраться в этом — как образовалось, почему не летит Катя, на что согласилась Вера Матвеевна, достал ли БФ Алеша,— нет никакой возможности, а главное, если он начнет разбираться, тотчас на него свалятся десятки новых вопросов и недоразумений.

Лишь когда самолет поднялся в воздух и горы превратились в мягкие зеленые холмики, до сознания Крылова дошла вся мудрость, заключенная в изречении Алтынова: «Чем меньше ты делаешь, тем меньше тебе надо делать».

Постепенно голова его обретала ясность. Видя, как Поздышев укладывает парашютные тюки, он вспомнил

разговор синоптика и Хоботнева. Синоптик уверял, что будет гроза, ссылаясь на свой ревматизм.

Сводка была совершенно благополучная, абсолютно благополучная, и, вероятно, поэтому синоптик настаивал на достоверности своего личного указателя — ревматизма. Если бы ему разрешили по этому указателю составлять сводки, он был бы спокоен. Поздышев и ребята смеялись над синоптиком, но Хоботнев не смеялся.

В самолете налаживалась привычная жизнь. Листали бортовые журналы; Вера Матвеевна, как обычно, потеряла ноль; один Ричард сидел безучастно, с остановившимися глазами, и Крылов сразу обратил на это внимание, потому что такое состояние для всегда подвижного, азартного Ричарда показалось ему странным.

«Неужели догадывается?» — подумал Крылов, вспомнил свою стычку с Олегом, и настроение его упало. Утешать Ричарда было нечем, все оказалось слишком запутанно. Тулин поступил некрасиво, и Крылов чувствовал себя виноватым за него. Он попросил Ричарда проверить ему схему грозоуказателя и поручил вести записи по своему стенду.

Ричард отчужденно кивнул, Крылов вспомнил, как тогда, в Ленинграде, потеряв Лену, он надеялся на целебную силу работы и как из этого ничего не получалось. Тот Крылов валялся в отчаянии на кушетке, не желая ничего слушать, понятия не имея о том, что вскоре он поедет к Голицыну, что работа там пойдет хорошо, что он защитит диссертацию, встретится с Наташей. Для того Крылова не существовало будущего, и будущее ничем не могло помочь. Даже если бы он знал, как оно выглядит, все равно это ничего бы не изменило, потому что все то, что случилось, произошло уже с другим Крыловым. Приходится пройти через все это, думал Крылов. Ричарду сейчас нет дела ни до какого грозоуказателя. Мы всегда утешаем других тем, что не могло утешить нас.

Где-то возникла знакомая, чернильно расплывающаяся тоска, и он привычным усилием подавил ее, с грустью отметив, что это удается ему все легче. Он сравнил свою тоску по Наташе с тем, что переживал Ричард, и, как сильный к слабому, как старший брат к младшему, почувствовал к Ричарду нежность. «Не следовало брать его в полет,— подумал он.— В таком состоянии нельзя летать».

...Потом он отчетливо вспомнил, что в ту минуту он посмотрел на парашют Ричарда, лежащий в кресле, вспомнил об инструкции, но ничего не сказал, поймав взгляд Ричарда.

«Пусть он попробует!— думал Ричард.— Я ему выскажу, я ему все выскажу! Жаль, что Крылов отошел, ничего не сказав. Как хорошо было бы выложить ему насчет Тулина, полюбоваться на его физиономию, распотрошить его дружка, вывернуть наизнанку... Ах, Тулин, ах, образец, ах, кумир, талант! Не правда ли, таланту позволено все, любая подлость? Как же, он талант!»

Нет, то была не ревность. Глупо осуждать человека, которому понравилась Женя. Он скорее гордился, когда мужчины обращали на нее внимание. Женя могла целоваться с Алешей и кокетничать с Поздышевым, в институте за ней таскался капитан баскетбольной команды, несколько раз Ричард уличил ее: говорила, что будет заниматься, а сама уходила с этим верзилой на вечеринки,— и все это было ерунда, уж скорее он ревновал ее к артисту Медведеву, которым она восхищалась, к Маяковскому, к Жолио-Кюри, к тем, кого не превзойдешь. И лишь о Тулине он не подумал. Расписывал его достоинства, старался.

Тулин был идеалом. Тулин был тем, чем хотел стать сам Ричард. Нельзя же подозревать и остерегаться самого себя.

Даже тогда, на мосту, виновата была одна Женя, при чем тут Тулин, за Тулина он был спокоен, он мог в любую минуту сказать: «Олег Николаевич, чего-то Женя тут наморочила». Они бы объяснились по-мужски, и Тулин сказал бы: «Отличная девка, но наша дружба мне дороже. Женя тебе нужнее, не беспокойся».

Страшно было другое: Женя могла начать сравнивать их — перед этим сравнением Ричард был беспомощен, он сразу становился жалким щенком. Тулин, конечно, староват, зато красив, штук двадцать научных работ, знает массу веселых историй, говорят, что девчонки любят тех, кто старше. Сравнение с Тулиным не выдержит никто.

До сих пор он думал, что Тулин ничего не подозревает... Но раз Тулин согласился отправить его в Москву, значит, Тулин знал про него и Женю,— знал и решил

отделаться. Расчетливо взвесил все обстоятельства — неважно, что Ричард пишет диссертацию о тулинском методе, что рассорился с Агатовым. По сути, тоже из-за Тулина. А что, если Тулин ничего не знал о нем и Жене? Господи, все бы отдал, чтобы Тулин ничего не знал! Может, Агатов нарочно?

Машинально записывая показания, он искал оправданий Тулину, нагораживал случайности, при которых Тулин мог ничего не знать.

Грифель сломался, и Ричард оглянулся на кресло, где обычно сидела Женя, и тотчас вспомнил тот полет, болтанку, Тулина, склоненного над Женей, и поцелуй. Этот поцелуй он увидел только сейчас, тогда он не видел, не обратил внимания, и ему и в голову не могло прийти.

Значит, все, что было потом,— притворство, и Тулин и Женя, они сговорились, конечно, они действуют в сговоре, они оба хотят, чтобы он уехал. Они предали его, эти два человека, которых он любил. Он увидел ее коричневые глаза, влажные губы и глаза Тулина, его губы.

В просвете облаков мелькнула земля, и там тоже были их глаза, их губы. Улыбающиеся, смеющиеся губы. Они смеялись над ним. А он, как собачка, ходил за Тулиным, повторял его изречения, подмигивал по-тулински, научился переходам на жесткий, медлительный голос.

Не существует дружбы. Принципы — это слова. Правды нет. И чем может помочь ему правда? Когда-то он верил в ее могущество, а она бессильна перед ложью. Правда ничего не может.

Совсем близко лицо Агатова. Запах одеколона. Гладкая, туго натянутая кожа...

— ...не сменили батареи... Переключить питание...

...как белый экран. На нем можно показывать любую картину, она не имеет никакого отношения к киномеханику, сидящему где-то в будке. Агатов знает, что ему нужно. В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются...

— Мне все равно,— сказал он.— Берите батареи, делайте что хотите.

...подлецам вроде Тулина. Они сейчас там, вместе, вдвоем с Женей, она переоделась в полосатую маечку...

— ...должны за него ишачить,— сказал Агатов и улыбнулся.

...Чему же тогда верить? Они еще надеются водить тебя за нос.

Агатов спросил, почему не сменены батареи, приборы сели.

Взгляд Ричарда оставался бессмысленным. Тогда Агатов сам пробрался к батареям, отключил питание грозоуказателя, установленного на пульте пилота, и вместо него подключил свой прибор. Когда потребуется Крылову, можно будет переключить обратно, но он знал, что это не потребуется, потому что они не имеют права заходить в грозу, да, кроме того, он не очень-то верил в этот грозоуказатель, так же как он не верил во всю работу Тулина. Он презирал всю эту рискованную, мудреную затею и ту серьезность, ту страсть, которую Тулин и его поклонники вкладывали в любую мелочь. За это время, с этими усилиями можно было сделать пять, десять выигрышных, безопасных научных работ, опубликовать их, получить докторские степени.

Вместе с Алешей он начал измерять капли. По сигналу Алеша вставлял патрон с промокательной бумагой, вынимал патрон, и они отмечали размеры пятна и показания приборов.

Ричард пошел за карандашом к Алеше. Крылов сидел на ручке кресла, загораживая проход.

— Ты плохо себя чувствуешь?— спросил Крылов.

— Не беспокойтесь, я здоров.

— Ты что-то изменился за последнее время.

— О, я и сейчас меняюсь. Обожаю меняться. Я все время меняюсь.— И Ричард подумал, что когда-то он верил в Крылова.

— Что случилось?

— Ничего. Пустяки. Просто я узнал, как меня защищал Тулин.

Чувствуя, что краснеет, Крылов разозлился.

— Не валяй дурака. Ты ведешь себя как мальчишка. Ни черта ты не понимаешь. Пора бы уже научиться... Человек есть человек, но его дело — это наше дело.

Ричард усмехнулся в лицо Крылову.

— Я уже не мальчишка. Я стал взрослым, таким же, как вы и Тулин. Вы все понимаете, вы все умеете разделять. Вы так много понимаете, что можете ни во что не верить.

Он взял карандаш, вернулся на место, положил на дощечку таблицу и принялся заполнять ее. Утешает. Стыдно за своего друга. Работай на Тулина. Сам небось спорит с ним, а другим предлагает смириться: смирись во имя идеи, прикидывайся, будто ничего не произошло. Нет, Сергей Ильич, вы тоже уступаете вашему Тулину. Я не могу так. А как же? Что же остается? Человек и его дело?

Он вспомнил, почему Крылов ушел от Голицына. А Тулин — тот не ушел бы. Крылов поступил глупо, освободил место Агатову, из-за этого страдает дело, страдает лаборатория, но Крылов ушел, а Тулин не ушел бы. Противоречивое, временами нелепое поведение Крылова неожиданно обретало какой-то сокровенный смысл, еще неясный, как-то связанный с тем главным, что терзало сейчас Ричарда.

Что могли значить слова Крылова? Возможно ли, что он тоже давно уже разочаровался в Тулине, но продолжает работать, потому что верит в дело, потому что дело — это больше, чем Тулин и чем дружба?

Отомстить Тулину. Найти слабые места в его работе, хотя бы те, на которые указывал Крылов, раздраконить эти места, расписать их. Агатов возликовал бы, и Крылов не смел бы пикнуть: он же сам твердил, что для разных грозовых облаков поле убывает по-разному и до сих пор не нащупана закономерность. Пересесть сейчас к Агатову. Каких-то полтора метра перейти. Легче легкого. Он имеет на это полное право. Но он чувствовал, что не в состоянии это сделать. И больше того, понимал, что будет по-прежнему вместе с Крыловым помогать Тулину. Он без этого не может. Это уже его собственное.

А что, если его оправдания — от слабости? Слабость? Нет, он не чувствовал в себе слабости, может быть, наоборот, сейчас у него появилось то высшее чувство преданности истине, которым живет Крылов.

Из окна самолета виднелись квадраты полей, сбегающие с гор. Ниточки дорог. Поселки выстроились правильными кубиками. Сверху земля выглядела упорядоченной, все на ней было правильно. Было видно только главное, большое. Как будто он поднялся над собственной жизнью.

Люди приходят и уходят. Что же остается от каждого на этой земле, кроме могильного холма, невидного и незаметного с высоты? Исчезает все — города, импе-

рии, целые культуры; устаревают машины, книги, сменяются науки. Остается лишь одно — стремление к истине. Оно передается от поколения к поколению, сквозь любые разочарования, катастрофы. Когда-то он размышлял над смыслом жизни. Ходил на диспуты. Писал записки докладчику. Сколько споров было! Сколько цитат, ссылок! Может быть, то, к чему он пришел сейчас, не открытие. Но для него это откровение и поддержка. Откуда взять сил? Сегодня вечером, когда он увидит Женю и Тулина, что он скажет? Что скажут они?

ГЛАВА 6

Дорога крутилась между скал, то уводя в прохладную тень, то выбрасывая грузовик на каменный зной. И всегда внизу бурлила река. На пологих спусках шофер выключал мотор, сквозь шум гравия доносились звуки воды. Реки сменяли друг друга, неотступно сопровождая дорогу. Каждая река имела свой цвет, свою повадку.

Аянка вильнула в сторону, и началась другая река, названия которой Женя не знала; река эта была густо-зеленая, как хвоя, и текла она неровно, то разливаясь плесами, то вспыхивая пенистыми перекатами.

Желто-белые бомы, гладкие огромные каменные столбы, нависали над дорогой. В зеленых долинах застыли гурты овец, похожие на перистые облака.

На поворотах Женю бросало к Тулину, она чувствовала плечом его плечо. Однажды он поддержал ее, обняв за пояс. Женя старалась отвести руку, он стиснул ей пальцы и сказал:

— Скоро начнутся дубовые рощи.

Он сам отнял руку, и Женя крепко схватилась за скамейку. Они ехали в открытом кузове грузовика и старались не смотреть друг на друга. У каждого из них была своя сторона дороги.

Тулин чувствовал напряженное ожидание Жени. Это волновало, он знал, что это ожидание будет нарастать, пока настороженность не уступит место нетерпению. Все перипетии этой старинной игры были хорошо им изучены. Если он сейчас попробует поцеловать Женю, то она возмущенно оттолкнет его, назовет нахалом и будет дуться. Правда, всерьез она не обидится; ни одна женщина не может всерьез обидеться на подобное, по-

тому что это не оскорбление, это скорее дань восхищения. И женщины это прекрасно чувствуют.

Как хорошо, что он может свободно думать об этом. Ему не забыть жалкого вида Крылова в истории с Леной. Да и с этой, другой, чья фотография стояла на столе, тоже что-то сложное. Бедный Серега, всегда ему достаются слишком сложные ситуации. Он все принимает всерьез, как будто любовь нуждается в размышлениях. Здоровая доля цинизма — вот что гарантирует от ненужных переживаний. Сейчас они тем более ни к чему. Любвеустойчивость — хорошая штука в период напряженной работы. Надо уметь подчинить себя разуму. Рационализм? Ну и что ж, ничего зазорного в рационализме нет. Мы живем в век рационализма. Чувства, всякие эмоции мешают разуму, а волнения, особенно сердечные, отвлекают. И все же как приятно чувствовать волнение Жени! Дать ей влюбиться? Не стоит. Нехорошо. Но если она может разлюбить Ричарда и влюбиться в него, значит, она не по-настоящему любит Ричарда, чего же ради страховать ее от ложных чувств? Естественное развитие — самое лучшее и правильное развитие.

Зеленые лавины лесов катились с отрогов гор все гуще, все зеленей. Снижаясь, дорога уходила в пятнистые рощи, рассекала шумные поселки и снова ныряла в густую цветущую зелень кленов, синеглазых сливовых плантаций, и вдруг из-за поворота навстречу ударил свет. Казалось, этот солнечный, начинающий припекать день не мог стать светлее, а вот стал. Мягкий струистый свет вырвался откуда-то снизу, как будто его излучала сама земля навстречу слепящим бликам солнца, рассыпанным в листве. Тени посветлели зыбкой синью. Воздух заголубел, приобрел подвижность.

— Море,— сказал Тулин.

Женя вскочила, в лицо ударило серебряное, огромное, видное с высоты далеко-далеко. С каждым поворотом дороги оно раскрывалось все глубже. Его свет трепетал на лице Жени, и всей кожей она чувствовала его прикосновение. Глаза ее широко раскрылись, вбирая громадность моря и раскинувшийся внизу белый, нарядный город, длинный мол, игрушечные кораблики у пристани, расходящийся след от парохода. Свежий ветер обдувал ее щеки.

— Как здорово!— сказала она.

Руки Тулина сжали ей голову, повернули к себе, и она увидела рядом его глаза, тоже заполненные этим серебряным светом. Женя рванулась, но тотчас почувствовала крепость его рук, увидела жесткую морщинку на переносице и вдруг подумала, что Ричард никогда не осмелился бы вот так обращаться с ней. Она стиснула губы и закрыла глаза.

Секунда, которая длилась затем, состояла из многих отдельных событий: оранжевые спирали завертелись на смеженных веках быстро, медленней, остановились, замерли в ожидании. Потом снаружи что-то изменилось. Она открыла глаза. Тулин по-прежнему смотрел на нее. Но теперь он улыбался и смотрел издали. Женя попробовала разнять его руки. Он не двинулся, он смотрел на нее и задумчиво улыбался.

— Пустите меня сейчас же! — сердито крикнула она.

Он словно не слышал. Она была уверена, что он не видел ее, он смотрел куда-то дальше.

Вздохнув, он разжал руки. Она отстранилась, негодуя от испытанного унижения. И поняла, что он отпустил ее не по ее требованию, а потому, что сам захотел так.

— Мне большого труда стоило не поцеловать вас, — сказал он.

Злость помогла ей справиться с собою.

— Трудитесь, трудитесь, может быть, вам удастся превратиться в человека.

— Я затрачиваю столько сил, борясь со своим чувством, — задумчиво продолжал он. — Видите ли, сейчас у нас такая страдная пора, что всякое увлечение — непозволительная роскошь. Надо экономить силы и время. Но, с другой стороны, расход сил на сдерживание чувств растет. Существует точка, где перестраховка станет невыгодной.

— Постройте кривую, — сказала Женя. — Сделайте график, найдите точку пересечения.

— Я нашел, — Тулин открыто посмотрел в глаза Жене. — Я решаю в уме не хуже Ричарда. У меня хорошие математические способности.

— Зачем вы мне испортили настроение? — сказала Женя. Она повернулась к морю. — Что это за башня на горе?

— Развалины древнего монастыря. Четырнадцатый век. Хотите конфетку?

— Спасибо.

— У вас брови круглые, как крылья ласточки.

— А что... вот там?

— Элеватор. Правее театр, а слева, у мыса, стадион. Далее идут санатории, остальные достопримечательности лучше всего узнать из путеводителя. Я преподнесу его вам. Впервые я вижу глаза, которые могут так меняться. Я хочу рассказать, какой я вас вижу.

Вдохновение помогало ему найти безошибочный тон и точные слова. Стоило хоть где-то сфальшивить, выбрать чересчур восторженное выражение — и вся постройка рухнула бы. Но Тулин уверенно скреплял ее безразличием человека объективного, грубоватостью мужчины, не умеющего говорить комплименты, иронией, которой прикрывают восхищение.

Постепенно ее насмешливо-надменная улыбка исчезала. Больше она не пыталась прерывать, он понизил голос, некоторые слова его заглушал шум машины, и тогда она слегка наклонялась к нему. Он наверняка знал, что никто никогда еще так откровенно не описывал ее глаза, руки, фигуру, ее жесты, походку. Чувствуя ее волнение, он испытывал некоторую горечь и зависть. Ему тоже хотелось не знать, что будет дальше, но он-то знал все наперед.

Теперь он мог взять ее за руку. Но он не взял. Когда на повороте его качнуло к ней, он почувствовал ее грудь и спокойно отстранился. Медлительность и перерывы составляли сами по себе удовольствие.

Машина подъехала к складу. Тулин уговорился с Женей встретиться через полтора часа в кафе у пляжа.

То, что он слышал о Богдановском, руководителе крупнейшего управления, никак не вязалось с этим дочерна загорелым, будто закопченным человеком, похожим на мастера тракторных мастерских. Сапоги гармошкой, ковбойка, тюбетейка, цепкие, железные пальцы — в его облике странно соединялись рабочий с мужичком.

И конторка, где принимал Богдановский, с беленькими занавесками, простеньким желтым столиком, письменным прибором из красной пластмассы, тоже напоминала кабинет какого-нибудь районного начальника.

Тулин был разочарован. Маскарад? Но невозможно было представить Богдановского среди ковровых про-

сторов московского кабинета, в черном костюме с галстуком.

С видом снисходительным и подчеркнуто вежливым (ученый в гостях у мастерового) Тулин осведомился, чем он может быть полезен.

Позже, передавая Жене подробности разговора, он никак не мог понять, каким образом Богдановский, незаметно ускользая от ответа, за несколько минут изменил положение, заставив Тулина отвечать, доказывать, оправдываться, упрашивать. С ловкостью фокусника орудуя короткими вопросами и междометиями вроде «ну», «а-а», «ойя», Богдановский отсекал все лишнее, вытаскивал суть дела, часто невыгодную для Тулина, схватывая на лету, казалось бы, чисто научные тонкости.

Под взглядом его жуликоватых маленьких глаз Тулин, пожалуй, впервые почувствовал перед собой собеседника, соображающего быстрее и лучше.

За каких-нибудь двадцать минут Тулин против своей воли изложил состояние исследовательских работ группы, основные организационные трудности и ближайшие перспективы. На любом совещании ему потребовалось бы на то же самое не меньше двух часов.

Стоило упомянуть про денежные затруднения, как Богдановский стал допытываться о причине сокращения ассигнований. Тему хотят передвинуть в какой-то резервный план. Почему? Считают ее ненадежной, то ли получится, то ли нет. А есть на это основания? Таких оснований нет, пока результаты успешные, просто слишком проблемно, ну и рискованно. Но вначале-то не боялись? Следовательно, что-то изменилось? Может быть, повлияли чьи-нибудь отзывы? Чьи же?

— Ну, кое-кто из учеников Денисова,— неохотно сказал Тулин.

— Но Голицын ведь тоже против?— Богдановский уколол его быстрым взглядом.

Тулин хотел сказать: «Так, значит, вам все известно?» — но тут же мысленно продолжил диалог:

Богдановский: «Разумеется, я навел справки».

Тулин: «Что ж мы теряем время?»

Богдановский: «Я-то не теряю, я узнаю не обстоятельства дела, а вас».

Такой оборот был невыгоден, поэтому он задумчиво и неторопливо сказал вслух:

— О, Голицын — это отдельная история! Я как раз собрался приступить к ней.

— Не стоит. Все ясно.

И тут Богдановский несколько отвлеченно изложил следующие обстоятельства. Допустим, имеется некое месторождение в горах. Там сейчас работает экспедиция. Это район частых гроз, авиация не в состоянии обеспечить связь и регулярное снабжение. В ближайшее время необходимо разворачивать добычу. Спрашивается, возможно ли проложить бесперебойную и безаварийную воздушную дорогу через грозы и данный район?

Отработанные условия напоминали алгебраическую задачу, которую Богдановский, очевидно, задавал не впервые.

Тулин сразу оценил, какие огромные возможности открывает перед группой предложение Богдановского,— можно будет самым эффектным способом опробовать новый метод, работа группы получает независимость, конкретные сроки, адрес, размах, поддержку.

Сдерживая радость, Тулин произнес как можно неохотнее:

— Попробовать, что ли.

Богдановский понимающе усмехнулся.

— Сколько времени понадобится? Обеспечим вас всеми средствами.

— Так не бывает.— Тулин засмеялся, обдумывая ответ.

— Имейте в виду, десять лет меня не устроят, назовете месяц — не поверю.

Тулин чувствовал, как за этим высоким, отвесным лбом взвешивается каждое его слово. Это был экзамен. Надо было сдать его на «отлично». Он спросил:

— Вам когда-нибудь приходилось заниматься научной работой?

— А вам когда-нибудь давали задание найти за год залежи, допустим, кадмия?

Они посмотрели друг другу в глаза и засмеялись.

— Вы ждете, чтобы я назвал срок?— спросил Богдановский.

Тулин кивнул.

— Полгода. Реально?

— Год,— сказал Тулин.

— Вам уже удается отличать поля гроз от полей ливней?

— Однако! Вы хорошо осведомлены.

Богдановский выжидающе молчал.

— Кто ж это вас информировал?

Богдановский нахмурился.

— Давайте условимся,— сказал Тулин,— научные заботы — наши заботы.

— Хорошо. Самоуверенность всегда полезна. Тогда нужны гарантии.

— То есть?— Тулин не поспевал за скачками его рассуждений.

— У вас кот в мешке,— нетерпеливо пояснил Богдановский.— Развязать не хотите. Ваше право. Денег надо много. Деньги государственные, не мои. Давайте гарантии.

Тулин развел руками.

— Расписку?

— То-то. Правда ваша...— Он прищурился.— Честолюбие кое-что весит, но недостаточно. Сколько денег надо и прочего?

Когда они занимались подсчетами, в кабинет вошла молодая женщина. Крепкие, круглые щеки, большие серые глаза. Что-то знакомое почудилось Тулину в ее облике. Почувствовав вопросительный взгляд, она недоуменно посмотрела на него. Ничего не отразилось на ее лице. Она видела его впервые, а между тем он знал ее. Откуда? У него была отличная зрительная память, и то, что он не мог вспомнить, раздражало его.

Богдановский называл ее Наталией Алексеевной. Получив подпись на бумаге, она ушла.

— Вся соль в том, что я не имею права ошибиться,— сказал Богдановский, разглядывая листок с записями.— У вас в науке ошибки плодотворны, во всяком случае, неизбежны... У нас они просто исключаются. Прорубать дорогу в горах? Сотни миллионов. И время. А сколько стоит время? Во сколько вы цените месяц своей жизни?

Тулин улыбнулся.

— Вы правы.

— А два года для государства — это, может быть, тоже бесценно. Тысяча дорожников затратит два года. Две тысячи лет человеческих. Зато надежно. И зато поздно.

— Вспомнил!— вдруг сказал Тулин.

Богдановский запнулся.

— Простите,— сказал Тулин.— Я вас слушаю.

Риск был слишком велик, чтобы Богдановский мог сразу принять решение. Предстояло взвесить множество «за» и «против», и одним из важнейших среди всех обстоятельств был человек, сидящий перед ним. Как ни крутись, но в конечном счете многое сводится к таланту одного человека, способного или не способного быстро разрешить проблему. Если бы можно было посадить на это дело сто ученых! Но в том-то и дело, что в науке количеством не всегда возьмешь, тут часто решает чья-то догадка, чье-то озарение. В тщетной надежде он вглядывался в Тулина, пробуя представить, что творится в этой голове. К сожалению, всегда в конце цепи оказывается один человек. На одном конце один, на другом конце другой. Другим был он сам, Богдановский. Между ними расположились месторождения руды, будущие рудники, экспедиция, заводы, для которых предназначена эта руда, самолеты, исследовательские группы, дорожники, судьбы тысяч людей. Так или иначе, все, что должно быть сделано, будет сделано, оно не зависит ни от Тулина, ни от Богдановского, но *так или иначе* — вот в чем суть. Можно сделать так, можно иначе. Всегда все сводится к «да» и «нет». Много лет ему приходится выбирать между этими двумя ответами. В сущности, то же самое делает кибернетическая машина. Он старался быть точным, быстрым, как машина. Кое-кто упрекал его за это, называл бездушным. В их устах «машина» звучало осуждающе. Почему? Ведь машина — дитя человеческой мысли. В нее вложено лучшее из того, до чего дошло познание. Почему можно учиться у книг и стыдно учиться у машины?

Он не имел настроений. Благодаря этому он мог учитывать настроения окружающих. Он учитывал жалость, слабость людей. Но для этого у него самого не должно было быть никаких слабостей. Он привык посылать людей в тайгу, в горы, взваливать на себя ответственность за решения, меняющие облик страны, он знал себя и был спокоен. Тут же ему приходилось, в сущности, перекладывать ответственность на другого. Кто он, этот красивый парень с умными, веселыми глазами, немного хитрый, немного фатоватый, немного нахальный?

Хотелось верить ему, и что-то настораживало.

«Слишком эмоционален»,— думал Богдановский.

— Итак, считаем, что дорога ваша накрылась,— сказал Тулин.

Богдановский промычал и непроницаемо заулыбался.

— Вы не пожалеете,— пообещал Тулин.— Вы войдете в историю науки. Я уверен, что эффект превысит наши предположения.

«Хотел бы я знать, в чем ты уверен,— думал Богдановский,— в себе ты уверен или в деле своем уверен?»

Разыскав в одной из комнат Наталию Алексеевну, Тулин попросил ее выйти в коридор.

— Вы Наташа?— спросил он.

Она настороженно кивнула.

— Я вас узнал...

Она спокойно ждала.

— ...по фотографии. Отгадайте, где я мог ее видеть.

Она развеселилась.

— Это что у вас, способ знакомиться?

— На карточке вы были в свитере с двойной полоской.

А сейчас она была в синем халатике с закатанными рукавами, загорелая, высокая. Он был слегка разочарован. Почему-то он представлял ее себе томной, грустной, маленькой. Перед ним была спокойная, уверенная в себе женщина, и лишь в глазах, добрых, мягких, сохранилась та самая Наташа, которая запомнилась ему.

Разговаривать с женщинами Тулину всегда было легче, чем с мужчинами, однако здесь он натолкнулся на нечто особое. Несмотря на загадочные фразы, сам по себе он, видимо, не возбуждал у нее любопытства. Казалось, что лишь по доброте и деликатности она не уходит.

Он протянул ей руку.

— Тулин Олег Николаевич.

— И что же дальше?

— Значит, вам ничего не известно обо мне. Безобразие! А я кое-что знаю о вас. Заиндевелая роща. Лыжи. Снег на вязаной шапочке. Два часа я оставался наедине с вашей фотографией, пока не пришел хозяин.

— Моя фотография...— Она сразу застыла.— Так вы Тулин! Ну да, конечно...— Глаза ее блеснули, но она ничего не спрашивала...

— Ну, если вам и это неинтересно, то прошу прощения. Я был прав.

— В чем?

— А когда доказывал Сереге, что не стоит к таким вещам относиться серьезно.

— Где он? Как он? Когда вы его видели?..

Он посмотрел на часы.

— К сожалению, я спешу.

Следовало бы разыграть ее, но он увидел, что для нее это слишком серьезно. И в нем шевельнулось что-то вроде зависти.

— Ладно, молитесь на меня. Крылов со мною. Нет, не здесь, в сотне километров отсюда. Хотите адрес? Этот меланхолик сойдет с ума, когда узнает, что я вас встретил.

— Не говорите ему ничего. Я сама.

Не доверяя своему чутью, он спросил:

— Вы не хотите видеть его?

Должно быть, она отлично владела собой. Мягко и доверительно-просто она сказала:

— Да, пожалуй, уже поздно. Не стоит. Так будет лучше.

Она была не из тех, кого можно расспрашивать или уговаривать. Но все же она была женщина, и Тулин достаточно хорошо их знал.

— Вот вам адрес.

Бедняга, подумал он про Крылова, не так-то ему будет просто с ней.

ГЛАВА 7

Наконец-то им повезло. Они разыскали мощные кучевые облака с высокой напряженностью. По просьбе Крылова Хоботнев сохранял высоту, и можно было замерять распределение напряженности, и заряд самолета, и заряды капель, и спектр капель. Приборы, словно нож, вскрывали внутренности облака.

Сотни, а если во всех странах, так уже тысячи полетов в облаках, километры пленок, заснятых на регистраторах, выяснили лишь бесконечную сложность процессов, творящихся в этом кипящем котле природы. Хаос случайностей. Несхожие, неповторимые по внешнему виду и в своем строении, в механизме взаимодействия зарядов, они порой казались отчаявшемуся Кры-

лову вдохновенной композицией господа бога. Кое-какие закономерности постепенно удавалось нащупать, но внутренняя сущность происходящего в этом сером тумане оставалась тайной, слепой игрой природы. Почему-то в каплях вдруг менялись заряды, где-то самолет переходил из областей положительного поля в отрицательное. Капли сгущались, росли, начинался ливень. Почему? Как?

Толстый слой воды струился по стеклам. Крылов подавал сигнал. Вспыхивала лампочка, и тотчас каждый начинал свои замеры. Никто не замечал толчков, болтанки. Хоботнев, оборачиваясь, видел напряженные лица, склоненные над приборами,— азарт, нетерпение словно подталкивали его в спину.

Крылов стоял рядом, рисовал в планшете облако. Был он в обычном своем клетчатом пиджачке, длинные руки далеко вылезали из рукавов, брюки пузырились на коленях, и Хоботнев чувствовал, что небо для Крылова — лабораторный стенд, на котором разложены специально приготовленные облака. Ему нравилось работать с Крыловым. Действия Тулина большей частью неожиданны и непонятны. Тулин что-то пересчитывал, решал на ходу, руководствуясь какими-то своими сложными соображениями. У Крылова все было проще, яснее, они методично прочерчивали облака вдоль и поперек, и Хоботнев понимал что к чему и помогал Крылову, чувствуя, что тот с непривычки стесняется командовать.

В двенадцать десять, выйдя из облака, Хоботнев заметил, что вокруг что-то изменилось. Он не мог еще сказать, что именно, то было просто ощущение тревоги, идущее от смены красок, от нагромождений облаков, как будто за прежней беспорядочностью вдруг обнаружился какой-то угрожающий замысел.

По сводке грозе полагалось быть за сотню километров отсюда. Хоботнев покосился на грозообходчик. Стрелка быстро поднималась. А солнце по-прежнему ярко светило, и нежно-золотистые облака выглядели невинно, успокаивающе. Он приказал Поздышеву запросить обстановку. Крылов вернулся из салона сияющий.

— Отличные данные!— крикнул он.— Очевидно, мы поймали как раз момент формирования. Удивительные скачки напряженности.

Хоботнев посмотрел на его довольную курносую физиономию и начал круто разворачивать самолет для следующего захода.

Выйдя против солнца, он вдруг не то чтобы увидел, а почувствовал слева от себя бледную вспышку. В ту же секунду он услыхал в наушниках голос Поздышева: «Гроза идет с запада, фронт быстро распространяется». Но Хоботнев уже сообразил, что гроза и справа, и слева и нужно прорываться сквозь оставшийся коридор — разумеется, если он еще существует. Он с силой взял штурвал на себя, делая «горку» перед самым облаком. Разворот еще не был кончен, самолет прижало к краю высокого облака. Они зашли в тень, и в это время прямо перед Хоботневым ударила лиловая молния. Пронзительный свет ее ослепил Хоботнева, машина вильнула, отовсюду посыпались искры. Вместо приборной доски перед Хоботневым прыгало что-то темное, пронизанное зелеными и лиловыми огнями. Он знал, что зрение сейчас вернется, но эти утекающие мгновения и метры многое решали.

Хоботнев был отличным летчиком. Он давно усвоил, что самые быстрые решения — самые верные. Гроза сомкнулась, выход захлопнулся, они попали в узкий клин, и, чтобы развернуться в обратном направлении, им придется войти в грозу. И все будет зависеть от того, насколько им придется углубиться, и как скоро движется гроза, и как ему удастся выполнить разворот, и сумеет ли он там выдержать максимальный крен, и правильно ли он снизил скорость, но, кроме того, он знал, что все его расчеты и намерения там, в грозе, могут ничего не стоить.

Резь в глазах утихла, он смахнул слезы, на черной шкале грозообходчика стрелка поднялась до двенадцати, компас, локатор вышли из строя, в кабине стоял дымок. В последний раз увидел в узкой щели солнце и такие невинные жемчужные опалы облаков. Затем все померкло, и машина вошла в быстро сгущающуюся тьму.

Второй пилот зачарованно следил, как по колпаку, треща, прозмеился фиолетовый разряд. Поймав быстрый взгляд Хоботнева, второй пилот вздернул голову.

— Здорово!— Хриплый голос его был преувеличенно весел.

Мальчишка, подумал Хоботнев, знает грозу по рассказам, поэтому боится и не боится ее.

Он почувствовал, что Крылов вернулся в кабину, встал за спиной и что-то спокойно записывает. Понимает он, что происходит, или ни черта не понимает?— спросил себя Хоботнев. Он увидел, что Крылов наклонился и показывает ему пальцем на подвешенный сбоку указатель центра грозы. Хоботнев кивнул, картушка указателя болталась возле нуля. «Все равно, пусть наденут парашюты»,— сказал он в ларингофон Поздышеву.

С этой минуты он уже не замечал ни Крылова, ни того, что творится позади, в салоне, где, помогая друг другу, поспешно надевали парашюты, подтягивали лямки; он видел только картушку указателя, скорость и высоту, скорость и высоту и беспросветную адскую круговерть там, за тонкой оболочкой колпака, тьму, пронизанную взмахами молнии, куда входил самолет.

Воздушный поток с силой ударил в плоскости. Все затрещало, и этот треск и дрожь самолета передались Хоботневу. Тяги́ напряглись. Он физически чувствовал, как скрипят тросы, как будто натянулись до предела, до боли его собственные сухожилия.

Резкие толчки, затем крик Агатова вывели Ричарда из оцепенения. За окном творилось что-то ужасное. Магниевые вспыхи разрядов с грохотом били прямо в стекло. На мгновение внутренность самолета освещалась с пронзительной яркостью. Пустые кресла. Блеск приборов. Бледные лица. Не от страха, просто такое освещение. Обрушивалась тьма. И тогда возникали края плоскостей — они вздрагивали и светились нежно-розовым сиянием короны. Никогда еще Ричард не видел такой отчетливой и яркой короны. Он включил регистратор на максимальную скорость, торопясь измерить заряженность самолета. И счетчик разрядов. И самописец указателя центра... Торопясь, жадничая, он заносил показания, переключал, только бы не напутать! Как они попали в грозу — случайно, нарочно,— выяснять было некогда. Вот он, тот самый счастливый случай — редчайшая возможность поймать, ухватить, измерить драгоценные данные. Тут, совсем рядом, за стеклом, зона, где возникают молнии, где-то поблизости — центр грозы, святая святых и тайное тайных.

Горечь недавних раздумий исчезла, смытая яростью грозы. В нутро ей залезли, в самые печенки. Вот она, решающая проверка расчетов Тулина, его указателя, его метода. Неважно, что у меня с ним произошло, не-

важно, как я к нему отношусь. Все это ерунда. Идея его справедлива, и я служу ей, я иду за ней. Ведь редко бывает так, чтобы идея и ее создатель были одинаково хороши. Да и какое дело науке до наших ссор? Главное — заполучить истину. Настал миг, когда к ней можно приблизиться, эта случайность нам поможет, наконец-то мы забрались в центр...

Алеша помогал Вере Матвеевне пристегнуть парашюты. В проходе в него вцепился Агатов.

— Идите к Хоботневу!— кричал он.— Я приказываю повернуть назад!— Бледно-зеленое лицо его подпрыгивало, он пытался распустить ремень, но боялся, и руки его хватались за подлокотники.

Алеша стал пробираться в кабину. По дороге он увидел Лисицкого, который торопливо отхлебывал из баклажки.

— Хочешь?

— Потом!

Поздышев сидел за рацией и морщился. Радиосвязь нарушилась. Вначале он пытался узнать обстановку — может быть, известна высота грозы. Теперь ему просто хотелось сообщить, что радиокомпас отказал, пилотажные приборы зашкалило, потеряна всякая ориентация,— по всей видимости, их относит вместе с грозой в горы. Они заблудились среди этой взбешенной мути; кто знает, может, земля слыхала их голоса, но ответа не было. Как будто им чем-то могли помочь с земли! И все же Поздышеву хотелось, чтобы там знали, услышать оттуда в ответ хоть слово, выругали бы, что ли, лишь бы избавиться от этого чувства безвестного одиночества. Но на всех волнах в наушниках завывала, свистела, улюлюкала беснующаяся гроза.

Знать бы, что внизу нет гор, можно попробовать както посадить машину, хотя бы пройти низом.

Прошли годы, столетия с тех пор, как Хоботнев вошел в грозу, надеясь как-то проскочить по ее краю. Не было ни края, ни лева, ни права, магнитный компас бешено вращался, машину швыряло как былинку, временами он не знал, где солнце, где земля. Да, да, земля с ее инструкциями и установками. «Сохраняйте горизонтальное положение, не увеличивать скорость, чтобы избежать опасных перегрузок» — все летело к черту, все было не так. Забраться бы вверх, только вверх, еще выше и все-таки выше, чтобы хоть как-то удержать в руках машину. Они держали ее уже четырьмя руками, но

кто-то рвал от них штурвалы и сбрасывал самолет вниз. Надрывно вопили моторы. Плоскости... он чувствовал, как страшно выгибаются плоскости. Уйти от центра грозы. Самое скверное — это центр грозы. Но где же центр? Куда уходить? Указатель не двигался. Этот чертов хваленый, знаменитый указатель — единственное, что помогло бы им как-то ориентироваться, единственный их шанс.

Было видно, как Крылов протиснулся к указателю, постучал по стеклу. Потом мелькнуло его лицо, отрешенно-задумчивое, настолько не соответствующее тому, что творилось, что Хоботнев выругался.

Крылов наблюдал за водой, струящейся по стеклам, за короткими склеротическими шнурами разрядов. Он вычислял, сопоставлял свои догадки, выработанные за последний год работы над грозой. Мозг его действовал методично и ровно, и никакие тревоги и страхи не доходили к нему. До последней секунды Крылов надеялся, что они болтаются где-то в периферии грозы. Нужно было время, чтобы убедиться в неисправности указателя. Но еще больше времени надо было, чтобы найти причину. Стукаясь головой о рычаги, стенки, он прощупал соединения — вроде все правильно. Тогда он направился в салон. Там все ходило ходуном. Поздышев возился у аварийного люка. Крылов увидел рядом Веру Матвеевну. Глаза ее были закрыты, она бессильно оседала на пол. Он поддержал ее свободной рукой, ее вдруг начало рвать.

Откуда-то перед ним очутился Агатов. Крылов сказал ему:

— Указатель скис. Узнайте у Ричарда.

Агатов что-то закричал, исчез, вместо него появился Алеша, подхватил Веру Матвеевну, куда-то потащил ее. Крылов попробовал добраться до регистратора указателя, за которым сидел Ричард. Громоздкий ранец парашюта цеплялся за кресла. Крылов крикнул Ричарду:

— Работает? Работает?

Ричард что-то ответил, но Крылов не расслышал, подался вперед, переступая через катящиеся под ноги футляры, баллоны, вдруг самолет швырнуло, пол выскользнул, Крылов полетел через кресла куда-то в угол, ударился коленкой о стену. Раздался хруст. Звук был такой громкий, что ему показалось, что ломается самолет. Его прижало к стене, он попробовал оттолкнуться и почувствовал, что нога не действует. Тогда он понял,

что, наверное, слышал, как трещала кость, и как только он это подумал, хлынула такая боль, что на несколько секунд он потерял сознание.

При нормальном полете, найди Крылов отключенный разъем указателя, Агатов не стал бы отпираться. Да, это он отключил питание указателя, установленного в кабине, и подключил свой прибор. Ничего особенного в этом не было... Ничего особенного, если бы они не попали в грозу. Но кто мог знать, что они попадут в грозу! Они не имели права, им было запрещено заходить в грозу, это нарушение всех правил и приказов. Он не виноват, что все так обернулось. При чем тут он? Все равно указатель не помог бы. Голицын не верил в этот указатель. И Агатов не верил. Он никогда не верил в эту тулинскую затею.

Когда Крылов крикнул ему, что указатель не работает, Агатов хотел признаться, бежать к Ричарду, подключить разъем, теперь он верил, нет, не то чтобы верил, но вдруг этот проклятый указатель поможет ориентироваться, может, будь указатель исправен с самого начала, ничего бы не случилось. Мысль эта парализовала его. Он мгновенно представил себе, что произойдет там, на земле: все взвалят на него, не выкарабкаешься, они отыграются на нем одном — его затопчут, под суд, конец... Страх сковал его. Страх был отчетливей и сильнее чувства опасности. Может, через несколько минут угроза собственной гибели заставила бы его забыть об остальном, но он не успел ни о чем подумать. Самолет швырнуло, какой-то ящик ударил его по ноге, он видел летящее тело Крылова и сам полетел куда-то, закричал, схватился за скобу.

Он оказался подле Ричарда. Свистящий ветер несся по салону — Поздышев открыл люк, и туда, всасываемые воздушным потоком, неслись листки бумаги, какие-то обрывки, веревки, плащи... У стены за креслом болтался на гибком шланге отвинченный разъем. Было чудом, что Агатов увидел среди этого кошмара отвинченный им самим разъем. Казалось, слышно, как разъем перекатывается и постукивает о металлический плинтус. Он увидел над собой Ричарда, почувствовал, как Ричард, схватив под руки, поднимает его, опомнился, вскочил и побежал к люку.

Крылов очнулся, когда Алеша волочил его по проходу. Искаженное, перекошенное лицо Агатова, позади

расплывчатая, сдвинутая, как на плохом снимке, фигура Ричарда.

— Кассеты! Кассеты!— закричал Крылов.

— Я возьму,— услышал он голос Ричарда.

— Помоги ему, кассеты указателя!— крикнул Крылов Алеше.

— Мать их так,— сказал Алеша,— нашли о чем думать!

Поздышев отстранил Агатова, давая дорогу Алеше с Крыловым.

— А где остальные?— Крылов уперся в проем люка, но Алеша ловко сбил его руку и, обхватив Крылова, вывалился в люк...

Перед Агатовым была спина Поздышева в синей куртке, перекрещенная ремнями парашюта. Подвижной стеной заслоняла она от него серый клубящийся проем. Размахнувшись, Агатов изо всех сил толкнул плечом в эту спину. Момент был выбран правильно — как раз Крылов и Алеша спрыгнули, Поздышев хотел обернуться, чтобы дать дорогу Агатову и Ричарду, но удар Агатова бросил его к люку, и его втянуло так, что мелькнули только ноги в хорошо начищенных ботинках.

Потеряв равновесие, Агатов качнулся, его бросило по проходу.

Ричард возился с кассетой. Как всегда бывает в таких случаях, ее заело, он рвал ее «с мясом». Рядом самописец бесстрастно продолжал вычерчивать кривую. И эта честная самоотверженность прибора успокоила Ричарда. «Работает?» — вспомнил он голос Крылова и вдруг сообразил: там, в кабине у Хоботнева, указатель не работал! Взгляд его метнулся вдоль проводки, туда, куда только что смотрел Агатов, и он увидел отвинченный разъем питания. Ричард протянул руку, но его обо что-то ударило головой. Раз. Еще раз. Он почувствовал кровь на лице, испугался, увидев Агатова, ползущего к люку, схватил его за лямку парашюта.

— Питание было отключено! — крикнул он.

Агатов обернулся. Ричард увидел его глаза и все, что там было.

— Так это вы!

— Пусти!

Агатов ударил его ногой и сам упал, рассадив лоб о железный выступ. Он почувствовал, как рука Ричарда,

державшая лямку, разжалась. Агатов схватился за края люка, подтянулся и перевалился...

Будь внизу равнина, Хоботнев пытался бы пойти на посадку, но внизу были горы, теперь он знал это точно, чутьем, выработанным за год полетов в этом крае. Приборы отказали. Был лишь авиагоризонт, по которому он пытался удержать машину от сваливания. Одна-разъединственная цель осталась у него — дать время всем покинуть машину. Иногда десяток-другой секунд ему удавалось сохранять высоту. Каким образом, он не понимал, гроза теряла его в этой кутерьме, потом спохватывалась, настигала и принималась швырять. От этой сволочной грозы можно ожидать чего угодно. Хуже нет такой тряски, тут-то люди сильнее всего калечатся. Гроза забирала машину, и с каждым мгновением машина дичала, становилась чужой, страшной. Улучив момент, Хоботнев приготовился, включил автопилот и побежал к люку. В салоне никого не было видно. Он был уверен, что Поздышев и второй пилот не подвели, они сделали все, что можно. Воздухом тянуло к люку. Ему не хотелось прыгать. На земле его ждали неприятности. Он грузно соскользнул вбок: самолет сразу же скрылся в серых клубах. На мгновение ему показалось, что он видит смутную тень, скользящую круто вниз.

Бесчувственное тело Ричарда еще несколько раз с силой швырнуло о стенки. Острая боль заставила его очнуться. Он открыл глаза. В самолете никого не осталось. Он почувствовал это сразу. Вязкая слабость окутывала его. Он не мог шевельнуться. Он чувствовал, что самолет кружится, несется к земле. Его прижимало к стенке, давило к прохладной металлической панели у самого пола, между креслами. И в детстве-то он терпеть не мог карусели, у него всегда кружилась голова. У церкви, возле старых пушек, устраивали карусели. Продавали длинные конфеты... Женя спросила: согласились бы вы увидеть свою смерть? Что он тогда ответил? Какая разница! Сейчас важно думать о другом. Надо выскочить. Выскочить любым способом. Но он не мог шевельнуться. Он не чувствовал своего тела. Оно болело где-то отдельно, рядом, боль была отдельной, и мысли его шли отдельно.

Никто не узнает про разъем, отвинченный Агатовым. Сейчас самолет грохнется, но я не умру. Будет очень

больно, может быть, я потеряю сознание, но я не умру. Я очнусь, все равно я очнусь. Рано или поздно я очнусь. Что бы ни было, я останусь. Куда же я могу деться?

Ничего я не успел сделать. Мама! Может, самолет упадет на деревья. Почему они меня бросили? Проклятая кассета! Все из-за кассеты. Мне надо было проверить питание. Крылов предупреждал. Как глупо! Если бы не Тулин!.. Самолет может соскользнуть по откосу, так бывает.

Он почувствовал в руке кассету. Нужно не потерять кассету. Крылов просил. Только бы не умереть полностью. Глаза будут закрыты, а я буду лежать и думать. И слышать. Ну и паскуда же этот Агатов! Я не могу совсем умереть. А если воздействовать на центр грозы, можно ее уничтожить. Полоса ясного неба прорезала тучи, и мы летели бы среди солнца и синевы.

Он зрительно видел эту фантастическую и прекрасную картину: черное грозовое небо, набрякшее молниями и громом, и спокойно летящий самолет, а за ним стелется сияющий шлейф чистого неба. Гроза съеживается, ее уничтожают в зародыше, настигая в чреве сгущающихся облаков.

Он успел подумать о Жене, увидеть ее улыбку и рядом с нею лицо своей матери.

Они будут ходить в больницу, кости быстро срастаются. Я стану жить совсем по-другому. Хотя бы начерно просчитать все схемы, мало ли что со мной случится! Надо будет сразу отползать от самолета. Когда мы во дворе гранату взорвали, меня чуть царапнуло. Мама говорила, что я счастливый.

За несколько секунд можно многое понять, и о многом догадаться, и многое увидеть. Сделать ничего нельзя, вот что плохо. Нельзя уже ничего исправить или изменить.

Но если попробовать все начать сначала?

— Ричард, захвати кассету!

Зачем же снова, услышав голос Крылова, ты рванулся к прибору? Беги к люку, прыгай! Но ты все равно дергаешь эту кассету и хватаешь Агатова, и он видит в твоих глазах, что ты *знаешь*.

Может быть, еще раньше тебе не нужно было думать о Жене и Тулине? Или вообще ехать сюда? Но тогда это был бы не ты. Это был бы другой. А если другой, значит, тебя нет, и, наверное, это хуже, чем смерть.

Парашют раскрылся, все остановилось, и Крылову показалось, что он висит, зацепившись за воздух, покачиваясь на высоте. Потом тяжесть ушибленной ноги потащила его вниз все быстрее. Алешу отнесло в сторону, в непроницаемом тумане Крылов не видел никого, не было ни земли, ни неба, он падал среди серых мятущихся клочьев, и казалось, этому не будет конца. Вот они самые, грозовые облака, он мог нащупать рукой их влажную холодную плоть.

Гроза не унималась. Где-то громыхало, вспыхивали молнии, озаряя купол парашюта. Только бы все остались живы! Он ненавидел сейчас эту грозу. Враждебная, бессмысленная, снова она ускользнула от них. Торжество ее было омерзительным. Его тошнило от этой душной, беспросветной хмари.

С земли донесся глухой взрыв, болью отдался в сердце.

Внизу потемнело, вдруг открылась совсем близко внизу земля. Огромная, черно-зеленая, она неслась на него с пугающей быстротой.

Он уже различал кроны лиственниц. Ему хотелось закрыть глаза. Но он заставил себя подтянуться на стропах, пытаясь найти между деревьев какой-то просвет и направить парашют туда.

Он старался упасть боком, защищая разбитую ногу, но его перевернуло, стукнуло о ствол лиственницы, и на некоторое время он потерял сознание.

На его счастье, парашют запутался между ветвей, смягчил удар о землю.

Лицо его лежало в мокрой траве. Он услышал, как падают капли. Потом появился острый запах омытой зелени. Он открыл глаза. Солнца еще не было, дождь перестал. Отовсюду капало. Звучно перестукивались большие, тяжелые капли. Казалось, в лесу говорят.

Деревья слегка шевелили чистой зеленью. Неподалеку Крылов увидел табун. Кони сбились в кучу. Темно-бронзовые блестящие крупы сливались с бронзой стволов. Положив головы на спины друг другу, лошади почти не двигались. Большой жеребец с белыми бабками скосил на Крылова черный глаз и фыркну́л.

Трава, прибитая дождем, медленно распрямлялась. Чирикнула птаха, одна, другая... Началась своя, лесная жизнь, где никому уже не было дела до грозы. Она про-

шла, очистив воздух, освежив зелень. Крылов лежал, удивленный этой тишиной, спокойствием.

С какой-то обновленной способностью воспринимать окружающее замечал он краски этого горного леса и красоту коней, стройных, с длинными хвостами, с блестящими гривами.

Жеребец продолжал пристально смотреть, словно спрашивая: что тебе надо?

Теплая, напоенная дождем земля вдавилась под руками Крылова, и не было ничего прекрасней этой земли. Он снова на ней. Ничего ему не надо, кроме этой земли. Разве мало жить, вдыхать ее запахи, чувствовать эту красоту? С отвращением он подумал о грозовом, неверном небе и снова пережил отзвук донесшегося взрыва самолета.

Лишь бы все остались живы! Все остальное ерунда! Перед его глазами возникло: Поздышев подталкивает Веру Матвеевну к люку, его нелегкая подбадривающая улыбка и тоскливый крик Веры Матвеевны. Он чувствовал себя виноватым перед ними. Ради чего они должны страдать и рисковать жизнью?

У подножия этих лиственниц все стало глупостью. Вся его работа, и эти полеты, и опасность, которой подвергали себя люди. Зачем нужно изучать заряды капель? Что изменится от этого в лесу? Оттого, что будет известно распределение зарядов в облаках, этот лес не станет прекрасней. Все было глупым, мудростью были колонны лиственниц, перестук капель и красота коней.

Ничего не могло быть лучше этого. А вместо того чтобы наслаждаться лесом и видеть небо, люди возятся с приборами и ищут заряды. Слово «поле» давно потеряло для него начальный смысл. Он забыл, что, кроме электрического поля, магнитного поля, есть просто зеленое поле с цветами и пчелами.

Он смотрел, как разбредаются лошади, пофыркивая, наклоняются к сочной траве.

Никуда не хотелось двигаться. Не будь боли в ноге, он лежал бы, смотря над собою вверх, в ленивое шевеление зеленых ветвей. Вряд ли люди станут счастливее оттого, что научатся управлять грозой. Они избавятся от некоторых несчастий, но меньше несчастий — еще не значит больше счастья.

ГЛАВА 8

Прежде чем отправиться на пляж, они позавтракали на поплавке. Ели обжигающие, наперченные чебуреки. Тулин заказал бутылку цинандали. Светлое сухое вино весело холодило. Из кухни несло горьковатым дымком. Столик стоял у перил, внизу плескалась зеленая волна, в просвеченной глубине толпились стайки большеголовых лобанов, Женя кидала им кусочки хлеба.

Пляж был совсем рядом. Женя ушла переодеваться и вернулась в васильковом купальном костюме, который очень шел ей. Вода была теплая, шумная. Они заплыли далеко, покачались на красных буйках.

Тулин плыл быстро, слегка красуясь своим хорошо отработанным кролем. Потом перевернулся на спину и лежал на воде, закинув руки за голову.

Они выплыли на другой конец пляжа и пошли по горячей гальке, разглядывая курортных дам в темных очках, в немыслимо пестрых купальниках, под китайскими зонтиками, весь этот кишащий людьми, солнечными брызгами берег, красочный, шумный, тесный. Тулина окликнули московские знакомые, он помахал рукой, но не подошел. Он вдруг удивился — ему сейчас не хотелось быть ни с кем, кроме Жени. Взявшись за руки, они зашлепали по мелкой воде, болтая и беспричинно смеясь, он смотрел на ее темно-коричневый глаз, на свободные, уверенные движения и любовался ею. Приятно было думать, что сейчас с ним происходит что-то особенное, совсем непохожее на прошлые увлечения. Женщины тут были не виноваты: они любили его, влюблялись, страдали, когда он оставлял их. Но сам он почти никогда не принимал их чувства, да и свои чувства, всерьез.

В сущности, он, так же как и Женя, позволял любить себя, ему нравилось, когда его любят, он старался, чтобы его любили, и только. Его обижало, когда женщины упрекали его в рассудочности. В таких случаях он уверял, что так он относится не ко всем. Затем он говорил, что ученый должен иметь одну-единственную страсть, все остальное мешает. И в глубине души был доволен своей свободой.

Однако сейчас, с Женей, он больше всего вдруг убоялся того дня, когда нужно будет что-то придумывать и объяснять и снова оправдываться перед собой, оправ-

дываться работой, занятостью. И снова все потечет по-прежнему.

Он крепко сжал ее голую руку. Женя посмотрела на него удивленно. Тогда он взял ее за плечи и на виду у всего пляжа поцеловал в губы. Кругом засмеялись, кто-то свистнул. Глаза ее влажно потемнели гневом, но когда Женя отстранилась, лицо ее было весело, она плеснула в Тулина водой и побежала. Васильковый купальник мелькал среди загорелых тел, зонтов, палаток. Тулин нагнал ее, осторожно взял за руку, и эти переходы к тем дружеским отношениям, когда еще ничего не произошло и оба могут делать вид, что ничего не было, и ожидание того, что должно совершиться, это неустойчивое, изменчивое начало влекло Тулина и казалось ему прекрасным.

Они легли на гальку. Женя подложила под голову сверток.

— Что тут?— спросил Тулин.

Она долго молчала, щурясь на солнце. С неожиданным вызовом сказала:

— Подарок Ричарду. Он давно мечтал иметь рубашку навыпуск, как у вас. Я купила ему. Хотите посмотреть?

— Нет.

— Почему? Красивая рубашка.

— Женя!

Она закрыла глаза.

— Нехорошо это все,— сердито сказала она.

Совсем рядом с Тулиным было ее плечо, смуглое, в песчинках и блестках морской соли, он щекой чувствовал жар ее нагретого солнцем тела. Он решил действовать открыто, наотмашь.

— При чем тут Ричард? Право первого? Такого права не существует. Приоритет соблюдается в открытиях, а вы не открытие Ричарда.

Она поднялась, проговорила как можно тверже:

— Имейте в виду, я люблю Ричарда.

Было в ней что-то просящее и тревожное, и Тулину расхотелось продолжать.

— Пойдемте погуляем.

— Почему вы не отвечаете?— возмущенно спросила она.

— Если бы вы любили Ричарда, вы бы не поехали со мной. А вы поехали. И взяли с собою купальник. Вы все

знали. Вы знали, что мы будем лежать на пляже и что́ я буду вам говорить.

Женя сникла.

— Мало ли что...— Она с отчаянием посмотрела ему в глаза.

Сейчас слова ничего не значили. Все решалось глазами и чем-то еще более сокровенным и точным. Тулин подставил себя под ее взгляд, радуясь, что все у него в душе сейчас открыто и чисто.

— А чего стыдиться, даже если так? Ваше существо честнее, чем вы. По-моему, это безнравственно — не позволить себе чувствовать то, что чувствуешь, и быть с кем хочешь.

— Мы пойдем в парк?— помедлив, спросила она.

— Мне все равно.

— Мне тоже.

Ветви огромных дубов смыкались. Прохладная тень, упруго-твердые кусты самшита, легкость соленого воздуха.

— Женя, а если все это по-настоящему?

— Что ж тогда?

Он рассмеялся.

— Ответим новыми успехами.— Ему захотелось быть откровенным.— Я бы мог тогда быть перед тобой слабым, и плохим, и грустным. Я никогда этого себе не разрешаю. Разве уж с Крыловым, ежели припрет, но это совсем не то. Быть самим собою. Не бояться открыться, не думать о том, чтобы тебе понравиться.

«У Ричарда все было иначе,— подумала Женя,— он говорил, что, если я с ним, он станет сильным, будет добиваться, станет великим».

— ...До сих пор я всегда старался выглядеть лучше, чем я есть. Мне казалось, что так меня быстрее могут полюбить. За веселость, за удачливость, за то, что передо мною будущее. Мне нравилось представать во всем блеске оперения. С тобой я не хочу так.

— Вам это не страшно. Я и так все знаю. Вы можете позволить себе. А я... Что я такое? Рядом с вами понимаю, что я так... практиканточка.

— Ты Женя.

— Странно: вы Олег Николаевич, знаменитый Тулин — и вдруг я рядом. Я все время чувствую, что я слишком маленькая. Я дура, вы ведь мне уже сказали, что я дура. И вы ко мне относитесь как к девчонке.

— Потому что я эгоист. Я думаю все время о своих делах. Вот и сейчас знаешь, о чем я думаю? Не о тебе, не о нас, а о том, что будет с моей бедной работой оттого, что я влюбился...

Они с Ричардом избегали этого слова — «любовь», считали его пошлым, а Тулин произносит его свободно и громко, и оказывается — это чудесное слово. И никакие другие слова не могут заменить его.

— ...Хорошо, что я не знаю за что... Раньше я всегда знал, кто и почему мне нравится. Красивая фигура. Было весело вместе. Но всегда находилась такая, с которой еще веселей.

Он немного поотстал и пустил ее вперед. Она шла по аллее, то попадая в тень, то вспыхивая на солнце. На ней была полосатая маечка с глубоким вырезом сзади и юбка в черную крупную горошину.

Мокрые коричневые волосы рассыпались по спине. Юбка шелестела, била по ногам. Гравий скрипел под каблуками белых босоножек, и эти простые и милые подробности бесконечно трогали Тулина.

— Непонятно, как я раньше не замечал, что ты такая красивая.

— Потому что я была ведьмой. Ведьма не может быть красивой. Я ненавидела вас.

— Наверно, ты была красивая ведьма. Я уже теперь не помню. Во всяком случае, когда я тебя увидел у беседки в Москве, ты была страшно симпатичной ведьмой.

— Я тогда была просто студенткой, а ты был...— Она смутилась.

— Ну, кем я был?

— Пижоном.

— Значит, ты все помнишь. Ну, кто был прав? Помнишь, я тебе обещал, что ты будешь управлять грозой вот этими руками.

— Да. Как это все странно.

— Это судьба,— убежденно произнес он.

— Повидаться бы с ней, с моей судьбой. Интересно, чем она сейчас занимается?

Почему-то ей вспомнился Ричард там, на аэродроме. Что он хотел сказать?

Вдали прогромыхало. Из-за гор надвигалась гроза. Солнце высветило косые полосы дождя. Женя встревоженно прислушивалась.

— Давайте поедем.

У них оставался еще по крайней мере час. И незачем было ехать навстречу дождю, когда можно переждать здесь. Но Женя внезапно заупрямилась, и чем больше он уговаривал ее, тем горячей она настаивала.

Они разыскали шофера на базе и забрались в кузов.

На полпути они въехали под дождь. Тулин предложил Жене перебраться в кабину, она отказалась. Он накрыл ее пиджаком. Теплые струйки стекали по спине, он смеялся, как от щекотки, ничто сейчас не могло испортить ему настроения. Он был рад этому дождю. Ловил открытым ртом капли, пел, дурачился.

— Наш первый день творения тоже начался с грозы. Ну разве это не судьба? Это даже рок!

Женя вглядывалась в иссиня-темное, вздрагивающее от далеких молний небо. Яркие миги освещали разом горы с мокрыми, блестящими деревьями, камни, дорогу, и тотчас снова обрушивалась тьма, гуще и мрачней.

— О фантазия древнего человека!— дурашливо начал Тулин, копируя Голицына.

— Перестаньте!— нервно оборвала она.

— Что с тобой?

— А что, если они... там...

Он засмеялся, отгоняя тревогу.

— Тогда им крупно повезло. Удача преследует нас.— Смеясь, он сунул голову к ней под пиджак.— Ужасно трудно быть счастливым и скромным.

Он снова запел, голос у него был приятный, но иногда фальшивил. С непонятным ей самой ожесточением Женя спросила:

— А как ты теперь будешь с Ричардом?

— Конечно, жалко, что именно он,— беззаботно сказал Тулин.— Лучше бы это был Агатов.— Он потерся мокрой щекой о ее руки.

Он любит Ричарда и сделает все, чтобы они остались друзьями. От этого не погибают. Это надо пережить каждому мужчине, вроде боевого крещения. В следующий раз Ричард не позволит отбить свою девушку.

Он был в ударе, Женя против воли улыбалась.

Дождь стучал в намокший пиджак, машина неслась, и Жене хотелось, чтобы не было конца этой дороге, чтобы эта дорога вела в другой, какой-нибудь совсем другой город, где их никто не знает.

ГЛАВА 9

Гроб несли на руках до самого кладбища и по кладбищу до могилы. Тулина хотели сменить, но он не слышал, он держался за ручку гроба и никак не мог понять, почему гроб такой легкий. Как будто они несли пустой гроб, как будто там ничего не было.

Может, вообще ничего не было и все ему кажется, это плохой сон, сейчас он проснется, умоется и в столовой встретит Ричарда. Надо только проснуться.

Он быстро обернулся и увидел, как мелкие слезы безостановочно текли по щекам матери Ричарда. Ее вели под руки Алеша Микулин и Агатов. Она прилетела утром. Большая желтая сумка болталась у нее на локте.

Выступал Алеша, потом Алтынов. Последним выступал Агатов. Сочный, крепкий голос его был хорошо слышен всем. Читал с листа, четко и торжественно, как приказ. Трагическая гибель молодого таланта... Герой советской науки... Нелепый случай оборвал многообещающую жизнь... В наших сердцах навсегда сохранится дорогой образ нашего товарища... Пример преданности нашему общему делу...

Было жарко. Агатов пропустил несколько абзацев, боясь, чтобы не напекло голову.

— Слишком дорогой ценой расплачиваемся мы за необоснованные теории людей, жаждущих быстрого успеха.— Он горько покачал головой, и многие взглянули на Тулина.

Гроб неумело опускали в могилу. Кто-то сказал: «Вытаскивайте веревки». Мать Ричарда наклонилась, взяла ком земли, но пальцы ее свело, и она никак не могла разжать их и бросить землю на крышку гроба и, смущаясь от общего внимания, судорожно улыбалась.

От этой улыбки женщины заплакали. Наступила та молчаливо-тяжелая и единственно по-настоящему щемящая минута прощания, которая бывает на любых похоронах. Внезапно в глубине толпы произошло движение, шум, плотный круг людей разомкнулся, пропуская всклокоченного, бледного Крылова.

— Разрешите мне!— выкрикнул он как-то безобразно громко.

Агатов вздрогнул, попятился, наступая на кучу земли, не спуская глаз с Крылова и что-то быстро шепча, как заклинание.

— Нет, Яков Иванович, не так, товарищи дорогие,— лихорадочно торопясь, начал Крылов.— Ричард — он погиб не впустую, нельзя так, я вам все могу...

Он остановился, глотая воздух открытым ртом, и вдруг задумался, словно забыв обо всем. В гнетущей тишине слышно было, как кто-то шепнул:

— Оправдаться хочет.

Крылов вздрогнул, очнулся. На него смотрели возмущенно, неприязненно или не смотрели, опустив глаза от стыда и неловкости.

— Наоборот, я принимаю на себя, но именно теперь наша задача — доказать, что мы не напрасно...— Он потряс кулаком в гневной беспомощности.

Вера Матвеевна тронула его за плечо.

— Успокойтесь, Сергей Ильич.

Агатов пришел в себя, держась за крашеную фанерную пирамидку, отряхнул с ног землю, огляделся, не заметил ли кто его испуга, сказал Крылову крепким голосом:

— Здесь не собрание.

Крылов обессиленно махнул рукой и захромал прочь, тяжело опираясь на палку. Проходя мимо матери, он поклонился ей:

— Вам следует знать...— Голос его сорвался на тонкий фальцет.— Он хотел стать настоящим ученым. Он погиб как настоящий ученый. Его имя останется в научных...

Мать Ричарда испуганно отшатнулась.

«Что там?», «Безобразие!» — слышался громкий шепот из задних рядов, еще более увеличивая неприятность происходящего.

Агатов вытер лицо, почтительно взял мать Ричарда за руку.

— Простите нашего товарища,— сказал он.— Гибель Ричарда слишком потрясла нас всех. Его смерть — тяжелый урок! Перед свежей могилой мы поклянемся, что ничего подобного не повторится. Пусть же память о Ричарде станет выше мелкого тщеславия.— Он вдруг подумал, что действительно все могло кончиться ужасней и он сам мог погибнуть. Голос его дрогнул.— Нет, конечно, Ричард погиб не напрасно, может быть, мы все обязаны ему своими жизнями, потому что прекратятся раз навсегда эти преступные попытки...— Он взял мать Ричарда за руку, слезы выступили на его глазах.— Верьте, мы с вами навсегда!

Он сделал все, что мог, чтобы как-то вернуть церемонию к той торжественной печали, которую считал обязательной при подобной процедуре и нарушение которой было неприлично и оскорбительно для памяти покойника, как будто смерть можно было чем-то оскорбить.

Но в это время издали снова раздался недоуменный и отчаянный выкрик Крылова:

— Да черт возьми, скажите же кто-нибудь, он не ради этого погиб!..

Прикопали пирамидку, возложили венки. Мать Ричарда постояла молча, потом, сопровождаемая студентами и сотрудниками группы, направилась к выходу.

Крылов заступил ей дорогу:

— Извините меня, все получилось не так, но я хотел сказать, что Ричард верил в нашу работу, и мы докажем, что он был прав, вы убедитесь...

Припухшие красные глаза ее глядели на Крылова с неприязнью:

— А мне-то что с того... Вы-то все живы.

Она отвернулась, и Агатов повел ее, поддерживая под руку и рассказывая о выплате страховки.

Мысль о том, что он сам мог погибнуть, не оставляла Агатова. Сегодня могли хоронить его. И все было бы точно так же, и произносили бы те же речи. Но небось Крылов не стал бы выскакивать. И Тулин не был бы так расстроен. Никто из них не остался бы у его могилы. Он с тревогой перебирал в памяти близких и знакомых. Кто из них заплакал бы по-настоящему? Разумеется, похороны были бы торжественней, венков прислали бы больше, поместили бы объявление в газете, но все сразу бы ушли с кладбища и по дороге судачили о том, кого назначат на его место. Если бы ему не удалось отцепиться от Ричарда, они погибли бы оба. Хоть в этом-то судьба обошлась с ним справедливо. Почему он должен был погибнуть из-за тулинской авантюры, он, который с самого начала возмущался?..

Но теперь наконец-то пробил его час. Он предупреждал, что все может кончиться катастрофой. Он требовал запретить полеты. Он был прав. Это они, они виноваты во всем.

На выходе из кладбища Агатов обернулся. У могилы, поодаль друг от друга, стояли Крылов, Женя, Тулин и Алеша с Катей.

— Вы знаете, почему они там остались? — сказал он матери Ричарда. — Они чувствуют себя виноватыми.

Все объясняется всегда самыми простыми мотивами. Выходка Крылова вызвана просто страхом ответственности. Он руководил программой, он командовал. За высокими словами всегда скрываются корыстные интересы, надо только уметь распознать их.

Что хотел Ричард сказать ей перед полетом? Что-то важное, иначе бы он не прибежал и не просил остаться, не настаивал. Теперь каждое его последнее слово, каждый жест приобрели значительность. Женя восстанавливала их в памяти, пытаясь разгадать тайну, погребенную в земле. «Я должен тебе рассказать...» Запыхался, в черных глазах гнев, размахивает тонкими руками. И последнее, такое робкое, отчаянное прикосновение.

Почему она не поняла, как нужно ему немедленно сообщить это «что-то»? Что это могло быть? О чем? Почему именно в ту минуту?

Она расспрашивала Алешу. По его словам, Ричард ни с кем не говорил, сидел в самолете какой-то пришибленный, оживился, когда вошли в грозу, но там было уже не до разговоров. Никогда она не узнает. Никогда! Смерть входила в ее сознание через это *никогда.*

О чем думал он там в последние минуты? А она в это самое время слушала, как Тулин высмеивал Ричарда... Она читала укор на всех лицах, обращенных к ней. Ричард просил не ехать, он не хотел ее отпускать. Он так просил. Согласись она, может быть, ничего не случилось бы.

Женя не решалась положить на могилу свои цветы. Даже заплакать не смела. Дождалась, пока разошлись, шагнула к холмику, заваленному венками, и остановилась.

Неужели это все, что осталось от Ричарда? При чем тут эта могила, венки? Какое отношение к нему имеет гроб, закопанный в землю, и то, что в этом гробу? Где сам Ричард?

Что-то мешало ей наклониться к могиле. Послышались осторожные шаги. Женя закаменела, почувствовала прикосновение к руке, робкое, как прикасался к ней Ричард. Она отпрянула.

— Уйдите, — сказала она Тулину. — Оставьте меня.

— Женя, я не могу сейчас один... Так паршиво. Помоги мне. Приезжает комиссия. Мне надо как-то справиться...

Всё о себе, об одном себе. Всё для него и все для него. Не Ричард погиб, а у него неприятности.

Она вырвала руку, и вдруг как будто что-то возопило в ней: все из-за него! Он увел ее, поссорил, и Ричард погиб из-за него.

И с размаху она ударила его по щеке так, что голова его дернулась и сам он пошатнулся. Всей ладонью она с наслаждением ощутила боль и тяжесть удара.

У могилы стояли Крылов, Алеша и Катя. Она только сейчас увидела их и они ее. Они смотрели на Тулина. Губы его сомкнулись. На щеке медленно расплывалось красное пятно. Стоило ему пошевельнуться, произнести хотя бы слово, она ударила бы еще. Она била бы его до исступления. Наверное, в такие минуты убивают.

Но он молчал. Он только смотрел на нее, и глаза его становились огромными, во все лицо.

Безмятежный счастливчик, общий любимец, находчивый, навеки застрахованный от любых бед, он стоял на виду у всех, не смея ничем ответить. Он должен был все снести от нее и от всех остальных.

Спазма перехватила ей горло. Она побежала с кладбища, не видя дороги, натыкаясь на могильные плиты, через кусты, ограды, чувствуя, как он там стоит с багровым пятном на щеке.

Со всей своей энергией и напористостью Агатов помог матери Ричарда оформить документы на выдачу страховки и пенсии, он провернул это дело, несмотря на уйму формальностей.

Назавтра он встречал комиссию по расследованию аварии. Прибыли Лагунов, Южин, Голицын, Чиркаев — представитель авиаконструктора, представители метеослужбы, института. Агатов помогал размещать их в гостинице и до поздней ночи готовил документацию. Спал он плохо, ему снилось кладбище с безмолвными фигурами, почему-то он знал, что стоят они уже несколько месяцев и будут стоять там еще годы, и в этом было что-то угрожающее.

Он просыпался в тоске, слышал, как громко стучат часы под подушкой.

Утром на улице он столкнулся с Женей Кузьменко. Она вспыхнула, опустила голову. Сперва он не понял, что произошло, а потом сообразил: они чувствуют себя

виноватыми перед ним, она и Тулин. Где они были, чем они занимались, когда самолет попал в грозу?..

Его нагнал Лисицкий, сочувственно пожал руку: как вы были правы!

Это было так искренне, так благодарно, что ночные волнения показались смешными. Значит, все понимали, что он был прав. Он оказался предусмотрительней и умнее и Тулина, и Крылова. Будь у него больше власти, ничего бы не случилось. И вдруг впервые он ощутил радость своего спасения. Он остался жив, он жив сегодня, сейчас плевать на то, кто там останется, после его похорон, будет плакать или нет, он жив, это лучше всяких слез.

Завтракал он вместе с Голицыным и Лагуновым в ресторане. Он заказал заливную осетрину, зернистую икру и выпил две чашки черного кофе.

ГЛАВА 10

На место падения самолета Голицын не поехал и на первых заседаниях комиссии не присутствовал. Он проверял научные результаты работ тулинской группы. Просматривал материалы, стараясь разобраться в главном — была ли авария случайностью или же она следствие недостатков метода. Агатов удивлялся: чего ради он себя изводит, в этакую духоту просиживает днями за работой? «Наша взяла, вернее — ваша взяла, Аркадий Борисович,— говорил он.— Вы были правы по всем статьям, и нечего беспокоиться. Теперь одна задача — наказать этих авантюристов. Вы можете быть довольны». Голицын закричал на него: «Чем доволен, что Ричард погиб?» Вероятно, и остальные думали, что он, Голицын, злорадствует. И Крылов, наверное, так считал. Никто не знал, с какой объективностью Голицын выписывал все обнадеживающее из материалов.

Втайне он получал удовлетворение, обнаруживая провалы, которые предсказывал, натяжки в ходе исследований, преждевременные выводы.

Отклонения — в десятки раз меньше, чем те, которые положено давать молнии. По-прежнему неясно, как происходит восстановление зарядов. Наиболее основательные замеры были проведены Крыловым, но и они недостаточны, остальное шатко, уязвимо, никак не объясняются нехарактерные точки...

Еще в Москве, перед отъездом, позвонил Аникеев, беспокоился за Крылова, Голицын ревниво буркнул: «Поделом ему, поделом»,— но дорогой нервничал, ожидая встречи.

Никакой встречи не получилось. Крылов поздоровался отчужденно, так же, как и с другими членами комиссии. Голицын был уверен, что вечером Крылов зайдет к нему в номер, заказал бутылку вина, дыню, виноград. Крылов не появился ни в этот вечер, ни в следующий. Боится, как бы не сочли, что заискивает перед членом комиссии? И все равно ему надлежало бы прийти и честно признаться: в их последнем споре он был не прав. Голицын это доказал. Авария доказала.

Заходил Южин, отдувался, расстегивал китель и ругал Лагунова, жару, синоптиков, окаянную свою работу, грозу со всеми этими зарядами-разрядами... По его словам, Крылов держался на комиссии глупо, все брал на себя. Настаивал на том, что указатель должен был сработать, спорил с Лагуновым, талдычил свое, казалось, не чувствуя никакого раскаяния, угрызений совести; вообще, катастрофа никак не образумила его, не то что Тулина. Хотя Тулин и не несет прямой ответственности за полет, он удручен, переживает, мучается...

— А Крылов?— спрашивал Голицын.

— А Крылов хоть бы что!— возмущался Южин.— А ведь он фактически руководил программой. И он еще надеется на продолжение работы. Требует! Пусть скажет спасибо, если его не отдадут под суд. Хоть бы Тулина слушался. Тулин понимает что к чему. Парень, конечно, упал духом, но я надеюсь...

— Ну а что Крылов?— снова перебивал Голицын.

— Дался вам этот Крылов! Я понимаю — Тулин, вот кого жаль, талант, а этот... Нашли по ком убиваться!

Голицын рассердился:

— Талант! Талант далеко не всё! Из чего состоит талант?

Последние дни он часто думал о том редком сочетании качеств, из которых складывается настоящий ученый,— воля, умение ограничивать себя, способность радоваться, удивляться, уметь падать, переносить разгром, когда ничего не осталось и надо начинать все сызнова... и еще многое другое, и не как механическая смесь, а соединение химическое, в строгих пропорциях, ибо недостача любого качества обесценивает остальные.

Мать Ричарда передала ему материалы незаконченной диссертации сына. Прочитав, Голицын понял, что Ричард пошел против него, за Тулиным. Там было несколько смелых предположений и любопытные расчеты по заряженности облаков. Не строго научно, но Голицыну не хотелось ничего оспаривать: теперь, после смерти Ричарда, идеи эти обретали какой-то особый авторитет. Да и зачем спорить — Ричард ушел навсегда не только из жизни, он ушел и от него, он умер противником. И Крылов тоже ушел. Лучшие ученики уходили от него. В шестьдесят пять лет он остался один. Были люди, которые под его руководством защищали диссертации, считались его учениками, однако не было среди них ни одного, кто следовал бы за ним так, как, например, у Аникеева или у Дана. И Крылов, по сути, всегда оставался учеником Дана, поэтому он и ушел.

Но ему придется вернуться. Теперь ему некуда податься. Голицын взял перо. Ему было жаль Крылова. И без того Крылову достанется, и крепко. Но остановиться Голицын уже не мог. Подытожил ядовито: «По измерениям выходит, что вообще молнии не существует, следовательно, гроз также не существует, и тем самым проблему борьбы с грозой можно считать решенной».

Выводы получались убийственные по многим пунктам. Вряд ли Крылову удастся их опровергнуть. Лагунов будет восхищен этим великолепным склепом, в котором надолго замуруют подобного рода авантюры. Безукоризненная логика, строгий разбор без мелочных придирок, без педантизма... Почему же не было удовлетворения? И заслуженного покоя, который обычно приходил после удачной работы, тоже не было. Что-то здесь не так, не то...

Перед началом утреннего заседания Крылова позвали к междугородному телефону. Он долго сидел в кабине, прижимал трубку к уху. «Соединяю, соединяю!— кричала телефонистка.— Да говорите же!»

— Я слушаю, алло,— сказал Крылов.

— Сережа...— И наступила тишина.

— Кто это?— спросил он.

Опять в трубке была тишина, полная шорохов, дыхания, и слышно было, как стучит в висках.

— Ты жив? Я только что узнала, что́ у вас случилось. Сказали — кто-то погиб.

— Наташа? Где ты? Откуда ты? — закричал он.

— Ты жив, здоров?

— Да, да, но как ты узнала? Наташа!

— У тебя неприятности?

— Пустяки, это все пустяки. Ты можешь приехать? У меня тут комиссия. А черт с ней, я сам приеду.

Она долго не отвечала, потом сказала незнакомым голосом:

— Нет, не надо. Я только хотела узнать, что с тобой ничего не случилось.

— Как же так... Погоди... Алло! Алло!

— Почему вы заставляете себя ждать? — возмутился Лагунов.

Крылов вздохнул и посмотрел на него так, будто их разделяли века и Лагунов со своей комиссией находился где-то в доисторической эпохе.

Что мог значить ее звонок? Весь этот год Крылов жил с неубывающей надеждой на встречу. Не хочет с ним видеться. Но она позвонила. Мало ли что могло произойти с ней за год. Она могла выйти замуж, влюбиться, родить ребенка, теперь-то он знал, сколько всякого может случиться за год. Его научила этому Лена. И сама Наташа. Но все же она позвонила.

— Как по-вашему, почему Гольдин не смог выпрыгнуть?

Уйти и лечь, закрывшись от всех, и положить повыше больную ногу, и, может быть, принять снотворное. А еще лучше выпить с механиками так, чтобы забыть все к чертовой матери — и эту комиссию, и Наташу, не думать о том, что будет.

Он успокоился, услышав свой твердый голос. Не стоило злиться. Они здесь делали свое дело. Им надо было узнать обстоятельства гибели Ричарда. Что бы ни происходило, каждый должен выполнять свои обязанности. Одни должны спрашивать, другие отвечать.

Лагунов, приехав, напомнил: «Я вас предупреждал, что все это плохо для вас кончится». Предупреждал. Еще когда Крылов переводился к Голицыну. И Савушкин предупреждал: «Зачем тебе делать из Лагунова врага?» И Голицын его тоже предупреждал... Дальновидные люди. Удивительно, откуда они знали, что с ним будет? Почему он сам ни хрена не знает ни про себя, ни про других.

Он вспомнил лицо Ричарда там, в самолете; так он и не сумел ответить тогда Ричарду, найти слова, которые поддержали бы его, слова-парашюты. Может быть, следовало сказать Ричарду все до конца про Тулина. Не стоило заниматься утешительным враньем и делать вид, что Тулин отстоял Ричарда перед Агатовым.

Он покосился на Тулина: белая рубашка с закатанными рукавами, черные узенькие брюки, остроносые мокасины. За все время так и не удалось поговорить, и Крылову казалось, что Олег избегал этого разговора, на комиссии он отвечал односложно: «да», «нет» — и сегодня сидел молча, непрерывно курил, не участвовал в заседании: ведь он ничего не мог сообщить о том, почему погиб Ричард.

Возницын спрашивал про кассеты — мог ли Ричард успеть вытащить кассеты. Представитель главного конструктора Чиркаев спрашивал, правильно ли было в таких условиях заботиться о кассетах. Видно было, что Чиркаев искренне хочет беспристрастно разобраться в действиях Крылова, и Крылов охотно отвечал ему, понимая, что оба они думают о другом — можно ли рисковать жизнью человека ради каких-то кассет.

В ту минуту в самолете Крылову было не до того, но сейчас он не мог не думать об этом.

— В кассетах — запись работы грозоуказателя,— сказал он.— Будь у нас кассеты, возможно, сегодня мы узнали бы определенно, что указатель оправдал себя.

— Но ведь указатель не работал,— сказал Чиркаев.

— Значит, указатель на щитке пилота был неисправен, а регистрирующая часть прибора могла работать.

— Как же это могло получиться?

— Не знаю,— сказал Крылов.— Что-то случилось в схеме. Тут могут быть разные причины.

— Почему же вы не устранили неисправность?— спросил Лагунов.

Крылов пожал плечами.

— Вы пробовали когда-нибудь в полете ремонтировать приборы? Я лично этого не умею.

Он понял бестактность своего ответа слишком поздно. Лагунов никогда не летал, и бог знает сколько лет прошло с тех пор, как Лагунов работал с приборами.

— А вот Яков Иванович считает, что ваш прибор несостоятелен, поскольку вся методика несостоятельна. Так?— предупреждая раздраженную реплику Лагунова, сказал Возницын. Для членов комиссии Яков Ива-

нович был специалистом, начальником лаборатории, помощником Голицына.

Крылов посмотрел на Тулина, и многие посмотрели на Тулина. Он сидел, покачивая ногой, и курил.

— Давайте все же уточним схему эвакуации,— предложил Южин.

С помощью Поздышева начали восстанавливать последовательность событий. Южин попросил вызвать Микулина.

— Не только я считаю, что методика несостоятельна,— вдруг вставил Агатов.— Я тут разделяю мнение Аркадия Борисовича.

Голицын что-то буркнул. Нацепив очки, он правил свое заключение.

— Мы к этому еще вернемся,— сказал Лагунов.

Южин задумчиво смотрел на Агатова.

— Между прочим, Яков Иванович,— заметил он,— ведь вы покинули самолет последним. Что делал в это время Гольдин?

Агатов, как бы вспоминая, потер лоб. Пальцы его наткнулись на ссадину, залепленную пластырем. Он снова почувствовал, как ползет, оттолкнув Ричарда, рассадив лоб... Вздрогнув, он посмотрел на Южина. Не было ничего удивительного, что Южин смотрел на его ссадину, но в груди Агатова что-то замерло.

— Это я ушибся,— зачем-то сказал он, чувствуя, как губы гнет искательная улыбка.

Южин продолжал смотреть, и, все более пугаясь, Агатов заторопился:

— Да, да, я видел, Ричард возился с кассетой. Наверное, она застряла. Кассеты часто заедает. У него заело. Знаете, в такую минуту, как назло...— Он не мог оторваться от глаз Южина. Он заставлял себя не смотреть, отвернуться, посмотреть на Лагунова и страшился, что Южин поймет, что он избегает его взгляда. Не надо было ничего говорить. Лучше было сказать, что он не видел Ричарда. Ведь мог же он не видеть Ричарда?

— ...Крылов попросил, и Ричард остался, а кассета застряла, то есть, наверное, застряла, потому что я в точности не знаю. Крылов здесь изо всех сил доказывает — случайно попали в грозу. Ему иначе нельзя. Иначе ему не оправдаться. Указатель-то не работал, тут уж точно известно, что не работал...

— Вы считаете, Ричард мог выпрыгнуть?

— Да, конечно.

— Какой же смысл был Крылову заботиться о кассетах? — спросил Южин. — Кассеты тоже показали бы, что указатель не работал.

Агатов было оторопел, но тотчас подхватил торопливо, словно вспоминая:

— У них давно споры шли, у Крылова с Тулиным. Это всем известно. Думаете, Крылов не понимает, что у Тулина все на песке построено? Прекрасно понимает. Спросите его. Наверное, он хотел Олегу Николаевичу доказать кассетами... Уверяю вас. Теперь-то они, конечно, выручают друг друга. Если бы я знал, я бы отменил приказание Крылова, я ничего не слыхал...

Он никак не мог остановиться, хотя чувствовал, что и Южин, и остальные заметили его странную говорливость.

— Вы находились рядом с Гольдиным, — не отпуская его взгляда, сказал Южин. — Вы сказали, что видели, как он вынимал кассету? Но ведь от люка до стенда расстояние большое.

— Никак вы меня ловите на чем-то? — Агатов хотел сказать это насмешливо, но сбился на нервно-крикливое. — Я же вам говорил, что я от люка не отходил! Я видел издали. Что ж, по-вашему, издали нельзя увидеть? Вы просто меня хотите сбить с толку. Вам надо защитить Тулина. Я знаю. Потому что я письменно предупреждал вас!

— Вы молодец, молодец, только нервы у вас... Первая авария... — И Южин благодушно хохотнул, снимая неловкость. — Я же для вас стараюсь, — он прошелся вдоль стола, дружелюбно потрепал Агатова по плечу, — чтобы вас ничем не попрекнули.

Агатов выпил воды, успокоился. Заговорили о радиосвязи, о службе прогнозов, как бы между прочим Южин придвинул к Агатову карту с отметками места аварии и мест, где были найдены парашютисты.

— Вот здесь приземлился Поздышев, а здесь вы. — Мясистое лицо Южина изображало крайнюю степень благожелательности. — Непонятно, отчего такое большое расстояние.

— Какое это имеет значение? — спросил Лагунов.

— Ну как же? Яков Иванович утверждал, что его швырнуло, он столкнул Поздышева и вывалился сам. А вот по расстояниям не выходит.

Хоботнев с интересом посмотрел на Южина и решил не вмешиваться. Раз Южин так говорит, значит, ему зачем-то это надо.

Агатов вяло убрал руки со стола. Он хотел раскрыть рот и не мог. Он закрыл глаза, чувствуя, что куда-то падает. Но тут раздался голос Голицына:

— В грозовых условиях самые невероятные перипетии возможны. В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году зарегистрирован случай, когда парашютиста несло двадцать минут.— И Голицын принялся объяснять механику воздушных течений.

Агатов жадно вздохнул, открыл глаза и сказал окрепшим голосом:

— Надеюсь, вам ясно?

Южин приветливо кивнул.

Ни черта ему не было ясно. Всем своим нюхом он чувствовал, что тут что-то не так, и осторожно тянул ниточку из этого путаного клубка... Оборвалась, а теперь не ухватишь... Ему хотелось засунуть этого мудреца Голицына на время заседания куда-нибудь в шкаф. Проклятый эрудит.

Впервые Алеша Микулин давал объяснения перед полным составом комиссии, со всеми представителями, в присутствии Голицына. Крылов был тут же, и Тулин, и Алтынов; стенографистка записывала каждое его слово, и все эти большие, серьезные люди слушали его с интересом, отдавали должное его мужеству. Он старался отвечать небрежно, как будто участие в воздушных авариях было для него делом привычным и надоевшим, как будто, кроме инструктажа и тренировочных занятий, на его счету были десятки прыжков. Ничего особенного в том, что он вытащил Крылова, даже спас его. Каждый на его месте поступил бы так же. У нас любят придумывать подвиги. Тем не менее он обрадовался, когда от него потребовали подробностей, и, слушая себя, Алеша не переставал удивляться, настолько осмысленными были все его действия.

— Смогли бы вы, например, вытащить кассеты в подобной обстановке?— спросил его Лагунов.

— Конечно,— сказал Алеша.— Подумаешь!

— Верно ли, что Крылов просил вас помочь Ричарду с кассетами?

— Да, точно,— обрадованно вспомнил Алеша и дружески улыбнулся Крылову.— Но не мог же я бросить Сергея Ильича ради этих кассет. Да и вообще...—

Он хотел сказать, что считал заботу Крылова о кассетах неразумной и до сих пор считает, но запнулся и замолчал, поняв, что это может повредить Крылову.

— Договаривайте, что «вообще»,— насторожился Лагунов.

Алеша не хотел давать Крылова в обиду, он вспомнил тяжесть тела Крылова, плотный, как вода, сырой воздух, засасывающий в проем люка, потом горизонтальную молнию. «Чечеточная»,— машинально определил он и вспомнил, как Ричард рассказывал, что горизонтальные молнии достигают длины полутораста километров. Разумеется, если бы он, Алеша, остался в самолете последним, ничего бы с ним плохого не случилось, он был уверен в себе, а Ричарда нельзя было оставлять...

— Мне лично эти кассеты до лампочки,— сказал он.

— Что значит —«до лампочки»?— строго сказал Лагунов.— Выбирайте выражения.— Но к членам комиссии обратился удовлетворенно:— Выходит, что даже студент Микулин, лицо неответственное, и тот не считал возможным из-за кассет рисковать своей жизнью. И жизнью Крылова. В подобных условиях. А вас, Сергей Ильич, это обстоятельство не смутило.

— Минуточку,— вмешался Чиркаев.— А как вы поступили бы на месте Крылова?— спросил он Алешу.

В глазах этого молодого инженера с чеховской бородкой Алеша прочел что-то предостерегающее и понял, что все, что творится на комиссии, не так-то просто и его показания могут много значить в судьбе Крылова, Тулина и всей группы, поэтому ему надо держаться чего-то, но чего именно, он не знал. Ричард — тот не задумывался бы...

— Я бы...— он замялся,— я бы не приказал Ричарду. Потому что,— он вздохнул, жалея того красивого героического Алешу Микулина, впечатление о котором он должен сейчас испортить,— я — это одно, а Крылов — другое.

Голицын, не отрываясь от своих бумаг, вдруг произнес резко:

— И я бы на месте Крылова позаботился о кассетах. А как же иначе? По-моему, каждому научному работнику это понятно. Правильно, что Микулину не поручил. Нельзя. Есть у нас такие — без божества, без вдохновенья.

Слова Голицына все сместили. До сих пор Алеша считал, что Ричард не должен был оставаться ради этих кассет, и вдруг сейчас он подумал, что настоящее геройство проявил именно Ричард и даже Крылов. Хотя это все равно ни к чему не привело. Ему захотелось разобраться во всем этом и поспорить с Ричардом, и оттого, что с Ричардом невозможно было уже поспорить, был прав Ричард. Он еще продолжал относиться к Ричарду как к живому, смерть была чем-то непривычным, не имеющим отношения к миру, в котором он жил, и вот теперь спустя несколько дней после аварии, он ощутил, что Ричарда нет, что поговорить с ним невозможно и что бы теперь он, Алеша, ни делал, кем бы он ни стал, от этого уже ничего не изменится. Для того Ричарда он так и остался пижоном, стоящим в очереди в кафе-мороженое.

Умело и неумолимо Лагунов собирал факты против Тулина. Заходы в грозовые облака совершались не впервые. Несмотря на протесты Агатова, Тулин уговаривал Хоботнева, приучил экипаж нарушать инструкцию, такая система нарушений рано или поздно привела бы к аварии. На плоскостях, под фюзеляжем без соответствующих разрешений конструкторов устанавливались приборы. А что за история с поездкой Тулина вместе с этой студенткой? Лагунов не скрывал: ему известна некрасивая сторона этого дела и все, что поговаривали про отношения Тулина с Кузьменко. Он произнес целую речь о моральном облике руководителя. Южин ожидал, что Тулин возразит, защитится, но Тулин молчал. Крылов неумело выгораживал Тулина, отпирался, и это давало возможность Лагунову превращать заседания в допросы, вызывать сотрудников поодиночке, создавать атмосферу подозрительности, расследования. Южин видел, что Лагунов на этом деле хочет составить себе репутацию человека, разоблачившего порочность целого научного направления, неумолимого стража государственных интересов. Упоенный своей ролью, он выискивал материалы для привлечения к уголовной ответственности. По многолетнему опыту Южин знал, что, как только начинаешь искать виноватого, а не причину аварии, дело безнадежно запутывается. Южин пробовал вмешаться, предостеречь Лагунова, но Лагунов, любезно улыбаясь, дал понять, что

Южину лучше поддерживать председателя комиссии, а не идти против. Это он, Южин, дал разрешение Тулину на полеты в грозу, следовательно, защищая Тулина, он защищает себя. Это он, Южин, получал от Агатова сигналы о нарушениях и не принял никаких мер.

Никто здесь не знал, что еще в Москве Южин по этим же причинам сам отказался возглавить комиссию. Полностью отстраниться от работы комиссии было бы малодушием, он поехал рядовым ее членом, представляя язвительные попреки Голицына: «Предупреждал я вас, не послушали, уговаривали меня» — и обычные поучения тех, кто ни о чем не предупреждал: «Убедились, к чему приводит ваша доверчивость?» Но на месте все оказалось еще сложнее, и сейчас он жалел об излишней щепетильности.

Он чувствовал, что существуют какие-то старые счеты между Агатовым, Крыловым, Тулиным, Лагуновым и даже Голицыным. Несмотря на двойственность своего положения, он все же пытался что-то сделать, ему удалось доказать, что, как бы там ни было, самолет попал в грозу случайно. Чутье подсказывало Южину, что Хоботнев не виноват. Молнией вывело из строя приборы, и было чудом обеспечить эвакуацию в таких тяжелых условиях. Лисицкий и Поздышев отделались ушибами. Вера Матвеевна сломала руку, Крылов повредил ногу, но все могло кончиться куда хуже, могли быть жертвы и кроме Ричарда.

На Хоботнева было страшно смотреть — покинул самолет, оставил там Ричарда, не заметил его... Южин представлял себé хаос, который творился в самолете. Наверное, Ричард свалился где-то за креслами, но Хоботнев не признавал для себя никаких оправданий.

Лагунов требовал отдать Крылова под суд.

— За что? — допытывался Южин.

— Как за что! За халатность. За то, что не обеспечил, за аварию, за все...

Но Южин ловко разделил вопрос — либо отдавать за халатность, тогда работы закрывать нельзя, либо запретить работы, тогда Крылова не судить.

— А разве нельзя и то, и другое? Жаль... — Лагунов был искренне раздосадован.

Южину было бы легче, если бы Тулин помогал ему. Но Тулин раскис, видимо, махнув на все рукой... «Состояние его бесполезное», — определил Чиркаев. Некогда поверив в Тулина, Южин не желал признаваться

в своей ошибке. Неужели он ни черта не смыслит в людях и Тулин на самом деле слабый человек, пустышка, бабник, обвел его вокруг пальца, пленил своими байками, а этот тип Агатов оказался дальновидцем!

И стойкость Крылова его раздражала, так должен был держаться Тулин, а не этот простак, который делал глупость за глупостью и только восстанавливал против себя Лагунова и Голицына.

В глазах Южина Тулин прочел жалость. С удручающей ясностью, во всех подробностях ему вспомнился тот волшебный день в Москве, когда он так напористо и весело внушал Южину веру в свою удачливость, в успех, и громадное, красного сафьяна кресло, в котором он засел, пока не добился своего.

Вдруг он почувствовал, как непроизвольно пытается принять ту же позу. Это было так стыдно, что он вскочил, но тотчас уселся под удивленно-строгим взглядом Лагунова. «Да что ж это будет со мной?» — подумал он. Солнце резало глаза. Все было нестерпимо ярко, как на съемке: выражение каждого лица, огромные очки Лагунова, большая комната в старых плакатах — все это запомнится, должно быть, навсегда.

— Обстановка в группе была ненормальной,— говорил Агатов.— Вы торопили сотрудников, вы гнали работу, «любой ценой» — это ведь ваше выражение, Олег Николаевич. Ажиотаж.

— А может быть, энтузиазм,— возразил Тулин.— Люди работали героически, они знали, что делают.

Но слова звучали вяло, не попадая в цель. Бесполезно было защищаться. Все было предрешено. Он понял это с той минуты, когда увидел выходящих из самолета Голицына, Лагунова... Они торжествовали. И Южин был с ними. С какой стати Южину защищать его после такого провала; он подвел Южина, и Южин не простит.

Лагунов спрашивал его о разногласиях с Крыловым.

Чуть что, его попрекали Крыловым. Он бы мог легко ответить на это. В сущности, во всем виноват Крылов. Полети в тот день он, Тулин, ничего бы не случилось, он нашел бы выход из любого положения.

Вера Матвеевна прямо заявила на комиссии: «Будь с нами Тулин, он бы что-нибудь придумал». Она твердила свое: «Тулин — счастливчик», по-женски пренебрегая доказательствами.

Нет, он не станет сваливать на Крылова. Пусть все видят несправедливость, пусть говорят, что не повезло, пусть жалеют: все равно ничего уже спасти не удастся. Тему закроют, и попытки Крылова что-то отстоять смешны. А Тулин не желал быть смешным. Тот, над кем смеются, уже не может быть ни значительным, ни опасным.

Сегодня на заседании впервые появился Голицын, и Тулин вспомнил свой злорадный, мальчишеский звонок, тогда, от Крылова, и почувствовал, что Голицын тоже вспомнил.

С брезгливой усмешкой Голицын слушал историю с поездкой и как Лагунов разводил мораль, негодовал, мусолил пикантную ситуацию.

Никогда в жизни Тулин не испытывал такого унижения. Рушилось прошлое, будущее, все достигнутое, все, что так блистательно начиналось. Он представлял себе новость, обросшую сплетнями: «Тулин-то как влип!» Пройдет год, десять, а он так и останется: «А, это тот самый, что когда-то оскандалился».

Крылову, Алтынову — им-то что, им нечего терять. Хоть бы скорее кончился этот позор. Он был бы рад, чтобы случилось сейчас землетрясение, взрыв, война, что угодно, лишь бы забыли о нем.

За окнами томилась жара, где-то трубач разучивал «Марсельезу», и некуда было деться от пронзительных оголенных звуков трубы.

В перерыв члены комиссии обходили его стороной. Он чувствовал вокруг себя полосу отчуждения; хуже всего, что он сам не мог переступить ее, подойти к ним, угощать яблоками, как это делает Агатов, даже просто поспорить, быть тем, кем он был для них до сих пор.

Кто-то толкнул его локтем. Рядом шел Возницын. Паша Возницын, приятель, замдиректора института, а сейчас член комиссии, Павел Константинович.

— Скажи Крылову, пусть перестанет упираться,— тихо заговорил Возницын.— Тему все равно прикроют. И нечего дразнить Лагунова. Ты пойми: в таких условиях комиссия никогда не станет взваливать на себя ответственность. Продолжать работы — значит продолжать полеты. Зачем это Лагунову? Кто на это пойдет? Безумие. Лагунову выгоднее разоблачить, наказать, пресечь. Репутация железной руки, научной требовательности. Сейчас у тебя одна задача — выкарабкаться

с наименьшими потерями. Нечего покрывать Крылова, ты вылезешь, тогда и ему поможешь.

— Нет, продавать я его не собираюсь.

— Зачем продавать?— сказал Возницын.— Во время пожара спасают что поценнее, а ты диван тащишь. Тактики у тебя нет. Растерялся ты.

— Это верно,— согласился Тулин.— Но ты пойми: одно к одному, как нарочно. А тут еще...— Он покраснел, ему казалось, что отпечаток Жениной руки остался на его щеке.— Господи, как я вас всех увидел нынче! И ты хорош. Поучаешь втихаря. А поддержать там, на комиссии, кишка тонка, да? Во всем соглашаешься с начальством? Тебе лишь бы не портить отношений. Ты с Лагуновым за что угодно проголосуешь.

Литые щеки Возницына опали, под глазами повисли морщинистые мешки.

— Я защищаю интересы института. Если бы я от себя... Приходится быть выше личных отношений. И без того всему коллективу неприятностей расхлебывать на год хватит. Да и что я могу? Кто я такой? Администратор. Ты кандидат наук. У тебя имя. Ты всюду устроишься. А меня турнут — и куда? Билеты в цирк продавать? Другой на моем месте так бы тебя... Эх, несознательный ты человек!

— Дрожишь за свое кресло, напуганный. Все вы напуганные.

— Да, не боец. А кто боец? Покажи мне. С Лагуновым воевать? Извините. Дайте мне расписку, что со мной ничего не сделают, и то подумаю.

— Ну да, ты еще не самое худшее,— усмехаясь, сказал Тулин.— Ты готов стать порядочным, когда обстоятельства позволят.

— Почему я должен больше других? Я понимаю, мне самóму не нравится... Видишь, я с тобой откровенно. Не ценишь. Ты еще непуганый. Заповедник. Ты впервые попал в передрягу, а я, брат...

Тулин молчал.

— Иногда мне снится,— тихо сказал Возницын,— встаю я на каком-нибудь совещании в институте и говорю все, все как есть говорю — до чего ж хорошо!— Он мечтательно вздохнул. Лицо его стало большим и добрым.

— Послушай, Паша...— с надеждой рванулся Тулин, но Возницын отступил, снова румяно-упругий, деловитый.

— Тебе повезло, комиссия исключительно доброжелательная,— быстро заговорил он.— Даже Лагунов держится пристойно. Ты только не дразни его. Все будет хорошо.

Во время обеда с Тулиным за одним столиком очутился Агатов. Оказалось, они оба заказали рассольник и отбивную, и отбивная у обоих была жесткая, и они ели ее без аппетита. Агатов осторожно вызывал на разговор о Южине: почему Южин придирается, подозрителен?

Тулин неуступчиво молчал: «грубо работаешь». Тогда Агатов сказал:

— Это он вас старается выгородить.

— А чего меня выгораживать?— спросил Тулин.

— Ну конечно, вы считаете себя ни при чем,— со злостью сказал Агатов.— Я видел, как вы на комиссии сидели, когда на меня навалились, как будто вы никакого отношения не имеете.

Хотя бы перед Агатовым он заставил себя стать прежним.

— К вам?— Он прищурился и протянул:— Не имею.

Наверное, это было нерасчетливо и неразумно, но он больше не хотел уклоняться; он вложил в свои слова все накопленное презрение к этой бездари, столько времени мешавшей ему. И он был рад, что Агатов почувствовал это.

— Так, так.— Агатов перегнулся через стол.— На меня не удастся спихнуть.— Он говорил тихо, быстро, глаза у него побелели.— Ричард-то спросил меня, правда ли, что вы согласились его услать.

— Ну и что вы ему сказали?— Тулин старался говорить тем же тоном.

— Правду-матушку, все как было...

Тулин отрезал кусочек отбивной, помазал горчицей.

— ...а остальное он сам понял. Визуально.— Агатов засмеялся, но лицо его оставалось напряженным, он просто произнес:— Ха-ха-ха.

Тулин положил обратно на тарелку нацепленный на вилку кусок. Он знал, что лучше не спрашивать, и не в силах был сдержаться.

— Что ж он понял?

— Помните, как вы приехали к нам в институт? Капаете, капаете... Умеете вы подшибить человека.

Счастье, что я не такой впечатлительный, как Ричард...

Тулин стиснул край столешницы.

— Чепуха!

— Южин интересуется, как да что произошло. А я так думаю, ничего другого, именно тут-то и зарыта собака. Ричард все понял. Все! В молодости знаете как болезненно воспринимают!

— Так, так, значит, это вы Ричарду наговорили?

Агатов засмеялся, и Тулин понял, что Агатов был готов к этому вопросу.

— А ваш друг Крылов, ведь и он разговаривал с Ричардом...

— Крылова вы мне не трогайте,— сказал Тулин.— Тут у вас не выйдет.

Он положил на стол трехрублевку и пошел к выходу.

У Крылова была одна цель — спасти тему. На поддержку Тулина он уже не надеялся. Тулин сидел, опустив плечи, тяжелый, с перегорелыми глазами.

— Советская наука бесстрашно исследует космос,— говорил Крылов,— забираемся в атмосферу, запускаем ракеты на Луну. И только какой-то двадцатикилометровый слой над Землей сделан заповедником трусости.

Он вскарабкивался на патетические вершины, угрожал судом поколений, успехами Запада, приводил цитаты, неуклюже заигрывал, взывал к совести. Если б он умел хитрить, льстить, заниматься демагогией! С надеждой и жаром он рассказывал о том, чего уже добилась группа: близился решающий этап исследований, разумеется, есть еще много спорного...

— Но я ручаюсь вам, что мы на верном пути.

Лагунов усмехнулся, выразительно подмигнул Голицыну, и Крылов тоже посмотрел на Голицына. Чесучовый пиджак свободно болтался на костлявых плечах старика. Голицын высох, стал серебристо-легким, чуть прозрачным. Скоро год, как они расстались. Здесь никто понятия не имел об их отношениях.

Голицын молчал. Тогда Лагунов, а за ним Возницын принялись убеждать Крылова в необходимости закрыть тему. Возницын намекнул, чтобы он соглашался, и все обойдется, все будет хорошо.

Всех бы устроило подобное решение. Ну, выяснилось, что метод несостоятелен, в науке это дело естест-

венное, с кем не бывает. Да, всем было бы хорошо, всем, кроме работы. Если ты от нее откажешься, ей уже не подняться. И Тулину тогда придется туго.

— Вы что же, предлагаете продолжать работы? — спросил Чиркаев.— И летать? Несмотря ни на что?

От его горестного изумления у Крылова что-то дрогнуло, но он упрямо повторял:

— Да, да, да.

— Как же вы можете? Погиб человек, и вы хотите, чтобы мы на это сквозь пальцы: ничего, ребята, не расстраивайтесь, не обращайте внимания. Подумаешь, одна жертва!— Чиркаев наливался краской, Крылов видел на его шее и лице шрамы, плохо прикрытые бородой.— Мы не посылали человека в космос, пока не было уверенности в благополучном возвращении.

И вдруг он увидел себя глазами Чиркаева: бесчеловечное, тупое упорство, ничем не обоснованное, идущее против фактов. А что, если... Почему это он, Крылов, один прав, а остальные не правы?..

Он подтолкнул Тулина: что ты молчишь, помогай, ведь это твоя работа.

— Не ерепенься,— ответил Тулин.— Нет смысла.

И потом, когда говорил Голицын, он шепнул Крылову: «Я знаю, что делаю, ты только портишь себе...»

Если сам Тулин молчит, с какой стати они должны верить ему, Крылову, кто он для Чиркаева или Южина? Перед ним снова возникло лицо Ричарда: «Взрослые так много понимают, что они могут ни во что не верить».

— Я вам сочувствую,— сказал Южин,— трудно признаться в ошибках, но что поделаешь, за все надо платить.

— Чем?— спросил Крылов.— Платить надо. Весь вопрос, чем платить.

Южин нахмурился.

— А если снова катастрофа? Снова жертвы? Вы разве можете поручиться и доказать нам, что это невозможно?

— Нет, то есть, конечно, риск есть... Но это обычный риск. На любых производствах бывают травмы.— Он обвел глазами членов комиссии, повсюду натыкаясь на взгляды осуждающие, неприязненные, и только Голицын смотрел задумчиво и грустно. Крылов шагнул к нему, разом припомнив то хорошее, что связывало его с этим человеком, а через него с Даном, и дальше —

с Аникеевым, и дальше — с той ни о чем не подозревающей юностью, когда все так хорошо начиналось.

— Но как же иначе? Мы рискуем. Но мы готовы... Вы говорите — Гагарин. А разве Гагарин не рисковал?

Голицын медленно поднялся, опираясь на стол, шаркая подошвами, вышел на середину комнаты.

— Сергей Ильич, не сомневаюсь: вы готовы, так сказать, принести себя в жертву.

Он взглянул на стенографистку, она отложила карандаш.

— И вы, разумеется, видите в этом геройство! А мне надоели подобные жертвы. Слишком много их было, неоправданных и жестоких. С меня хватит. Вы упрекаете нас, но в данном случае вы олицетворяете старое. Да, раньше вас заставили бы продолжить работы, не считаясь ни с какими жертвами. Десять человек погибло, сто, никого это не интересовало...

— Да, да, у вас, Крылов, культовские позиции,— оживленно подтвердил Лагунов.

Выждав, Голицын продолжал:

— Мне было бы легко, не поступаясь совестью, присоединиться к тем, кто требует наказания. Но в таких делах я не помощник. Я знаю, что у вас не было ни умысла, ни халатности, вы переживаете больше нас. Да и потом, ежели хотите знать, мы все по-разному отвечаем за гибель Ричарда. Убитый один, а убивают всегда многие. Но вот мы принесли в жертву Ричарда, и что же мы получили? Необходимость новых жертв? Как будто новый риск и новые могилы могут реабилитировать идею. Вы, Олег Николаевич, добивались проверки указателя в условиях грозы. Ну что ж, вы проверили. Ваша идея существовала как привлекательная возможность будущего, но вы сами ненужной поспешностью надолго скомпрометировали ее.

— Совершенно верно,— подхватил Лагунов.

Голицын посмотрел на него с досадой, выбросил из-за спины руку, длинную, тонкую, как шпага.

— Боюсь, что наша комиссия слишком большое значение придает формальным моментам. Я убедился, что и Крылов, и...— он запнулся, но проговорил твердо:— да и Тулин даже в этом исследовании, несмотря на свои ошибки, показали себя способными людьми. Нельзя, чтобы их зря мытарили.— Взгляд его, устремленный на Лагунова, похолодел.— Это вам не разработка Денисова. Здесь совсем иной уровень. Нас тогда на-

зывали неверующими, рутинерами. Тогда принял на себя удар Данкевич. Слишком я стар, чтобы забывать такие вещи.

— Данкевич — замечательный ученый,— весело сказал Лагунов.— Ваши слова, Аркадий Борисович, тронули нас всех.— Лагунов сидел во главе стола, и большие его очки блестели, как две фары.— Но, может быть, вам следовало произнести их раньше. Когда Крылов работал у вас и Гольдин был вашим аспирантом. Ваши воспитанники...

— При чем тут герои, жертвы?— не слушая Лагунова, выкрикнул Крылов.— Это же просто несчастный случай, и ничего больше. Нет, вы давайте по существу, про нашу тему.— Потный, взбудораженный, он, не обращая внимания на боль в ноге, прихрамывая, бродил вдоль стола, нелепо размахивая палкой, наскакивая на Голицына. Он вызывал на бой, уверенный, что противник не имеет ничего, кроме власти. Облупленный нос его заносчиво блестел. Администраторы! Чинуши!

Голицын с трудом сдерживался, чувствуя нарастающее ожесточение. Нравственная сторона дела, видимо, никак не трогала Крылова, он оставался единственным здесь, на кого речь Голицына не произвела впечатления. И все поведение Голицына, его рыцарское великодушие не действовали на него. Больше всего Голицына обидела ссылка на Ломоносова, который не испугался после гибели Рихмана и призывал продолжать исследования атмосферного электричества.

— Мы, конечно, не Ломоносовы,— сказал Голицын.— Тем не менее, раз вы требуете, осмелюсь по существу...

Бесстрастно, как на экзаменах, он задавал вопрос за вопросом. Нет... Неверно... Где доказательства?.. А мог ли указатель работать при таких режимах?.. А при таких?.. Но это ниоткуда не следует... Логика его была, как всегда, безукоризненна. Он загонял Крылова в тупик, ибо это были те самые вопросы, которые сам Крылов ставил перед Тулиным. Как мог Крылов объяснить ему сейчас верхние точки кривых, если он сам упрекал Тулина за их необоснованность?

Раскрыв рукопись, Голицын читал вслух заключительную часть своего разбора. Существуют ли... Как понять... Неясно, что имелось в виду... Достаточно ли...

Крылов спохватывался, что-то возражал, пытался как-то выкрутиться, но это была агония. А Голицын чи-

тал и читал, выдвигая варианты, на опровержение которых потребовались бы десятилетия.

Для Крылова это еще была его работа, а для Голицына и остальных — труп, и Голицын производил вскрытие, чтобы убедиться в правильности своего диагноза.

Крылов подошел к Олегу — сейчас они остались вдвоем против всех,— потряс его за плечо. Тулин не пошевельнулся. Плечо было ватно податливым. Крылов стоял за спинкой его стула, сзади Тулин был совсем прежний — заросший затылок, золотистые волосы, стоячий воротничок белой рубашки. А вот с лица он здорово изменился. Изменился или состарился. Может быть, это одно и то же. Меняются всегда в сторону старости.

— Нам надо время, чтобы разобраться,— сказал Крылов.— Мы подготовим ответ. Я уверен, что мы...

— Кто «мы»?— спросил Лагунов.

— Тулин, я, наша группа.

— Почему вы беретесь отвечать за всех?— сказал Лагунов.— Есть руководитель группы. Прошу вас, Олег Николаевич.

Тулин притиснул к пепельнице сигарету.

— Возражения Аркадия Борисовича серьезны. Кое-что можно оспорить, но сути это не изменит. Надо иметь мужество соглашаться.— Он говорил небрежно, легким, чистым голосом, как о чем-то побочном, давно ясном.

— Что ты городишь!— не выдержал Крылов.— В чем соглашаться? Наоборот, тут надо искать. Это же не только ошибки!— Он бросился к Голицыну.— Это противоречия. Мы должны найти объяснения. В них лежит сущность процесса. Я уверен...

— Сережа!— Тулин был терпелив — так отец извиняется за неразумного ребенка.— У нас нет никакого права настаивать. Ни научного, ни морального. Кто скрывает свои ошибки, тот хочет совершать новые. А я не хочу.

— Это честно и разумно,— сказал Лагунов почти радостно. Он добивался своего со счастливой убежденностью — то, что он делает, куда более важное и нужное, чем все то, чем занимались до сих пор Крылов, и Тулин, и все остальные.

Крылов воспаленно смотрел на его рот, блистающий металлическими зубами. Сам виноват, думал он. Не сумел настоять на своем, удержать Олега от погони за ре-

зультатом, результатом во что бы то ни стало. Надо было добиваться того, что ты считал нужным. Во всем виноват ты сам. Любую беду можно одолеть, но когда сам виноват, то уже некуда податься.

Теперь он остался в полном одиночестве. Как Ричард там, в самолете. Будь Ричард жив, они стояли б сейчас вдвоем. Но там, где должен был стоять Ричард, было пусто и дуло холодом.

— Боюсь, вы преувеличиваете свою роль,— любезно сказал Лагунов.— Нам трудно не считаться с мнением Олега Николаевича.

В такие минуты Лагунов становился лириком, он ощущал благожелательность, он был так доволен, что мог утешать, и сочувствовать, и говорить самые распрекрасные слова.

Наверное, поведение Тулина было мудрым, потому что сопротивляться в таких условиях было бессмысленно. Крылов это понимал. У него не было ни доводов, ни фактов, ему нечем было опровергнуть Голицына, и, продолжая настаивать на своем, он выглядел упрямцем, он лишь усиливал общее осуждение. Он заметил это по тому, как на него старались не смотреть. У Возницына, Лагунова глаза куда-то исчезли, остались безглазые лица. Сколько раз Тулин учил его маневрировать, быть гибким, выигрывать на кривой! Так он ничему и не научился. Он мог уступать, но он не умел отступать. Дурацкий механизм без заднего хода.

Сердце Голицына ныло. Он слишком хорошо знал, куда заводит подобная одержимость. Любая идея, самая ложная, находит своих фанатиков. Перед ним возник печально знакомый вариант судьбы Крылова: хождение по приемным, письма, заявления с нелепой надеждой переубедить, доказать, засасывающая тяжба и постепенная озлобленность неудачника. Сколько встречал он таких горемычных изобретателей, создателей ложных теорий! Годы и годы убивали они, пытаясь опровергнуть, обосновать, становясь рабами своих заблуждений, всюду начиная видеть невежество, интриги, заводя папки своей переписки, строча под копирку...

Если б знать, как предостеречь, остановить этого упрямца!

Занятый своими мыслями, он не заметил, почему Крылов вдруг заговорил иначе, новым, свежим голосом.

Лицо у него просветлело, он стал спокоен, почти весел, смущая своей уверенностью.

И все остальные тоже не поняли, что же произошло с Крыловым. Только что он, осмеянный, ожесточенный, забившись в угол, обреченно листал записи Голицына, и было ясно, что выхода нет и он должен сдаться, и Южин не без облегчения подумывал о том, что надолго избавится от новой ответственности за этих одержимых, и вдруг все переменилось. Как будто Крылов откуда-то узнал нечто такое, отчего все, что бы здесь ни решалось, не будет иметь никакого значения.

— Вы можете закрыть тему. На это сейчас никакой смелости не нужно. Я только хотел предупредить вас — придет время, когда вам будет стыдно за ваше решение.— Он мельком взглянул на Тулина, словно хотел в чем-то удостовериться, и заговорил еще спокойнее:— Мы наделали много глупостей, но принцип правилен. Аркадий Борисович, вы нашли ошибки и полагаете, что этим зачеркнули нашу работу. А я считаю, что вы поставили вопросы, на которые нужно ответить. Все равно кому-то придется на них ответить.

Он был снисходителен и добр. Казалось, он говорил им из будущего, где уже было точно известно, что́ из всего этого прорастет. Он не чувствовал себя одиноким. Наоборот, он был необходимостью, а все остальное случайностью. Он чувствовал себя свободным, свободным от Тулина, от боязни сказать что-то не то, помешать, напортить ему.

Он видел за окном небо, слепящее знойной белизной, на бульваре сгорали молодые тополя, сухая земля гудела под ногами прохожих, как бубен. А под Старой Руссой, писала сестра, поля затопило, гнила картошка и шли дожди, дожди.

Он остался один, но зато он мог делать то, что хотел.

Голицын попросил дать Крылову несколько дней. Может быть, внимательно изучив материал на основе работы комиссии, Крылов не будет настаивать.

— Мы обязаны предоставить ему эту возможность,— с рыцарским великодушием заключил он.

Его поддержал Чиркаев. Опросив всех членов комиссии, Лагунов сказал, что он готов сделать все, если выяснятся какие-то обстоятельства в пользу этой работы, но сейчас он, как председатель комиссии, вынужден, считаясь с большинством, настаивать на прекращении работ и закрытии темы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 1

Тело его лежало на кровати. Боль в ноге была длинной и тяжелой, как рельс.

И боль, и тело существовали отдельно. Он уходил от них все дальше. Он уходил от Тулина, от неразберихи собственных переживаний, от всей путаницы, какая была на комиссии.

Почему не сработал указатель? Он восстанавливал по памяти монтажную схему. Проводники, колодки, участок за участком, пока не стал ощущать ее, как ощущают собственные мышцы. Что, как, где было расположено в момент аварии? Он сам был указателем. Он входил в сырую свежесть облаков. Трещали молнии. Заряды наводились на пластины, пробивались сквозь фильтры. Лампы подхватывали сигналы. Гудели дроссели. Сотни сопротивлений, конденсаторов, катушек очищали, выпрямляли, усиливали сигналы, и все это в конце концов завершалось движением стрелки. Весь этот сложный организм существовал и работал ради этой простой тоненькой стрелки. Так и человеческий организм — живет, чтобы рождать мысль, поступок. Редко удается жить вот так нацеленно. Без отвлекающей суеты, ненужных разговоров и переживаний. Чтобы не думать про Наташу. Хорошо, что сознание не умеет раздваиваться. Когда думаешь только про вопросы Голицына, все остальное перестает существовать. Ведь для амперметра существует только сила тока, ни на что другое он не реагирует.

Судя по всему, указатель должен был сработать.

Возражения Голицына были серьезны и аргументированны, разложены по полочкам: верно, неверно. Для старика это была всего лишь сумма сведений, кости скелета...

Скрипнула дверь.

— Спишь?

Крылов закрыл глаза. Вспыхнул свет. Тулин постоял, постоял и снова повернул выключатель. Было слышно, как он прошел, задевая за стулья, с треском распахнул окно.

— Спектакль прошел с успехом. Теперь они такие добренькие, такие добренькие... Голицын предлагает к себе в институт. И тебя возьмет, если попросишь. Да-

же с шиком. Блудный сын вернулся. Лагунов — и тот великодушен. Нет, все же они гуманисты. Какая доброта! Какой жест!

— Послушай, Олег, а как у нас был заземлен датчик?

Тулин засмеялся:

— Пример преданности своему делу. Он героически продолжал выполнять свой долг. Вот он перед нами, простой советский человек!

Крылов прищелкнул пальцами.

— Вдруг двойное замыкание? А? Тогда... минуточку... Нет, не выходит,— разочарованно признался он и открыл глаза.

Тулин сидел на диване, притиснув кулаки к глазам.

— Обрыв в цепи питания — вот что могло быть!— сказал Крылов.

— Теперь ничего нам не поможет.

— Но все сходится. Я могу доказать!

— Зачем?

От этого пустого голоса Крылов растерялся.

— Тогда они должны будут пересмотреть...

— Зачем?— снова тем же голосом спросил Тулин.— Ничего не может измениться. Мертвые не оживают. Мы с тобой прикованы к этому мертвецу навечно. И что бы ты ни доказывал, тебе всегда покажут на могилу Ричарда.— Он выругался тоскливо, без злости. Одна горькая мысль не давала ему покоя.— Представляешь себе, если бы указатель сработал? Мы бы с тобой сейчас сидели в Москве в номере люкс и готовили бы доклад. Все было бы наоборот. Завтра конференц-зал, стенографистки, корреспонденты. Агатов, Лагунов заискивают, поздравляют. Южин ходит гоголем: недаром, Олег Николаевич, я в вас поверил. Банкет. Премии. Загранкомандировки... Какая ж это лотерея! И для всей этой сволочи я авторитет, прав — от начала до конца. Почему ж мне так не повезло? За что? Нелепый случай — и такое, такое дело накрылось. Начисто. Три года как проклятый я вкалывал...

— Мало ли что. Надо как-то перенести...

— О, у нас всегда достаточно сил, чтобы перенести несчастье ближнего!— Тулин откинулся к спинке, вытащил конфету.— Хочешь? «Белочка»! Раньше, когда я плакал, мать подсовывала конфетку. Теперь самому себе приходится подсовывать.

— Ты согласился пойти к Голицыну?

Тулин бросил ему конфету. Крылов не хотел никаких конфет, но почему-то не мог отказаться. Теплая, смятая конфета была тошно-сладкой.

— Будешь делать у него то, над чем смеялся,— сказал Крылов.— Нехорошо!

— А что такое хорошо? И что такое плохо?

— Все равно ты не имеешь права!

— Перестань орать. До чего же вы все любите орать!

Он скинул туфли и начал стягивать рубашку.

— Ты только о себе думаешь,— тихо сказал Крылов.

Из-под рубашки послышался ленивый смешок.

— А может, только о тебе.

— Как?— оторопел Крылов.

Рубашка полетела на стул. Тулин снял брюки, потянулся до хруста.

— Думаешь, шуточки с тобой шутили? За такую аварию тебе могли подвесить статью будь здоров. Один ты пошел бы под суд. Но у меня своя корысть — как подумал, что придется к тебе в тюрьму передачи таскать, так говорю: нет, господа, Крылов мне друг, а истины не видно, закрывайте нашу лавочку...— Он кривлялся, выламывался, при слабом свете луны голое тело его зеленовато поблескивало.— Все ради тебя делалось.

Крылов привстал.

— Нечего мной прикрываться. Пожалуйста, оставайся, работай, а я пойду под суд. Впаяют за халатность, но тема наша ни при чем.

Что-то произошло. Они не видели глаз друг друга, но каждый смотрел туда, где были глаза другого, и вдруг Тулин впервые почувствовал нелепость своего тона и, еще не понимая, не веря своему смущению, зябко передернувшись, сказал прежним наигранным тоном:

— Ах ты Христосик!

— Я понимаю, тебе трудно сейчас. Ты отдохни. Это настроение,— сказал Крылов.

Тулин лег в кровать, укрылся одеялом.

— А знаешь, все логично,— задумчиво сказал он.— Пока у меня шло хорошо, ты дружил со мной и уважал, как уважают всякого удачника. Прибавь к этому, что ты нуждался во мне и я всегда помогал тебе как мог. А теперь... Когда падаешь с седла, становишься последней тварью. Упавшего топчут, и больше всего те, кто поклонялся.

— Нога болит,— сказал Крылов.— А то бы я тебе дал по морде.

Тулин медленно закинул руки за голову.

— Меня уже били. По щекам. Можешь добавить. Лежачего бить удобнее.

— Шут с тобой,— сказал Крылов с трудом.— Тебе сейчас тяжелее...— Он вдруг смутился: а что, если это так?— Ладно, не принимай во внимание. Все это чушь собачья. Пусть делают что угодно. Мне куда хуже видеть тебя вот таким.

Тулин усмехнулся.

— Да ты что ж, полагаешь, что я бы не смог вывернуться, если бы захотел?

— Ну так что ж ты?

— Не хочу.

— Что с тобой, Олег?

Тулин долго не отвечал, потом спросил с интересом:

— Слушай, а зачем тебе все это надо?

— То есть как так?

— А вот так,— повторил Тулин.— Зачем? Зачем ты стараешься?

— Так это ж все несправедливо... И потом — дело. Мне интересно знать...

— Ах, несправедливо,— подхватил Тулин.— Скажи на милость, какой праведник. А я не хочу... Хватит. Мы мучаемся, у нас какие-то нравственные проблемы, а прибыль получает со всего этого кто? Агатовы? Посмотри, как он взыграл на нашей аварии. И Лагунов. У нас высокие цели, творческие мучения, мы жаждем помочь человечеству, а они делают себе карьеру, приезжают сюда выносить нам приговор. Добьемся мы своего или нет, в выигрыше будет Лагунов. Не беспокойся, они проживут в свое удовольствие, ни капельки не терзаясь ни своим эгоизмом, ни беспринципностью или как там еще.

— Ну какое мне дело до них?— Крылов тоскливо вздохнул.— Я ж тебе совсем не про то. Чихать я хотел на них.

— Знаешь ты, юный натуралист, ты мне надоел. Я спать хочу.

Пружины матраца зазвенели. Стало слышно, как за окном трещат цикады.

— Увидим, как ты объяснишь это ребятам,— сказал Крылов.

— Дожили! Ты мне угрожаешь! А я на комиссию сошлюсь. Что с меня взять. Голубушка комиссия все запретила. Да что там, наши всё понимают, смирились.

— А я не смирился.

— Ты?— Тулин присвистнул, но тут же привстал, и Крылов увидел белое пятно его лица.— Кто ты такой? Ах да, ты пророк! Ты ж предсказывал, ты меня уличал, сам Голицын подтвердил твои прорицания. Теперь ты тоже вправе поучать меня. Значит, ты готов без меня продолжать работы? И даже занять мое место? Полагаешь, у тебя есть на это право? Так вот что. Я тебя щадил до сих пор, но я тебе могу открыть глаза. Ты неудачник. На кой черт я связался с тобой? Это же заразительно... Не будь тебя, полет прошел бы отлично. Все это знают. Агатова прислали тоже из-за тебя. Помнишь, тогда, в Москве, я говорил тебе. Я так и знал. Не тебе стыдить меня. Он не смирился! Храбрец!.. Тебе нечего терять, вот и вся твоя храбрость.— Тулин неожиданно перешел на шепот:— А кто помешал Ричарда отослать? Ты, ты! Я согласен был отправить его, а ты оставил. Это ты виноват во всем, не я, а ты. Если б ты не вмешался, он был бы жив.

Заглянула луна. Выбеленные стены стали зелено-белыми, и по полу колыхались зыбкие тени. На шкафу лежал чемодан. Никель замков его блестел. На подоконнике лучился волосатый кактус. Льняная скатерть на столе тоже блестела. Все было очень красиво, как в театре.

Крылов вышел в коридор. В коридоре пахло уборной. Он вышел на крыльцо. Каменные ступени были холодные, и Крылов заметил, что он в одних носках. Он вернулся назад в номер и лег.

Было ли заземление датчика припаяно? Теперь это не играет роли. Может, припаяно, может, его вовсе не было.

Конфета была приторной, и собственный голос казался ему таким же сладким.

— Будет тебе, подумаем насчет возражений Голицына. Я боюсь, что без тебя не осилю, фосфору не хватит.— Он перевел дух, до чего ему было мерзостно от этого заигрывания.— Ну, надо же ему ответить. Что ты на меня злишься? Мне хочется как лучше.

Он умасливал его, отбросив всякое самолюбие. Он избегал думать о себе, о словах Тулина, он больше не

жалел Тулина, перед ним был человек, которого следовало использовать, взять от него то, что нужно.

Показалось, что он добился своего, они начали обсуждать возможные причины, почему записи не показывали мест, где возникают молнии.

— Нет, не могу,— вдруг сказал Тулин.— Ничего я не могу. Я все представляю себе, как разнесется по Москве...

— Погоди, не мешай,— попросил Крылов, но Тулин не слушал.

— Нет, нет, мне нужно заняться чем-то другим, совсем другим. Если б я мог вообще плюнуть на все. Объясни мне, зачем разрушать грозу? Зачем надо что-то создавать? Зачем указатель?

Вдруг Крылов улыбнулся.

— Ты что?— спросил Тулин, почувствовав в молчании Крылова эту невидимую уличающую улыбку.— А впрочем... И объяснения твои не нужны. Никто ничего не может объяснить. Все бессмысленно. Давай закурим.

— Давай.

Они встали у окна. Тулин зажег спичку, поднес Крылову, пристально рассматривая при свете огня его глаза. Никогда он не видел у Крылова таких глаз, непроницаемо твердых, совсем чужих. Маленькое пламя плясало в черноте зрачков.

— Да, все бессмысленно,— вызывающе повторил Тулин,— и жить надо без всякого смысла. К Голицыну так к Голицыну. Какая разница! Буду жить, как все, ничего выдумывать не желаю. Ну еще один индикатор, ну выясню, что центры возникают случайно. Что от этого изменится?

— Для кого?

— Например, для матери Ричарда. Ничем рисковать и жертвовать больше не хочу. Голицын был прав. Второй раз я жить не буду. Сейчас надо найти что-то быстрое, эффективное. Наверстать. И ты тоже не обольщайся. Уймутся волнения страсти, тогда видно будет.

— Нет, я не могу так оставить,— сказал Крылов.— Я все же попытаюсь разобраться.

— Сам?

— Да.

— Думаешь, что справишься?— с коротким смешком спросил Тулин.

— Не знаю. Но мне хочется попробовать.

— Давай, давай, мне это даже выгодно.

— А как же твоя мечта разрушать грозу, управлять грозой, самолеты в грозу, энергия грозы...

— Ты праведник, вот и благодетельствуй. Только с твоим моральным кодексом ничего не добьешься. Скажи мне, какой смысл быть хорошим, если хорошие люди пропадают? Им всегда хуже. Вот ты следуешь своим высоким правилам, а что в результате? Чего ты добился? Только облегчаешь торжество подонкам.

— Зато я не иду на компромисс.

— Вся-то наша жизнь — компромисс,— сказал Тулин.— Мы никогда не можем быть до конца честными и делать что хотим.

— Я не знаю, какой смысл быть хорошим. А какой смысл быть человеком? Раз уж ты живешь, то живи человеком, а не гусеницей. Не знаю, может быть, для себя надо быть хорошим, может, для других. Я не отказываюсь бороться, только я буду бороться честно, а если я сам буду подлость применять, тогда мне уже не с подлецами бороться, а за свое местечко среди них.

...Невозможно припомнить все, что делал для Крылова, начиная со студенческих лет, и потом, когда он помог Крылову попасть на завод и в лабораторию, и улаживал его размолвки с Леной, заставлял писать диссертацию, выручал деньгами... Развлекал, поддерживал в трудные минуты. Вытащил его сюда, когда он поругался с Голицыным. В их дружбе один все давал, а другой только брал. А теперь, когда первый раз меня тряхнуло, он уличает, обвиняет. Я защищал его на комиссии, а он... До чего ж это страшная штука — неблагодарность, хуже всего переносится! Неужто и после этого я не научусь плевать на всех и думать только о себе?

Здорово быстро все рухнуло. Тр-рах — и не осталось никого и ничего. Только что был ведущим физиком, руководителем большой темы, были друзья, поклонники, Женя, была известность, авторитет. И вот все исчезло. Ни работы, ни друзей, ни будущего. Теперь перед всеми только его ошибки. Поражение оголило ошибки, а была бы победа — и все сомнения и требования Крылова растворились бы в ее сиянии.

Поражение поглощает разом все. Никто не пытается

рассмотреть в неудаче когда-то гениально составленную схему датчика, хитроумно добытые приборы, ночи, проведенные за вычислениями, желтые, облезлые от кислоты пальцы.

Он осторожно провел ладонью по щеке, и сразу кожа вспыхнула, словно еще чувствуя ожог от удара. Забавно: впервые за много лет увлекся, и кажется, по-настоящему, а она с такой легкостью отшатнулась от него. Однако за что его сейчас любить? Сергей был последним убежищем, последней крепостью, последним, что оставалось от прошлого.

Всему виной талант. Талантливым людям всегда плохо. Будь ты побездарней, никто бы тебе не завидовал, никто бы от тебя ничего не требовал, Женя жалела бы, Сергей не был бы разочарован. Видите ли, ты не оправдал их надежд. Но не торопитесь, все еще может перемениться.

...И это тот человек, за которым ты шел без оглядки. Порвал из-за него с Голицыным, лабораторию бросил, работы оставил незаконченными. Прощал его слабости, защищал его перед всеми. Ради него ты мог пожертвовать многим и не пожалел бы. Гордился им — Тулин, твой друг Олег Тулин.

Будь он пустышкой, можно было бы понять его, но ведь он талантлив, зачем же ему так нужен успех, признание, слава, вся эта труха, к которой рвутся Агатовы и за которую держатся Лагуновы? Зачем такому человеку становиться подонком? Ну-ну, какой же он подонок, он просто устал, обижен, ему надо отдохнуть... Опять ты ищешь ему оправданий. Он сам умеет подыскивать себе оправдания, и у него сколько угодно красивых оправданий.

Это всегда странно, и Лагунов был когда-то способным электриком, у него несколько крепких работ. А потом его сделали начальником отдела, председателем какого-то комитета, научился выступать, кого-то громить, и пошло, и пошло. Появились работы аспирантов с его подписью, а потом появлялись только брошюрки, интервью: «Мои впечатления о конгрессе в Англии», «Ответ мистеру Вайнбергу». Начались хлопоты о выборах в членкоры...

Но то Лагунов, а тут Олег, твой Олег. Старая петроградская квартира на Фонтанке, ночные споры, поход

на паруснике по Вуоксе, как он плакал после похорон Дана, а как он рвался в Новосибирск. Что же произошло? И когда, когда они разошлись?

Вдруг он почувствовал, что это прощание. Они ссорились и раньше, они много раз ссорились, но то было совсем иначе. Можно и сейчас рассмеяться и хлопнуть друг друга по плечу: «Замнем для ясности», выпить, в шкафу еще стоит бутылка рислинга. А дальше? В том-то и дело, что дальше возникнет то же, они опять вернутся к этой развилке. И тут они распрощаются.

Ты сам виноват, что так получилось. В дружбе нельзя подчиняться, ты хотел сохранить дружбу, уступая, и сам шел на компромисс, чего ж ты его упрекаешь в компромиссах? Ты теряешь единственного друга, лучшее, что у тебя оставалось от молодости, и что непоправимо, теперь уже ничего нельзя изменить, вы расходитесь, и никак нельзя по-другому. «Но ведь это Олег,— сказал он себе.— Ужас, сколько нас связывает. Он-то это переживет, а вот тебе будет без него совсем худо...»

— Серега!— словно из глубины прошлого, донесся этот озорной голос, как будто ничего и не случилось.— Серега, у меня из головы вон, я же видел твою Наташу.

— Где?..

И, выслушав, ответил со спокойствием, радующим его самого:

— Я знаю. Она мне звонила.

ГЛАВА 2

На поворотах свет фар перебрасывало через черную глубь ущелий к зеленым уступам другого берега. Дорога исчезала во тьме и вновь возникала коротким завитком меж светлых откосов песчаника. Крылов стоял в кузове, высматривая набегающие километровые столбы, глаза слезились от ветра. Он ни о чем не думал, ничего не представлял, не строил никаких планов, он весь был погружен в знобкое нетерпение. Легче было перенести годовую разлуку, чем ждать конца этого часового пути. Грузовик мотало из стороны в сторону. Грохотали мосты. Машина ревела, беря подъем. Стоячая лесная теплынь сменялась пронизывающим ветром перевалов. А потом бесшумный спуск, редкие огни долины, за ними слабое мерцание моря, белые корпуса санаториев, дрожащий туман света над городом, и вот уже

фонари, лай собак, грохот пустынных мостовых, подъезд гостиницы, долгий стук в дверь, заспанное лицо швейцара, приплюснутое к стеклу. Крылов звонил и стучал, звонил и стучал, пока швейцар не открыл дверь.

— Ну чего безобразничаете? — сказал швейцар.— Нету мест. Ни одной койки.

Нижняя рубаха, свисали подтяжки — маленький, домашний старичок, только голос строгий.

— Мне Романову.

— Нету никаких Романовых.

— Она моя жена.

— Какая может быть жена в три часа?— рассудительно сказал швейцар.

— Я вас умоляю.

Швейцар зевнул.

— А вот за нарушение десять суток.

Крылов вынул из кармана пригласительный билет на Французскую выставку.

— I think you will like me better then [1].

— Так бы и говорили. Битте. У нас интуристовская. Сейчас администратора разбудим. Битте.

Заспанный администратор, ничего не поняв, передал его дежурной, которая повела его по длинному полутемному коридору, опять было долгое постукивание, шепот, шорох, и все это время Крылов читал на стене правила внутреннего распорядка.

При виде Наташи он даже не смог улыбнуться. Губы его одеревенели, и мускулы лица тоже не слушались.

Наташа испуганно стиснула ворот халатика. Сощуренные от света глаза раскрылись, обдав его блеском, и тотчас погасли.

— Что случилось? Что у тебя с ногой?— спросила она и оглянулась на дежурную.

Он зачем-то кивнул.

— Значит, они вам знакомые,— сказала дежурная.— По-русски они понимают, а разговора у них нет.

— Подожди, я сейчас оденусь,— сказала Наташа.

За низкими оградами, сложенными из плитняка, в садах падали яблоки. Глухой стук раздавался повсюду, как будто невидимые в ночи барабанщики били тревогу. Кривая нагорная улочка вывела к площади.

---

[1] Я думаю, что тогда буду тебе больше нравиться *(англ.)*.

Крылов рассказывал, как ехал сюда и объяснялся со швейцаром, потом про аварию, про размолвку с Тулиным и снова про ночную поездку, про гостиницу в Ростове, гибель Ричарда. Он никак не мог остановиться. Но лучше бы он говорил, потому что, когда он замолчал, стало совсем плохо.

Эта крепкая, деловитая женщина совсем не походила на ту Наташу, которая жила в его памяти, и говорила она совсем не те слова. Тот же петух на крыше, тот же дом, но там живут другие люди. Незнакомая клетчатая куртка, матерчатые босоножки, незнакомое платьице, и губы тоже незнакомые, большие, темные, только волосы прежние — гладкие, тяжелые. Он с тоской подумал, что мог бы и не узнать ее в толпе.

До сих пор он считал, что главное — встретиться, остальное образуется. Он был уверен, что найдет ее, но ведь она-то об этом не знала и жила так, как будто между ними все кончено.

Он приготовился защищаться, а она и не собиралась его ни в чем упрекать — ну что ж, так получилось, оба они были чудаками, бывает...

На площади стоял маленький памятник каким-то морякам — ростр корабля на бронзовой волне. Они сидели на скамейке лицом к морю. Море было внизу. Зеленая мгла светлела, обозначился черный горб мыса, и за ним шевелились неясные вспыхи, как будто далеко, где-то за горизонтом работал сварщик.

Все было очень просто. Прошел год, старое заросло, и в нынешней ее жизни Крылова не существовало, он стал тем же, что Озерная, Алексей,— грустное, а может, досадное воспоминание.

— Я все делала, чтобы забыть тебя, и забыла,— сказала она.

Не все ли равно, что у нее сейчас, влюблена в кого-то или что-то другое — бессмысленно было об этом расспрашивать. Зачем же она позвонила?

— Что-то шевельнулось. Наверное, я еще тебя как-то люблю,— дружелюбно сказала Наташа.— Вулканическая деятельность.

Она подшучивала без всякой горечи, для нее все было обыденно и просто, как будто они говорили о приятелях. И он не понимал, почему он слушает ее так же спокойно, не кричит, не плачет, и мир не рушится, и кругом тихо, только падают яблоки.

Совершенно спокойно она рассказала, как ушла от мужа. После отъезда Крылова она поняла, что не любит Алексея, но притворялась, пытаясь сохранить семью. А потом не выдержала и призналась Алексею. И он тоже стал притворяться, чтобы сохранить семью. Ради сына. При посторонних и при Коле они улыбались и разговаривали. Однажды, когда она укладывала Колю, он спросил ее: «Почему ты не любишь папу?» — «С чего ты взял?— сказала она.— Мы очень любим друг друга». Коля отвернулся и сделал вид, что спит. И она вдруг поняла, что ребенок все понимает и не верит. Пройдет год-другой, и он тоже научится притворяться ради семьи. Все они будут сохранять семью, которой нет. Тогда она решила уйти, потому что то, что они делали ради ребенка, было против ребенка. Потому что жизнь во лжи и обмане уродовала хуже всякой безотцовщины.

Может быть, она рассказывала еще скупее, но он представлял себе эти дни и ночи в большой тихой квартире, заполненные молчанием, а по вечерам, когда приходили гости, громкие разговоры, чай, и как будто все в порядке, счастливая семья. Он вдруг вспомнил, что однажды перед отъездом тоже что-то внушал ей про семью, врал себе и ей. А сейчас все оказалось ложью. Одна ложь тянет другую, и целые жизни проходят во лжи.

— И ты уехала на черной «Волге».

— На какой «Волге»?

Она отодвинулась, посмотрела на него сперва удивленно, словно прислушиваясь, глаза ее расширились — два серых клубящихся облака.

— Господи, как ты сейчас похожа на тот портрет!

— Значит, ты приезжал?

Она помолчала, усмехнулась и опять долго молчала.

— А в буфете ты был?— спросила она.

— Был. Кормил Пашку огурцами...

Она вздохнула. Бережно и растроганно они разглядывали свое прошлое.

— Что же будет?— спросил он.

Наташа вынула зеркальце, отвернулась и долго пудрилась.

— Что ж теперь?..— повторил он.

Она пожала плечами.

Полосатый маяк на краю мыса последний раз мигнул красным огнем и погас. Ветер улегся. Дома стояли тихие, с открытыми окнами.

Крылов согнулся, подпер голову руками.

— Ничего страшного,— сказала Наташа,— ты же прожил год без меня.— Она утешающе погладила его по руке. Лучше бы она этого не делала. От этого прикосновения то натянутое за последние дни до предела натянулось еще сильнее. Все, что он заглушал и прятал от себя — Ричард, Олег, комиссия, Голицын,— все навалилось, придавило. Перед ним разом вспыхнул этот год без нее, улицы городов, куда они попадали и где он упорно искал ее в толпе прохожих, он привык искать ее, почему-то он был уверен, что они встретятся на улице, что он увидит ее издали, подбежит и не надо будет ничего объяснять, она все поймет. А может, он просто привык иметь эту приятную красивую мечту? И сам он после звонка Наташи почувствовал, что все не так, как он представлял. Они стали совсем чужие. Ничего нельзя было исправить, и он не мог ее ни в чем винить. Было только больно и стыдно, что легко принял это. Хорошо, если бы она сейчас ушла.

— Не стоит, Сереженька, не надо,— услыхал он ее голос.— Это пройдет. Может, так лучше? Чинить такие вещи нельзя.— Она успокаивала его как ребенка, который не знает еще настоящей боли и настоящей беды.

Вниз по кривой улочке они спустились к гостинице. Палка его скрипела в песке. Они шли и смотрели на кусок моря между домами. Там что-то гасло и загоралось, словно кто-то недовольно стирал одни краски и наносил другие, подбирая цвета. И вдруг все остановилось, и рядом с мысом, между полоской облачка и горизонтом, протиснулся пунцовый глазок, осмотрелся и, осмелев, стал вылезать, разгребая остатки сумерек широкими алыми лопастями.

— Ладно,— сказал Крылов,— я думал, что ты все поймешь. Где-то ведь должен быть человек, который все поймет.

— Жаль, что это случилось сейчас, когда тебе и без того трудно,— сказала Наташа. Было совсем светло, и он увидел ее лицо, сонное, усталое.

Они подошли к гостинице. Он крепко взял ее за руку.

— Послушай, может, это все глупости?— сказал он.— Я никуда тебя не отпущу. Поехали со мной.

Она медленно покачала головой и улыбнулась так, что ему захотелось ударить ее.

— Надо было это сделать раньше,— сказала она.— Много раньше.

Крылов разжал руку.

— Всю жизнь я совершал ошибки. Олег сказал, что из-за меня погиб Ричард. Они считают, что вообще все из-за меня. И с Даном я тоже виноват. И то, что было между нами, тоже я загубил. И Олег тоже уходит. Почему я всегда делаю ошибки? Чувствую одно, а делаю другое.

«Что это я несу?— подумал он.— До чего ж мне плохо».

Надо быть мужчиной, не мог же он ударить ее или заплакать. Он должен быть мужчиной, единственное, что остается ему,— это быть мужчиной.

— Странно,— сказала Наташа,— теперь мне помнится только хорошее.

Она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и после этого они еще некоторое время стояли у подъезда и уже по-другому говорили о всяких разностях, о ее работе, и между прочим он сказал, что убедит Голицына, докажет, и рано или поздно полеты возобновят. А Наташа спросила, опасно ли это, он подумал и сказал, что, конечно, какая-то доля риска остается.

На улице было светло и пусто. В такую рань улицы становятся широкими. Пока не появятся люди и машины. Он шел к автобусу. Ему нужно было торопиться. Ему нужно работать. Комиссия скоро уедет. Работать, находить решение, отвечать на вопросы Голицына, а потом опять работать. Его дело — работать, вкалывать, считать, мерить. Ничего другого у него не получается.

ГЛАВА 3

Всеобщее сочувствие к Тулину усилилось, когда стало известно, что Крылов осуждает Тулина, пошел против него. И это Крылов, главный виновник! На его круглой, обожженной солнцем, физиономии не отражалось никаких угрызений совести. «А вы посмотрите на Тулина,— ахала Вера Матвеевна,— как он осунулся!» Шутка ли, потерять все и ни за что. Тулин меньше всех виноват и больше всех пострадал, он талант. Он держится благородно, мужественно, и в такую минуту Крылов оставляет его, вот цена дружбы...

Жене казалось, что это говорят и о ней, упрекают и ее. Она была виновата перед Ричардом больше всех, и она еще после этого посмела так обойтись с Тулиным. Она не находила себе оправдания. Она должна извиниться перед ним, она готова была на все, лишь бы он простил ее, нет, этого мало, она обязана помочь ему.

Они шли вдоль реки.

На перекате играла рыба. В зеленоватой вспененной толще воды вспыхивала серебристо-длинная тень, быстрая, как взмах ножа.

— Форель?— спросила Женя.

— Наверное.

— Ее на спиннинг берут? Ты ловил когда-нибудь на спиннинг?

— Нет, я не ловил даже удочкой,— сказал Тулин.— У меня никогда не было времени ловить рыбу, ходить на охоту, играть в городки.

Она обескураженно слушала, как он грустно издевался над собой, беззащитный, усталый, потерянный.

— Тебе надо отдохнуть.

— Полезно также собирать марки, спичечные коробки и значки. А может, лучше вышивать, а? Начинать надо по канве болгарским крестом.

Женя почувствовала себя беспомощной дурочкой.

— Чего ты стараешься?— сказал Тулин.

— Смотри, терновник,— сказала Женя,— вкусные ягоды. Попробуй. А терновый венец — это из него делали?

— Чего ты стараешься?

— Не могу я тебя видеть вот таким.

Наклонив голову, он оглядел ее.

— Зато тебе все идет на пользу.

Она густо покраснела.

— Ты не можешь меня обидеть. Я сама...

— Ну конечно, на таких, как я, сердиться не стоит.

— Сядем,— сказала Женя.— Я отвыкла ходить на каблуках.

Они присели на мягкий, трухлявый ствол когда-то упавшего вяза. Женя скинула туфли.

Тулин смотрел, как ее маленькие босые ступни боязливо опустились в траву. Крепкие загорелые икры были по-ребячьи исцарапаны.

— Между прочим...— Он усмехнулся такому началу.— Так вот, дорогая моя, учти, что на комиссии я за-

явил, что никаких чувств я к тебе не испытываю, и ты тоже, и ничего у нас не было.

Он не спускал с нее глаз, и она попробовала улыбнуться.

— Ну и что ж из этого?

— Придется нам последовать моей версии. Благоразумие — в том оно и заключается, чтобы вовремя отречься.

— Плевать мне на них! — сказала она. — Я сама себе хозяйка.

— А общественное мнение? А основы и принципы? Что о тебе скажут?

— Э! Что за человек, о котором не говорят.

Тулин нагнулся, сорвал ту травинку, которая касалась ее ноги, надкусил.

— Хватит прикидываться, — сказал он. — Я вполне заработал, чтобы ты меня назвала подлецом. И вообще сейчас уже тебе нет смысла связываться со мной.

— Как тебе не стыдно! — Голос ее сорвался. — Не надо. Не накручивай на себя.

Травинка была горькая, горечь заполняла рот. Он сморщился и сплюнул. Обнял Женю. Губы ее открылись, и яркая белизна зубов осветила лицо.

Он внимательно и долго разглядывал ее.

— А ты славная, — он осторожно поцеловал ее в щеку. — Ну ладно! — Он поцеловал ее в губы. — Прости меня, пожалуйста.

Коричневая глубина ее глаз светлела и светлела, но смотрела она куда-то далеко, в сторону, с жалостью, неприятно знакомой. И вдруг он вспомнил, что точно такое выражение у нее было на пляже, когда они говорили о Ричарде.

Он отпустил ее.

— Ты о чем сейчас думаешь?

Она посмотрела на него задумчиво, словно возвращаясь.

— Не надо.

— Нет, надо, — ожесточенно сказал он. — Ты думала о нем. Мы оба думаем о нем. Ты смотришь на меня и сразу вспоминаешь его. — Он встал, руки его сжались в кулаки.

Она потянула его за рукав, с силой посадила.

— Послушай, выкинь это из головы. Раз навсегда. Я виновата больше, чем ты. Больше всех. А ты тут ни при чем. И не вмешивайся. Не лезь.

Он с подозрением посмотрел на нее.

— А ты веришь, что я ни при чем?

— Абсолютно,— сказала она.— У тебя просто нервы.

Она поднялась, прошлась по траве, высоко поднимая ноги.

— Если бы можно было всегда ходить босиком...

— Да,— сказал он.— Надо скорее уехать. Как можно скорее. Я тебя встречу в Москве.

— ...и жить в горах,— она встала лицом к солнцу, закрыла глаза, не слушая его.— Скалы тут, как от начала мира. Планета в натуральном виде. Отсюда можно начинать все заново. Разве тебе не жаль отсюда уезжать?— Она подошла, опустилась перед ним на корточки.— Олежка,— она впервые назвала его так,— мы не должны бежать отсюда. Особенно ты. Это же бегство. Если ты все бросишь...— она запнулась и твердо произнесла:— Ты тогда действительно убьешь Ричарда.

— Опять он!

— Ты должен помочь Крылову.

— Идиот он, твой Крылов. Даже Голицын и тот доказал уже.— С каким-то мстительным удовольствием он стал излагать ей расчеты Голицына.

Не сумев ничего возразить, она сказала:

— Неужели ты не можешь чего-то придумать?

— Я ничего и не желаю придумывать.— Он сам не понимал, почему он так разозлился.— Что придумывать? Зачем? Что изменится? Почему я обязан придумывать?— Он схватил ее за руки, больно стиснул их.— Ага, значит, вы на самом-то деле считаете, что я во всем виноват! А хочешь знать? Хочешь?— крикнул он.— Вы сами виноваты. И ты, и Крылов! Да, ты тоже виновата. Это из-за тебя я не полетел!

Она вырвалась, встала, взяла туфли.

— Пусть из-за меня,— сказала она, поправляя платье.— Устраивает? Я не боюсь отвечать.

Трава медленно выпрямлялась за ней. Розовое платье мелькало среди высокой красной колоннады лиственниц.

— Эй!— крикнул он.— Офсайд! Не по правилам!

Он догнал ее.

— Так оно, конечно, удобнее закругляться,— насмешливо сказал он.— Но разрешите все же объясниться.— Он не переставал насмешничать и ломаться, а потом взял ее за локоть.

Найти дорогу к этому солнечному взгорку, зажатому между отвесными стенами скал, она бы, наверное, никогда не смогла, но она запомнила самое место. Светло-зеленые мхи на сером камне, безветренную жаркую тишину, ярко-лиловые колокольчики...

Виляли и скрещивались путаные тропки, был какой-то длинный бестолковый разговор, и она увидела, как Тулин измучен: когда он усмехался, вокруг рта его появлялись совсем стариковские складки.

Он говорил и говорил, и она никак не могла уследить за его лихорадочной, путаной мыслью.

Высокие колокольчики качались над его головой. Он лежал на траве. Женя положила ему руку на лоб. Тулин закрыл глаза, потом вдруг отстранился и сказал:

— Ричард мертв. Его нет. Я тут уж ничего не могу исправить. Зачем тебе нужно, чтобы он всегда был между нами? Ну зачем?

Тогда она наклонилась над ним.

— Я не знаю, как сделать лучше, ведь я думаю только о тебе,— сказала она честно.

Она презирала себя за эти слова, но ей хотелось как-то помочь ему.

Он взял ее за плечи.

— Нет, нет, это все чепуха...— Он отвернулся в сторону, посмотрел на серый отвес скалы.— Только не оставляй меня!

Так он обнимал ее, глядя в сторону, и она чувствовала, как плечи ее слабеют, воздух стал горячим, и вдруг она поняла, что ничего ей не нужно было, кроме этих слов.

— Мне все кажется, я его вижу,— бормотал Тулин.

— А теперь?— Она легла и прижалась к нему, заглядывая в глаза со страхом и мучительной решимостью.

Серые острые скалы уходили в небо, как колокольни, и черные ели стояли тоже древние и сказочные. И огромные ярко-лиловые колокола звенели, когда вся эта волшебная страна плыла, покачиваясь, сквозь мягкую серую голубизну неба.

Она не хотела возвращаться. Было так жалко и не нужно уходить отсюда.

Все стало крохотным: дома, люди, прошлые переживания. Женя перешагивала через горы, и солнце лежало у нее на плече.

Встречные мужчины пристально оглядывали ее с головы до ног, так, что она чувствовала под платьем свою грудь.

— Походочка у тебя!— подозрительно сказала Катя.

— Какая?

— Как у манекенши.

Женя невинно вздохнула:

— Каблуки.

Сила собственных чувств поражала ее как открытие. Она была уверена, что Тулин должен испытывать то же самое, и не уставала допытываться у него, за что он ее любит, и как любит, и как у него это все произошло, словно пытаясь через него увидеть собственное сердце.

И вдруг все испортилось.

Начала Катя. Это она утром, наблюдая, как Женя причесывается, не выдержав, спросила:

— Ты уверена, что у него серьезное чувство?

Женя сидела в одной рубашке у раскрытого окна. Холодный чистый воздух щипал кожу, он напоминал газированную воду, он вздувал рубашку и наполнял все тело, и она казалась себе невесомой, как воздушный шарик,— толкни и полетит.

— Думаешь, он женится на тебе?

Женя тихо смеялась.

— Какое это имеет значение.

— Ты катишься в пропасть!

Женю всегда забавляло в Кате странное сочетание рассудительности и выспренности. В их группе Катя считалась самой целеустремленной. У нее был твердый порядок во всем, в кино она ходила только на девятичасовой, не раньше, не позже. Поведение Тулина настораживало Катю. Несомненно, он и не собирается жениться на Жене, тем более имея дело с такой дурочкой. Куда это годится — бегать за ним потеряв голову, с какой стати так нерасчетливо вести себя.

— Но ты понимаешь, что ему сейчас не до этого?

— А гулять с тобой — это он может? Имей в виду, мужчины не уважают тех, кто вешается им на шею. Тогда они не считают себя ответственными. Оставь его в покое, если хочешь чего-нибудь добиться, кроме ребенка.

По-своему Катя была права, и спорить с ней не имело смысла.

— Расчеты, расчеты...— сказала Женя.— Я так не умею. У тебя вся жизнь наперед вычислена.— Она по-

смотрела в зеркало.— Что такое камея? Он сказал: у меня профиль, как на камее.

— Да, я должна быть расчетливой,— сказала Катя.— У меня нет такой внешности. Я не камея. И отец у меня не инженер. Я всем обязана своей воле. Ты знаешь, при моей язве желудка я должна себя соблюдать, иначе мне ничего не добиться.— Она сердито сглотнула слезы.— У меня во всем диета.

Женя пристыженно расцеловала ее и стала ей укладывать волосы. Само по себе лицо Кати было симпатичным. Просто оно никак не соответствовало ее характеру. Оно подошло бы миленькой, глуповато-беззаботной машинистке, а на Кате оно выглядело как школьное платьице на взрослой женщине.

Сбить Катю было невозможно. Раз начав, она должна была кончить. В лучшем случае Тулин превратит Женю в домашнюю хозяйку, он слишком эгоист, чтобы считаться с другими. В наше время нельзя жить одними чувствами. Надо думать о будущем.

— Искала, искала свое призвание и нашла — быть утешительницей. Ты присмотрись: ему никто не нужен, и ты в том числе...

Почему-то эти слова больней всего задели Женю.

Что бы там ни происходило, а надо было заканчивать, и сдавать отчеты, и спешить с дипломами. И снова жужжали моторы, весело и ровно потрескивали ртутники. В перерыве посылали кого-то за персиками, бегали купаться, и Лисицкий потихоньку снял парочку ламп с установки, на которой работал Ричард.

С утра Агатов проводил совещание насчет практики. Тут же сидел Тулин, потом зашел Лагунов.

Алеша спросил, почему не закрывают тему. Агатов хохотнул:

— Это к нашей теме не относится.

Но Лагунов принялся разъяснять Алеше доверительно, свойским тоном, каким он считал нужным говорить с молодежью. Началась душеспасительная беседа о науке, об образе ученого, всякая тягомотина, которую Женя терпеть не могла. Лагунов повторил, что при Сталине работу продолжали бы, не считаясь ни с какими жертвами.

— Или, наоборот, прикрыли бы так, что всех посадили бы за вредительство,— сказал Лагунов.— Вер-

но? — Он обернулся к Тулину, и тот утвердительно кивнул.

— Преобразования, новое время не цените,— бубнил Лагунов.

— А чего ценить, что не арестовывают? Так ведь это нормально,— сказал Алеша.

— Спасибо,— Катя поклонилась ему,— спасибо за то, что ты добился этого.

Но Алеша распалился. После аварии он чем-то стал напоминать Жене Ричарда, вмешивался, спорил, влезал в такие дела, за которые сам раньше высмеивал Ричарда.

Агатов накинулся на него: молодежь пошла, слишком легко вам все дается, войны не знали, развели тут демократию!

Тулин молчал и рассеянно улыбался. Тогда Женя не вытерпела:

— Может, начать войну для нашего воспитания?

Агатов что-то шепнул Лагунову, они оба усмехнулись, и Лагунов с любопытством стал разглядывать Женю, а Агатов сказал ей:

— На вашем месте я бы держался скромнее.

Тулин слышал это и даже глазом не повел, слово побоялся сказать. Алеша продолжал еще спорить с Лагуновым и спрашивал у него: «Согласен, тридцать седьмой год, но как вы могли допустить это?» — но Жене уже все стало неинтересно.

Как водится, несчастья посыпались одно за другим. В лаборатории споткнулась о ящик, порвала новый капроновый чулок. В сердцах стала разбирать схему и рванула провод так, что полетела колодка. Агатов, конечно, заметил, разозлился. Но Женя уже завелась:

— Подумаешь, колодка, вы о человеке не думаете, у меня, может, горе!

Агатов оторопел: какое горе? Женя задрала юбку и помахала перед Агатовым ногой.

— Чулок порвала. Вы никогда не носили капроновых чулок?

Вера Матвеевна прикрикнула на нее:

— Сейчас же извинитесь!

— Хорошо,— сказала Женя и разрыдалась.

Вера Матвеевна заслонила ее, как наседка, и увела к себе, достала штопальный набор в кожаном футлярчике.

— Ваш Тулин — трус! — сказала Женя.— Он эгоист.

Вера Матвеевна показала, как закрепить петлю, а потом сказала:

— Мы, женщины, переоцениваем себя. Мы много можем дать мужчине, но далеко не всё.

В ее словах не было ни зависти, ни ревности, а какое-то непонятное Жене чувство, свойственное только женщинам, которым уже за сорок и которые говорят о мужчинах спокойно.

— Однажды я читала сыну сказку про спящую красавицу,— сказала Вера Матвеевна.— Кончила, а он спрашивает, что дальше было. Я говорю: свадьбу сыграли. А дальше? Ну что ему ответить, чтоб было интересно? Наверно, дальше у этого принца ничего хорошего не было. Она оказалась сварливой и отсталой девицей. Шутка ли, проспать столько лет! Все хорошее было, пока он добирался до замка.

Тулин был небрежно-ласков, и было ясно: для него не существует никого, в том числе и Жени с ее любовью. Она поймала себя на том, что любуется его руками. Это ужаснуло ее. Значит, кроме всего прочего, она развратная, порочная. Она была низвергнута к тем несчастным, околпаченным девчонкам, которых она всегда жалела и высмеивала. Мужчины на нее больше не глядели. Ноги у нее были толстые и на подбородке прыщ.

Она-то верила, что у нее будет все не так, как у других. До чего ж пошлая получилась история!

А Ричард уверял ее, что Тулин — человек будущего,— вот потеха!..

Они лежали, прижавшись друг к другу, и она ощущала его всего — щекой, животом, ногами, и ей было этого мало, ей хотелось чувствовать его спиной, затылком, чтобы всюду был он, завернуться в него.

— Настоящее только это,— сказал Тулин.— Все остальное — ерунда.

— А я решила, что больше не нужна тебе.

— Ты единственное, что мне нужно.

— А... женщина может много дать мужчине, но не все,— наставительно произнесла она.

— Женщин много, а ты для меня — это... это... Женя, вот ты кто.

Она ему нужна, как все стало просто! Слова тут были ни при чем, она почувствовала это сразу, когда распахнула дверь и успела увидеть его глаза, рванувшиеся

навстречу, и сразу ощутила его сухие, вздрагивающие губы на руках, на лице. Она еще пробовала что-то объяснить, но все это уже потеряло смысл. И все же ей зачем-то надо, чтобы он говорил. Когда он говорит про это, она начинает не верить, а когда он не говорит, ей хочется, чтобы он говорил. Почему так?

Она засмеялась. Тулин поцеловал ее в плечо, и она снова засмеялась, чувствуя, как нравится ему ее смех.

Наверное, она все же девчонка, если поцелуй остается для нее событием.

— Выше этого нет ничего,— упрямо повторял он.

— Тебе этого мало,— мягко сказала она.

Он усмехнулся:

— А тебе?

— Мне тоже. Я тщеславна. Мне нужно, чтобы ты стал знаменитостью. Я мещанка и обывательница. Помнишь, ты обещал мне покорить грозу? Помнишь, какой ты был...— Ей хотелось пробудить в нем хотя бы честолюбие.— С тех пор я мечтаю только о таком, который может управлять грозой. Других мне не надо. Я хочу, чтобы твои портреты были во всех газетах и чтобы у тебя был значок лауреата.

— А если я не стану лауреатом?

— Как только ты не станешь лауреатом, я тебя брошу. Я могу жить только с лауреатом. Жена лауреата — это же звучит! Я буду каждый день чистить твой значок, буду перевешивать его с пиджака на пиджак, а вечером на пижаму, а зимой я буду пришпиливать на пальто, а дома опять на пиджак, я буду все утро и весь вечер занята.

— Подумать только, что я сам когда-то мечтал об этом!— искренне удивился Тулин.

— Почему ты так? Съездим в Москву, можно пойти в ЦК, там разберутся. Они сами тебя позовут, увидишь...

— Не то, это все не то.

При свете луны он казался бледным и похудевшим. Глаза его беспокойно бегали.

— Я хочу тебе все объяснить.

Начав говорить, он успокоился, как-то сосредоточился. Женя любовалась им, ей все хотелось взъерошить ему волосы, потом она спохватилась и стала слушать.

— ...То мне надо было получить диплом, потом степень, потом что-то исследовать. Благодетель челове-

чества! Я всегда был всего лишь приспособлением к своему мозгу. А мозг был механизмом для расчетов. Сегодня иду, смотрю на небо — плывут облака, как старинные каравеллы. Понимаешь, впервые я увидел не диполи, не объемные заряды, а каравеллы. Я хочу быть свободным, чтобы видеть каравеллы. У меня все мозги высохли. Постоянно должен то, должен это, хуже рабства, прикован, как невольник на галерах. Хватит! К черту! Читаю чужие работы — завидую. Не хочу завидовать. Я сам себя как расценивал: не сколько сделал, а сколько написал статей. Почему я не имею права просто ходить по земле, любить, сидеть в кино и чтобы не чувствовать при этом, что где-то ждет, ждет работа? Не мучайте вы меня. Я хочу быть как все люди, не желаю я заботиться о человечестве. Я тоже человек. Что такое, по-твоему, человек: цель или средство?

— Средство,— наугад сказала она.

— И Крылов тоже вроде тебя. А ведь человек сам по себе цель. Человек — он высшая ценность, все для него. Ни ты, ни я, мы больше никогда не будем. Мы существуем только однажды. Ради чего я лишал себя простых человеческих радостей? Был бы я гений... А то ведь максимум, что я могу, это обогнать других на полгода. Не я, так другой решит. Сотни людей работают над тем же самым. Ученых нынче хватает... Возьми Алтынова. Какое тебе дело, умеет ли он решать эллиптические функции и сколько у него статей? Тебе что важнее — что у него добрая душа, он честный дядя и любит людей,— вот что важно, человеческое! Это машины оценивают мощностью, производительностью...

Он задумался, и она терпеливо ждала, как всегда ждут женщины мужчин, увлеченных своими рассуждениями.

«А может, он прав,— думала она.— Разве я могу судить его? Он знает лучше меня. Нет, ничего он не знает. Чего он хочет, он сам не знает. Разве он сможет так жить, просто так? Он пропадет, без меня он совсем пропадет».

— ...Когда человек живет для настоящего, он сделает и для будущего, потому что он больше человек. Понимаешь?

Женя обрадовалась.

— Ну конечно, понимаю, ты за что ни возьмешься, у тебя все пойдет.

Он приподнялся, заглянул ей в лицо.

— Ничего ты не поняла.— Голос его потускнел.— Так элементарно, и никто не понимает.

Волнуясь, она пробовала возражать:

— Мы же все трудимся во имя будущего. Надо иметь перспективу. Наш труд, особенно творческий, служит обществу. Ты имеешь талант, и вдруг так... Если б у меня был талант! Ты ударился в индивидуализм. Конечно, талант в нашем обществе должен быть поставлен в условия... но и мы должны жертвовать, если надо, ради движения...

Ей не хватало слов. Она не умела спорить на такие темы, он легко сбивал ее, а ей подвертывались только унылые, стертые фразы.

Она чувствовала, что сейчас, здесь, на ее глазах совершается непоправимое: он отрывал от себя то, что составляло его душу, весь смысл его жизни, его самого, того Тулина, которого она любила. И она никак не могла переубедить его.

— Ты о чем думаешь?— спросил Тулин.

— О тебе, конечно, о тебе, о ком же еще можно думать?— со злостью сказала Женя.— Ты единственная цель.

Вскоре Тулину позвонили из Москвы, и он появился перед Крыловым вместе с Женей, сияющий, взбудораженный. Кажется, порядок. Его — тьфу, тьфу, тьфу!— берут на работы, связанные со спутником, ребята за него шуруют, обеспечат. Ведущее задание эпохи. Можно реабилитироваться в два счета.

Крылов сидел за столом, заваленным пленками, рулонами осциллограмм, таблицами, старательно рисуя кораблики, десятки корабликов, сотни корабликов...

— Загнал тебя старик в угол?— спросил Тулин.

Крылов принужденно улыбнулся, потер красные веки.

— Ты когда уезжаешь?

— Завтра,— сказал Тулин.— Вызов сегодня придет. Завтра вылетаю.

— Оставь мне материалы по указателю.

Он держался твердо, но Тулин не верил ему.

— Будешь пыхтеть? Надеешься осилить?

— Тут надо искать. Тут надо терпение,— сказал Крылов.

Тулин подмигнул Жене.

— Терпение — достоинство ослов. Нет, я шучу. Я ж

тебя все равно люблю, бедолагу.— Он присел на ручку кресла, обнял Крылова за плечи и обнял Женю.— Ничего не поделаешь, таковы правила игры. Либо — либо.

— А если у меня получится?— сказал Крылов.

Тулин присвистнул.

— Тю-тю... Получится на бумаге — не получится с начальством. Комиссия, закрыв тему, будет настаивать на своем. Акт комиссии утвердит еще более высокое начальство, и они тоже не захотят выглядеть дураками. Да и кто тебе разрешит тут чикаться с этим делом? Если ты не вернешься к Голицыну, тебя закатают в какую-нибудь дыру.

— При чем тут это!— с досадой сказал Крылов.— При чем тут начальство!..

— Ах да, конечно, тебя занимает чистая наука. Но таковой не бывает. Но допустим даже, что кругом ангелы, которые жаждут прогресса. Так вот что: тебе придется начинать все сызнова. Оборудовать самолет, сколачивать группу.

— Ты должен помочь Сергею Ильичу,— сказала Женя.

— А я не отказываюсь. Когда все это произойдет, можете рассчитывать на мою помощь. Почему бы нет? Только, я надеюсь, к тому времени я вытащу тебя из очередной лужи.

Крылов хотел встать, но Тулин плотно сидел, мешая сдвинуть кресло.

— Ты тоже учти...— сдавленно начал Крылов, но Тулин, улыбаясь, вспомнил:

— А как твое свидание с Наташей?

И Крылов осекся. Выходит, и Наташей он обязан Тулину, он был обязан ему множеством услуг, всегда он был чем-то обязан Тулину.

Все же он поднялся и сказал:

— Я тебя предупреждаю... То есть хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, то я не возьму тебя назад...

В первую минуту Тулин ничего не понял.

— То есть как это? Куда не возьмешь?

Крылов покосился на Женю.

— Ну, если у меня все получится и ты захочешь вернуться.

Только сейчас Тулин уразумел и расхохотался. Настолько это было смешно, нелепо, фантастично, что Тулин смеялся, всхлипывая от удовольствия, и Женя тоже смеялась, и даже Крылов пристыженно улыбнулся.

Тулин ткнул его кулаком в живот.

— Ах ты чудило! Ну ладно, не расстраивайся.

На улице Тулин оглянулся. Сквозь раскрытое окно было видно, как Крылов сел к столу, стиснул голову руками, и Тулину вдруг померещилось, что и впрямь Крылов его куда-то не принимает. Женя что-то сказала, и звук ее голоса напомнил ему тот разговор в машине под дождем, когда они возвращались, еще ничего не зная о катастрофе, а ему казалось, что он знает все, что будет, и распоряжался этим будущим.

ГЛАВА 4

Самолет уходил в семнадцать часов. Южин и Голицын прогуливались по скверу. Лагунов и остальные члены комиссии отбыли для доклада в Москву еще третьего дня. Южин задержался, инспектируя аэродромную службу, Голицын консультировал аэрологов.

Они шли по дорожкам, усыпанным хрустким ракушечником, мимо кустов отцветающих роз и мечтали о сырых, холодеющих лесах Подмосковья, где сейчас самое грибное время. Голицыну не верилось, что через несколько часов он будет у себя на даче. Глядя на расписание, он понимал, что так оно и будет, но свыкнуться с этим так, как Южин, не мог. Подобно большинству людей, Голицын жил в двух разных географиях. Одна школьная, усвоенная еще в гимназии по контурным картам и рассказам великих путешественников,— меридианы, тропик Козерога, континенты, где человек — песчинка, затерянная в пространствах джунглей, пустынь, бескрайних земель. Вторая география — это география аэродромов, авиалиний, реактивных самолетов, где тысячекилометровые расстояния сжимаются в часы и человек перелистывает страны, как листы атласа. Когда в прошлом году Голицын прилетел в Берлин, шляпа его еще была влажной от московского дождя.

Несовместимые скорости с удивительным спокойствием соседствовали в повседневной жизни. Доехать от дачи до института занимало столько же времени, сколько потребовалось бы, чтобы добраться отсюда до Москвы.

Беседуя об этом, они направились к зданию вокзала, когда к ним подбежал Крылов. Он растолкал провожа-

ющих. Пальцы его сжимали вечное перо. Он наставил его на Голицына.

— Статистика,— блаженным голосом сказал он.— Статистически выходит, что импульсы маловероятны. Все очень просто. Один к десяти миллионам. Конечно, мы их упустили. Вот смотрите, как получается.

Он взял у Южина газету и начал писать на полях. Чернила расплывались, и Южин ничего не мог разобрать, но Голицын брал у Крылова ручку и что-то подчеркивал и исправлял, и Крылов опять отбирал у него перо, и они говорили, перебивая друг друга, и каждый тянул газету к себе.

— Позвольте, что же вы показали? Что именно? Что расчетных отклонений вообще нет?

— Да, да!— с восторгом подхватил Крылов.— Они настолько редки, что у нас они и не попадали на прибор.

— Но, согласитесь, это более чем странно,— сказал Голицын.— Вы доказываете, что они есть, тем что их у вас нет.

— В том-то и дело!.. Статистически это получается. У нас их и не могло быть.

Голицын посмотрел на его растерянно-счастливое лицо и присел на скамейку, у него закололо в груди. В правом кармашке у него был валидол, надо было бы принять, но ему не хотелось показывать свою слабость при всех.

На Крылова смотрели укоризненно.

— Что происходит?— сердито шепнул Южин Крылову.— Подумаешь, сенсация, могли в письменном виде.

По радио объявили посадку. Южин взял Голицына под руку и повел на летное поле. Крылов шел рядом, не переставая говорить. У трапа они остановились. Южин распрощался со всеми и поднялся на ступеньку.

— Аркадий Борисович, нам пора.

Голицын и Крылов посмотрели на него почти бессмысленно.

— Ах да,— опомнился Голицын.— Минуточку.

И снова зашагал с Крыловым мимо самолета по солнечным бетонным плитам.

— Безобразие!— сказал Агатов.— Он же псих, только напрасно волнует старика. Я его сейчас попрошу.

— Я сам,— сказал Южин.

Он спустился с трапа и подошел к ним.

— Простите, Сергей Ильич, нам надо садиться.

Некоторое время они задумчиво смотрели на него. Голицын взял Южина за пуговицу.

— Допустим, что так,— сказал он.— Допускаю. А что значит, что зон мало? А?

— По-моему,— сказал Крылов,— это усиливает возможность воздействия.

— Но их труднее обнаружить.

— Аркадий Борисович!

— Подождите,— сердито сказал Голицын и вдруг, увидев Южина, и аэродром, и самолет, сконфузился, не успев даже «напустить чудика».— Знаете, генерал, я задержусь, тут крайне важно.

— Что, получилось у него что-то?— спросил Южин.

Голицын нетерпеливо поморщился:

— Проверить надо, проверить.

— Но как же, вас будут встречать, Аркадий Борисович.

— Я следующим рейсом, следующим.

Южин внимательно смотрел на Крылова. Его поразило, что в голосе Крылова не чувствовалось торжества.

— Вас можно поздравить?

— Нет, что вы.— Крылов засмеялся, чуть нервно, легко, беспричинно.— Еще далеко. Это страшное дело — иметь такого противника, как Аркадий Борисович.

— Будет вам!— прикрикнул Голицын.— У меня времени нет.

Южин еще попытался спросить про билет и багаж, но Голицын посмотрел на него так, как будто ему предлагали «козла забить». Они нетерпеливо попрощались с Южиным, и тотчас же их лица стали одинаково отрешенными. Какое-то удивительное сходство роднило их, у Голицына то же жадное любопытство, что и у Крылова, словно они были единомышленниками, а не противниками. Поднимаясь по трапу, Южин оглядывался. «Что заставляет их заниматься этими вещами, забывая обо всем на свете?» — спрашивал он себя.

И, опустившись в мягкое кресло, он продолжал думать о таинственной силе, владеющей их помыслами и чувствами. Он испытывал к ней скрытое почтение. Это была та особая высота, с которой, вероятно, и Лагунов, и Южин со всей их властью, и судьба Крылова — все представлялось малозначительным. Там царили свои ценности, свое понимание счастья. Не от мира сего, но

для мира сего. Древняя неутолимая жажда познания, творения, которая лежала в основе жизни. Тот же Крылов — зачем ему это, что мешало ему свернуть на мирную дорогу прощения и даже признания и всяких благ?

ГЛАВА 5

От Тулина пришла телеграмма из Москвы, и Женя собралась ехать. Практика заканчивалась. Катя заедет к родителям, Алеша решил махнуть к морю, а она поедет в Москву.

Вечером она зашла попрощаться к Крылову.

— Ну как? Эврика? — Женя кивнула на стол, заваленный бумагами.

Крылов потянулся.

— Пока не светит. — И, радуясь передышке, стал приседать и размахивать руками.

После того как он проговорил несколько часов с Голицыным, выяснилось, что идея-то неплоха, трудно просчитать и доказать, что возможно измерить отклонения.

— Я бы задержалась помочь вам, — сказала Женя, — но я получила телеграмму.

— Ну как он там?

Она заметила, что на него не произвело никакого впечатления новое назначение Тулина и тот внимательный прием, который оказали Тулину в Москве.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я с ним полностью согласна, — сказала Женя.

— У меня к вам просьба, — сказал Крылов. — Зайдите в институт к Песецкому, передайте письмецо, может, он осилит это уравнение.

Женя смотрела, как он писал, вздыхая и высунув кончик языка. На краю стола стояли пустые бутылки из-под кефира, на полу у измятой постели пепельница, на подоконнике старенький кофейник, оставшийся от Тулина, и электроплитка.

— Давайте я вам сварю кофе, — вдруг сказала Женя.

Крылов что-то буркнул.

Она умела хорошо варить кофе. Единственное, что она умела по хозяйству. Крылов пил, закрывая от удовольствия глаза. Женя улыбалась. Ей было грустно.

Как славно могло быть, если бы она полюбила Крылова! Строго говоря, он даже чем-то милее Тулина. Девочки из метеослужбы вздыхали по нем и Зоечка из ресторана... Только его почему-то стесняются. Они жаловались, что с ним нельзя так просто болтать, как с Тулиным. В этой стране любви, куда она попала, существовали необъяснимые законы — вот рядом славный человек, а полюбить его невозможно ни при каких обстоятельствах. Катя — та, например, может влюбиться в Крылова, а в Тулина нет, а она, Женя, наоборот. Почему?

— Все уезжают,— сказала она.— Лисицкий говорит, что вас тоже куда-нибудь пошлют. Вам надо действовать самому, а не дожидаться. Хотите, мы в Москве пойдем к начальству насчет вас?

— Да, конечно,— рассеянно соглашался Крылов, и Женя понимала, что это его нисколько не занимает. Лисицкий окрестил его снисходительно — «мученик науки», Алеша защищал его, но последнее время о Крылове все чаще говорили покровительственно, как о чудаке, обреченном, несчастливом.

Когда она шла сюда, ей было стыдно: вот она уезжает в Москву, а он остается вместе с Ричардом и с той работой, которой занимались и Ричард, и Тулин, все они.

А оказалось, что все это для Крылова попросту не существует. Ни ее стыд, ни эти разговорчики, ни успех Тулина в Москве. И от этого она почувствовала невнятную тревогу...

— Но так, как вы думаете про Тулина, тоже неправильно,— сказала она.

Крылов молча смотрел на нее. Его круглое лицо сейчас было очень добрым и усталым.

— Я бы его попробовала уговорить.

Он развел руками, заходил по комнате.

— Зачем?

Видно было, как тягостно ему говорить об этом.

— У нас снова будут неудачи и всякие ошибки...

Она не подозревала, что он может быть таким жестоким.

Он стукнул кулаком по столу, ему легче было объясниться жестами, чем произнести эти слова.

— Олег для этого не годится.

— Вы обижены на него?

— Нет, хуже. Он мне просто не нужен.— Крылов угрюмо опустил голову.— Он мне мешал бы.— Он посмотрел на нее исподлобья.— Наверное, это некрасиво с моей стороны...

— Я понимаю. Я вас понимаю,— сказала Женя.— Вы знаете, мне совестно, что я вот так уезжаю...

— Ну, а это чепуха,— сказал Крылов.— Не думайте об этом.

А о чем же ей думать? Она шла по улице, потом вдоль реки, мимо висячего моста. И так она слишком мало думает.

Она не заметила, как пришла на кладбище.

Белые кресты, пирамидки из крашеной фанеры с никелированной звездой наверху. Выжженная солнцем трава. Маргаритки в зеленой боржомной бутылке. Осевшая могила Ричарда. Кольца засохших венков. Фотография под стеклом уже пожелтела. Синие горы, леса, а наверху воздушная дорога в реве взлетающих самолетов, а еще выше багровая звезда, кажется Марс. Так и будут отныне проходить годы над этой могилой.

Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Кто-то читал ей эти стихи в Москве, на катке, тогда это были просто красивые стихи.

Снова будет Москва, Тверской бульвар, какие-то встречи с Тулиным, защита диплома, может быть, они куда-нибудь поедут или переедут, что-то будет происходить в ее жизни, а здесь все останется таким же — и горы, и близкое небо, и запах травы. Что бы ни случилось, здесь уже никогда ничего не изменится. Мертвые более вечны, чем эти лиственницы, и горы, и вся земля, и звезды. Маленькие здешние звезды, резкие, как укол.

Что ж остается, когда человек умирает? Наверное, и она когда-нибудь умрет. Это просто невозможно представить, что у нее тоже где-то будет такая могила с пожухлыми пучками цветов. Это так же трудно, как представить себя старухой вроде Веры Матвеевны или еще старше.

Хотите увидеть свою смерть? Это она спросила ребят. Ричард что-то ответил, никак не вспомнить что.

Хорошо бы остаться, вкалывать тут вместе с Крыловым в этой неустроенной гостиничной комнате, пока не исчезнет всякая надежда.

Она не верила в его удачу, она не думала о результате, само стремление, желание искать манило ее какой-то неведомой наградой. Нельзя уезжать, она презирала себя за то, что уезжает, за то, что не в силах справиться с собой, за то, что не может быть такой, какой хочется.

ГЛАВА 6

Рулоны осциллограмм, графики, заметки Голицына. Кривые, черновики расчетов, таблицы, заметки Голицына.

Покачиваясь взад-вперед, Крылов сидел, сдавив голову, бессмысленно уставясь на этот бумажный хлам.

Голицын брал у Крылова ручку и что-то подчеркивал и исправлял, и Крылов опять отбирал у него перо, и они говорили, перебивая друг друга, и каждый тянул газету к себе.

Давным-давно, в незапамятные времена это было, он мчался на аэродром к Голицыну, осененный догадкой, он ликовал, на земле не было человека счастливей его, все горести отступали, казалось, отныне ничто не помешает его счастью. Неужели так всегда: счастье — ничтожный миг, а все остальное — заботы, тревоги и ожидание?

Пожалуй, ни разу в жизни он не был удручен, как сейчас. Любое горе, беда проходят, тут же наступало ясное и спокойное сознание своего бессилия. Нет больше мучения, чем понять бессилие своего мозга.

Со стороны казалось, что он возился в лаборатории, ходил в столовую, шутил с Зоечкой, слушал.

— Зоечка, вы опять принесли Крылову самую большую котлету.

— Сергей Ильич, вам надо закрыть бюллетень.

— Братцы, сегодня по радио Гагарин выступает.

Со стороны казалось, что у него есть аппетит, что он щеголяет польскими сандалетами, усердно занимается лечебной гимнастикой.

На самом же деле он неотрывно сидел, сжимая голову, и у него ничего не было, кроме этой распухшей бесполезной головы. Проклятый серый студень, из которого нельзя уже ничего выжать! Что определяет центры грозы? Почему пики разрядов не подчиняются такому-то уравнению? Почему невозможно рассчитать нормальную схему, какую же тогда схему применить? По-

чему другие — таланты, а он нет? Будь на его месте Дан, все решилось бы в два счета. Дан нашел бы выход. Дан умел видеть вещи иначе, чем видят их остальные люди. Это свойство гения. В последнее время он часто вспоминал Дана, его легкую, рассеянную улыбочку: «Сейчас Сергей Ильич сообщит нам про бесконечно длинную молнию, действующую в бесконечно однородной среде на бесконечно неверующих коллег». Дан был лишен слабостей, он не стал бы терзаться и мучиться, порвав с близким другом. Вряд ли одиночество мешало ему, с ним рядом оставался его талант.

Человек может добиться чего угодно — йоги останавливают сердце, Аникеев на пари, не умея играть, выучил сонату Бетховена, а вот сделаться талантливым человеком не может. Упорство? Он готов был ждать Наташу год, два. Он готов просиживать за этим столом, за этими бумагами месяцы, не вставая, да что толку, тут задницей не возьмешь. Нужен талант. Кроме таланта, ему ничего не нужно. Положение, успех, даже любовь... Как следует захотев, человек может всего достигнуть, а вот таланта — черта с два. Хоть разбейся, хоть удавись.

Что же следует из того, что зоны, где возникают молнии, редки? Неужели так и будет всю жизнь — откровение, догадка и тотчас новые мучения? В чем же тут радость, где удовлетворение? Ах, радость творческого труда! Ах, счастье созидания! Выдумка романистов. Лаборантам лафа: подсчитают, принесут — и до свидания. Голова не болит. Гуляй себе до утра. Техник — давай ему схему, он проверит, испытает. Вот Алеша явился — построил по точкам кривую. А то, что шесть точек ни туда ни сюда,— это его не касается. Впрочем, он славный парень, изо всех сил старается как-то помочь. Теперь, когда Лисицкий уехал и остальные уже сидят на чемоданах, когда все демонтировано, когда сдают дела, без Алеши было бы совсем туго.

— Может, еще чем надо помочь?— спросил Алеша. Выложил на стол сливы.— Давайте на велосипедах сгоняем? Полезно! Спорт содействует. Все великие люди уважали спорт. А то на танцы? Тоже усиливает кровообращение. Настоящий рок — это спортивно.— С каменно-надменным лицом изобразил несколько па.

— Кто вам мешает, Сергей Ильич? Есть конкретные консерваторы?— Он смотрел преданно, с готовностью и убежденностью, что все можно решить вот этими кулаками.

— Эх, консерваторы,— мечтательно сказал Крылов.— Консерваторы — это бы чудесно! Было бы с кем бороться. Хуже, когда закавыка здесь,— он постучал себя пальцем по лбу.

Алеша повертел кулаками. Да, и сила, и ловкость, и самбо тут ни к чему. На танцах девушки будут косить глазами на Алешину спортивную фигуру. Любая будет рада завязать с таким парнем: высший класс танца, умеет выдавать всякие байки, и всем кажется — какой шикарный. А на самом деле, что́ он рядом с Крыловым? Долдон! Ему вдруг захотелось вот так же сидеть, мучиться. Пусть там танцуют, веселятся, а он сидит всю ночь напролет, он ходит небритый, шатается от усталости, одет как попало, ему не до танцев. От того, что он придумает, зависит многое. Захотелось бороться одному, когда вокруг не верят, смеются, чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. То, над чем он когда-то посмеивался, казалось ему, глядя на Крылова, самым нужным и главным в жизни. Но для того чтобы мучиться, надо иметь способности.

Из соседней комнаты доносилось гудение выпрямителя. Там работала Вера Матвеевна. Она единственная, кто в этой обстановке как ни в чем не бывало заканчивала свои измерения. Крылов завидовал ей. Он завидовал Алеше. Он завидовал каждому, потому что каждый знал свое дело и делал свое дело, а он один ни на что не способен.

Кривые окружали его, графики, точки, он блуждал там, изнемогая от отчаяния. В кривых воплотились десятки полетов, и каждая точка была облаком, ветром, высотой, ревом моторов, он брел по небу снова и снова, перепахивая месиво облаков. Где-то внизу лежала земля с миллиардами людей, со всеми их страстями и событиями, которые никак не могли повлиять на законы, по которым жили облака. Он бился над этими законами, и никто не мог помочь ему.

Окончательно одурев, он побрел к метеорологам уточнить кое-какие данные полетов.

Главный синоптик помог разыскать старые карты — ничего утешительного там не обнаружилось.

Они вышли вместе на площадь, в сутолоку только что прибывших с ленинградским самолетом.

Кругом раздавались возбужденные возгласы, кричали шоферы, пассажиры восторгались теплынью, воздухом, горами.

— Двенадцать раз в день одно и то же,— сказал синоптик.— Одними и теми же словами. С ума можно сойти от этой человеческой скудости.

Он был сутулый, узкоплечий. Желчное, сморщенное, прокопченное солнцем лицо его с умными, насмешливыми глазами напоминало Крылову Мефистофеля.

— Не выпить ли нам?— сказал синоптик.

В ларьке выпили по стакану кислого вина, потом по стакану сладкого.

— Всегда пьют за что-то,— сказал синоптик,— заботятся о будущем. А пить надо для... Например, я пью для того, чтобы отшибить память.— Он подмигнул Крылову.— Чудесно, когда нечего вспоминать. Память — наказание, придуманное дьяволом.— Он допил, причмокнул длинными губами.— Без памяти все были бы счастливы. «Счастлив без памяти». А? Недаром такое выражение. Мы ведь вместе с Голицыным начинали. Он членкор, а я в этой дыре — синоптик. А встретились — и никакой разницы: оба старики.

Перед Крыловым появился наполненный стакан. Синоптик распрямился, вытянул шею. Он оказался длинным и тощим. Он махал руками, словно собираясь взлететь.

— Я вам советую, бросьте сражаться. Я прорицатель. Судьбу легче предсказывать, чем погоду. Хотите, открою вам тайну!— Один глаз его стал круглым и начал быстро подмигивать.— Тот, кто знает то, чего не знают другие, опасен! Вы знаете истину? Вы опасны! Вот я уже неопасен. Голицын все хотел мне напомнить. Жалел меня. А я себя не жалею. Я вполне доволен. Хватит с меня. Тулин тоже перестал сражаться, и молодец. А с кем сражаться? Противники-то не сражаются. Вот в чем фокус. Я вашего Лагунова знаю. Что бы вы ни сделали, вы будете работать на Лагунова, прибыль получает Лагунов.

— И черт с ними!— Крылов погрозил синоптику пальцем.— А Лагунов пусть будет академиком, мне не жалко. Результат? Результат ничего не исчерпывает. За ним будет другой результат. Снова уточняет скорость генерации зарядов. И наши результаты — тю-тю. Важно, чтобы ты шел, карабкался, полз — но вперед.

— Движение — все, цель — ничто. Слыхали. Но ради чего? Объясните мне. Я в юности сражался, сражался, думал, добиваю последнюю несправедливость. И вот уже старость, а несправедливостей столько же.

...В ресторане играла радиола, то и дело прерывая ее, дежурная объявляла посадку: Ташкент, Алма-Ата... Крылова поражало количество мест, куда можно улететь. Сыктывкар! Подумать только! И все эти люди имели билеты и знали, куда им лететь.

— Мы с тобой кто? Жертвы науки!— провозглашал синоптик.

— Именно жертвы!— умилялся Крылов, и они нежно целовались.

Грибы, скользя, разбегались по тарелке.

— Вам нельзя больше, Сергей Ильич,— сказала Зоечка.

Он погрозил ей пальцем. Они хотят, чтобы он вернулся к этому проклятому письменному столу. Ни за что. Он улетит в Сыктывкар. Он женится на Зоечке. И приедет с ней к Наташе. Познакомься с моей женой. Может быть, Зоечка сделает его талантливым. Он с интересом наблюдал, как он разделился: один Крылов еще сидел, стиснув голову руками, пытаясь обдумать все наново. Второй, бесшабашный малый, уже был свободен, хотел бежать на танцы, лечь спать и наконец обнаружил, что умеет растягивать столы, сгибать тарелки и вытворять такое, отчего мебель извивалась и пела на разные голоса, заглушая радиолу. Затем появился третий, который стал осаживать каких-то иностранцев, пристававших к Зоечке, задирался, и все это кончилось великолепной мужской дракой на кулаках.

Откуда-то появился Алеша, Крылов был в восторге от своих прямых в челюсть, сам он получил хороший удар под глаз, немного протрезвел, и Алеше и синоптику удалось уволочь его до появления милиции.

Ночь была тихая, звездная. Он не хотел домой, его тошнило от цифр и таблиц. А синоптик и Алеша вели его неумолимо, как конвоиры ведут беглеца. Он и сам мог бы идти прямо, но ему было лень утруждать себя.

Почти три миллиарда людей на земле, а помочь никто не может. Вот что горько! Помешать всякий может, а помочь и хотели бы, да не могут! Звездочки, звездочки, такое красивое небо, а приходится с ним воевать. Он должен воевать с небом один на один, за всех этих людей. Эх ты, небо мое, небо!..

Дежурная, укоризненно покачивая головой, передала ему телеграмму. Его срочно вызывали в Москву, в отдел кадров.

Вид у него был страшенный: лиловый синячище под глазом, физиономия исцарапана. Девицы в отделе кадров переглядывались. Ему предложили ехать на Памир, там строится линия электропередачи, надо изучить грозовые условия для грозозащиты. Он пытался втолковать им, что не может ехать, пока не докажет... Градиент напряженности... дельта Е... Девушки разочарованно усмехались. Дельта Е! Кое-кто собирался сунуть его бог знает куда, но начальник отдела кадров, демобилизованный полковник, сказал: «Не люблю, когда кругом победители, а побежденный один». Девушки гордились, что защищают его, подыскали самостоятельную, интересную работу, и вот пожалуйте — перед ними никакой не герой, несправедливо гонимый, а самый обычный ловчила из тех, кто по-всякому изворачивается, лишь бы не ехать на периферию. Родители больны, жена пианистка, а у этого — дельта Е.

Начальник терпеливо выдавал про госзначение объекта, и госинтересы, и госдисциплину.

— Почему вы знаете государственные интересы, а я не знаю? — искренне поразился Крылов.— Ежели я решу эту проблему, государство больше получит.

Оба недоуменно посмотрели друг на друга, и начальник отдела кадров отправился докладывать по инстанции.

Ничего не скажешь, Агатов умел становиться нужным человеком. Он был главным свидетелем, ведь это он предвидел все заранее и предупредил Южина. Он помогал Лагунову формулировать и уговаривать, он показал себя как верный ученик и соратник Голицына, на него временно возложили руководство группой, ликвидацию дел.

В присутствии Лагунова он всячески восхвалял Голицына. Лагунов относился к этому с видимым безразличием, однако Агатов чувствовал, что к нему приглядываются. Агатов ждал. Терпеливо ждал, искусно. Наконец однажды, когда они остались вдвоем, Лагунов осведомился о здоровье Голицына — дело в том, что институты сливаются, создан один отдел атмосферного электричества,— не будет ли старику слишком труден организационный период?

Создание подобного центра было давнишней мечтой Голицына, несколько лет он хлопотал и доказывал не-

обходимость такой организации. Агатов понял, что Лагунов не прочь отстранить старика. «Какая скотина!» — подумал он.

— Вероятно, вы правы,— сказал он со вздохом.— Подобные нагрузки в его возрасте вредны.

— Тут, конечно, будут сложности, но мы рассчитываем на вас,— сказал Лагунов.

Агатов на мгновение пожалел своего старика, но что поделаешь, меланхолично ответил он сам себе, такова жизнь. Не я, так найдется кто-нибудь другой.

По возвращении в Москву Лагунов рекомендовал его в управление — врио начальника отдела и секретарем оргкомитета международного симпозиума. Агатов не отказывался.

Черты его бледного лица, когда-то еле видимые, словно стертые резинкой, со дня аварии проступали все резче и наконец теперь обозначились законченно, в мраморной твердости.

Подбородок налился тяжестью и выдвинулся вперед, появились губы, даже волосы пышно поднялись над маленьким бледным лбом, прочерченным озабоченными морщинками.

Происходило удивительное — за эти недели он прибавил в росте. Пиджак стал ему короток. «Мы рассчитываем на вас»,— напевал он фразу Лагунова. В этой фразе была мелодия, целая симфония, барабаны и трубы слышались в ней.

Он чувствовал себя на невидимом пьедестале, с высоты которого открывался:

простор кабинетов, деловых и строгих, с отдельным столиком для телефонов, среди которых есть прямой, туда... и просторы длинных столов заседаний, крытых синим сукном, там был стук каблучков секретарши, и стук карандаша по графину, и похлопывание по плечу, очередь в приемной и приемы с тостами, знакомствами и рукопожатиями;

мир планов, одобренных, новаторских, планов грандиозных, эффектных и эффективных, и перевыполненных, и встречных, планов, которые всем нравятся, нравятся президенту, и выше, и совсем высоко, мир академиков, далеких от жизни, нуждающихся в энергичных организаторах, которые умеют подобрать кадры, расставить кадры, прислушиваться к мнению, поддерживать инициативу, крепить связь с производством, поддерживать почин;

он будет участвовать в решении проблем, требующих коренной ломки, широты взглядов, борьбы с консерваторами, слияния институтов, перебазирования институтов, открытия новых институтов, улучшения руководства;

он будет устранять параллелизм в научной работе, распыление сил, ненужные препоны и рогатки;

он готов: посылать на периферию, составлять беспристрастные отзывы, отрицать чистую науку, защищать чистую науку, растить кадры, проводить симпозиумы, конгрессы, подписывать некрологи, находиться на высоте;

увы, как ученый он несколько отстанет, ничего не поделаешь, заедает текучка, кто-то должен жертвовать собой, он был согласен жертвовать собой, и не только собой, согласен возложить на себя ответственность, сглаживать трения...

Нет, он не был ни честолюбцем, ни карьеристом, он не гнался за высоким окладом, ему хотелось лишь скорее уйти от этих гальванометров, формул, экстремальных зон, от этого рискованного мира опасных маньяков, которые кичатся какими-то кривыми и оценивают человека по тому, как он разбирается в их графиках. Он всего-навсего стремился туда, где нет неудачных опытов, и контрольных опытов, и загадочных результатов, где он будет недосягаем для выступающих на семинарах.

Недоступен для Крылова и подобных ему типов.

Они придут к нему на прием. Их можно не принять.

Или выслушать с приветливой улыбкой и пообещать что-то неопределенное.

Или переслать дальше и тут же позвонить: «К тебе явится один тип, так учти, он немного того, тяжелый случай».

А если не придут, можно вызвать. Пусть посидят в приемной. Тридцать минут, сорок минут...

Он вышел навстречу Крылову из-за стола — новенький современный полированный стол, без ящиков — простите, что задержал, дела, не продохнуть — усадил в кресло — пенопласт, обитый красной тканью, весь кабинет модерн — легкая мебель, солнечно, просторно — новый стиль руководства. Кто вас разукрасил? Никак опять в аварию попали? Итак, Сергей Ильич, вас не устраивает новое назначение. Мне тоже приятней было бы сидеть в лаборатории, но что поделаешь, мы солдаты. А как ваши успехи? Ничего не выходит? Какая жа-

лость. Тогда придется ехать. Рад бы помочь вам, но сие от меня не зависит. Боюсь, что докладывать академику Лихову о вашей просьбе бесполезно, только хуже будет.

Ах как обходителен был Агатов, как скорбел он, как он сочувствовал! Увы, увы, придется сообщить в партком, пусть общественность скажет свое слово.

Крылов должен был сидеть и слушать, и просить, и молчать. Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему кажется. Человек может много, может все и еще столько же.

Вечером пришли Бочкарев и Песецкий, и они обсудили создавшееся положение. Они не были ни администраторами, ни политиками, ни психологами. Они ни фига не смыслили в законах, но Песецкий доказал, что любая хитрость — это в конце концов наиболее целесообразный отбор из возможных комбинаций. Неужто они, современные физики и математики, не могут обшпокать какого-то Агатова! В результате тщательного и высоконаучного анализа была выбрана следующая цепочка связи: Крылов — Аникеев — Лихов. Крылов тут же позвонил в Ленинград Аникееву. Покряхтев и прозапинавшись на солидную сумму, он установил, что Аникеев, подобно Бочкареву и Песецкому, не видит в его просьбе ничего безнравственного. Не то чтоб он не был уверен в его удаче, но он считал, что Крылов сам не знает, что ему надо делать.

Цепочка сработала: его вызвал Лихов.

Снова в присутствии Агатова и начальника отдела кадров он повторял то же самое, уже не заботясь о впечатлении, без особой надежды на то, что Лихов поймет. От этого внутри была морозная ясность, и он не испытывал никакого волнения, перед ним был не Лихов, а бритый большеголовый старик, у которого из ушей росли волосы.

Лихов задал несколько вопросов по существу, говорить с ним было легко, и Крылов оживился, с удовольствием выкладывал подробности, заспорил, и, когда Лихов попробовал сослаться на Лангмюра, Крылов нетерпеливо фыркнул:

— А, бросьте! Лангмюр, Лангмюр, как будто Лангмюр не может ошибаться. У вашего Лангмюра тут чушь.

— Однако...— Лихов властно постучал пальцами по столу, и уши его побагровели. Агатов знал, что Лихов вспыльчив и крут, и предвкушал предстоящую распра-

ву, тем более что Крылов, ничего не замечая, пер на рожон, он забрался коленями на кресло, перегнулся через стол, и рисовал в блокноте Лихова кривую Лангмюра и свою кривую, и требовательно кричал:

— Видите, какая фактическая разница! На два порядка. Понятно вам?

И вместо того чтобы выгнать его, Лихов досадливо поскреб затылок. Потом сказал, подмигнув:

— Но ведь и Аркадий Борисович свое дело знает.

— Да,— сказал Крылов.

— Мне про вас рассказывал Аникеев.— Лихов помолчал и добавил:— Агатов тоже докладывал.— И опять по его тону нельзя было понять, на чьей стороне он.

— Вы уверены, что вам удастся найти решение?

Крылов со вздохом уселся обратно в кресло.

— Нет. Не ручаюсь.

— Это правильно. А если мы вас все же отправим в Киргизию?

— Я не поеду.

— А что будете делать?

— Буду решать эту штуку.

— А у вас не будет получаться.

— А я буду ее решать.

Лихов обернулся к Агатову и сказал:

— Я вчера был на опытном заводе. Там зарплату получали. Лежит на столе пачка денег, каждый подходит и отсчитывает себе. Крылов, вы считаете, что есть возможность доказать?

— Да,— сказал Крылов.

Агатов предостерегающе покачал головой.

— А вы знаете, Яков Иванович, я установил, почему указатель не работал,— увлеченно сказал Крылов, роясь в своей папке.

Агатов отвернулся. Губы его стали бледнеть, почти исчезая на белом лице.

— Почему...— послушно выдохнул он. Крылов поднял голову, и Лихов вскинулся, прищурясь, и оттого, что они молча разглядывали его, он почти закричал, теряя осторожность:— При чем тут я! Почему вы ко мне...— Южин, Крылов, и вот уже и Лихов, и начальник отдела кадров — их становилось все больше, людей, которые могли его в чем-то подозревать.

— Однако,— произнес Лихов так, что Агатов вскочил,— я вас не задерживаю.

Они смотрели ему вслед, как он шел по краю ковровой дорожки.

Зазвонил телефон. Лихов послушал и сказал:

— Да нет еще, подожди.— Он положил трубку.— Внук не может никак решить задачу, и я тоже.

Задача была для восьмого класса, о движении катушки, которую тянут за нитку. Они попробовали решить ее, но так и не решили. Лихов рассердился.

— Позор!— сказал он Крылову.— Позор! А еще беретесь Голицына опровергать.

— Ну ладно, попробуем,— сказал он начальнику отдела кадров.— Попробуем. Беру его на поруки. Говорят про риск. А больше риска не тогда, когда пробуют, а когда не пытаются пробовать...

В приемной Агатов ждал Крылова.

— Что же вы нашли?— спросил он.

— Питание было нарушено,— начал объяснять Крылов.

Агатов тоскливо кивал.

— Возможно, возможно... Лихов-то злится, что я хлопотал за вас. Но я рад, что мне удалось как-то помочь вам,— сказал он.— Видите, я к вам со всей душой.

На улице Крылов сообразил, какая скорость будет у катушки, и позвонил из автомата Лихову.

— Молодец,— пробасил Лихов,— но внук уже сам добил. Раз уж позвонили...— он подышал в трубку,— желаю вам удачи...

Крылов понял недоговоренное: несмотря на всякие нажимы, Лихов поручился за Крылова, и будет скверно, если Крылов подведет. Но оттого, что он этого не сказал, Крылову стало еще тяжелее.

ГЛАВА 7

В рассветных сумерках, в один и тот же час, старый, полузасохший клен под окном начинал петь. Клен будил его. Между редкими пожелтевшими листьями покачивались, распевали десятки птах. В безветренном воздухе листья мелко дрожали. Птицы пели. Их голоса разбегались заливчатыми трелями, но получался слитный хор, где каждый вел свою партию. Птицы раскачивались на ветках в такт ритму, как это делают музыканты. Клен стоял во дворе у кирпичной глухой стены. Пушистые серо-бурые комочки с желто-зеленой грудкой

походили на весенние листья, и казалось, что клен расцвел. Потом птицы улетали, и клен умолкал, голый, неподвижный. Наспех позавтракав, Крылов садился работать. Месяц отпуска, данный Лиховым, кончался, но кажется, что-то стронулось. Крылов старался не спугнуть ухваченной мысли. На этот раз его не проведешь. Никаких восторгов он себе не разрешал. Всякие озарения, вдохновения — беллетристика.

И все же он потихоньку от себя наслаждался этими днями. Было легко, что-то прорвало, он считал и писал так быстро, словно кто-то диктовал ему. Песецкий, забросив свои дела, помогал с расчетами. Все стало настолько просто и очевидно, что непонятно, над чем было так долго мучиться. Именно потому, что зоны, где возникают молнии, чрезвычайно редки, воздействие на них облегчается и возможность воздействия усиливается. Нужно продолжать полеты, нацеливая аппаратуру туда, где только что ударила молния. Одно следовало из другого и плотно укладывалось, как черепица на крыше. Внутри дом был пуст, но над головой был кров, а остальное не страшно.

Окончательно одурев, они ставили какую-нибудь пластинку Баха и, положив ноги на стол, дымили, блаженствуя. В торжественной суровости этой музыки не было ничего лишнего, никаких красот. Скупая и ясная тема повторялась снова и снова и всякий раз иначе; казалось, извлечено все, но нет, вот еще поворот, еще один пласт, глубина простейших вещей оказывалась неистощимой, как неистощимая красота. Все равно что в физике, рассуждали они, любая элементарная частица бесконечно сложна. Совершенство этой музыки успокаивало. Им нужна была сейчас завершенность.

Вечером за Песецким заходила Зина. Она была влюблена и счастлива, и Песецкий, закоренелый холостяк, смущенно поговаривал о женитьбе. Стоя у окна, Крылов видел, как они обнявшись пересекали двор.

До настоящей теории было далеко, вырисовывались лишь подступы, какие-то принципы, основы, это уже что-то значило. Только сейчас перед ним открывалась вся грандиозность предстоящих усилий. То, что было до сих пор, было попытками слепых попасть в яблочко. Поразительно, как мог Тулин на том этапе нащупать

цель. Он обладал исключительной интуицией, каким-то особым внутренним зрением. Было чудом, что в результате всех блужданий, ничего толком не зная, они тем не менее болтались где-то в окрестностях истины.

По-иному видел он и аварию. Факт, что питание указателя было нарушено. Помог бы им исправный указатель? Как узнаешь, помог ли бы погибшему в бурю кораблю компас? Конечно, если бы Ричард выпрыгнул с кассетами, многое можно было бы установить.

Теперь Крылов представлял, что́ им надо и что́ они не понимали. Наконец-то можно сформулировать некоторые вопросы, связанные с природой молнии. Правильно поставить вопрос — не это ли важнее всего в исследованиях?

Самые мощные установки искусственных молний пробивали промежутки в десять — пятнадцать метров. Природа же создавала молнии, достигающие длины в десятки, даже сотни километров. Какие же гигантские, невиданные напряжения миллионы лет с расточительной легкостью генерировали облака! Он чувствовал, что подбирается к таким источникам энергии, о которых людям еще не мечталось.

Он знал, знал, как это и еще многое другое можно будет исследовать!

В диссертации Ричарда, которую ему передал Голицын, было несколько любопытных вариантов схем указателя. Крылов их использовал. Он использовал и некоторые идеи Тулина, и возражения Голицына, и работы француза Дюра́, но из всего этого получалось нечто совсем новое, о котором еще никто не догадывался. Он, Крылов, единственный во всем мире знал, что надо делать! И как надо делать!

Он первый!

Взлетает самолет — и лиловые, набрякшие молниями и громами тучи бледнеют, серебрятся, поднимаются ввысь и тают, тают в солнечной голубизне. Слушая Тулина, он всегда испытывал какую-то неловкость, а сейчас он с удовольствием вспоминал эти фантастические картины. Вообще в нем сейчас, наверное, есть что-то схожее с Тулиным. Он подошел к зеркалу. Странно, вроде тот же самый Крылов. Те же невыразительные маленькие глаза. Весьма странно. А между тем этот человек обладает важнейшей властью хранителя истины. Некоторое сияние в глазах, пожалуй, различается... Почти невидимое, инфракрасное излучение.

На улице люди шли под зонтиками, как будто ничего не произошло, так же как они ходили год назад и десять лет назад. Соседка, жена моряка, кокетничала с ним, ни о чем не подозревая, звала его на чай. Зина читала Лескова, по радио передавали Мусоргского. Как будто он попал в далекое прошлое. Эх, люди, люди, если б вы только догадывались, какая радость вас ожидает!

Наконец наступил день, когда он отнес папку Голицыну. Старик был занят с какой-то делегацией и принял его на ходу, преподав урок выдержки, свойственной старой школе. Проверим, подумаем, посмотрим...

Слабых мест было много, но, находя их, он почему-то досадовал не на Крылова, а на себя.

Находить чужие ошибки — вот на что ты еще способен. Ты можешь следить за всеми журналами, возглавлять очередную конференцию, принимать делегации, читать книги. Что толку из того, что ты следишь за журналами, много читаешь, делаешь выписки! Посмотри на Крылова, он и десятой доли твоего не знает, зато у него рождаются идеи, не бог весть что, но ты был бы рад и таким. Никак ты не хочешь понять, что ты просто стар и способен только помогать другим. Или уничтожить Крылова еще раз, на это ты еще годишься, на это у тебя хватит учености и энергии. Сколько раз ты отодвигал от себя срок старости! О, ты еще водишь машину, блистаешь эрудицией, но нового тебе уже ничего не создать. Никто еще не знает, что ты бесплодная смоковница. А что, если давно знают? Старая песочница! И вдруг он вспомнил, что когда-то так называли Волкова. И сразу ему вспомнился до малейших подробностей Петроград, Лесной, Волков в хорьковой шубе колоколом, весеннее кудрявое небо, колченогий стол на талом снегу, первые испытания радиозонда. Несмотря на все предсказания Волкова, зонд выполнил программу. И он вспомнил себя, сияющего, чубатого, в жилетке, прыгающего козленком у рации. Как злорадно размахивал он радиограммой перед Волковым! А у Волкова под красным носом висела мутная капелька.

Каким же ты был безжалостным в ту минуту! Молодость всегда безжалостна. Теперь ты это понял на своей шкуре, теперь, когда уже ничего нельзя исправить.

Никто теперь не помнит Волкова, он жив только в твоей памяти. Молодым ничего не говорят имена тво-

их корифеев. Что им Смуров или Молчанов — далекая история! Покажи тот зонд Крылову — он рассмеется, если узнает, что за такую музейную рухлядь тебя сделали профессором. Метод измерения подвижности ионов, над которым ты когда-то бился, для него теперь: «А как же иначе, само собой разумеется!»

Когда-то ты владел лучшим математическим аппаратом, сегодня такие уравнения решают студенты.

Неужто ты всерьез рассчитывал на бессмертие? Его нет ни для кого. Помнишь, в гимназии — Платон, Овидий... Кто их сегодня читает? Через сотню-другую лет никто не поймет, почему мы любили Блока и Врубеля.

Немножко позже, немножко раньше, вот и вся разница. Чем отличается мраморная скульптура от снежной бабы? Долголетием?А все же Ньютон бессмертен. И Менделеев бессмертен. Но ты не принадлежишь к их числу. Смирись с этим, пора.

Конференц-зал Академии наук и доклад на пленарном заседании «Природа молнии». Казалось, вот наконец все прояснилось, вот она, истина, а она ускользала и ускользала. Что же осталось? А ничего. Сперва на твою работу ссылались, потом ссылались на тех, кто ссылался, потом осталась таблица, потом осталась одна цифра, которая вошла в новую сводную таблицу. Ноль целых семьдесят три сотых, и никто уже не знает автора этой цифры, она стоит среди других, два числа после запятой в длиннющей таблице. И то хорошо. Нет, нет, кое-что сделано, вся хитрость в том, что как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает.

И все же нынешняя молодежь какая-то непонятная.

Он позвонил Крылову, пригласил к себе домой. Он собирался поговорить не только про работу, но и о времени, когда жизнь оправдывается тем, что отдаешь своим ученикам, остается опыт и надо распорядиться им как можно лучше...

— Ну как?— с порога спросил Крылов и, выслушав отзыв, засмеялся, прикрыв глаза, подошел к окну, помахал кому-то рукой. И больше ничего не слышал. Голицын посмотрел в окно. На противоположной стороне улицы стояли Песецкий, лаборантка Зина и какая-то красивая девица. Они выразительно жестикулировали. Крылов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Может, так и положено»,— подумал Голицын, усмехаясь над своей чувствительностью. Он вернул Крылову папку и договорился завтра с утра поехать к Южину.

Следовало отдать должное Лагунову — заключение и доклад министру были составлены неуязвимо.

Выслушав Лагунова, министр еще долго листал бумаги, потом сказал:

— Запретить — это легче легкого. А проблема-то осталась. Проблему не закроешь.

— Но сам руководитель, Тулин, отказался,— сказал Лагунов.

Министр выжидающе перевел взгляд на Южина. Южин промолчал.

— Да, тогда, конечно, ничего не попишешь,— сказал министр.

Разочарование его было совершенно неожиданно и в то же время настолько естественно, что Южин удивился, как он сам раньше не подумал о том же, и тут вспомнил, что ведь и он тоже думал об этом, только гнал от себя эти мысли.

Лагунов был доволен, что все обошлось и министр согласился с выводами комиссии.

«И очень хорошо,— думал Южин, с неприязнью глядя на него,— очень хорошо, что я наконец развязался со всей этой историей. С какой стати из-за Крылова ссориться с Лагуновым, да еще взваливать на себя всякие неприятности, обвинят меня же, что делал все не так, нет, слава богу, что все кончается...»

На лестнице его догнал Лагунов.

— С вас причитается.

Южин кисло улыбнулся. По-своему Лагунов был прав: акт комиссии снимал всякие претензии к Управлению и к Южину — все списывалось на метод Тулина, а поскольку метод Тулина признан несостоятельным, то и концы в воду.

...и концы в воду,— услыхал он голос Лагунова.

Южин вздрогнул, остановился, щелкнув каблуками.

— Всего хорошего,— резко сказал он и, козырнув, зашагал, не оглядываясь, к машине.

Появление в его кабинете Голицына и Крылова снова поднимало осевшую уже душевную муть. Все считалось законченным, и вот опять пожалуйте. Особенно раздражал этот новый союз: Голицын — Крылов.

— Однако лихо вы изменили свою точку зрения, Аркадий Борисович!— Южин решил уязвить его.

— Простите,— заволновался Голицын,— сперва договоримся, что́ понимать под точкой зрения. По-вашему, это нечто неподвижное, некая константа. Подобное присуще памятникам, а не живому человеку. Существует процесс познания, мысль движется. Я не меняю взглядов, я их развиваю. Концепция Крылова смелая, рискованная и...— он поднял палец,— законна́я! Ее следует проверить.

— Выходит, вы ошибались?

Голицын с достоинством вскинул голову.

— В науке признание ошибки не позор.— Он хмыкнул с непонятным Южину торжеством.— В данном же случае мы имеем дело с работами на качественно ином уровне, нам надо исследовать коренные процессы...

Он объяснял доходчиво и образно. Южин давно заметил, что чем крупнее специалист, тем проще у него получается.

— Но что ж вы раньше смотрели!— досадливо воскликнул Южин.— Сами виноваты.

— Господи, да как же можно раньше, Сергей Ильич только сейчас обосновал...

Лицо Южина сделалось непроницаемым, почти туповатым.

Мундир слишком стягивал грудь и живот. Южин подумал, что придется перешить мундир,— слои жира откладывались, как годовые кольца у дерева, и тому молодому, сухощавому Южину, который был там, внутри, становилось труднее дышать и двигаться.

— У вас, конечно, процесс, научная мысль кипит и развивается,— язвительно сказал он.— Но мы не можем так вот — сегодня одно, завтра другое.

А вот то, что Голицын может сегодня одно, а завтра другое и считает это естественным, как будто гордится этим, задевало Южина. Здесь было что-то несправедливое, он сам толком не мог разобраться. И было непонятно, почему сейчас не Голицыну, а ему, Южину, трудно и неловко так же, как было у министра.

— Остановиться теперь невозможно,— весело говорил Крылов. Исхудалый, заросший, он производил впечатление плутавшего где-то и наконец вышедшего к людям путника.— Вы ж понимаете, надо как можно скорее испытать.— Он смотрел на Южина так, как будто тот входил в их сообщество и поэтому возражения Южина не следовало принимать всерьез.

У этих легкомысленных чудаков получалось куда как просто. Пора бы их отрезвить. Южин взялся за это без всякой жалости. Как дважды два, он доказал, что ничего у них не выйдет. Поздно. И бесполезно, приказ есть приказ. И как возвращаться к министру...

Голицын погрустнел, сник, Крылов тоже словно очнулся; завинтив ручку, спрятал ее в карман. Больше он не смотрел в лицо Южину, а смотрел куда-то ниже, на его мундир, и это раздражало, Южину вдруг представилось, каким он кажется Крылову, мундир стал еще теснее, и Южин почувствовал, что говорит не то, что ему хочется, и от этого еще больше разозлился. Но теперь он уже был пленником своих слов и должен был дойти до конца, он знал заранее все, что скажет. Он подумал, что началось это даже не у министра, когда он промолчал, а еще раньше. И сколько он ни оглядывался назад, он все не мог понять, когда это началось. Вдруг он вспомнил, как в этом же кресле сидел Тулин и обольщал его, и это воспоминание придало ему силы.

Опять лететь в грозу? Снова идти на риск?

Голицын растерянно молчал. Видимо, ни он, ни Крылов не думали об этой стороне дела. Но Южин напомнил им. Он не забыл речи Голицына на комиссии.

— Мы будем последовательно, этап за этапом...— начал было Крылов.

— Слыхали. Нет. На сей раз я вам не помощник,— сказал он.— Прикажут мне — тогда будем разговаривать.

— Но куда обратиться, куда ж обратиться?— спросил Голицын.

Крылов медленно поднялся. Страшная усталость проступила на его лице, ребячьи припухлости у губ опали морщинами.

— Никуда я обращаться не буду.— Он хлопнул папку на стол, голос сорвался криком:— Довольно с меня! Я свое сделал! Теперь как хотите!

— Сергей Ильич!— воскликнул Голицын.

Крылов вышел на середину комнаты, потянулся, точно сбросил тяжесть, и Южин понял, что Крылов не хитрит, это не поза, не маневр, он может взять и уйти, у него своя мерка происходящего. Этот парень действовал открыто, начистоту, не заботясь о впечатлении, какое он производит, так же, как старые летчики — друзья Южина, так же, как и он сам когда-то, на фронте.

— Самый легкий выход,— сказал Южин,— с рук сбыть. Только я вместо вас воевать не буду, Сергей Ильич.

Крылов посмотрел на мундир Южина. Потом он вернулся к столу. Длинные руки его висели из коротких рукавов слишком просторного пиджака.

Крылов взял папку и, не поднимая глаз, сказал:

— Много у вас орденов. Все боевые. На войне вы, видно, держались храбро. А сейчас ведь не стреляют.

Он направился к двери, и Южин смотрел, как болтается на его плечах дешевенький пиджак из светло-зеленого твида.

Голицын начал извиняться за Крылова. Южину надо было что-то сказать. Он сказал, что следовало бы сообщить в институт, чтобы там научили Крылова вести себя.

Домой Южин возвращался пешком. Он ушел раньше обычного, сославшись на головную боль. Было солнечно и холодно. От осеннего воздуха, от блеска промытых окон улица стеклянно звенела, виделось далеко, лица людей были чистыми, с ясным блеском глаз.

Давно Южин не ходил днем по улицам, вот так, без всякого дела. Шли парни, сунув руки в карманы коротких пальто, яркие шарфы их были небрежно замотаны. Южин чувствовал, как шинель тяжело оттягивает плечи.

Он начал было вспоминать, когда и за что он получил ордена, но вспоминались почему-то всякие пустяки — полковая столовая, бортмеханик Федот, который любил говорить: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». Потом он вспомнил свой первый бой под Лугой и возвращение на аэродром — там были уже немцы. Он посадил машину на проселочной дороге, раздобыл бензин и снова полетел, разыскивая своих.

В полку его всегда считали храбрым. Но он-то знал, что храбрость — это не то, что, например, умение. Храбрым всякий раз приходится быть заново. И военная храбрость совсем не то, что гражданская. Он мысленно изругал Крылова, надеясь, что станет легче, но легче не становилось. Ни у Крылова, ни у Голицына ни хрена не получится: они не умеют разговаривать с начальством. Это не ходоки. Крылов, конечно, отчаянный... Южин вдруг подумал, что он уже на комиссии

втайне симпатизировал Крылову, именно втайне. И хвалил себя за то втайне, что подавляет личные симпатии. На самом же деле просто так было удобнее. Сперва всегда кажется: то, что удобно, и есть правда. Поверил бы с самого начала своим чувствам — и, глядишь, оправдалось бы. Требуем, чтобы нам доверяли, а мы сами себе не верим.

«Запустил я себя как личность»,— подумал Южин и вдруг сообразил, что думает о самом себе. Это его даже удивило. Никогда он этим не занимался. Думал о службе. Думал о детях, еще о чем? Ну о друзьях, о жене, а вот о себе самом как-то не приходилось. Все было недосуг, вроде и ни к чему. Вот так и живем, живем и вдруг однажды обнаруживаем, что ни разу и не задумались, как же мы живем. С кем угодно сидим, болтаем, а для себя всю жизнь, бывает, не найдем времени. Времени, или охоты, или мужества...

ГЛАВА 8

Папка лежала на столе, завернутая в газету. Крылов не прикасался к ней.

Ему казалось, что когда он кончит, то эту папку будут вырывать друг у друга, поднимется кутерьма, столпотворение, его будут качать чуть ли не на Красной площади или по крайней мере премируют двухнедельным окладом.

Его выслушивали, поздравляли, и на этом все кончалось. Ему даже были готовы помочь, но он не знал, о чем просить, он напоминал бегуна, который с честью прошел свою дистанцию и на этапе обнаружил, что некому передать эстафету. Признаться, он никогда всерьез и не помышлял брать на себя руководство группой, становиться заводилой. Он хотел решить задачу, и он решил ее, теперь пусть другие беспокоятся.

В Москве остановилась Ада. У нее был отпуск — она ехала в Крым. Ада привезла письмо от Аникеева, он приглашал Крылова вернуться в институт, обещал договориться обо всем с Лиховым.

Ада показалась Крылову еще более красивой, в ней что-то смягчилось, глаза ее поголубели талой синью, она не пыталась поучать и наставлять, и Крылов очень обрадовался ей. Ада приглашала ехать вместе в Крым. Он медлил, не зная, что ей ответить. Он сам не понимал,

чего он ждет. Иногда ему казалось, что кто-то с минуты на минуту постучится в дверь, возьмет у него проклятую папку и тогда он наконец освободится.

На симпозиум съезжались участники. Голицын был занят с утра до вечера, и Крылов слонялся без толку. Ада осторожно посоветовала сходить к Лихову.

— С какой стати?— вспылил Крылов.— Чего я буду набиваться? Им неинтересно, так мне тем паче.

— Кому это «им»?

Он тупо уставился на нее и, наконец поняв, рассмеялся.

Было воскресенье. С утра шел дождь. Ада прибрала комнату, выкинула старые журналы, газеты, стало просторно, уютно. Вытирая стол, она аккуратно вытерла и фотографию Наташи, ни о чем не спрашивая. Соорудив себе из полотенца передник, она легко и бесшумно работала, подшучивала над неряхами-мужчинами, а Крылов развивал ей теорию о том, как женщины задерживают прогресс человечества. Они загружают промышленность производством брошек, бус, сумочек. А шляпы? Каждый год новый фасон. А косметика? Трельяжи, грильяжи...

Ада смеялась, из-под растрепанных волос блестели глаза, она была трогательно домашней, ничего похожего на ту строгую, прекрасную статую, перед которой он всегда чувствовал себя посетителем музея. И вдруг он подумал, что Ада ждала его еще преданней и беззаветней, чем он Наташу. И ей так же тяжело, как ему. В сущности, он обошелся с Адой, как Наташа с ним, только с Наташей он сам был виноват, а Ада ни в чем не виновата, она виновата лишь в том, что любит его.

— Почему ты не уезжаешь?— спросил он и, как всегда, неуклюже начал поправляться:— То есть я-то рад, но у тебя дни уходят.

— А ты тоже хотел проветриться?

— Я... Мне надо побывать на симпозиуме... У Песецкого свадьба.

— У меня тетка здесь больна,— сказала Ада.— Пойдем в Третьяковку, я давно не была.

«Господи, как все сложно, какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез!— думал он по дороге.— Почему раньше было куда проще?»

— Помнишь,— сказал он Аде,— я всегда мог порвать, уйти когда хотел. Я ошибался, но делал то, что хотел.

— Но если ты опять уйдешь, кто же займется твоим делом? Без тебя оно захиреет. Я тоже когда-то... Теперь я знаю, что человек не может освободиться от всего.

Взявшись за руки, они бродили по залам музея, совсем как когда-то в Ленинграде, когда Ада «образовывала» Крылова. Только теперь она ничего не объясняла и не учила, они просто смотрели и радовались, если обоим нравилось одно и то же.

Они остановились перед картиной Серова «Девочка с персиками». Там было позднее лето, солнце... Девочка сидела за столом, безыскусно позируя. Отсветы просторной розовой кофты скользили по ее лицу, бархатисто-теплому, прогретому солнцем, как персики, что лежали перед ней на скатерти. Задумчиво смотрела она на Крылова, как смотрела до него на миллионы людей, прошедших перед ней, щедро наделяя каждого чистотой и силой своей доброты. Солнце переходило в сочную сладость плодов. Он ощущал вкус солнца, таинственную работу света, его превращение. Тепло, излучаемое этой круглощекой девочкой, напоминало то юное, светлое, что прошло мимо него. Он думал о том, какой неодолимой силой может обладать доброта.

Ада украдкой смотрела на него, Крылов очнулся.

— Да,— сказал он,— ничего не поделаешь...

Ада не поняла, что означали эти слова, но не стала спрашивать.

Билет на симпозиум ему не прислали. Он подумал, что это ошибка, и зашел в оргкомитет. Его направили к Агатову.

— Мы думали, что вы уехали,— сказал Агатов.

— Но я не уехал.

Агатов улыбнулся.

— Вижу. Но знаете, Сергей Ильич, есть такое мнение, вам не стоит...— и он утешающе махнул рукой.— Считают, что вы станете жаловаться, а будет много иностранцев.

— Думаете, я стану просить? Есть такое мнение — послать вас туда-то и туда-то.— Он выскочил, в бешенстве хлопнув дверью.

В коридоре он столкнулся с Возницыным. Тот отвел его в сторону, зашептал:

— Что-то происходит. Я слыхал, что Южин был у министра. Вы виделись с Богдановским?

— Какой еще Богдановский?

— Так вы ничего не знаете? Он вас разыскивает. Только между нами: есть письмо, подписанное Лиховым, Голицыным и Аникеевым, они требуют возобновления работы. Будете говорить с Богдановским, имейте в виду — мы не возражаем.

— А что изменилось? Вы и раньше знали, что я доказал...

— Ситуация изменилась, ситуация,— весело сказал Возницын.— Все будет хорошо. Я же вам говорил, что все будет хорошо.

Он потащил Крылова к телефону, потом на своей машине повез в Управление. Последующие три дня слились мелькающими кадрами совещаний за длинными столами с бутылками нарзана и в кабинетах без длинных столов, составлений бумаг, смет, объяснительных записок, стрекотом пишущих машинок, телефонных звонков, бюро пропусков.

Возницын за голову хватался, слушая его неосторожные ответы. Южин одобрительно подмигивал. Появился Богдановский, придирчиво опрашивал Крылова, прощупывал и так и этак, как цыган, торгующий лошадь. Выступил довольно резко Лагунов, но тут Крылов поднялся и спросил: «А что вы можете предложить?» В том-то и дело, что никто из критикующих не мог предложить ничего другого. И Богдановский, ухватившись за этот тезис, ловко фехтовал им против Лагунова, и всех, кто еще сопротивлялся.

— Гроза для тебя как мамкин подол,— добивал Южина Богдановский,— ухватишься обеими руками, любой грех прикроет. Вали на Илью-пророка.

Южин, отфыркиваясь, спокойно подставлял свои бока, умно помогая Богдановскому и Лихову.

Крылов лишь моргал глазами, постигая высокое искусство сражающихся. К исходу третьего дня он вылез из последнего чистилища, измочаленный, согласованный, подписанный, утвержденный, заверенный.

— Поздравляю,— сказал ему Богдановский, когда они остались одни в прокуренном огромном, неуютном кабинете.— Но я наблюдал за вами — руководитель из вас никакой.

— Вот именно,— сказал Крылов.— Я и не хочу, ничего из меня не получится. Только опорочу дело.

— Что ж вы собираетесь? Уча-аствовать? — иронически протянул Богдановский.

— Почему вы не приехали сразу после аварии помочь Тулину? — спросил Крылов.

Богдановский сидел на стуле, бритый, скуластый, с твердо-неподвижным лицом Будды.

— Почему?.. Помогать надо сильным. Слабым нет смысла помогать. Невыгодно. И времени нет. — Он сделал паузу. — Как организатор вы уступаете Тулину, ну да ничего, нужда научит. А что вас смущает?

— Группу-то распустили. Там были ценные работники. Я не знаю, согласятся ли они снова...

— Ничего, предложим. Мало ли что было. Всюду бывают потери. Мы работаем на людей, и личное тут надо отставить.

— А хотят ли они, эти люди, отставить свое личное?

Богдановский нахмурился.

— Если бы всякий раз спрашивали у людей, мы бы жили в пещерах.

— Мне такой прогресс не нужен. Я буду спрашивать!.. — сказал Крылов. — Но я вообще еще не решил...

Богдановский не привык уговаривать, но еще меньше он привык, чтобы с ним так спорили.

— Решите, — сказал он. — Вам деваться некуда. От себя не уйдешь. Оклад вам, между прочим, дадим персональный.

— Зачем?

— Ну, милый, не повредит. Бескорыстие — это красиво, но ненадежно.

Крылов прищурился.

— Не нравятся мне ваши рассуждения.

Вряд ли когда-либо в этом кабинете произносилось подобное. Надо отдать должное Богдановскому: он понимающе улыбнулся.

— Это вы притомились с непривычки. — Потом улыбка его застыла. — Нам придется работать вместе. Я не знаю слов: «нравится», «не нравится». Вы мне нужны, и я нужен вам. Ясно?

— Ясно.

И Богдановский подумал, что ясно им каждому свое и что таких, как Крылов, нельзя заставлять, они подчиняются каким-то своим правилам.

В дверях Крылов обернулся.

— Я все хотел спросить вас... Откуда вы узнали про меня, и вообще?..

— Понятно,— перебил Богдановский его заикания.— Ко мне приходила наша сотрудница Романова Наталья Алексеевна.— Богдановский посмотрел на лицо Крылова.— Агитировала за вас. Я ведь было похоронил свои планы после аварии. А потом перелистал стенограмму...

— Где она сейчас?

— Романова? В экспедиции. Вам скажут в секретариате.

Дома его ждала Ада. Она сидела в полутьме на кушетке, и он рассказывал ей. Рассказал все. И про Наташу.

— Значит, все в порядке,— ровным голосом сказала Ада.— Звонил Аникеев, он приехал и хотел повидать тебя.

Крылов позвонил Аникееву, договорились встретиться в «Москве».

— Я не смогу, я уезжаю, мне надо собраться в дорогу,— сказала Ада.

— С чего это ты вдруг?

— Тетя выздоровела. Мне пора ехать.

— Тогда я не пойду.

Она принужденно улыбнулась.

— Хорошо, пойдем вместе.

По дороге Крылов уговорил ее зайти на Гнездниковский к Вере Матвеевне.

Два длинных звонка и один короткий. Открыл муж Веры Матвеевны, провел их в комнату, где за обеденным столом занимались два мальчика. Вера Матвеевна вышла из-за перегородки. Рука ее еще была на перевязи.

Крылов рассказал ей про то, как повернулось дело.

Он ничего не предлагал, но в комнате сразу воцарилась тишина. Мальчики разом подняли головы, и Крылов увидел тревогу в их глазах, а муж Веры Матвеевны уткнулся в газету.

— Да, да, очень интересно,— сказала Вера Матвеевна,— если бы мне обстоятельства позволили, я бы приняла участие.

Она проводила их в переднюю и там, оглядываясь, зашептала:

— Вы не обижайтесь на меня, Сергей Ильич! Я боюсь. Я как вспомню... Нет, нет, невозможно... Прошу вас, Сергей Ильич.

— Ну что вы, я понимаю,— сказал Крылов.

На улице Ада взяла его под руку, преувеличенно весело начала рассказывать про завод, как перед отъездом она заходила в ОТК, там теперь Долинин заправляет. Помнишь? Он ей показал прибор Крылова. Так все и называют «прибор Крылова». Она спросила у практиканта — смешной такой парнишечка,— что еще за Крылов? Он плечами пожал: какой-то изобретатель, ученый. Долинин напустился на него, а тот оправдывается: мы такого не проходили.

Крылов вздохнул. Милое время!

И Аникеев тоже был из того милого времени. Он расцеловал Крылова, потом назвал его идиотом за то, что Крылов не хочет вернуться к нему; поедая судака, изничтожил Лагунова и, выпив кофе, обругал Богдановского.

— Вы злой,— сказала Ада.

Аникеев воинственно выставил челюсть.

— Я слишком умен, чтобы быть добрым. А злые — это полезно. Злые двигают прогресс. Злые ниспровергают авторитеты. Сережа, тебе не хватает злости.

— Исправлюсь,— сказал Крылов.

Аникеев не переставал удивляться: как этому тихоне, простаку удалось сокрушить такую стену? Он допытывался у Крылова, но тот ничего не мог объяснить, он считал, что все произошло само собой.

— Да, человек может много,— сказал Аникеев,— если у него есть правда, он может черт знает что...

— Мсье Крылов?

Перед их столиком стоял профессор Дюра, с которым Крылов познакомился во Франции. Как он изменился! Вместо темпераментного, молодящегося толстяка перед Крыловым стоял печальный, обрюзгший, чем-то неизлечимо больной человек. Дюра рассказал, что недавно умер от лучевой болезни его сын.

— Меня пригласили на симпозиум,— сказал Дюра.— Но я не знаю, зачем я приехал...

Симпозиум открывался завтра, и сейчас в ресторане было много участников. Их можно было узнать по значкам и белым карточкам в петлицах, где было написано имя и страна. Здесь знали друг друга по многу лет, переписывались, спорили и никогда не виделись. Здесь царил особый счет, независимый от званий, должностей,

наград. Здесь узнавали друг друга по тому, что сделано этим человеком, по его ошибкам, поискам, находкам. Только имя и работы, которые вставали за этим именем.

— С тобой хочет познакомиться доктор Регнер,— сказал Аникеев.

За работами доктора Регнера Крылов следил давно и отлично представлял себе этого немца с буйной фантазией и, очевидно, буйной шевелюрой, мощного, шумного. Аникеев с удовольствием любовался физиономией Крылова, пожимающего руку кокетливой длинноногой блондинке, которая немедленно принялась фотографировать Крылова.

Когда Крылов вернулся к своему столику, там остался один Дюра, Аникеев и Ада танцевали.

Крылов расспрашивал Дюра о его последних работах. Дюра вдруг вскинул руки, потряс над головой:

— Все бессмыслица. Как вы не видите! Мир сломался. В любую минуту нажмут кнопку — и за несколько минут все кончится. Вся наша наука вместе со всеми академиями и коллежами. Земной шар будет протерт дочиста. Леопарды, детские сады, картинные галереи, миссионеры...

— Шут с ними, с миссионерами...— сказал Крылов.— Охота вам...

— ...симпозиумы, и мы вместе с нашими внуками и правнуками, все мы станем нейтронами и электронами и будем носиться по законам Гейзенберга, и сам Гейзенберг будет тоже носиться по своим законам.— Глаза его загорелись угрюмым весельем, он протянул руку, как бы касаясь пальцем кнопки.— Мир полон сумасшедших, подберется какой-нибудь сумасшедший — и мудрецы политики, которые строят прогнозы,— в пыль! Церковь святой Мадлен — в пыль!.. Вся история человечества кончается на этой кнопке, последняя точка истории.

— Неужели вы всерьез думаете, что эту кнопку нельзя уничтожить?

— Поздно. Она существует. Попробуйте уничтожить закон Ома, уравнение Максвелла. Они уже открыты. До них додумались, и сколько бы их ни уничтожали, они появятся.

— В том-то и дело, что ваша кнопка не закон!— воскликнул Крылов.

— О, она больше закона! Она бог! Современная религия. Все мы ходим под кнопкой. Молиться ей надо.

В соборах вместо распятия — кнопку. Нет бога, кроме кнопки. Что вы противопоставите ей? Перед кнопкой все глупо — и ложь, и подвиг, и мужество, и даже цинизм. Как вы все можете спокойно жить? Я смотрю и не понимаю — вы что, слепые? глухие? Неужели вы не видите, что все сломалось? Вы думаете, это я из-за сына? Нет, сын — это моя личная трагедия. Рано или поздно каждый уходит, но есть будущее, есть ради чего работать, страдать. Так было всегда. И вдруг кончилось. Впервые. Будущее украдено...

Вся эта сбивчивая, лихорадочная речь начала раздражать Крылова. Дюра нравился ему, он был отличный ученый, и было больно видеть, как страх разъедает этот острый ум. Наворачивать ужасы можно какие угодно. В начале века пугали энтропией, тепловой смертью. Всегда находились устрашители, кликуши. Особенно религия любила рисовать кошмары, конец мира.

— Но бога нет,— подхватил Дюра.— Мы уничтожили свою веру. А что взамен?! Ничего. В чем нравственная опора? Так хоть была вера в бессмертие души...

— С вашей кнопкой богу не справиться,— сказал Крылов.— Лучше верить в человека. Главное — это жизнь, а не угроза жизни.— Они говорили по-английски, и Крылов подбирал слова с некоторым трудом. Ему очень хотелось, чтобы Дюра его понял.— Трагедия в том, что наука открыла атомную энергию слишком рано, когда мир еще не освободился от капитализма. История общества не поспевает за историей науки. Наверное, лет через двести наши страхи покажутся смешными.

— Вы думаете, будет кому смеяться?

— Да, да!— с силой сказал Крылов.— Отрицать всегда легче, чем утверждать. Дорогой Дюра, я не был на войне. Я представляю себе, что даже когда дело плохо и ты окружен, все равно надо драться до последней минуты. А ведь мы с вами не окружены, у нас сил больше, нас больше...

— Я бы мог возражать вам,— сказал Дюра,— но я не хочу выигрывать спор, я не хочу переубеждать. Мне надо понять, почему вы спорите... Откуда ваш оптимизм? На чем он...

Он замолчал, глядя на Аду, которая возвращалась с Аникеевым.

Она шла, высоко подняв голову, одинаково красивая для старых и молодых, и они, позабыв о своих спорах, улыбаясь, смотрели на нее.

— Вы всё спорите,— сказал Аникеев.— Вам не хватает легкомыслия. Бурное развитие науки нуждается в легкомыслии...

Откуда-то из глубины зала появился Голицын вместе с Лиховым.

Аникеев окликнул их.

— Как ваши дела?— спросил у Крылова Голицын.

— Чудно,— сказал Крылов,— отличная группа подбирается.

— Кто же?— спросил Голицын.

— Я, один я. Зато крепкий, спаянный коллектив.

«И еще Ричард»,— подумал он.

Лихов что-то рассказывал Дюра по-французски, и Дюра удивленно и задумчиво смотрел на Крылова.

— Чуть не забыл,— сказал Голицын.— Ко мне обращался Микулин — помните, дипломант Микулин.

— Алеша?

— Ну, я не обязан знать, Алеша он или не Алеша,— проворчал Голицын.— Так вот, он просил ходатайствовать. Может, вы уважите мою просьбу, примете его?

— Так и быть,— сказал Крылов.

На улице накрапывал дождь, редкие листья лежали на асфальте. Было холодно и пустынно. Они шли мимо Манежа.

— Тебе ничего не напомнил этот вечер?— спросила Ада.

— Нет,— сказал Крылов.

Понял бы что-нибудь Дюра, узнав, что после их разговора Крылов идет и думает, как убедить Алтынова и Лисицкого вернуться в группу?

И вдруг он припомнил тот вечер с Тулиным и Адой. Только они входили на эту площадь с другой стороны. И встретили тут Женю и Ричарда. Играл карманный приемник. Он даже вспомнил мотив. «И вот снова»,— подумал он и посмотрел в ночное небо, закрытое облаками. Придется браться за все сызнова, иначе, совсем по-другому. Или продолжать, но тоже иначе.

1962

Повести

МЕСТО ДЛЯ ПАМЯТНИКА

I

Впоследствии даже мелкие подробности этого события стали казаться Осокину многозначительными и странными. Но, пожалуй, самым странным было то, что вся история, во всяком случае в его рассказе, выглядела совершенно естественной, обыкновенной, даже скучноватой. Вот это-то и заставляло к ней прислушиваться.

Речь идет примерно о начале пятидесятых годов нашего века. Карьера Осокина только начиналась, и начиналась неплохо. У него была машина, кабинет, секретарша, он ведал большим отделом, и попасть к нему на прием было уже нелегко.

Приемных дней Осокин не любил. К вечеру голова становилась тяжелой, мускулы лица болели от выражения внимательной вежливости, Осокин раздражался, проклинал свою должность, из-за которой гибла еще такая молодая, такая перспективная жизнь. Как он ни старался, очередь в приемной не убывала. За два года она даже выросла. Чем больше он принимал, тем больше к нему записывались на прием.

Было без сорока минут семь, то есть практически Осокин мог принять еще двоих-троих, поскольку на посетителя уходило десять — пятнадцать минут.

Осокин точно запомнил, что посетитель оказался предпоследний и фамилия его была Лиденцов. Память на фамилии у Осокина была чисто профессиональной.

Судя по фигуре и походке, вошедшему можно было дать лет сорок — сорок пять, прожитых, очевидно, нелегко. Худой, морщинистый, в затрепанном коричневом пиджаке с оттопыренными карманами, он выглядел каким-то обгорелым, обожженным или обугленным, что-то в этом роде, определил Осокин. Лиц своих посетителей Осокин не разглядывал. Входя к нему, люди делали

нужные им лица — робкие, страдающие, измученные,— то были не их собственные лица, и на эту удочку Осокин не поддавался. Скорее можно было раскусить посетителя по тому, как он приближался к столу или протягивал свои бумаги.

Пока Лиденцов говорил, Осокин листал его дело. Обстоятельства были несложные. Два года назад Лиденцов разошелся с женой, жил где-то у приятелей, снимал угол, а теперь просил комнату. Право на совместную жилплощадь он потерял,— очевидно, не захотел судиться, а просил дать ему комнату скорее, сейчас. Никаких к тому уважительных оснований Лиденцов вроде не имел. И ни на что не ссылался. На дурачка не походил. Бывают такие чудаки — как будто Осокин тут же вынет им из ящика ордер на квартиру. Лиденцов держался уверенно, даже весело — большей частью так держатся имеющие чью-то поддержку.

— Очередь для всех одинакова. Чем другие хуже вас?

Фразы у Осокина были отработаны на все случаи, однако осторожности ради он несколько смягчил тон.

— Знаете, в моем положении,— сказал Лиденцов,— думать приходится не о преимуществах других, а о своих собственных.

Осокину показалось, что отвечают ему такими же заготовленными фразами, как будто исполнялась заученная сцена.

— Какие ж у вас преимущества?

Лиденцов почему-то засмеялся.

— Я болен.

Тут же поднял рукав и показал сыпь, мелкие красные струпья. Зрелище было препротивное, но Лиденцов не стеснялся, сам с задумчивым интересом разглядывал свою руку.

— Мне каждый день надо ванну принимать.

— Внеочередным правом пользуются туберкулезные больные.

— Значит, не тем заболел?

— Вы ж интеллигентный человек,— с укором сказал Осокин.— Как вы можете, вы представляете себе, что́ такое открытая форма туберкулеза?

За точность текста и тут, и дальше ручаться нельзя. Вряд ли Осокин мог буквально запомнить этот диалог. Свои собственные реплики он восстанавливал легко, реплики же Лиденцова он преподносил по-разному,

и приходилось выбирать наиболее достоверное. Но, впрочем, как судить о достоверности? Вот, например, в этом месте Лиденцов заговорил о другой болезни, мучившей его. Слова его были настолько туманны, что Осокин считал неудобным повторять их, боясь, что он чего-то напутает.

Смысл сводился к тому, что Лиденцов страдал от хода времени: поток времени, видите ли, шел через него, раскачивая какие-то рецепторы его организма. Лиденцов физически ощущал разрушительное движение времени, оно уносило частицы его, оно размывало его, как песок, и он пытался пересекать его под углом. На Осокина все это произвело впечатление гораздо меньшее, чем сыпь, хотя Лиденцов говорил взволнованно. Пришлось Осокину прервать его: при чем тут комната? Лиденцов объяснил, что работа у него сейчас теоретическая, ему надо сидеть и думать. Что это за работа, когда можно не ходить на работу,— этого Осокин не понимал и понимать не желал.

— Ах да!— спохватился Лиденцов и стал рыться в карманах.— Совсем забыл.— Он вытащил ветхий, заношенный конверт.

Так Осокин и предполагал, так он и думал, что существует бумажка; без нее люди не ведут себя столь уверенно. Подобных посетителей с записочками, резолюциями, ходатайствами, по которым он обязан был обеспечивать, содействовать, предоставлять, Осокин терпеть не мог. Он даже выступал против подобной практики. Все эти записочки урезали его и без того скудные возможности. Нарушался порядок, последовательность всех прохождений, весь механизм, который он с таким трудом налаживал.

Письмо со штампом управления, номер которого требовал внимания, было обращено к глубокоуважаемому товарищу Осокину с просьбой помочь научному сотруднику Лиденцову, занятому важнейшими исследованиями. Какой-то сверхпроводимостью при комнатной температуре... какая-то гипотетическая сверхпроводимая молекула — как будто Осокин должен был понимать, о чем идет речь. Самомнение ученых больше всего раздражало Осокина,— то, чем они занимаются, обязательно проблема всемирного значения, и все остальное перед ней — мелочи. Однако в этой бумаге было что-то сверхобычное — Осокин никак не мог понять, что́

именно, но что-то беспокоило его. Что-то в ней было не так...

— Одну комнату вам,— повторял он,— без очереди, ну конечно, сверхпроводимость,— и вдруг воскликнул, озаренный догадкой:— А подпись-то, а!

— Что подпись?— удивился Лиденцов.

— Подписано-то академиком Ляхницким!— торжествуя, сказал Осокин.

— Да, да, он в курсе моей работы.

— Ах, в курсе,— Осокин обрадованно покивал,— между прочим, умер он в прошлом году. Или в позапрошлом?— и уличающе поднял палец.

Но никакого замешательства не произошло, Лиденцов был даже разочарован.

— А, вот вы о чем,— сказал он.— Но какое это имеет значение?

Признаться, Осокина тут чуть тряхнуло.

— Как так — какое значение? Очень даже большое значение. Оно же недействительно! Придется вам новое письмо брать. Пусть академик Полуянов, он у вас теперь, пусть он обратится.

— Полуянов? Что вы!— Лиденцов руками замахал.— Полуянов не был никаким ученым. Пустой сундук. Он никогда не верил в такое решение задачи.

Именно после этой странной фразы Осокин впервые внимательно посмотрел на Лиденцова, заметил детскость его нездорово-темного лица. Слегка прищуренные яркие глаза были как прорези куда-то, где что-то клубилось, менялось...

— То есть как это — был?— медленно и строго спросил Осокин.— Что вы имеете в виду?

— Господи, да никто ж про него и не помнит.

— Погодите.— Осокин подымался, опираясь о стол.— Я ведь только вчера говорил с ним по телефону.

Лиденцов досадливо поморщился:

— А-а-а, если в этом смысле...

Осокин уверял, что слова о Полуянове были не случайной оговоркой. И в то же время невозможно представить, на что этот человек рассчитывал. Обмануть? Запутать? И не смутился, когда его поймали с поличным, когда Осокин, стукнув по столу, напомнил, что Полуянов — депутат, заслуженный человек, и кто дал право... И тут Осокин постучал по столу иначе, кончиком ногтя,— так, чтоб было вполне понятно.

— Учтите! — заключил он тоном, не требующим ответа.

Но Лиденцов шагал по кабинету, разглядывая носки своих растоптанных туфель. Он упирался кулаками в днища карманов и думал о чем-то своем. Вполне возможно, что он не слышал Осокина.

— А если б к вам пришел Шокли? — вдруг спросил Лиденцов.

— Кто?

— Да, вы можете и не знать... ну, допустим, Менделеев?

— Что за Менделеев?

— Дмитрий Иванович Менделеев, слыхали? И вот Менделеев нуждается в комнате. Ему тоже надо получить бумажку от Полуянова?

— Но вы пока что не Менделеев.

Лиденцов не обратил внимания на его усмешку.

— А все же, если бы пришел Менделеев?

На психа Осокин не стал бы сердиться. Психов он умел выпроваживать. В том-то и штука, что Лиденцов не был психом, у Осокина и мысли такой не возникало.

— Скромности вам не хватает, скромности, — произнес Осокин тоном, который следовало бы учесть.

Тем не менее Лиденцов не смутился — наоборот, похоже было, что ему стало смешно: он тихо посмеялся чему-то своему и при этом немножко и над Осокиным.

— Между прочим, — Осокин откинулся на спинку кресла, — срок вашей прописки кончился. Вы нигде не прописаны.

— И что же?

— А то... будто вы не знаете. Вы вообще лишаетесь всяких прав. Из очереди вас следует исключить.

— Это невозможно, — горячо сказал Лиденцов. — Вы, наверное, не представляете себе размаха проблемы.

Смеяться Лиденцов все же перестал, схватил свое недействительное отношение и принялся вычитывать оттуда хвалебные формулировки и комментировать.

Данный момент в рассказе Осокина был наиболее невнятным. Он тогда не придавал никакого значения словам Лиденцова. Он постукивал карандашиком, ожидая, когда кончится эта тарабарщина.

А именно эта часть беседы в дальнейшем представляла особый интерес, поэтому Осокина уговорили провести сеанс стимуляции памяти. Удалось восстановить

немногое. По обрывкам фраз можно лишь догадываться, что Лиденцов говорил о возможности изменить всю энергетику, электронику, биологию... «Ясно станет, как генетическая молекула хранит информацию» — вот, пожалуй, единственная буквальная фраза, которую привел Осокин.

Текст ее сохранился в памяти Осокина вероятно потому, что он вцепился в эти слова: молекула, молекула... Подобные типы воображают, что весь мир держится на их молекулах. Еще бы, им одним известно, как молекулы хранят информацию, от кого хранят, они, видите ли, Менделеевы, Мендели, а все остальные — вахлаки, лопухи. Кто для него Осокин? Писарь, конторщик, который обязан обслуживать, обеспечивать корифеев с их генетическими молекулами, они, конечно, корифеи, пуп земли, они решают мировые проблемы...

— Верю вам, дорогой,— Осокин переходил в таких случаях на полную вежливость и виду не подавал,— согласен, что очень интересно, как она там хранит информацию, да только все это теория.

Тут Лиденцов почему-то смутился. До того он вел себя чересчур свободно. Независимо ходил по кабинету, останавливался у окна, спиной к Осокину, подходил к шкафу и рассматривал там корешки Большой Советской Энциклопедии и каких-то неизвестных самому Осокину справочников.

Смущение Лиденцова выразилось в том, что он замахал руками и стал розоветь.

— Ах да, конечно, у меня пока модель...

— То-то и оно-то,— с напором продолжал Осокин, встал и пошел на него.— А кроме теории, есть практика. Практика жизни! С вашими молекулами дома не построишь. Молекулы у нас есть, а кирпича не хватает. И цемента. На стройку никто не идет. Все молекулами заняты. Да еще при комнатной температуре — конечно, это лучше, чем в котловане.

Лиденцов растерянно потер лоб и сказал:

— Значит, вы ничего не поняли.

— Нет, это вы ничего не поняли!— повысил голос Осокин.— Только о себе думаете!— И с горечью махнул рукой.— Ладно. Вас не переговоришь. Там меня еще посетители ждут. Они, конечно, не Менделеевы, но тоже люди.

На таких, как Лиденцов, это действовало. Он съежился, послушно направился к дверям, однако на полпути обернулся:

— Значит, я не получил?

Что-то у него и впрямь не ладилось с временами.

— Только в порядке очереди.

— И вы не боялись?..— удивился Лиденцов.

— Чего? Что вы имеете в виду?

— ...ошибиться,— робко сказал Лиденцов и опять чему-то удивился.

— Вы про что?— зачем-то крикнул Осокин, не спуская с него глаз.

Тут Лиденцов хитро подмигнул, и по лицу его прошло нечто из других инстанций, как будто он что-то знал про Осокина, и не только про Осокина.

— А если Менделеев?

Осокин засмеялся нервно, против воли, и тоже подмигнул:

— Ну, если Менделеев, тогда устроим.

Когда прием кончился, Осокин достал из шкафа том энциклопедии, нашел Менделеева, долго смотрел на памятный по школе портрет с тонкой широкой бородой. Лиденцов... Лиденцов... Получалось нечто нагловатое и ерундовое, обсосанный прозрачный леденчик... Менделеев... Менделеев... Он прислушался, покачал головой и удивился тому, что у великих людей всегда бывают и фамилии красивые, внушительные. И внешность у них значительная. Он тогда же подумал о том, как будет звучать его фамилия — Осокин, Осокин...

У Осокина было счастливое свойство: он умел забывать неприятное. Поскольку посещение Лиденцова было чем-то непонятно, а следовательно и неприятно, Осокин о нем больше не думал.

II

Через неделю снова был приемный день, снова появлялись люди и уходили, обдумывая замечания Осокина, их скрытый смысл, интонацию его голоса. К семи часам Осокин захлопнул папку. Кабинет имел вторую дверь, которая выходила прямо в коридор. Осокин хорошо запомнил этот вечер. Собственно, вечер только наступал, фонари еще не зажигались, с желтого неба па-

дал редкий дождь, желто блестели мостовые, и вода в канале блестела, как мостовая.

Осокин поднял воротник, что чрезвычайно шло ему, надвинул глубже мохнатую кепку — отличная у него тогда была кепка, моднейшая, и в то же время без пижонства.

Перейдя мостик, он не свернул на набережную, а пересек площадь и спустился в винный подвальчик. Был такой подвальчик «Советское шампанское», или «шампузия», как называл его Осокин: славный, пропахший вином, бочками, дымом подвальчик, куда заходили сотрудники ближних учреждений, командировочный народ, пили у стоячка, закусывали конфеткой, беседовали, обсуждали хоккейные и футбольные таблицы; пьянства тяжелого и злого тут не бывало, потому что пили виноградные, самым крепким была «бомба» — смесь шампанского с коньяком.

Осокин взял стакан такой «бомбы» и потягивал сквозь зубы ледяную жгучую смесь. Усталость проходила. Только что он крадучись спешил по коридору, стараясь, чтобы никто не узнал его, потому что сразу наваливались со своими просьбами; еще только что каждая его минута была нарасхват, люди добивались возможности встретиться с ним, записывались за месяц вперед, подстерегали его, и вот он стоит спокойненько, кругом толпятся, чокаются, дымят, и на него никто не обращает внимания, никто не догадывается. Он любил такие минуты. Как раз в то время он бросил курить. Еще не бросил, но сильно сократил себя. Сейчас, после вина, ему захотелось затянуться. Он достал из карманчика единственную, хранившуюся на случай сигарету, обратился к соседу за огоньком. Щелкнула зажигалка, Осокин прикурил, поднял глаза.

Он еще не успел сообразить, кто это, как человек с ним поздоровался, деловито, как будто давно ждал его. Осокин вдруг сообразил, что перед ним Лиденцов, и удивился своей памятливости, и еще больше тому, что Лиденцов не назвал себя, словно уверенный, что его помнят.

На Лиденцове было потертое суконное пальто, длинное, с широкими плечами, нелепо пестрый шарф, зато на голове сияла шапка из неизвестного Осокину гладкозолотистого меха. Все вместе создавало вид такой жалкий и бедственный, что Осокин не стал сердиться на этого человека. Осокин почувствовал свое гладкое, мо-

лодое лицо, хорошо сшитое модное пальто, ловкое, из заграничного ратина, свою позу, свободную и добрую. Нарушая правила, он даже спросил Лиденцова — как дела? Правило у Осокина было такое — самому не вдаваться в бедственные обстоятельства. Обстоятельства вызывали сочувствие, требовали содействия, а помочь Осокин не мог. Никто и не представлял себе, как мало, до обидного мало у него было возможностей. Несмотря на шикарный кабинет, и секретаршу, и прочее, от Осокина мало что зависело. Отказывать — это он мог, тут у него были неограниченные права. А легко ли всегда отказывать? Слышать от людей одни жалобы, просьбы — к нему же шли только с нуждой и бедствием. Господи, сколько их.

Лиденцов жаловался ему, а он жаловался Лиденцову. В такой обстановке совсем по иным законам идет разговор. Лиденцов пил коньяк. Он вертел в руке стакан с коньяком, чокаться они не чокались, а время от времени поднимали стаканы, согласно местным обычаям. Осокин убежден, что держался вполне демократично, и даже начало появляться у него что-то вроде жалости. И кто знает, может быть, все пошло бы по-хорошему, но Лиденцов стал зачем-то напоминать ему про Менделеева и все приставал — не желает ли Осокин убедиться?

— В чем?— вынужден был спросить Осокин.

Не снимая шапки, Лиденцов каким-то ловким движением вытащил из-под нее бумаги, целую пачку бумаг. Конечно, Осокин полагал, что там всякие отношения из института насчет комнаты.

Странно было, что Лиденцов, вроде бы ученый человек, интеллигент, а не понимал, как невыгодно ему сейчас лезть с делами, бестактность это.

Лиденцов свободной рукой обтер мокрый прилавок, где стояли стаканы, положил перед Осокиным одну бумагу, вторую, еще и еще... Бедное освещение подвала еле пробивалось сквозь дым в их угол.

Осокин взял первую бумагу, всмотрелся. Это был печатный бланк Института сверхпроводимости имени С. Лиденцова. Так и стояло синими буквами: имени С. Лиденцова.

Осокину понравилась бумага — тонкая, шершавая, похоже, что тисненая.

Он добродушно хмыкнул Лиденцову:

— Лихо! Лихо придумали.

Лиденцов ответил виноватой улыбкой, взял у Осокина бланк, подал ему следующую бумагу.

В полутьме Осокин с трудом разбирал мелкий шрифт. Несомненно, это была вырезка из журнала. Юбилейная статья с портретом Лиденцова и фотографией института имени Лиденцова сообщала о каких-то новых документах, освещающих деятельность выдающегося ученого прошлого...

Осокин не стал вчитываться, шутка зашла далеко, напечатано типографским шрифтом, сомнений быть не могло: вот еще одна вырезка, другой шрифт, снова портрет Лиденцова. И марка зеленая, почтовая марка с портретом Лиденцова, самая настоящая марка, с зубчиками. К столетию... Осокин послюнил палец, потер рисунок — не смывается.

Тут Осокин взглянул на Лиденцова, потом опять на марку и на вырезки. На всех портретах Лиденцов был чуть старше, чем сейчас,— не то чтобы неудачное изображение, нет, Осокин почувствовал, что на портретах Лиденцов такой, каким еще не был.

Нервы у Осокина были крепкие, и не так-то легко его было сбить с толку.

— Розыгрыш?— понимающе осведомился он.— Покупочка?

Лиденцов грустно помотал головой. Поеживаясь, следил он, как Осокин взял еще одну вырезку с пришпиленной фотографией. Показалось Осокину или нет, что Лиденцов пристыженно потянулся, словно желая забрать этот документ назад. Осокин отстранил его руку. Заметка была вырезана из газеты наспех, неровно, с краями соседних заметок. Корреспонденция описывала открытие памятника С. Лиденцову, торжественную церемонию, падение покрывала и как перед глазами толпы предстал памятник, своеобразный по своему художественному решению: поскольку он был без пьедестала, фигура ученого висела в воздухе, замысел выражал идею открытия... Осокин пропускал абзацы. Митинг... председатель горсовета, какая-то незнакомая фамилия... «в нашем городе жил и работал»... «мы, земляки»... «слово предоставляется президенту Академии наук», опять совсем неизвестная фамилия... «вписал... Лиденцов... к славе отечественной науки... преобразователь»... Министр присутствовал, и секретарь... и никого из них Осокин не знал. Впервые он читал эти фамилии, никому не известные фамилии. Но это было напечатано

в газете, а газете Осокин привык верить больше, чем любой книге или журналу. На фотографии был памятник, маленькая трибуна, вроде знакомая площадь, лица людей на трибуне — чужие, властные, слишком молодые.

Осокину стало страшновато. Правда, Осокин умел не показывать своих чувств. По его лицу никто ни о чем не мог догадаться. Он давно выработал это необходимейшее качество. И напрасно Лиденцов надеялся. Лиденцов уставился на него не мигая, никакой шутки в глазах его не было, и согласия на шутку там не было. Глаза сквозили, как щели, оттуда тянуло знобящим холодком, что-то там виделось непредусмотренное, совершенно неположенное.

— Так. Далеко вы заехали, дорогой мой,— вкрадчиво сказал Осокин. Он мгновенно подобрался: дело становилось серьезным, и следовало вести себя со всей предусмотрительностью.— Пользуетесь типографией? Клише изготовили. Активные у вас методы. Вы на что рассчитываете?

— Вы же сами обещали, что если вы...— начал было Лиденцов, но Осокин не позволил себя прервать.

— Вы меня не плюсуйте. По-вашему, у нас там кто?— Он показал глазами наверх.— Новые люди сидеть будут? Откуда, спрашивается, вам их фамилии известны? Кто вам подсказал? Понимаете, чем это пахнет?

Кто-кто, а сам Осокин понимал отлично — лучше всего было избежать скандала и поскорее вывернуться из этой опасной истории. Никаких злых намерений он не имел, на всякий же случай отпор он обязан был дать.

— Провокация,— сказал он.— За такую аферу вас можно...

Лиденцов страдальчески покраснел:

— Вам сколько лет?

— Это еще что?— удивился Осокин.— Вы мне бросьте. Не на того напали.— Он скомкал вырезки, помахал ими перед носом Лиденцова.— Думали меня купить?

Алые пятна пошли по лицу Лиденцова. Наверное, от испуга, он всхлипнул, задыхаясь, потянулся к Осокину за бумагами, Осокин убрал руку за спину и засмеялся, ибо уморительно было представить памятник Лиденцову, этот маленький носик уточкой, блестящий и красный, это потертое добела суконное пальто — и все в бронзе.

— Силен, а? Памятник ему. Ай да хмырь! — Смех все пуще разбирал Осокина. — Медный всадник! Колоссально!

Губы Лиденцова задрожали, он схватил Осокина за руку, вывернул ее и вырвал бумаги. От боли, от наглости Осокин рассвирепел, отвороты лиденцовского пальто затрещали в его руке. Лиденцов почти ничего не весил, он с легкостью отлетел и шлепнулся на пол, в угол. Вскочив, он снова кинулся на Осокина. Стакан Осокина зазвенел, разбился. Осокин был много сильнее Лиденцова, он мог разделать его, как бог черепаху, дух из него вышибить. Ничтожество. Речи о нем будут держать!

Конечно, симпатии присутствующих были на стороне Осокина. Налицо было явное хулиганство. Осокин вынужден был защищаться. И когда появилась милиция, Лиденцова сразу определили как нарушителя. И забрали его. Тем более что в паспорте у него не было прописки. И он был пьян. И все лез к Осокину.

Для восстановления душевного равновесия Осокин принял еще сто граммов коньяка. Уборщица смела осколки, подняла залитую вином фотографию, подала Осокину. Это была отдельная фотография площади с памятником Лиденцову, отлично исполненная фотография. Осокин сунул ее в карман, на всякий случай, как вещественное доказательство.

Назавтра звонили из милиции, Осокин сказал свое мнение: аферист, и вообще не мешало бы, чтобы общественные организации в институте занялись им. Со своей стороны, Осокин приказал снять его с очереди, как не имеющего прописки.

Больше о Лиденцове он ничего не слыхал. Об этой истории он старался не вспоминать. Как-то, услышав о телепатии, он отнес все случившееся за счет телепатии, гипноза и прочих штук и окончательно успокоился.

III

Вечер никак не мог наступить. Небо темнело, а на улицах все сохранялся закатный свет, блестели окна, было видно отчетливо далеко. Осокин вышел на Морскую площадь, и там стало еще светлее. Стены новой гостиницы сияли голубоватым металлом и прозрачным пластиком. Стекла тоже были голубоватые, цвета мор-

ской воды, и плавные линии здания застыли в вышине, как штормовая черноморская волна.

Гостиницу Осокин видел впервые: за последние годы в своих прогулках он не заглядывал в этот район. Ничего не скажешь — красиво. Он попробовал вспомнить, что же стояло прежде на месте гостиницы, и не мог. Что-то мешало ему, как будто площадь в нынешнем своем виде была ему уже знакома. Особенно здание новой гостиницы. Разглядывая, он словно узнавал ее, хотя для него было открытием, что она голубая.

Дома перед сном Осокин присел к письменному столу, пытаясь что-то вспомнить. Рассеянно выдвигал один за другим ящики, развязывал папки. Там лежали старые грамоты, блокноты, мандаты на конференции, пропуска, акты приема-сдачи дел; многого он уже не помнил и удивлялся тому, что, оказывается, когда-то он делал доклад на всесоюзном совещании и были отпечатаны тезисы. Он перебирал папку за папкой, не понимая, чего он ищет.

Посреди ночи он проснулся, зажег свет, кряхтя, полез в нижний ящик стола. Было чудом, что фотография сохранилась. Вероятно, он тогда спрятал ее в конверте в сейф.

Он не слыхал, как в кабинет вошла жена. Он сидел в пижаме на ковре, покачиваясь взад-вперед, похожий на Будду. Не слыша, пустыми глазами он смотрел на нее, затем протянул фотографию:

— Узнаешь?

Она пошла за очками, долго вглядывалась:

— Кажется, Морская... Новая гостиница, а тут не знаю...

— Дура,— сказал он.— Этой фотографии лет сорок. Помнишь, я тебе рассказывал?

Она сняла очки, глаза ее стали большими, испуганными. И он вспомнил, что рассказывал не ей, а покойнице, первой своей жене.

— Ну, иди, иди,— сказал он.— Я лягу.

Утром он поехал на Морскую площадь. Держа перед собой фотографию, он ходил по площади, ища точку, откуда сделали снимок. Справа от гостиницы стоял двухбашенный особнячок, на снимке он тоже был виден. Осокин зашел так, чтобы выступ гостиницы совместился с краем башенки особняка, и принялся сличать. Гостиница полностью соответствовала гостинице на снимке, совпал барельеф на цоколе, совпал поворот

тротуара и фонари. На снимке виднелись фигурки людей, шел дождь, блестела мостовая. Тяжело опираясь на палку, Осокин немного походил, чтобы успокоиться. В конце концов, совпала только часть снимка с гостиницей, памятника-то не существовало. На снимке памятник Лиденцову находился как бы под раковиной, и за ним была ниша, глубокий выем в легком стеклянном здании, похожем на кристалл. Здания этого тоже в натуре не было. Слева от гостиницы стоял облупленный дом с аптекой и рыбным магазином, на тротуаре в талом снегу лежали серебристые штабеля оград. Чем больше Осокин приглядывался, тем более странным казался этот старый дом: витрины рыбного магазина были пыльные, темные, в аптеке тоже было темно. Он подошел поближе. В подворотне что-то мерили рулеткой два техника.

— Ремонт?— спросил Осокин.

— Сносить, папаша, будем,— ответили они,— до основания.

И тут Осокин увидел, что дом пуст, рамы вынуты, в подворотне лежали снятые двери, старинные двери с длинными таблицами звонков, со следами почтовых ящиков.

— Что ж тут будет?— спросил Осокин.

Здание строить собираются, а какое именно — техники не знали. Они посоветовали обратиться в Архитектурное управление. Осокин поехал туда. Довольно быстро он добился того, что ему было нужно, хотя он и не мог объяснить, зачем ему это было нужно. Впрочем, он ничего не объяснял, он умел разговаривать внушительно и уклончиво, исключая всякие расспросы. Необходимо, мол, ознакомиться с проектом реконструкции Морской площади. «Нужно, и все»,— значительно повторял он. И это действовало.

Руководителем проекта оказался Мурзин — крепкий бритоголовый парень в темных очках. Он сидел на столе, окруженный своими архитекторами, такими же, как он, загорелыми, молодыми, в золотистых свитерах. Они холодно разглядывали запыхавшегося грузного старика с редкими волосами, в узких брючках и туфлях из настоящей кожи.

— Что случилось?— спросил Мурзин.

— Вам звонили? Где проект?

— Вы успокойтесь,— сказала одна из девиц.— Вы садитесь.

Мурзин раскурил старенькую трубку.

— Вы кто?— спросил он.— Вы древний грек?

— Почему?— не понял Осокин.

— Только древних греков так волновала архитектура.

— Ладно, это мы еще увидим, кто грек,— сказал Осокин.

— Леночка,— сказал Мурзин,— покажи товарищу пенсионеру проект.

— Минуточку.— Осокин поднял сухой палец.— Напрасно вы избегаете. Тут могут быть особые обстоятельства.

Их оставили одних в застекленном, как веранда, кабинетике. Мурзин расставил на полу эскизы. Он заметил, как старик прижмурился, словно собираясь с духом, в руках его вздрагивала какая-то фотография, он разглядывал эскиз, потом фотографию, снова эскиз и наконец шумно, обрадованно вздохнул:

— Ну, спасибо. Большое вам человеческое спасибо!

— За что?

— Самостоятельный у вас проект. Рентабельный.— Осокин вытер платком лоб, глаза.— Вы молодец. Сразу видно — одаренный человек.

Старик растроганно потряс ему руку, и Мурзин несколько смягчился. Это был тот период его жизни, когда он искал похвал, любил их и полушутя признавался, что тот, кому нравятся его проекты,— тот и есть хороший человек.

— Памятник тут у вас не предусмотрен?— осведомился Осокин.

— Кому памятник?

— А если и будут ставить,— успокоенно продолжал Осокин,— то какому-нибудь мореплавателю, верно? Площадь-то Морская?

— С чего вы взяли памятник? На площади и места нет.

— Вот именно,— подхватил Осокин.— Нет там места. Ваш проект исключает. Аннулирует.

Мурзин забавлялся горячностью старика, но когда Осокин стал допытываться, утвержден ли проект, и кем, и полностью ли, Мурзин насторожился.

— Собственно, вам-то что?— грубовато спросил он.

Тогда Осокин со значением положил перед ним фотографию. Небрежно взглянув, Мурзин бросил ее на стол:

— Ну и что? Это давно известно.

Осокин вздрогнул:

— Как?

— Мы это обсуждали.

— Кто?.. Почему?

— Так это ж киселевский вариант. Вы что, не знаете?

— Не-ет.

— Его отвергли. Конструктивно, ничего не скажешь, но суховато. И, пожалуй, старомодно.

— Выходит, это фотография проекта? Так, по-вашему?

— А вы думали,— сказал Мурзин.— Последний вариант проекта... Простите.— Он выразительно посмотрел на часы, но Осокин не шелохнулся.— Я тороплюсь.

— А между прочим,— ровным голосом сказал Осокин,— снимок этот я получил сорок лет назад.

— Надо же!— вяло удивился Мурзин.

— ...когда еще гостиницы не было. А она заснята. Площадь тогда называлась Петровской. А здесь уже Морская площадь. Вот вам и греки. Если не верите, посмотрите как следует. Фотографию. Там ведь люди ходят.

— Комбинированная съемка,— сказал Мурзин.— Монтаж. Это применяется.

— Может, и комбинированная, но откуда он знал?

— Кто он?

Происшествие с неким Лиденцовым воспринято было Мурзиным в тот, первый раз как забавный, правда чересчур длинный, анекдот. Все это произошло слишком давно, до рождения Мурзина, и вызывало не больше чем любопытство. Те времена, пока Мурзина не было, казались уже одним этим странными и сказочными. Они спрессовались с эпохами, когда жили ведьмы, искали снежного человека, топили дровами...

В дверь поминутно заглядывали, солнце светило в огромное окно, и серьезность Осокина казалась Мурзину уморительной. Единственное, что несколько озадачивало,— это подробности вроде красных струпьев или золотистой шапки. Детали были слишком нелепые,

невыгодные для розыгрыша. Может статься, что история не совсем выдумана — какой-то Лиденцов существовал на самом деле и сумел изрядно заморочить голову этому старикану.

— Мистификатор. И талантливый,— сказал Мурзин.— Известны такие. Граф Калиостро, например. Еще кто-то, не помню сейчас. В наше время вряд ли можно производить подобные фокусы...— И он проницательно усмехнулся.

Однако Осокин не принял усмешки. Он не понимал, почему Мурзину не страшно. Он почувствовал, что еще немного — и его примут за психа, ему нечем было доказать и убедить; что́ бы он ни приводил, на кого бы ни ссылался — ему не поверят, и чем точнее он рассказал бы, тем было бы хуже. Толстая стена времени отделяла его от Мурзина. Через нее было невозможно докричаться, достучаться.

— Сколько вам лет?— спросил Осокин.

Мурзин сунул руки в карманы, покачался на носках:

— Кажется, я выполнил все ваши просьбы? Спасибо за вашу историю и за лестные отзывы о моем проекте. Цель вашего посещения осталась мне неясной, но, как сказал Байрон, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай.

— Конечно, у меня теперь нет прав,— устало произнес Осокин,— но учтите, моя жизнь прошла на ответственной работе. Мы за каждое слово головой отвечали. Каждое слово обдумывали. И если уж я информирую... Не такие, как вы, прислушивались.— Он направился к двери, палка, несмотря на бесшумный синтетический ковер, стучала.

У дверей Осокин обернулся, прижмурил морщинистое желтое веко.

— Вы уверены?

— В чем?

— Что проект ваш будет проведен в жизнь?

— Так он фактически утвержден.

— Я вам советую — проследите осуществление на всех этапах. Я вам добра желаю.

— Оревуар,— сказал Мурзин.— Чао. Нам повезло, что такой человек посетил нашу мастерскую.

Но тут из оплывшего лица Осокина посмотрело на него такое жесткое, четырехугольное, что Мурзин запнулся.

IV

Очевидно, Осокин насторожился, заметив у батареи человеческую фигуру. В подъезде было темновато, Осокин остановился.

— Никак, струхнули? Ах, Матвей Евсеевич, вы же ясновидец.

На это Осокин ничего не ответил.

— Вы же прорицатель. Пророк. А чего пророку бояться? Пророк — он обязан все знать наперед. Вам же все известно. Вы все можете предсказать. И меня можете предсказать. Можете? Все, что со мной случится, а? Авгур. Теософ.

— Гражданин, вы не безобразничайте,— сказал Осокин.

— Это вы безобразничаете! Вы!

Осокин всмотрелся:

— А-а, Мурзин! Чего это с вами?

И Осокин покачал головой, поскольку Мурзин был чуть выпивши, но, может быть, он покачал потому, что Мурзин действительно выглядел неважно — за последние два дня он осунулся, в голове у него была полная неразбериха, под глазами темные пятна.

— Проектик-то мой... того... забодали,— сказал Мурзин.— Вашими молитвами, Матвей Евсеевич. Добились? Ну, что молчите? Зачем вам это понадобилось? Доказать хотели? Обиделись?

— Значит... Значит...

Осокин так и застыл, пришлось взять его за отвороты пальто, трясти, втолковывать... Он оказался рыхлым и легким, как мешок с трухой, голова его болталась, глаза выпучились, отупелые, немигающие. Мурзин с отчаянием пихнул его:

— Объясните вы наконец, вам-то какая выгода?

Не отвечая, Осокин побрел к лестнице, опустился на ступеньку. Мурзин брезгливо разглядывал его: вместо пророка перед ним горбился, держась за сердце, перепуганный ветхий старикан. Стоило ли томиться, ожидая его, на что-то надеяться, узнавать имя, отчество, адрес. Стыдно было вспомнить свои переживания. При ближайшем рассмотрении этот несчастный кликуша всего лишь угадал случайное и несчастное стечение обстоятельств, ничего другого и быть не могло.

Тут Осокин тяжело поднял голову и спросил: чей же проект принят?

— В том-то и дело, кажется, что киселевский,— сказал Мурзин,— тот самый вариант, что на вашей фотографии, его предпочли.— От своих слов Мурзин снова расстроился:— Чего вы спрашиваете, это же ваши штучки.

Осокин сжался, словно в страхе, и сказал с отчаяньем:

— Вы что, не понимаете? Я же вас недаром предупреждал.

— О чем? Вы можете толково сказать — о чем?

— Надо было действовать. Вы сделали что-нибудь?

Мурзин пожал плечами.

— Не поверили,— злорадно сказал Осокин.

— А чему верить?

Он вдруг наткнулся на глаза Осокина, из которых несло холодом и тьмой. И Мурзина охватило сомнение: а что, если б он прислушался, среагировал, проследил,— кто знает...

— Чушь собачья. Бред,— сказал он. К нему возвращалась обычная уверенность. Поскольку старец ни при чем, значит, действует статистическая закономерность, а может, и динамическая.

— Опять себя успокаиваете,— сказал Осокин.— Опять размагничиваетесь.

— А вы слыхали, Матвей Евсеевич, что такое вероятностный процесс?

— Не морочьте себе голову,— слабо, но твердо сказал Осокин.— Вы лучше доложите, как там комиссия сформулировала. Кто там первый заикнулся? С чего началось?

Он выяснял — кто и что сказал, как себя вел председатель, от кого что зависит. Слушая Мурзина, он мелко кивал, кряхтел, что-то обдумывая.

— Ничего, мы еще кое-что пустим в ход,— пробормотал Осокин.— Безобразие, такой проект отклонить.

Мурзин иронически спросил:

— Чем же вам не нравится проект Киселева? Композиция не устраивает?

— Плевал я на композицию,— сказал Осокин.— Гостиницу построили, и этот, киселевский, дом могут построить, если не уследить.

Нелепая убежденность Осокина, как ни странно, подействовала на Мурзина.

— Вы положитесь на меня.— Осокин поднялся, словно взбодренный опасностью или угрозой.— Я добьюсь. Не таких, как Лиденцов, перестраивали...

Жаль, что Мурзин при встречах с Осокиным довольствовался ролью слушателя. В дальнейшем выяснилось, что именно с Мурзиным Осокин был наиболее откровенен, и тем не менее Мурзин не задавал самых естественных вопросов, у него всегда возникало желание скорее отвязаться, уйти.

Он боялся, что позволил затянуть себя слишком далеко в эту абсурдную историю.

Предчувствия не обманули его. Спустя несколько дней проект затребовали на пересмотр. Как видно, Осокин пустил в ход свои связи. Экспертная комиссия мудрила и так и этак и наконец предложила учесть некоторые пожелания. Переделки были довольно принципиальные, и Мурзин наотрез отказался. Приехал Осокин, озабоченный, помолодевший, рассказал, скольких усилий ему стоило склонить начальство вернуться к проекту Мурзина, уже все на мази, со всеми обговорено.

— Да вы представляете, что́ они требуют?— рассвирепел Мурзин.— Упростить силуэт! Что же остается?

Осокин обмахивался соломенной шляпой. Одутловатое лицо его глянцевито блестело.

— Надо уметь поступаться личным.

— Чего ради?

— Ради общества. Я вам рассказывал — этого прохиндея Лиденцова надо прекратить в самом начале. В ваших же интересах. Но вы хотите, чтобы другие, и задаром. Так не бывает. Всё о себе привыкли. И так я за вас хожу, шапку ломаю — в мои-то годы! Мало того, что проворонили...

Но тут Осокин неодобрительно покосился на стеклянные стены конторки и попросил Мурзина спуститься с ним вниз. По дороге Осокин крепко держал его за руку, они зашли в кафе, где было шумно и людно.

— Послушайте, вы никому не болтали?— тихо спросил Осокин.

— Чтобы меня сочли — того?— Мурзин повертел пальцем у виска.

— У меня такое чувство, что им откуда-то известно. Больно они подстраховываются. Из Москвы им звонок был — и все равно тянут и тянут. Не настучал ли им кто?

Позднее Мурзин признался, что́ на него подействовало в Осокине,— убежденность. Даже когда Осокин говорил о хитростях невидимого противника, это почему-то не казалось смешным.

— Не покажете ли вы мне еще раз ту фотографию,— вдруг попросил Мурзин. Он полагал, что Осокин засуетится: забыл, потерял, украли. Но Осокин как будто ждал этого и тотчас вынул фотографию из бумажника.

Мурзин взялся за нее недоверчиво. Высмеял памятник: к сожалению, невозможно было на снимке различить физиономию этого Лиденцова, до чего самоуверенный тип — так мнить о себе, а главное, о своем будущем. Неужели подобное самомнение помогает?— вот что было любопытно Мурзину. Помогает терпеть, надеяться или работать?

Он хотел позабавиться и спросить, понравился ли памятник самому Лиденцову, но не спросил, потому что впился глазами в здание позади памятника, в этот киселевский кристалл.

Постепенно Мурзин уходил все дальше, туда, на Морскую площадь, выученную им наизусть; правда, на нынешней площади не было этих деревьев, и газонов, и мостовых, по которым мчались какие-то диковинные автомашины. Мурзина нисколько не удивлял фон — в архитектурных журналах стало модно подавать проекты на так называемом коллажированном фоне; здание, киселевский кристалл — вот что заставило его замереть. Перед ним был не проект и не макет. Здание было сделано из камня. На стенах кое-где выступали подтеки. Не тени, не ретушь, а копоть скопилась в орнаменте цоколя. Стекла блестели по-разному — омытые и пыльные, занавески выдувались из раскрытых окон. Он ощущал присутствие людей внутри, за этими стенами. Всем своим опытом архитектора он чувствовал, что здание это существовало. Оно стояло, и уже не первый год, на Морской площади, на том самом месте, где сейчас готовили к сносу старый дом для его, Мурзина, проекта...

Беда Мурзина, как он потом признавался, заключалась в том, что для него не было разницы между необычным и невозможным. Его всегда учили обычному, он не был готов к чуду, он не знал, как обращаться с необычным,— легче всего было отвергнуть его как невозможное. Он вертел фотографию и так и этак, надеясь на

подвох. Подвоха не было. Там, где должен был стоять его проект, его дом, построили скучный киселевский кристалл без особой выдумки и чувства. Почему? Как это случилось? По какому праву?

От стыда и оскорбления у него пересохло во рту. Он запомнил мельчайшие подробности той минуты — блеклые винные следы на фотографии, песенку, которую мурлыкали на телеэкране две пышные девицы,— до сих пор у него в памяти звучит этот ерундовый, липкий мотивчик.

Ярость его обратилась на Лиденцова — с какой стати кто-то там из древнего прошлого командует его, Мурзина, судьбой? Год с лишним работы, может, один из лучших его проектов — и пожалуйста, псу под хвост из-за того, что какой-то тщеславный сукин сын желает установить себе памятник.

— Вот именно,— подтвердил Осокин,— этого нельзя допускать.

Мурзин стукнул кулаком по столу:

— Ваш Лиденцов — авантюрист!

Он поносил Лиденцова последними словами, пока наконец не опомнился.

— Вы старый человек, а в такую глупость верите. Это же идиотство. Невежество!— Он потряс карточкой перед носом Осокина.— Форменное идиотство. Какой-то шарлатан вас околпачил, а вы...

Парни у стойки оглянулись на них. Осокин спокойно следил за Мурзиным, потом чему-то улыбнулся.

— И более того,— сказал он,— я сразу определил это как провокацию. Поэтому и надо бороться.

То, что он говорил, было нелогично, глупо, но Мурзин жадно слушал его.

— Иначе он поставит на своем. Тут главное не поддаваться и не философствовать.

Мурзин выпил коньяку, помотал головой, словно пытаясь прийти в себя.

— Нет, давайте все же разберемся. Допустим, фото — факт. И ваш рассказ — факт. Лиденцов достоин памятника. Киселевский дом будет построен. Какой же смысл сопротивляться? И этично ли это? Если признавать Лиденцова, тогда не следует бороться. А если не верить, тогда и не признавать, тогда опять же незачем бороться.

Осокин смотрел на него с жалостью:

— Я же говорил вам — нельзя тут нам философию разводить. Боевитости вам не хватает. Вы что же, собираетесь сидеть сложа ручки? Поощрять...

— Подождите.— Мурзина вдруг охватило подозрение.— А вам-то что? Лично вам что плохого Лиденцов сделал?

— А чего он мне мог сделать?— Осокин прищурился. Он сидел прямо, смотря вдаль.— От таких, как он, я не зависел. Я ему мог сделать, это да. А я полиберальничал. В итоге вишь он как... Мне понятно, к чему идет дело. Тень положить, охаять, пересмотреть. Вот, мол, не признавали. Не те люди стояли...

Мурзин с трудом разбирался в его намеках, обидах, угрозах, однако он чувствовал, что старик намерен бороться, как говорится, насмерть. При этом Осокин подавлял его непоколебимой убежденностью в том, что все можно отменить, подчинить, исправить — и теорию вероятностей, и физику, и будущее,— в сущности, он брался переделывать даже прошлое.

— Надо бороться,— твердил Осокин.— Подумаешь — переделки! Важно в принципе вскрыть его подоплеку.

— Между прочим, он жив?

— Не думаю...

Осокин чего-то недоговорил, и на Мурзина вдруг дохнуло холодом. Он выпил коньяк, поежился.

— Сложное было время,— сказал Осокин,— счастье трудных дорог и так далее. И параллельно всякие разочарования, разоблачения. В таких условиях необходима твердость. Порядок должен быть. Представляете, если каждому позволить фотографировать то, что фактически не осуществлено?— Осокин уставил палец на Мурзина.— Мало ли у кого какое будущее? А если разглашать, тогда что получится?

Слова Осокина пробуждали в душе Мурзина что-то тягостное, возможно, слышанное в детстве. Прошлое, откуда явился Осокин, имело свою силу, и старик обладал ею, темной, загадочной, понятной лишь своей враждебностью к Лиденцову.

До сих пор у Мурзина еще не было врагов. Жизнь его складывалась легко, талант — прекрасная штука — избавлял его от необходимости над чем-либо задумываться. И когда перед ним возникло препятствие, он возмутился, жаждая одолеть его любыми средствами.

Он сделал поправки. Проект снова рассматривался комиссией, вызвал разногласия, перешел в следующую комиссию, которая предложила новые поправки. Как Мурзин ни посмеивался над собой, он начинал ощущать присутствие какого-то невидимого противника, и азарт странного поединка все более втягивал его.

Все чаще он думал о Лиденцове, воображал себе его; облик Лиденцова складывался почему-то грустно-спокойным, с глубокими впалыми глазами, в старинном сюртуке. Мурзину захотелось узнать подробности о жизни Лиденцова, и он обратился к знакомым физикам. Ответ задерживался, физики наводили справки и наконец сообщили, что о Лиденцове никому ничего не известно. Сколько-нибудь крупного физика с такой фамилией нет и не было.

В первую минуту Мурзин даже не поверил. Он ожидал чего угодно, кроме этого. Не может быть — он не мог прийти в себя. Попался, влип, как последний идиот, уши развесил. Выходит, Осокин облапошил, обвел его, как сопляка. Собственно, он никогда до конца не верил Осокину. Не верил, а слушался...

Он позвонил Осокину и потребовал немедленно приехать. Такой у него был голос, что Осокин даже не посмел ни о чем расспрашивать. Мурзин повесил трубку и подумал: а какой интерес Осокину стараться, чего ради? Но тут же забыл об Осокине, сейчас было не до него. Со стеллажей достал первый основной вариант своего проекта и поставил рядом с последним эскизом.

Он сам не помнил, сколько времени сидел, стиснув голову руками. Перед ним была наглядная картина его уступок, соглашательства, трусости...

Осокин потряс его за плечо.

— Ах, это вы, Матвей Евсеевич.— Мурзин потер ладонями лицо, встал, движения его были медленные, тяжелые.— Памятника Лиденцову не будет. Не беспокойтесь. Поскольку нет натуры. Лепить не с кого. В прошлые времена, может, и ставили памятники мнимым лицам. А у нас сейчас требуется хоть справочка. Ничего не понимаете? Ах вы, бедняжка!— Он не торопясь, со вкусом поиздевался над Осокиным.

Но вот что замечательно. Осокин нисколько не обиделся, не расстроился, наоборот — Осокин возликовал, хлопнув себя по коленкам.

— Так это же прекрасно! Я так и знал. Наша взяла. Он самозванец. Аферист он. Я вам говорил, что ничего

у него не выйдет. Не должно быть такого проникновения. А раз у него прав нет, так вообще полный порядок.

Мурзин подошел к последнему своему эскизу, стоящему на полу, ткнул его ногой, картон зазвенел. Мурзин наступил на него, переломил и стал тяжело мять и топтать ногами.

— Что вы делаете? Зачем? — испугался Осокин.— Уже все согласовано.

— Не будет никаких переделок! Не было никаких переделок! Ничего не было, Лиденцова не было. И вас не было.

— Мальчишка... Истерик вы и хлюпик,— жестко, с привычной уверенностью сказал Осокин.— Так вы ничего не добьетесь.

Он угрожающе простер руку, на что Мурзин со злостью прищурился.

— А вы знаете — был Лиденцов или не был, но я должен быть. Я себя должен осуществить. Делать, а не подделываться. Делать то здание, которое должно быть построено, а не то, которое построят.

Мурзин помнил, что слова его не произвели на Осокина впечатления,— скорее всего он не понял, что́ хотел сказать Мурзин, и хотя Мурзин был доволен собой, в глубине души он испытывал разочарование. Злоключения с проектом Морской площади имели в себе какую-то тайну, происходило что-то особенное, чудесное — так ему начинало казаться. Теперь уже ореол исключительности исчез. И фотографию, конечно, физики сумеют разобрать по всем законам оптики, объяснить и доказать. Все стало на свои места. Но вкус несостоявшегося чуда оставался.

До сих пор он ощущает его.

V

Между тем Осокину во что бы то ни стало хотелось услышать ответ физиков своими ушами. Он отправился в институт, и физики подтвердили, что ни о каком Лиденцове не знают, не проходили, в учебниках не встречали. И вообще ссылок на него нет.

— А именно по количеству ссылок в литературе следует судить об ученом,— втолковывал Лева Туманович.

Они разговаривали с Осокиным терпеливо, как с больным. Поведение Осокина, с их точки зрения, было алогично: он настырно допытывался, переспрашивал про своего Лиденцова и все более радовался тому, что ничего узнать о нем не может.

Добросовестности ради он пробовал показать им фотографию. Над ней посмеялись. Это окончательно умилило Осокина. Он сиял. В эти минуты его следовало заснять. У Левы была под рукой кинокамера. Цены бы не было кадрам, изображающим, как Осокин осматривал лабораторию. Он впервые был в лаборатории. На голубых стендах скользили световые стрелки, тикали самописцы, мерцали экраны, над цветными сплетениями проводов колдовали люди в кремовых халатах.

Осокин осторожно трогал приборы руками, подмигивал, ему было весело, как будто он смотрел картинки из научно-фантастических романов, которые читал в молодости.

Известная документальная кинокартина, которую сделали сами физики, «Белая королева», начиналась с момента прихода в лабораторию завотдела Кузина. Примерно так оно и было. Кузин зашел случайно и случайно услыхал разговор про Лиденцова. Кузин отличался от своих сотрудников прежде всего возрастом. И Туманович, и Мурзин были в те времена постыдно юны.

Кузин должен был показаться Осокину существом нездешним — Кузин не обладал объемом, у него был только профиль, короткие седые волосы его стояли дыбом и при разговоре шевелились. Решительность его юнцов слегка рассердила его. В науке забвение еще ничего не означало. Кузин не торопился с ответом. Он спросил — у кого работал Лиденцов, что это был за институт.

— Полуянов?.. Полуянов?..— повторял он, закатив глаза.

Осокин подсказал укоризненно:

— Академик Полуянов... действительный член...

— Что-то было такое... что-то несущественное.

— То есть как несущественное?

— Кажется, этот Полуянов отличался невежеством. Была какая-то история...

Осокин изумился тому, как быстро проходит слава. Если уж Полуянов забыт, где уж такой мелюзге, как Лиденцов, сохраниться. А ведь какие претензии были

у этого Лиденцова. И он не мог удержаться от удовольствия рассказать физикам о Ляхницком, о Менделееве, о памятнике...

— Позвольте, как вы сказали — Ляхницкий?— вдруг встрепенулся Кузин и зашевелил своими белыми волосами.

— Ляхницкий!— воскликнул Маркин.— Чего ж вы молчали? Это же совсем иной уровень.

Они долго твердили — Ляхницкий! Ляхницкий!— и попросили в ближайшие дни позвонить к ним, справиться.

Но Осокин не позвонил, уверенный в окончательном посрамлении Лиденцова. К счастью, Кузин проявил настойчивость. Через адресное бюро Осокина разыскали и уговорили приехать в институт. За ним прислали машину, в вестибюле его встретил сам Кузин и повел по главной лестнице прямо в директорский кабинет. Секретарша принесла кофе, на беседе присутствовали Кузин, оба его сотрудника и директор института.

Без подробностей и оценок директор сообщил, что удалось найти некоторые любопытные материалы о Лиденцове, однако их пока мало, чтобы судить о характере его последних работ; не поможет ли Матвей Евсеевич Осокин уточнить кое-какие обстоятельства.

— Сколько угодно,— сказал Осокин,— я рад способствовать прогрессу. Рано или поздно наука должна восторжествовать. Это закон развития. Наука — враг суеверия и мракобесия.

Физики были деловые люди, больше всего они ценили время, мнение Осокина о науке их не занимало. Почтительно и твердо они всякий раз возвращали Осокина к истории с Лиденцовым. Выслушав про обе встречи, они стали подробно расспрашивать: над чем работал Лиденцов, что он рассказывал про свои работы, на какой стадии они находились. Ничего этого Осокин не помнил, сверхпроводимость он путал с полупроводниками, молекулы с атомами и чувствовал себя виновато, тем более что ученые обсуждали каждое его слово. Поэтому Осокин согласился провести сеанс стимуляции памяти.

Стимуляция производилась на модели «СТП-сигма», и в кинофильме почти полностью приведена эта уникальная запись.

Ему приставили к затылку и вискам множество тоненьких электродов, подключили поле, приборы, он выпил какую-то жидкость вроде шипучки, заработал рит-

мофон, голос Осокина замедлился, глаза потускнели; полулежа в специальном кресле, он смотрел вверх на обтянутый серой синтетикой потолок и вспоминал, иногда оживлялся, показывал пальцем, может, на Лиденцова, голос его крепнул — возможно, Осокин не только вновь переживал, но и видел свои воспоминания, при стимуляции это у каждого бывает по-своему. Несколько раз Осокин умолкал, приборы регистрировали так называемый «тормозной эффект» — он явно избегал вспоминать какие-то моменты, на пленке они просматриваются темными, четко очерченными пятнами.

В перерыве Осокин полушутя-полусерьезно сказал, что боится, как бы этими электродами не высосали из него то, чего он не хочет. Ему объяснили, что все записи будут вручены ему и уже он волен вручить их или не вручить институту. Сеанс продолжался час, затем после перерыва еще двадцать пять минут.

Бледный, измученный Осокин, полулежа в кресле, недовольно оглядывал окружающее, во взгляде его словно сохранялся отблеск вновь пережитой власти. Несколько торжественно он передал катушки записей директору института. Теперь, когда Осокину вспомнилось все до малейших подробностей — и жалкий вид Лиденцова, и его лепет, его пальто, добела протертое в швах,— было ясно, что ничего серьезного, или, как он выразился, «ничего самостоятельного», этот Лиденцов представлять собою не мог. Непонятно было одно — почему Лиденцов выглядел так молодо, он оказался куда моложе, чем помнился Осокину. От этого поведение Лиденцова получалось еще более наглым.

Физики ушли к доске, рисовали там схемы своих молекул, обсуждали слова Осокина, толкуя их и так и этак. Обрамленные непонятными терминами, слова его повторялись разными голосами и становились многозначительными, как когда-то.

Прошлое, которое только что промелькнуло перед ним,— манило, Осокин хотел вернуться туда, там он все знал, и его все знали. Он не понимал, как он очутился здесь и что это за люди, когда это все произошло. Нет, ему надо назад, туда, в тот свой кабинет. Но в том-то и дело, что после того кабинета были другие кабинеты,— он знал свое будущее... И тут Осокин сообразил, понял все, понял, почему Лиденцов показался ему таким молодым.

Значит, эти люди в кремовых халатах и есть настоящее, и ему невозможно избавиться от них, вернуться в свой кабинет. Мелкие теплые слезы катились по его щекам. Он ненавидел свою старость, даже в их стимуляторе он не мог увидеть себя молодым; какого-то Лиденцова мог, и свою секретаршу мог, а себя не мог.

Хорошо, что никто не смотрел на него, физики стучали мелом, их занимало — успел или не успел Лиденцов получить вещество со сверхпроводимостью при комнатной температуре.

Туманович в отчаянии тискал свою лысую голову:

— Обрыв на самом решающем месте. Надо же, как в пошлом детективе. На чем остановился Лиденцов?

— В некотором смысле он обогнал нас,— растерянно сказал Кузин.

— А считалось, что модель предложил Ляхницкий,— сказал Маркин.

— Вернее, ему приписывали,— поправил директор.— Видите, имя Лиденцова вычеркнуто.

Он листал какие-то старые отчеты.

— Братцы, наша-то схема переноса — лиденцовская!— воскликнул Маркин.— Мы сколько с ней мыкались... Если бы знать! Но он-то, как он сумел, с тогдашним оборудованием?!

— Он через свою модель. Самыми элементарными средствами,— сказал Туманович.— Самыми первобытными. Как Фарадей. Поразительно!

— Я же вас предупреждал,— сказал директор.— Слишком много тратите.

Все, кроме Кузина, засмеялись.

— Нет, серьезно,— сказал директор.— Сократить вам ассигнования, и станут ваши извилины поизвилистей.

Кузин заявил, что, очевидно, направление работ, избранное им, Кузиным, не единственное, надо попробовать зайти с того бока, откуда шел Лиденцов, и пользоваться его молекулой. Потом он признался, что это были нелегкие минуты, он восхищался Лиденцовым и проклинал его.

— Не заметили! Как же мы не заметили такой простой ход!— убивался Маркин.

Кузин знал, какой ценой достигается подобная простота,— но он не стал говорить, он чувствовал себя виноватым.

— Жизнь слишком коротка, чтобы мы могли извлекать пользу из своих ошибок,— сказал он.

Они были смущены и растеряны. Кузину было хуже всех, и все же он не мог удержаться от восторга:

— Ну и прохвост этот Лиденцов, как он умудрился обогнать нас! Сколько он успел!

— Как будто он подсмотрел наши работы,— сказал кто-то.

Кузин озабоченно пошевелил волосами.

— А какой ему резон... если бы наши направления совпадали,— совершенно серьезно сказал он.— Однако мы исходили из совсем иных данных.

— Ничего удивительного. Лиденцов стоял у истока, ему было виднее.

...Голоса их доносились к Осокину невнятно, единственное, что он понимал,— быстро растущую уважительность к Лиденцову. Они объясняли Лиденцова, ссылались на Лиденцова, изумлялись Лиденцову, как будто и не было недавних смешков. Фигура Лиденцова росла, обретала авторитет, уже мелькало, как само собой разумеющееся: «критерии Лиденцова», «молекула Лиденцова», «идея Лиденцова».

Осокин подозвал директора, наиболее из них понятного, и спросил о памятнике. Директор успокоил его: памятник, конечно, преувеличение. А в таких делах преувеличение вредно: когда замечают преувеличение, то начинают подозревать и истину... Но тут его перебили: дело, конечно, не в памятнике, однако если подтвердится насчет модели молекулы и если найдутся последние работы Лиденцова, то они войдут в историю физики.

— Мало ли кому памятники ставят!— выкрикнул Лева Туманович.

Осокин запоминающе осмотрел этого лысого юнца:

— Кого вы имеете в виду?

И все строго покачали головой, а директор отобрал у Левы мел.

— Господи, при чем тут памятник?— удивился Кузин.— Кого интересует памятник?

— Товарища Осокина интересует, Матвея Евсеевича!— крикнул Лева.— Это он настаивает.

Тогда Осокин начал выпрямляться в кресле.

— Наоборот!— сказал он.— Как раз в другом смысле.— И достал фотографию. На этот раз фотографию взял Кузин и надолго замер над ней, грызя ноготь. Как

во сне, он сделал несколько шагов, волосы на голове его зашевелились.

— Магнит!— вздрагивающим голосом произнес он.

Его обступили, нависли над фотографией.

— Непроницаемый... вытесняет... диамагнетизм!.. Отрицательная проницаемость!— выпаливал Кузин.

— Теперь ясно: поддерживается своим полем.

— Магнитная подушка.

— Какая красота!

Фигура Лиденцова висела перед ними в воздухе без постамента, и они начинали понимать все, что с этим связано, и блаженствовали.

Кузин подбежал к Осокину.

— Вы не обратили внимания, Матвей Евсеевич, из чего был сделан круг, который на земле? Материал блестел? А низ фигуры?— Кузин умоляюще засматривал в лицо Осокину.— Пожалуйста, Матвей Евсеевич, дорогой, припомните.

— Не заметил,— машинально ответил Осокин и тут же опомнился, отшатнулся.— Не было никакого памятника, о чем вы говорите, не было его!

— Как жаль, как жаль,— расстроенно сказал Кузин.— Вряд ли они употребили титанат стронция...— И устремился к доске, где горячо обсуждали устройство памятника, прикидывали зазор, силы магнитного поля, ток, который должен циркулировать по кольцу. Замысел памятника, по мере того как цифры сходились, вызывал все большее восхищение. Надо же было додуматься, чтобы так остроумно воплотить сущность идеи Лиденцова. И как раз в памятнике ему же! Именно в памятнике, то есть в сооружении, поставленном навечно, то есть показать смысл сверхпроводимости — когда сопротивления нет, ток движется вечно. Блистательно!

Они вспомнили про бланк — правильно, нужен институт, специальный институт сверхпроводимости. Возможности открываются такие, что придется действовать широким фронтом.

Фигура Лиденцова продолжала расти, подниматься, и вместе с ней росли угроза Осокину и его тревога.

— Понимаете — значит, открытие Лиденцова — факт!— сияя нежностью, обратился к Осокину Маркин.— Иначе осуществить такой памятник было бы невозможно.

Осокин посмотрел на него с презрением:

— Что невозможно?

— Ну, это...— Маркин поднялся на цыпочки, взмахнул руками,— пари́ть!

— Так,— сказал Осокин ничего не выражающим голосом, от которого все притихли.— Я-то полагал, что вы как специалисты, с точки зрения науки... Ведь ваша задача — разобраться и опровергнуть. Такого явления нет и в наше время быть не может. А вместо этого находятся товарищи,— палец его остановился на Маркине,— фактом называют! Голый факт сам по себе еще ничего не означает.

— Можно предположить временный сдвиг.— Маркин виновато переступил с ноги на ногу.— Общей концепции у меня пока нет.

— А что особенного?— вмешался Лева.— Знак времени меняется при переходах из одной среды в другую. Еще Льюис Кэрролл обнаружил. У Белой королевы память была устроена так, что лучше всего она помнила события будущей недели.

— Как?— переспросил Осокин.

— Нет, нет,— сказал Кузин,— такое может происходить лишь по ту сторону зеркала.

— А если допустить, что была повернута ось времени? Следствие тогда наступает раньше причины.

— ...Достаточно сместить ось времени.

— Погодите,— сказал Кузин,— Лиденцов ведь ощущал это смещение. Он воспринимал сдвиг как болезнь; вполне возможно, физически для организма тяжело...

— В таких случаях вместо памяти развивается способность обратная...

Осокин постучал ложечкой, как он делал когда-то на узких совещаниях, и все стихли. Неужели они со своими приборами и диссертациями не понимают, до какого абсурда они докатились!

Кремовые халаты обступили его, внимая каждому слову.

Не стесняясь, он вдруг расхохотался им в лицо. Всерьез рассуждать о ком — о Лиденцове! Как будто такой горемыка, придурок может быть великим человеком. Тупицы! Он-то знал Лиденцова, он-то видел его. Только что видел — красный носик уточкой, нахал, которого он

осадил, и тот живо хвост поджал. Рожденный ползать летать не может.

От его смеха они втягивали свои ученые головы в плечи, но при этом они не переставали разглядывать его слишком пристально, как врачи.

— Это в старое время гении оставались непризнанными!— заключил Осокин.

— Гений — явление неизученное.— Кузин подергал себя за волосы.— Подсознательное «я» у гения существует в ином виде времени. По отношению к сознанию оно может быть будущим. Нет точных доказательств, запрещающих перемещения во времени. Раз физика не запретила, значит, это может быть, значит, оно существует в природе. Мы его еще не выявили.

— Нас это не касается. Сдвиги времени не наша специальность,— сказал директор.— Нас интересует несколько иное.

Возможно, что Осокину показалось, что все уставились на него, он заволновался и сказал неожиданное.

— Понимаю, насчет жилплощади,— сказал он.— Так вот, ваш Лиденцов сам виноват.

Маркин поднял руки к небу:

— Он же просил маленькую квартиру. Всего-навсего! Такому человеку! Неужели он не заслужил? Поразительно, Матвей Евсеевич, как вы могли отказать? У меня не укладывается.

— Маленькую квартиру,— с ненавистью передразнил Осокин.— Ишь добренькие! Маленькую. Да разве вы понятие имеете! Люди стояли в очереди. За одной комнатой. Последними словами меня поносили. А что я мог? От других таких же отымать? Теперь вам куда просто. Маленькую квартиру. Умники!

Насколько ближе был ему сейчас Лиденцов — уж он-то бы понял, он бы не посмел, он все это знал.

Кузин мучительно сморщился:

— Нельзя, нельзя, товарищи, во всем винить Матвея Евсеевича. Кто мог тогда знать...— И осекся.

Пауза быстро вырастала.

Кто мог знать? Да?

Первыми неслышно хихикнули молодые.

Кто мог? А может, кто-нибудь мог? А кто? А вот кто... Знать — знал, а дать — не дал. А ведь все знал. Наперед знал!

Кто мог знать? — надежный, надежно-безответный вопрос, не вопрос, а извечное оправдание, убежище для всех людей, при всех неожиданностях. И вдруг захлопнулся, как ловушка.

Директор согнал с лица смешок, и оно осталось пустынно-торжественным.

— И все же, товарищи. Мы должны благодарить Матвея Евсеевича за его участие. Наши молодые иногда упрощают прошлое. Вы уж простите... Помощь ваша позволит нам продолжить розыски. Вы, Матвей Евсеевич, надоумили нас обратить внимание на ряд новых аспектов проблемы. Вполне возможно, это сыграет историческую...

Уши, шея Осокина густо побагровели.

— Я вас не надоумил! — Он задыхался. — Вы воспользовались. Я не желаю вас надоумить! Не желаю! Думаете, я не вижу, куда вы тянете? — Он схватил палку, затряс ею. — Не получится у вас! Не на того напали. Обманом берете? Раз так, я вообще не согласен. Я отменяю. Все отменяю.

Палка прыгала в его руках, багровое лицо вздулось, посинело, директор испугался, попробовал его усадить, а Осокин, хрипя, отталкивал его.

— Что вы, уверяю, без вашего разрешения мы ничего... — торопился директор, — успокойтесь, мы категорически запретим.

Осокин никак не мог застегнуть пиджак, Кузин подал ему плащ, они вдвоем с директором помогали его надеть. Директор, поглаживая Осокина по спине, сказал:

— Всё мы с вами согласуем. Абсолютно всё. — Голос его стал замшевым. — Вот если разрешите, фотографию? На минуточку. Мы ее сейчас переснимем. Чтобы вас из-за этого не беспокоить.

Кузин заискивающе улыбнулся.

— Дадим максимальное увеличение. Сколько вам копий?

Осокин с неожиданной силой отстранил их, подошел к столу, прислонил палку. Двумя пальцами одной руки и двумя пальцами другой Осокин высоко поднял перед собой фотографию и медленно разорвал ее. Сложив обрывки, он понаслаждался общим ошеломлением и снова не спеша разорвал. Бросил клочки в пепельницу. Но, перехватив чей-то неосторожный жадный взгляд, сооб-

разил, с ловкостью схватив спички, он чиркнул и поджег. Маленькое желтое пламя поднялось над пепельницей. Не разрешая приблизиться, Осокин стоял над своим костром, свет пламени лизал его лицо, плясал в старческих глазах.

Первым опомнился Кузин. Он беззаботно махнул рукой, и на лицо его вернулось растерянно-восторженное выражение.

— Архивы-то надо искать в полуяновском институте,— сказал он.— Там все отчеты...

Переговариваясь, они последовали за Кузиным в глубину комнаты, оставив Осокина одного.

Директор нагнал Осокина на лестнице. Осокин часто останавливался, отдыхал. Директор проводил его до машины. По дороге директор пригрозил Осокину за уничтожение документов, имеющих государственную важность. Осокин молчал. Тогда директор попробовал выяснить — нет ли у Осокина еще каких-либо документов и где могут быть те фотографии Лиденцова и вырезки, куда они могли подеваться. И вообще, не припомнит ли Осокин фамилию президента Академии, того самого, что был на открытии памятника, то есть не был, а будет, если, конечно, будет то, что было...

Осокин, который никак не реагировал на его вопросы, тут чуть покосился на директора, и директор замер лицом. Продолжалось это несколько мгновений, все же достаточно долгих, ибо они навсегда запомнились директору и, может быть, во многом определили его будущее.

К концу лета сняли леса, заборы, новое здание открылось разом прозрачной льдистой глыбой. Посреди фасада извилистым углублением темнел выем. Назначение его было непонятно. Архитекторы пытались доказывать председателю горсовета необходимость чем-то перебить монотонный ритм фасада. Но председатель был недоволен. Тем более что при обсуждении проекта председатель указывал на эту нишу. Были сигналы. Теперь, когда реконструкция площади кончена, ниша мозолила глаза. Для чего, спрашивается, ее делали, о чем думали? Как ее использовать? Архитекторы беспомощно лепетали про сквер. А при чем тут сквер? Председатель отчитал их и, как человек хозяйственный, предложил использовать нишу под кафе-автомат.

Известно, что вид нового здания подействовал на Осокина удручающе.

Пока стояли теплые дни, Осокин приходил в новый сквер. Кафе-автомат разместилось в нише весьма удобно. На площадке поставили столики. Посредине посадили кусты жасмина. Правда, они почему-то никак не принимались. Вялые листья свертывались и падали. Садовник опрыскивал ветки, посыпал землю порошками. Осокин издали следил за ним и усмехался. Усмешка его была маленькая, трудно различимая среди морщин. Он сидел на скамейке, привычно листал газеты, проглядывал фамилии в сообщениях о приемах, визитах, рассматривал фотографии и опять усмехался той же рискованной усмешечкой.

Он очень одряхлел и, сидя, легко засыпал, однако держался по-прежнему настороженно и прямо и, задремав, не опускал головы.

1969

КТО-ТО ДОЛЖЕН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Разговор затягивался. Невозможно было толком понять, что нужно этому человеку. Прижав телефонную трубку плечом, Дробышев начал перед зеркалом вывязывать галстук. Новенькая рубашка, белая в черную полоску, сидела неплохо. На фоне этих полосок галстук выглядел, пожалуй, широковатым. Дробышев придирчиво осмотрел себя в зеркале. Там стоял крепкий, сравнительно молодой мужчина, с проницательно-серыми глазами, с высоким интеллектуальным лбом, исполненный радостью жизни и чувством ответственности. Дробышев подмигнул ему и перебил того в трубке:

— Позвольте, почему это я обязан?

Потом он наклонился к зеркалу, оскалил зубы, пригладил брови и снова перебил:

— Если вам нужен отзыв, обращайтесь обычным путем, через дирекцию института.

Тот тип в трубке продолжал что-то выкрикивать.

— Вам же лучше,— сказал Дробышев,— получите официальную бумагу.

— У меня этих бумаг завались!— заорал этот парень.— Бумаг у нас не жалеют. Я хотел с вами просто... То есть не я хотел... Но это не важно. Я понимаю, воскресный день, станете вы себя утруждать, чего ради. Ради какого-то горемыки. Ха-ха, еще настроение испортите.

Именно это и подумал Дробышев. Как раз про свое настроение.

— Вы угадали,— весело сказал он.— Воскресенье — святой день, потому прошу прощения...

— Не стесняйтесь. Можете повесить трубку. Я привык. Я ко всему привык.

Из желчного, занудливого просителя он превратился в обиженного. Он уже наступал на Дробышева. Скри-

пучий голос его зазвенел, как пила, наскочившая на сучок. Теперь Дробышев имел полное право положить трубку, на этом все бы и кончилось. Но, поступи он так, какой-то неприятный осадок остался бы. Он предпочитал заключить сам убийственно и галантно:

— Так вот, привычный ко всему товарищ Селянин,— так, кажется... Конечно, я понимаю, ваше открытие великое...

Но тут голос в трубке бесцеремонно остановил его:

— Минуточку... Да подождите вы... Ну что ты?— это обращалось к кому-то другому.— А что мне с ним... я тебя предупреждал...— он даже не позаботился микрофон прикрыть,— ...а, а, а делай что хочешь.

— Послушайте,— сердито начал Дробышев, но в том-то и дело, что его никто не слушал, из трубки доносился шорох, чьи-то голоса. Положение Дробышева было глуповато; он посмотрел на себя в зеркало, пробуя изобразить ироническое ожидание, холодное любопытство, сарказм воспитанного человека...

Из кухни тянуло запахом жареного кофе, доносился смех, звякала посуда. Зина и дочери готовили завтрак.

Наконец в трубке приблизилось чье-то частое дыхание и вздрагивающий женский голос заговорил:

— Алло, Денис Семенович, извините, пожалуйста, вы не представляете, что с ним творится; ради бога, вы не обращайте внимания, его совсем замучили, я вас прошу — выслушайте его, вы один, кто может посоветовать, разрешите нам приехать, это ненадолго, я бы не стала, честное слово, это так важно...— она торопилась, но голос ее опадал, теряя надежду.— Я еле уговорила его, для нас это вопрос жизни, у меня не хватает сил снова... я не могу больше, если б вы знали...— Слезы перехватили ей горло, и Дробышев не выдержал:

— Успокойтесь, да разве я... ладно, приезжайте... да хоть сейчас...

К завтраку были ленивые вареники, целая гора дымилась на расписном глиняном блюде. А блюдо стояло на красной, в шотландскую клетку, клеенке, которую Дробышев привез из Эдинбурга, где он выступал на конгрессе электрохимиков.

От девочек за столом, да и вообще на кухне, становилось тесно, шумно, и начиналась игра, в которой Дробышев прикидывался их сверстником, хохотал

и пугался Зины. Старшая собиралась пойти на утренник; Дробышев хотел проводить ее, но тут он вспомнил про телефонный звонок, про эту странную чету и удивился тому, что мог клюнуть на дешевый трюк со слезами. Сейчас он уверял себя, что это трюк, потому что ему было жаль терять утренние часы и нарушать день, распланированный, казавшийся таким свободным, спокойным, с прогулкой и затем приятной работой над версткой своей статьи. Ночью ему пришло на ум сравнение традиционного метода измерения с густым деревом, всегда чувствующим ветер, и теперь Дробышеву не терпелось посмотреть, как это можно вставить...

Он пожаловался Зине. Она промолчала. Конечно, он сам виноват, расплачивайся за свою доброту, но посочувствовать она могла? Ну ничего, ничего, он выдаст этой парочке, угрожающе повторил Дробышев, настраивая себя на беспощадность.

— Напрасно ты так,— заметила Зина.— Если уж пошел людям навстречу, то сделай все по-хорошему. Все равно выслушаешь их.

Элементарная ее разумность обезоружила Дробышева. Зина часто смущала его не то чтобы практичностью, а тем, что практичность ее оказывалась человечной и очевидной. Слишком часто в последнее время Зина оказывалась права, и это злило его.

Они были одногодки, вместе кончили институт, но Дробышев давно обогнал ее, защитил кандидатскую, сейчас оформлял докторскую и в свои тридцать восемь лет чувствовал себя совсем молодым, моложе, чем когда он монтером работал на подстанции. Он знал, что Зина гордится им и в то же время ревнует его к этой молодости. Она так и застряла расчетчиком. Вроде ничего ожидать от нее не приходилось, но дома он постоянно ощущал превосходство ее здравого смысла.

— А чем я могу помочь им? Ничем! — упрямо сказал он.

— А что им надо?

— Конечно, чтоб я помог. Протолкнуть какую-нибудь бредовую идею.

— А если не бредовую?

— Тем хуже. Опять, значит, занимайся чужими делами. Так, по-твоему? Я своего не успеваю... Ты прекрасно знаешь. Вечно ты впутываешь меня в какие-то истории.

Зина отошла к плите, заколдовала над кофейником; можно было представить ее уличающую улыбку. Было в ее терпении что-то материнское, и Дробышев успокоенно почувствовал себя взбалмошным, капризным, по сути, простофилей, не умеющим заботиться о себе, не умеющим отказывать. И кроме того, благородным и талантливым, которому за это все можно простить.

Селянины выглядели почти акробатической парой: она легкая, тоненькая, с напряженной застывшей улыбкой, он высоченный, костистый, длиннорукий. Не обратив внимания на приглашение Дробышева садиться, он зашагал по кабинету взад-вперед, отшлепывая мокрые следы на паркете, бесцеремонно оглядывая книги, аквариум, кактусы. Тонкие губы его кривились, он хмыкал и подергивал плечом.

Она беспокойно следила за ним. Она уселась на краешек дивана, зябко съежилась; казалось, она замерзла, хотя день был весенний, теплый.

Дробышев сел в свое кожаное кресло, спиной к окну, закинув ногу на ногу, показывая, что готов слушать.

Селянин продолжал молча ходить, разношенные ботинки его прихлюпывали. Вызывающе он разглядывал кабинет, а может, делал вид, что разглядывал, болезненно-бледное лицо его дергалось в желчной усмешке. Он поджимал губы, всячески показывая, что не намерен нарушить молчание. Более невыгодно вести себя было трудно. В этом заключалось даже что-то любопытное.

Наверное, следовало подтолкнуть: «Итак, я вас слушаю» — что-нибудь в этом роде, но бес упрямства увлек Дробышева: ну, ну, давай резвись, посмотрим, кто кого перемолчит...

Он усмехнулся.

— Костя! — сказала женщина измученно.

Она была куда моложе мужа, лет двадцать пять — двадцать семь, довольно заурядная внешность: короткая стрижка, грубо раскрашенное личико, припухшие красные глаза — следы недавних слез.

Селянин резко взмахнул руками, как будто его дернули за какую-то ниточку, но, взглянув на жену, закивал, засуетился.

— Вот, полюбуйтесь, — он стал выгружать из папки бумаги, вырезки, рукописи. — Вот заключения. Акты комиссии. Рекомендуют. Предлагают. Два года прошло. Никого не интересует. Каждый откукарекал, а там хоть не рассветай.

— Простите,— Дробышев не притронулся к бумагам,— не знаю вашего имени-отчества...

Селянин подозрительно покосился на него.

— Константин, по батюшке Константинович. Я привык, что секретарша докладывает. Знаете, как они это делают,— он наклонился к Дробышеву, хихикнул,— пишут на листочке и кладут перед начальником, чтобы не затруднять их память. Поскольку визитных карточек у нас нет. Буржуазные предрассудки. Позвольте и супругу мою — Клавдия... Просто Клава.— Он чему-то усмехнулся.— Между прочим, монографию вашу я читал, весьма солидное сочинение, и я бы мог...

Дробышев предупреждающе поднял руку:

— Давайте сперва о ваших делах, Константин Константинович. Что вы хотите от меня?

— Я?— Селянин изобразил удивление.— Ничего не хочу. Ничего!— торжествующе возгласил он.— Это ее идея. Клава считает вас, так сказать, высшей инстанцией. Морально и технически.

— С чего вы это взяли...— укоризненно обратился Дробышев к Клаве, не требуя ответа.

Она вспыхнула. Зеленые глаза ее заблестели так мучительно, что Дробышев перевел взгляд ниже, на ее шею, фигуру.

— Во-первых, я давно еще, когда прочла статью в «Вечерке»...

Глупейшая, развязная статья, его расписали так, что стыдно было перед знакомыми. И вот нате — оказывается, он для кого-то возник в этаком елочном обличье, расцвеченный, приторный до изжоги. Самоотверженный Рыцарь Науки, Борец за Истину, Бескомпромиссный Защитник Нового — черт те что, и теперь в глазах этой особы он именно такой. И глубокомысленная важность на его лице, его сдержанность, скромность — все из этого набора...

— Чушь, чушь!— сказал он как можно скромнее.

— И мне еще Щетинин говорил...

— Какой Щетинин? Журналист? Популяризатор?

Уловив его гримасу, она виновато кивнула, но тут вмешался Селянин:

— Я вам все объясню. Щетинин дал статью обо мне в «Огоньке», уже после всей этой истории с КБ.

Он говорил, убежденный, что Дробышев читал статью в «Огоньке», и слышал выступление по радио,

и вообще он должен знать о Селянине, не может же он не знать, если это печаталось в центральной прессе и передавалось на Союз по первой программе.

— Вы уж простите, я человек темный,— поехидничал Дробышев.— Начну-ка я с азов.— Он взял описание разработки Селянина, перелистал вводную, нашел схему. Форсирование подзарядки аккумуляторов. Добавки... Асимметричный ток по свободной схеме...

— Понимаете разницу с обычными устройствами? Обратите внимание на токовую диаграмму. Вот этот участок...— нетерпеливо подсказывал Селянин.— В нем весь фокус. Вам самому, пожалуй, не разгадать, тут есть тонкости. Я ведь не просто ввожу добавки... Давайте я вам...

Поразительно, до чего этот человек умел восстанавливать против себя. Вроде бы естественная вещь — помочь разобраться в схеме, так ведь обязательно с подковыркой, и тон оскорбительно поучающий.

Дробышев прищурился, сказал, глядя на Клаву:

— А я-то думал сам одолеть. Поскольку я дроби проходил...

— Костя, ты мешаешь,— с неожиданной силой произнесла Клава, и лицо ее, освободясь от вымученной улыбки, стало жестким и необычным.

— Да нет, он мне не мешает,— небрежно сказал Дробышев, продолжая с интересом следить за ней.— Вы, Константин Константинович, пока что рассказывайте, в чем у вас конфликт.

— Каюсь, недооценил.— Селянин театрально раскланялся.— Видишь, Клава, я не мешаю. Денис Семенович, подобно Юлию Цезарю, может и слушать, и читать, и мыслить... Он все может.

Клава умоляюще посмотрела на Дробышева, и он смолчал. Самое лучшее, что он мог сделать,— выискать слабое место, ткнуть в него Селянина и покончить на этом. Щелкнуть его по носу. Изящно так, по всем правилам... Не бог весть какая разработка, а фанаберии сколько...

— История моя в некотором смысле типичная. Стереотип. Изобретатель, фигура для таких, как вы, поднадоевшая, их истории всегда повторяются.— Селянин наконец уселся, вытянул ноги и, перестав скоморошничать, перешел к делу. Эту часть рассказа он излагал затверженно, рекламно-отработанными фразами.

Два года назад он предложил новую систему подзарядки. Она давала значительную экономию и, конечно, сулила полный переворот. Вскоре выяснилось, что над аналогичной темой работает конструкторское бюро, возглавляемое неким Брагиным. Разумеется, метод Селянина был лучше, проще, но попробуй тягаться с целым коллективом, тем более что первые испытания метода выявили всякие недоделки. Селянин попробовал добиться средств на постройку опытных моделей. Куда там. Докладные пересылают в КБ на заключение, и там, ясное дело, рубят под корень. Селянин опротестовывает, он требует комиссии. А кто в комиссии? Опять же люди, связанные с КБ. Правда, попал туда профессор Чертков, и он, естественно, написал особое мнение — вот оно,— где высоко оценивает. Однако вскорости он умер. Селянин решил тайком, собственными силами изготовить установку, поскольку он начальник электроцеха и в его распоряжении есть некоторые средства. В это время его вызывает начальник КБ Брагин, вернее, бывший начальник, а ныне переведенный с повышением в главк, и этот Брагин предлагает сотрудничество. Схему можно продвинуть, доработать, конечно, придется взять Брагина в соавторы. Селянин отказывается, пишет министру. Опять комиссия. И тут обнаруживается, что Селянин использует служебное положение, незаконно строит опытную установку. Дирекции нагорело. Селянина сняли с начальника цеха. Он обжаловал в печать. Щетинин взялся за это дело и напечатал статью в «Огоньке». Но от этого только круче завертелось. Дирекция обозлилась. Селянина зажали по всем правилам. Тем более что Брагин, несомненно, способствовал. У Брагина всюду связи. Куда только не обращался Селянин — и в обком, и в профсоюзы, и в Комитет по технике, и прочие комитеты. Чтобы вскрыть подоплеку этого дела, он теперь добивался разоблачения Брагина. И разоблачения дирекции. В профсоюзах и даже в комитетах сидят неспециалисты, они, как положено, направляют на отзыв, и, рано или поздно, все опять возвращается в тот же круг. Даже в Академии наук, напуганные Брагиным, уклоняются или же пишут что-то невразумительное...

Рассказ его от частого повторения выцвел, стерся, приобрел застарелую безнадежность. Дробышев слушал

вполуха, отмечая про себя знакомые имена. Однако виду не подавал. Лицо его выражало скуку человека, давно знающего все наперед. Внутренне он развлекался, представляя фигуру Селянина в министерстве, в приемных кабинетах, где после его жалоб и угроз вызывают секретаршу и предупреждают, чтобы с этим параноиком даже по телефону не соединяли. Представлял этих непроницаемых, тертых ребят из Госкомитета, которые на второй минуте отфутболивали его невесть куда. Нелепые манеры Селянина в кабинетах президиума академии со всем их церемониалом. Или, наконец, Селянин у зампреда. Как Селянин желчно оглядывал длинный полированный стол, белый пульт, кнопки, ковер... Как он фыркал... Кошмар. При таких манерах лучше вовсе не показываться на глаза. От личного появления он только проигрывал. Он раздражал, прямо-таки напрашивался на отказ. Конечно, от этого он пуще ожесточался. И сам цеплялся по всякому поводу. На каком-то активе его назвали склочником или сутягой, он подал в суд за клевету. Кроме Брагина он уже привлекал к ответственности и тех, кто поддерживал Брагина, и свою дирекцию, и членов комиссии. Против него возбудили дело за злоупотребление по работе. То есть не возбудили, а «состряпали», потому что разве он себе брал материал, ведь он опытный образец хотел сделать. Он обжаловал приговор, он обратился в прокуратуру, требовал сменить судью, на которого, несомненно, оказали давление...

— Ого, широкий фронт у вас образовался,— не вытерпел Дробышев.

— Еще бы. Они все связаны. Одна шайка-лейка. Я установил — никому нельзя спускать, иначе...— Он выразительно скрючил пальцы, вертанул, изображая, как сворачивают ему шею.— Им только дай почувствовать слабость. Наоборот, тут надо наступать!— Он помахал кулаком, заговорщицки зашептал:— Они ведь побаиваются! Никто из них не заботится о государственных интересах. Я знаю, я отвечаю за свои слова.— Он наклонился к Дробышеву.— Прихожу я, доказываю, убеждаю, а у него в глазах — как бы выскользнуть. С какой стати он будет вмешиваться? Зачем ему это нужно? Экономия? А что ему экономия, не его деньги экономят. Понимаете, ему не больно, ему и так неплохо.

— Кого вы имеете в виду? — строго спросил Дробышев.

— Многих. Это они топтали кибернетику, они запрещали социологию.

Дробышеву все меньше нравился этот разговор.

— Напрасно вы так, — предостерегающе произнес он. — Для чего же так обобщать!

Что и говорить, реплика была не из лучших, он уловил свой промах по тому, как злорадно закривлялся Селянин, как хлопнул с восторгом себя по коленям:

— Боже, до чего знакомо! Слыхала, Клава? Хоть бы интонацию обновили. Не ожидал. Уж вы-то, Денис Семенович, вы могли бы посмелее, самостоятельнее. Да разве я смею обобщать. Я, известное дело, — исключение! Печальное исключение на фоне бурного техпрогресса. Каждая гнусность у нас — исключение. А раз исключение — чего же беспокоиться?

Дробышев невозмутимо покачивал ногой. Оплошность становится оплошностью, когда в ней признаешься. Приподняв брови, Дробышев удалился в ледяные выси своего авторитета. Оттуда он взирал на этого злопыхателя с вдумчивостью астронома. Колкость, укусы, издевки не доходили до него. Сквозь прищур видно было, как Селянин выгибается, перекручивается, входя все больше в раж. Что-то чрезмерное было в его изгиляниях. Чувствовалось, что он гарцует, и не только перед Дробышевым, совсем нет. Тогда, значит, перед Клавой? Но чего ради?

— И все же вы обобщаете. Да это и понятно. Вам обидно пребывать в виде исключения. — Безошибочно Дробышев избрал профессорский тон, самый невыносимый для Селянина. — Обвинять в своих неудачах систему — на это не нужно мужества: раз виновата система, то вы ни при чем... — И, не давая Селянину возразить, он извлек из пачки бумагу со знакомой подписью. — Отзыв Кравцова. Вполне удовлетворительный. Вот видите. А вы всех под одну гребенку.

Селянин вскочил, воздел руки:

— Трус он! Предатель! Поначалу-то он хвалил. А когда я просил сравнить мою схему, оценить преимущества, он переметнулся. Поджал хвост! Брагина испугался?

Дробышев, смеясь, изобразил дребезжащим, сладким голоском:

— Дорогуша моя, увольте, я же чистый теоретик...

— Точно! — Селянин даже передернулся и тут же испытующе уставился на Дробышева: — А-а! Так вы его знаете... Ну конечно, он мне тогда советовал пойти к вам. Правильно. Вы, дескать, более в курсе...

Перед Дробышевым возникло сдобное, румяное личико, седенькие щеточки усов, окающий говорок Кравцова, весь он, радостный, лучистый, — «попик», как называли его на кафедре. «Ай да попик, втянуть меня хотел, — весело подумал Дробышев. — Ах, какая гнида».

— Тэк, тэк, ко мне направлял, — повторил Дробышев. — Ну, а к Матиевичу вы не обращались?

— Как же. Но Матиевич отказался. Вообще отказался. Не захотел вмешиваться.

— Что ж, по-вашему, и Матиевич боится?

— Нет, зачем же, Матиевич не боится... — Селянин, не кончив, замолчал.

Даже он не решился ничего плохого сказать о Матиевиче. Старик Матиевич был выше всяких подозрений. При всей своей вздорности, капризности, он имел репутацию щепетильно честного. Бойцом он никогда не был, в последние годы, одряхлев, уединился, как отшельник, на своей даче, но по-прежнему слыл безгрешным верховным судьей...

— Вероятно, он из-за Щетинина, — подумав, сказал Дробышев. — Вы сами себе испортили... Кому охота быть заодно с такими, как Щетинин.

— В моем положении выбирать не приходится, — запальчиво возразил Селянин. — Да, да. Чистоплюйство мне не по карману. Щетинин не испугался, написал...

— И что?.. — Дробышев тихо улыбнулся. — И что?

В который раз его кольнула зависть к старику Матиевичу. Вернул рукопись — не желаю вмешиваться — и конец. Не снизошел до оправданий. Другие оправдают. А не оправдают — тоже не беда, плевать ему. Но в том-то и дело, что оправдают, потому что кодекс Матиевича всем известен. Что бы там ни творилось, в любых ситуациях, он живет по своему кодексу чести. Аристократ. Этакий столбовой дворянин. Сколько его помнит Дробышев, всегда в темно-серой тройке, роскошная палка, женщинам целует ручки, старинный перстень, французские словечки. Негнущийся, скрипучий, как высохшее дерево. Конечно, не обличье делало

его знаменитым, оно лишь обрамляло. И не работы. За последние годы он мало выдавал. Славу его составила безупречность репутации. Его суждения были эталоном честности. Федор Алексеевич Матиевич — один ФАМ, так молодые обозначали единицу научной щепетильности. Единица была стабильной, не менялась с годами. По этой шкале Дробышев набирал 0,7—0,8 ФАМа. Талант, работы, положение — всего этого Дробышеву хватало, добиться он мог чего угодно. Но кем бы он ни стал, какие бы звания ни приобрел, вряд ли он сумеет позволить себе то, что Матиевич. После войны, при обсуждении проекта электрохимического комбината, Матиевич выступил против, доказывая, что технология проекта устарела, копирует американскую, что нужно не догонять заграницу, а идти собственным путем. Его пытались образумить, поскольку инициатива строительства исходила от министра, всесильного тогда человека.

— Нет уж, извините, в этом вопросе я понимаю больше его,— заявил Матиевич, и никакие уговоры, угрозы не могли заставить его отказаться от своего мнения.

Подобных легенд о нем ходило множество, и не поймешь, в чем тут был секрет, и как это старик позволял себе подобное, и почему его уважали и не трогали. На киевском симпозиуме Надеждин разлетелся к нему, протягивая руки. Матиевич — это случилось в кулуарах, толпа кругом — проскрипел: «К сожалению, единственное, что могу, это не подать вам руки». И все, Надеждину была хана. Несмотря на шум, который поднимал тогда Щетинин по поводу надеждинского двигателя. Казалось бы, чего легче — не подать руки. Поругаться — пожалуйста, это Дробышев мог, а вот чтобы на людях руки не подать — духу не хватает. И при этом никто не усомнился в праве Матиевича на такую немилость.

Забавно действует механика репутации. С годами человек как бы играет все меньшую роль в своей жизни. Уже сама сложившаяся репутация работает вместо него.

Тот же Щетинин еще до Надеждина прославился тем, что защищал материализм от Эйнштейна, от Бора, от Ландау, а два года спустя защищал Эйнштейна от идеализма и писал воспоминания о Ландау, выставляя себя

закадычным его другом. Он травил Иоффе, потом славил Иоффе, он поддерживал, даже выискивал сомнительных новаторов. Трудно сказать, чем он руководствовался, то ли ущемленным самолюбием неудачного физика, то ли жаждой раздувать сенсацию. Его сторонились с брезгливой опаской. Считалось неприличным иметь с ним дело. Последнее время он изо всех сил пытался оправдаться, но уже не мог вырваться из своей репутации. Дробышеву легко было представить, как в институтах академии рекомендовали Селянина — «тот самый, которого возносил Щетинин», «клеврет Щетинина». Этого было достаточно, и мало кого уже интересовало, прав Селянин или не прав...

— ...Лучше было, если б вас Щетинин обругал,— сказал Дробышев.

Селянин встал, руку в бок, вздернул голову:

— Я не политикан! Моя сила в истине! Мне нечего терять. Каждая чинимая мне несправедливость придает мне силы! Я как Феникс...

Древнегреческий герой, трибун, народоволец — черт знает кого он изображал, поза его была невыносима в этой малогабаритной квартире.

Морщась, Дробышев покосился на Клаву. Отогревшись, она сидела, свободно раскинув руки по спинке дивана, глаза ее, оказывается, светло-зеленые, неспелые, завороженно следили за мужем. Ах вот перед кем красовался Селянин — перед ней, больше всего перед ней,— Дробышев начинал кое-что понимать.

Фалды затрепанного пиджака развевались, когда Селянин простирал свои длинные руки, заношенные до блеска брюки пузырились. Король, облаченный в жалкое рубище. Лишь бы не быть смешным. Что ему остается — разыгрывать мученика прогресса. Перед этой девочкой он бескомпромиссный борец, жертва своих принципов, обличитель пороков, вот он надувает грудь, шариковую ручку наперевес и бесстрашно мчится... Его не прельстишь вашими венгерскими креслами, люстрами, кактусами. Благополучные обыватели, приспособленцы — вот вы кто рядом с облаченным в рубище Селяниным — Рыцарем печального образа. Истекая кровью, он в одиночку сражается за Правду...

Было смешно и немного завидно. Дробышев подумал, что Зина никогда, во всяком случае давно, так не

смотрела на него, снизу вверх, благоговейно, с отчаянной верой. У Зины постоянно подмешивалась некоторая ирония. Как бы она ни гордилась им, у нее всегда оставался запас превосходства, слишком знала она его сомнения, слабости, изнанку его успеха.

— ...У них один выход — плести интриги! Хунта! Брагин — хищник! Любыми способами, ему лишь бы наверх.— Селянин наклонился к Дробышеву. Зрачки его плясали.— Брагин, он свободен от совести. Поэтому ему так легко. Это вам не догматики. У тех хоть есть идея, а этот, я его насквозь... Можно доказать...

Дробышев мягко отстранил его:

— Может, не стоит?

— Чего не стоит?

— Заниматься мелодекламацией.

— Испугались? Не привыкли, чтобы такое и полным голосом. Ха! Рекомендую на всякий случай дать мне отпор. Отмежуйтесь. Чтобы иметь оправдание. Мало ли что, а вдруг спросят? Эх вы, боитесь, даже слушать боитесь.

Дробышев заставил себя улыбнуться:

— Да, видать, крепко наболело у вас.

Он правильно рассчитал: намека на сочувствие достаточно было, чтобы Селянин обмяк, доверчиво раскрылся.

— Вы бы знали! Порой хоть в петлю... За что, спрашивается, меня так?.. За то, что я хочу дать государству лучшее... Я из-за них дошел...— Но, посмотрев на Дробышева, он запнулся, чутко свернул:— Форменные вредители. Они догадываются, что я раскусил их, они хотят доконать меня...

— Костя!

Селянин замер, тяжело дыша, изглоданное лицо его потно блестело, стиснутые кулаки дрожали.

«Фанатик, маньяк,— подумал Дробышев,— дать ему волю, он ради своего, своей ерундовой идейки уничтожит кого угодно».

— Ужасно принципиальный вы человек,— сказал Дробышев.— И гнев ваш весьма благороден. Послушать вас — так вы на все готовы ради справедливости. Только все это бутафория. Все оттого, что ходу не дают вашей работе. А приняли бы ее, так ходили бы в обнимку с Брагиным. И нахваливали бы его и всех начальни-

ков...— Он сам не ожидал от себя такой злости. Слишком хорошо он знал цену подобным демагогам. Дешевка. Хорош, как не полиняет. Он с удовольствием общипывал этого вредного индюка. Пусть Клава увидит его без украшений, так сказать, в натуральном виде.

Вытянув шею, она напряженно следила за их схваткой. Глаза ее перебегали от одного к другому, сравнивая, и это сравнение подстрекало Дробышева. До сих пор он был зрителем, слушателем, судьей, теперь же, он чувствовал, ему хочется одолеть Селянина, выиграть, что-то возникло, натянулось между ним и Клавой, какие-то силовые линии.

Было, конечно, приятно ощущать крепость своих ударов, но дальше начиналась жестокость и женская жалость к поверженному.

С великодушием сильнейшего он отпустил Селянина:

— Давайте не будем топтать человечество из-за вашей мозоли.

Однако Селянин быстро пришел в себя, он потребовал «вернуться к существу», к своей разработке, к технической ее новизне, к слабостям схемы КБ. Он снова наскакивал на Дробышева — неужели тот не сумеет разобраться и оценить преимущества селянинской идеи.

Нет, Дробышев не хотел оценивать. Зачем? Чтобы Селянину легче было разделаться со своими врагами? И без того Селянин уже не думал о внедрении. Ему важно было лишь восторжествовать, во что бы то ни стало выиграть, сразить... Поразительно, сколько злобы скопилось в этом человеке. И в то же время он упивался своим открытием. От гордости его заносило.

— Никому до меня в голову не приходило так использовать токовые характеристики. Вроде бы невероятно, да? Как все гениальное.— На всякий случай он посмеивался и снова величественно хвалился.— Четырнадцать миллионов экономии дает, шутка ли. По самым скромным подсчетам! Любая капиталистическая фирма меня бы озолотила!

Он становился до скуки похожим на разного рода открывателей, которые появлялись в институте. Присылали проекты новых двигателей. Раскрывали тайну шаровой молнии. В большинстве недоучки. Мечтатели, прожектеры, они с маху разрешали все противоречия

теории элементарных частиц, создавали нестареющие аккумуляторы, элементы, заряжаемые от луны, от космических лучей, от газовой плиты... Авторы были назойливы и обидчивы. Неосторожный ответ вызывал у них поток жалоб. Приходили запросы, начинались телефонные звонки. Возражать всерьез было нельзя. Они охотно пересчитывали, требовали снова рассмотреть, «поскольку я учел ваши замечания», добивались открытой дискуссии.

Дробышева раздражал этот бредовый самотек. Подобная публика только мешала серьезным изобретениям. Современная наука развивалась не за счет самодеятельности и дилетантов. Открытия происходили в лабораториях, в коллективах, под опытным руководством, а не у надомников-любителей.

Однако Селянин не укладывался в эту категорию. Работа его была сырой, но профессиональной. И бахвальство имело кое-какое основание. Диффузионные ограничения снимались. Сам процесс заряда существенно менялся, уменьшалось время, по крайней мере для данного типа... Общий замысел, по-видимому, корректен. Возможно, тут влияют примеси, выбор диаграммы... Требовался тщательный анализ, как в шахматной партии — есть выигрыш или нет выигрыша.

Селянин наседал. Он старался вырвать у Дробышева хоть какое-то признание, именно сейчас, перед Клавой.

— ...Суть-то вы можете оценить? Это же не просто форсированный режим. Это же иной подход, верно? Я уверен, придется пересмотреть основы теории.

— Ну зачем так,— Дробышев снисходительно улыбнулся.— Уж сразу на основы замахиваться. Вам и без того справиться бы...

Воспаленные глаза Селянина догадливо заострились:

— В смысле не пробиться? Да? Не одолеть? Не ваша печаль... Вы свою собственную научную беспристрастность проявите...

Дробышев и виду не подал, кротко вздохнул, будто не слышал, будто думал над схемой. Было бы весьма приятно распушить, раздолбать все эти графики, кривые. С его опытом он мог это сделать убедительно; загробить при желании можно все, даже работающую установку. Трудно понять, что́ его останавливало.

-- Не знаю, насколько подкреплены ваши выводы... Одно дело малые объемы, а другое — большие. Там все может пойти иначе...— осторожно добавил он, и это добавление встревожило Селянина. Он потребовал доказательств, он жаждал спора.

— То немногое положительное, что есть в отзывах,— как бы размышлял вслух Дробышев,— весьма поверхностно...

— А Брагин? Брагин-то почувствовал. Иначе разве он стал бы... Выходит, Брагин для вас не авторитет?— уцепился Селянин.

Тут он попал в точку. Брагин всегда чуял. На чужие идеи у Брагина был верный нюх. Фактически он на этом выдвинулся. И ничего в этом не было плохого. Он отбирал надежное, практичное, что можно быстро внедрить. Но сейчас, когда Брагин хлопотал об организации института, ему хотелось блеснуть собственной серьезной работой. Поэтому-то он, наверное, и рискнул предложить Селянину соавторство. Наверное, называлось это сотрудничеством, и, наверное, действительно он помог бы...

Имя Брагина вызывало запах рыбы, ухи. Имелась почти жесткая связь: Брагин — уха — костер — комариный звон — Кравцов — розовые пластмассовые стопочки.

Кравцов тогда еще был крепок, и каждую весну устраивались знаменитые кравцовские рыбалки. Приезжал Брагин из Москвы, привозил водку экспортную, медальную, собиралась «школа Кравцова» — и закатывались дня на три на Вуоксу.

На третий год аспирантуры Дробышев впервые сподобился, был допущен. От выпитой водки, от близости больших людей он быстро ошалел. Каждый казался ему крупным ученым. Еще бы, у всех степени, кафедры, книги; члены коллегии, ученых советов, каких-то президиумов. И запросто, в ватниках, драных кепочках, с ним чокаются, с Денисом Дробышевым, бывшим монтером. Кравцов тост за него произнес, да так, что Дробышева слеза прошибла, и вот ведь загадка психики — тут же, с этой самой слезой во взоре, попросил Брагина быть оппонентом. До сих пор по спине пробирает, как похолодели желтые глаза Брагина: «Вы что, сюда приехали делишки свои устраивать?» Мастак он на подоб-

ные повороты. А диссертацию все же взял и отзыв написал хороший. Не сам, конечно, писал. Это уж потом Дробышев узнал. Во всей этой физике-математике Брагин не тянул. Он лишь учуял в Дробышеве предстоящую, так сказать, фигуру. Дробышев понятия не имел, что его ждет, а Брагин небось вычислил, сэкстраполировал. Со временем Дробышев, конечно, прозрел. Эпоха переоценок и утраты иллюзий. Неловко вспоминать, до чего он был наивен. Правда, Брагин тоже за эти годы гибче стал, но, в общем и целом, это был прежде всего деляга. Циничный, беззастенчивый, энергичный и в чем-то наивный. Обсуждали очередную работу КБ. Дробышев выступал довольно критически. Брагин подсел к нему и стал выяснять, что случилось,— может, кто из работников КБ его обидел, может, кто-то наклепал, в чем дело? Послушав Дробышева, он печально сказал: «Темнишь ты, парень. Не хочешь признаваться».

Беда в том, что он развратил КБ на мелких, выгодных беспроигрышностью работах. Самое важное было выполнить в срок. Те, кто пытался углубиться, невольно задерживали, срывали план. Постепенно талантливая молодежь уходила, выдвигались аккуратные исполнители. Научный уровень падал, и Дробышев предвидел, что вскоре ему придется схватиться с Брагиным всерьез.

— ...И что же?— впопад его мыслям поинтересовался Селянин.— Вообще, интересно, как вы расцениваете Брагина?— Пистолетом наставил палец, вцепился глазами, будто следил за раздумьями Дробышева, будто слышал его мысли. Эта проницательность настораживала. Было в ней что-то опасное.

— Подождите.— Дробышев нахмурился над рукописью, потом задумчиво спросил:— Вы сейчас кем работаете?

— Я не работаю, я влачу,— подхватил Селянин с восторгом самоунижения.— Спускаюсь по той самой лестнице, по коей вы возноситесь. С начальника цеха на старшего, со старшего на сменного. Ниже некуда. Сменный инженер, то, с чего начинал. В нарушение всех законов. А что им закон. Звонок этого прохвоста Брагина сильнее закона.

Щеки, лоб Дробышева прохватило внезапным жаром.

— Послушайте, вы, на каком основании вы себе позволяете... Не вам судить Брагина! Что вы знаете о нем! Кто нашу электротехнику после войны поднимал! Кто внедрял новые зарядные агрегаты, кто осваивал сухие элементы! Таких организаторов поискать. При всех его недостатках. Это он, к вашему сведению, из развалин Харьковский завод восстановил. Стыдно так, походя, чернить, перечеркивать...

Он встал, прошелся поостыть. Знал бы Селянин, знала бы эта женщина всю меру его справедливости. Вот оно, истинное беспристрастие.

— ...Так с какой же формулировкой вас сняли?

— По болезни.

— Чем же вы больны?

Кончик носа Селянина стал краснеть, отделяясь от бледного, костлявого лица.

Мудреное латинское название, насколько уразумел Дробышев, означало психическое расстройство. Дважды, последний раз недавно, Селянин попадал в больницу.

Так вот оно что — у Дробышева словно отлегло, все прояснилось. И как он сразу не догадался: псих. Обычнейшее явление среди неудачников такого типа. Псих, шизик, милый ты мой,— он испытывал к нему почти нежность,— какой же спрос, если псих, можно не обижаться, не реагировать.

— Надо же, что ж вы так довели себя...— новым, нежно-докторским тоном сказал Дробышев.

— Это меня довели.

— Нет, Костик, ты, конечно, себя перемучил,— не вытерпела Клава.

Они заспорили: он — виновато оправдываясь, она — с наболевшим упорством. Из ее напоминаний, упреков Дробышев узнал, как Селянин явился к ней на работу, в профилакторий, и выступил с речью «Кто украл у вас четырнадцать миллионов». Показывал там фотографии Брагина, Кравцова, Непишева.

— Непишева?— Дробышев расхохотался, свободно, благодушно, ибо отныне с Селянина не было никакого спросу.

— Смешного мало, представляете мое положение,— сказала Клава, передергиваясь от давнего стыда и испуга,— а потом он отправился в мединститут и стал

объяснять студентам, сколько больниц можно построить на эти деньги.

— Ну а что, что мне было делать! — воскликнул Селянин, вскакивая с места, прижимая руки к груди. Что-то похожее на уважение к его нелепым поступкам шевельнулось у Дробышева. Но тотчас ему привиделось, как Селянин прокурорски обличает Брагина, Кравцова и, главное, Непишева, и он окончательно развеселился от этой балаганщины.

— Глупо, глупо, я понимаю. — Селянин наспех заискивающе улыбнулся Клаве. — Ну ничего, теперь я здоров. Им всем назло... — Он остановился и стал внимательно разглядывать Дробышева, как бы прислушиваясь. — А вы обрадовались? Все изменилось, да? Теперь вам можно меня расценивать иначе. Каждое мое слово... Я знаю, я замечал... — Он повертел пальцем у виска, диковато выпучил глаза и хихикнул. — Сумасшедший? Да, мне теперь стало труднее. Вот и наш разговор тоже по-другому пойдет... Вы сейчас начнете ласково увещевать... Потому что я ведь могу укусить...

Огромные черные зрачки его и впрямь казались безумными. Суетливые, размашистые жесты и задыхающаяся речь — все вдруг обрело какой-то сомнительный смысл.

Выбрав деловито-серьезный тон, Дробышев сказал:

— Ерунда, не обращайте внимания, ничего не изменилось, — но тут же подумал, что и эта деловитость разгадана Селяниным. На мгновение у него появилось гнусное ощущение: будто череп его стал прозрачным и Селянин видит, как там возникают, складываются мысли. Это было невероятно. Знал ли сам Селянин об этом? Дробышев смотрел ему в глаза и видел в темном пламени зрачков судорожную ухмылку.

— В конце концов, многие гениальные люди имели какие-то сдвиги, — насильно произнес Дробышев совсем не то, что хотел сказать. — Достоевский, например. Гоголь. Всякий творческий человек немного того...

— Да, да, — как-то рассеянно подтвердил Селянин. — Не все ли равно, кто сделал, псих или нормальный, важно, что сделано. Я заставлю их признать...

Пунктик это у него был или все же он не понимал, что после больницы он уже человек конченый. Брагину нечего опасаться, достаточно предупредить, просто на-

мекнуть, и Селянин может доказывать что угодно, всерьез его уже принимать не станут. Крышка ему. И угадывание мыслей не поможет. Сюжет фантастического романа: человек обладает могуществом чтения мыслей и ничего не в состоянии добиться. Потеха! Это поразило Дробышева и некоторым образом утешило. Не то чтобы он всерьез полагал, что Селянин читает мысли, но все же, допустим, если читает, и что толку?..

— ...На прошлой неделе я наконец пробился к Непишеву.

— Так, так,— предвкушая, сказал Дробышев.

— Я его все же убедил. Я ему доказал. Лед тронулся.

— Да ну?

— Напрасно иронизируете. Вчера мне уже звонили. Предлагают ехать в Кремнегорск. На опытный завод. И второй вариант... Не угадаете... Вы слишком трезвый. А знаете, логика никогда не создала ничего великого.— Не торопясь Селянин прошелся по комнате, растягивая предстоящее торжество, вознаграждая себя за недавние унижения.— Так вот, приглашают меня перейти в КБ, к Брагину.

— Ну что ж, прекрасно,— с каким-то секретом произнес Дробышев.

— Да, прекрасно. Не знаю, что вы там подразумеваете, но я-то понимаю, откуда ветер дует. Они запросили пардону. Убедились, что со мной им не сладить. На сделку вынуждены пойти. Приручить меня.

— И что же вы решили?

— Ха! Никаких компромиссов. Свернуть меня с моего пути — дудки!

Клава вздохнула. Прерывистый этот, обреченный вздох напомнил Дробышеву ее отчаянный голос в телефоне... «Не могу, не могу больше».

Перед ним разом как бы открылась их совместная жизнь в течение последних лет: пустые надежды, обещания, неудачи, его болезнь, исступленная злоба на весь мир, угрозы, а она должна соглашаться с ним, поддакивать, лишь бы не раздражать, иллюзии, которыми он морочил ее, и снова разочарования. Ежевечерний стук на машинке. Жалобы. Письма. Запах лекарств. Все стоило денег. Дробышев увидел ее чиненые матерчатые туфельки, штопку на колене и другую у щиколотки.

Ноги у нее были красивые, и от этого Дробышеву стало еще больше ее жаль.

— А что, если Брагин на это и рассчитывал,— сказал он.— На это самое ваше завихрение. На ваше самомнение. На ваше, извините, тупое упрямство. До чего ж вы примитивны. Вас можно вычислить наперед, любые ваши реакции. Такими, как вы, управлять ничего не стоит. Брагин нуждается в вас! Эх вы...

Комбинация, затеянная Брагиным, отчетливо представилась ему. Он любил решать шахматные задачи. Это было что-то вроде трехходовки, с правильным матом, экономным и чистым. Селянин сам шел под мат. Других ходов у него не было, то есть были, но в его характере других не могло быть, и Брагин это учел. Брагин ничего не делал зря. Чтобы окончательно ликвидировать всякие слухи, он сам приглашает Селянина к себе в КБ. Приглашает, когда Селянин повержен, вроде обезврежен: смотрите все — Брагин готов простить маньяка, который клеветал на него, сутяжничал; мало того, Брагин помогает этому человеку, чем может. Ох и хват! В глазах Непишева Брагин сразу очистится. Непишев терпеть не может всяких сомнительных историй.

— Чушь! Чушь!— замахал руками Селянин.— Это вы нарочно. Ваши домыслы. Сейчас важно не поддаться. Знаете, это ужасно — сплоховать в последний момент, когда уже там дрогнули. Достаточно мне еще немного выстоять...— Он схватился руками за свои короткие черные волосы («Их же там всех под машинку!» — сообразил Дробышев).— Нет, нет, Клава, ты не должна...

Слушать его было тягостно, точно больного, который не желает сознавать безнадежность своего положения.

Дробышев покосился на Клаву, она как-то машинально успокаивающе кивала. Наверное, она ничего не слышала. Взгляд ее отрешенно блуждал по кабинету, впитывая спокойный уют этого чужого налаженного быта. Она как бы нежилась в солнечных бликах рыбешек, играющих в аквариуме, в ряби книжных корешков за стеклами высоких полок. И эта блестящая, удобная стойка с пластинками. И серия гравюр на стенах. Виды старого Петербурга — Дробышев приобрел их недавно, сам окантовал мореным багетом, и ему было приятно, что она заметила их. Они придавали кабинету особенность. Не то что обычные репродукции Ван Гога, Модильяни, Серова... Она любовалась без всякой зависти,

отдельно от своей судьбы и все же по-женски примеряя к себе, к своему вкусу, по-иному переставляя мебель, наводя, как это пыталась Зина, порядок на его столе... Солнце высветило ее золотистые волосы и глаза. Зеленоватая, прозрачная их глубина была полна печальной мечтательности.

Откуда-то из подсознания, а по-старому, так из глубины души, вынырнуло у Дробышева не воспоминание и не мысль, скорее нечто похожее на давнее сновидение, в котором он, Дробышев, уже был не Дробышев, а Селянин или такой же, как Селянин. Вернее, не был, а мог быть таким. Один шаг отделял его от подобной судьбы. Сладостное и в то же время жутковатое чувство порой тянуло его заглянуть в ту несостоявшуюся жизнь.

Меняли масло в трансформаторе. Стоя над душной глубиной пустого кожуха, Дробышев проверял заземление. Внизу лоснились плетения обмоток. Монтеры чистили изоляторы. Гудя, полз мостовой кран. И среди привычных звуков, запахов, движений совершенно незаметно возникло понимание того, как параллельно работают трансформаторы. Что творится здесь, внутри. И сразу все стало просто, будто и не было полугодовых поисков, расчетов, будто он и не бился над этой путаной задачей, не отчаивался.

Решение пришло само собой, он принял его как запись в студенческом конспекте. Понадобилось полчаса или больше, чтобы он уразумел случившееся. Осторожно, с застывшим лицом, он спустился в машинный зал, прошел на пульт и на обороте суточной ведомости стал записывать. Он просто механически записывал под диктовку. Ни до этого, да и, пожалуй, после, с ним не происходило ничего подобного.

Через неделю, перепечатав на машинке, сделав рисунки, он отнес статью Кравцову. Потянулись дни ожидания. Недели. На заседаниях кафедры Дробышев пытался по его лицу угадать... Кравцов ласково улыбался — его нетерпению? самомнению? гениальности? Дробышев боялся спрашивать. Тот разговор произошел по дороге в раздевалку. «Ах да, да, ваша статья, как же...» Пухлая ручка описала замысловатую кривую. Увы, оказывается, Дробышев опоздал. В своей новой монографии Кравцов получил то же уравнение в виде частного случая параллельной работы систем. На днях

сдает рукопись. Огорчительное совпадение. Что делать, идеи носятся в воздухе. Подобные совпадения известны в истории науки. Он привел несколько парадоксальных примеров. С Беллом, с Сименсом, с Ампером. Память у него была редкостная. Гардеробщик подал ему шубу. Кравцов положил на барьер двугривенный. Неодетый Дробышев вышел на улицу за Кравцовым, все еще чего-то ожидая. «Не простудитесь, дорогуша,— сказал Кравцов.— Вам нельзя болеть. У вас диссертация. Зря вы отвлекаетесь. Нет, нет, вы молодец, додумались, своим ходом. Но все же это несколько на околице вашей темы. Умейте сосредоточиваться. Вам надо защитить. Вот цель. А все остальное...— воздушный жест ручкой.— У вас же все впереди. Богаче, богаче надо себя чувствовать».

Грабеж происходил среди бела дня, на улице, на глазах у прохожих. Пухлой ручкой за горло. Это теперь она сморщенная, немощная, а тогда она не дрогнула.

«Нет, не отдам, ни за что, у меня есть свидетели!..» Существовали ли минуты сомнений и выбора, поворотная точка, тот миг равновесия, когда определяется жизнь на многие годы?»

«Да, да, вы правы, мой дорогой профессор, мой руководитель. Диссертация важнее...» Они тщательно разыграли эту интермедию. Заботливый, мудрый Учитель потряс руку опечаленного, но верного своего, талантливого, многообещающего Ученика. После этого Дробышев и получил приглашение на рыбалку. И даже часть этого самого «механизма параллельной работы» Кравцов опубликовал в виде статьи за двумя подписями — Дробышева и Кравцова. В алфавитном порядке. До сих пор на нее ссылаются. Первая печатная работа Дробышева. А все остальное в книге Кравцова.

В дерматиновом переплете. Выдвинутая на премию. В те годы вряд ли он одолел бы Кравцова. Заупрямься Денис Дробышев, и не было бы ни диссертации, ни лаборатории, ни этой квартиры, ни самостоятельности. Психовал бы вроде Селянина, строчил жалобы, ходил по приемным, доказывал свой приоритет. Постепенно озлобился бы, пожалуй, так и застрял бы дежурным инженером. Влачил бы, по выражению Селянина; может, до сих пор ютились бы они с Зиной в сырой комнатухе, дверь на кухню огромной коммунальной квартиры. Так

же, как эта парочка. Перед ним была проекция его жизни, возможный ее вариант, доведенный до этой трагической, жалкой фигуры. Один шаг отделял его... Нет, нет, все было правильно. По самому высшему счету он поступил правильно. От его уступки и наука выиграла — три десятка серьезных работ, монография, курс лекций, готовая докторская. Полная научная самостоятельность. Кравцовская кафедра фактически в его руках. Кравцову припомнили прошлые грехи. Для начальства он еще оставался патриархом, но в институте его открыто третировали. Ему противопоставляли Дробышева. Кравцов стал воплощением старого, Дробышев — нового времени. Сам Дробышев не мстил, не припоминал того случая. Ему предстояло еще многому учиться у того же Кравцова: надо было уметь раздобыть для своих работ средства, штаты, приборы, валютный фонд. Кроме электрохимии, существовала не менее сложная наука министерских взаимоотношений, смет, планов, сроков, связей с какими-то вроде незаметными, а на самом деле решающими людьми. Кравцов вынужден был вводить его в «сферы»; впрочем, и там все менялось: влиятельные друзья Кравцова исчезали, появлялись какие-то незнакомые Кравцову молодые, с холодными, решительными лицами, деловые и насмешливые, с которыми Дробышев быстро находил общий язык.

— Вам бы еще избавиться от вашей интеллигентности,— учил его Брагин.— Не нужна она вам, Димочка. На этом вы поскользнетесь. Интеллигентность, она хороша для приемов. По вечерам. Интеллигент, он нежный, он стесняется, он все усложняет. Его руководителем ставить нельзя. Чувствительность у него высокая. Ваше счастье, Дробышев, что вы из рабочих. И не напущайте на себя. Вытравляйте. Проще надо. Иначе вам не достигнуть...

С годами Брагин укрепился в цинизме. Он доказывал, что это помогает ему работать и трезво оценивать обстановку.

Словечко «достигнуть» он бросил не случайно; у Дробышева, по его мнению, были хорошие перспективы, и Брагин отмечал его всяческим вниманием. Грубоватые его заходы смешили Дробышева.

— Отсталые у вас суждения об интеллигентности, Брагин. Недооцениваете вы ее. Вот пощупайте.— Дро-

бышев подставил согнутую руку. Под рубашкой круто вздулись отработанные на корте бицепсы.— Современный интеллигент — это не хлюпик. Сила плюс сознание своей ответственности, плюс еще кое-что,— многозначительно добавил он.

Когда решался вопрос о командировке в Англию, Дробышев доказал, что послать следует его, а не Брагина, поскольку последние работы Дробышева достойно представляют нашу науку, да и сам он знает язык, и вообще...

— Как видите, я не стесняюсь,— сказал он Брагину.

Брагин одобрительно похлопал его по плечу, изображая гордость воспитателя. Он нисколько не обижался.

У Дробышева отстоялась своя теория — такого, как Брагин, надо научить уважать нашу интеллигенцию. Он, Дробышев, и есть новый тип интеллигента — не идеалиста, а трезво-расчетливого, умеющего постоять за себя, без лишней рефлексии, деликатности и комплекса вины.

Как далеко была та рыбалка, каким крохотным, глупым казался он себе с этого расстояния.

— Давайте рассмотрим положение несколько иначе. Проще,— как бы подумал вслух Дробышев, следя за Клавой. Надо было найти ход, который разрушил бы комбинацию, оставил Брагина в дураках. В то же время откровенничать с Селяниным было бы неосторожно. Любопытная ситуация.

— Будем принимать факты как таковые. Не вникая. Брагин хочет быть благородным — чудесно, дайте ему эту возможность. Она вам же выгодна. Пойдите ему навстречу. А вы, Константин Константинович, кладете камень в его протянутую руку. Красиво ли это? Вы готовы себе во вред, лишь бы отомстить.

— Оставьте,— рассердился Селянин,— что вы разыгрываете?

— Отнюдь,— ласково сказал Дробышев, надеясь что-то еще узнать о Брагине.— Ну было, ну хотел Брагин присоединиться, дело житейское, а теперь-то почему вы не доверяете, ведь он к вам со всей душой. Честное слово, у вас в электротехнике слишком возятся с изобретателями...

Откровенная скука отразилась на лице Селянина, он поковырял в ухе, потом посмотрел на часы и спросил:

— Где у вас телефон?

— Н-н-да...— Дробышев усмехнулся над этой бестактностью.— Пожалуйста, в коридоре.

— Мне позвонить надо.

— Я догадался, что ж еще можно делать с телефоном.

Селянин дернулся, но смолчал.

Они остались вдвоем. Сразу стало спокойно и тихо. «А, а пошел он...» — мысленно выругался Дробышев, потянулся, скидывая с себя напряженность, хитрость этой игры, в которую он незаметно втянулся. Клава закинула руки за голову, распрямляясь. Произошло это одновременно, непроизвольно и так одинаково, что они улыбнулись друг другу.

«А она ничего»,— отметил Дробышев, продолжая улыбаться уже по-другому. Выгнувшись, она задержалась, тело ее под платьем выпукло обозначилось навстречу его взгляду. Зеленые до оскомины глаза ее освобожденно засмеялись. Дробышев поднялся, как бы показывая себя, плечистого, в просторной горчичного цвета замшевой куртке; он видел сейчас свое твердое, крупно очерченное лицо, с улыбкой, перешедшей в прищур. Ему нравилось, что она не смутилась. В ней не было притворства, смело и даже чуть поддразнивающе она ждала. «Ей бы отдохнуть, приодеться»,— подумал Дробышев.

— Устали вы с ним,— сказал он с жалостью и шагнул к ней, положил руки на ее плечи.

Получилось это у него от души, она благодарно кивнула, затем лицо ее насторожилось, но Дробышев не снял рук. Безрассудное желание вдруг прохватило его. Это было как пробой, проскочила искра, пробило изоляцию, руки его стали горячее, а может, плечи ее стали горячее.

Она поднялась, он не отпускал ее. Теперь глаза ее были совсем рядом, такие зеленые, что у него сводило щеки.

Из коридора слабо доносился пресекающийся голос Селянина. Дверь и десяток шагов отделяли их от него. Достаточно соблюсти предлог — «давайте встретимся отдельно, чтобы обсудить», что-нибудь в этом роде,— и пойдет, и закрутится. Он не сомневался. Он знал, что в таких случаях надо напропалую, женщин это не

оскорбляет, наоборот. Все просто. И с годами все проще и безошибочней. И как прекрасно это нежданное... А можно и без предлога, потому что какой же Селянин соперник. Мишура с него облетела, сколько можно верить его россказням, она давно устала от его болезней, злости, занудства, чем он остановит ее? И Селянин это понимает, оттого так боится. Дробышеву ничего не стоит... Черт возьми, в том-то и штука, что ничего не стоит. Слишком неравные силы. Одолеть калеку, убогого... Не по-мужски.

Разочарованный, он снял руки, усмехнулся, удивляясь себе.

— Тяжелый случай.

Она растерялась, не понимая, что произошло, что значат его слова.

Дробышев отступил, еще раз опечаленно полюбовался. В сереньком подкороченном платьице, тоненькая, беззащитная, она возбуждала чисто мужские чувства — заслонить, нарядить, утешить...

Собственное благородство растрогало его.

— Чем бы я мог помочь вам? Прежде всего вам,— сказал он.

Взглядом глухого она смотрела на его губы. Ему захотелось, как маленькую, погладить ее по голове.

Она с силой провела по щекам, встряхнулась. До чего ж тяжело ей было возвращаться к жене Селянина, к лекарствам, бутылкам кефира, в заваленную папками, тесную их комнату.

— Как, по-вашему, это?— она кивнула на селянинскую рукопись.

— Что ж, вероятно, работа заслуживает...

— Только не врите!— грубо сказала она.— Думаете, я не заметила. Вы оттого, что он больной? Да? Не надо. Если вы хотите помочь... Скажите. Я должна знать.

Что-то угрожающее появилось в ее голосе.

— Конечно, он преувеличивает,— сказал Дробышев, следя за ее лицом.— Это вам не радар, не лазер и никакая не революция, но принцип может оказаться...

— Принцип!— она топнула ногой.— Мне вот где эти принципы. Господи, ну почему вы не можете честно... Если это ерунда, так зачем же все? Он себя довел и нас,— она схватила Дробышева за руку.— Я стала тоже истеричка. Вы поймите, мы не живем. Ради чего? Ни отпуска, ни выходного. Я ни разу в Москве не была.

Я тоже жить хочу... Ну ладно я, но сын, сын у нас, шесть лет ему, из него неврастеника мы сделаем. Он плачет по ночам. Он отца боится. Ребенок, стоит он ваших аккумуляторов? Провались они. У вас есть дети? Вы можете понять?..

— Шесть лет... Глядя на вас, не поверишь,— любезно проговорил Дробышев и тотчас устыдился, так пошло прозвучало это.— Да, да, ребенок, в такой обстановке, я представляю... Но что делать?

— Ведь если б у него вправду великое было открытие, вы бы тогда помогли? Верно?— она лихорадочно стиснула его руку.— И все другие помогли бы. Давно уже, значит, он себя обманывал, да? Я понимаю. Сейчас ему этот Кремнегорск предлагают. Пусть дыра. Пусть. Неважно. Надо переменить обстановку. Больше так нельзя. Дадут подъемные. Он тут больше не выдержит. И я. Я тоже...— Бледное лицо ее набухло, стало некрасивым, и эта-то некрасивость сильнее всего подействовала на Дробышева.

В коридоре Селянин положил трубку, послышались его шаги. Клава не отпускала руку Дробышева, она почти прижимала ее к себе.

— Пусть он бросит... Докажите ему. Сейчас все от вас зависит. Вы должны... Его надо заставить. Чего вы боитесь? Все чего-то боятся. Я бы ушла, но я боюсь, он убьет себя. Я тоже боюсь. А в общем, все равно... Сына жалко. Он при чем?

Шаги приблизились и прекратились. Селянин стоял за дверью. Он чего-то ждал. Клава словно ничего не слышала, нехорошее спокойствие потушило ее глаза. Если б она заплакала, Дробышеву стало бы легче.

— Тетя меня в церковь водила. А я не могу молиться. Бога нет. Известно, что нет,— тихо и быстро говорила она.— Я бога ненавижу за это, за то, что нет его.

При чем тут бог, он сначала не понял, он лишь понял, что сейчас ему предстоит решить судьбу обоих этих задерганных людей и еще ребенка. Но с какой стати, почему он должен брать на себя такую ответственность? Все это свалилось нежданно-негаданно, еще только что было легкое, игривое, если б он не уклонился, то продолжалось бы... А вот теперь поздно, даже если он ничего не станет решать, это все равно решит.

Осторожно высвободив руку, он громко сказал:

— Войдите!

— Нет, нет, подождите! — крикнула она и тотчас сморщилась как-то брезгливо. — Что же вы... А впрочем, как хотите. Я понимаю, вам-то что...

Дробышев покраснел:

— Вы не поняли. Я готов. Я не отказываюсь. Я собирался при нем...

— Нет, как же так сразу... — вдруг испугалась она. — Ведь вы должны... Он поймет. Даже не то. О чем я? Ах да... Вы не должны, если только из-за меня. Я ведь не знаю, может, я не имею права? — Она перешла на горячечный шепот. — Он меня всегда уверял — все великое требует жертв. Он себя ведь не щадил, может, он и вправду... Когда я его слушаю, я верю, я на все готова. В конце концов, что я такое? Подумаешь, медсестра в профилактории. Может, вы не должны, то есть я... какое у меня право?

— Да что вы, выкиньте из головы, — так же шепотом бормотал Дробышев, потрясенный ее чувством. — Ничего тут великого, ерунда это, семечки, клянусь вам, ради бога не сомневайтесь, да если б и было, если б и великое, разве стоит оно, ваша жизнь, сына, его самого, я ведь все почувствовал. У меня тоже было...

Ему аж горло перехватило, он готов был поклониться ей, поцеловать ей руку — он знал, что сделает все, чтобы защитить ее, помочь, выручить...

Дверь медленно, тягуче отворилась. Петли, которые никогда не скрипели, тут почему-то взвизгнули. Селянин появился с вымученной, ненужной улыбкой.

Однажды Дробышеву пришлось консультировать биохимиков, исследующих электрическую активность мозга. Он видел эти сероватые снаружи, ярко-белые внутри бугристые полушария, утыканные электродами, пронизанные невидимыми импульсами, и сейчас он с такой же явственностью ощущал свой собственный мозг, всякие его нейронные структуры, механизм его, который включился, ожил, задействовал с четкостью счетной машины.

Сомнения его разрешились. Теперь он мог не стесняться, он мог поставить Селянина на место, разделать его, как бог черепаху. Он просто обязан был ошельмовать его работу. И никаких церемоний и оговорок. Все получило оправдание, самое святое, высокое. Даже не оправдание, потому что оправдание означает какую-то

вину, а речь шла о долге, у Дробышева никакого выбора не было. Он заносил красный фломастер над очередной страницей и ставил жирный, нестираемый крючок вопроса. И раньше он обладал прямо-таки даром мгновенно нащупывать слабые места. Но тут он развернулся, тут он показал себя. А известно ли автору, какие процессы происходят при подобном форсировании? А где же расчеты? Отрицательный электрод — это одно, а что будет с положительным? Как изменяются сроки службы? Он уцепился за эти разделы и стал трясти и потрошить, избегая прочих деталей. Вопросы, которые он ставил, были безответны, потому что сам Дробышев не знал ответа на них. Сомнения всегда неопровержимы. Шведы, а затем японцы в сороковых годах отказались от подобного форсирования, а почему? Неужели Селянин не читал? Ах, языков не знает? Теория подобия вам известна? Не то чтобы Дробышев экзамен устраивал,— надо же выяснить, на каком уровне разговор вести. На пальцах такие вещи не докажешь... «Интуиция», «озарение» — это, простите, не метод.

Постепенно Дробышев «заводился». Почему, спрашивается, почему он в своих работах должен одолевать шаг за шагом, этап за этапом, не позволяя себе надеяться на случай? Да потому, что наука не может существовать на счастливых находках. Важно понять, что же в действительности происходит при этих режимах, какие явления, физика процесса. Это вам не лотерея. Настоящий изобретатель не игрок. И даже когда приходит удача, он все равно не может насладиться ею, он обязан обосновать результат, а этот стрекатель считает своей заслугой случайную догадку. Видите ли, на него «снизошло», его «осенило», подавайте ему венок.

...Разгром получился сокрушительный. Жаль, что Клава не могла оценить его искусство. Наклонясь вперед, она сидела, точно готовая к прыжку. Зеленые глаза ее сузились. Без всякой жалости следили они, как Селянин сник, схватился за голову. Что-то мстительное было сейчас в ней, в ее по-кошачьи замершей фигурке.

Дробышеву почему-то стало грустно. Вместо удовлетворения пришли пустота и усталость, и какой-то металлический привкус во рту.

Палец Селянина, желтый, дрожащий, уткнулся в график, пытаясь что-то отстоять.

— И это придется проверить,— неумолимо сказал Дробышев.

Кожа на пальце была изъязвлена. Дробышев сообразил — пары кислоты. Аккумуляторщик. У всех аккумуляторщиков такие руки.

У Дробышева тоже — ногти неприятно белые. Все ногти правой руки у него такие. Не от кислоты — от пневматики. На левой прошло, на правой осталось.

До сих пор, правда все реже, снится ему обрубочный цех. Желтые лампы вяло светят сквозь черную пыль. Скорчившись, он лежит на боку и рубит. Шипят шланги, стучит зубило, воют бормашины. Огромная деталь вся в наростах, приливах; остатки земли и окалины сыплются на лицо. Он ловко счищает пригар. Появляется нарост, он срубает нарост, под ним трещины, прибыля вырастают на детали, но, вместо того чтобы работать, он читает учебник. Прибыля пучатся, тяжелеют, нависают над ним, он налегает на зубило, грохот и тряска отдаются в груди, в животе. Давление в шланге падает. «Воздух, воздух!» — орет он, а его не слышно, прибыля давят на него, прижимают к земляному полу...

В этот момент от тоски и боли он обычно просыпался и долго лежал, приходя в себя. В горле еще пыльно першило, руки дрожали от пневматики. Отстукивал будильник, громко и часто, как зубило. Скоро вскакивать, ехать на завод и ехать в институт. Полусонный мозг его не мог отделить явь от сна. Этот промежуток, когда он пребывал в прошлом и не мог доказать, что это прошлое, был ужасен.

Он как бы понимал, что отброшен на много лет назад и нет сил начинать все сызнова. Опять ходить на вечерние лекции. С гудящей головой, полуоглохший, бессмысленно пялить глаза на лектора, стараясь только не заснуть. Он тянул из последних. Курсовой проект он запорол. Три раза перечерчивал, пересчитывал и плюнул. Тупица. Ну и провались все. Его дело, видно, вкалывать.

Каждый хорош на своем месте. Хороший обрубщик лучше плохого инженера.

Алейников, брюзгливо оттопырив губу, тыкал в чертежи — это откуда? Лапша какая-то... Потом уставился на его палец с белым ногтем. Обрубщик? Оглядел с ног до головы. «Не с вашим здоровьем... Ладно, зайдите через недельку». Добился, перевел его монтером на подстанцию и опекал до самого диплома...

Селянин смахнул рукопись, затиснул в папку, туда же закомкал вырезки, бумаги, вскочил, как подхлестнутый.

— Опровергну! Просчитаю! Исследую... И докажу. Всем докажу! Меня не остановишь! Не на того напали!

— Да вы себе представляете? — сказал Дробышев.— Одному тут не справиться. Года два коптеть. Нужна лаборатория. Стенды. Нужно считать на машине.

— Машины не имею-с. У меня линейка. Трехрублевая. Но не беспокойтесь. Два года потрачу, три года, пока не сдохну. На вашей совести. Вы убедитесь. Вот видишь, Клава, нам нельзя уезжать! Ха, японцы, шведы... Надеялись, что я отступлю, испугаюсь? Как бы не так. Фактически, понимаешь, Клава, сам Денис Семенович вынуждает меня остаться! Из-за него остаюсь!

Он размахивал затрепанной папкой, как флагом. Новое намерение захватило его. Вырвался, извернулся из железных объятий Дробышева. С какой-то дьявольской ловкостью он переиначил доводы Дробышева и, потный, всклокоченный, уже мчался и увлекал за собой — есть цель, появилась цель, от него требовали — он готов выполнить.

— Ты заметила, Клава, отвергнуть Денис Семенович-то не решился. Раз так, он нам поможет. Он ведь благородный, он участливый! Хи-хи-хи, в самом деле, почему бы вам не помочь.— Он глумливо подмигнул Дробышеву и вдруг распрямился и совершенно спокойно сказал:— А вам выгодно мне помочь. Поручите вашим аспирантам испытать, просчитать. Давайте наставим нос Брагину. Через несколько месяцев вы преподнесете: вот вы, Брагин, высмеивали Селянина, психом его считали, а между прочим, напрасно, он, между прочим, переплюнул ваше КБ, мы вот тут подсчитали, проверили, все правильно. Давайте? Вы можете себе это позволить. Вам-то чего бояться? Вы авторитет.

Против воли Дробышев прислушивался, даже дополнял эту невероятную картину. Заседание коллегии, его сообщение, бескорыстная работа, которую проделал он, Дробышев, помогая этому затравленному человеку. Матиевич поддержит, а Непишев... Влияние добавок для этой диаграммы можно изучить в натуральных условиях. Голыми руками Брагина, разумеется, не возьмешь. Он не преминет всадить: «Наш уважаемый Денис

Семенович разделяет мнение небезызвестного Щетинина». Смешка тут не избежать. В таких случаях и самому следует рассмеяться. «Оттого, что у Щетинина дважды два четыре, не значит, что надо от этого отказываться...»

Незаметно, с какой-то завораживающей силой Селянин втягивал его в головокружительный водоворот своих фантазий.

— Не слушайте его!— крикнула вдруг Клава.— А ты... ты...— стиснутые ее зубы яростно блеснули.

— Почему не послушать,— успокоил ее Дробышев.— Не так часто меня искушают, да еще с таким размахом и ловкостью. Ах, какой же вы обольститель, Константин Константинович! Жаль, что ваши овчины выделки не стоят.

— Но вы же знаете, что это не так!— Селянин стукнул по столу.— Вы же прекрасно знаете!

— А хоть бы и знал!— в запале сорвался Дробышев, но тут же осадил себя.— Вы, очевидно, полагаете, что я и мои аспиранты ждали, пока вы сделаете это лестное предложение. Изнывали от тоски. Ничего более важного, чем ваша работа, у нас нет... Послушайте — бросьте вы упрямиться, займитесь чем-то новым, сколько есть насущных проблем. Неужели вы больше ни на что не способны?

— Как же так?— Селянин впервые растерялся.— Я столько вложил...

— И каков результат?.. Талант — это щедрость, это богатство. А вы как нищий цепляетесь. Посмотрите на себя, как вы себя изуродовали.

— Вы меня хотите убедить моими неудачами? Плевал я на них. Я готов на любые жертвы. Вам этого не понять...

— А-а, бросьте. Ваши жертвы никому не нужны. Вы уверены, что ваша работа стоит трех лет жизни? Добро бы только своей. Но кто вам дал право жертвовать счастьем ваших близких?

— Вы спросите его, когда мы были в театре,— вскинулась Клава.

— ...За эти годы сколько вы могли бы создать. Вы же не работаете.

— К нам никто больше не ходит!

— ...Поверьте, Константин Константинович, в науке, в технике человек несчастный не способен создать что-либо значительное.

Неплохо сказано. Ему самому понравилось. Оно давно зрело в нем, это убеждение, что для удачной работы нужна душевная гармония, ощущение полноты жизни, пусть на ходу, на улице, но чтобы замечать весну, подстриженные, уже краснеющие ветки, желто-зеленую траву, лезущую из-под крупитчатого, истоньшалого снега. Нельзя, как Селянин, лишать себя всех радостей. Это приводит к бесплодию. Да и есть ли открытие более дорогое, чем любовь, солнце, друзья?! Еще один патент, еще одна статья, ну и что, разве это заменит, возместит потерянную полноту жизни?! Жизнь — это больше чем работа.

— Безнравственно, да, именно безнравственно работать за счет жизни.

— ...Хоть бы раз съездил с сыном за город.

— Похоже, Селянин, что у вас нет мужества отступить. Боитесь, что останетесь ни с чем. Верно?

— ...Он раньше совсем другим был. Вы не поверите, Денис Семенович, на гитаре играл, песни пел.

Селянин усмехнулся затравленно.

— Точно. Играл.— Мучительно наморщил лоб.— Гитара была с усилителем. Клава, а где она?

— У меня отец тоже играл,— вдруг потеплевшим голосом сказал Дробышев.

— Разбил я ее,— вспомнил Селянин, вздохнув, повертел папку.— Что ж, выходит, уступить? Значит, простить все, что было?

— Вас возмездие интересует. А вы попробуйте с другого боку. Возьмитесь за что-нибудь новое. Есть же у вас какие-то идеи. Не одна, так другая пройдет,— дожимал Дробышев.— Авторитет свой восстановите. На белом коне вернетесь.

— Красиво у вас получается. Лишь бы вам не ввязываться.

— Как видите, я ввязываюсь, теряю время, терплю ваши грубости,— холодно сказал Дробышев.— Что вы упиваетесь своей одержимостью? От нее только вред делу. Нравится вам страдать. А муки-то ваши, они не из-за творчества. Из-за Брагина ваши муки. Да еще из-за вашего характера. Дон Кихота из вас не получилось. Дон Кихот совершал подвиги, показывал бесстрашие, а вы показываете лишь непонимание жизни. Он воевал с ветряными мельницами, принимая их за великанов, а вы воюете с великанами, принимая их за ветряные

мельницы. Вы сами себя в тупик загнали. И как бы вы ни бились — не пробьете. Слишком вы много дров наломали. Все люди — человеки, у каждого самолюбие... Вот вы взываете к справедливости. А сами? Сколько вы людей пообидели? Вы и к семье своей несправедливы...— Дробышев посмотрел на часы.— Самое правильное вам уехать, переменить работу.

— Уехать,— как эхо повторил Селянин.— Уехать.— Он вдруг изогнулся, подозрительно спросил:— А может, вы друзья с Брагиным?

«Вот и все, что вывел этот сукин сын»,— устало возмутился Дробышев. Но та логическая машина, которая была в нем, тотчас заработала, спокойно продолжая: стоит Селянину уехать, и Брагин потихоньку приберет к рукам его работу. Брагину выгодно избавиться от этого жалобщика. Тут уж ничего поделать нельзя, теперь Брагин в любом случае выиграет. Конечно, когда-нибудь Дробышев предъявит Брагину счет: «Вы помните Селянина?» Когда-нибудь Дробышев использует... Выходит, следовательно, что у Дробышева все же есть своя корысть, пусть честная, но корысть, он заинтересован в отъезде Селянина? Забавная диалектика.

— Вы готовы весь мир делить по Брагину — за и против. Далеко у вас зашло. Уезжайте. Я забочусь не о Брагине,— сказал Дробышев с приятным ощущением правдивости своих слов.— Мне жаль вашу жену и сына.

Клава взяла Селянина под руку.

— Большое спасибо вам, Денис Семенович.— Кроме признательности во взгляде ее было и то, что произошло между ними двумя. Она как бы огладила Дробышева, потерлась о его замшевую куртку. Не поймешь — досадовала она, жалела, дразнила. Дробышеву больше всего нравились в женщинах эти переливы чувств, загадочных, нечаянных, которых и определить-то в точности нельзя. Снова ему взгрустнулось от своего благородства.

— Не за что,— сказал он.— Самые лучшие советы — это всего лишь слова. Желаю вам на новом месте удачи.

Клава подтолкнула мужа, он покорно протянул руку, пробормотал:

— Спасибо...

Влажная рука его бессильно смялась в руке Дробышева.

— Ничего, ничего, все будет о'кей!

Дробышев испытывал умиротворение, как хирург после тяжелой и удачной операции. В передней он заботливо помог Селянину надеть пальто. Движения Селянина были неверны, одеревенелыми пальцами он долго застегивал пуговицы своего кожаного потертого реглана. Клава подала ему шляпу, он нахлобучил ее, стоя перед зеркалом.

Клава потянула его за рукав.

— Ну и субъект,— сказал Селянин, разглядывая себя.— Такой может выкинуть любое. Почему нет? В этом его преимущество.

Дробышев утомленно ждал, он никак не мог предвидеть того, что произойдет.

Открылась входная дверь, появилась Зина с младшей дочкой. Румяные, холодные, они принесли с улицы запахи весны. Анечка держала длинную ледяную сосульку, у Зины была сумка с продуктами. В маленькой передней возникла толчея, Дробышев знакомил женщин, раздевал Анечку и не заметил, с чего все началось, почему Селянин взял Зину за руку и говорит, захлебываясь от возбуждения и страха, что его прервут.

Дробышев лишь увидел, что Зина нисколько не испугалась. Она слушала внимательно, не отнимая руки, напряженно следя за его прыгающей мыслью.

— ...Они оба вынудили меня. Ваш муж... у него логика. Он меня логикой раздавил. А если душой, вы поймете, потому что не может так быть, чтобы всем выгодно. Где-то ошибка. Брагину выгодно, Клаве выгодно, мне выгодно. Вы чувствуете? Всем выгодно, чтобы я отказался. Вашему мужу выгодно. Допустим, мелочь я изобрел, пускай гайку. Не закон природы, не Эйнштейн, но если гайка эта для меня — как если б я был Эйнштейном. Вы понимаете? Сегодня гайку отвергнут, завтра — генетику. Да, да. Генетику!— Он воспламенился этим примером.— Им тоже: отрекитесь! А они...

Все же он умел заставить себя слушать. Особенно женщин. На них действовала эта умоляющая беспомощность, эта исступленность.

— ...Ваш муж, он добрый, он ко мне добрый, к ней. Позвольте тогда вопрос. Пусть абсурдный, чисто теоретический. Если б ваш супруг отрекся, вы как, уважали бы его? Ради вас отрекся, ради дочери. Не то чтобы жизнь или смерть, это я понимаю...

С изощренным чутьем он нащупал чувствительное для Зины, воспаленное ее место, и Дробышев почувствовал на себе ее колючий взгляд.

— Да, я псих, то есть я здоров, не хуже других, но я болел, меня легко ославить,— злорадно предупредил Селянин.— И сейчас я для всех идиот, потому что против своей выгоды... Торгуйся я для себя, никому и в голову бы не пришло. Тогда я нормальный. А тут для государства, для науки, подумаешь. Главное, во вред себе. Нет, погодите, бог с ней, с наукой. Я другое хотел. Вот вы счастливы. Она тоже хочет, Клава. Я понимаю. Квартира, диссертация. Я не осуждаю... Нет, не то... Опять не то...

Он схватился за голову. Зина взглядом остановила Дробышева.

— ...Так нельзя жить,— застонал Селянин, сжимая голову.— Должны быть идеалы. Во имя чего... Иначе что же остается?

Дробышев почувствовал, что нельзя молчать, что он проигрывает. С каким наслаждением он попросту спустил бы его с лестницы. Не будь тут Зины. Селянин цеплялся за нее, он был под ее защитой, пользовался этим подло, не по-мужски. И это в благодарность за все. Дробышев взглянул на Клаву, призывая ее в свидетели. Видит бог, как говорили в старину, совесть Дробышева чиста, пусть Селянин пеняет на себя.

— Ах вот оно что,— сказал Дробышев.— Вы, значит, печетесь о государстве? У вас идеалы. Прекрасно, о чем тогда разговор, Константин Константинович, все улаживается как нельзя лучше.— Не издеваться, а высмеять надо было его перед Зиной, все это мерзкое кликушество. Дробышев скрестил руки, покачал головой: — Чего ж вы скрывали? Я-то думал, что вы все о себе, а вы о государстве печетесь. Вы бескорыстный идеалист. Виноват, каюсь.— Примериваясь, он поиграл занесенным клинком: держись, голубчик, сам напросился...— Раз так, отдайте ваше предложение Брагину. Приглашайте его в соавторы. Вы же думаете только об интересах страны. Уже год назад государство получило бы экономию, эти четырнадцать миллионов. Пожертвуйте своим личным авторством. Не все ли вам равно, с точки зрения высших идеалов. Что вам слава... А промышленности, а технике один черт, сколько там авторов — один, два...

Брагин, он быстро внедрит. Ну что ж вы? За чем дело стало? Не хочется? Чур, одному? Знаете, как это выглядит?

— Как?— ошеломленно отозвался Селянин.

— Не Брагин, не Кравцов украли четырнадцать миллионов. А вы! Из-за вашей жадности. Не вам — так никому, пусть гниет. Все ваши красивые возгласы — брехня. Прикрываете свое тщеславие. Вы не лучше Брагина. Хуже. Будь вы патриот, вы согласились бы хоть на десять соавторов, сколько угодно, лишь бы дело пошло. Но как же так, разделить свою славу. Ни за что. Хоть лопни. Не отдам. Мое. Какие же тут идеалы?.. Наговорить что угодно можно...

Он рубил его наотмашь, так, что кости хрустели. Пусть Зина видит всю труху, слишком она податлива на дешевые словеса. Ковырнуть как следует — и посыплется труха. Работать надо, работа — вот идеал, отдавай работе честно все, что можешь, будь реалистом: изобрел — пожалуйста, имеешь законное право ни с кем не делиться, но тогда нечего строить из себя праведника. От этих праведников самое зло и пакость. Внутри обязательно эгоист, а то и хапуга.

Наступила тишина, Селянин подождал, затем деревянно поклонился, главным образом Зине, направился к дверям. Безмолвный уход его возмутил Дробышева.

— Ну что ж, можно и так,— бросил он вслед.

Селянин обернулся. Лицо его было пустым, без глаз.

— Безнравственно,— прошептал он.— Все, что вы говорили. Пусть я... Но вы-то... Ведь если вы — тогда мне все можно. Я думал, что хоть кто-то должен... Я шел... Я не хотел идти...— он шептал все более невнятно и сбивчиво.— Вы думаете, четырнадцать миллионов нужнее, что они дороже такого поступка...

Некоторое время Дробышев стоял в опустелой передней. На кухне Зина и Анечка разгружали сумку с продуктами. Оглохшие звуки еле пробивались к нему. Словно у него заложило уши. Как будто он вышел из самолета. Дробышев пригладил волосы, провел руками по лицу.

Надо было взглянуть на часы. Он не хотел смотреть на часы.

Он пошел на кухню. Ему не надо было сейчас заходить к ним.

— Мы купили черешню,— поспешно сказала Анечка.— Хочешь?

— Только помой,— сказала Зина.

Глаза их ускользали, зеркально-безразличные.

В кабинете пахло чужим едким дымом и еще чем-то, тоже чужим. Он открыл форточку, сел к столу. Долгожданная верстка лежала перед ним. Рыхлые листы с большими полями, удобными для правки. Текст, огибающий таблицы и формулы, текст, который еще можно подчистить...

Дробышев умел заставить себя работать при любом настроении. Что бы ни происходило, пахарь должен пахать.

Мысленно он еще следил, как Селянин и Клава идут по улице, Селянин оправдывается или, наоборот, обвиняет, старается еще более утвердиться.

Ему хотелось, чтобы зашла Зина, помешала, спросила. Никто не знает, что он переступил через себя ради этой Клавы, ради ребенка. И не узнает. Теперь этот изувер домучает их. И еще смеет говорить о нравственности. Так всегда, благородные слова захватывают подонки. Они пользуются, они произносят их с легкостью и пафосом...

Правка не приносила удовольствия. Он чиркал все более недобро. Слишком много было бесспорного. Никаких колебаний, никакого выбора, подарочный набор в блестящей упаковке.

«Ну и что?» — подмывало его написать на полях.

Закончив главу, он пошел погулять. В передней он задержался перед зеркалом, повязывая шарф.

Что-то незнакомое было в его лице. Как будто стеклянная глубина хранила отражение Селянина и его взгляд — взгляд человека, усомнившегося в чем-то главном... Удивительно было обнаружить такие глаза на своем лице.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На песчаных отмелях чернели перевернутые смоленые баркасы. Дома стояли тоже черные, крытые серебристой дранкой, местами поросшие зеленым мхом, обнесенные высокими жердяными изгородями. Напоминали они о раскольничьих скитах, монастырях, о жизни

медленной, пристальной, наполненной тайным смыслом, который всегда чудился Дробышеву в этих затерянных лесных деревнях.

Час, а может и больше, простоял Дробышев у борта, бездумно смотрел на плывущие мимо глухие леса, на бледное пустое небо, вдыхал речную свежесть, чуть пригорченную пароходным дымком. Иногда с косы обдавало теплом, разогретым хвойным настоем. Желтая пыльца сосен припорашивала гладкую воду затонов.

Теплоход шел медленно. След его был короток. Вода быстро смыкалась позади, и река опять застывала, отражая высокие леса и песчаные косогоры.

Архангельский поезд, на который Дробышеву надо было пересесть, запаздывал. Слоняясь по вокзалу, Дробышев набрел на расписание речного пароходства. Когда высчитал сроки прибытия и отплытия, густой голос произнес над ухом:

— Напрасно ты, парень.

Он обернулся, увидел над собою огромного хмельного бородача; лиловое, блестящее пóтом лицо его расплывалось от доброты, оно было воплощением мирового братства и нежности.

— Почему напрасно? — спросил Дробышев.

— Будто не знаете. — Он погрозил ему пальцем.

— От реки всегда развал в голове. Да еще если ветер завяжется...

Может, это и подтолкнуло его, а может, то, что давно не плыл он пароходом, в неспешности, все только самолетами, да машинами, да поездом, и всегда скорым.

На пристани матрос, проверяя билет, наклонился, сказал доверительно:

— Вы, конечно, извините, только Кащенко ни при чем, вы команду спросите, все свидетели.

— Какой Кащенко? — спросил Дробышев. — Вы что-то путаете.

— Понимаю, — сказал матрос.

В каюте на нижней полке седоусый старичок заводил ключиком игрушечный самосвал.

— Слыхали, — сказал старичок, — Кащенко привлекают из-за тех жуликов.

— Так ему и надо, — сказал Дробышев и сунул портфель под подушку.

— Усовеститесь! Вывел их на чистую воду, вот и возводят напраслину. Говорили ему — не связывай-

ся! — Старичок в сердцах опустил самосвал на пол, и тот, жужжа, поехал на Дробышева.

На палубах толпились экскурсанты. Пели, играли в карты, фотографировали закат, кидали хлеб чайкам.

В ресторане уже опустело. Дробышев выбрал столик у окна. Лесистый берег тянулся совсем рядом, за стеклом. Тугая волна ломала отраженные ели и редкий березняк. Усталость командировочных дней медленно оседала, смывалась чистой речной водой.

— Что кушать будете?

Официантка, молодая, лениво зачарованная, как эта река, поигрывала привязанным карандашиком.

— А что есть?

— А ничего нет, — безмятежно прожурчала она, полюбопытствовала на его смех и вновь перевела незамутненные глаза на окно.

Было легко задержать ее взгляд любым испытанным приемом, особой своей намекающей улыбкой, которая вгоняла в краску, одной-двумя фразами: про фигуру, волосы, что-нибудь в этом роде. Но не было настроя. Давно уже стало ему не до этой игры.

Озабоченный командированный, немолодой, голодный, усталый — вот кем он был для этой девицы. Один из тех, от кого хочется скорее отделаться.

— Вы олицетворение инертности, — сказал Дробышев печально. — Солнечный газ. А Кащенко-то расписывал мне.

Мир преобразился, забурлил.

— Вы когда его видели? Ну как он? Медаль ему надо, а его по судам таскают. Вы простите, однако, вы по его делу?

— Ну зачем же, — туманно ответил Дробышев.

— Шашлычок желаете? Соляночка осталась.

Мимо окна прошел долговязый мужчина в роскошном черном с голубыми полосами джемпере. Фигура его показалась Дробышеву знакомой. Мужчина присел на скамейку рядом с мальчиком. Они по очереди разглядывали в бинокль дальний берег.

Еще поднимаясь на теплоход, он ощутил чей-то пристальный взгляд. В мелькании пассажиров, толпившихся у борта, чьи-то глаза сверху следили именно за ним.

Прежде случайный этот рейс, со всеми его странностями, возбудил бы вкус приключения, но сейчас лю-

бые встречи и разговоры были Дробышеву в тягость. Он рад был одиночеству, своей незаметности.

Пообедав, Дробышев спустился на нижнюю палубу. Между рыжими сельдяными бочками рыбаки забивали козла. Слышно было, как наверху поют под аккордеон. Песни были незнакомые, разные и чем-то одинаковые:

...Ты неплохо устроилась,
Муж, квартира, уют,
Я ж поеду на север,
Где норд-осты поют,
Там олень бродит замшевый,
Звезды в рыжем дыму...
Почему же ты замужем,
Ну скажи, почему?

Пели с чувством, из песни в песню повторяя эту немудреную хвалу неустроенной палаточной жизни с кострами, пургой, аэродромами. Романтика горожан. Были у нее свои поводы, но чем-то они обижали Дробышева. «Муж, квартира, уют...» Чудаки, разве это формула благополучия. С каким облегчением сменил бы он нынешнюю свою работу, такую с виду распрелестную, на эти простые лишения — мерзнуть, лазить по горам, недосыпать.

Наступающая теплая белая ночь выгнала всех на палубы. Ища укромный уголок, Дробышев зашел на корму и опять увидел того мужчину с мальчиком. Физиономия мужчины показалась ему еще более знакомой, он даже приготовился к выражению нечаянной встречи, но мужчина сделал безучастное лицо и отвернулся. Он отвернулся умышленно.

Пустяковый этот случай почему-то задел Дробышева. Последние неудачи сделали его болезненно уязвимым. Раньше он и внимания не обратил бы. Подумаешь, кто-то отвернулся. Былой самоуверенности не хватает, ощущения устойчивости.

Найдя свободный шезлонг, он уселся поближе к борту, чтобы никто не заслонял крутого берега, розовых от невидимого закатного солнца вершин сосен с обнаженными корневищами.

Здешние места привлекали своей первобытностью. Их оставалось все меньше, нетронутых, затерянных уголков, где можно укрыться от людей, особенно от этих туристов. Собственно, людей не так уж много, размышлял он, возросла подвижность, скорость перемещения, на долю современного человека приходится, наверное,

в десятки, сотни раз больше километров пути, чем раньше. Люди хотят больше видеть. Жизнь расплывается как бы вширь, а не вглубь. А ему именно хотелось вглубь...

Берег двигался совсем рядом, маня просветами брусничных полянок, еловыми шатрами. Но пока примериваешься, мечтаешь, наплывают новые манки, скользят мимо, повторяясь в воде. Параллельно его жизни плыла другая, такая близкая, а он не в ней, он здесь, огороженный железными поручнями...

То и дело за спиной раздавались голоса, взрывы смеха, стучали каблучки. Все отвлекало, мешая сосредоточиться. Эх, люди, люди, если б вы знали, чем он занят. Крохотным коэффициентом — омегой. Буковкой в формуле. Понять, постигнуть физический смысл. А между прочим, на жизни любого из вас скажется эта самая омега. От нее зависит новый тип аккумулятора. Емкого, небольшого, способного произвести революцию в технике. Мир может преобразиться. Появятся электромобили — дешевые, бесшумные, легкие. Очистится воздух городов. Спасена будет природа. Да, да, природа, утвердился и обрадовался Дробышев. Никогда прежде он не задумывался о нравственной цели своей работы. Считалось признаком дурного тона говорить о подобных вещах.

А рядом суета, кишение, люди проходят мимо и не догадываются, что этот хмурый, одинокий пассажир творит их Будущее, такой незаметный, Благодетель Человечества, скромный Гений, один из тех, чей неоценимый вклад...

Он и посмеивался, и утешался. Мысли его клубились, как пар, что поднимался над светлой водой, оседал на правом берегу, стлался по муравчатой пойме.

Стога, затопленные туманом, всплывали куполами неведомого града.

Над чашей поднимались белые знаки створов.

У шлюпки девушка и паренек, оба в джинсах, в свиторочках, обнимались, прижимаясь так откровенно, что Дробышев отвернулся.

Почему-то все источало укор и грусть — эта парочка, уплывающие стога, красота этой жизни, которая огибала Дробышева, уходила все дальше.

Люди имеют полное право смеяться и не обращать на него внимания. За полтора года исступленной работы

он получил жалкие результаты. Конечно, организационный период, неизбежные срывы, то да се, но и впереди не видно. Когда он дорвется до этой омеги...

«Селянин!— вдруг ударило его.— Не может быть!»

Он вскочил. Скамейка на юте была пуста. У лебедки стоял мальчик, Дробышев подошел, наверное, слишком быстро, потому что мальчик испуганно отпрянул.

— Здравствуй, твоя фамилия Селянин?

— Д-да.

Мальчику было лет десять. Узкие ярко-зеленые глаза его напомнили Клаву. Он попятился к трапу, готовый бежать вниз.

— Видал?— Дробышев вынул пистолет-зажигалку.

— Не настоящий.— Все же он протянул руку, но остановился: к ним подходил отец.

Теперь, зная, что это Селянин, Дробышев еще больше удивился. Не мудрено, что он не узнал его. Перед ним был модно одетый, преуспевающий не то какой-то спортсмен, не то артист. Даже странно было обнаруживать черты прежнего Селянина в этом широкоплечем здоровяке с буйными черными волосами, с движениями сдержанными и весомыми.

— Вы это или не вы?— Дробышев развеселился.— Что с вами? Вы так помолодели.

Селянин довольно улыбнулся и тотчас согнал улыбку, но и без улыбки гладкое бронзово-загорелое лицо его сохраняло то же довольство.

— Пройдет,— сказал он.

Под франтоватым его джемпером чувствовалось тело, играющее мышцами, исчезла сутуловатость, он стал как бы выше ростом, словно распрямился, и все в нем округлилось, подобрело.

Дробышев все еще разглядывал его, потом спохватился, что так и не поздоровался, не протянул руки, и почувствовал, что теперь здороваться уже не следует.

— Вас тоже не узнать... Вы что, болели? Или заработались?— спросил Селянин, впрочем, без интереса. Он хлопнул мальчика по спине:— Леша, давай-ка надень куртку.

Они посмотрели вслед мальчику, как он сбегал по трапу.

— Не ожидал... Курите?— Дробышев щелкнул зажигалкой.

Селянин помотал головой.

— Бросили? — Дробышев прикурил.— Да, сколько лет прошло.

— Года два с лишком.

«Уже два года,— подумал Дробышев. Потом он подумал: «Всего два года». Лучше было об этом не думать».

— Как ваша супруга поживает? — спросил он.

— Лично я считаю, что неплохо.— Селянин засмеялся. Он держался приветливо и безразлично. Приветливость его относилась не к Дробышеву, а к этому прелестному вечеру, красивому небу и убаюкивающему гулу теплохода.

— Это вы давеча отвернулись?

Вопрос получился глуповатым. Дробышев разозлился, ему никак не удавалось найти правильный тон.

— Я думал, вам неприятно будет,— сказал Селянин уклончиво.

Дробышев сплюнул за борт, ему хотелось вести себя небрежно, иронично, выглядеть корифеем, которому не до внешности, который может себе позволить...

— Почему же?..— вызывающе спросил он и, не давая Селянину ответить, скривился.— До чего ж вы чуткий нынче. Когда у вас нужда была, вы не заботились, приятно мне или нет.

— А у вас что, нужда? — поинтересовался Селянин. Руки его были в карманах, ноги расставлены.— Любопытство у вас. Вот что.

Явное его нежелание продолжать разговор поразило Дробышева.

— Конечно, любопытство,— сказал Дробышев как можно простодушнее, потом, осмотрев Селянина, вздохнул: — Впрочем, все ясно.

Но Селянин не спросил, что ему ясно, сладко зевнул, похлопывая себя ладошкой по губам, посмотрел на часы.

— На воде в сон тянет... Чего это вас занесло сюда? — как бы уступая, лениво спросил он.

— По делам. В Кремнегорск.

— Надо же,— протянул Селянин, чему-то усмехаясь.

— А вы? — глядя в сторону, на веселый брусничный закат, спросил Дробышев.

— Мы?.. Мы из отпуска возвращаемся.

— С супругой?

— Да, всем семейством.
— Уж не в Кремнегорск ли?
— Угадали.
— Вы что же, на «Рот-фронте»?

Селянин показал рукой:

— Смотрите, язь играет. Ишь блестит. Голова у него позолоченная. Ох и хитрая рыба. Пойду Лешке покажу. Счастливо вам отдыхать.

Он направился к трапу.

— Ай-я-яй! Это ж неучтиво,— протянул Дробышев.— Боитесь вы меня, что ли? Такая долгожданная встреча. Можно сказать, подарок судьбы.

— Ах, помилуйте, чтоб моя скромная особа удостоилась, да я с полным удовольствием, к вашим услугам.— И Селянин церемонно раскланялся.

— Очевидно, вы работаете на «Рот-фронте»,— сухо начал Дробышев.— Я еду к вам устроить заказ на керамические пластины. Я занимаюсь сейчас новым типом аккумулятора.

— Слыхал.

— Ну что ж, это облегчает мою задачу. Тем более что я сам еще не знаю, что это за штука — новый электролит.— Следовало мягчить голос, но он не мог так просто отделаться от чувства обиды.— И кем вы там?

— Зам главного технолога.

А самомнения-то... Дробышев успокоенно посмеялся про себя и стал рассказывать о данных будущего аккумулятора, какие нужны пластины, в чем их особенность. Как всегда, рассказ воодушевил его. Цифры обладали испытанной магией. Само произнесение их вслух было приятно. Он привык, что лица слушателей, даже понимающих сложность задачи, постепенно смягчались, становились мечтательно-нездешними.

Он взял Селянина под руку, повел вдоль борта. Ради такого дела можно было поступиться самолюбием.

— Выходит, мне повезло,— заключил он сердечно.— На ловца и зверь бежит.

— Не знаю,— с некоторой колкостью усомнился Селянин.— Я — что. Вам надо с директором.

— Директор само собою. А я вас в адвокаты. По знакомству. Советоваться-то он с вами будет.

— Это его дело.— Селянин высвободился, раскинул руки навстречу сыну.— Леха! Язя видал? Да-с...— Он чему-то удивленно засмеялся.— А заводишко-то наш невидный. Верно, Леха?

— Зато в некотором роде уникальный,— заступился Дробышев, превозмогая желание выругаться.— У вас можно прокатанные электроды делать. Любые покрытия.

Селянин равнодушно кивнул.

— Леха, а где мама?

— Она с тетей Томой.

Они заговорили о своем. Дробышев растерялся: даже мастера, простые заводские мастера и те ахали — неслыханная емкость! К новому аккумулятору проникались интересом, расспрашивали, одни с недоверием, другие с восторгом, но как-то реагировали.

— Так как же?— напомнил он смущенно.

Селянин наморщил лоб, как бы вспоминая:

— Ах да... Если меня спросят, я, к сожалению, буду против.

— То есть?

— Буду отговаривать директора.— И Селянин весело развел руками.

— Вот как... Почему же?

— А зачем нам взваливать на себя.— Глаза Селянина смотрели кротко и приветливо, однако где-то на дне их играло веселье.— Посудите сами: работа внеплановая, трудоемкая. С этими пластинами умыкаешься. Спецоснастка нужна. Какой нам резон? И без того хвороб нам хватает.

Прикрыв глаза, Дробышев попробовал представить того Селянина.

— Неужели это вы? Может, то был ваш брат? И это вы говорите мне?

— Я, я самый. Никаких братьев. В натуральную величину,— с удовольствием подтвердил Селянин.

— Ну, это уже не косметика, а полная реконструкция. И снаружи, и внутри. Какое превращение!

Мальчик настороженно смотрел на Дробышева, на отца, пытаясь понять, что происходит.

— У тебя, Леша, папа иллюзионист. Только что был впереди прогресса, и — хоп!— перед нами матерый консерватор. Не желает помочь передовой идее. Что с ним случилось?

Селянин миролюбиво улыбался, кивал.

— А что делать? Мы вот с Лешей выписываем «Знание — сила». Отличный журнал. В каждом номере

про новые идеи, столько открытий — диву даешься. И все коренные, все переворачивают.— Он сочувственно пожал плечами и подмигнул Леше, еле заметно, однако с таким мерзким намеком, что Дробышев покраснел.

«Что ж это, он хочет меня выставить маньяком». Он понял, что стоит поддаться возмущению, и все пропало. И без того он успел многое проиграть в этом разговоре. Он придал голосу беззаботность мэтра, которому наплевать на результаты своей просьбы.

— Что ж, идея вам кажется нереальной?

— Идея чудесная.— Селянин мечтательно вздохнул.— У меня самого когда-то бродила мыслишка — попробовать нечто вроде биоаккумулятора. Электролит из органики.

— Чистяковский вариант?

— Зачем, у меня свой был вариант. Я даже прикидывал. Примитивно, конечно.

— Мы это направление тоже имеем в виду.

— Да ну?— вежливо удивился Селянин и помахал руками.— Прекрасное направление. Божественное направление.

Держась за поручни, он откинулся на вытянутых руках, выжимаясь, приседая, и Леша, косясь на Дробышева, тоже приседал. Двигались они в лад, глубоко и ровно дыша, так что Дробышев невольно засмотрелся. Чего ему не хватало, так это сына. Девчонки — совсем другое. Отправиться вдвоем с сыном, мешки за плечами, по рекам и лесам...

— Весьма сожалею, что ваши упражнения помешали закончить столь приятную беседу,— произнес Дробышев как хорошо воспитанный человек.— Был рад встретиться.

— Простите,— виновато сказал Селянин.— Привык перед сном...— Он выпрямился. Лицо его потно блестело, грудь раздувалась, он дышал шумно, наслаждаясь каждым вздохом, своим здоровьем, этим чистым воздухом.

— Мы подводным плаванием с Лешей занимаемся,— сообщил Селянин, как бы продолжая извиняться.— Да, так вы насчет биоаккумулятора говорили. Весьма перспективная проблема.

— А что, если...— Дробышев запнулся.— Конечно, если органика вас еще занимает, я мог бы... Хотите к нам в лабораторию?

Вместо широкого жеста получалась чуть ли не просьба. Что-то все время сбивало Дробышева.

Селянин улыбнулся так, как будто он ожидал этого предложения.

— Великодушно. Ценю. Жаль, что поздновато. Увы, увы! Видите ли, Денис Семенович, степени я не достиг, значит, оформите вы меня старшим инженером. Либо эмэнэс. В деньгах я потеряю рублей сто. Квартиры вы мне не дадите. Точно? А в Кремнегорске у меня трехкомнатная. И прочие условия у вас не ахти.

— С чего вы взяли?

— Да это ж невооруженным глазом...— Селянин заботливо смахнул какую-то мошку с дробышевского плеча.— Вот вы, известный ученый, должны тащиться к нам, в тмутаракань, уговаривать, упрашивать. Я ж понимаю. Вместо того чтобы вызвать директора нашего в Москву... Потому что все на вашем энтузиазме держится. Передо мной, пешкой, и то вам приходится... Куда это годится? При такой бедности добиться каких-нибудь результатов — это ж сколько время надо. Для меня вот что курьез.— Он наклонился к Дробышеву, заглядывая ему в глаза.— На что вы рассчитываете?

— В каком смысле?

— Допустим, рабочую температуру элемента снизить. Одна эта проблема потребует годы. А при ваших-то условиях? Вы прикидывали?

Вопрос был противный. Внутри заныло, ожила какая-то сосущая пакость. На что ушли последние два года? Куда они подевались? Ничего толком не вспоминалось, лишь мелкая суета, какие-то хлопоты, заседания, бумажки.

С тех пор как он добился создания лаборатории, он то выбивал лаборантскую ставку, то приборы, день за днем, неделя за неделей проскакивали, и все они были ненастоящие, все были преддверием. И вот, оказывается, прошло два года — шутка ли, два года,— а до самого главного так он и не добрался. В начале он полагал месяцев семь, от силы год потратить на организацию лаборатории. С его напором, хваткой он справится, и затем заварится оно самое, ради чего уже не жалко времени.

В тот момент собственная его жизнь казалась бессрочной, вся она располагалась в Будущем...

Об этом тоже не следовало думать.

Селянин ждал ответа. С холодным вниманием он наблюдал за Дробышевым, как в поле микроскопа за поведением какой-нибудь козявки.

— Часто лаборатория лучше всего работает, пока она в подвале,— заученно сказал Дробышев.— Наука не должна становиться жирной. Есть романтика в наших невзгодах. Недостаток средств обостряет пытливость, требует оригинального мышления...

Он без конца повторял это своим сотрудникам и своим противникам. Никто не должен был различить, угадать его страхи. Особенно Брагин. И об этом лучше было не думать.

«При вашем нервном истощении надо избегать неразрешимых ситуаций»,— советовал врач.

Большей частью неразрешимая ситуация состояла в том, что он не разрешал себе сказать что хотел, дать выход своим чувствам. Только дома, с Зиной, он позволял себе срываться. Опустив голову, она умолкала, лицо ее становилось туповато-покорным. Хоть бы возразила. От ее мученического терпения с ума можно было сойти. Ему иногда хотелось довести ее до слез, до крика... Как будто она была виновата, что вместо института ему с трудом удалось добиться небольшой автономной лаборатории.

А между прочим, виноват был Селянин. Именно из-за Селянина многое перевернулось.

После того как Брагин стал соавтором, он укрепился, вскоре о Селянине уже не упоминали, повсюду фигурировал один Брагин, и само собой получилось, что новый институт достался ему. Дробышев возражал. Был даже момент, когда все заколебалось. Дробышев считал, что незачем создавать из брагинского КБ еще один НИИ. Новый институт должен заниматься действительно новой проблемой, а не поделками на злобу дня, которые Брагину кажутся наукой. Научный уровень работников КБ довольно низкий. Достаточно вспомнить историю с Селяниным. Он лишь намекнул об этой истории в числе прочих, еще ничего не зная о соавторстве. Вот тогда-то Брагин и выложил, но не просто, а разыграв целый спектакль: сперва побагровел от обиды, потом смиренно превозмог обиду; оказывается, он, Брагин, уступил просьбе Селянина, согласился помочь этому несчастному больному; он, Брагин, вдохнул жизнь

в этот наивный эскиз, и как мог Дробышев, зная Брагина столько лет, после всего того, что Брагин сделал для него, как он мог... Невероятно! Он опустил голову, скрывая слезы — святой человек, мученик,— и седые волосы красивой волной упали ему на лоб.

Непишев осуждающе посмотрел на Дробышева, даже Матиевич покачал головой.

Конфуз получился полнейший. Всегда находчивый, умеющий шуткой снять любую неловкость, Дробышев ошеломленно молчал. Значит, Селянин последовал его совету, и бумеранг вернулся... Машинально он пробормотал какие-то слова извинения, не слыша себя, лишь бесчувственно отмечая, как чаша весов окончательно качнулась в пользу Брагина, и под ногами словно поползло, шурша, осыпаясь...

Через несколько дней Брагин, встретив его в министерстве, обнял, сияя от дружелюбия:

— Неимоверно я тебя подсек? То-то, рыбонька моя. Надеюсь, ты не сердишься? Ты же умница. Ты оценил меня? Ну и видок был у тебя... Сверх ожидания. Но ты не придавай значения... Все равно у тебя сорвалось бы. Больно уж рискованна твоя идея. Химера. То ли дело у меня, все темы — верняк. Тебе надо начинать скромненько. Ах, Денис, Денис, вот ты лютуешь на меня. А я ведь нынче с министром говорил и свое словечко вставил насчет лаборатории тебе. Не ожидал? Видишь, какой непредвиденный изгиб. И он согласился. С тебя приходится.

Рыхлый, теплый, он нежно прижал Дробышева к себе, он был влюблен в него за свой поступок.

— И не совестно тебе? Я же знаю — ты сейчас прикидываешь: зачем, с какой стати мне это понадобилось? Опасаешься? А ты не ломай голову. Хочешь, сам скажу? Помог тебе потому, что понравилась мне твоя отчаянность. Я же тебя проектировал иначе. И вдруг нате: все побоку, отложил карьеру, репутацию ва-банк. Что с тобой стряслось?

— А то, что хватит. Пора.

— Сделаешь — лауреатом станешь. Но — риск... Не боишься?

Вот тут-то Дробышев почувствовал, что Брагин сам побаивается его, потому побаивается, что не понимает, как это могло случиться. А случилось это, когда старик Матиевич поделился выношенными своими мыслями,

и у Дробышева вдруг словно щелкнуло, соединилось с собственными его размышлениями, которые, вероятно, возбудила селянинская разработка, вернее, непонятные явления, которые она выявила... Соединилось, сошлось в такой сладостной стройности, что дух захватило, и уже больше ни о чем другом думать не мог. И пошло, и закружило его, все остальное побоку. «Так и надо,— успокаивал его Матиевич,— beati possidentes!»[1]

— Чего бояться, попытка не пытка.

Брагин хлопнул его по плечу:

— Это по мне! Это по-нашенски!

— Подал ручку, да подставил ножку,— буркнул Дробышев, веря ему и не веря.

— Подставил,— с удовольствием согласился Брагин.— Потому что мне победить тебя надо было. Я доказать хотел. Спик инглиш? Помнишь? А я помню.

— И только-то. Мелко. Я-то думал — принципы, философия. А вы счеты сводили.

— Ах, Денис, упрощаешь ты меня? Ищешь утешения себе. Какой же ты ученый, ты должен противоречия искать. Думаешь, мне это директорство приспичило? На что оно мне? Для карьеры мои сроки уже вышли. Я теперь о других сроках задумываюсь... Старость — это, может, самая ответственная пора. Тут ищи мои мотивы. Мне зачем это директорство, затем, что, например, я теперь многое могу исправить в своей жизни. Чувствуешь? Радиус моего действия увеличился, и принципы мои увеличились. Принципы требуют радиуса, то есть должности. И в этом пропорция должна быть. Попробуй соблюди ее. Вот, рыбонька моя, это и есть философия. Иначе карьеристом станешь...

Он наслаждался своей откровенностью, рассуждал громко, нисколько не стесняясь многолюдной канцелярии. И тут же, от избытка чувств, предложил Дробышеву войти в ученый совет института.

— Как же так, я выступал против института... Неудобно,— сказал Дробышев и, услышав свой нерешительный, застенчивый голос, вспылил. Может быть, откровенность Брагина заразила его. С какой стати он будет поддерживать этот никчемный институт своим именем. Мелкие темы, звонкие пустячки, не имеющие отношения к науке, ни одной серьезной проблемы, ничего перспективного. Нет, в эти игры он не играет.

---

[1] Счастливы обладающие *(лат.)*.

— ...Раньше грешники уходили каяться в пу́стынь, а теперь, значит, создают для этого НИИ... Добрые дела, сделанные за счет государства, не зачтутся...

Лицо Брагина стало серьезно-запоминающим. Не надо было этого говорить. Дробышеву еще можно было вернуться назад. Согласиться. Сделать всего один шаг, один маленький шажок. Сказать «да». Это ведь так просто, так легко, все толкало его на это.

— Нет, нет и нет, я был и буду противником вашего института в нынешнем его виде.

— Безрассудный ты человек,— грустно сказал Брагин.— Как ты все себе осложняешь. И для своей лаборатории. Ты о деле не думаешь. Ради дела тебе не следует так говорить. Потешил себя на минутку, а потом? Потом ведь жалеть будешь. Неблагодарный ты.

И тут Дробышев не выдержал. Тут он вознаградил себя. Уж Брагину-то он ничего не должен. Кто посоветовал Селянину? Кто подтолкнул Селянина?

— Так вот оно что,— медленно сказал Брагин, разглядывая его.— Значит, ты подтолкнул... И теперь раскаиваешься?

Плохо, что даже Зине нельзя было рассказать об этом разговоре. Она сразу вспомнила бы ту сцену в передней.

На последнем совещании в министерстве Брагин невзначай обронил: «Мы бы тоже не прочь тянуть сроки, как Дробышев. Нерешенный вопрос не содержит ошибок». Лаборатория вовсе не зависела от Брагина, но Дробышев постоянно ощущал его недобрый интерес.

Надо было делать вид, что все идет как положено. Никто не должен был знать о его страхах и сомнениях.

— ...Вовремя вы пособили Брагину,— сказал Дробышев.— Вот он, конечно, может вам воздать и квартиру, и ставку. Он не предлагал вам?

— Нет, что вы, у меня с ним больше никаких дел...— искренне удивился Селянин.

— Неблагодарность с его стороны,— поерничал Дробышев.

У пологого мыса бледно светились огни бакенов. Пароход прогудел. Табунок коней, стоявших на лугу, встрепенулся. Жеребенок побежал вдоль отмели. Короткий, чем-то печальный звук гудка эхом откликнулся в дальнем бору.

— Скоро Шумья,— сообщил Селянин.— Там у нас курорт строится.

Голос его звучал умиротворенно, и Дробышев обнаружил, что весь их разговор куда-то затерялся, пропал в этих ночных светлых просторах. Селянин словно заражал его расслабляющим чувством успокоения; обида, злость, попреки — все таяло перед ликом этой белесой тишины, высокого неба.

Стало еще светлее, но тени исчезли. Селянин загадочно улыбался. Был в нем какой-то секрет, какая-то недосягаемость, которую Дробышев никак не мог разгадать; не верил, досадовал, и казалось, Селянин с удовольствием наблюдает за его усилиями.

— Значит, вы не жалеете, что согласились на Кремнегорск?— спросил Дробышев.

— Нисколько.

— А что я с этого имею?— Дробышев принужденно хохотнул. Впрочем, не стоило пережимать, тут Селянин мог ему кое-что припомнить. Странно, почему он не пользуется случаем...

— Наша работа сейчас в стадии неразберихи,— обрывая паузу, весело сказал Дробышев.— Знаете, стадия открытия? Сперва шумиха, потом неразбериха, потом поиск виновных, потом наказание невиновных и наконец награждение начальства. Виновных еще нет, но будут, как в том анекдоте про волка и зайчика. Слышали?

Это он умел — круто свернуть, с видом простака выпустить очередь анекдотов, эти палочки-выручалочки, которые всегда кстати, которые упрощают любую ситуацию.

Смеялся Селянин заливчато, по-детски утирая глаза, переспрашивал, чтобы запомнить, и под этот смех Дробышев пригласил его к себе в каюту, пропустить по стопке для согрева,— правда, в каюте он не один... Конечно, Селянин ответно предложил к себе, и Клавдия Сергеевна будет рада...

В коридоре Дробышев замедлил шаг. Большое стенное зеркало отразило его залысину, бледное, набрякшее усталостью лицо.

Показываться в таком виде не хотелось, и в то же время хотелось увидеть Клаву. И чем больше хотелось, тем больше он боялся — этакий душевный резонанс раскачивал его.

Первым в каюту вбежал Алеша с криком: «К нам гости!» За ним Селянин; на какой-то момент Дробышев

остался один, послышался голос Клавы; знобящий сквознячок прошел у Дробышева внутри, так, что он поразился своему чувству. Этот момент и следующий, когда он увидел глаза Клавы, были самыми трудными.

Слава богу, она не помолодела и не стала красавицей. Она окрепла, располнела, гусиные лапки появились у глаз. Медно-крашеные волосы и загар сделали ее грубее. Чувствовалось, что жила она эти годы в свое удовольствие, ничего не упуская.

Дробышев пожал ей руку, безулыбчиво, сохраняя хмурые свои морщины.

Глаза ее не успели скрыть настороженности, но была в них и радость.

— Вот уж сюрприз... Какими судьбами?

Он молчал, не отпуская ее руки, чего-то ожидая, и вдруг она ответила ему тайным пожатием.

В каюте было тепло, пахло апельсинами, духами, бормотал транзистор. Селянин познакомил его с Томой, нежно-розовой толстушкой, горделиво представил его: известный профессор, ведущий ученый.

Появились бутылка коньяка, конфеты, бумажные салфеточки. Дробышева усадили в угол, женщины, соперничая, ухаживали за ним, что-то романтическое было в его появлении, одинокости, небрежном костюме... И он сам почувствовал себя уже не командированным, а путешественником, этакий суровый флибустьер.

Плечи его расправились, и, как всегда бывало в компаниях, само собой он стал центром.

Чокнулись «со свиданьицем». У Клавы в черноте зрачков плеснулось воспоминание, и Дробышев подивился превратности жизни, замысловатым ее коленцам, скрытой и мудрой ее стройности.

Селянин ловко разрезал апельсины, раскрывая дольки лепестками. Тома придвинулась к Дробышеву, расписывая красоты Кремнегорского монастыря, рыбачьих парусников. Она часто смеялась, великолепные зубы освещали ее кукольно пухлое личико.

Все быстро и как-то охотно захмелели. Клава сидела против Дробышева, колени их под столиком прикасались. Она наклонялась, и белый лифчик виднелся в разрезе халатика. Все оказалось просто, совсем просто. Дробышев подумал, что напрасно он в тот раз деликатничал. Грубее и проще следует относиться ко всему.

— Костик организует рыбалку, поедем на Сивый остров,— планировала Клава, глядя ему в глаза.

Селянин согласно посмеивался. Он как бы демонстрировал свою семью, свою новую прекрасную жизнь.

— Да, да, чудесно... только я еще не знаю,— отвечал Дробышев.

— Это почему?— насторожилась Клава, поглядывая то на него, то на мужа.

Дробышев глотнул коньяку, зажмурился. Самолюбие мешало ему пожаловаться.

— Дела. Все течет, все меняется.

— Что наша жизнь? Дела!— пропел Селянин, не то сочувствуя, не то забавляясь.

— Опять дела,— Тома возмутилась.— Что с мужиками происходит? Уж бабы вроде всю работу на себя забрали, ваше дело ухаживать. Так нет, силой надо заставлять. То в политику норовят вырваться, то техника. Свою мужскую профессию начисто разучились исполнять. Ты, Клава, не мигай. Мужик, извиняюсь, мужчина — это звание повыше доктора наук, верно я говорю, Денис Семенович?— Она взяла Дробышева под руку, прижалась, пышные волосы ее щекотали ему лицо.

— Ладно, что будет, придет,— беспечно возгласил Дробышев.

Ему казалось, что все может стать как прежде, когда не было особых забот, все получалось само собой, легко и весело.

— Все-таки исхалтурились мужчины,— не унималась Тома.— Норовят все наспех. Мне хоть бы раз в жизни кто письмо написал, чтобы на пяти страницах, чтобы поплакать всласть. Эх, жила бы я в большом городе, я бы такой роман закрутила... Профессор, вы меня понимаете, в лучшем смысле?..

— Тома!— сказала Клава.

— Понимаю, очень даже понимаю,— смеясь сказал Дробышев.— А вот Константин Константиныча не понимаю.

— Это в чем?— спросила Клава.

— Да так, пустяки, приглашаю его переехать в Москву,— как бы между прочим сказал Дробышев,— к нам в лабораторию, есть сейчас вакансия.

— Точно,— самодовольно подтвердил Селянин.— Но я категорически.

Тома вскочила:

— И дурак. Профессор, вы меня уговорите. Я вашим очкарикам тонус быстро подниму.

Клава засмеялась вместе со всеми, словно разделяя самодовольство Селянина, и Дробышеву захотелось уязвить ее, нарушить это согласие.

— Рутинером стал ваш супруг, ба-альшим рутинером,— сказал он.— Чурается всякого прогресса... не желает ни во что ввязываться...— Дробышев погрозил Клаве.— Ваше влияние? Да, недооцениваем мы роль жен в развитии науки. А впрочем, бог с ним, с прогрессом. Важно, чтоб вы были довольны. Вдали от шума городского... Вы ведь этого хотели!

Она ожесточенно, с вызовом кивнула:

— Конечно. А то как же... Но, между прочим, вы напрасно, Денис Семенович, так выводите. Костя на заводе передовиком является. На городской Доске почета он выставлен. Увидите. Его ценят. Считается, что если провинция... а провинцией всюду можно стать. И полнокровной жизнью можно всюду... Телевидение у нас через «орбиту». Кино первым экраном. Мы ничего не пропускаем. Мы теперь, когда в Москву приезжаем, все театры обходим...

— Побывали, значит, в Москве!— вырвалось у Дробышева.

Она улыбнулась ему как бы поверх своей обиды, благодаря за то, что он вспомнил.

— Побольше иных москвичей ходим. На «Современник» я билеты достала. Вы, конечно, Брехта смотрели...

— Нет, не смотрел.

— Ну вот,— торжествующе сказала она.

Дробышев почувствовал какое-то разочарование и все-таки порадовался за нее. В конце концов, это было дело его рук, его заслуга. Неважно, что ему пришлось перетерпеть из-за этого и до сих пор расхлебывать, зато им, и ей, Клаве, он помог, и, может быть, это как-то оправдывает... Так что ж это было — ошибка или напротив? Хорошо или плохо он поступил тогда? Но как же может быть плохо, если они ожили, расцвели...

Селянин тихо улыбнулся: «Убедились? Ко мне не подступишься, все в порядке, так что зря беспокоитесь».

— И все ты врешь, Клава,— вдруг проникновенно, хмельным голосом сказала Тома.

Молчание наступило резко, плотно заполнив каюту. Клава взяла стопку, повертела ее, с маху поставила назад, расплескав коньяк.

— Не слушайте ее, Денис Семенович,— она растянула губы в жесткой улыбке.— Тома любит поперек.

Она прищурила глаза, лицо ее остановилось, и низким грудным голосом запела:

Дорогой длинною, да ночкой лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня...

Щемящая ее тревога и смятение были не по песне, казалось, сейчас от боли песня оборвется, но тут вступил Селянин, подхватил, заслоняя ее своим сильным голосом, повернув на отчаянность, на ту забубенную лихость, которая уводила от цыганщины куда-то в российское раздолье, в туманные поля, что тянулись за окном.

Клава замолчала, отвернулась к окну. Дробышев видел ее легкое отражение в стекле. Взгляды их сходились где-то на гранитном валуне, на тропке, ныряющей в ивняк, а иногда скрещивались в прозрачной толще стекла.

Селянин уже пел один, пел старые забытые песни — про атамана Кудеяра, про отраду, что живет в высоком терему, пел для себя, не думая ни о Дробышеве, ни о женщинах.

«А что, если он и впрямь счастлив,— подумал Дробышев,— и ничего другого ему не надо?»

Тома блаженно улыбалась:

— Хорошо!

«Да, да, хорошо,— думал Дробышев.— Но что мешает мне, почему не верю я этому счастью?»

— Сюда бы гитару,— пожалел Селянин. Он налил себе, поднял стопку.— За ваше здоровье!— сказал он Дробышеву.— За ваши успехи!

Дробышев поклонился.

— Спасибо. Это мне очень поможет...— Он усмехнулся, тоже поднял свою стопку.— Ладно, я, наверное, чего-то не понимаю, но я рад видеть вас такими счастливыми...

— Эх, профессор, простая вы душа,— сказала Тома.— Нам, бабам, другое счастье нужно, не такое, как вам. Мы ведь столько можем... А можем и впустую отцвести...— перехватив взгляд Клавы, она махнула рукой:— Язык у меня наперед ума... Вот объясните мне, профессор, почему я в Москве букашкой себя чувствую. Арбат новый вымахали. А я от этой красоты расстраиваюсь. Иду, и кажется мне, будто жизнь упускаю.

«И верно, и со мной так бывает»,— растроганно подумал Дробышев. Он почувствовал руку Клавы, сильное и теплое ее прикосновение и обрадовался.

— Вы что, не согласны?— спросила Тома.

— Наоборот. Но вы себе противоречите.

— Это я всегда. И себе, и другим.— Она произнесла это как само собой разумеющееся, и Дробышев позавидовал ей. Ему тоже захотелось противоречить себе, избавиться от своей логики, от привычки искать во всем причины, следствия. Все равно эти причины и логика могут объяснить только видимость, а есть еще и другое, сокровенное, может, самое-то и важное... Вот они сидят, четверо взрослых, что-то говорят, и в то же время между ними существуют тайные отношения, совсем иные, чем кажутся, у него с Клавой эти прикосновения, и, наверное, у Томы с Клавой тоже что-то происходит, о чем он не знает, и у Селянина с Клавой... И все это отдельно от их слов, а кроме того, у каждого еще что-то внутри творится...

Продолжая чувствовать руку Клавы, он спросил:

— А вы видели, как я садился на пароход?

— Я? Нет.

— Значит, Константин Константинович стоял один?

— Что же ты мне не сказал, Костя?— спросила Клава с внезапным вниманием.

Селянин чему-то улыбнулся.

— Я думал, что вам будет неприятно встретиться с нами.

— Почему же?— искренне удивился Дробышев, забыв о неприятностях, какие доставил ему Селянин.

— Не знаю.

— Вы же мне ничего плохого не сделали. Может быть, наоборот, вам было неприятно?— спросил он уже с умыслом. Какое-то мгновение они, все трое, балансировали над краем воспоминаний.

— Не знаю,— равнодушно повторил Селянин.— Леша, тебе спать пора.

— Да, пойди уложи его,— попросила Клава.

Дробышев поднялся.

— И мне пора.

— Вы погодите, вы постарше.— Клава потянула его за рукав.

Селянин легко поднял Лешу и вынес его.

— Атлет,— сказал Дробышев.— Чем вы его кормите?

— Первый месяц, как приехал, ложку не мог держать, так руки тряслись,— вспомнила Тома.

Клава смотрела куда-то между Томой и Дробышевым. Высокий лесистый берег закрыл небо. В каюте потемнело.

— Тома...

— Понятно,— сказала Тома.— Пойду я на свежак, повздыхаю.

Дверь затворилась. Некоторое время они слушали удаляющиеся шаги по коридору. Обозначились какие-то мелкие звуки на палубе.

— Снова мы одни,— сказал Дробышев.

— Да, да,— нетерпеливо кивнула Клава, не спуская с него глаз. Дробышеву казалось, что она разглядывает не его, а того, который тогда взял ее за плечи, или, может быть, она видела сейчас ту себя, заплаканную, измученную...

— Я потом сразу хотела позвонить вам. Сколько раз я говорила с вами. Придумывала. А теперь вот... Идите сюда.— Она взяла его за руку.— Нет, лучше так. Вы-то вспоминали обо мне? Хоть разик?

Лицо ее приблизилось. Дробышев ощутил запах ее кожи, волос, ему казалось, что он и впрямь вспоминал о ней, хотел ее видеть, то, что было между ними, то несостоявшееся, оно до сих пор живое, потому и живое, что не состоялось.

— А-а-а, не все ли равно... Если бы не вы... Я изменилась?

Смуглая кожа туго обтягивала ее упругое тело; любуясь, он признался грубовато:

— Вы стали заманчивей.

— Задержитесь у нас, чего вам стоит. В нашем доме сосед есть, старик, у него квартира пустая, я устрою, вам удобно будет.— Она говорила деловито, бесстыдно, и Дробышев так же бесстыдно прикинул — почему бы не воспользоваться, чтобы она уломала Селянина помочь с заказом?

— Ну, как вам Костя?— Она быстро пересела к нему на диван, положила руку ему на колено.— Не тот он, верно? Думаете, что я виновата?

Глаза ее были совсем рядом, ему хотелось увидеть, как они затуманятся, покачнутся.

— Черт возьми,— пробормотал он.

— Он что — не хотел вам помочь?— шепнула она, как бы угадывая.

Дробышев привлек ее к себе, но тут же остановился, сказал с шутливым вздохом:

— Эх, закрыть бы сейчас дверь.

— А что, я могу!— она выпрямилась, ожидая.

И Дробышев вдруг понял, что она действительно может. Она ничего не боится. Предложи он сейчас сойти на первой пристани — она ведь согласится, сойдет. У него в груди замерло, когда он представил, как они сбегают по шатким сходням, поднимаются в незнакомый городок, эти первые шальные минуты вдвоем, а там будь что будет...

Вырваться хоть на недельку, забыть про всех и про все, про скопленные за два года нерешенные дела,— цепкие, нудные, неотвязные, вроде бы и помыслить нельзя об этом, а вот случись с ним инфаркт, и все дела отодвинутся, станут неважными перед той тонкой пленкой, что удерживает сердце от разрыва. Вот тогда-то и вспомнится эта рука, вспомнится то, от чего отказался, то, чего не было. Он знал, что пожалеет о том, что не сошел. Он всегда будет спрашивать себя, почему он этого не сделал. Непонятно...

— Вы молодец,— сказал он.— Но не будем делать глупостей.

Она не обиделась, она посмотрела на него задумчиво:

— Господи, неужели это вы?

Зрачки ее затопили глаза, в их блестящей черноте Дробышев увидел себя и понял, что она все еще видит в нем прежнего Дробышева, удачливого, уверенного в себе, пожалевшего несчастного ее мужа. Или хочет видеть, думал он, самонадеянным, имеющим на все ответы... Господи, неужели я был таким. Он разглядывал себя в ее зрачках и все хотел понять: а что же она сейчас видит?

— Тогда я, наверное, вам больше нравилась?— спросила она.— Вы несчастненьких любите. Иначе как же себя показать. Вам люди нужны, чтобы себя в них разглядывать. Я это заметила. Это вы виноваты, что он стал такой...— Она сморщилась, замотала головой.— Что я, вы тут ни при чем, ведь вы из-за меня...— Она прислушалась, быстро обняла Дробышева, поцеловала в губы.

— Не слушайте, что я говорю,— шепнула она.

Дверь отворилась. Клава успела отодвинуться, но Дробышев нарочно не отпустил ее руки.

— Сумерничаете,— сказал Селянин.

Фигура его заполнила дверной проем. Дробышев, не торопясь, освободил руку Клавы.

— К Залучью подходим,— сообщил Селянин как ни в чем не бывало.

Клава поднялась, стала к окну.

— Сходите посмотрите,— сказала она.

Теплоход приваливал к пристани. Разносились слова команды. Отдали правый якорь. Прогрохотала цепь. Дробышев стоял, наблюдал слаженную работу матросов, толкотню на пристани, кого-то встречали, кого-то провожали, и те и другие обнимались, всхлипывали. Грузились бородатые изыскатели с огромными рюкзаками, удочками, аппаратами.

— Здесь алебастр нашли,— пояснил над его ухом Селянин.

Дробышев не обернулся.

— Тут теплый ручей есть, мы ездили сюда зимой купаться.— Селянин помолчал.— Вообще-то я зимой в проруби купаюсь. Укрепляет нервную систему. Помните, какой я задохлик был?

— Да, укрепили,— не выдержал Дробышев.— Вас теперь ничем не прошибешь.

— Вы о Клаве? Вы не обращайте внимания, с ней бывает.

— Ах вот как...— сказал Дробышев.— Неплохо вы устроились. Полный душевный комфорт.

Он замолчал, поняв, что Селянин ждет вопросов, хочет как-то оправдаться.

— Больше мы на юг не поедем. У нас тут спокойней. На Сивом озере такой дом отдыха! Приезжайте в отпуск. А что, берите супругу и приезжайте.

Дробышев внутренне вздрогнул, как будто его обожгли.

— Никак не могу определить, какого цвета тут вода,— поспешно сказал он.

Гладь воды отливала голубым, розовым, но все ее краски были иными, чем на небе, темней, сталистей, и ни одну из них нельзя было точно назвать. Позади стемнело, где-то за лесами закат еще продолжался, там что-то тлело, мерцало. На мачтах загорелись фонарики.

Ему захотелось, чтобы Зина видела эту красоту, чтобы они плыли в этом тихом темном покое, отдыхая, ни о чем не заботясь. Что она имеет последние годы — одни ожидания. Сперва его кандидатская, потом его докторская, теперь эта его работа. И постоянно она должна его подбадривать, утешать, откуда только она силы берет. Почему, с какой стати он старается ради каких-то будущих, неизвестных ему людей, а рядом живет человек самый близкий ему, и что она имеет?

— ...Вот мы отплывем, все уйдут с пристани, лягут спать,— прочувствованно говорил Селянин.— А ведь плес останется, ельник в воде, молоко это над травой, для кого ж эта красота будет? Ведь до утра никто не взглянет. Выходит, зазря чудо это пропадет.— Он слегка волновался.— Кроме человека, ведь никто не может оценить, насладиться. Никто, верно? Не может быть, чтобы природа сама для себя...

— И что же отсюда следует?

Насмешливый тон смутил Селянина, но он продолжал:

— Может быть, природа подсказывает нам: пользуйтесь красотой, принимайте ее.— Он стеснительно протянул руку, будто оглаживая эти дали, и леса, и тихую воду.

Дробышев крепко сжал поручни, засмеялся:

— Вам бы поселиться здесь, в тиши. Покой и полное слияние. Чтоб начальство и планы не мешали вашему счастью созерцать, купаться в проруби.

— На свете счастья нет,— мягко сказал Селянин,— а есть покой и воля.

— Как вы сказали?

— Это не я, помните, у Пушкина?

— Покой и воля,— повторил Дробышев с нарастающей злостью.— Ах какой милый рецепт. Пушкин не достиг, а вы достигли. И как же это устраивается в наше бурное время?

Наверное, следовало сдержаться, потому что Селянин сразу замкнулся, выставив свое ленивое равнодушие, даже иронию прибавил.

— Очень просто. Как все великое. То, что меня окружает, и то, из чего состоит моя жизнь, прекрасно. Потому что сама по себе жизнь прекрасна. Примерно как у Гегеля.

— И все?— подождав, спросил Дробышев.— А я-то думал, Пушкин, Гегель, сами-то вы куда делись?

Теплоход разворачивался, выходил на середину реки. Литая полированная волна опять прилепилась к корпусу.

Селянин вздохнул еле слышно, кротко:

— В нашей жизни столько радостей, столько хорошего — принимай и наслаждайся. У нас любят начальством огорчаться. А меня начальство возлюбило, в некотором смысле за то, что не оправдал опасений. Предложил я, к примеру, новую форму сепараторов. Невозможно, говорят, штампов нет. Опасались, что я буду настаивать. А я не спорю. Вправду нет штампов. Будет возможность, они сделают. Они ведь тоже понимают, что к чему. Ужасно им понравилось это доверие. Даже ласкать стали. Сами беспокоятся. Парадокс? Представьте, благодаря таким отношениям больше удается сделать.

Зыбкий белесый свет мешал Дробышеву уследить подробности выражения его лица. А все дело было в подробностях, потому что Селянин наверняка лукавил, может, даже издевался над ним. И в то же время Дробышев чувствовал, что Селянину что-то нужно от него.

Селянин тоже беспокойно кружил, как бы подманивал его, дразнил, ни разу не напомнив, чей совет он выполняет, чьи слова повернули его жизнь, или, во всяком случае, способствовали. Он не ссылался, не возвращался к тому дню, но Дробышев все время ощущал скрытое лезвие, нож, который мог блеснуть в любое мгновение.

— Чем же вы заняты, душевно заняты? — идя ему навстречу, спросил Дробышев.— Рыбачите? Смороду выращиваете? Чем вы живете?

— Вы не представляете, сколько всякого, кроме работы. Мы с Лешей цветной телевизор мастерим. Слежу за международными событиями. Китай меня занимает. Я в связи с этим молодого Маркса изучаю. «О краже леса» читали? Замечательно...

Вдали, на горе, сквозь березняк светились серебристые башни.

— Химический комбинат,— пояснил Селянин.— Полная автоматизация. Превосходно сделано.

— Не верю я вам,— сказал Дробышев.— Что-то не сходится.

— Что же именно? — с готовностью отозвался Селянин.

— Вы же талантливый человек... При чем тут цветной телевизор? Нельзя же этим исчерпать...

— Я так и знал, вам нужна моя неудовлетворенность,— подхватил Селянин.— Чтобы я втайне мечтал, грыз себя, сожалел, мучился... Но о чем? Раньше я оттого, что не мог добиться, винил всех...

— А теперь элениум,— тоже прервал его Дробышев.— Таблетка элениума — вот ваш покой. А где же воля, воля-то в чем?

— Я перестал быть рабом своих идей.

— Что же вы, душите их, пока они слепые?

— Нет, я не вынуждаю людей заниматься ими. Если что придет — отдаю, делайте, как считаете нужным. Почему моя идея должна всем нравиться? Не обязательно она самая лучшая, вот, например...

— Ах какая доброта, бери — не хочу, не хотите внедрять — пусть гниет, мне на...— выругался Дробышев.

— Да вы поймите, меня ж никто не заставляет, и я не хочу заставлять, я ради себя, мне самому это приятно. Я ради жены, сына. Могу я позволить себе... Ну как вам это объяснить? Любовь чувствуешь, когда жертвуешь чем-то. Она же конкретной должна быть. Неужели вам никогда не приходило в голову, что сколько б ни сэкономить киловатт-часов, они не прибавят...

— Приходило, давно это известно, я сам наблюдал в Англии,— возбужденно прервал его Дробышев.— Но гражданин где? За что вы боретесь, с чем? Гражданское чувство, без него... это ж мещанство. За чей счет ваш покой? Да, да, сколько вы ни заслоняйтесь Доской почета, все равно...

— А что такое гражданин? Не знаю. «Пройдемте, гражданин». Нечто милицейское, а? Все изменилось. Гражданин не оппозиция. По отношению к кому мне быть гражданином? К своему директору? Так он болеет за завод больше меня. Лучшее, что я могу,— помогать ему. Кого критиковать? И начальники, и мои инженеры — мы все знаем наши беды. Легче всего — на начальство валить. Я убедился — от такой критики вреда больше, чем пользы. Вот вы вернетесь от нас, допустим, ни с чем. И начнут ваши подручные склонять вас, упрекать. Ну кому, спрашивается, от этого польза? Разве этим поможешь? Будто вы сами не переживаете.

Они вышли на корму, где было безветренно, тепло, там дремали, похрапывали, примостясь на мешках. Кто-то наливал, бренча бутылкой о стакан, сладко крякал.

Домашние эти, уютные звуки мешали Дробышеву, были против него, они словно возражали ему вместе с этой сонной рекой, рыбачьим костерком на берегу, запахом дыма, со всеми простыми и верными радостями жизни. «Как много аргументов у малодушия,— подумал он,— любые слабости, измены, косность — все они вооружены, у них всякие слова, манки, оправдания...»

— Вы уверены, что им это нужно?— спросил Дробышев.

— Кому им?— голос Селянина дрогнул. Старые морщины проступили на лице Селянина, вблизи оно не казалось уже таким моложавым.

— Клавдии Сергеевне, к примеру. Что, ей так лучше?

— Знаете что...— угрожающе начал Селянин, но вдруг усмехнулся.— А впрочем, давайте выкладывайте, что вы имеете в виду.

— Да так... мне казалось, что все же раньше была у вас какая ни на есть цель. Был смысл, была страсть...

Дробышев остановился, внезапно сообразив, что за это самое он когда-то высмеивал Селянина, ломал его, явственно вспомнилось ощущение хруста...

— Сейчас вы, конечно, вспоминаете тот наш разговор,— казня себя, твердо начал он.— Вы можете спросить...

— А чего вспоминать, чего именно?

— То, что я говорил вам, советовал...

— Подсчитать, проверить? Сперва я пытался, было дело...

— Да я не про то,— раздраженно оборвал Дробышев.— Я про то, что мы потом, и в передней, насчет смысла, и насчет Брагина, и еще...

— Нет, не помню,— глядя ему в глаза и улыбаясь, сказал Селянин.— Память стала никудышная.

— Бросьте, что вы все время придуриваетесь?— в ярости от этой улыбки прикрикнул Дробышев.

— Ей-богу, да с чего вы взяли? И была охота вам ворошить?!— уверял Селянин.— Не знаю, что вам Клава наговорила, на нее иногда находит такое настроение...

— Думаете, это настроение?— мстительно сказал Дробышев и стал закуривать. Когда он поднял голову,

Селянин стоял перед ним, засунув кулаки в карманы, по-бычьи пригнувшись вперед.

— Послушайте, а что вы, собственно, хотите от меня? Почему вы вмешиваетесь? По какому праву? Вот именно, откуда вы право взяли себе такое — судить? — спрашивал он тихо, ровно, но вздутые кулаки его еле удерживали накопленное чувство.

«Да, да, какое я имею право,— опомнился Дробышев,— если он доволен своей жизнью, почему я считаю, что он должен жить иначе».

Но как только он соглашался, он чувствовал, что все это не так.

— ...Похлопотал бы за ваши пластины — и я оправдан,— говорил Селянин.— Реабилитирован. Более того, уверяю вас, да вы бы мое душевное равновесие за образец посчитали. Творческая гармония, самоуглубление, богатство духовной жизни и прочие трали-вали. Но поскольку я отказываюсь, то сразу ничтожество. Погряз. Достоин презрения.

Неожиданный этот выверт поразил Дробышева, прямо-таки парализовал его. Несомненно, Селянин был убежден, что все так бы и перевернулось. Со стороны, наверное, так и выглядит, подумать только — и нечем опровергнуть, ничем не докажешь.

— А у вас какие доказательства?— спасаясь, выкрикнул Дробышев.— Вы же не по существу. Все дело в том, почему вы не хотели помочь. Тут-то и обнаружилась ваша...

Но Селянин, не давая оправиться, сбил его твердым своим голосом:

— ...Вам лишь бы подчинить себе, использовать. А все, что вам не способствует, то, значит, плохо. Потому что вы подвижник, вы крест на себя взвалили. У вас великая миссия.

— Я взвалил, я и несу,— болезненно морщась, вставил Дробышев.

Селянин словно этого и ждал, именно этих слов, этой мучительности, этого последнего всплеска.

— Так ведь не донесете,— с безжалостной прямотой сказал он.— Не успеете. Дай бог, если помощники ваши доберутся. Я-то представляю, сколько вариантов перелопатить надо. Ну, допустим, с температурами управитесь. А завершать-то другие будут. Вы даже и не знаете, кому достанется... Вы, конечно, простите меня.

— Валяйте, все так,— согласился Дробышев.— И что же дальше-то, что?

— Я тоже спрашиваю, дальше-то что? И зачем вам это? Продолжали бы работы по электрохимии, книги, теорию, все шло у вас в полном согласии. Ну, появилась проблема, так зачем же самому, и чтоб все мосты сжечь. Правильно я говорю?

— Да, да, правильно,— с какой-то мучительной радостью согласился Дробышев.

— И в самом главном вы не уверены.

— В чем же?— замирая, спросил Дробышев.

— А в том, получится ли у вас.— И Селянин вцепился в него глазами, следя за каждой черточкой.

— Угадали,— с трудом сказал Дробышев.— Принцип-то у нас правилен, но может статься, что осуществить нельзя. С температурой, например. На нынешнем уровне. Так ведь выяснить любопытно.

— А если результаты вы не узнаете, тогда какой смысл? Хорошо, если затянется. А может, и полный пшик.

— Пшик — он уже через год-два обнаружится.

— Тогда что же?

— Тогда освищут. Не пожалеют,— почти со сладострастьем сказал Дробышев.— И правильно сделают. Я ведь свою репутацию заложил. Мне под нее поверили.— Он сел на скамейку. Дерево было влажное, холодное.— Вы спросите: зачем пошел на это?.. Как странно — вы, Селянин, уже не знаете, зачем идут на это, все забыли.

— Я тут ни при чем. Напрасно стараетесь. Мало того, что сами вы не уверены, так ведь и других увлекли. И меня хотите. Вас удивляет, как это я не согласен. Вы готовы всех заставить. Сто человек, тысячу. Вы уверены, что осчастливите меня и других. Да, заставить.

— А как, по-вашему, это делается?— услыхал Дробышев свой незнакомо тяжелый голос.— Какой ценой? Если надо, то и заставить.

— Жалко мне вас,— сказал Селянин, стоя над ним.— Это и есть рабство. Вы раб, вот какой ценой. Весь этот аскетизм ваш. Вам кажется, это высшее достижение. Вы не замечаете, каким вы стали, Денис Семенович. Потому что нельзя работать за счет жизни. Вы вот хотите меня заставить. А жизнь — это больше, чем работа. Я убежден в этом.

До чего ж знакомы были его слова. Где Дробышев их слышал? Да это он сам произносил их, давным-давно говорил он Селянину примерно те же слова, жизнелюбец Денис Дробышев, отраженный в овальном зеркале,— чудесный портрет, висящий в прихожей над телефоном, удачно найденная поза — прижимая плечом трубку, вывязывая галстук, доволен собой, хорош...

Наставив на Селянина палец, Дробышев беззвучно засмеялся. Смешно, до чего ж смешно увидеть себя в таком обличье.

Ничего не поняв, Селянин встревоженно огляделся.

— Нет-нет, джемпер в порядке,— успокоил Дробышев.— Брюки тоже. Только лицо исчезло. Пропала физиономия. Вы не волнуйтесь, здоровью это не вредит...

Сперва Селянин испуганно отступил, а потом, соболезнуя, покачал головой.

Перегнувшись через поручни, Дробышев ловил в сплющенных разводах воды свое отражение. Размытая его фигура как бы выплывала из круговерти, притягивая к себе, хотелось наклониться еще ближе, лицом к лицу...

Где-то рядом за переборками Селянин осторожно раздевался, блаженно вытягивал тело между простынями. Можно представить, как он дремотно ухмылялся диковинной этой встрече, нелепому поведению Дробышева и от этого еще полнее ощущал прочность защищенного покоя. Сонное дыхание Клавы сливалось с плеском воды, недавние тревоги растворялись, поднимались легкими пузырьками, и он засыпал — нет, отходил ко сну в сладостном сознании своей правоты и победы.

Но как же это могло быть, как мог он чувствовать себя победителем, если Дробышев не чувствовал себя побежденным? И неправым он тоже себя не чувствовал. Но не могут же оба они быть правыми.

Он с силой оторвался от поручней. Пора спать. Заснуть, отвязаться от всех этих вопросов.

Почему два года назад он все знал, на все мог ответить, ни в чем не сомневался...

Зайдя в туалет, он остановился перед стенным зеркалом, поскреб щетинистый подбородок, попробовал согнать морщины со лба, они спустились к губам, окружили рот глубокими складками. Он вгляделся в глаза,

пытаясь понять себя через свое отражение. Тот, из глубины зеркала, тоже изучал его. Дробышев нахмурился, взгляд этот был неприятен — казалось, тот, в зеркале, насквозь видит его и все понимает. А вот Дробышев не понимал, не понимал, откуда приближается, как дальняя гроза, чувство свободы и правоты, хотя он был несвободен, и неудачи измучили его, и сколько глупостей, оказывается, он совершил... Но в том-то и штука, что он не мог понять себя через зеркало, потому что там отражался не он. В зеркале был не его двойник. Дробышев даже улыбнулся: у того, в зеркале, дернулся левый глаз, а не правый, и сердце билось справа, а не слева. Они отличались друг от друга. Дробышев существовал сам по себе, и никакие отражения в Селянине, в Клаве не могли повторить его. Нигде он не мог увидеть самого себя... Почему-то это удивило и успокоило его.

В каюте, не раздеваясь, он плюхнулся на койку.

Очнулся он, словно кто-то окликнул его. Спросонок он не сразу разобрал, кто, почему, потом вспомнил, посмотрел на часы — пять. Затекшее усталое тело молило об отдыхе. Внизу нежно посапывал старичок. Сквозь жалюзи пробивался свет, и вся каюта была в алых полосах. Дробышев заставил себя подняться. Некоторое время он тупо сидел на койке, покачиваясь из стороны в сторону.

Теплоход завибрировал, задрожал, давая задний ход. Дробышев встал, взял портфель, тихонько вышел. Двигался он в полудреме, сложным путем, пока не очутился перед каютой Селяниных. Дверь бесшумно отворилась. Он нисколько не удивился, увидев Клаву, и она тоже не удивилась. На ней было накинутое на плечи пальто, селянинские туфли на босу ногу. Молча спустились они на нижнюю палубу.

— Я так и знала.

— Откуда?

— Здесь, в Пирютине, аэропорт.

— Да, да,— сказал он как бы еще во сне.

— Ты домой?

— В Кострому. Там есть заводик, вроде вашего.

— Да, я знаю.

— У меня там ученик один... Может, он посодействует.

Она положила ему руки на плечи, пальто ее распахнулось, открыв голубенькую ночную рубашку.

— А то останься, я уговорю Костю,— сказала она без всякой надежды. Прижалась к нему, и он уткнулся в угол между ее шеей и плечом, окунаясь в тепло.

...Дрожащее тепло речной заводи, нагретых камышей, сладких дудок с бархатистыми коричневыми шишками рогоза.

Припеченный солнцем старинный городок, с городским парком, щелканьем выстрелов в тире, белой церковью на берегу.

...Всего несколько дней. Имел же он право. Нельзя работать за счет жизни... Покой и воля... Кто дал право ему вмешиваться... Хорошо или плохо он сделал... Он хотел остаться — вот чего он боялся. Его тянуло к этой теплой беспечной жизни, к прежней легкости, где все станет опять просто, передать лабораторию можно кому-нибудь из молодых, стать консультантом, вернуться на кафедру, перейти в НИИ, сколько возможностей...

Теплоход задрожал еще сильнее, подваливая к пристани, и вдруг, смолкнув, мягко толкнулся о кранцы.

— Пора,— сказал Дробышев.

Холодный воздух выдул из него остатки сна.

— И так я задержался. Я уже не могу рисковать.

— Я хотела помочь тебе.

Он вдруг увидел ее отдельно, она существовала сама по себе, независимо от его спора с Селяниным, от той игры, которая происходила у Дробышева с ней, была она сама, зябко кутающаяся в пальто, невесть когда ставшая ему близкой.

— Почему, почему все так...— сказала она в отчаянии. Мелкий озноб колотил ее. Дробышев виновато пригладил растрепанные ее волосы. От этого прикосновения она заплакала.

— Ну что ты, не надо,— сказал Дробышев.— Кто-то ведь должен.

Она смолкла, не понимая его слов. Он и сам не мог понять их. Что он имел в виду? Кто-то должен заменить того Селянина? Кто-то должен начать окаянную работу над аккумуляторами? Кто-то должен жертвовать, отказываться, быть черствым, не знать ответа...

Устанавливали сходни. По мокрому пирсу, лая, бегала собака. Окна пристани пылали, плавились от утренней зари.

Стиснув отвороты пальто, Клава заплакала еще горше. Она не стеснялась ни вахтенного, ни пассажиров. Дробышев чувствовал, что плакала она уже не о нем, а

о чем-то другом, куда более горьком и трудном. Он неловко топтался подле нее с портфелем в руке, не зная, что делать, готовый от сострадания на все.

— Я останусь, ради бога успокойся...

Она помотала головой и порывисто плечом подтолкнула его к сходням, которые уже втягивали на борт. Дробышев перебежал на пирс.

Не махнув рукой, не оглянувшись, Клава сразу ушла, и Дробышев, постояв, пошел в кассу, узнал, что до аэропорта пять километров, автобус придет через часполтора и лучше выйти на шоссе проголосовать, а то и просто дойти пешком.

Мощенная булыжником дорога поднималась на вал. У каменного верстового столба Дробышев остановился. Солнце только взошло, еще красное, огромное. Дали речной поймы с плесами, заливными лугами, лесобиржей — все было окрашено спело-красным светом. Река лежала совсем алой, и по ней, оставляя дрожащий след, медленно выходил на стрежень теплоход. Белые палубы его пустынно сквозили, только у рубки темнела одинокая фигурка. Заслоняясь рукой от солнца, Дробышев тщетно всматривался — все растворял слепящий блеск.

Он знал, что Клава видит его. Можно еще было что-то крикнуть, докричаться в этой солнечной просторной тишине. Он был виноват перед ней, виноват, может быть, больше, чем он знал, но она плакала сейчас не из-за него, и он ничем не мог помочь.

Ясное, без единого облачка небо поднималось над теплоходом. Оттуда, с палубы, Дробышев виделся ничтожной, крохотной мошкой. И собственная жизнь показалась ему такой же крохотной, мгновенной, смысл ее был неразличим. Может, только Клава видела сейчас его таким, каким он, Дробышев, был на самом деле, каким он никогда не может увидеть себя сам.

Теплоход удалялся, таял. Что-то горькое набежало Дробышеву на глаза, он уже ничего не видел, только едкий до рези блеск. Он не сразу понял, что это слезы. Он пробовал смахнуть их, но они вскипали снова.

«О чем я плачу?— пытался понять он.— Не из-за нее. Ведь это хорошо, что она чувствовала себя несчастной».

Он облизнул губы, ощутил забытый с детства соленый вкус слез.

«Как это хорошо, что я плачу»,— подумал он, не в силах объяснить свое мучительное, щемящее и счастливое чувство.

Дорога спускалась к ложбине. В последний раз он оглянулся: река была пуста, посверкивал гранитный верстовой столб, похожий на обелиск, на памятник тем временам, когда верста была расстоянием. Дробышев шагал по мягкой обочине. Болело сердце. Портфель оттягивал руку. Пустынная дорога не предвещала попуток. Он представил себе хлопоты в Костроме, звонки из проходной, смущенную озабоченность своего ученика, питье водки и хитрые разговоры с мастерами, обратный путь поездом, сколько раз ему придется мотаться туда, пока изготовят пластины, и надо еще разместить заказы — на измерительные аппараты, добывать реактивы, опять валяться на гостиничных койках, опять упрашивать, доказывать, уклоняться от брагинских интриг...

Вроде ведь никто не заставлял его делать все это? Почему не кто другой, а именно он, Дробышев, обязан? Какого черта он не может бросить, отказаться, вернуться к прежней, спокойной жизни? Казалось бы, чего легче, казалось, все толкает его к тому, а вот не может... Что же, что мешает ему? Как называется это непонятное чувство, откуда оно пришло, и как это оно вдруг стало главным в его жизни?..

1970

ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

где автор размышляет, как бы заинтересовать читателя, а тот решает, стоит ли ему читать дальше

Рассказать об этом человеке хотелось так, чтобы придерживаться фактов и чтобы было интересно. Довольно трудно совместить оба этих требования. Факты интересны тогда, когда их не обязательно придерживаться. Можно было попытаться найти какой-то свежий прием и, пользуясь им, выстроить из фактов занимательный сюжет. Чтобы была тайна, и борьба, и опасности. И чтобы при всем при том сохранялась достоверность.

Легко было изобразить, например, этого человека бесстрашным бойцом-одиночкой против могущественных противников. Один против всех. Еще лучше — все против одного. Несправедливость сразу привлекает сочувствие. Но на самом деле было как раз — один против всех. Он нападал. Он первый наскакивал и сокрушал. Смысл его научной борьбы был достаточно сложен и спорен. Это была настоящая научная борьба, где никому не удается быть окончательно правым. Можно было приписать ему проблему попроще, присочинить, но тогда неудобно было оставлять подлинную фамилию. Тогда надо было отказаться и от многих других фамилий. Но тогда бы мне никто не поверил. Кроме того, хотелось воздать должное этому человеку, показать, на что способен человек.

Конечно, подлинность мешала, связывала руки. Куда легче иметь дело с выдуманным героем. Он и покладистый, и откровенный — автору известны все его мысли и намерения и прошлое его и будущее.

У меня была еще другая задача: ввести в читателя все полезные сведения, дать описания — разумеется, поразительные, удивительные, но, к сожалению, неподходящие для литературного произведения. Они скорее годились для научно-популярного очерка. Представьте

себе, что в середине «Трех мушкетеров» вставлено описание приемов фехтования. Читатель наверняка пропустит эти страницы. А мне надо было заставить читателя прочесть мои сведения, поскольку это и есть самое важное...

Хотелось, чтобы о нем прочло много людей, ради этого, в сущности, и затевалась эта вещь.

...На крючок секрета тоже вполне можно было подцепить. Обещание секрета, тайны — оно всегда привлекает, тем более что тайна эта не придуманная: я действительно долго бился над дневниками и архивом моего героя, и все, что я извлек оттуда, было для меня открытием, разгадкой секрета целой жизни.

Впрочем, если по-честному,— тайна эта не сопровождается приключениями, погоней, не связана с интригами и опасностями.

Секрет — он насчет того, как лучше жить.

И тут можно возбудить любопытство, объявив, что вещь эта — про поучительнейший пример наилучшего устройства жизни — дает единственную в своем роде Систему жизни.

«Наша Система позволяет достигнуть больших успехов в любой области, в любой профессии!»

«Система обеспечивает наивысшие достижения при самых обыкновенных способностях!»

«Вы получаете не отвлеченную Систему, а гарантированную, проверенную многолетним опытом, доступную, продуктивную...»

«Минимум затрат — максимум эффекта!»

«Лучшая в мире!..»

Можно было бы обещать читателю рассказать про неизвестного ему выдающегося человека нашего времени. Дать портрет героя нравственного, с такими высокими правилами нравственности, какие ныне кажутся старомодными. Жизнь, прожитая им,— внешне самая заурядная, по некоторым приметам даже незадачливая; с точки зрения обывателя, он — типичный неудачник, по внутреннему же смыслу это был человек гармоничный и счастливый, причем счастье его было наивысшей пробы. Признаться, я думал, что люди такого масштаба повывелись, это — динозавры...

Как в старину открывали земли, как астрономы открывают звезды, так писателю может посчастливиться открыть человека. Есть великие открытия характеров и типов: Гончаров открыл Обломова, Тургенев — Базарова, Сервантес — Дон Кихота.

Это было тоже открытие, не всеобщего типа, а как бы личного, моего, и не типа, а скорее идеала; впрочем, и это слово не подходило. Для идеала Любищев тоже не годился...

Я сидел в большой неуютной аудитории. Голая лампочка резко освещала седины и лысины, гладкие зачесы аспирантов, длинные лохмы и модные парики и курчавую черноту негров. Профессора, доктора, студенты, журналисты, историки, биологи... Больше всего было математиков, потому что происходило это на их факультете — первое заседание памяти Александра Александровича Любищева.

Я не предполагал, что придет столько народу. И особенно — молодежи. Возможно, их привело любопытство. Поскольку они мало знали о Любищеве. Не то биолог, не то математик. Дилетант? Любитель? Кажется, любитель. Но почтовый чиновник из Тулузы — великий Ферма — был тоже любителем... Любищев — кто он? Не то виталист, не то позитивист или идеалист, во всяком случае — еретик.

И докладчики тоже не вносили ясности.

Одни считали его биологом, другие — историком науки, третьи — энтомологом, четвертые — философом...

У каждого из докладчиков возникал новый Любищев. У каждого имелось свое толкование, свои оценки.

У одних Любищев получался революционером, бунтарем, бросающим вызов догмам эволюции, генетики. У других возникала добрейшая фигура русского интеллигента, неистощимо терпимого к своим противникам.

— ...В любой философии для него была ценна живая критическая и созидающая мысль!

— ...Сила его была в непрерывном генерировании идей, он ставил вопросы, он будил мысль.

— ...Как заметил кто-то из великих математиков, «гениальные геометры предлагают теорему, талантливые ее доказывают». Так вот он был предлагающий.

— ...Он слишком разбрасывался, ему надо было сосредоточиться на систематике и не тратить себя на философские проблемы.

— ...Александр Александрович — образец сосредоточенности, целеустремленности творческого духа, он последовательно в течение всей своей жизни...

— ...Дар математика определил его миропонимание...

— ...Широта его философского образования позволила по-новому осмыслить проблему происхождения видов.

— ...Он был рационалист!

— ...Материалист!

— ...Фантазер, человек увлекающийся, интуитивист!

Они многие годы были знакомы с Любищевым, с его работами, но каждый рассказывал про того Любищева, какого знал.

Они и раньше, конечно, представляли его разносторонность. Но только сейчас, слушая друг друга, они понимали, что каждый знал только часть Любищева.

Неделю до этого я провел, читая его дневники и письма, вникая в историю забот его ума. Я начал читать без цели. Просто чужие письма. Просто хорошо написанные свидетельства чужой души, прошедших тревог, минувшего гнева, памятного и мне, потому что и я когда-то думал о том же, только недодумал...

Вскоре я убедился, что не знал Любищева. То есть я знал, я встречался с ним, я понимал, что это человек редкий, но масштабов его личности я не подозревал. Со стыдом я признавался себе, что числил его чудаком, мудрым милым чудаком, и было горько, что упустил много возможностей бывать с ним. Столько раз собирался поехать к нему в Ульяновск, и все казалось, успеется.

Который раз жизнь учила меня ничего не откладывать. Жизнь, если вдуматься, терпеливая заботница, она снова и снова сводила меня с интереснейшими людьми нашего века, а я куда-то торопился и часто спешил мимо, откладывая на потом. Ради чего я откладывал, куда спешил? Ныне эти прошлые спешности кажутся такими ничтожными, а потери — такими обидными, и главное — непоправимыми.

Студент, что сидел рядом со мною, недоуменно пожал плечами, не в силах соединить в одно противоречивые рассказы выступавших.

Прошел всего год после смерти Любищева — и уже невозможно было понять, каким он был на самом деле.

Ушедший принадлежит всем, с этим ничего не поделаешь. Докладчики отбирали из Любищева то, что им нравилось, или то, что им было нужно в качестве доводов, аргументов. Рассказывая, они тоже выстраивали свои сюжеты. С годами из их портретов получится нечто среднее, вернее — приемлемо-среднее, лишенное противоречий, загадок — сглаженное и малоузнаваемое.

Этого осредненного объяснят, определят, в чем он ошибался и в чем шел впереди своего времени, сделают совершенно понятным. И неживым.

Если он, конечно, поддастся.

Над кафедрой висела в черной рамке большая фотография — старый плешивый человек, наморщив висячий нос, почесывал затылок. Он озадаченно поглядывал не то в зал, не то на выступающих, как бы решая, какую ему еще штуку выкинуть. И было ясно, что все эти умные речи, теории не имеют сейчас никакого отношения к тому старому человеку, которого уже нельзя увидеть и который так был сейчас нужен. Я слишком привык к тому, что он есть. Мне достаточно было знать, что где-то есть человек, с которым обо всем можно поговорить и обо всем спросить.

Когда человек умирает, многое выясняется, многое становится известным. И наше отношение к умершему подытоживается. Я чувствовал это в выступлениях докладчиков. В них была определенность. Жизнь Любищева предстала перед ними завершенной, теперь они решились обмыслить, подытожить ее. И было понятно, что теперь-то многие его идеи получат признание, многие работы будут изданы и переизданы. У умерших почему-то больше прав, им больше позволено...

...А можно сделать и так: предупредить читателя, что никакой занимательности не будет, наоборот, будет много сухой, сугубо деловой прозы. И прозой-то это назвать нельзя. Автор мало что сделал для украшения и развлечения. Автор сам с трудом разобрался в этом материале, и все, что тут сделано, было сделано по причинам, о которых автор сообщает в самом конце этого непривычного ему самому повествования.

ГЛАВА ВТОРАЯ

о причинах и странностях любви

Давно уж меня смущал энтузиазм его поклонников. Не впервые их эпитеты казались чересчур восторженными. Когда он приезжал в Ленинград, его встречали, сопровождали, вокруг него постоянно роился народ. Его «расхватывали» на лекции в самые разные институты. То же самое творилось и в Москве. И занимались этим не любители сенсаций, не журналисты — открыватели непризнанных гениев: есть такая публика,— как раз наоборот: серьезные ученые, молодые доктора наук — весьма точных наук, люди скептические, готовые скорее свергать авторитеты, чем устанавливать.

Чем для них был Любищев — казалось бы, провинциальный профессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не член ВАКа... Его научные труды? Их оценивали высоко, но имелись математики и покрупнее Любищева, и генетики позаслуженнее его.

Его эрудиция? Да, он много знал, но в наше время эрудицией можно удивить, а не завоевать.

Его принципиальность, смелость? Да, конечно...

Но я, например, не многое мог оценить, и большинство мало что понимало в его специальных исследованиях... Что им было до того, что Любищев получал лучшую дискриминацию трех видов Хэтокнема? Я понятия не имел, что это за Хэтокнем, и до сих пор не знаю. И дискриминантные функции тоже не представляю. И тем не менее редкие встречи с Любищевым производили на меня сильное впечатление. Оставив свои дела, я следовал за ним, часами слушал его быструю речь с дикцией отвратительной, неразборчивой, как и его почерк.

Симптомы этой влюбленности и жадного интереса напомнили мне таких людей, как Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, и Лев Давидович Ландау, и Виктор Борисович Шкловский. Правда, там я знал, что передо мною люди исключительные, всеми признанные как исключительные. У Любищева же такой известности не было. Я видел его без всякого ореола: плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик, с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез. Он умел подвергнуть

сомнению самые незыблемые положения. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Тейера де Шардена, Шредингера... Всякий раз доказательно, неожиданно, думал оттуда, откуда никто не думал. Видно было, что он ничего не заимствовал, все было его собственное, выношенное, проверенное. И говорил он собственными словами, в их первородном значении.

— Я — кто? Я — дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского «дилетто», что значит — удовольствие. То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие.

Еретичность была только признаком, за ней угадывалась общая система миропонимания, нечто непривычное, контуры уходящего куда-то ввысь грандиозного сооружения. Формы этого еще не достроенного здания были странны и привлекательны.

И все же этого было недостаточно. Чем-то меня еще пленял этот человек. Не только меня. К нему обращались учителя, заключенные, академики, искусствоведы и люди, о которых я не знаю, кто они. Я читал не их письма, а ответы Любищева. Обстоятельные, свободные, серьезные, некоторые — очень интересные, и в каждом письме он оставался самим собой. Чувствовалась его непохожесть, отдельность. Через письма я лучше понял свое чувство. В письмах он раскрывался, по-видимому, лучше, чем в общении. По крайней мере так мне казалось теперь.

Не случайно у него почти не было учеников. Хотя это вообще свойственно многим крупным ученым, создателям целых направлений и учений. У Эйнштейна тоже не было учеников, и у Менделеева, и у Лобачевского. Ученики, научная школа — это бывает не так часто. У Любищева были поклонники, были сторонники, были почитатели и были читатели. Вместо учеников у него были у ч а щ и е с я, то есть не он их учил, а они учились у него — трудно определить, чему именно, скорее всего тому, как надо жить и мыслить. Похоже было, что вот наконец-то нам встретился человек, которому известно, зачем он живет, для чего... Словно бы имелась у него высшая цель, а может, даже открылся ему смысл его бытия. Не просто нравственно жить и добросовестно работать, а похоже, он понимал сокровенное значение всего того, что делал. Ясно, что это годилось только для

него одного. Альберт Швейцер не призывал никого ехать врачами в Африку. Он отыскал свой путь, свой способ воплощения своих принципов. Тем не менее пример Швейцера затрагивает совесть людей.

У Любищева была своя история. Не явная, большей частью скрытая как бы в клубнях. Они начинали обнажаться лишь теперь, но присутствие их ощущалось всегда. Что б там ни говорилось, интеллект и душа человеческая обладают особым свойством излучения — помимо поступков, помимо слов, помимо всех известных законов физики. Чем значительнее душа, тем сильнее впечатление...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой автор сообщает сведения, разумеется, достойные удивления и раздумья

Никто, даже близкие Александра Александровича Любищева не подозревали величины наследия, оставленного им.

При жизни он опубликовал около семидесяти научных работ. Среди них классические работы по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии — работы, широко переведенные за границей.

Всего же им написано более пятисот листов разного рода статей и исследований. Пятьсот листов — это значит двенадцать с половиной тысяч страниц машинописного текста: с точки зрения даже профессионального писателя, цифра колоссальная.

История науки знает огромные наследия Эйлера, Гаусса, Гельмгольца, Менделеева. Для меня подобная продуктивность всегда была загадочной. При этом казалось необъяснимым, но естественным, что в старину люди писали больше. Для нынешних же ученых многотомные собрания сочинений — явление редкое и даже странное. Писатели — и те, похоже, стали меньше писать.

Наследие Любищева состоит из нескольких разделов: там работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции... Кроме того, он писал воспоминания о ряде ученых, о Пермском университете.

Он читал лекции, заведовал кафедрой, отделом научного института, ездил в экспедиции: в тридцатые годы он исколесил вдоль и поперек Европейскую Россию, ездил по колхозам, занимаясь вредителями садов, стеблевыми вредителями, сусликами... В так называемое свободное время, для «отдыха», он занимался классификацией земляных блошек. Объем только этих работ выглядит так: к 1955 году Любищев собрал 35 ящиков смонтированных блошек. Их было там 13 000. Из них у 5000 самцов он препарировал органы. Триста видов. Их надо было определить, измерить, препарировать, изготовить этикетки. Он собрал материалов в шесть раз больше, чем имелось в Зоологическом институте. Он занимался классификацией вида Халтика всю жизнь. Для этого надо иметь особый талант углубления, надо уметь понимать такие работы, их ценность и неисчерпаемую новизну. Когда у известного гистолога Невмываки спросили, как может он всю жизнь изучать строение червя, он удивился: «Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая!»

Любищев умудрился работать и вширь, и вглубь, быть узким специалистом и быть универсалом.

Диапазон его знаний трудно было определить. Заходила речь об английской монархии — он мог привести подробности царствования любого из английских королей; говорили о религии — выяснялось, что он хорошо знает Коран, Талмуд, историю папства, учение Лютера, идеи пифагорейцев... Он знал теорию комплексного переменного, экономику сельского хозяйства, социал-дарвинизм Р. Фишера, античность и бог знает что еще. Это не было ни всезнайством, ни начетничеством, ни феноменом памяти. Подобные знания возникали в силу причин, о которых речь пойдет ниже. Замечу, что, конечно, и усидчивостью он обладал колоссальной. Усидчивость — это ведь тоже свойство некоторых талантов, кстати — распространенное и необходимое для такой специальности, как энтомология: Любищев сам говорил, что принадлежит к ученым, которых надо снимать не с лица, а с зада.

Судя по отзывам специалистов — таких ученых, как Лев Берг, Николай Вавилов, Владимир Беклемишев, цена написанного Любищевым — высокая. Ныне одни его идеи из еретических перешли в разряд спорных,

другие из спорных — в несомненные. За судьбу его научной репутации, даже славы, можно не беспокоиться.

Я не собираюсь популярно рассказывать о его идеях и заслугах. Мне интересно иное: каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Последние десятилетия — а умер он восьмидесяти двух лет — работоспособность и идеепроизводительность его возрастали. Дело даже не в количестве, а в том, как, каким образом он этого добивался. Вот этот способ и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания Любищева. То, что он разработал, представляло открытие, оно существовало независимо от всех остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая,— так она возникла, но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни Любищева. Не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность.

Этика не имеет единиц измерения. Даже в вечных и общих определениях — добрый, злой, душевный, жестокий — мы беспомощно путаемся, не зная, с чем сравнить, как понять, кто действительно добр, а кто добренький, и что значит истинная порядочность, где критерии этих качеств. Любищев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработанные им и связанные как-то с его Системой жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

про то, какие бывают дневники

Архив Любищева еще при жизни хозяина поражал всех, кто видел эти пронумерованные, переплетенные тома. Десятки томов, сотни. Научная переписка, деловая, конспекты по биологии, математике, социологии, дневники, статьи, рукописи, воспоминания его, воспоминания его жены Ольги Петровны Орлицкой, которая много работала над этим архивом, записные книжки, заметки, научные отчеты, фотографии...

Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались — не из тщеславия и не в расчете на потомков, нисколько. Большею частью архива сам Любищев активно пользовался, в том числе и копиями собствен-

ных писем — в силу их особенности, о которой речь впереди.

Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную, и деловую жизнь Любищева. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года (!) — такого мне не встречалось. Биографу нечего было и мечтать о большем. Жизнь Любищева можно было воссоздать во всех ее извивах, год за годом, более того — день за днем, буквально по часам. Не прерывая, насколько мне известно, ни разу, Любищев вел этот дневник с 1916 года — и в дни революции, и в годы войны, он вел его лежа в больнице, вел в экспедициях, в поездах: оказывается, не существовало причины, события, обстоятельства, при которых нельзя было занести в дневник несколько строчек.

Николай Федоров, которого Толстой и Достоевский называли гениальным русским мыслителем, мечтал воскресить людей. Он не желал примириться с гибелью хотя бы одного человека. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». В фантастических человековлюбленных идеях его был страстный протест против смерти, невозможность примириться с ней, подчиниться слепой разлагающей силе — природе. Так вот, в федоровском смысле воссоздать Любищева, или «воскресить», можно, вероятно, легче и точнее, чем кого-либо другого, поскольку для этого имеется множество материалов, иначе говоря — параметров. Можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени — где он был в такой-то день, что делал, что читал, кого видел.

Естественно, что из его архива меня прежде всего заинтересовали дневники.

Писателя всегда манят дневники, возможности прикоснуться к сокрытому бытию чужой души, проследить ее историю, увидеть время ее глазами. Любой дневник, что добросовестно ведется из года в год, становится драгоценным фактом литературы. «Всякая жизнь интересна,— писал Герцен,— не личность, так среда, страна занимает, жизнь занимает...» Дневник требует всего лишь честности, раздумий и воли. Литературные способности иногда даже мешают беспристрастному свидетельству очевидца. Бесхитростные, самые простые житейские дневники — их почему-то так мало... Проходят годы, и вдруг выясняется, что события исторические,

народные, протекавшие у всех на глазах, затронувшие тысячи и тысячи судеб, отражены в записях современников и бедно, и скупо. Оказывается, что о ленинградской блокаде имеется считанное количество дневниковых, то есть самых насущных, документов. Часть, очевидно, погибла, другие затерялись, но и велось их мало, вот в чем беда,— дневников всегда не хватает.

Дневники Александра Александровича Любищева сохранились не все, большая часть его архива до 1937 года, в том числе и дневники, пропала во время войны в Киеве. Уцелел первый том дневников — большая конторская книга, красиво отпечатанная на машинке красными и синими шрифтами, начатая первого января 1916 года. Дневники с 1937 года до последних дней жизни составили несколько толстых томов: уже не конторские книги, а школьные тетрадки, сшитые, затем переплетенные — самодельно, некрасиво, но прочно.

Я листал их — то за шестидесятый год, то за семидесятый; заглянул в сороковой, в сорок первый — всюду было одно и то же. Увы, это были никакие не дневники. Повсюду я натыкался на краткий перечень сделанного за день, расцененный в часах и минутах и еще в каких-то непонятных цифрах. Я посмотрел довоенные дневники — и там записи того же типа. Ничего из того, что обычно составляет плоть дневников,— ни описаний, ни подробностей, ни размышлений.

«Ульяновск. 7.4.1964. Систем. энтомология: (два рисунка неизвестных видов Псиллиолес) — 3. ч. 15 м. Определение Псиллиолес — 20 м. (1,0).

Дополнительные работы: письмо Славе — 2 ч. 45 м. (0,5).

Общественные работы: заседание группы защиты растений — 2 ч. 25 м.

Отдых: письмо Игорю — 10 м.; Ульяновская правда — 10 м. Лев Толстой «Севастопольские рассказы» — 1 ч. 25 м.

Всего основной работы — 6 ч. 20 м.»

«Ульяновск. 8.4.1964. Систематическая энтомология: определение Псиллиолес, конец — 2 ч. 20 м. Начало сводки о Псиллиолес — 1 ч. 05 м. (1,0).

Дополнительные работы: письмо Давыдовой и Бляхеру, шесть стр.— 3 ч. 20 м. (1,0).

Передвижение — 0,5.

Отдых: брился. Ульяновская правда — 15 м. Известия — 10 м. Литгазета — 20 м.; А. Толстой «Упырь» — 65 стр. — 1 ч. 30 м. Слушал «Царскую невесту». Римский-Корсаков.

Всего основной работы — 6 ч. 45 м.»

Десятки, сотни страниц были заполнены вот такими уныло-деловыми записями по пять-семь строчек. Из этого и состояли дневники. По крайней мере, таков был результат первого осмотра.

На этом следовало бы и кончить с ними. Не было никакого резона возиться с ними еще, из этих сухих перечислений невозможно было выжать ни эмоций, ни любопытных деталей времени, язык их был бесцветно-однообразен, отсутствовала всякая интимность, они были почти начисто лишены горечи, восторга, юмора, подробности, которые иногда проскальзывали, были телеграфно иссушены:

«Вечером у нас трое Шустовых».

«Весь день дома, слабость после болезни».

«Два раза дождь, отчего не купался».

Читать дальше дневники не имело смысла.

Напоследок, любопытства ради, я посмотрел записи начала Отечественной войны:

«22.6.1941. Киев. Первый день войны с Германией. Узнал об этом около 13 часов...»
— и дальше обычная сводка сделанного.

«23.6.1941. Почти целый день воздушная тревога. Митинг в Институте биохимии. Ночное дежурство».

«26.6.1941. Киев. На дежурстве в Институте зоологии с 9 до 18 ч. занимался номографией и писал отчет. Вечернее дежурство... *...Итого 5 ч. 20 м.»*

С тем же бесстрастием он отмечает проводы старшего сына на фронт, затем и младшего. В июле 1941 года его эвакуируют с женой и внуком из Киева на пароходе. И там, на пароходе, он с той же краткостью, неукоснительно регистрирует:

«21.VII.1941. Нападение немецкого самолета на пароход «Котовский» — бомбежка и обстрел пулеметами. Убит капитан парохода и какой-то военный капитан, ранено 4 человека. Повреждено колесо, поэтому пароход не сделал остановку в Богруче, а поехал прямо на Кременчуг».

Печальные даты поражений сорок первого года и даты первых наших зимних побед почти не отража-

лись в дневнике. События всеобщие словно бы не затрагивали автора. Май сорок пятого, послевоенное восстановление жизни, отмена карточек, трудности сельского хозяйства... Ничто не попадало в эти ведомости. Происходили научные и ненаучные дискуссии, на биологическом фронте разыгрывались в те годы битвы поистине кровавые — Любищев не сторонился их, не укрывался; были моменты, когда он оказывался в центре сражения — его увольняли, прорабатывали, ему грозили,— но были и триумфы, были праздники, семейные радости — ничего этого я не находил в дневниках. Уж кто-кто, а Любищев был связан и с сельским хозяйством, знал, что происходило в предвоенной деревне и в послевоенной, писал об этом в докладных, в специальных работах — и ни слова в дневниках. При всей его отзывчивости, гражданской чувствительности дневники его из года в год сохраняли канцелярскую невозмутимость, чисто бухгалтерскую отчетность. Если судить по ним, то ничто не в состоянии было нарушить рабочий ритм, установленный этим человеком. Не знай я Любищева, дневники эти могли озадачить психологической глухотой, совершенством изоляции от всех тревог мира и собственной души. Но, зная автора, я тем более изумился и захотел уяснить, какой был смысл с такой тщательностью десятки лет вести этот — ну пусть не дневник, а учет своего времени и дел, что мог такой перечень дать своему хозяину? Из коротких записей не могло возникнуть воспоминаний. Ну, заходили Шустовы, ну и что из этого? Стиль записей предназначался не для напоминаний, не было в нем и зашифрованности. Притом это был дневник и не для чтения, тем более постороннего. Вот это-то и было любопытно. Потому что любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя.

Но если это не дневник, тогда что же и для чего?

Тогдашние мои глубокомысленные рассуждения ныне производят на меня комичное впечатление: сам себе кажешься непонятливым тугодумом. Так всегда, я убежден, что если записать, какие рассуждения предшествовали любому, даже талантливому открытию, то нас поразит количество трухи, разных глупых, абсурдных предположений.

Не существует никаких правил для ведения дневников, тем не менее это был не дневник. Сам Любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут

«учет времени». Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени.

Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять, уже на основании месячных отчетов, составлялся годовой отчет, сводные таблицы.

Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашом то так, то этак, и сбоку какие-то цифирки, что-то складывалось, умножалось.

Что все это означало? Спросить было некого. Любищев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекречивал, отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям. Но там были итоги, результаты.

На первый взгляд систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером, перед сном, человек садится, подсчитывает, на что и сколько времени он потратил, и выводит итог — время, израсходованное на основную работу. Казалось бы, чего проще! Но сразу же возникали вопросы — что считать основной работой, затем учитывать остальное время, да еще так подробно, что вообще дает такой хронометраж, что означают какие-то цифры-половинки и единички, расставляемые в течение дня, и т. п.

И был еще вопрос — стоит ли разбираться в этой Системе, вникать в ее детали и завитки и искать ответа на эти вопросы. С какой стати?.. Я спрашивал себя — и тем не менее продолжал вникать, ломал себе голову, возился над секретами его системы. Какое-то смутное предчувствие чего-то, имеющего отношение к моей собственной жизни, мешало мне отложить эти дневники в сторону.

ГЛАВА ПЯТАЯ

о времени и о себе

«Все, о Люцилий, не наше, а чужое, только время наша собственность,— писал Сенека,— Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую, вдобавок, может отнять у нас всякий, кто этого захочет... Люди решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно при всем же-

лании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя? Признаюсь, я поступаю, как люди расточительные, но аккуратные — веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, и каким образом, и почему».

Так еще в самом начале нашей эры, в 50-м году от Р. Х., научные работники — а Сенеку можно вполне считать научным работником — вели счет своему времени и старались экономить его. Древние философы первыми поняли ценность времени — они наверняка еще до Сенеки пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно угнетало людей своей быстротечностью.

Однако мы по своему самомнению уверены, что у древних времени девать было некуда. Что они, со своими солнечными, водяными и песочными часами, измерять его как следует не умели, а значит, и не берегли. Прогресс — он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. Для этого деловой человек из кареты пересел в поезд, оттуда на самолет. Вместо писем придумали телеграммы и телефоны, вместо театров — телевизоры, вместо пуговиц — «молнии», вместо гусиного пера — шариковую ручку. Эскалаторы, компьютеры, универмаги, телетайпы, электробритвы — все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. Однако почему-то нехватка этого времени у человека возрастает. Деловой человек наращивает скорости, внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, он и говорить старается лаконичнее, уже не пишет, а диктует в диктофон, а дефицит времени увеличивается. Не только у него — цейтнот становится всеобщим. Недостает времени на друзей, на письма, на детей, нет времени на то, чтобы думать, чтобы не думая постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев, нет времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью. У каждого они на руке, точные, выверенные, у всех тикают будильники, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и две тысячи лет назад, при том же Сенеке: «...большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значи-

тельная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо». Вполне актуально, если исключить время, которое тратится на работу. За эти две тысячи лет положение, конечно, несколько исправилось, появилось много исследований о времени свободном, времени физическом, космическом, об экономии времени и его правильном употреблении. Выяснилось, что время нельзя повернуть вспять, а также хранить, сдавать его излишки в хранилища и брать по мере надобности. Это было бы очень удобно, потому что человеку не всегда нужно Время. Бывает, что его вовсе не на что тратить, а приходится. Время — его нельзя не тратить, а транжирят его куда попало, на всякую ерунду. Есть люди, которых время обременяет, они не знают, куда его девать.

Известно, что счастливые не наблюдают часов, верно и другое — что и те, кто не наблюдает часов, уже счастливы. Однако Любищев добровольно, не по службе, не по какой-то нужде, взял на себя несчастливую обязанность «наблюдать часы».

Дочь Александра Александровича рассказывала, что в детстве, когда она и брат приходили к отцу в кабинет со своими расспросами, он, начиная им терпеливо отвечать, делал при этом какую-то отметку на бумаге. Так было всегда. Много позже она узнала, что он отмечал время. Он постоянно хронометрировал себя. Любое свое действие — отдых, чтение газет, прогулки — он отмечал по часам и минутам. Занялся он этим с первого января 1916 года. Ему было тогда 26 лет, он служил в армии, в Химическом комитете, у известного химика Владимира Николаевича Ипатьева. Был Новый год, и Любищев дал себе обет, как всегда дают в этот день, с чем-то покончить и что-то начать.

Первая книга учета, как я уже писал, сохранилась. Там Система еще примитивная, и дневник иной — он полон размышлений, заметок. Система складывалась постепенно, в дневниках 1937 года она предстает в отработанном виде.

Как бы там ни было, с 1916 года по 1972-й, по день смерти, пятьдесят шесть лет подряд, Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом

нескончаемом отчете. Но ведь и бог времени Хронос тоже ни разу не перестал махать своей косой.

Сама по себе верность Любищева своей Системе — явление исключительное, само наличие такого дневника, может быть, единственное в своем роде.

Несомненно, что с годами у Любищева от непрестанного слежения за временем выработалось специальное чувство времени: биологические часы, тикающие в глубинах нашего организма, стали у него органом и чувства, и сознания. Я сужу по записям о наших с ним беседах, они отмечены со всей точностью: «1 ч. 35 м.», «1 ч. 50 м.»,— при этом он, разумеется, не смотрел на часы. Мы с ним гуляли, я провожал его, и каким-то внутренним взором он чувствовал бег стрелки по циферблату — поток времени был для него осязаемым, он как бы стоял посреди этого потока, ощущая его холодные струи.

Просматривая его рукопись «О перспективах применения математики в биологии», я нашел на последней странице «цену» этой статьи:

«Подготовка (план, просмотр рукописей и литературы) . . . . 14 ч. 30 м.
Писал . . . . 29 ч. 15 м.
Всего потратил . . . . 43 ч. 45 м.
Восемь дней, с 12 по 19 октября 1921 г.»

Следовательно, уже в 1921 году он имел учет времени, потраченного на работу.

Имел и умел вести этот учет.

Иногда на рукописи ставят дату окончания, реже — число, еще реже — с какого по какое писалось, но затраченные часы — это я видел впервые.

У Любищева была подсчитана «стоимость» каждой статьи. Каким образом шел этот подсчет? Оказывается, никакого специального подсчета не было — его Система, словно компьютер, выдавала ему эти данные: на статью, на прочитанную книгу, на написанное письмо — буквально все оказывалось сосчитанным.

...И времени стало меньше, и цена на него поднялась. Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое — это Время, потому что жизнь состоит из Времени, складывается из часов и минут. Современный человек так или иначе планирует свое дорогое, дефицитное, ни на что не хватающее вре-

мя. Как и все, я тоже составляю список предстоящих дел, чтобы разумнее распределить время, я тоже планирую время на неделю, иногда на месяц, отмечаю выполнение. Люди организованные, волевые — те анализируют прожитый день, выясняют, как рационально расходовать время. Правда, только рабочее время, но и то для меня такие люди — положительные герои. У меня не хватило бы воли заниматься этим, да и что тут приятного! Подозреваю, что картина может получиться удручающая. Стоит ли без особой на то нужды терять самоуважение? Одно дело упрекать себя за неорганизованность, за неумение регламентировать свою жизнь, и другое — знать все это про себя в часах и минутах. Когда мы искренне уверены, что стараемся сделать как можно больше, добросовестно вкалываем, и вдруг нам преподносят, что полезной-то работы было, может, час-полтора, а остальное ушло, расползлось, просыпалось на беготню, разговоры, ожидание, бог знает куда. А ведь дорожили каждой минутой, отказывали себе в развлечениях...

Появились специалисты по экономии времени, специальные методические пособия. Больше всего занимаются этим для руководителей предприятий. Подсчитано, что их время самое дорогое.

Научный наставник американских менеджеров Питер Друкер рекомендует каждому руководителю вести точную регистрацию своего времени, оговариваясь, что это весьма трудно и что большинство людей такой регистрации не выдерживает:

«Я заставляю себя обращаться с просьбой к моему секретарю через каждые девять месяцев вести учет моего времени в течение трех недель... Я обещаю себе и обещаю ей письменно (она настаивает на этом), что я не уволю, когда она принесет результаты. И тем не менее, хотя я делаю это в течение пяти или шести лет, я каждый раз вскрикиваю: «Этого не может быть, я знаю, что теряю много времени, но не может быть, чтобы так много...» Хотел бы я увидеть кого-либо с иными результатами подобного учета!»

Питер Друкер уверен, что вызов его никто не примет. Он профессионал и знает это на своем опыте мужественного человека. Решиться на такой анализ способны немногие. Это требует бóльших усилий души, чем исповедь. Открыться перед богом легче, чем перед людьми. Нужно бесстрашие, чтобы предстать перед

всеми и перед собой со своими слабостями, пороками, пустотой... Друкер прав — рассматривать себя пристально и беспощадно умели разве что такие люди, как Жан Жак Руссо или Лев Толстой.

Сомнения корифеев не смутили молодого преподавателя. С годами уточнялись подходы: кое-что приходилось пересматривать, но общая задача не менялась — раз начав, он всю жизнь следовал поставленной цели.

Согласно легенде, Шлиману было восемь лет, когда он поклялся найти Трою. Пример со Шлиманом широко известен еще и потому, что подобная прямолинейная пожизненная нацеленность — в науке редкость. Любищев в двадцать с лишним лет, начиная свою научную работу, тоже точно знал, чего он хочет. Счастливая и необычная судьба! Он сам сформулировал программу своей работы и предопределил тем самым весь характер своей деятельности фактически до конца дней.

Хорошо ли это — так жестко запрограммировать свою жизнь? Ограничить. Надеть шоры. Упустить иные возможности. Иссушить себя...

А вот оказывается, и это примечательно, что судьба Любищева — пример полнокровной, гармоничной жизни, и значительную роль в ней сыграло неотступное следование своей цели. От начала до конца он был верен своему юношескому выбору, своей любви, своей мечте. И сам он себя считал счастливым, и в глазах окружающих жизнь его была завидна своей целеустремленностью.

Двадцатитрехлетний Вернадский писал, что ставит себе целью быть «возможно могущественнее умом, знаниями, талантами, когда мой ум будет невозможно разнообразно занят...» И в другом месте: «Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри; но я не могу не идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли, я не могу и не хочу заставить ее идти по дорожке, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучают меня... И это искание, это стремление — есть основа всякой научной деятельности; это только позволит не сделаться какой-нибудь ученой крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и сора; это только заставляет вполне жить, страдать и радоваться среди ученых работ; ...ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти,

и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была».

Они всегда волнуют, эти молодые клятвы: Герцен, Огарев, Кропоткин, Мечников, Бехтерев — поколения русских интеллигентов клялись себе посвятить жизнь борьбе за правду. Каждый выбирал свой путь, но нечто общее связывало их, таких разных людей. Это не сведешь к преданности, допустим, науке, да и никто из них не жил одной наукой. Они все занимались и историей, и эстетикой, и философией. История нравственных исканий русских писателей известна. У русских ученых была не менее интересная и глубокая история их этических поисков.

Здесь, конечно, речь идет о меньшем — увидеть свое профессиональное «я», но и на это отваживаются единицы.

Любищев не был администратором, организатором: ни его должность, ни окружающие люди не требовали от него подобного режима. У него не было возможности препоручить регистрацию своего времени секретарше. Мало того, что он вел самолично каждодневный учет,— он сам подводил итоги, беспощадно подробные, ничего не утаивая и не смягчая, составлял планы, где старался распределить вперед, на месяц каждый свой час. Словом, вся его Система сама по себе требовала изрядного времени. Спрашивается — чего ради стоило ее вести? Какой смысл имело обрекать себя на эту добровольную каторгу?— недоумевали его друзья. Он отделывался весьма общим ответом: «Я к этой системе учета своего времени привык и без этой системы работать не могу». Но для чего было привыкать к этой системе? Для чего было создавать ее? То есть для чего она вообще нужна и полезна деловому человеку — понятно, общие рекомендации нам всегда понятны, но вот почему именно он, Любищев, пошел на это, что его заставило?

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой автор хочет добраться до основ, понять, с чего все началось

В 1918 году Александр Любищев ушел из армии и занялся чисто научной работой. К этому времени он сформулировал цель своей жизни: создать естественную систему организмов.

«Для установления такой системы необходимо отыскать что-то аналогичное атомным весам, что я думаю найти путем математического изучения кривых в строении организма, не имеющих непосредственно функционального значения... — так писал Александр Александрович в 1918 году, — *математические трудности этой работы, по-видимому, чрезвычайно значительны... К выполнению этой главной задачи мне придется приступить не раньше, чем через лет пять, когда удастся солиднее заложить математический фундамент... Я задался целью со временем написать математическую биологию, в которой были бы соединены все попытки приложения математики к биологии».*

В те годы идеи его были встречены прохладно. А надо заметить, что Таврический университет в Симферополе, куда приехал работать Любищев, собрал у себя поистине блестящий состав: математики Н. Крылов, В. Смирнов, астроном О. Струве, химик А. Байков, геолог С. Обручев, минералог В. Вернадский, физики Я. Френкель, И. Тамм, лесовод Г. Морозов, естественники Владимир и Александр Палладины, П. Сушкин, Г. Высоцкий и, наконец, учитель Любищева, человек, которого он почитал всю жизнь, — Александр Гаврилович Гурвич.

Но одно дело поклясться в верности науке, пусть своей любимой науке, а другое — поставить себе конкретную цель.

А если Трои не было? Если она рождена фантазией Гомера? Значит, жизнь, потраченная Шлиманом на поиск, уйдет впустую?

А если цель, поставленная Любищевым, недостижима, в принципе недостижима? Если где-то лет через двадцать окажется, что создать такую естественную систему организмов невозможно? Или что современный математический аппарат для этого не годится? Тогда, выходит, все эти годы ушли зазря, цель была ложной, вместо цели — бесцельность.

Ну что же, риск? Нет, тут пострашнее, чем риск, тут на карту ставилась будущность, талант, надежды — лучшее, что есть в человеческой жизни. Кто знает, сколько их, мечтателей, сгинуло, не одолев несбыточных целей!

Фанатичность, нетерпимость, аскетизм — чем только не приходится платить ученым за свою мечту!

Одержимость в науке — вещь опасная: может, для иных натур — необходимая, неизбежная, но уж больно велики издержки; люди одержимые причинили немало вреда в науке, одержимость мешала критически оценивать происходящее даже таким гениям, как Ньютон,— достаточно вспомнить несправедливости, причиненные им Гуку.

В молодости положительным героем для Любищева был Базаров с его нигилизмом, рационализмом. Многие однокашники Любищева подражали в те годы Базарову. Вот, между прочим, пример активного воздействия литературного героя не на одно, а на несколько поколений русской интеллигенции! Подобно Базарову, в молодости они считали сто́ящими естественные науки, а всякую историю и философию — чепухой. Между прочим, литературу — тоже. Молодой Любищев признавал литературу лишь как средство для лучшего изучения иностранных языков: «Анну Каренину» он читал по-немецки, *«так как переводной язык легче оригинального»*.

Все было подчинено биологии, что не способствовало — отбрасывалось. Он мечтал стать подвижником и действовал по банальным рецептам героизма: прежде всего работа, все для дела, во имя дела разрешается пожертвовать чем угодно. Дело заменяло этику, определяло этику, было этикой, снимало все проблемы бытия, философии, ради дела можно было пренебречь всеми радостями и красками мира.

Взамен он получал превосходство самопожертвования.

Это был знакомый нам культ науки. Биологическая задача, которой он служил, была достаточно важной, остальное его не касалось. Наука требовала максимальных усилий, жесточайшего самоограничения. Либо — либо. Обычная крайность. Либо — святой, герой, либо — обыватель, мироед, личность по всем статьям недостойная. У нас середины не бывает. Если не можешь служить примером, идеалом, тогда уж все равно — быть ли обманщиком или честным ученым, интересоваться искусством или быть невеждой, хамом... Признается лишь совершенство, а то, что человек добросовестный, порядочный — этого мало.

Любищев начинал обыкновенно: как все в молодости, он жаждал совершить подвиг, стать Рахметовым,

стать сверхчеловеком. Лишь постепенно он пробивался к естественности — к человеческим слабостям, он находил силы идти еще дальше, забираться все круче — к простой человечности.

Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ибсен, жить в нем.

Лучше и для людей, и для той же науки.

Преимущество Любищева состояло прежде всего в том, что он понимал такие вещи несколько раньше остальных.

Помогла ему в этом его же работа. Она потребовала... Но, впрочем, это было позднее, на первых же порах она требовала, по всéм подсчетам,— а Любищев любил и умел считать,— сил, несоизмеримых с нормальными, человеческими, и времени больше, чем располагает человек в этой жизни. То есть он, конечно, был уверен, что одолеет, но для этого надо было откуда-то взять добавочные силы и добавочное время.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

о том, с чего начинается Система

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь усвоением новых фактов, чисто технической работой и проч. Если прибавить к этому мой оптимизм, унаследованный мной от моего незабвенного отца, то и получится, что писал «под спуд» многое, на публикацию чего я вовсе не рассчитывал. Конспектирование серьезных вещей я делаю очень тщательно, даже теперь я трачу на это очень много времени. У меня накопился огромный архив. При этом для наиболее важных работ я пишу конспект, а затем критический разбор. Поэтому многое у меня есть в резерве, и когда оказывается возможность печатать, все это вытаскивается из резерва, и статья пишется очень быстро, т. к. фактически она просто извлекается из фонда.

В моей молодости мой метод работы приводил к некоторой отсталости, так как я успевал прочитывать меньше книг, чем мои товарищи, работавшие с книгой более поверхностно. Но при поверхностной работе многое интересное не усваивается и прочтенное быстро забывается. При моей же форме работы о книге остается

вполне отчетливое, стойкое впечатление. Поэтому с годами мой арсенал становится гораздо богаче арсенала моих товарищей».

С годами вырисовывались преимущества не только этого приема, но и многих других методов его работы. Как будто все у него было рассчитано и задумано на десятилетия вперед. Как будто и долголетие его тоже было предусмотрено и входило в его расчеты.

Все его планы, даже самый последний, пятилетний план, составлялись им из предположения, что надо прожить по крайней мере до девяноста лет.

Но до этого далеко — пока что он стремится использовать каждую минуту, любые так называемые «отбросы времени»: поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди...

Еще в Крыму он обратил внимание на гречанок, которые вязали на ходу.

Он использует каждую пешую прогулку для сбора насекомых. На тех съездах, заседаниях, где много пустой болтовни, он решает задачки.

Утилизация «отбросов времени» у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в «отбросах времени».

«Когда я работал в ВИЗРе, мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг, если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами. Количество книг, бравшихся с собой, исчислялось из прошлого опыта.

Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу (по философии, по математике). Когда я проработаю полтора-два часа, я перехожу к более легкому чтению — историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь беллетристику.

Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобства в дороге, легко с ними миришься; во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях.

Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а две или три. Если едешь с какого-либо конечного пункта (напр., в Ленинграде), то можно сидеть, следовательно, можно

не только читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, а иногда и висишь, то тут нужна небольшая книжечка, и более легкая для чтения. Сейчас в Ленинграде много народу читает в трамваях».

Но «отбросов» было немного. А между тем времени требовалось все больше.

Углубление работы приводило к ее расширению. Надо было всерьез браться за математику. Затем пришла очередь философии. Он убеждался в многообразии связей биологии с другими науками. Систематика, которой он занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинения в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии.

Поздно, но он начинает понимать, что ему не обойтись без истории, без литературы, что зачем-то ему необходима музыка...

Надо было изыскивать все новые ресурсы времени. Ясно, что человек не может регулярно работать по четырнадцать — пятнадцать часов в день. Речь могла идти о том, чтобы правильно использовать рабочее время. Находить время внутри времени.

Практически, как убедился Любищев, лично он в состоянии заниматься высококвалифицированной работой не больше семи — восьми часов.

Он отмечал время начала работы и время окончания ее, причем с точностью до 5 минут.

«Всякие перерывы в работе я выключаю, я подсчитываю время нетто,— писал Любищев.— Время нетто получается из расчета времени брутто, то есть того времени, которое вы провели за данной работой.

Часто люди говорят, что они работают по 14—15 часов. Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы 11 часов 30 мин. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто 7—8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть в среднем по 7 часов нетто. Если время нетто перевести во время брутто, то надо прибавить процентов 25—30. Постепенно я совершенствовал свой

учет и в конце концов пришел к той Системе, которая имеется сейчас...

Естественно, что каждый человек должен спать каждый день, должен есть, то есть он тратит время на стандартное времяпрепровождение. Опыт работы показывает, что примерно 12—13 часов брутто можно использовать на нестандартные способы времяпрепровождения: на работу служебную, работу научную, работу общественную, на развлечения и т. д.»

Сложность планирования была в том, как распределить время дня. Он решил, что количество отпускаемого времени должно соответствовать данной работе. То есть кусок дневного времени для работы над, допустим, оригинальной статьей не должен быть очень мал или слишком велик. На свежую голову надо заниматься математикой, при усталости — чтением книг.

Надо было научиться отстраняться от окружающей среды, чтобы три часа, проведенные за работой, соответствовали трем рабочим часам,— не отвлекаться, не думать о постороннем, не слышать разговора сотрудников...

Система могла существовать при постоянном учете и контроле. План без учета был бы нелепостью, вроде той, что совершают в некоторых институтах, планируя без заботы о том, можно ли выполнить этот план.

Надо было научиться учитывать все время.

Деятельное время суток, «нетто», он принял за десять часов; делил его на три части, или шесть половинок, и учитывал с точностью до десяти минут.

Он старался выполнить все намеченное количество работ, кроме работ первой категории, то есть самых творчески насыщенных.

Первая категория состояла из главной работы (над книгой, исследованием) и текущей (чтение литературы, заметки, письма).

Вторая категория включала научные доклады, лекции, симпозиумы, чтение художественной литературы — то есть то, что не являлось прямой научной работой.

Возьмем, к примеру, любую дневниковую запись, летний день 1965 года.

«Сосногорск. 0,5. Осн. научн. (библиогр.— 15 м. Добржанский — 1 ч. 15 м.). Систематич. энтомология,

экскурсия — 2 ч. 30 м., установка двух ловушек — 20 м., разбор — 1 ч. 55 м. Отдых, купался первый раз в Ухте. Извест. 20 м. Мед. газ.— 15 м. Гофман «Золотой горшок» — 1 ч. 30 м. Письмо Андрону — 15 м. Всего 6 ч. 15 м.»

Прослежен, разнесен весь день, вплоть до чтения газет.

Что такое «Всего 6 ч. 15 м.»? Это, как видно из записи, сумма работ только первой категории. Остальное учтенное время — работа второй категории и прочее. Каждый день суммировалась работа первой категории. Затем она складывалась за месяц. Например, за этот август 1965 года набралось 136 часов 45 минут рабочего времени первой категории. Из чего состояли эти часы? Пожалуйста, все сведения имеются в месячном отчете.

«Основная научная работа	*— 59 ч. 45 м.*
Систематич. энтомология	*— 20 ч. 55 м.*
Дополнит. работы	*— 50 ч. 25 м.*
Орг. работы	*— 5 ч. 40 м.*
	Итого 136 ч. 45 м.»

А что такое «Основная научная работа», эти 59 ч. 45 м.? На что они были потрачены? Опять же все расшифровано в отчете:

«1. По таксонам — эскиз доклада «Логика системы»	*— 6 ч. 25 м.*
2. Разное	*— 1 ч. 30 м.*
3. Корректура «Дадонологии»	*— 30 м.*
4. Математика	*— 16 ч. 40 м.*
5. Текущая литература: Ляпунов	*— 55 м.*
6. — » — биология	*— 12 ч. 00 м.*
7. Научные письма	*— 11 ч. 55 м.*
8. Научные заметки	*— 3 ч. 25 м.*
9. Библиография	*— 6 ч. 55 м.*
	Итого 60 ч. 15 м.»

Можно пойти дальше, взять любой из этих пунктов. Допустим, пункт шестой, текущая литература: биология — 12 часов. Оказывается, известно и записано с точностью до минуты, на что они были «израсходованы»:

«1. Добржанский «Мейнкайнд Эвольвинг». 372 стр., кончил читать (Всего 16 ч. 55 м.)	*— 6 ч. 45 м.*
2. Анош Карой «Думают ли животные», 91 стр.	*— 2 ч. 00 м.*
3. Рукопись Р. Берг	*— 2 ч. 00 м.*
4. Некоро З., Осверхдо... 17 стр.	*— 40 м.*
5. Рукопись Ратнера	*— 35 м.*
	Итого 12 ч. 00 м.»

Большинство научных книг конспектировалось, а некоторые подвергались критическому разбору. Все выписки и комментарии регулярно подшивались в общий том. Эти тома, напечатанные на машинке — как бы итоги чтения,— составили библиотеку освоенного. Достаточно перелистать конспект, чтобы вспомнить нужное из книги.

У Любищева было редкое умение извлечь у автора все оригинальное. Иногда для этого хватало странички. Иные солидные книги сводились к нескольким страничкам. Сущность их никак не соответствовала объему.

Кроме работ первой категории, учитывались с той же подробностью и работы второй категории. Скрупулезность эту объяснить было труднее. С какой стати нужно выписывать и подсчитывать, что на чтение художественной литературы затрачено 23 часа 50 минут! Из них: *«Гофман, 258 стр.— 6 часов»; «Предисловие о Гофмане Миримского — 1 ч. 30 м.»* и т. д., и т. п.

Далее восемь английских названий, всего 530 страниц.

Написано семь плановых (!) писем.

Прочитано газет и журналов на столько-то часов, письма родным — столько-то часов.

Можно было считать такие подробности излишеством, тогда спрашивается, к чему из года в год производить анализ времени, от которого никакой пользы, только зря на него тратится время.

У Любищева все было продумано.

Выясняется, что для Системы нужно было знать все деятельное время, со всеми его закоулками и пробелами. Система не признавала времени, негодного к употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, пустого, лишнего. И нет времени отдыха: отдых —

это смена занятий, это как правильный севооборот на поле.

Ну что ж, в этом была своя нравственность, поскольку любой час засчитывается в срок жизни, они все равноправны, и за каждый надо отчитаться.

Отчет — это отчет перед намеченным планом. Отчет — и сразу план на следующий месяц. Что, для примера, было в плане сентября 1955 года? Намечено: 10 дней в Новосибирске, 18 дней — в Ульяновске, 2 дня — в дороге. Далее: сколько часов на какую работу затратить. В подробностях. Допустим, письма: 24 адреса — 38 часов. Список нужной литературы, которую надо прочесть; что сделать по фотографии; кому написать отзыв.

Хотя бы грубо распределялось время по плану работ, предложенному службой, институтом, по прежнему опыту...

«При составлении годовых и месячных планов приходится руководствоваться накопленным опытом. Например, я планирую прочесть такую-то книгу. По старому опыту я знаю, что в час я прочитываю 20—30 страниц. На основании старого опыта я и планирую. Напротив, по математике я планирую прочитать 4—5 стр. в час, а иногда и меньше страниц.

Все прочитанное я стараюсь проработать. В чем заключается проработка? Если книга касается нового предмета, мало мне известного, то я стараюсь ее проконспектировать. Стараюсь на каждую более или менее серьезную книгу написать критический реферат. На основе прошлого опыта можно наметить для проработки известное количество книг».

«При серьезном отношении к делу обычно отклонение фактически проработанного времени от намеченного бывает в 10 %. Часто бывает, что не удается проработать намеченное количество книг, создается большая задолженность. Часто появляются новые интересы, а потому задолженность бывает велика, и скоро ликвидировать ее невозможно, а потому имеет место невыполнение плана. Бывает невыполнение плана по причине временного упадка работоспособности. Бывают внешние причины невыполнения плана, но во всяком случае, мне ясно, что планировать свою работу необходимо, и я думаю, что многое из того, чего я достиг, объясняется моей Системой».

Время, что оставалось для основных работ, планировалось: подготовка к лекциям, экология, энтомология и другие научные работы. Обычно работа второй категории превышала работу первой категории процентов на десять.

Всякий раз меня поражала точность, с какой выполнялся план. Случалось, разумеется, и непредвиденное. В отчете за 1938 год Любищев пишет, что работы первой категории не выполнены на 28 процентов:

«Главная причина — болезнь Оли и Вали, отчего увеличилось общение с людьми».

Время у него похоже на материю — оно не пропадает бесследно, не уничтожается, всегда можно разыскать, во что оно обратилось. Учитывая, он добывал время. Это была самая настоящая добыча.

Годовой отчет — уже многостраничная ведомость, целая тетрадь. Там расписано буквально все. В том же 1938 году: сколько заняла экология, энтомология, оргработа, Зообиологический институт, Плодоягодный институт в Китаеве: сколько времени ушло на общение с людьми, передвижение, домашние дела.

Из этого учета можно узнать, сколько было прочитано, каких книг и сколько страниц художественной литературы на разных языках. Оказывается, за год — 9000 страниц. Потребовалось на них — 247 часов.

Написано за тот же год 552 страницы научных трудов, из них напечатано 152 страницы.

По всем правилам статистики Любищев исследует свой минувший год. Материалов достаточно — это месячные отчеты.

Теперь надо составить годовой план. Он составляется с грубой прикидкой, исходя из помеченных для себя задач.

«Центральный пункт — (1968 год) международный энтомологический конгресс в Москве, в августе, где думаю сделать доклад о задачах и путях эмпирической систематики».

Он пишет, какие статьи надо закончить к конгрессу, что сделать по определению вида Халтика. Сколько дней пробыть в Ульяновске, в Москве, в Ленинграде. Сколько написать страниц основной в эти годы работы «Линии Демокрита и Платона», сколько по таксономии и эволюции — «О будущем систематики». После этого и следует грубое распределение времени в условных единицах.

«Работа 1-й категории	*570(564,5)*
Передвижение	*140(142,0)*
Общение	*130(129)*
Личные дела	*10(8,5)*

И так далее, всего — 1095.

В скобках проставлено исполнение. Совпадаемость показывает, как точно он мог планировать свою жизнь на год вперед.

В отчете он придирчиво отмечает:

«Учтенных работ первой категории 564,5 против плана 570, дефицит 5,5, или 1 %».

То есть все сошлось с точностью до одного процента!

Хотя в месячном отчете есть все подробности, тем не менее в годовом все сделанное, прочитанное, увиденное разбито на группы, подгруппы. Тут и работа, и отдых — буквально все, что происходило в минувшем году.

«Развлечение — 65 раз», и следует список просмотренных спектаклей, концертов, выставок, кинокартин.

Шестьдесят пять раз — много или мало?

Кажется, что много; впрочем, боюсь утверждать — ведь я не знаю, с чем сравнивать. С моим личным опытом? Но в том-то и штука, что я не подсчитывал и не представляю, сколько раз в году я посещаю кино, выставки, театр. Хотя бы приблизительную цифру не берусь сразу назвать, тем более динамику: как у меня с возрастом меняется эта цифра и сколько книг я читаю. Больше я стал читать с годами или меньше? Как меняется процент научных книг, беллетристики? Сколько я пишу писем? Сколько я вообще пишу? Сколько времени в год уходит на дорогу, на общение, на спорт?

Ничего достоверного я не знаю. О самом себе. Как я меняюсь, как меняется моя работоспособность, мои вкусы, интересы... То есть мне казалось, что я знал о себе,— пока не столкнулся с отчетами Любищева и не понял, что, в сущности, ничего не знаю, понятия не имею.

«...Всего в 1966 году учитывалось работ первой категории — 1906 часов против плана 1900 часов. По сравнению с 1965 годом превышение на 27 часов. В среднем в день 5,22 часа, или 5 ч. 13 м.»

Представляете — пять часов тринадцать минут чистой научной работы ежедневно, без отпуска, выходных и праздников в течение года! Пять часов чистой работы, то есть никаких перекуров, разговоров, хождений. Это, если вдуматься, огромная цифра.

А вот как выглядит итог на протяжении ряда лет:

«1937 г.— 1840 часов
1938 г.— 1402 часа
1939 г.— 1362 часа
1940 г.— 1560 часов
1941 г.— 1342 часа
1942 г.— 1446 часов
1943 г.— 1612 часов»

и так далее.

Это часы основной научной работы, не считая всей прочей, вспомогательной. Часы, занятые созданием, размышлением...

Ни на одной, самой тяжелой, работе не было, наверное, такого режима — его может установить человек для себя только сам.

Любищев работает побольше иных рабочих. Он мог бы, подобно Александру Дюма, в доказательство поднять свои руки, показывая мозоли. Написать полторы тысячи страниц в год! Отпечатать 420 фотоснимков! Это — в 1967 году. Ему уже семьдесят семь лет.

«На русском языке прочитано			
На английском	*»*	*»*	*50 книг — 48 часов*
На французском	*»*	*»*	*2 книги — 5 часов*
На немецком	*»*	*»*	*3 книги — 24 часа*
Сдано в печать семь статей...»			*2 книги — 20 часов*

«...Долгое пребывание в больнице отразилось, конечно, в превышении чтения, но план главной работы перевыполнен, хотя многое не было сделано. Так, например, статья «Наука и религия» заняла в пять раз больше времени, чем предполагалось».

Подробности годовых отчетов напоминают отчет целого предприятия. С каким вкусом и наглядностью очерчен силуэт утекшего времени, все эти таблицы, коэффициенты, диаграммы. Недаром Любищев считался одним из крупнейших систематиков и специалистов по математической статистике.

В числе прочего имелся переходящий остаток непрочитанных книг — задолженность:

«Дарвин Э. «Храм природы»	*5 ч.*
Де Бройль «Революция в физике»	*10 ч.*
Трингер «Биология и информация»	*10 ч.*
Добржанский	*20 ч.»*

Списки задолженности возобновляются из года в год, очередь не убывает.

Есть сведения неожиданные: купался 43 раза, общение — 151 час, больше всего понравились такие-то фильмы...

Читать его отчеты скучновато, изучать — интересно.

Все же как невероятно много может сделать, увидеть, узнать человек за год! Каждый отчет — это демонстрация человеческих возможностей, каждый отчет вызывает гордость за человеческую энергию. Сколько она способна создать, если ее умно использовать! И, кроме того, впервые я увидел, какую колоссальную емкость имеет один год.

Кроме годового планирования, Любищев планировал свою жизнь на пятилетки. Через каждые пять лет он устраивает разбор прожитого и сделанного, дает, так сказать, общую характеристику.

«...1964—1968 годы... По Халтику: сделал очень много, но если я монографию палеартич. Халтика закончу в следующую пятилетку, то буду очень доволен. Коллекцию кончил, однако до нахождения расстояния между рядами не мечтаю и в следующей пятилетке... Таким образом, хотя ни по одному разделу я не выполнил формально и половины, тем не менее по всем заметно продвинулся...»

Обычно он работал широким фронтом. Пятилетка, о которой шла речь, была занята математикой, таксономией, эволюцией, энтомологией и историей науки. Поэтому и отчеты, и планы состоят из многих разделов, подразделов.

Учет, конечно, хорош, и все же, простите, на кой ляд это все надо, не лучше ли потратить это время на дело? Не съедают ли эти отчеты сэкономленное время?

Множество разных ироничных вопросов возникает, несмотря на наше восхищение и удивление.

Прежде всего, конечно, в глубине души обязательно прозвучит с ехидством: а кому нужна такая отчетность? Кто, собственно говоря, ее читает? И перед кем, извините, обязан он отчитываться, да еще в письменном виде?

Потому как, что бы там ни говорилось, душа не принимала все эти отчеты просто как работу добровольную, ради своего потребления,— все искались какие-то тайные причины и поводы. Что угодно, кроме самовнимания — казалось бы, естественнейшего внимания и ин-

тереса к себе, ко внутреннему своему миру. Изучать самого себя? Странно. Все же он чудак. Наилучшее утешение — считать его чудаком: мало ли бывает на свете чудаков...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

о том, сколько все это стоит и стоит ли оно этого

Сколько же времени занимали эти отчеты? И этот расход, оказывается, был учтен. В конце каждого отчета проставлена стоимость отчета в часах и минутах. На подробные месячные отчеты уходило от полутора до трех часов. Всего-навсего. Плюс план на следующий месяц — один час. Итого: три часа из месячного бюджета в триста часов. Один процент, от силы два процента. Потому что все зиждилось на ежедневных записях. Они занимали несколько минут, не больше. Казалось бы, так легко, доступно любому желающему... Привычка почти механическая — как заводить часы.

Годовые отчеты отнимали побольше, семнадцать — двадцать часов, то есть несколько дней.

Тут требовался самоанализ, самоизучение: как меняется производительность, что не удается, почему...

Любищев вглядывается в отчет, как в зеркало. Амальгама этого зеркала отличалась тем, что отражала не того, кто есть, а того, кто был, только что минувшее. В обычных зеркалах человек под собственным взглядом принимает некое выражение, не важно какое — главное, что принимает. Он — тот, каким хочет казаться. Дневник тоже искажает, там не увидеть подлинного отражения души.

У Любищева отчет беспристрастно отражал историю прожитого года. Его Система в свои мелкие ячеи улавливала текучую, всегда ускользающую повседневность, то Время, которого мы не замечаем, недосчитываемся, которое пропадает невесть куда.

Что мы удерживаем в памяти? События. Ими мы размечаем свою жизнь. Они как вехи, а между вехами — пусто... К примеру, куда делись эти последние месяцы моей жизни с тех пор, как я стал писать о Любищеве? Собственно, работы за столом было немного — на что же ушли дни? Ведь что-то я делал, все время был занят, а чем именно — не вспомнишь. Суета или необходимое — чем отчитаться за эти девяносто дней? Если

бы только эти месяцы... Когда-то, в молодости, под Новый год, я спохватывался: год промелькнул, и опять я не успел сделать обещанного себе, да и другим — не кончил романа, не поехал в Новгородчину, не ответил на письма, не встретился, не сделал... Откладывал, откладывал, и вот уже откладывать некуда.

Теперь стараюсь не оглядываться. Пусть идет как идет, что сделано — то и ладно. Перечень долгов стал слишком велик.

Конечно, признавать себя банкротом тоже не хочется. Лучше всего об этом не думать. Самое умное — это не размышлять над собственной жизнью.

Упрекать себя Любищевым? Это еще надо разобраться. От таких учетов и отчетов человек, может, черствеет, может, от рационализма и расписаний организм превращается в механизм, исчезает фантазия. И без того со всех сторон нас теснят планы — план учебы, программы передач, план отдела, план отпусков, расписание хоккейных игр, план изданий. Куда ни ткнешься, все заранее расписано. Неожиданное стало редкостью. Приключений — никаких. Случайности — и те исчезают. Происшествия — и те умещаются раз в неделю на последней странице газеты.

Стоит ли заранее планировать свою жизнь по часам и минутам, ставить ее на конвейер? Разве приятно иметь перед глазами счетчик, безостановочно учитывающий все промахи и поблажки, какие даешь себе!

Легенда о шагреневой коже — одна из самых страшных. Нет, нет, человеку лучше избегать прямых, внеслужебных отношений со Временем, тем более что это проклятое Время не поддается никаким обходам и самые знаменитые философы терялись перед его черной, все поглощающей бездной...

Систему Любищева было легче отвергнуть, чем понять, тем более что он никому не навязывал ее, не рекомендовал для всеобщего пользования — она была его личным приспособлением, удобным и незаметным, как очки, обкуренная трубка, палка...

А может, она, эта Система, была постоянным преодолением? Или, кто знает, многолетней полемикой?.. С чем? С обычной жизнью. С желанием расслабиться и жить расточительно, не считая минут, как жили все люди вокруг него.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

где автор привычно сводит концы с концами и получает схему, которая могла бы удовлетворить всех

Из отчетов, дневников, отчасти из писем передо мною возникал железный человек, которому ничто не могло помешать выполнить намеченное. Рыцарь плановой жизни. Робот. Подвижник системы.

В 1942 году, когда пришло известие о гибели сына Всеволода, Александр Александрович, несмотря на горе, неукоснительно продолжал свои работы.

План на 1942 год предусматривал:

«...1) Я буду весь год в Пржевальске. 2) Не буду иметь совместительства. 3) Не буду лично вести интенсивной работы по прикладной энтомологии, ограничусь руководством и обследованием фауны Иссык-Кульской области... Исходя из этого, можно общий объем работы первой категории планировать на уровне 1937 года (рекордный год по эффективности), но т. к., во-первых, в связи с войной возможность напечатания исключается, во-вторых, вероятна полная гибель моего научного архива в Киеве, в-третьих, необходимо по моему возрасту приступать, не откладывая, к выполнению основного плана моей жизни — «Теоретическая систематика и общая натурфилософия»,— то на 1942 год по основной работе не намечено окончания каких-либо научных работ, кроме трех небольших докладов научно-политического характера».

Запланировал и выполнил, 1942 год был одним из эффективных. Личная трагедия как бы не повлияла на работоспособность.

Пора, пора «приступать, не откладывая»: он словно бы вычислил, сколько ему остается, чтобы «замкнуть круг».

Личная жизнь с ее переживаниями не должна мешать работе — переживаниям и прочим волнениям и горестям отведен свой час под рубрикой «домашние дела».

Я огрубляю, хотя тридцатилетний кандидат технических наук, начальник лаборатории телеуправления НИИ сказал мне, что это не огрубление, а подчеркивание нужных качеств. Слезами горю не поможешь, сказал он, чем раньше человек может взять себя в руки, тем лучше; скорбь по умершим — остаток религиоз-

ных чувств, мертвого не оживишь — какой же смысл скорбеть?

— Церемония похорон устарела,— сказал он.— Согласитесь, что прочувствованные эти речи на гражданских панихидах только растравляют души родным, утешения от речей никакого. Процедура нерациональная. Современный человек должен быть рационалистом, а мы стесняемся нашего разума, думаем смягчить себя сантиментами.

Он предлагал мне показать в Любищеве идеальный тип современного ученого. Максимально организованного, недоступного лишним эмоциям, умеющего выжать все, что только можно, из окружающих обстоятельств, и при этом, разумеется, благородного, порядочного...

— ...Между прочим, это, к вашему сведению,— следствие разума. Воля и Разум — вот два решающих качества. Ныне чего-то достигнуть в науке можно, если есть Железная Воля, действующая в упряжке с Разумом. Ругают рационалистов, а, собственно, почему? Что плохого, если все — от ума? Разум не противоречит нравственности. Наоборот. Истинный разум всегда против подлости и всякой низости. Умный человек понимает, что нравственность — она, в конечном счете, выгоднее, чем безнравственность.

Сквозь его наивные и умные рассуждения слышалась тоска, желание найти пример, на который можно было бы опереться. Ему нужен был современный Базаров, идеал рационального человека, настоящий ученый, достигший успеха благодаря разумно выстроенной, сконструированной жизни, героические, нравственно-благородные поступки которого совершаются по уму, а не по чувству. Этот идеал, кажется, появился: жил-был обыкновенно способный человек, а стал совершенством, большим ученым, прекрасным человеком; он устроил себя, улучшил... Любищев как нельзя лучше подходил для этой роли — он, можно считать, устроил себя по самой что ни на есть рациональной метóде, создал для этого Систему, с ее помощью доказал, как многого можно достигнуть, если фокусировать все способности на одной цели. Стоит методично, продуманно, на протяжении многих лет применять Систему — и это даст больше, чем талант. Способности с ее помощью как бы умножаются. Система — это дальнобойное оружие,

это линза, собирающая воедино лучи. Это торжество Разума.

Любищев не год, не два прожил по своей безупречной геометрии. Огромная его жизнь прошла без существенных отклонений, утверждая триумф его Системы. Он поставил на самом себе эксперимент — и добился успеха. Вся его жизнь была образцово устроена по законам Разума. Он научился поддерживать свою работоспособность стабильной и последние двадцать лет жизни работал ничуть не меньше, чем в молодости. Система помогала ему физиологически и морально... А все эти упреки насчет машинности не стоило принимать во внимание. Машинность не страшна ни Разуму, ни душе. Постыдно для духа бояться научного рационализма. Если уж на то пошло, не машинность надо сталкивать с духом, а рабский дух с высоким духом. Дух, обогащенный знаниями, работой мысли, свободен от порабощающей власти машинности...

Таким образом, я вполне мог представить всем этим железным «технарям», моим друзьям из НИИ и КБ, всем молодым кандидатам, перспективным докторам, всем, мечтающим достигнуть, добиться, влюбленным в суперменов науки,— великолепного, невыдуманного героя, с именем и биографией, и в то же время идеально устроенную личность, достигшую наивысшего КПД. Все его параметры известны, рекордные показатели — налицо. Живой человек, и в то же время искусственное самосоздание, достойное восхищения.

Моему приятелю было не суть важно, насколько все это достоверно, его мало заботила совместимость моего героя с настоящим Любищевым. Отступления от подлинника неизбежны; главное, считал он, заострить на этом примере идею, выделить ее, так сказать, в чистом виде, как это делал Гоголь...

Довольно ловко у него все сходилось, и получилось убедительно и даже заманчиво, но меня останавливал живой Любищев. Мешал он мне. Тот Любищев, которого я знал, с которым встречался и беседовал, согласно записям дневника, «1 ч. 35 минут» и «1 ч. 50 минут», и еще несколько раз...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

названная самим Любищевым «О генофонде», и о том, что из этого получилось

На самом деле все происходило несколько иначе. То есть факты, которые я приводил, были абсолютно точны, но кроме них имелись и другие. Они путали картину, они нарушали стройность — стоило ли их учитывать? Литература, искусство вынуждены отбирать факты, что-то отвергать, что-то оставлять. Художник выбирает для портрета либо фас, либо профиль. Половина человека всегда остается скрытой за плоскостью холста.

Лист книги — та же секущая плоскость. Я добиваюсь не объема, а лишь впечатления объема. Противоречивые факты мешают законченности. Они взрывают готовую отливку на мелкие осколки, краски покидают рисунок и блуждают по холсту.

Если бы я не был знаком с Любищевым, мне все было бы проще...

Смерть сына он переживал долгие годы. Он держался за жесткий распорядок жизни, как лыжник на воде за трос катера. Стоило отпустить, потерять скорость — и он ушел бы под воду. Были периоды такого отчаяния и тоски, когда он заполнял дневник механически, механически препарировал насекомых, машинально писал этикетки. Наука теряла смысл; его мучило одиночество, никто не разделял его идей, он знал, что окажется прав, но для этого нужно было много времени, надо было пройти в одиночку зону пустыни, и не хватало сил.

Он мог подчинить себе Время, но не обстоятельства. Он был всего-навсего человек, и все отвлекало его — страсти, любовь, неудачи, даже счастье — и то относило его в сторону.

Второй брак принес ему долгожданный семейный покой.

Он пишет вскоре после женитьбы своему другу и учителю:

«...Обстановка исключительного домашнего уюта отвлекает меня от поля моей жизни. Я могу Вам, моему старому другу, признаться, что даже научные интересы у меня резко ослабли. Не обвиняйте меня, дорогой друг. Вы простили мне в прошлом немало прегрешений, простите и это. Это не измена науке, а увлечение слабого человека, прожившего суровую жизнь и попавшего теперь в цветущий оазис...»

Признание даже другу требует нравственных усилий. Человек не может исповедоваться каждый день. Ежедневно Любищев мог лишь отмечаться в своем дневнике. И потом вычислить степени своей слабости, своей расплаты за счастье. И то это требовало огромных душевных усилий. Откуда он черпал волю, откуда он находил силы для одинокого пути, откуда в нем был дух противостояния? Ведь это всегда странно — откуда вдруг возникают Дон Кихоты, Святые, Юродивые, почему человек вдруг, без видимых, да и невидимых толчков становится революционером, обрекает себя на путь борьбы и невзгод? Бывает воля обстоятельств, среды, но бывает, и часто, что-то заложенное, запрограммированное, то самое, что в старину означалось словом «судьба».

Из письма Александра Александровича Любищева к Ивану Ивановичу Шмальгаузену (1954):

«КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ МОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ

(О генофонде)

...В порядке старческой болтливости я попытаюсь Вам изложить тот генофонд, который я получил от моих родителей и дедов.

Вероятно, Вам неизвестно, что мои предки по отцу получили в свое время весьма «направленное» воспитание: они были крепостными графа Аракчеева, но и тогда не теряли бодрости и исправно торговали (видимо, были оброчными). Поэтому я с полным основанием могу утверждать, что в моих хромосомах имеется г е н о п т и м и з м а или, даже правильнее будет сказать,— гиляризма (от gilarus — веселый). Мой прадед умер от холеры во времена Николая I, и дедушка, отец отца, Алексей Сергеевич, потеряв в течение нескольких дней от холеры мать, отца и двух теток, остался круглым сиротой в возрасте восьми лет или девяти лет. Но ген гиляризма был настолько силен, что он не мог плакать на похоронах и для приличия, чтобы вызвать слезы, пользовался луком. В дальнейшей жизни он все рассказы свои всегда сопровождал смехом, даже когда говорил о печальных событиях, и это было не потому, что он был жестокий или равнодушный к человеческому

горю человек — напротив, он был прекраснейший человек — просто действовал ген гиляризма.

Мой папаша тоже был очень веселый и неунывающий человек, причем в таких обстоятельствах, что у всех его знакомых вызывал искреннее удивление. По сравнению со своими предками я являюсь, конечно, достаточно дегенерированным потомком, хотя и считаюсь жизнерадостным человеком.

Другой ген, который я скорее унаследовал по материнской линии, можно назвать геном дискутизма или догоррэизма: болтливости или любви к спорам. Моя мать — урожденная Болтушкина, и, очевидно, фамилия была дана моим предкам не зря, так как дедушка мой, Дмитрий Васильевич, очень любил спорить; когда ездил в поезде, то специально отыскивал спорящего собеседника — соглашающийся с ним собеседник его не удовлетворял.

Несомненно от предков я унаследовал ген номадизма (от греческого nomados — кочевник) или даже авантюризма, что и не удивительно, так как оба моих родителя родом из Новгородской губернии и уезда, а новгородцы, как известно, были бродяги убежденные...

...В подтверждение этого гена номадизма могу привести такие данные: 1) дедушка мой, Дмитрий Васильевич, в молодости бежал в Митаву для получения образования, но оттуда обманом был возвращен в родительский дом; 2) дядюшка мой по матери, Василий Дмитриевич, был добровольцем в чернявских отрядах перед русско-турецкой войной 1877 года; 3) дедушка мой по отцу, Алексей Сергеевич, ужасно любил странствовать, и так как в те времена туризма еще не было, то он странствовал по святым местам и был два раза в Иерусалиме.

Ни я, ни моя жена (мать которой была урожденная Любищева) совсем не имеем тяготения к нашему родному городу Ленинграду и, в отличие от большинства ленинградцев, не имеющих в хромосомах гена номадизма, не стремимся там жить.

Должен сказать, что у моих предков имеется тоже ген антидогматизма. Упомянутый мной дедушка, Дмитрий Васильевич, был в достаточной степени вольтерьянцем, читал Дарвина и Бокля и был достаточно свободомыслящим человеком... Не был догматиком и мой незабвенный отец. Он был искренно верующим христианином, но у него полное отсутствие фанатизма и нетерпимости. По классификации Салтыкова-Щедрина, он

был верующим не потому, что боялся черта, а потому, что любил бога, и его бог, как бог бабушки Горького, был бог милосердия и любви. Он регулярно по праздникам посещал церковные службы, эстетически воспринимал их и, когда случалось, например за границей, посещал католические и протестантские храмы, а при проезде через Варшаву обязательно посещал хоральную синагогу.

Отец мой получил самое скромное, как называли раньше — «домашнее» образование в селе, по профессии был коммерсант. Казалось, можно было ожидать, что в нашем семействе были домостроевские нравы. Ничего подобного! С очень раннего возраста я горячо спорил с отцом по политическим вопросам (отец был очень умеренных политических взглядов, т. к. очень не хотел революции), и, однако, я никогда не слышал от отца слов: «Замолчи, ты моложе меня»,— он всегда спорил со мной как равный с равным.

Могу сказать, что по отцовской линии у меня, вероятно, получен г е н з а г р е б е н и з м а. Должно быть, мой прапрадедушка, Артемий Петрович (самый отдаленный предок по отцу, известный мне) носил фамилию Загребин: фамилия чисто кулацкая, и он, как я уже говорил, торговал, будучи крепостным крестьянином. Но загребенизм в нашем роду проявлялся в разных формах: у отца был материальный загребенизм (он был делец, по активности не уступавший, несомненно, американцам) и несомненный умственный загребенизм: он с детства стремился к самообразованию, и умственные интересы, самые живые, сохранил до самой смерти. Умер он восьмидесяти шести лет от роду во время Великой Отечественной войны. У меня материальный загребенизм ослабел. Это вызвало в свое время огорчение моего отца, который (один из немногих) высоко ценил мои практические способности и иногда вздыхал: «Эх, если бы Саша мне помогал, мы бы пол Новгородской губернии скупили». Эти вздохи выражали единственную ноту протеста против избранной мною научной карьеры, которой он не только не препятствовал, но всеми силами содействовал. После революции ему, конечно, не пришлось жалеть о сделанном мной выборе. Интеллектуальный загребенизм у меня сохранился полностью в смысле неослабевающего интереса к разнообразным и все более широким знаниям.

Наконец, в моем генофонде имеется несомненный г е н ф и л а н т р о п и з м а. Об этом свидетельствует

моя фамилия — Любищев. Основателем ее, кажется, был мой прадедушка Сергей Артемьевич, который любил говорить при обращении: «Любищепочтеннейший», отчего и произошла наша фамилия. Отец мой был исключительно благожелательный человек и всегда думал о людях лучше, чем они того заслуживали, и только тогда верил какому-нибудь порочащему слуху, когда все сомнения исчезали.

Вот какова моя генеалогия: как видите, мои качества я получил от моих предков, в первую очередь от моего незабвенного отца, но, видимо, многое заимствовал от моего дедушки, Дмитрия Васильевича, который меня особенно любил с раннего детства, хотя вообще детей особенно не жаловал».

Самооценки Любищева позволяют выяснить некоторые его нравственные критерии, может быть, наиболее существенное в этом характере. Потому что, когда сталкиваются наука и нравственность, меня прежде всего интересует нравственность. Не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Нильса Бора важнее деталей их научных достижений. Пусть противопоставление условно — я согласен на любые условности, чтобы подчеркнуть эту мысль. Чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого.

Научная работа Игоря Курчатова и Роберта Оппенгеймера, вероятно, сравнима, но людей всегда будет привлекать благородный подвиг Курчатова, и они будут задумываться над мучительной трагедией Оппенгеймера. Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности. С годами ученики без сожаления меняют себе наставников, мастеров, ученых, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей, но тому, кому посчастливится встретить человека чистого, душевно красивого — из тех, к кому прилепляешься сердцем,— ему нечего менять: человек не может перерасти доброту или душевность.

Время от времени в письмах Любищева попадаются самооценки. Как правило, он прибегал к ним для сравнения. Они открывают нравственные, что ли, ландшафты и самого Любищева, и его учителей, и друзей.

Член-корреспондент АМН Павел Григорьевич Светлов, один из друзей Любищева, занимался биографией

замечательного биолога Владимира Николаевича Беклемишева. По этому поводу Александр Александрович писал Светлову:

«...Ты упустил одну черту, чрезвычайно важную: совершенно феноменальный такт Владимира Николаевича и его выдержку... Так как у меня эта черта как раз в минимуме, то я всегда поражался ею у В. Н. Я очень резок, и моя критика часто больно ранила людей, даже мне близких. Правда, это ни разу не разрушило истинной дружбы, и часто критикуемые становились моими друзьями, но нередко после обильного пролития слез.

...В. Н. знал хорошо латинский язык (но, кажется, плохо знал греческий) и для отдыха любил читать сочинения римских авторов, хотя, помню, читал и Геродота, но, кажется, не в оригинале. Это у него было занятие для отдыха, не связанное с его научной работой... Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженнейший дантист, если можно так выразиться,— считал, что Данте недооценивают... Я признавал красоту стихов Данте, но не видел высоты его мировоззрения. Напротив, многие места Данте меня глубоко возмущали. Например, его знаменитое начало вступления в ад (цитирую по памяти, не уверен в точности):

Per me si va nella citta dolente
Per me si va neleterno dolore
Per me si va tra la perdute gente
Ciustizzia mosse il mio alto fattore
Fecemi la divina potestate
La somma sapienza e il prima amore
Dinanzi a me non fur cose create
Se non eterno e io eterno duro
Lasciate ogni speranza voi chentrate...[1]

Или — в другом месте:

Chi e piu scelleranto' chi colui
Chi a giustizzia divin compassion porta...

---

[1] Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья.
(Примеч. автора. Пер. М. Л. Лозинского.)

...Вторая фраза звучит так: кто может быть бо́льшим злодеем, чем тот, кто сострадает осужденным Богом. И эта фраза следует за таким местом, где Данте встречает какого-то своего политического противника и тот просит чем-то облегчить его страдания. Данте обещает ему это сделать, но в самый последний момент изменяет своему обещанию и злорадно смеется над муками врага... Это даже не суровое доминиканство, беспощадное к друзьям и родным, а нечто гораздо худшее... Вся его «Комедия» отнюдь не божественная, а самая земная, человеческая... Это и многое другое непонятно с религиозной, прежде всего христианской точки зрения. Для В. Н. же Данте был не только выдающийся поэт (этого я не отрицаю), но и провидец, видевший «умными» очами то, что невидимо обычным людям. Тут, очевидно, проходит грань между мной и мне подобными — многими людьми, видящими в Шекспире не только выдающегося драматурга и в Пушкине не только выдающегося поэта, но и лидеров человеческой мысли, что я вовсе отрицаю. Та моральная высота, которая была уже достигнута в древнегреческих трагедиях учениками Сократа, Платона и Аристотеля, совершенно отсутствует у Данте. Так по поводу Данте мы с Владимиром Николаевичем договориться не могли.

...Я думаю, что то разделение своих интересов, которое В. Н. провел, было оптимальным, а кроме того, от его работы с комарами было огромное нравственное удовлетворение, что эти работы непосредственно полезны народу. А что касается того, что многие планы остались невыполненными, так я думаю, что у всякого человека широкого диапазона планов столько, что их выполнить невозможно.

...Если бы моя резкость была связана с нетерпимостью, то я нашел бы много личных врагов. Мое сильное свойство, что в полемике я никогда не преследую личных целей. В. Н. же умел столь же строгую критику преподносить безболезненно. Я, конечно, веселее В. Н. и люблю трепаться и валять дурака. Я в детстве совсем не дрался и не любил драться, вообще был очень смирным внешне, но интеллектуальную борьбу люблю, и в этой борьбе веду себя подобно боксеру: я не чувствую сам ударов и имею право наносить удары. Эта практика оказалась совсем не вредной, я не нажил личных врагов и, живя в разных странах, великолепно ладил с разноплеменным населением.

...В чем я считаю себя сильнее В. Н. и что он тоже признавал, это, как он выражался, большая метафизическая смелость, истинный нигилизм в определении Базарова, т. е. непризнание ничего, что бы не подлежало критике разума... Ввиду наличия у В. Н. непогрешимых для него догматов он был нетерпимее, чем я, но эту нетерпимость никогда не проявлял извне. Мы же так отвыкли от истинного понимания терпимости, что часто всякую критику (т. е. отстаивание права иметь собственное мнение) уже рассматриваем как попытку «навязать» свое мнение, т. е. нетерпимость. Но единственная сила, которую можно применять,— это сила разума, и сила разума не есть насилие... Я хорошо помню великолепные слова Кропоткина «люди лучше учреждений», это он сказал относительно деятелей царской охранки. Я бы прибавил: люди лучше убеждений.

...По ряду соображений, частично внутренних, частично внешних, я начал собирать насекомых с 1925 года (прежде всего блошек) и примерно с того же времени — читать лекции по сельхозвредителям в Пермском университете.

...Американец Блисс, когда мы с ним ездили в командировку по Украине и по Кавказу, сказал мне по поводу моего обычая одеваться более чем просто, игнорируя мнение окружающих: «Я восхищаюсь вашей независимостью в одежде и поведении, но, к сожалению, не нахожу в себе сил вам следовать». Такой комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошляков... По-моему, для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной одежды, потому что 1) зачем конкурировать с теми, для кого хорошая одежда — предмет искреннего удовольствия; 2) в скромной одежде — большая свобода передвижения; 3) некоторое даже сознательное «юродство» неплохо: несколько ироническое отношение со стороны мещан — полезная психическая зарядка для выработки независимости от окружающих...»

Цитирую я здесь, как можно видеть, разные, выборочные места, связанные с характером Любищева и с уровнем культуры его среды.

Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике, наизусть. Они приводили по памяти фразы из Тита Ливия, Сенеки, Платона. Классическое образование? Но так же они знали и Гюго, и Гете, я уже не говорю о русской литературе.

Может показаться, что это — письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве Любищева есть статьи о Лескове, Гоголе, Достоевском, «Драмах революции» Ромена Роллана.

Может, литература — его увлечение? Ничего подобного. Она — естественная потребность, любовь без всякого умысла. На участие в литературоведении он и не покушался. Это было нечто иное — свойство ныне забытое: он не умел просто потреблять искусство, ему обязательно надо было осмыслить прочитанное, увиденное, услышанное. Он как бы перерабатывал все это для своего жизневоззрения. Наслаждение и от Данте, и от Лескова было тем больше, чем полнее ему удавалось осмыслить их.

В одном из писем он цитирует Шиллера, куски из «Марии Стюарт» и «Орлеанской девы». Цитаты переходят в целые сцены, чувствуется, что Любищев забылся — и переписывает, и переписывает, наслаждаясь возможностью повторить полюбившиеся монологи. Так что было и такое...

Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым — з н а т ь. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода — з н а т ь. Ему кажется, что культуру можно з н а т ь. Он следит за новинками, читает книги, смотрит картины, слушает музыку — внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия. Но — без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысления не происходит. Он «в курсе», он «осведомлен», «информирован», он «сведущ», но все это почти н е переходит в культуру.

— А наше дело — заниматься конкретными вещами,— говорил мой технарь. Он был упоен могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами, их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человеку еще большие удельные мощности.

— Размышление на общие темы не обязательно, не входит в наши обязанности, да и кому это нужно... А впрочем...— Он погрустнел.— Хорошо бы было обо

всем этом подумать... Но когда? Не знаю, как это им удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете...

Ни Любищев, ни Беклемишев не были кабинетными учеными, никто из них не жил в привилегированных условиях, никто не был изолирован от тревог, грохота и страстей довоенных и военных лет. Действительность не обходила их ни потерями, ни бедой. И вместе с тем, когда читаешь их письма, понимаешь, что содержанием их жизни были не невзгоды, а приобретения.

В Ленинграде, работая во Всесоюзном институте защиты растений, Любищеву приходилось по совместительству читать лекции, консультировать. Нужно было помогать жене, нужно было кормить большую семью:

«...Я рассчитывал, что наряду с прикладной энтомологией буду заниматься и систематической энтомологией и общебиологическими проблемами... но занимался этим мало. Приходилось отдавать много времени на хождение по магазинам, стояние в очереди за керосином и прочими вещами. Жена моя тоже работала, а трудности были большие. Я довольно много занимался математикой, причем делал это и в трамваях, и при поездках, и даже на заседаниях, когда решал задачки. Одно время на это смотрели неодобрительно, но когда убедились, что решение задач не мешает мне слушать выступление, что я доказывал, выступая по ходу заседания, то с этим примирились. При поездках я много читал и философских книг, в частности все три «Критики» Канта были прочитаны мною в дороге... По философии, мне помнится, я написал единственный довольно большой этюд, примерно около ста страниц тетрадного формата, с разбором «Критики чистого разума» Канта. Эта рукопись пропала в Киеве...»

Жизнь народная, со всем ее бытом, была и его жизнью. Удивляет не то, что в тех условиях он находил время изучать Канта, а скорее то, что чтения этого было недостаточно; ищущая его натура должна была усвоить, опробовать и так и этак, повернуть по-своему; прочитав Канта, он пишет этюд о главной работе Иммануила Канта, критически отбирая то, что ему подходит. Ему надо было найти свое.

На него не действовали ни общие мнения, ни признанные авторитеты. Авторитетность идеи не определялась для него массовостью.

Он считал себя нигилистом — в том смысле, какое дал этому слову Тургенев:

«Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип»... С той лишь добавкой, что это был нигилизм творца. Ему важно было не свергнуть, а заменить, не опровергнуть, а убедиться...

Что-то там, в глубине его ума, бурлило, варилось; он неутомимо искал истину там, где никто ее не видел, и искал сомнения там, где установились незыблемые истины.

В нем жила потребность задаваться вопросами, от которых давно отступились: о сущности природы, эволюции, о целесообразности,— немодная, заглохшая потребность.

Замечательно то, что он пытался отвечать, не боясь ошибок. Ему нравилось не считаться с теми узаконенными ответами, какие имелись в школьных программах.

При всей своей исключительности он не был исключением. Переписка Любищева с Юрием Владимировичем Линником, Игорем Евгеньевичем Таммом, Павлом Григорьевичем Светловым, Владимиром Александровичем Энгельгардтом радует взаимной высотой культуры и духовности. Читать эти письма было и завидно, и грустно — с этим поколением уходит русская культура начала века и революции.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

об одном свойстве некоторых ученых

В Ленинградском университете сохраняется квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. Квартира-музей — это нечто особое. Их и осматривать надо иначе, чем обычные музеи. В них надо не ходить, а побыть. Мемориальный музей исключает Время. В этих музеях ничего не меняется. Они нравятся мне подлинностью мгновенного слепка с ушедшего быта. Здесь все как было, не воссозданное, а остановленное. И тот же университетский двор, и тот же шум в вестибюле, кусты под окнами, те же своды, та же мебель.

Музей, в котором стоит, казалось бы, все отжившее, мертвое, на самом деле возвращает жизнь этим старым вещам, хранит эту жизнь. Для музея смерть — не ко-

нец, а начало существования. Квартиры Пушкина, Чехова, Некрасова обладают необъяснимой силой воздействия, как будто дух хозяина продолжает жить в этих стенах. Каждый человек носит в себе музей; у каждого есть хранилище совести, пережитого, есть свои мемориалы, дорогие нам места, вернее — образы тех мест, потому что сами эти места, может, уже исчезли или изменились.

Музеи городов должны, наверное, сохранять квартиры не только великих людей, но и просто людей. Мне хотелось, чтобы сохранилась и коммунальная квартира трудных тридцатых и сороковых годов с коммунальной кухней, тесно заставленной столиками, а на столиках — примусы, а возле примусов — иголки — полоски жести с зажатыми иголочками для того, чтобы прочищать ниппель примуса; чтобы висело расписание уборки мест общественного пользования, чтобы вязанки дров поленницами лежали в передней, в коридоре, в комнатах, за железными гофрированными тумбами печек...

Так мы жили. И наши родители.

...В кабинете Менделеева осталось все как при хозяине: письменный стол, книжные шкафы, этажерка, диван и длинные ящики каталогов. Они-то меня больше всего заинтересовали. Каталожные карточки были заполнены собственноручно Менделеевым. Названия журнальных статей, книг, брошюр его библиотеки аккуратно выписаны, и сверху проставлен шифр. К каталогу имелся указатель. Отделы, подотделы, вся система каталогизации была разработана Менделеевым и исполнена им же. А библиотека насчитывала 16 тысяч наименований. Нужные статьи из всевозможных журналов Менделеев изымал, сгруппировывал в тома, которые переплетались, и для этой группировки нужен был какой-то принцип, какая-то система разделения и классификации. Известно, что книги, тем более оттиски, гибнут в больших библиотеках, если не попадают в библиографическую систему.

Уже в те времена за научной литературой становилось трудно следить. Гигантскую работу, проделанную Менделеевым — тысячи заполненных карточек, подшитых в пачки, подчеркнутых цветными чернилами,— я объяснял необходимостью, рабочей нуждой, а нужда, она научит и лапти плесть, коли нечего есть. Хочешь не хочешь — ему приходилось отрывать время на эту канцелярщину.

Но затем мне показали другие ящики, новый каталог, с иной картотекой и журналом, где был ключ к этому каталогу. Сюда Менделеев заносил свою коллекцию литографий, рисунков, репродукций. Тут уж, казалось бы, прямой нужды не было — тем не менее он расписал тысячи названий; опять все было распределено, систематизировано.

Я смотрел альбом, куда Менделеев после каждого путешествия разносил фотографии. В сущности, это были альбомы-отчеты. Поездка в Англию — подклеены были пригласительные билеты, меню торжественного обеда, какие-то бумажные значки, открытки. Менделеев сам печатал фотографии, сам расклеивал, подписывал. Письма, всю корреспонденцию он тоже подбирал, сброшюровывал по какой-то системе; по другой системе вел записные книжки, записи дневниковые и денежных расходов. Вел изо дня в день, указывал любые траты, вплоть до копеечных. Если бы я увидел эти документы в копиях, допустим в публикациях архива Менделеева, я решил бы, что это либо блажь, либо скупость, мания — словом, какая-то слабость великого человека.

Но передо мною были подлинные документы; у них есть магическое свойство — они способны что-то досказывать, доведывать...

Бумага, почерк, чернила продолжают излучать тепло рук писавшего, его настроение. Перо, я это видел, скользило по бумаге без нетерпения и скуки, чувствовалось тщание, некоторая даже любовность.

Мне вспомнилось признание Любищева:

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь чисто технической работой».

У Менделеева такая черновая работа была, очевидно, тоже отдыхом, приятностью. Через Любищева становилось понятно, как любовь к систематизации может проходить через все увлечения, и эти менделеевские каталоги, расходные книжки — никакая это не слабость. Все, с чем он ни сталкивался, ему хотелось разделить на группы, классы, определить степени сходства и различия. Черновая, даже механическая работа — то, что представлялось людям посторонним чудачеством, бесполезной тратой времени,— на самом деле помогала творческому труду. Недаром многие ученые считали

черновую работу не отвлечением, а условием, благоприятным для творчества.

Я сидел один в кабинете Менделеева и думал о том, что электронно-вычислительные машины, конечно, освобождают человека от черновой работы, но, одновременно, они и лишают его этой работы. Наверное, она нужна, ее будет не хватать, мы обнаружим это, лишь когда лишимся ее...

Старая мебель окружала меня — тяжелая, крепкая, изготовленная со щедрой прочностью на жизнь нескольких поколений. Вещи обладают памятью. Во всяком случае, пожившие вещи, сделанные не машиной, а рукой мастера. В детстве, пока инстинкты еще не заглохли, я хорошо чувствовал эту одушевленность вещей.

Вспомнилось, еще из детства, ощущение дерева, его мышц,— живого, упрятанного там, за лаком, краской, в глубине древесных сухожилий. Словно что-то передавалось мне от многих часов, проведенных здесь Менделеевым, среди этих книг и вещей.

Страсть к систематизации была как бы оптикой его ума, через нее он разглядывал мир. Это свойство его гения помогло ему открыть и периодический закон, выявить систему элементов в природе. Сущность открытия соответствовала всей его натуре, его привычкам и увлечениям.

Процесс упорядочения, организации материала — для ученого сам по себе удовольствие. Пусть это не имеет большого значения, вроде каталога репродукций, но заниматься этим приятно. Наслаждение такого рода — ведь это уже само по себе смысл.

У Любищева был развит вот такой же тип мышления: ученого-систематика. Стремление создать из хаоса систему, открыть связи, извлечь закономерности в какой-то мере свойственно всякому ученому. Но для Любищева систематика была ведущей наукой. Она имела дело и с Солнечной системой, и системой элементов, и системой уравнений, и систематикой растений, и кровеносной системой: всюду царила система, всюду он различал систему.

Систематика была его призванием; она выводила к философии, к истории; она была его орудием.

Он хотел стать равным Линнею...

Выявлять новые, все более глубокие системы, заложенные в природе...

В его записках 1918 года он строит одну систему за другой, вплоть до системы глупости — полезная глупость, вредная, прогрессивная и т. д. Он пишет о недостатках университетского устава и сразу же пробует создать систему, заложить систему устава.

Быт его был упорядочен разного рода системами: система хранения материалов, система переписки, система хранения фотоснимков.

Бесчисленное количество дат, имен, фактов, которыми так легко оперировал Александр Александрович Любищев, были уложены в его голове по какой-то хитрой системе. По крайней мере, так казалось, когда, не «роясь в памяти», он в нужный момент извлекал их, как извлекают из шкафа требуемый том справочника.

Он один из первых стал применять в биологической систематике дискриминантный анализ. Он вооружал систематику — я бы сказал, лелеял ее — математикой. Биологические системы или система в биологии вызывала у него чисто эстетическую радость и одновременно грусть и печаль от этой непостижимой сложности и совершенства природы.

Поражающее многообразие в строении тех же насекомых для него — не помеха, не отвлечение, а источник удивления, того удивления, которое всегда приводило ученых к открытиям. Он мечтал выявить истинный порядок организмов и понимал необозримость этой задачи.

«...Вероятно, большинству кажется, что систематика многих групп — например, птицы, млекопитающие, высшие растения — в основном кончена. Но здесь можно вспомнить слова великого К. фон Бэра: «Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели»...»

Подобно многим людям, я имел самые высокомерные представления о систематике насекомых. Наукой это не назовешь, в лучшем случае — хобби. Можно ли считать занятием, достойным взрослого мужчины, ловлю бабочек и разных мошек? Какую мошку рядом с какой наколоть... Чудачество, украшающее разве что героев Жюля Верна.

А между тем систематика стала ныне сложной наукой с применением математики, ЭВМ; все шире там пользуются теорией групп, матлогикой, всякими математическими анализами.

Энтомология, букашки, систематика... Коллекции наколотых на булавки, с распростертыми крыльями ба-

бочек. Бабочки, сачок — почти символы легкомыслия. А между прочим, были ученые, которые годами занимались узорами на крыльях бабочек. Вот уж где, казалось бы, пример отвлеченной науки, оторванной от жизни, бесполезной, не от мира сего и т. п. Между тем, ленинградский ученый Борис Николаевич Шванвич, сравнивая эти узоры, размышляя над геометрией рисунков, над сочетанием красок, сумел извлечь чрезвычайно много для морфологии и проблем эволюции. Узоры стали для него письменами. Их можно было прочитать. Природа устроена так, что самая незначительная козявка хранит в себе всеобщие закономерности. Те же узоры, они — не сами по себе; они — часть общей красоты, которая остается пока тайной. Чем объяснить красоту раковин, рыб, запахи цветов, изысканные их формы? Кому нужно это совершенство, поразительное сочетание красок?.. Каким образом природа сумела нанести на крыло бабочки узор безукоризненного вкуса?..

Надо было иметь известное мужество, чтобы в наше время позволить себе отдаться столь несерьезному, на взгляд окружающих, занятию. Мужество и любовь. Разумеется, каждый настоящий ученый влюблен в свою науку. Особенно же — когда сам объект науки красив. Но, кроме звезд, и бабочек, и облаков, и минералов, есть предметы с красотой, невидимой никому, кроме специалистов. Большей частью это бывает с отвлеченными предметами, вроде математики, механики, оптики.

Но есть и вовсе странные объекты. Так, известный цитолог Владимир Яковлевич Александров с упоением рассказывал мне о поведении клетки, о том, что она, несомненно, имеет душу. Любищев был, разумеется, убежден, что наиболее этическая, нравственная наука — это энтомология. Она помогает сохранять лучшие черты детства — непосредственность, простоту, умение удивляться. Прежде всего он чувствовал это по себе — и действительно, чтобы старый, почтенный человек, не обращая внимания на прохожих, вдруг пускался в погоню, через лужи, за какой-то букахой,— для этого надо иметь чистоту и независимость ребенка. А то, что энтомологов, говорил он, считают дурачками,— это иногда полезно, они безопасно могут ходить в самые «разбойничьи» места, благо над ними посмеиваются, как над безобидными юродивыми.

Они и в самом деле чудаки. Некоторые из них по-настоящему влюблены в своих насекомых. Карл Линде-

ман говорил, что он любит три категории существ: жужелиц, женщин и ящериц. Ловя ящериц, он целовал их в голову и отпускал. «Видимо, почти то же он делал и с женщинами»,— замечает Любищев.

На могиле Шванвича на Охтинском кладбище высечен любимый им узор крыла бабочки.

Чарлз Дарвин, который тоже начинал как энтомолог, вспоминал:

«...Ни одно занятие в Кембридже не выполнялось мною так ревностно и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков... Ни один поэт не испытывал большего восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидя в издании Стефенса, «Иллюстрации британских насекомых», магические слова: «„Пойман Ч. Дарвином, эсквайром..."»

Пристрастие к энтомологии доходило до того, что Любищев терял присущую ему терпимость, чувство справедливости и даже чувство юмора. Он не мог простить Александру Сергеевичу Пушкину ядовитого рапорта Воронцову о саранче. Он доказывал, что свое отношение к Воронцову Пушкин изменил лишь из-за обиды, после «издевательской» командировки Пушкина на борьбу с саранчой. После этого Воронцов стал для него «полуневежда и полуподлец».

Саранча летела, летела
И села,
Сидела, сидела, все съела
И вновь улетела.

«Для меня ясно,— пишет А. А. Любищев,— *что издевательским был отчет Пушкина. Командировку я вовсе не нахожу издевательской. Насколько мне известно, Пушкин был чиновником особых поручений. Специалистов-энтомологов в то время не было, и поэтому командировка развитого и смышленого человека была вполне уместна. Никаким опасностям он там не подвергался, а мог изучить быт народа... а кстати, отдохнул бы от неумеренного волокитства за одесскими барыньками, включая и мадам Воронцову, что, конечно, отнимало у него гораздо больше времени и сил, чем обследование саранчи»*.

Любищев был убежден, что своим здоровьем, работоспособностью он обязан своей прекраснейшей специальности. Работа с насекомыми входила в Систему, допол-

няла ее физической нагрузкой, приятностью механической работы.

Энтомология, систематика, земляные блошки — пусть стоящие споров и ссор с неодарвинистами,— все равно, что может быть спокойней и укромней, чем это далекое от треволнений актуальных задач науки, это милое академическое убежище, эта безобиднейшая специальность...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

За все надо платить

В тридцатые годы Любищев работал в ВИЗРе — Всесоюзном институте защиты растений, который находился тогда в Ленинграде на Елагином острове, в Елагином дворце.

Любищев изучал экономическое значение насекомых-вредителей. Подойдя к этому математически, Любищев пришел к заключению, несколько ошеломившему всех,— что ущерб, наносимый насекомыми, во многом преувеличивается. На самом деле эффективность их действий значительно ниже, чем ее тогда принимали. Поехав на Полтавщину, он обследовал участки, которые числились как пораженные луговым мотыльком. Поля выглядели странно: свеклы не видно, всюду растет лебеда. Раздвигая заросли лебеды, Любищев обнаруживал угнетенные, но совершенно здоровые побеги свеклы. Ему стало ясно, что мотылек тут ни при чем. Руководители колхоза оправдывались тем, что мотылек был и обязательно съел бы свеклу, но поля опрыскали и спасли. Любищев возражать не мог, поскольку следов мотылька не осталось. Однако на следующий день он наткнулся на приусадебный участок сахарной свеклы и поразился великолепным видом: растения мощные, никаких признаков повреждений. Все разъяснилось, как водится, очень просто: хозяин добросовестно ухаживал за своим участком. В конце концов председатель и агроном признались, что колхозники работать на поля не выходили — свекла заросла, и луговой мотылек здесь ни при чем.

Обследование Северной Украины показало Любищеву, что и в других районах луговой мотылек практически вреда не приносил. Имелись сигналы с Северного Кавказа. Любищев ездил и тщательно осматривал поля,

на которые ссылались районные руководители. Нигде не было прямых результатов повреждений. Сведения оказывались, мягко говоря, преувеличенными, вред — сомнительным.

Он гнался за сигналами. В Ростове ему сообщили, что в таком-то совхозе уничтожен подсолнечник. Приехав на место, он выяснил, что подсолнечник вовсе не сеяли. Он побывал в Зимовниках, изучая вредность сусликов; изъездил Азербайджан, изучая вредность стеблевой ржавчины; в Георгиевской обследовал яблоневые питомники.

Армавир, Краснодар, Таловая, Астрахань, Буденновск, Крымская — география его поездок охватывает весь юг России.

Считалось, что вредители, особенно на зерновых, приносят ущерб не менее десяти процентов. Любищев не мог согласиться с этой цифрой. Результаты его поездок, а также изучения данных США заставили его снизить этот процент до двух, о чем он и пишет в докладной записке. Затем он доказал, что шведская мушка, на которую ссылались, не всегда снижает урожай пшеницы и ячменя. Три года Любищев перепроверял свои наблюдения, затем выступил в печати. Ему пришлось сделать логический вывод, что деятельность отдела борьбы с сельскохозяйственными вредителями раздувается и, по чести говоря, отдел в том виде, в каком он был,— не нужен.

Какое, спрашивается, дело было Любищеву, нужно или не нужно данное учреждение? Не его это была забота. Ну хорошо, допустим, доказал он, что вред лугового мотылька преувеличен, доложил,— ну и все, хватит, долг ученого выполнил... Неужели не понимал, что слишком много разных людей заинтересовано в существовании этого отдела и в том, чтобы все эти мушки, мотыльки, пильщики числились опасной силой — иногда и колхозам было удобно и еще кой-кому...

Может, и понимал. В долгих скитаниях своих по селам и деревням навидался нерадивых хозяев, ищущих, на что бы сослаться. Наверняка понимал, поскольку приготовился к борьбе, вооружился новыми методами вариационной статистики, уточняя роль сельскохозяйственной энтомологии. Теперь, с цифрами, по всем правилам — любой может убедиться — он доказывал, как безграмотно производился у нас количественный учет экономического вреда от насекомых.

«Безграмотно» — он выбрал это слово как самое точное, хотя лучше было бы найти что-то другое, поскольку адресовалось оно людям, имеющим солидные звания и награды. Считалось, что насекомые-вредители распределяются более или менее равномерно на пораженных областях. Отсюда делался вывод о том, что нужно обрабатывать огромные площади зерновых. Задача — и по рабочей силе, и по химикатам — непосильная для тех лет. Любищев доказал, что вредители зерновых распределяются крайне неравномерно, бороться с ними можно на небольших площадях, тем самым сберегая миллионы рублей.

Руководителей отдела экономия не интересовала. Надо было отплатить за оскорбление — они были оскорблены, уязвлены,— и это было важнее всего.

В 1937 году произошло памятное заседание Ученого совета ВИЗРа. Пять часов длилось обсуждение работ Любищева. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого Любищева. Его обвиняли в том, что он систематически чуть ли не умышленно снижает опасность вредителей с целью демобилизации борьбы с ними... да и, кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово «вредитель» играло вторым смыслом. Адвокат вредителей, пособник... Раздражало, что Любищев и не думал каяться. Правда, в заключительном слове он признал, что последние годы ему приходилось менять свои взгляды, но, видите ли, никогда он не делал это по приказу. Ему, видите ли, нужны доказательства. Оказывается, это единственное, что может на него подействовать.

Совет признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило Любищева: он полагал, что в науке голосование ничего не решает; наука — не парламент, и большинство оказывается чаще всего неправым.

Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения ученого совета он вполне мог, как он сказал, «перейти на казенные харчи».

И все же иначе он поступить не мог. Вдруг выяснилось, что он не мог поступать по трезвым доводам рассудка. Или по соображениям пользы науки, своей цели и т. п. Жертвовать собой, так хоть ради чего-то,— но

кому какая польза могла быть от его ареста, от того, что его сочли бы вредителем, приспешником... Ясное дело, не существовало никаких разумных соображений так себя вести.

Тупо и упрямо он стоял на своем.

Вопреки своему хваленому рационализму.

Это всегда удивительно — ощутить вдруг предел, неподвластный логике, разуму, непонятный, необъяснимый, духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то: «На этом я стою и не могу иначе».

...Пока дело тянулось в ВАКе, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства: директора института арестовали, и среди прочих обвинений было — разгон кадров. Тем самым Любищев политически был как бы оправдан, и ВАК (еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена) оставил Любищеву степень доктора наук.

Похожая история повторилась с ним спустя десять лет, после известной сессии ВАСХНИЛа, в 1948 году.

Выручала его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. Очень он был похож на того старого неподкованного профессора, которого в пьесах и фильмах того времени наставляли, агитировали, перевоспитывали — то уборщица, то пожилой мастер, то подкованная внучка.

Как-то один молодой ученый позавидовал размеренной благополучной жизни Любищева. На что верный своей манере Любищев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей:

«В возрасте пяти лет упал со столба и сломал руку;

в возрасте восьми лет отдавил плитой ногу;

в возрасте 14 лет, препарируя насекомых, порезался: началось заражение крови;

в 20 лет — тяжелый аппендицит;

в 1918 году — туберкулез легких;

1920 — крупозная пневмония;

1922 — сыпняк;

1925 — сильнейшая неврастения;

1930 — чуть не арестован в связи с кондратьевщиной;

1937 — кризис в Ленинграде (ВИЗР);

1939 — после неудачного прыжка в бассейне — мастоидит;

1946 — авиационная катастрофа;

1948 — проработка после сессии ВАСХНИЛа;

1964 — тяжелое падение затылком о лед;
1970 — сломал шейку бедра...»

Все это — не считая множества других инцидентов. Он обладал высокой «инцидентоспособностью». Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест, и если падал, то разбивался...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

о противоречиях

Время от времени он рассылал свои отчеты друзьям. Назывались они — «годичные послания». Разумеется, не полный отчет, а некоторая выборка. Сами же годичные отчеты оставались в архиве. Годичные послания — ясно; на запросы друзей он отделывался как бы общим письмом, где рассказывал, что сделано, над чем работает, каково состояние здоровья. Сухие ведомости годовых отчетов преображались в годичных посланиях друзьям. Описание прошедшего года со всеми злоключениями, невзгодами и радостями — это и весело, и серьезно:

«...В январе получил хорошую встряску, поскользнувшись и упав затылком об лед. Первый раз понял, что значит «память отшибло». Я сознания не потерял, но когда поднялся, то совершенно забыл, что хотел зайти к одному знакомому... Вредных последствий не было, даже думаю, что были полезные. Прецеденты описаны: говорят, митрополит Филарет Дроздов в молодости отличался слабыми способностями и был пастухом, но как-то получил крепкий удар по лбу, после чего обнаружил способности и сделался митрополитом. Но он был известен как реакционер, что вполне понятно, так как получил удар по лбу, что дало ему толчок назад. Получивши же подзатыльник (старинное русское педагогическое мероприятие), человек получает стимул двигаться вперед, что и объясняет способность русского племени. Хотя таким образом разработана теория и практика подзатыльников, я решил от применения этих мероприятий к себе воздержаться...»

Но для кого, собственно, составлялись сами отчеты, те, что оставались в его архиве, многостраничные, со всеми перечнями? Перед кем он отчитывался? Если только для анализа прошедшего года, то вряд ли стоило выписывать все названия прочитанных книг, всех адресатов писем, все прослушанные оперы... Достаточно бы-

ло бы привести количественные, так сказать, характеристики: сколько томов, страниц, часов и т. п. В его отчетах явно ощущался дух именно отчета перед кем-то, перед чем-то. Он отчитывался. Перед собою? Звучит это, конечно, красиво, но реальности тут мало: скорее искусственный домысел, больше литературный, чем жизненный. Что значит — перед собою? Это требует некоего раздвоения психики, почти комического: я пишу себе же, отчитываюсь и жду решения...

Думаю, предполагаю, что дело обстояло несколько иначе, что возникли отчеты из необходимости анализа: с каждым годом у Александра Александровича Любищева возрастало ощущение ценности времени, какое появляется к зрелости у каждого человека, у него же — особенно. Система вырабатывала уважение к каждой частице времени, благоговение перед временем.

Эта характерная черта подмечалась людьми, хорошо знавшими его.

«Время его жизни,— писал Павел Григорьевич Светлов,— это не его собственность, оно отпущено ему для работы в науке, именно в этом заключается его долг и главная радость его жизни. Во имя исполнения этого долга он экономил время, учитывая все часы и минуты, бывшие в его распоряжении».

Он отчитывался за время, «отпущенное» ему, как выразился Павел Григорьевич Светлов, за время одолженное... Кем? Здесь мы касаемся уже его философии жизни, отношения к цели, к Разуму, к сложнейшим вопросам бытия, в которых я не готов разбираться. И не решаюсь касаться.

Мне ясно лишь одно: его Система не была сметой расчетливого плановика — скорее ее можно сравнить с потребностью исповедаться перед Временем.

То чувство благоговения перед жизнью, о котором пишет Альберт Швейцер, у Любищева имело свой оттенок — благоговение перед Временем. Система его была одухотворена чувством ответственности перед Временем, куда входило понятие и человека, и всего народа, и истории...

Итак, он много сделал, поскольку следовал своей Системе, поскольку никогда не считал полчаса малым временем.

Его мозг можно назвать великолепно организованной машиной для производства идей, теорий, критики.

Машина, умеющая творить и ставить проблемы. Неукоснительно действующая в любых условиях. Четко запрограммированная на важнейшую биологическую проблему и безупречно проработавшая с 1916 года, то есть пятьдесят шесть лет подряд. Нет, сам он, как уже выяснилось, не был роботом, отнюдь: он страдал, и веселился, и совершал безрассудные поступки, причинял себе неприятности, так что во всем остальном он был подвержен обычным человеческим страстям.

«С моей точки зрения,— говорил он сам,*— представление о человеке как о машине есть суеверие, примерно такое же, как суеверие, что лежит в основе составления гороскопов»*.

Пример с гороскопами не случаен — считалось, что звезды жестко предопределяли судьбу человека. Любищев предопределил себя сам.

Для Любищева была предопределена не судьба, не поступки, не переживания, а его работа. Так, по крайней мере, вытекало из его Системы. Все было расписано, вычислено для достижения цели. Ради этого — планировалось, подсчитывалось, было распределено по входным и выходным каналам. И отчитываться он должен был — насколько он продвинулся вперед, к цели.

Однако чем дальше, тем загадочнее становился его путь — то и дело он отклоняется в сторону. Без видимых причин, беспорядочно, надолго отвлекается, забывая о своей главной задаче. При этом нельзя сказать, что он человек разбросанный: начав какую-нибудь работу, он кончает ее, но сама эта работа — посторонняя, никак не предвиденная.

В 1953 году, казалось бы ни с того ни с сего, он садится за работу «О монополии Лысенко в биологии». Сперва это были некоторые практические предложения, потом они разрослись в труд, имеющий свыше семисот страниц. В 1969 году так же неожиданно он пишет «Уроки истории науки». Пишет воспоминания о своем отце; печатает в «Вопросах литературы» статью «Дадонология»; ни с того ни с сего разражается «Замечаниями о мемуарах Ллойд-Джорджа»; пишет вдруг трактат об абортах, и тут же — эссе «Об афоризмах Шопенгауэра», и следом —«О значении битвы при Сиракузах в мировой истории». Ну что ему Сиракузы? С какого боку!

Однако сто́ит вникнуть — и выясняется, что известные наши историки-античники советуются с ним, посылают ему на отзыв работы. Он выступает как знаток античной истории, для специалистов он интересен как мыслитель — и здесь у него свои взгляды, своя трактовка, свой еретизм.

В той же статье о Сиракузах он пишет:

«Казалось бы, что если бы в этой битве верх одержали Афины, то они сумели бы под своей гегемонией объединить всех эллинов, создать обширное государство, в рамках которого шло бы безостановочное развитие эллинской культуры... Эту точку зрения я все время воспринимал без критики. Афины казались каким-то чудом истории — на крошечном клочке земли, разделенном еще на множество мелких полисов, возникла поразительной высоты культура, которая и сейчас вызывает наше восхищение: искусство, литература, философия, наука и едва ли не первая попытка демократического строя... И постоянным антагонистом великолепных Афин было мрачное солдафонское государство Спарты с его полным отсутствием культурного наследства... пламенной самовлюбленностью и ограниченностью».

Как и все, он считал, что правда на стороне афинян и что афиняне, возглавляемые талантливым Алкивиадом, должны были победить. Но обратите внимание на следующую фразу: «...Сейчас ряд соображений заставляет меня решительно изменить свои взгляды на роль Афин в мировой истории». И далее он излагает по порядку соображения, подробно аргументируя их.

Можно подумать, что его профессия — история Афин или по крайней мере древняя история и какие-то новые материалы заставили его передумать, пересмотреть и изменить свой взгляд на роль Афин. Разве придет в голову, что это пишет биолог? Опять-таки дело не в эрудиции. Поражает другое: ему, видите ли, не дает покоя роль Афин в мировой истории!

Теперь, когда его нет, любой вопрос безответен — надо рыться в письмах, рукописях, чтобы найти ответ. Изучая его отчеты, я уяснил, что в этот период он готовил работу о расцвете и упадке цивилизации и поэтому продумывал роль Афин. Так что все это — не игры досужего ума. А работу о цивилизациях он затеял потому, что считал необходимым раскритиковать социал-дарвинистские взгляды крупнейшего английского генетика Рональда Фишера, который пытался социологию свести

к биологии и доказать, что генетика — ведущий фактор прогресса человечества, причина расцвета и упадка цивилизации.

Вероятно, во многом, что кажется у Любищева случайным, можно проследить необходимость и связь с его главной работой. Но есть и вещи совсем неприкаянные, начисто посторонние. С какой стати он берется за трактаты о Марфе Борецкой, садится за труд об Иване Грозном? Конечно, и это можно оправдать и обосновать. Особенно хорошо обоснованы бывают слабости. Любищев явно не умеет себя ограничивать. Он увлекается вещами, *для него* посторонними, ввязывается в дискуссии, не имеющие к *нему* прямого отношения. Что ему за дело до постулатов этики — на то есть специалисты-философы; какого черта ему надо писать свыше пятидесяти страниц «Замечания о мемуарах Ллойд-Джорджа» — это же непозволительная роскошь! Это может позволить себе лишь праздный ум...

Существует древняя поговорка: врач не может быть хорошим врачом, если он только хороший врач. То же с ученым. Если ученый — только ученый, то он не может быть крупным ученым. Когда исчезает фантазия, вдохновение, то вырождается и творческое начало. Оно нуждается в отвлечениях. Иначе у ученого остается лишь стремление к фактам.

...Отвлечения занимали все больше и больше места в его работе. Он сам сетовал, что не в состоянии укрыться от страстей окружающего мира, но я думаю, что и свои собственные страсти он не в силах был обуздать. Он не умел соблюдать диету своего ума — в этом смысле он грешил лакомством или обжорством. Там, где ему попадалось что-либо вкусненькое для его мощной логики, он не мог удержаться.

Как это сочеталось с его Системой? Да никак. Она становилась инструментом, на котором он играл что придется — импровизации.

Он учитывал время со всей скрупулезностью, но на что он его тратил? Друзья и близкие все чаще упрекали его за это, особенно же остро вставал вопрос «надо» или «не надо», когда Любищев взялся за большую свою работу о положении в биологии:

«...Самое серьезное и самое убедительное для меня в Вашем письме — это то, что Вы ощущаете свое молчание как болезнь, что оно, в сущности, и есть причина

болезни. Это прекрасное мужское свойство... Я видела, что мужчины — очевидно, люди с более глубокой социальной совестью, чем мы, бабье,— всегда болели, а часто и умирали, если не могли говорить о науке или искусстве того, что им велела совесть». И далее: «...Но ведь у Вас есть и долг перед наукой (в более глубоком смысле социальный), который заставляет Вас сидеть у микроскопа, писать статьи о науке... Есть два долга: один — наука, другой — ответственность за те формы, которые получает данная отрасль данной науки в данную историческую минуту. Я не уверена, что второй долг серьезнее первого. Решает ведь первое. Именно первое — открытие, событие; находка сметает второе».

Мнения друзей сводились к одному: дело ученого — решать свои непосредственные задачи. Научная критика, говорили они, играет подсобную роль в решении больших вопросов, «это все скорее — тактика, политика, а не научный спор. Эти вопросы надо отнести к компетенции партии и правительства».

Опасения были справедливы, доводы умны и дальновидны. Ему, как и предсказывали, пришлось столкнуться с дирекцией института и подать в отставку. Потом правота его была признана, его звали назад: но то — потом, спустя годы, в том прекрасном Будущем, в котором обязательно справедливость торжествует, а порок, как и положено, наказан, а пока что каждый мог его спросить: вот видишь, что получилось, так стоило ли?

Рукопись свою, несмотря на уход из института, он довел до конца. Рассуждая логически, он не сумел бы доказать, что работа эта стоила всех неприятностей, стоила того, чтобы отвлечься от основной своей работы... Разве что — совесть, гражданская совесть. Может, это решало — весьма туманная материя, вроде бы никак не связанная с разумом? Да и совесть его тоже страдала от того, что он забросил, отложил дело своей жизни. Он все время как бы брал отпуск за свой счет, отпуск от любимой своей работы. Ради чего? Боролся за правду? Но ведь не его это назначение, он — ученый, он ищет истину, а не правду. Обязан — не обязан. Должен — не должен. Совесть его разрывалась. Он чувствовал болезненное это противоречие, яростную полемику между долгом вмешаться, откликнуться и главным долгом своей жизни. Он понимал, что в каком-то смысле жертвует собою, откладывая осуществление любимого дела.

В сущности, он жертвовал своим временем, своим покоем. Он не мог найти для себя компромисса.

В его продолжительной жизни не было решения, она была неутихающим спором. Внутренний спор делал его все более чутким и непримиримым ко всякому злу жизни. Неумолчный этот спор питал его нравственность. В нем росло как бы ощущение всемирности, когда человек сознает, что в нем самом и для него творится история. И что судьба страны есть его собственная судьба. Это чувство гражданина страны. Не случайно он так чтил Тимирязева за то, что тот совмещал преданность чистой науке и сознание общественного долга ученого перед народом. Ощущение всемирности — ощущение принадлежности к роду человеческому.

В числе его любимцев были и Эйнштейн, и Кеплер, и Леонардо да Винчи. То есть самые разные как бы типы ученых. В Леонардо нравилось Любищеву отрицание догмата, какого-либо авторитета,— и математический подход к разнообразным явлениям. Леонардо был религиозен, но Любищев отмечал, что религия толкала Леонардо не к созерцанию, а к творчеству. Этические мысли Леонардо, так же как, впрочем, и мысли на этот счет Макиавелли, нисколько не смущали Любищева:

«Они кажутся безнравственными только потому, что новая этика кажется безнравственной. Фактически это — та же высокая этика Сократа: оправдание морали разумом».

Любищев часто превозносит Разум, а сам ведет себя неразумно, нерасчетливо. Самодисциплина его действует, но она итожит траты, порой расточительные, которые ему явно не по карману.

Ах, что мы знаем об увлечениях и отвлечениях. Кто смеет говорить: «Человек должен быть таким-то». Откуда мы знаем? А если без этих отвлечений он не мог? Вспомните отвлечения Ньютона. Величайшим созданием своей жизни Ньютон считал «Замечания на книгу пророка Даниила...». Он тратил массу времени на богословские сочинения, и легче всего полагать, что зря его тратил. Некоторые историки снисходительно жалеют его. Но, оказывается, религиозные его воззрения уживались — даже взаимодействовали — с его научными взглядами. Парадоксальную эту особенность подметил Сергей Иванович Вавилов в своей превосходной биографии Ньютона, а за ним и Любищев показал, что Ньюто-

ну при решении вопроса о принципах всемирного тяготения нужно было чем-то заполнить мировое пространство. Он заполнил его Богом. Только участием Бога он мог объяснить тяготение. Занятия теологией пошли ему вроде бы на пользу — так же как Кеплеру его астрологические суеверия позволили построить правильную теорию приливов, основанную на влиянии Луны.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,—

писала Анна Ахматова.

Что ж, астрология отвлекала Кеплера, мешала ему? Что было главное, а что лишнее? Кому судить об этом? Вагнер, например, ценил свои стихи выше, чем свою музыку. Но что, если он был прав и стихи помогали ему писать музыку и были для него тем самым дороже всего?.. Что, если отвлечения помогали Любищеву?

В 1965 году он занят разглядыванием морозных узоров на окнах. Он делает сотни фотографий этих узоров и наконец пишет статью «О морозных узорах на окнах».

Его нисколько не смущает эта фельетонная тема, отличный повод для насмешек,— морозные узоры на окнах, из которых отставной профессор пытается высосать науку.

Что нового можно сказать об этом всем известном явлении? Кто не любовался мохнатыми зарослями, которые рисует мороз на стеклах? Каждый открывал странное сходство этих рисунков с растениями, папоротниками, травой, с древесным миром.

Дело в том, что и картина эта, и человеческое удивление насчитывает уже сотню-другую лет, тираж наблюдений составляет миллионы, миллиарды раз,— так что вряд ли можно было увидеть тут что-то новое. Но в один прекрасный зимний день появляется человек, который смотрит на эти узоры, откуда никто никогда не смотрел. Не сходство обнаруживает он, а закономерность сходства. Он делает всего-навсего один шаг дальше, начинает оттуда, где все удовлетворенно останавливаются. Закономерность сходства, а значит — общие законы строения и гармонии в естественных системах. Их можно выразить математически. Юлий Анатольевич Шрейдер — один из исследователей творчества Любищева — пишет, что в этой статье Любищев выдвигает

две новые отрасли науки: теорию сходства и теорию «симметричных форм, не заполняющих пространство». Морозные узоры вдруг нежданно-негаданно дополняют общую картину мира, которую создает Любищев. Он берет материал для нее отовсюду, из самых обыденных, примелькавшихся явлений, он открывает новый, более глубокий уровень понимания — и обычное становится необычным. Для настоящего ученого источником открытия могут быть вещи самые ничтожные.

Софья Ковалевская занималась волчком — детской игрушкой — и по-новому решила задачи вращения твердого тела. Кеплер стал вычислять по просьбе виноторговца объем бочек. Его работа «Новая стереометрия винных бочек» содержала начала анализа бесконечно малых. Кантор размышлял над Святой Троицей и создал свою знаменитую работу — теорию множеств. Не из карточных ли игр родилась современная теория игр?..

Друзья, которые упрекали Любищева за то, что он разбрасывается, сами с удовольствием читали его «посторонние» работы. И для меня наиболее интересны как раз его отвлечения. Они всегда были неожиданны, захватывающи. Они всегда что-то открывали — его комментарии к книге об Амундсене или к собранию сочинений шлиссельбуржца Николая Александровича Морозова, его размышления о романе Веркора «Люди или животные». Специальных работ я не понимал, а понимал именно эти, общие... Или же — то общее, что было в его специальных работах. А там всегда были выходы в историю, в философию. Стоит прочесть, например, его посмертно опубликованную статью «Поли- и моно-». Она ставит одну за другой, своеобразно, проблемы жизни на других планетах, теории развития, астробиологии, законов, управляющих ходом эволюции, трактует, как понимали эволюцию Энгельс и Ленин...

Кто сможет сказать, что́ из написанного Любищевым останется,— может, именно общефилософские или науковедческие работы? Он сам об этом не думал, решая по-пастернаковски:

...но пораженье от победы
ты сам не должен отличать.

Нет, должен...

Что позволено поэту, не позволено ученому. Не позволено ему утрачивать способность самокритики. Он обязан отличать удачные результаты от неудачных, нужные работы от ненужных и поражения от побед. Не для того Любищев создавал, отшлифовывал свою Систему, не для того он экономил время, чтобы тратить его потом на свои увлечения. В какой-то мере он дискредитировал свою Систему. Она не удержала его, не воспротивилась — она так же послушно стала служить его слабостям, как служила его силе.

...Но что, если Любищев с какого-то момента иначе работать не мог? Желание откликнуться на то, что его волновало, стало потребностью его натуры. С какой стати он должен был насиловать себя? Он хотел как можно полнее воплотить в самых разных своих работах все стороны своего разума, все, что задевало его; нравственные проблемы представлялись ему иногда важнее научных, и он не отставлял их в сторону.

Так-то так, но что же тогда называется разбросанностью?

Писатель доволен, когда его герой начинает поступать вопреки логике. Должен сделать то-то — и вдруг под влиянием чувств совершает нечто не предусмотренное и самим автором. Действия героя никак не вытекают из обстоятельств и в то же время по-человечески понятны. Выдуманный герой в такие моменты приближается к полнокровному живому человеку и убеждает своей противоречивостью.

Но когда тот же самый писатель сталкивается в знакомом ему человеке с малопонятными действиями, он обязательно будет искать какое-то логическое объяснение. А если писатель описывает этого человека или же какое-либо историческое лицо, то уж тут во что бы то ни стало постарается найти причину его действий и мотивы и вывести их со всей точностью и последовательностью. То есть устранить всякую противоречивость.

Это самое произошло у меня с Александром Александровичем Любищевым. Мне обязательно надо было растолковать его поведение, обнаружить, в чем там секрет. Я убежден был, что все дело — в моей недогадливости. В неосведомленности.

Может быть, я не учитываю общественный его темперамент; может, через историю, философию он пытался выразить то, что всех нас так занимало эти годы. Отсюда его интерес и к Ивану Грозному, и к этике.

А может, биологические проблемы, поднятые Любищевым, затрагивали множество укоренившихся предрассудков. Куда бы он ни обращался — к диалектике, к истории, к механике, к учениям Коперника, Галилея, к философии Платона,— повсюду он умудрялся видеть вещи иначе, чем видели до него. Он наталкивался на чужие заблуждения: куда бы он ни ткнулся, повсюду они возникали,— и он обязательно должен был расправляться с ними. Способность видеть то, что не видят другие,— мучительная способность. Великолепный этот талант — скорее наказание, чем отрада.

Вместо того чтобы уклониться, он вступал с ними в бой. Они вырастали, как головы лернейской гидры. И опять он должен был рубить их — Геракл, которому никто не задавал работ и никто не подсчитывал его подвигов.

А все же почему — должен? Ведь никакой логики тут не было. Любищев жил по Системе, которая заставляла поступать логически, подсказывала наиболее разумные, продуманные решения. Из всех вариантов она выбирала самые выгодные. Что могло быть лучше такого советчика? Но в одном случае она отказывала. Когда он поступал вопреки своей пользе. Перед противоречивостью Система была бессильна. Слабой логике она могла противопоставить сильную. Тут же логики не было, а все шло наперекор разуму. Система подсказывала одно поведение. Любищев же вел себя иначе, нелепо, как бы по самому невыгодному, непредвиденному варианту...

Почему?.. Я вдруг понял, что не нужно отвечать на этот вопрос. Незаконный это вопрос. Глупый. Ничего не надо больше искать. Наконец-то я наткнулся на то, что уже нельзя объяснить. Это была материковая порода.

Узнать другого человека — это и значит добраться до его противоречивости.

Узнать-то я узнал, а вот объяснить не мог. Узнать и понять — это ведь разные вещи.

Противоречия эти, однако, не обессиливали его. Размышления о жизни, о себе, о науке не уменьшали его

активности. Жажда действия возрастала, мысль подстегивала его. Он не боялся вопроса о том, каков смысл в его неутомимых писаниях, в его энергичной деятельности. Одно он знал твердо и повторял другим: тот, кто мирится с действительностью, тот не верит в будущее.

Впрочем, и это не всегда помогало. Ему хотелось ни на что не отзываться, ни о чем постороннем не задумываться, остаться наедине со своей главной, единственной, давней работой. Ему хотелось примириться с действительностью, не обращать на нее внимания. Ничего этого он не мог. Его разрывало на части. Трещина шла через его душу. Это было мучительно. Еще больнее было оттого, что он не знал, выполняет он свой долг — или же нарушает его. Жертвует он собой — или же уклоняется от боя...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Счастливый неудачник

Выполнил ли Любищев намеченную программу? Природа дала ему (или он взял у нее?) для этого все — способности, долгую жизнь; он создал Систему, он, пусть с уклонениями, постоянно следовал ей, используя и время, и силы...

Увы, он не выполнил намеченного. Под конец жизни он понял, что цели своей не достиг и не достигнет. Пользуясь своей Системой, он мог точно установить, насколько он не дойдет до когда-то поставленной цели. Ему исполнилось семьдесят два года, когда он решил сосредоточить силы на книге «Линии Демокрита и Платона». Он рассчитал, что она займет лет семь-восемь и будет последним его трудом. Как всякий последний труд, он станет главным трудом, в котором предстоит разобрать общебиологические представления.

По ходу работы центральная часть стала обрастать общефилософскими размышлениями, гуманитарными дисциплинами — и не случайно, потому что речь должна была идти о единстве человеческого познания.

За несколько лет он дошел до Коперника. Стало ясно, что вряд ли он успеет охватить биологические науки. Намеченные исследования по конкретной систематике тоже сорвались. С 1925 года он всячески сужал

свои занятия насекомыми. От рода Апион отказался, оставил земляных блошек — и тех пришлось сократить. К 1970 году он решил задачи надежного определения самок всего шести мелких видов Халтика. Как много было задумано и как мало сделано! Сорок пять лет работы над этими блошками — и такой ничтожный итог.

Его друг Борис Уваров, который начинал вместе с ним, за эти годы из двух тысяч видов африканских саранчовых описал около пятисот новых видов. Всю жизнь Уваров занимался только саранчовыми и стал первым в мире специалистом, организовал борьбу с саранчой в Африке во время второй мировой войны, за что получил ордена от Англии, Бельгии, Франции. Правда, Уваров ставил себе иные задачи, но все же...

А когда-то Любищеву мечталось связать работу по блошкам с общетеоретическими проблемами. Не успел. Так что и здесь его постигла неудача. Конечно, работа по вредителям дала результат, и по энтомологии, попутно, некоторые обобщения удалось получить (и не такие малые, как выясняется теперь); например, о том, что иерархическая система не универсальна. Это касалось не только биологии. Его работами заинтересовались математики, философы, кибернетики. Можно найти немало утешений. Но задуманного сделать не удалось. То, ради чего он отладил свою Систему, которая стала системой жизни,— этого сделать не удалось. Не повезло. Несчастливый он был человек.

...Он один из тех людей, кто сумел выйти за пределы своих возможностей. Здоровья не бог весть какого крепкого, он, благодаря принятому режиму, прожил долгую и в общем-то здоровую жизнь. Он сумел в самых сложных ситуациях оставаться верным своей специальности, ему почти всегда удавалось заниматься тем, чем он хотел, тем, что ему нравилось. Не правда ли, счастливый человек?

В чем же тут счастье? Программа, которую он разработал, вычислил, распланировал,— завалилась. Ни один из ее пунктов не выполнен так, как хотелось. Большая часть написанного не была напечатана при его жизни. Самое обидное, что поставленная цель оказалась самой что ни на есть насущной, она не разочаровала — наоборот, он своими работами приблизился к ней на-

столько, чтобы увидеть, как она прекрасна, значительна. И достижима. Он ясно видел это теперь, когда срок его жизни кончался. Ему не хватало немногого — еще одной жизни. Было горько сознавать, что он просчитался и все было напрасно. Несчастье — как иначе это назвать?— несчастливый человек!

...У него было все, чтобы прославиться: воля, воображение, память, призвание и прочие качества в нужных пропорциях. Это очень важно — пропорции; можно сказать, весь фокус — в пропорциях. Небольшой перебор или нехватка — и все насмарку. Я знал физика, который должен был совершить по крайней мере три крупнейших открытия — и всякий раз он перепроверял себя еще и еще, пока его не обгоняли другие. Его губила требовательность к себе — слишком он боялся ошибиться. Ему не хватало нахальства, или беззаботности, или еще чего-то. Тут мало соображать, тут нужен еще и характер.

Любищеву всего этого хватало, ему отпущено было в самый раз; если бы он выбрал себе цель поскромнее, он достиг бы куда большего, его ждала бы известность Фабра или Уварова...

Не повезло ему, подвела его Природа. Кто мог знать, что так сложно все устроено? Он-то, когда брался, следовал Ивану Андреевичу Крылову: «Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах утешный был конец». А утешного конца и не вышло.

Неудачник. Он и сам себя так называл.

Но почему же с годами все больше молодых ученых — да и не только молодых, а и заслуженных, прославленных — тянулось к нему? Почему с таким уважением прислушивались к нему в разных аудиториях? Отчего он сам считал себя счастливым человеком? Вернее, жизнь свою счастливой?

Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей: он один из тех, кто готовил новое понимание биологии. Он сеял — зная, что не увидит всходов.

В нем жила уверенность, что то, что он делает,— пригодится. Он был нужен тем, кто остается жить после него. Это было утешение, привычное скорее художнику, чем ученому. Но и современники нуждались в нем, каждый по-своему.

Недавно, комментируя посмертно опубликованную его статью, известные наши ученые Сергей Викторович Мейен и Алексей Владимировч Яблоков писали:

«Среди биологов А. А. Любищев известен как решительный противник наиболее популярных сейчас эволюционных взглядов, совмещающих учение о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики. Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то не удивительно, что и в подходе к этим проблемам А. А. Любищев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной «оппозиции» — особая ценность. Даже многие научные противники благодарны Любищеву за умную критику... Критики, подобные Любищеву, видимо, вообще необходимы науке — даже если они в конце концов окажутся неправыми».

Чего он не терпел, так это бесспорных истин, уверенности, категоричных суждений.

«...Вы выдвигаете положение: наука связана с общественными истинами, философия ни одной такой общепризнанной истины не имеет... Дорогой мой, с какой луны Вы свалились? Сейчас как раз можно сказать обратное: в самых точных науках нет общепризнанности, а, наоборот, имеется большое расхождение мнений. В математике: ряд неэвклидовых геометрий, разброд в философии математики... какой разброд в теории вероятностей и математической статистике! В астрономии вместо одной теории Лапласа сейчас целая куча, в генезисе Земли вместо контракционной теории опять разнобой... Но тут Вы говорите: «Кроме того, существуют незыблемо установленные факты, например, что Земля кругла, а не блин». Есть окончательно установленные отрицания, например, что Земля не блин, но что касается положительного значения формы Земли, то на этот счет сейчас удивительное разнообразие мнений... Создается математическая теория очертаний Земли, формы осколков ставятся в связь с историей Земли. В частности, указывается, что когда-то Луна была гораздо ближе к Земле, чем сейчас, они составляли почти одно целое... Чем менее точны науки, тем они более неподвижны, а в точных колоссальная, постоянно идущая перестройка...»

У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы. Он опровергал, оспаривал иногда вещи, которые для меня были очевидны, и это заставляло думать. Вот что, пожалуй, существенно: он возбуждал мысль, он пробуждал к мысли людей, давно отвыкших от этого. Как ни странно, многие ученые страдают болезнью бездумья. Орган, заставляющий мыслить, у них атрофировался. Тем более что бездумье нисколько не мешает их научным показателям...

Он отвечает молодому талантливому ученому (которому, кстати, он был многим обязан), сетующему, что нет времени на размышления:

«...Ученый, не имеющий времени на размышления (если это не короткий период — год, два, три),— конченый ученый, и если он не может переменить свой режим, чтобы иметь достаточно времени на размышления, то ему лучше бросить науку... Вы сейчас уже доктор наук, имеете солидное положение. Вам уже некуда торопиться, и надо постараться осознать себя. Какую цель Вы себе ставите? Если Вы ставите цель — достигнуть максимально возможного результата в науке, то надо обязательно оставить время на размышления... «Наблюдения и размышления» — так озаглавил свои произведения великий К. фон Бэр, а в современных работах очень много наблюдений и часто очень мало размышлений... Ваши философские суждения (как и суждения по философии большинства биологов) стоят на уровне суждений по биологии П. (писатель, который написал в свое время ряд малограмотных статей по биологии.— *Д. Г.): в обоих случаях — не только полное невежество, но и догматическое утверждение того, что на самом деле является суеверием. Можно ученому философию игнорировать? Можно, но тогда уж не приводить философских аргументов... Найдите время, чтобы поразмыслить над тем, что Вам сейчас кажется бесспорным, не пишите популярных книг, пока Вы этого пробела не заполнили, или плюньте на эволюционное учение, которое при невозможности размышлять Вам, очевидно, не под силу».*

Можно ли мерить человека целью, которую он себе поставил? Чем вообще оценивать прожитую жизнь? Пользой? Талант приносит пользы больше, чем заурядность! А гений — больше, чем талант! Но чем же человек виноват, что нет у него таланта, выдающихся способностей? И в чем заслуга того, талантливого? Да, ге-

ниальный ученый даст науке больше, чем средний. Но в гениальном ученом выражает себя скорее Природа, чем он сам.

Любищев — не тот гений, который обычно предстает перед нами как заканчивающий, кому приходится завершать то, над чем трудились умы предтеч. Любищев и интересен мне тем, что не гений, потому что гений разбору недоступен, вникать в него, слава богу, бесполезно. Гений пригоден для восхищения. Любищев же манил за собой тем секретом, каким удалось ему осуществить себя. Хотя никакого секрета он не делал, отвергал разговоры о чудесах своей работоспособности.

Кроме Системы у него имелось несколько правил:

«1. Я не имею обязательных поручений;

2. Не беру срочных поручений;

3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю;

4. Сплю много, часов десять;

5. Комбинирую утомительные занятия с приятными».

Правила эти невозможно рекомендовать, они — его личные, выработанные под особенности своей жизни и своего организма: он изучил как бы психологию своей работоспособности, наилучший ее режим.

Он почти не жаловался на отсутствие времени. Я давно заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает. Нет, пожалуй, лучше сказать иначе: времени у них больше, чем у других. Мне вспоминается, как в Дубултах Константин Георгиевич Паустовский подолгу гулял, охотно заводил свои веселые устные рассказы; можно было подумать, что ему нечего делать,— он никогда не торопился, не ссылался на занятость и при этом успевал работать больше любого из нас. Когда? Неизвестно.

Похоже, что люди, подобные Любищеву, устанавливают тайные, не ведомые никому отношения со Временем. Они бесстрашно заглядывают в лицо этому ненасытному божеству.

Человек всегда относился ко Времени враждебно. Пространство, материю — этих удавалось как-то приручить. Время оставалось тем же дико-первобытным. С тех пор как человек заглянул в дали Вселенной, услышал тиканье мировых часов, отсчитывающих миллиарды лет, увидел, как рушатся галактики,— Время, пожалуй, стало еще страшней.

Меня поражала у Любищева смелость, с какой он обращался с плотью Времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользающим «теперь». Он не боялся измерять тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал Время, сжимал его, стараясь не уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным; ему и в голову не могло прийти — «убивать время». Любое время было для него благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал благоговение перед Временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и не в насыщенности трудом. Урок Любищева состоит в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с постоянным напором отдачи. Жизнь — долгая-предолгая штука. В ней можно наработаться всласть и успеть многое прочитать, изучить языки, путешествовать, наслушаться музыки, воспитать детей, жить в деревне и жить в городе, вырастить сад, выучить молодых...

Жизнь спешит, если мы сами медлим.

Ведь мы живем какими-то избранными моментами и запоминаем лишь сгустки жизни. Полчаса — для нас это не время. Мы признаем только целые моря Времени, его расчищенные, свободные от обстоятельств и случайностей площадки. Там мы готовы развернуться. Меньшее нас не устраивает, мы сразу же ссылаемся на помехи, на обстоятельства. О, могущество независимых от нас обстоятельств, властных, оправданных. На них так удобно переложить ответственность...

Мы не замечаем, как разлагают и обессиливают душу эти ссылки... Мне хотелось привести печальный пример моего друга, когда-то неплохого ученого, а потом руководителя крупного института. Но тут же мне вспомнилась точно такая же судьба одного писателя, которого я близко знал, и еще одного писателя. Должности действительно отнимали у них много времени и мешали работать, и постепенно они привыкли к власти этих обстоятельств. Все они мечтали освободиться и часто говорили, как вот тогда-то они займутся любимым делом как следует, ибо урывками книги писать нельзя и наукой заниматься невозможно. Они

освободились. Для каждого пришел такой день. И скоро обнаружилось, что никто из них уже не может работать. Они долго не признавались себе в этом, они искали обстоятельств, то есть каких-то поручений, отсрочек, избегая свободы, о которой они столько твердили и, возможно, добивались. Первый запил и покончил с собой. Второй как-то угас, незаметно и тихо. И третий... Другие живы.

Любищев называл себя неудачником, и при этом он чувствовал себя счастливым человеком. Отчего возникает ощущение счастья? У него — наверное, от полноты осуществления себя, своих способностей. Неудачник и счастье — не знаю, как это совмещалось. Может быть, он понял, что главное — это не результаты...

Он жалел тратить время на проталкивание своих произведений, на хождение по редакциям, всякие ходатайства, напоминания...

Он избегал обязательных визитов, праздников.

Но было одно постоянное занятие, на которое он «раскошеливался»,— это на письма. Я не касаюсь писем родным и друзьям: сколь бы они ни были подробны, щедры — тут все понятно. Я имею в виду письма деловые и научные. Среди последних есть по десять — двадцать — сорок страниц убористой машинописи. Тут и замечания на присланные рефераты, рукописи, и отзывы о книгах, и разбор разных статей. С чем только к нему не обращались! Спрашивали его мнения о Тейяре де Шардене, о телепатии, о проблеме адаптации, о природе хаоса, о названиях насекомых, о демографии, о кашалотах...

Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки:

«1969 год. Получено 410 писем (из них 98 из-за границы). Написано 283 письма. Отправлено 69 бандеролей».

Адресаты его — институты, научные общества, академики, журналисты, инженеры, агрономы... Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, Игорем Евгеньевичем Таммом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым и с Олегом Калининым, составляют как бы научные обзоры,

диалоги, научные диспуты, могут быть изданы сборниками.

Если взять только научную переписку Любищева, эти большие переплетенные тома, то они сами по себе — энциклопедия современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще невесть чего.

Я никогда не мог понять, каким образом ухитрялись в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у Любищева, человека нашего века.

В одном из писем он поясняет свои правила ведения переписки. На каждый месяц он составлял план, кому отвечать. Полученные письма он как бы размечал, ставя знак: нужно отвечать или нет.

«На срочные письма я отвечаю немедленно, а остальные откладываются, и когда пишу серьезную работу, то на известное время накладывается мораторий на всю переписку, кроме срочной.

Но тут говорят, что надо отвечать на все письма, притом сразу — этого требует вежливость. Конечно, в современных биографиях выдающихся людей, написанных в стиле старинных акафистов, отмечаются совершенно неправдоподобные добродетели, вроде той, которая прописана в житии Николая-чудотворца, что он с самого рождения был благочестив и по постным дням отказывался от материнской груди... В частной переписке всякое обязательство должно быть обоюдным. Я считаю совершенно бесспорной и в государственных, и в личных отношениях великую идею договора, восходящую, как известно, к Платону. Никто не имеет права требовать ответа на свое письмо, ответ всегда — или результат договора с корреспондентом, или любезность (вовсе не обязательная). Я стараюсь отвечать на все письма, потому что переписка в том умеренном размере, которую я веду, доставляет мне удовольствие, потому что она не мешает моим основным целям, напротив, в значительной степени им способствует».

Читать его письма — удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющего ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в единую картину. Он умел нахо-

дить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия.

Исподволь, однако, подбиралась досада — да как же не жаль ему было расточать такие богатства втуне! Не для общего пользования, а для какого-то одного человека, часто ему, Любищеву, малознакомого. Некоторые из писем — готовые статьи: бери и печатай; в других привлечен огромный материал; он раздаривал свои мысли, идеи, накопленные наблюдения, и все это делал обстоятельно, подробно, как будто это входило в его обязанности, словно по службе. И времени расходовал на это — уйму. Ну ладно, отвлечения, допустим, писал статьи об истории, так то хоть статьи, а это ж — частные письма, их прочитает адресат — и все, больше ни для кого они не предназначены.

Опять — разбросанность, опять — противоречие. Экономить время, собирать его по крохам и тут же транжирить на письма, порождая в ответ лавину новых писем... Среди адресатов были и малосовестливые: хватай, пользуйся, благо задарма.

Все так, если судить по нашим законам. Но у Любищева были свои законы. Письма имели адрес, их ждали, они были нужны не вообще людям, как нужны статьи и книги,— а нужны человеку имярек, и это было Любищеву дороже времени. Так же как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и Любищев ничем не скупился, если кто-то нуждался в нем. Как он ни ценил время, он мог жертвовать и им. В нем не было всепоглощающей, нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и Науки, и Времени...

Написав это, я вспомнил замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Вот, пожалуй, наиболее сильный из известных мне примеров человеческой одержимости. Филонов был исступленно предан своему искусству. Он жил аскетично, нередко голодал — не потому, что не мог заработать, а потому, что не хотел зарабатывать себе живописью. Вел он себя нетерпимо, не соглашался ни на малейшие компромиссы. Судя по воспоминаниям его сестры, Евдокии Николаевны Глебовой, обстановка его мастерской — она же жилище — была самая спартанская. К другим худож-

никам он относился в лучшем случае критически, а чаще — просто не признавал. Опять же из-за своей одержимости он не мог не отвергать все иные художественные школы и направления. Только свою живопись он считал подлинной, свою манеру считал революционной. Он не щадил своего здоровья, не щадил близких, не замечал никаких лишений; единственное, к чему была устремлена вся его натура,— живопись. Работать, писать, рисовать, стоять у холста, искать новые приемы, способы — это, и только это, было способом его существования, это было жизнью... Можно, конечно, уважать и чтить подобную художническую преданность, но человечески симпатичного в ней мало. А вместе с тем живопись Филонова поразительна. Значит, что же — одержимость, фанатичность помогали ему? Великолепные картины его, посвященные революции, петроградским рабочим, проникнутые энтузиазмом, живописные в каждом малом кусочке полотна,— все это получалось, несмотря на одержимость? Или благодаря ей? Одержимость, значит, помогает таланту? Ничего в ней нет плохого? Да и что, спрашивается, нам за дело до того, какой ценой досталась Филонову эта красота, когда мы сегодня любуемся его картинами.

Так что же, чем плоха такая одержимость, если она помогает художнику? Ведь то же самое может быть и с ученым...

Важны результаты, важно открытие, добытая истина...

Вроде бы все так, но, почему-то уже без всяких доводов, мне по-прежнему несимпатична, неприятна одержимость. Иногда, перебирая рисунки Филонова, я мысленно благодарю его — и возмущаюсь, вспоминаю его жизнь и отвергаю ее всей душой, и не могу понять, прав он или не прав и имел ли вообще человеческое право на это?..

Письма были то немногое, чем Любищев мог практически помогать людям. Возможность помочь делала его нерасчетливым, он забывал о времени, выкладывался, не жалея себя. Его отзывы — это, в сущности, пространные рецензии. Он делал их бескорыстно, бесплатно. Он разбирал ошибки, находил сомнительные места, спорил, он совершал работу редактора — правил, под-

сказывал, советовал. К нему обращались малознакомые, вовсе незнакомые — он не отказывал.

Масштабы его деятельности соответствовали целому учреждению: «Главсовет», «Главпомощь», «Бюро научных услуг» — что-то в этом роде. Кроме научных советов, были и нравственные. Он не стеснялся выступать наставником, учить, требовать, разбирать поступки. Лично для меня наиболее драгоценное в его письмах — это нравственное учительство. Вот, например, он пишет одному из своих корреспондентов:

«...О Чижевском — я не уверен, что вы правы, скорее склонен думать, что вы не правы. Вы пишете: «Сейчас разобрался в двух вещах: 1) чижевщина — т. е. связи эпидемических явлений с солнечной активностью. Это чудовищное очковтирательство, на каковое клюнуло Общество испытателей природы...» ...Чижевского я читал немного (помню, целый том по-французски), просматривал давно. Называть человека очковтирателем и проходимцем — значит иметь уверенность в том, что все его данные безграмотны, фальсифицированы и направлены для достижения личных, низменных целей... Даже если его выводы сплошь ошибочны, его ни очковтирателем, ни проходимцем назвать нельзя. Возьму для примера такого автора, как Н. А. Морозов. Я читал его блестяще написанные «Откровение в грозе и буре» и «Христос» (семь томов). Морозов совершенно прав, когда пишет, что если бы теории, поддерживаемые «солидными» учеными, получили бы такое обоснование, как его, то они считались бы блестяще доказанными... Но его выводы совершенно чудовищны: царства — египетское, римское, израильское — одно и то же. Христос отождествляется с Василием Великим, Юлий Цезарь — с Констанцием Флором, древний Иерусалим не что иное, как Помпея, евреи — просто потомки итальянцев... и проч. Можно ли принять все это? Я не решаюсь, но отсюда не значит, что Морозов очковтиратель и проходимец. Можно сказать, что Морозов собрал Монблан фактов, но против него можно выставить Гималаи фактов. Но ведь совершенно то же самое можно сказать, по моему глубокому убеждению, и по отношению к дарвинизму. Дарвин и дарвинисты действительно собрали Монблан фактов, гармонирующих с их взглядами, но моя эрудиция позволяет мне сказать с уверенностью, что дисгармонируют с дарвинизмом Гималаи, которые все растут и растут...» И далее: *«...Могут сказать, что дар-*

винизм все-таки приводит к разумным выводам, а Морозов — к глупым... но не все работы Морозова приводят к нелепым выводам. Очень высоко ценят химики работу Морозова «Периодические системы строения вещества», где он предвидел нулевую группу, изотопы и еще что-то. Это, несомненно, был очень талантливый человек, но своеобразие его жизни позволило развиться лишь одной стороне его дарования — совершенно исключительному воображению,— и, по-моему, недостаточно способствовало развитию критического мышления. Как же быть? Принять или отвергнуть Морозова? Ни то и ни другое, а третье: использовать как материал для построения критической гносеологии... Можно критиковать Чижевского, разобрав его доводы и показав, что они ничего не стоят... Это означает ошибочность взглядов Чижевского (как и ошибочность взглядов Морозова), но не дает нам еще права называть его очковтирателем. Но мне кажется, что Вы отвергаете Чижевского из общих «методологических», как у нас говорят, соображений. Тут я решительный Ваш противник. История точных наук в значительной мере является борьбой сторонников «астрологических влияний» (куда относятся Коперник, Кеплер и Ньютон), допускавших действие небесных тел на земные явления, и противников (наиболее выдающийся — Галилей), полностью это отрицавших. Классические астрологи ошибались, допуская возможность простыми методами определять судьбу индивидуальных людей, противники их, со скрежетом зубовным приняв астрологический принцип всемирного тяготения, стараются дальше «не пущать». Последние годы «астрологические принципы» как будто наступают: магнитные бури, солнечные сияния, связь с эпидемиями чрезвычайно вероятна. Но ведь эпидемии вызываются бактериями! Верно, но вспомним спор Петтенкофера с Кохом: в опровержение гипотезы Коха Петтенкофер выпил пробирку с холерными бациллами и остался здоров: опроверг ли он Коха?..

Терпеливо, фактами и примерами, он поднимал нормы научной этики. Его слушали. С ним спорили, на него обижались, и тем не менее люди больше всего нуждались именно в нравственной его требовательности. Более того, у меня было такое ощущение, что нуждались в том, чтобы их осуждали, упрекали.

Пользуясь каждым случаем, Любищев требовал честного, аргументированного спора, терпимости к инакомыслящим. Он был из той редкой категории людей, с которыми спорить приятно. Начиная бороться с серьезным противником, он старался усвоить положительные стороны противника.

«Истинный ученый и искатель истины никогда абсолютной уверенности не имеет (дело касается тех областей знания, где есть споры), он пытается все новыми и новыми аргументами добиться согласия своего противника не потому, что он чувствует горделивое превосходство перед ним, и не из тщеславия, а прежде всего для того, чтобы проверить собственные убеждения, а не прекращает спора до тех пор, пока не убедится, что понял всю аргументацию противника, что противник держится своих взглядов не на основании строго объективных данных, а по причине тех или иных предрассудков и что, следовательно, дальнейший спор бесполезен... Серьезный спор может быть кончен тогда, когда автор может изложить мнение противника с той же степенью убедительности, с какой его излагает противник, но потом прибавить рассуждения, показывающие корни предрассудков противника».

Правила по строгости своей и щепетильности напоминают чуть ли не дуэльный кодекс.

«Где появляются ошибки, там намечается предел сил ученого. Тот, кто не ошибался, тот не испытал своих сил до конца. Такой человек заслуживает порицания — он предпочел душевное благополучие выполнению долга...»

«Какое бы то ни было искажение истины человеком, призванным служить ей, есть нарушение служебного долга и совершенно аналогично преступлению офицера, бросившего свою часть на поле боя. Но потому, что нарушение воинского устава сурово карается законом, тогда как ученый, изменивший правде, может разгуливать, не рискуя жизнью и свободой, именно поэтому его измена нечто худшее, чем преступление дезертира. И такой ученый заслуживает по меньшей мере позора и бесчестия».

Трудно удержаться, чтобы не приводить еще и еще цитат такого рода. Большая часть их лишена категоричности требований и (что тоже характерно!) относится к наблюдениям, размышлениям.

«Полное отрицание положения «цель оправдывает средства» совершенно невозможно, все дело в том, чтобы применять отрицательные средства в возможном минимуме и не называть плохих средств хорошими только потому, что они служат для хороших или приемлемых целей».

«Я полагаю возможным формулировать такую общую формулу этики, которая может обнять все существовавшие формулы: поступай так, чтобы твое поведение способствовало прогрессу человечества, выражающемуся в победе духа над материей».

«Против большого зла можно применить меньшее зло, причем все зло в сравнении: можно применять любое зло, лишь бы оно было меньше того зла, с которым приходится бороться».

«Личное бессмертие меня как-то никогда не прцвлекало, даже в детстве, когда искренне верил в бессмертие. Мне казалось непонятным, что я буду делать в течение вечности. Я представлял себе, что души летают в виде ангелов. Ну, конечно, полетать хорошо (мне неоднократно снилось, что я летаю, и это было чрезвычайно приятно), ну год, два, но летать целую вечность ведь надоест. Думаю, что в такой примитивной форме бессмертия нет, да и в превосходной строке А. К. Толстого «в одну любовь мы все сольемся вскоре». Это что-то похоже на буддийскую нирвану, а не на личное бессмертие».

В одном из писем он цитирует фразу Лесгафта: «Из ста человек, переходящих Дворцовый мост, девяносто шесть могут сделаться первоклассными зоологами».

И далее А. А. Любищев пишет:

«...Лесгафт не говорил «учеными». Вероятно, есть много наук, где можно продвигаться вперед и достигнуть известных степеней только при помощи усидчивости и трудолюбия. Лица, далекие от науки, как Л. Толстой, встречая таких людей, приходили к заключению о невысокой роли науки. Есть науки, требующие особых способностей для успешной работы, например — математика, но известно, и мне приходилось наблюдать, что высокие математические способности иногда уживаются в одном человеке с необыкновенными провалами в других областях. Талантливый и умный — совершенно не одно и то же. Умный человек может быть совершенно

бездарен. Есть даже такая поговорка: «Нормальный человек — бездарный человек, гений — человек безумный...»

У Ницше есть выражение: „Гений и ученый всегда враждовали друг с другом...“»

Невозможно быть эпигоном А. А. Любищева. «Творческий потенциал этого примера тем и прекрасен,— писал поэт и ученый Ю. В. Линник,— что он содействует высвобождению ресурсов самобытности и самостоятельности в каждом человеке, задумавшемся о таких простых вещах, как правда, добро, совесть».

А. А. Любищев позволял себе в сугубо научных работах высказывать этические положения:

«Почти в каждом человеке живет необходимость опираться на что-либо прочное, абсолютно достоверное. Без абсолютного, какого-то совершенного авторитета, какой-то веры трудно жить даже людям с высоким интеллектом... Тяготение к авторитету не бессмысленно, оно укрепляет мысль человека в определенных направлениях, закрывает свободу в других, иначе получается растекание мыслей по древу, бесплодие...»

«Фанатизм основателей нового учения, готовых принести в жертву самих себя для торжества нового учения, сменяется фанатизмом церковников, склонных более принести в жертву своих противников».

«...среди религиозных людей имеются две очень резко различные категории: одна, для которой религия есть отыскание окончательно установленной истины, для других истина есть искание истины, сюда относится, например, Лессинг. Наш общий друг В. Н. относится к первой категории, я — ко второй... Ко второй категории принадлежат, конечно, все ересиархи, лидером второй категории среди христиан является апостол Фома Неверный. Но ведь Фома не был осужден церковью, и даже, помню, в одном из песнопений поется: «О доброе неверие Фомино»; скептики и ересиархи, по-моему, предусмотрены вселенским штатным расписанием».

Если когда-нибудь подобрать выписки из разных сочинений и писем Любищева касательно этики, то получится целый свод морали, правил жизни и поведения — не то чтобы законченное этическое учение, но, во всяком случае, обширная этическая программа, своеобразная и точная. Своеобразие ее хотя бы в том, что понятие

«порядочный человек» мало устраивало Любищева. «Порядочными людьми» были для него те, умственный и моральный уровень которых соответствует «уровню коллектива». Он же требовал иного — истинной моральности, то есть чтобы человек самостоятельно работал над повышением этого морального уровня; чтобы мораль для него была не исполнением прописей, а процессом преодоления, работы. Он понимал, что таких людей всегда немного, но всегда их было достаточно, чтобы обеспечить моральный прогресс человечества.

Одним из образцов ученого для него был Климент Аркадьевич Тимирязев. Почему именно Тимирязев? Отнюдь не из-за чисто научных достижений, не из-за каких-то способностей исследователя, которым Любищев мог бы позавидовать. Нет, прежде всего из-за его нравственных качеств. Не то чтобы он специально изучал мемуаристику, и лично Тимирязева он не знал — судить он мог, лишь читая его работы. Какие же именно душевные качества извлекает Любищев из научных сочинений Тимирязева: а) преданность чистой науке; б) сознание общественного долга ученого перед народом и обществом.

Многим эти две тенденции кажутся несовместимыми.

«...Одни ученые берут первую часть и, замыкаясь в башню из слоновой кости, считают, что они вправе игнорировать запросы времени, при этом такие ученые очень часто смешивают истинно чистую, теоретическую науку с погоней за бирюльками, с бесполезной наукой. Другие, выражая (часто только на словах) свою готовность служить народу и обществу, заниматься узким практицизмом, на деле не двигают ни чистую науку, ни практику. Великолепную отповедь таким дельцам от науки Тимирязев дал в подлинном шедевре «Луи Пастер».

Но эта великолепная биография открывает нам и другую замечательную сторону личности Тимирязева: он не смешивал научные заслуги ученого с его мировоззрением. Ведь Пастер был глубоко верующим католиком, а Тимирязев — воинствующим атеистом, и в том споре, в котором некоторые не по разуму материалисты вставали на сторону противников Пастера, он решительно принял сторону Пастера».

В каждом из ученых, кого он чтил — Карл фон Бэр, Фабр, Коперник,— на первом месте стоял нравственный

элемент. Не вообще нравственность, а всякий раз какие-то конкретные качества, какие-то точные, активные свойства души, которые вызывали восхищение Любищева.

С трогательным постоянством он пользовался каждым случаем, чтобы воздать должное своим друзьям — Владимиру Николаевичу Беклемишеву и Александру Гавриловичу Гурвичу.

Его восхищение вызывали Альберт Эйнштейн и Мохандас Ганди.

При его напряженной духовной жизни его герои, его любимцы, его примеры менялись, и было бы интересно проследить, как именно менялись. Про Любищева никогда нельзя было сказать: «он стал». Он всегда — «становился». Он все время искал, менялся, пересматривал, повышал требования к себе и к своим идеалам.

Помогала ему Система. Или заставляла его...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

которую лучше всего назвать — «искушение»

Не стоит считать его уж таким альтруистом. Он тратил много времени на письма, но они же и сберегали ему время. Копии писем в переплетенных томах стояли на полках вместе с томами конспектов прочитанных книг — оттуда Любищев часто черпал заготовки для своих работ. Иногда письма почти целиком входили в рукопись. Система помогала ему использовать весь огромный, накопленный десятилетиями материал.

Под воздействием Системы жизнь, несмотря на внешние события, обретала монотонность, столь нужную и благотворную для ученого. Ритмично, с назойливостью метронома, она отщелкивала месяцы и годы, не разрешая забыть о текущем времени.

Она создавала ему максимально разумную и здоровую жизнь. Она, его Система, обеспечивала ему такую занятость, что ему легко было не замечать многих бытовых, да и житейских невзгод. Она помогала ему не раздражаться, легко, по-олимпийски, переносить и людскую глупость, и бестолковость служебных порядков и беспорядков. Этим объяснялось его спокойствие и здоровые нервы.

Ему нужно было очень мало: место для книг, для работы и покой. Конечно, покой — это не так мало. Покой в наше время — вещь дефицитная. Но покой Любищева был простейший — тишина и свобода от срочных дел. Он никогда не стремился иметь большую квартиру, дачу, машину, картины, красивую мебель — ту обстановку, уют, которые для некоторых входят в понятие покоя.

У него бывали случаи обрести такой комфорт, ничем особым не поступаясь. Так сказать, без компромиссов. Время от времени открывались высокие научные должности. Как возможность. Некоторые усилия — и он мог бы продвинуться... Но ему ничего этого не надо было. Ничего сверх самого необходимого. Не то чтобы он нарочно лишал себя каких-то благ — ему просто не нужно было многое из того, что считается обязательным. Глядя на роскошные квартиры некоторых своих ученых коллег, на эти гарнитуры, отделку, где столько сил, забот вложено в каждую дверную ручку, он мог удивленно повторить слова одного философа: «Как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь!»

Это была свобода. Он был свободен. Но окружающим, близким от такой его свободы было тяжко. Окружающие были обычные люди, они не могли довольствоваться той малостью удобств, какой хватало ему. Их тяготила его постоянная занятость, нескончаемость работы, та мельничка из сказки, которая все молола и молола соль...

Его считали чудаком. Он не отказывался от этого звания. Сократа тоже считали чудаком, что, кстати говоря, полностью отвечало сущности сократовского характера. Любищев понимал, что, вступив на еретический путь, он чаще всего будет встречать непонимание. Недаром Оскар Уайльд говорил: «Когда со мною сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав».

Истины, которые Любищев еще недавно защищал как оригинальные, завтра становятся банальными. Научную истину надо обновлять. Наука для него начиналась с сомнения и кончалась уверенностью. То же относилось и к философии.

Жизнь его нельзя назвать аскетичной. Все выглядело обыкновенно. Он занимался спортом. Плавал. Гулял. Мечтал купить новую пишущую машинку. Нужда была

средней: то, что называется домом, выглядело ничем не примечательно; только близкие помнили, сколько за этой скромностью было упущенных возможностей — устроиться в Москве, в Ленинграде...

Он сознавал, что все это — неизбежная плата за свободу, за возможность оставаться самим собой. Плохо, конечно, что расплачиваться приходилось не ему самому, а самым родным и любимым людям.

Платить надо было и другим — при большой внутренней продуктивности его Система давала малый выход, то есть в печать работ попадало немного...

Всякий раз перед ним возникала необходимость выбора. Либо — приспособиться к требованиям научных журналов, редакций: писать так, чтобы не вызывать протеста, не дразнить, не перечеркивать господствующих взглядов. Он уважал своих противников, ему нужен был спор, а не возмущение. Это не означало приспособленчества. Но, чтобы возникла дискуссия, ему надо было применять тактику. Выступать против учений, принятых большинством биологов, одному — против признанных корифеев,— для этого требовались терпеливые и умные ходы. В чем-то уступить, в чем-то отдать должное... И ничего в этом не было зазорного... Ведь он не просто предлагал новую формулу — он опровергал, он отрицал, и тут он должен был уметь п е р е у б е д и т ь.

Либо же — развивать свои взгляды на эволюцию, ни на кого не оглядываясь. Не считаться с противниками, а сохранять независимость. Думать не про победу своих идей, а про оснащение их. Остаться верным избранной Системе — то есть следовать намеченному плану, пункт за пунктом; писать так, как будто не существует никаких человеческих страстей, самолюбий; не иметь в виду, что академик Н. говорил про Р. Фишера и что Т.— лауреат и директор института...

Он выбрал этот последний, совсем не такой уж бесспорный вариант, тем самым обрекая себя на всякие трудности с печатанием. Иногда — на многолетнее молчание.

О нем забывали. Кто-то справлялся: где он, жив ли... «А-а, тот самый Любищев, который так обещающе начинал?» — «Кажется, где-то преподает в провинции». Мало ли их, несостоявшихся провинциальных профес-

соров: когда-то они что-то сделали, потом так и застряли, угасли, что-то печатают в местных трудах, в сборниках, которые никто не читает. Не всем же удается удержаться...

Не следует думать, что это его не мучило. Провинциализм для ученого — вещь опасная, незаметная. В современной науке такие темпы, что вчерашние звезды сегодня вспоминаются с трудом. Это не литература, где можно писать, не заботясь о конкуренции, писать под спуд, впрок, в стол. То есть можно и в науке, но это очень рискованно — слишком быстро все стареет. Это в XVII веке Кеплер мог утешать себя: «...Я писал свою книгу для того, чтобы ее прочли, теперь или после — не все ли равно? Она может сотни лет ждать своего читателя, ведь даже самому Богу пришлось 6000 лет дожидаться того, кто постиг его работу».

Складывать написанное в стол было невесело. В сущности, каждый раз, начиная работу, он терзался перед выбором. Казалось бы, все было решено, но бесы снова и снова искушали его. Они были умны, современны. Они не обольщали его голыми блудницами, не булькали вином, не звенели золотом. Они знали, с кем имеют дело. Длинные влажные листы верстки шелестели и вкусно пахли краской, сверкали глянцевые корешки переплетов, где золотым тиснением поблескивала фамилия автора. «И ты бы мог, и ты бы...» — шептали страницы. Не ради славы, ни в коем случае, только ради пользы дела.

А всякий успех укрепляет положение, репутацию, а это, в свою очередь, приведет к тому, что его сделают членом редколлегии, ученого совета, членкором, а это опять же позволит ему еще свободнее печататься и пропагандировать свои биологические идеи и поддерживать своих молодых сторонников.

Пора, пора, довольно воздерживаться... В наше время — проповедовать научные истины в частных письмах? Средневековье! Неужели он всерьез надеялся на интерес потомков к его рукописям, надеялся на то, что время не обесценит его трудов?..

Древние отгоняли бесов молитвами. Любищев держался за свою Систему, она была как крестное знамение. Она позволяла различать крупицы будущего. Так, старые его работы, некогда напечатанные в провинци-

альных изданиях, не оставались незамеченными. Их все чаще цитировали. Однажды перепечатали за границей, и отовсюду начали приходить запросы на оттиски. Он хвалился количеством таких запросов. То же повторилось с другой статьей. Это был показатель.

Вдруг выяснилось, что этот гордец, отшельник, альтруист — нормально честолюбив. Не тщеславен, а честолюбив. Ведь это разные вещи! Тщеславен Герострат, честолюбив Кеплер. Впрочем, Герострат, как заметил Любищев, не самый хороший образец честолюбца:

«...За свой «успех» (ибо, сожгя храм, он таки добился своего — прославился на века) он поплатился жизнью,— множество куда более вредных честолюбцев строят свой успех на огромных пирамидах трупов».

Не ожидая похвал, он научился сам воздавать себе должное. Система учета давала ему объективные показатели своего состояния. С гордостью он отмечал 1963 год как рекордный по числу рабочих часов — 2006 часов 30 минут! В среднем в день 5 часов 29 минут. А до войны получалось примерно 4 часа 40 минут! Он отчетливо понимал подлинную цену этим цифрам, он сам устанавливал свои нормы, сам следил за собою с секундомером в руке, сам награждал и сам наказывал себя.

...Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Суд, творимый им, был строже иных судов — потому что он судил себя на основании документов и фактов, проводя всякий раз тщательное расследование.

При таком суде некоторые события получали неожиданное оправдание, а злодеи и обидчики оказывались благодетелями.

— Хвала мудрому начальству,— восклицал Любищев,— приостановившему мне возможный путь к яркой карьере.

Не нам понять высоких мер,
Творцом внушаемых вельможам!

Под личиной смешка он и в самом деле был доволен, что так все сложилось. Он умел использовать себе на пользу не только отбросы времени, а и подножки судьбы. Куда бы его ни посылали, где бы он ни жил — он жил полноценно, все с тем же крайним напряжением.

Провинция? Тем лучше, больше времени работать, думать: спокойнее, тише, здоровее... В любом положении он отыскивал преимущества. Не мирился, не ждал милости,— вся его Система была призывом к повышению человеческой активности.

Есть такие натуры: там, где они находятся, там — центр мира, там проходит земная ось. То, что они делают, и есть самое наиважнейшее, самое необходимое.

Пять с половиной часов в день чистого труда. Круглый год! Это ли не достижение! Это вам не жук на палочке!

...Что это — упоение собой? Эгоизм? Нет, нет, это счастье осуществления самого себя. А человек, который осуществляет себя и живет в этом смысле для себя, приносит наибольшую пользу... В этом была требовательность к себе — не к другим, это мы умеем, а прежде всего — к самому себе. В какой-то мере и то, что он писал, он как бы писал для себя, соотносил написанное с собою. Большая часть разного рода сочинений пишется ведь для других. Трудятся, чтобы учить других, а не для того, чтобы познать себя и внутренне просветиться самим. Я знал авторов, которые из написанного ими не делали никаких для себя выводов: то, на чем они настаивали, никакого отношения к ним самим не имело. Единственное — когда книга встречала возражения, они бросались защищать ее. Воспитывать — других, заставлять мыслить — других, призывать к добродетелям — других... Автор же при этом никак не обращает на себя свои рассуждения, он считает себя вправе как бы самоотделиться; важно, что мысли его полезны, он отвечает за их правильность, а не за их соответствие с его жизнью. Соответствует или не соответствует — не важно, никому нет до этого дела, важно, чтобы было талантливо. Вокруг этого все и вертится (в лучшем случае!) — талантливо или неталантливо. А что сам талант при этом исповедует, какова лично его этика, следует ли он тому, к чему призывает,— это считается второстепенным делом.

До поры до времени.

Пока не встретится человек, у которого требования к другим и требования к себе совпадают. И тогда сразу чувствуется преимущество цельности. Вот почему мы так радуемся, видя среди ученых, философов, писате-

лей, среди мыслителей, учащих жить,— примеры высокой морали. Особенно богата этим история русской интеллигенции — тот же Владимир Вернадский, и Лев Толстой, и Владимир Короленко, и Николай Вавилов, и Василий Сухомлинский, и Игорь Тамм...

С совершенно особым чувством читается книга Альберта Швейцера «Культура и этика» — именно потому, что Швейцер подвигом всей своей жизни заработал право обращаться к нашим душам.

Таланту мы готовы многое прощать.

Александр Любищев принадлежал к тем талантам, которые не желали пользоваться льготами и снисхождением. Его дневники, его письма — летопись духовной работы, которую вел этот человек больше чем полвека над формированием своей личности.

Такая работа многим казалась ненужной, даже раздражала. Было так удобно считать, что среда, общество в первую очередь, воздействуют на человека, что обязанность общества — работать над личностью, заставлять ее становиться лучше, требовать от нее, и т. п.

Любищев требовал от себя сам, сам себя контролировал, сам за собой следил, сам перед собой отчитывался.

Перед собой ли? Только ли перед собой? Снова и снова я пробовал объяснить чувство, которое владело им. Скорее всего, это ощущение бесценности дарованной жизни, которая не просто — единственная и неповторимая, но и каждый день которой наделен той же единственностью и неповторимостью.

Как ни странно, но его рационализм рождал энтузиазм, от его методичности возникало каждодневное удивление перед чудом жизни. Его Система как бы обновляла эту чудность, не давала к ней привыкнуть.

Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей; за свою жизнь они так и не пробуют узнать, на что они способны и на что — не способны. Они не знают, что им не под силу. Печальнее всего эта благоразумность в науке. Ученый, который выбирает себе задачи по силам, достигает почета и солидной репутации. Он не совершал ошибок. Списки его работ безупречны, никто их не опровергал, они всегда были ре-

зультативны. Если он брался за дело, он доводил его до конца. Но где-то там, за чертой этого длинного списка его печатных работ, начинается ненаписанное, несделанное — вот там, среди несовершенных ошибок, избегнутого риска и даже позора, таились, может быть, действительно великие открытия. И уж наверняка — открытие самого себя. Обидно прожить жизнь, не узнав себя — человека, который был тебе вроде ближе всех и которого ты так любил...

В этом смысле Любищев изведал себя. Он мерил не задачи по своим силам, а свои силы по задачам. Лучше иметь духовный долг, считал он, чем сохранять душевную безопасность.

У Демокрита есть выражение: не поступок как таковой, а намерения определяют нравственный характер. Раньше я не понимал этой мысли. И не принимал.

Любищев многое не успел — не получилось, но для меня было важно, что он хотел, его намерения: из них возникало душевное притяжение его личности.

Через свою Систему он изучал себя, испытывал: сколько он может писать, читать, слушать, работать, размышлять? Сколько и как? Не перегружал себя, не взваливал не по силам; он шел по кромке своих способностей, оценивал их все более точно. Это был безостановочный путь самопознания. Для чего? Для самосовершенствования? Для наивысшей самоотдачи? Для полноты выявления себя?

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек мог знать, на что он способен! Ведь каждый может куда больше, чем ему кажется,— он и смелее, чем он себя считает, и выносливее, и сильнее, и приспособленней. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческих душ. Именно душ, прежде всего душ, потому что в этих истощенных, изглоданных муками телах поражали энергия души, ее стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, способный вынести столько лишений. Для человека — как и для стали, для проводников, для бетона — существуют пределы допустимых нагрузок. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти и люди могут жить не физическими силами — их не было, они были исчерпаны, а люди продолжали жить и действовать силами, не предусмотренными медици-

ной: любовью к Родине, ненавистью, злостью. Во время блокады поражала не смерть — она была законна, — поражала живучесть: то, что мы чистим от снега траншеи, таскаем снаряды, воюем.

Героизм войны — исключение. Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует себя с необычайной полнотой. Невесть откуда — и нахлынут силы, и ум заострится, вскипит воображение... Счастливое, блаженное это состояние писатели называют вдохновением, спортсмены — формой, ученые — озарением; это бывает у каждого человека — у одних редко, у других чаще... Вот это-то и важно: возможность такого состояния, когда человек превосходит себя, свои обычные способности и пределы. Значит, это возможно, а если это возможно однажды, то почему не дважды и не каждодневно?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

когда пора подумать о душе

Но одним из лучших украшений человеческой жизни является дружба. Автор начал эту главу с предлога «но» потому, что он внутренне спорит с теми, кто считает А. А. Любищева человеком сухим, расчетливым, лишенным эмоций, зависимым от своей Системы и т. п. Автор не хотел, чтобы у кого-нибудь сложилось такое впечатление. Впрочем, в глубине души автор надеется, что такого рода мнение высказывают люди, которые не умеют пользоваться жизнью, тратят ее бестолково, безалаберно, впустую и хотят как-то оправдаться.

Вот почему автор хотел рассказать о той нежной дружбе, которая связывала его героя со многими людьми. Рассказать хотя бы на примере того же Павла Григорьевича Светлова, замечательного ученого-генетика, человека того же, как бы сказать, калибра, что и Александр Александрович. Для этого автор не нашел ничего лучше, чем привести кое-какие отрывки из их переписки, которая длилась лет тридцать и сама по себе есть литературное произведение, диалог двух любящих друг друга людей, которые по-разному думали о главных вопросах бытия и от этого еще более ценили друг друга.

1 апреля 1960 г.

П. Г. Светлов — А. А. Любищеву

Дорогой Александр Александрович!

Как мне стало известно, в этом году тебе исполняется 70 лет. Эту почтенную и знаменательную дату следует особенно отметить. Позволь поздравить тебя от всего сердца, заочно обнять и пожелать здоровья и сил на предстоящем этапе жизни, очень ответственном: нужно подводить итоги и производить конечные синтезы на высшем уровне! Собирать урожаи посевов, сделанных за более чем полвека напряженной работы, просматривать свою «кладовую» и приводить все в окончательный порядок. Работа большая, в соответствии с размерами твоей «кладовой» и количеством запасов в ней, ждущих надлежащего использования.

Ты и Владимир Николаевич [1] *— наиболее выдающиеся люди из всех, с которыми сводила меня судьба. Были еще двое: одного ты не знал (В. Н. Кириллин, поэт, мой гимназический товарищ, убитый на войне в 1914 году в возрасте 25 лет), а другой — Д. М. Дьяконов, человек исключительно и разносторонне одаренный, скончавшийся в 1923 году. С тобой и В. Н. мне довелось провести большую часть жизни; общение с вами обоими столь обогатило мою жизнь, что мне трудно найти адекватные слова для выражения своей любви и признательности своим старым товарищам, дружбой с которыми я горжусь. В данный момент я хочу, с целью отметить твое семидесятилетие, кое о чем вспомнить и кое о чем поболтать.*

Наше знакомство состоялось в Перми, как будто в 1921 году (или в 1920?). Тебе было тогда всего 30 с небольшим лет. Я младше тебя всего на два с половиной года, но чувствовал себя тогда по сравнению с тобой совершенным юнцом, т. е. рассматривал тебя как «большого», самого себя считал «маленьким» (к чему были положительные основания). Представь, это отношение к тебе, как к старшему, осталось до сих пор, хотя теперь разницы в летах между нами практически не существует. Встреча с тобой была для меня большим событием, которое очень повлияло на мое дальнейшее развитие. Может быть, и смешно говорить о «развитии»

---

[1] В. Н. Беклемишев.

в возрасте около 30 лет nel mezzo del cammin di nostra vita)[1], *как охарактеризовал Данте свой возраст, в котором он написал свою поэму, но ко мне это подходит в высшей мере, т. к. я развивался исключительно медленно и считаю, что я еще не закончил своего «развития», хотя мне уже пора бы «свиваться»... Я слушал все, что ты говорил, буквально развесив уши. Особенное значение для меня имели в дальнейшем твоя пропаганда идеи поля, формы как самостоятельной проблемы и в том числе эстетической (!), естественной системы в оригинальном понимании ее, математика в биологии и т. д. Усиливал впечатление необыкновенный энтузиазм в высказываниях, благодаря чему они производили впечатление ослепительного фейерверка. Вообще, прибегая к древней терминологии, можно сказать, что при создании твоей личности в качестве основной субстанции был взят огонь; остальные три стихии участвовали в этом событии в минимальном количестве, необходимом для приготовления человека. Так как этот огонь согревал не только интеллектуальные центры, а проникал все мое нутро, то, естественно, я быстро был расплавлен целиком, т. е., проще говоря, ты стал мне столь близким человеком, что мне даже немного совестно писать тебе дифирамбы. Причиной стыда в этих случаях является, по-видимому, то, что близкий человек становится как бы частью самого себя.*

Я много от тебя получил, но, думается, имею основание ожидать от тебя еще большего в смысле твоей дальнейшей научной продукции. Да этого ждут от тебя и многие другие. Ты ведь занимаешь совершенно особенное место в нашей научной общественности. Не имея чинов, орденов, почетных званий и т. д., ты занял в ней прочное и видное место как основатель нового направления в систематике, знаток и пропагандист математических методов в биологии, лидер оппозиции казенщине в философии (не говоря о твоем авторитете у энтомологов по борьбе с вредителями и специальным вопросам).

Итак, переходим в следующий этап жизни, на котором, надеюсь, наша близость не уменьшится. Есть шансы, что она увеличится, т. к. я не теряю надежды высказать некоторые соображения по общим вопросам, судьей которых я хочу надеяться иметь тебя. Я все откладывал это дело, но теперь подошло время, когда

[1] «Земную жизнь пройдя до половины...» *(Пер. М. Лозинского.)*

дальше его откладывать некуда. Ты уже неоднократно советовал мне «подумать о душе», что пора сделать. Совет правильный и по-настоящему его надо принять к руководству; при этом, мне думается, в него нужно вложить троякий смысл (в данном случае). Прежде всего, нужно избавиться от «суеты» жизни, каковой являются сейчас для меня служба и экспериментальная работа. Последняя, при всей своей увлекательности, ограничивает горизонт и поэтому известным образом «отупляет». Подобно тому, как «эпоха Возрождения» по чьему-то выражению (кажется, Бердяева) оказалась и «эпохой вырождения» могучих духовных сил средневековья, современная наука при всем ее блеске, хотя и идет по правильному и необходимому руслу, заслоняет другие аспекты действительности (отнюдь их не опровергая, конечно). Пора остановиться и подытожить сделанное в цеховой части, это — первое. Далее, нужно подытожить вообще все, что возможно, по интеллектуальной части: «сопрягать надо», как снилось П. Безухову на Бородинском поле.

Но прежде всего, этот совет надо понимать в том его прямом и простом смысле, в котором выражение «подумать о душе» понималось нашими матерями и бабушками, а также и всеми величайшими духовными отцами человечества.

Чем ближе становится роковой предел жизни, тем больший субъективный интерес приобретает величайший из всех великих вопросов — вопрос о личном бессмертии. Я не знаю твоих взглядов на этот вопрос, но полагаю, что для платониста он не должен решаться отрицательно. Что до меня, то

Сердцем вещим знаю я —
Обеты данные не ложны...

Содержание сущности этих обетов выражено у особо чтимого нами обоими поэта:

В одну любовь мы все сольемся вскоре.
В одну любовь, широкую, как море,
Что не вместят земные берега...

Конечно, несмотря на все обеты, «последний рейс» — страшная вещь. Главная причина этого, думаю,— неизвестность...

А. А. Любищев — П. Г. Светлову

Милый мой друг Павел Григорьевич!

Из всех писем и других приветствий, полученных мной в день моего 70-летия, твое было самое длинное и самое содержательное. Не скажу, чтобы оно было наиболее приятным, несмотря на то, что оно было необыкновенно приятно. Наиболее приятным и неожиданным было получение длинного письма-телеграммы за подписью Павловского, извещавшее об избрании меня почетным членом Энтомологического общества. Дело, конечно, не в звании самом по себе, а в том, что Павловский решился подписать телеграмму исключительно теплого характера, в которой отмечались мои заслуги общественного характера (а всякий знает, что это значит) и в частности моя работа по математизации биологии...

Ты пишешь, что хотя разница наших лет и невелика (два с половиной года), ты до сих пор сохранил ко мне отношение, как к старшему. Я же могу тебе сказать, что отношение, как к старшему, было у меня к В. Н. Беклемишеву, хотя он моложе меня на полгода. Когда я впервые познакомился с ним (по-настоящему познакомился с ним я в Мурмане в 1911 году), он явно был выше меня и, пожалуй, всех наших товарищей по степени своего развития, и, конечно, я от него многое получил, разница между нами, может быть, та, что я с ранней молодости поставил перед собой задачи, превосходящие мои умственные силы, а В. Н. по-своему все-таки не использовал всех своих умственных сил. Поэтому, хотя он и дал биологии очень много, но он бы мог дать еще больше. К такому выводу я пришел в свое время в Перми. В. Н. Беклемишев чрезвычайно помог мне в продумывании вопросов общей систематики, и, например, ясное различие между коррелятивной и комбинативной системой мне стало ясно только благодаря ему. В. Н. начал читать курс по теории системы (не помню, слушал ли я этот курс), я был усердным слушателем и даже писал письменные комментарии к его лекциям. К моему удивлению, теорию системы он строил только касательно обычной иерархической системы, совершенно не касаясь других форм системы, которые он отлично понимал. На мой вопрос, почему он это делает, он сказал, что считает необходимым ограничить свою задачу, так как хорошо бу-

дет (его подлинные слова), если ему удастся «оправдать веру отцов, возведя ее на высший уровень рационального понимания» (это, кажется, слова Вл. Соловьева, за точность слов не ручаюсь). Возможно, что я сделал ошибку, стараясь захватить слишком крупную добычу... и разбрасываясь по разным направлениям. Ответить можно будет на этот вопрос только на смертном одре, а я постараюсь еще пожить. Мне, во всяком случае, наверное, нельзя будет сделать упрека, что я старался работать ниже своих способностей. От университета я получил, видимо, больше, чем ты. В смысле расшатывания установившихся воззрений много сделали приват-доценты Аверинцев, Педашенко, К. Н. Давыдов, Е. А. Шольц, и я окончил университет с большим накоплением противоречий отчасти и под влиянием чтения (де Фриз, Штейнман и др.). И вот, вскоре после окончания университета я встретил А. Г. Гурвича; эта встреча мне дала, конечно, больше, чем кто-либо другой. Поэтому мое развитие в значительной степени является следствием ряда благоприятных встреч. Развиваюсь я тоже очень медленно и как будто еще продолжаю «расти», хотя я уже прошел не «меццо дель каммин», а всю дорогу (которая во времена Данте считалась, как и в Библии, за 70 лет)...

15.8.1969.

А. А. Любищев — П. Г. Светлову

Моей «чудовищной работоспособности» ты завидуешь совершенно напрасно. Когда я жил в Ленинграде, то работоспособность была гораздо ниже. Крупные города, в особенности Москва, созданы со специальным назначением: показать, что вечность мучений вполне совместима со благостью божьей. Мучения не противоречат благости, если они выбираются добровольно, а москвичи крепко держатся за свой ад, что, впрочем, можно сказать и о ленинградцах.

Секрет моей работоспособности сейчас: 1) я не имею обязательных поручений, чрезвычайно вредно действующих на нервную систему; 2) я не беру срочных поручений и в случае утомления сейчас же прекращаю работу или отдыхаю, или перехожу на неутомительное занятие; 3) сплю очень много, сейчас восемь часов ночью и два после обеда, всего не менее десяти, и регулярно гуляю; 4) веду учет, как тебе известно, уже более 50 лет, и по-

этому не распускаюсь; 5) комбинирую утомительные занятия с приятными, так что целый день один участок нервной системы никогда не работает.

Но соблюдение всех указанных условий трудно при нахождении на государственной службе и в больших городах. Те, кто при неблагоприятных условиях могут работать,— вот это действительно работоспособные люди...

23.5.1970.

А. А. Любищев — П. Г. Светлову

Дорогой друг Павел Григорьевич!

...Рассматривать мою жизнь как нечто исключительное по изоляции от сочувственной среды совершенно невозможно. Сочувствие компетентных друзей сопровождало мою жизнь, и, что особенно отрадно, число сочувствующих и интересующихся все время возрастает, и я могу быть уверен, что ценное в моей работе не пропадет после моей смерти, даже если не будет опубликовано при жизни. Это великое утешение, и если принять во внимание трагическое время, в котором протекала моя жизнь, то я вправе назвать свою жизнь очень счастливой. Единственное действительно серьезное несчастье — это была смерть моего несравненного сыночка Всеволода. За мою счастливую жизнь «я долг своим сыном заплатил». А старость моя действительно исключительная: по продуктивности моей основной задачи она много превышает более ранние периоды моей жизни и в значительной мере потому, что на усвоение интересовавших меня книг я никогда не жалел времени и сейчас я пожинаю плоды той разбросанности интересов, которая многим казалась нецелесообразной. Число друзей у меня непрерывно растет и, что меня особенно радует, и среди молодежи. И в старости есть много радости. Вопреки твоему утверждению, я не был участником сказочных успехов науки, но я надеюсь, что, когда (вероятно, после моей смерти) биология на совершенно новой (не биохимической) основе достигнет действительно сказочных успехов, и мое имя не будет забыто.

Заманчиво было бы привести и другие этапы переписки этих, таких разных и таких необходимых друг другу людей. Хотя бы ради наслаждения уровнем мыс-

ли, взаимоуважением, игрой ума... Однако автору приходится себя ограничивать. Автор не пишет книгу о научных, философских взглядах Любищева, ни о его работах и достижениях. О его жизни тоже не пытается рассказать. Это ни в коем случае не биографическая повесть, и, как говорится, никаких претензий насчет неполноты и недостаточности жизни героя автор не принимает. И если автор позволяет себе отступление, то это нарушение правил, и именно за это его, то есть автора, можно упрекать. Конечно, плохо, что автор не может удержаться. Заговорив о дружбе, о чувстве любви и уважения, которое окружало А. А. Любищева, хочется понять природу этих чувств. Особенно теперь, спустя годы после ухода его из жизни. «Пора подумать о душе...» — повторим мы вслед за П. Г. Светловым. Что составляло прелесть его души, как видится она в отдалении? Чем помнится она? Разным людям по-разному — независимым духом его исследований, предельной честностью и щедростью натуры, уважением к инакомыслящим.

Между прочим, это подчеркивают все. Он любил дискуссии, но не позволял себе пользоваться слабостями оппонента. Ему нужен был сильный противник не для того чтобы торжествовать, а чтобы укрепить Истину с обеих сторон.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

с грустью и признаниями

Превзойти свои возможности...

Не только в критических обстоятельствах, а, судя по примеру Любищева, в с я деятельность может превышать обычные возможности.

Ресурсы человека еще плохо изучены.

Впервые я размышлял об этом и о собственной жизни и старался думать о себе как об авторе, в третьем лице, потому что так казалось легче.

...Автор уверен, что в будущем не поймут, почему люди — в конце двадцатого века — так невыгодно жили, так плохо использовали свой организм, может быть, хуже своих предков.

По мере изучения архива Любищева автор невольно оглядывался на себя — и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое «меньше себя». Это было грустно. Тем более

что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью.

В чем другом, но в смысле занятости и поколение автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем — завод, вечером — институт; они — и заочники, и вечерники, и экстерны; они выкладывались честно, сполна.

Однако стоило автору безо всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько Любищев за те же самые пятидесятые годы и прочел больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всем этом — насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило.

В этом смысле к Любищеву вполне можно отнести слова Камю: «Жить — это выяснять».

Перечитывая письма, заметки Любищева, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать — это еще не значит умело работать. И что, может, хорошая система нужнее энтузиазма.

Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время, возможно, он зато больше развлекался или предавался какому-то увлечению, или, наконец, больше бывал на природе?

Если бы! Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом, а о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора.

Так что никаких «зато» автор найти не может.

На крайний случай автор готов был бы все свести к таланту Любищева и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придается... Талант тут не поможет. Скорей всего, тут сказывалась Система.

Скромная система учета времени стала Системой жизни. Согласно этой системе получалось, что у Любищева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка.

Волей-неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со Временем. Куда оно пропадало? Исчезало — неизвестно куда, как будто автор жил меньше своего возраста. Есть закон сохранения энергии, закон сохранения массы — почему же нет за-

кона сохранения времени? Почему оно могло бесследно выпадать из человеческой жизни?

Размышляя над этим упущением природы, автор почувствовал, что где-то оно, это сгинувшее Время, все же существует — укором нам, нашей виной...

В совершенстве героя было что-то укоряющее. Странно, что герой, который был так хорош для жизни, так дивен для общения, оказался нехорош для изображения. Жизнь его получалась настолько праведной, что ясно было, что автор чего-то не разглядел. Либо же утаил, преувеличил.

Один журналист сказал автору:

— Так не бывает. Значит, ваш герой — человек одной, но пламенной страсти. Значит, он не гармоничный. В этом-то и парадокс: хотим, чтобы человек всесторонне и гармонично развивался, а хорошо известно, что более всего матери-истории ценны как раз люди, на всю жизнь одержимые одной страстью...

Он был уверен, что «одна, но пламенная страсть» исключает гармоничное развитие. Это была приятная житейская мудрость: страсть мешает человеку всесторонне развиваться. Лучше без страсти, безопаснее. Всего понемногу. Как будто рекомендованные комплекты интересов и есть гармония. Как будто существуют действительно гармоничные люди, лишенные страсти.

Возможно, кому-то это и удобно, и желательно, но автору почему-то вспоминаются примеры наших великих писателей, ученых, художников — людей широкой культуры и в то же время могучих страстей, порой даже губительных.

Однако страсти их не были фанатизмом, а были той самозабвенной увлеченностью, без которой не может жить творческая душа.

Всесторонность совмещалась у Любищева с верной, единой страстью. Разлад между ними не мешал ему — недаром он отказался от аскетического обета, принятого в юности.

Все это, однако, нисколько не проясняло автору проблему Времени.

Система Любищева могла экономить имеющееся время, но не увеличивать его. Однако дело было даже не в количестве: само Время получало у Любищева другое качество; можно подумать, что ему удалось установить какие-то личные взаимоотношения со Временем.

Причуды Времени давно интересовали автора. Маленькие дети, например, как заметил автор, плохо чувствуют время. Ощущение его растет и обостряется с возрастом, и к старости — чем меньше остается Времени, тем слышнее становится его ход.

Автор вспоминает, как поразила его в самолете, летевшем через океан в США, женщина, которая сидела рядом и вязала свитер. Спицы позвякивали в ее руках. Петля цеплялась за петлю... Внутри межконтинентального времени струилось старинное неизменное время наших бабушек. На печи сонно попискивали цыплята, светилась лампадка, пахло хлебом, все было как в детстве, в деревне Кошкино. А под крылом «боинга» проносились Азорские острова... Автор также вспоминает войну, танковый триплекс, перекрестье прицела — и время, которое вдруг кончилось. Оно явно остановилось вместе с сердцем — стрельба замерла, оборвался звук мотора, в раскаленной паузе дрожало перекрестье прицела и надвигалось орудие немецкой самоходки...

Таким образом, время идет то медленнее, то быстрее, иногда оно останавливается, замирает. Есть моменты, когда ход Времени чувствуется воспаленно-остро, оно мчится с такой скоростью, что только ахаешь, оглянуться не успел, и день куда-то провалился, и снова стоишь перед зеркалом, бреешься, а бывает, оно мучает своей неторопливостью, вязкой медлительностью. Вдруг оно начинает тянуться, минуты вытягиваются нескончаемой нитью. От чего это зависит? Насыщенность? Но есть ли тут связь? Когда время не замечаешь — когда много дел или же когда отдыхаешь? Заполненный работой день тоже может промелькнуть, а может и измотать душу медлительностью... Нет, тут случается по-всякому, и как-то не совсем ясно, от чего зависит скорость времени, что его подгоняет, а что его тормозит...

У большинства людей так или иначе складываются собственные отношения со Временем, но у Александра Александровича Любищева они были совершенно особыми. Его Время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить... Он любил и ценил Время не как средство, а как возможность творения. Относился он к Времени благоговейно и при этом заботливо, считая, что Времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не физическим понятием, не циферблатным верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. Время потерянное

воспринималось как бы временем, отнятым у науки, растраченным, похищенным у людей, на которых он работал. Он твердо верил, что время — самая большая ценность и нелепо тратить его для обид, для соперничества, для удовлетворения самолюбия. Обращение со временем было для него вопросом этики.

На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет. Вот эти нравственные запреты, нравственную границу времяупотребления, Любищев для себя выработал.

Люди деловые, организованные уверяют, что они — хозяева Времени.

Нарастающий культ Времени становится показателем деловой хватки, умения жить. Часовые стрелки подгоняют, и человек мчится, боясь отстать. Он должен находиться в курсе, на уровне, соответствовать. Он служит Времени как языческому богу, принося в жертву свою свободу. Не Время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончие Времени мчатся по пятам...

Божество Времени строго мерит достижения: сколько напечатал, что успел защитить, получить, продвинуться, где побывать... В этом смысле Любищев не зависел от Времени и не боялся его.

Когда автор погрузился в стихию его Времени, он испытал счастливое чувство освобождения. Это Время было пронизано светом и покоем. Каждый день всей протяженностью поглощал самое важное, существенное — как зеленый лист впитывает солнце всей поверхностью.

Вникая в Систему Любищева, автор увидел Время словно через лупу. Минута приблизилась; она текла не монотонным, безразличным ко всему потоком — она отзывалась на внимание, растягивалась, выявлялись сгустки, каверны, структура что-то означала, как будто перед глазами автора проявилось течение мысли, время стало осмысленным...

Насчет космического времени или мирового — автор судить не берется; человеческое же время, как он убедился, можно научиться ощущать и даже слышать его звенящий ток.

Время сворачивалось в кольцо, концы соединялись с началом, прошлое обгоняло настоящее, как в Алисиной Стране Чудес. Перед взором автора проплывали погибшие, потерянные Времена, упущенные годы, когда-

то полные молодых сил и надежд,— пустые, высохшие, останки Времени.

Жаль, что документальная проза не позволяет автору вставлять всякие фантастические картины. Автор хотел бы показать огромность Времени внутри нас, целые месторождения, открытые Любищевым,— неразработанные, так сказать, залежи Времени в недрах человеческого бытия.

Если сравнивать время с потоком, как это принято было еще у древних греков, то Любищев в этом потоке — гидростанция, гидроагрегат. Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нас. Вот в этом — и пожалуй, только в этом — свойственна была Любищеву машинность.

Каждого человека можно представить как потребителя времени. Он перерабатывает время на разные мысли, чувства и работу. И хотя перерабатывается небольшая часть, а все остальное пропадает, все равно принято считать, что времени не хватает, его мало.

У Любищева времени всегда было достаточно. Времени не могло быть мало — любое Время для чего-то достаточно. Таким свойством отличалось его Время. И не только Время — это относилось ко всем жизненным благам: в молодости, когда Любищев был хорошо обеспечен, и в старости, когда он получал скромную пенсию, он одинаково не стремился иметь много, ему нужно было лишь необходимое. Необходимого ему всегда было достаточно, а достаточного, как известно, не бывает мало. Оно, необходимое, хорошо тем, что не тяготит, не бывает лишним, не надоедает, как не могут надоесть вода, хлеб, свет, стол.

Кроме делового, настоящего, Любищев чтил, да и любил — прошлое. Он остро ощущал связь времен, незримую цепь, о которой так прекрасно написал Чехов в рассказе «Студент». В каждой научной проблеме Любищева живо занимали, даже волновали, родословная идей, их эволюция, он передумывал, наново оценивал «пережитое». Порой история даже связывала его. Почему прошлое играло такую большую роль для Любищева? Автор не знает. Поэтому он и ссылается на гениальный рассказ Чехова. Там тоже ничего не объяснено — и все понятно.

Урывая время от основной работы, Любищев писал подробные воспоминания об учителях, о гимназии, о родителях, об А. Гурвиче, К. Давыдове, М. Исаеве...

В нем жила признательность к прошлому, которое теперь так легко забывают ради будущего.

Автор не стыдится ни наслаждения, ни зависти, какие он испытывает от любищевского Времени. Оно удивительно своей кристаллической стройностью и прозрачностью. Десятилетия просматриваются насквозь, в них нет туманностей или запретных зон. Прожить нашу эпоху такой открытой жизнью — это редкость.

Автор убежден, что проблема разумного, человеческого обращения со Временем становится все настоятельней. Это не просто техника экономии, проблема эта помогает понять человеку смысл его деятельности. Время — это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно, и можно его губить. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей «времяпользованию». Автор убежден, что с детства надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. И учить, как беречь время, как его находить, как его добывать.

Самое же главное — научить отчитываться за время. Любищев, конечно, идеальный пример...

Нет, автор вовсе не очарован своим героем. Автору известны многие его слабости и предрассудки, раздражает его пренебрежение к гуманитариям, этакая спесь к эстетике, мнения его о Пушкине прямо-таки невыносимы, так же как и его претензии к Достоевскому. Словом, хватает всякого. Но любого, самого великого человека не следует рассматривать вблизи, во всех подробностях его вкусов и привычек.

Тот, кто однажды столкнулся с Любищевым, будет снова возвращаться к нему. Автор заметил это не только по себе, но и по многим людям, число которых даже растет.

Печально, конечно, что уже не тот возраст и нельзя воспользоваться опытом Любищева. Не стоит даже считать, сколько (без всяких уважительных причин) потеряно лет и прочего. С другой стороны, надо быть последовательным: если никакое время не бывает мало, то, значит, никогда не может быть поздно вступить в новые взаимоотношения со Временем. Сколько бы человеку ни оставалось жить и на каком перегоне ни застала бы его эта мысль!.. И даже чем меньше остается времени, тем умнее его надо расходовать.

Однако теперь, когда так просто сделать нужные выводы, автору почему-то не хочется все сводить

к пользе. Как-то неинтересно. Автор вроде бы некстати задумается: можно ли его героя считать действительно героем, а жизнь его — героической, достойной подражания? Так ли все это...

Героизм — это вспышка озаряющая — и сама озарение, требующая крайнего напряжения сил. Стать героем можно поступком, далеко выходящим за рамки обыденного долга. Совершая подвиг, герой жертвует, рискует всем, вплоть до жизни — во имя истины, во имя Родины. Ничего такого не было у Любищева.

...Была не вспышка, а терпение. Неослабная самопроверка. Изо дня в день он повышал норму требований к себе, не давал никаких поблажек. Но это ведь тоже — подвиг. Да еще какой! Подвиг — в усилиях, умноженных на годы. Он нес свой крест, не позволяя себе передохнуть, не ожидая ни славы, ни ореола. Он требовал от себя всего, и чем больше требовал, тем явственней видел свое несовершенство. Это был труднейший подвиг мерности, каждодневности. Каждодневного наращивания самоконтроля, самопроверки. Впрочем, нашелся человек, который усомнился, подходит ли сюда слово «подвиг». Потому что какой же это подвиг, если он доставляет одно удовольствие?

Всегда находится такой усомнившийся человек. И слава богу, что люди эти не выводятся, хотя никаких благоприятных условий для их размножения не существует. Вопрос усомнившегося человека затруднил автора. Вскоре и у самого автора начались некоторые сомнения. Какой же тут крест, думал автор, если этот крест нисколько же Любищева не тяготил, а, наоборот, приносил удовлетворение и ни за какие коврижки он не сбросил бы этот крест. А чем он жертвовал ради своей Системы? Да ведь ничем. И невзгод особых из-за нее не терпел, и опасностей. Восторгаться же его настойчивостью, добросовестностью, волей, какими бы плодотворными они ни были,— неразумно: все равно что хвалить ребенка за хороший аппетит.

И в результате таких размышлений получалось, что никакого подвига в том, чтобы сделать себя счастливым, не может быть. А раз нет подвига, то выходило, и призывать не к чему. А насчет служения науке, то ведь на самом деле не он служил науке, а наука служила ему.

Не сразу автор разобрался в том, что все это, так сказать, с точки зрения самого Любищева, и тем более удивительно. Потому что каким душевным здоровьем

надо обладать, чтобы чувствовать счастье от ежедневного преодоления. У нас, наблюдающих издали это непрестанное восхождение, все равно рождается чувство восхищения, и зависти, и преклонения перед возможностями человеческого духа.

Подвига не было, но было больше, чем подвиг, — была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь Разума? Может, самое трудное — достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей, и это было для него естественно, а для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке.

Множество подобных секретов и странностей скрыто в его жизни, и, честно говоря, автор не всегда может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь какие-то рекомендации, и хотя повествование кончается, автор еще не может вынести окончательные суждения, дать какие-то советы читателю. Автор надеется, что читатель в них и не нуждается. Потому что сам автор, оставаясь полным раздумий, глубоко благодарен своему герою, который заставил его усомниться в развитии своей жизни.

1974

СОДЕРЖАНИЕ

Гранин Д.
Г 77 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1.: Иду на грозу: Роман; Повести.— Л.: Худож. лит., 1989.— 592 с., 1 л. портр.
ISBN 5—280—00861—3 (Т. 1)
ISBN 5—280—00860—5

Первый том содержит «Автобиографию» автора, роман «Иду на грозу» и повести «Место для памятника», «Кто-то должен» и «Эта странная жизнь».

Г $\frac{4702010201-057}{028(01)-89}$ подписное **ББК 84.Р7**

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Редакторы А. Рулёва, Т. Мельникова
Художественный редактор В. Лужин
Технический редактор Н. Литвина
Корректоры А. Борисенкова, Л. Никульшина

ИБ № 5269

Сдано в набор 27.04.88. Подписано в печать 19.12.88. Формат 84×108[1]/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08+0,05 вкл.=31,13. Усл. кр.-отт. 31,60. Уч.-изд. л. 32,85++1 вкл.=32,89. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛIII-212. Заказ № 1543. Цена 2 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.